БЕРНАРД ШОУ

ЛЕНИНГРАД
«ИСКУССТВО»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
1979

БЕРНАРД ШОУ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПЬЕС В ШЕСТИ ТОМАХ

Под общей редакцией
А. А. Аникста, Н. Я. Дьяконовой,
Ю. В. Ковалева, А. Г. Образцовой,
А. С. Ромм, Б. А. Станчица,
И. В. Ступникова

БЕРНАРД ШОУ

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПЬЕС
В ШЕСТИ ТОМАХ**

Том 2

Три пьесы для пуритан

УЧЕНИК ДЬЯВОЛА

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА

ОБРАЩЕНИЕ
КАПИТАНА БРАСБАУНДА

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЭШВИЛ,
ИЛИ
НЕВОЗНАГРАЖДЕННОЕ ПОСТОЯНСТВО

ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК

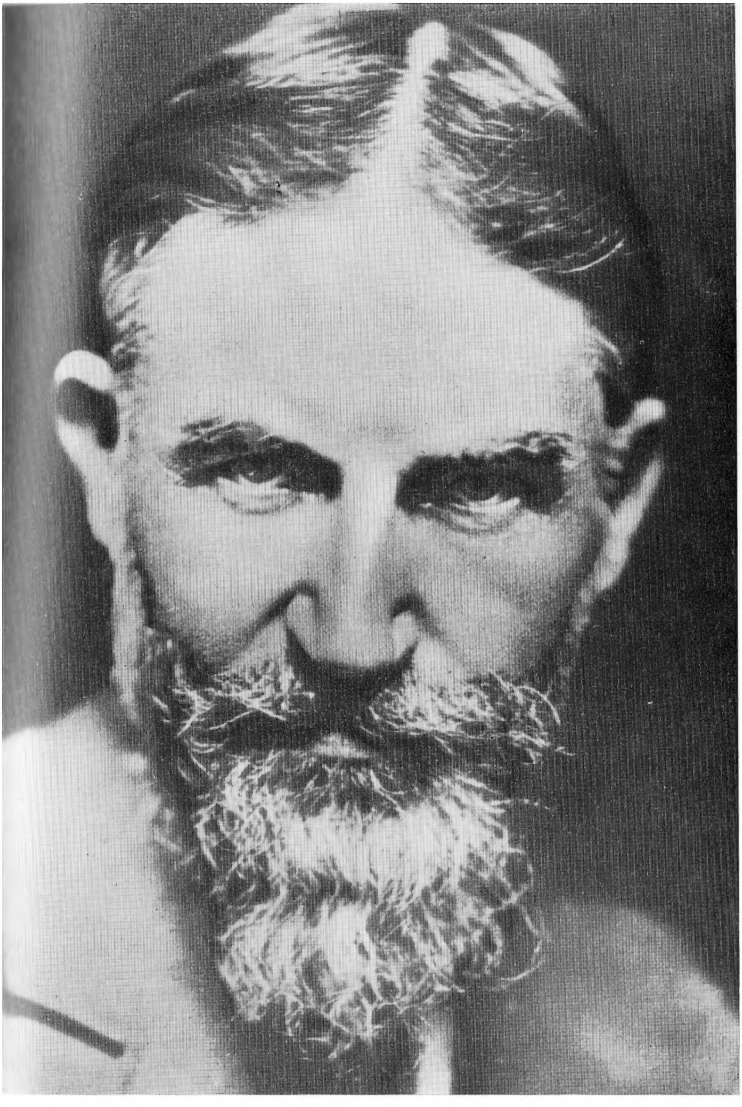
ДРУГОЙ ОСТРОВ ДЖОНА БУЛЛЯ

ББК 84.34 (Вл)
Ш81

Редактор тома Ю. В. Ковалев
Художник Б. В. Власов

Ш $\frac{70600\text{-}051}{025(01)\text{-}79}$ подписное 4703000000

© «Искусство», 1979 г.



Три пьесы для пуритан

УЧЕНИК ДЬЯВОЛА

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА

ОБРАЩЕНИЕ КАПИТАНА БРАСБАУНДА

Three Plays for Puritans

ПОЧЕМУ ДЛЯ ПУРИТАН?

Многое изменилось в моей жизни за два года, прошедших с тех пор, как я подарил миру свои «Приятные и неприятные пьесы». Тогда я только что вступил в четвертую годовщину своей деятельности критика лондонских театров. Театры едва не прикончили меня. Я выдержал семь лет борьбы с лондонской музыкой, четыре или пять — с лондонской живописью и примерно столько же с современной литературой, вкладывая в критическую битву с ними все свои силы и умение. Переход к деятельности театрального критика принес мне с точки зрения физических усилий огромное облегчение. Различие между праздностью персидской кошки и лямкой извозчичьей клячи не больше, чем различие между обязательным, раз или два в неделю, хождением театрального критика на спектакли и утомительной ежедневной беготней музыкального критика с трех часов пополудни, когда начинаются концерты, и до двенадцати ночи, когда заканчивается опера. С живописью было почти так же скверно. Как-то раз некий альпинист, взглянув на толстые подошвы моих башмаков, спросил меня, не занимаюсь ли я восхождением на горы. Нет, ответил я, эти башмаки предназначены для твердых полов лондонских выставочных залов. Все же было время, когда в часы, остающиеся свободными от моей деятельности новичка-революционера, я совмещал музыку с живописью, писал пьесы, книги и прочие трудоемкие вещи.

Но театр сбил меня с ног, как последнего заморыша. Я изнемог под его тяжестью, словно рахитичный младенец. Даже кости мои стали разрушаться, и прославленным хирургам пришлось долбить их и скоблить. Я упал с высоты и переломал себе конечности. Доктора сказали: «Этот человек двадцать лет не ел мяса! Ему либо придется есть его, либо он умрет». Я сказал: «Этот человек три года ходит в лондонские театры; душа его опустошена и наперекор природе пожирает тело». И я был прав. Я не стал есть мясо, но отправился в горы, где не было театров, и там я начал оживать. Слишком слабый, чтобы работать, я писал книги и пьесы. Тогда-то и появились вторая и третья пьесы этого сборника. И теперь я гораздо здоровее, чем был когда-либо,

с тех пор как впервые в качестве театрального критика переступил роковой порог лондонского балагана.

Почему же так получилось? Что произошло с театром, если здорового человека он может довести до смерти?

Это длинная история, но рассказать ее надо. Начнем хотя бы с того, почему я только что назвал театр балаганом.

Упитанный англичанин, хоть он до самой смерти остается мальчишкой, не умеет играть. Он не умеет играть даже в крикет или футбол; он считает своим долгом трудиться над ними. Именно поэтому он побеждает иностранца, который в них играет. По его понятиям, играть — значит валять дурака. Он умеет охотиться и стрелять, путешествовать и драться. Когда его приглашают на специальные праздничные торжества, он способен есть и пить, бросать кости, волочиться, курить и бездельничать. Но играть он не способен. Попробуйте превратить театр из места поучений в место развлечений, и театр сделается для него не то чтобы настоящим балаганом, но источником возбуждений для спортсмена и сластолюбца.

Однако среди современной столичной публики этот сытый английский недоросль занимает незначительное место. В длинных очередях, в которые каждый вечер выстраиваются около модных театров жаждущие зрители, мужчины вкраплены, как коринка в яблочном пироге. Большинство составляют женщины. Но и те и другие принадлежат к наименее здоровому из наших общественных классов — к тому классу, который получает от восемнадцати до тридцати шиллингов в неделю за сидячую работу и живет или в унылых меблированных комнатах, или же вместе со своими невыносимо прозаическими семьями. Эти люди ничего не понимают в театре: им не свойственны ни нетерпение философа постичь реальность (хотя реальность — это единственное, от чего он хотел бы уйти), ни жажда энергичного действия или удовлетворения, характерная для спортсмена, ни опытная, лишенная иллюзии чувственность упитанного богача, будь он джентльменом или трактирщиком. Они много читают и отлично ориентируются в мире популярных романов — этом рае для дураков. Они обожают красавца мужчину и красавицу женщину; им нравится видеть их обоих модно одетыми, в изысканной праздности, на фоне элегантных гостиных и увядающих садов, влюбленными, но влюбленными сентиментально и романтично: всегда ведущими себя как полагается леди и джентльменам. Все это безнадежно скучно зрителям партера, где места покупаются (если вообще п о к у п а ю т с я) людьми, у которых есть собственные

костюмы и гостиные и которые знают, что это всего-навсего маскарад, где нет никакой романтики и очень мало того, что интересовало бы большинство участников маскарада,— разве только тайная игра естественной распущенности.

Нельзя как следует изучить зрителей партера, если не принять в расчет, что среди них отсутствует богатый английский купец-евангелист со своим семейством и присутствует богатый еврейский коммерсант со своей семьей.

Я не склонен согласиться с мнением, что влияние богатых евреев на театр хуже, чем влияние богачей любой другой национальности. При прочих равных качествах люди в торговле наживают деньги пропорционально интенсивности и исключительности своего стремления к богатству. К несчастью, те, кто ценит богатство больше, чем искусство, философию и благоденствие общества, обладают, благодаря своей покупательной способности, возможностью влиять на театр (и вообще на все, что покупается и продается). Но нет никаких оснований считать, что их влияние более благородно, когда они воображают себя христианами, чем когда признают себя евреями. О влиянии евреев на театр можно по чести сказать лишь, что оно экзотично и что это не только влияние покупателя, но и влияние финансиста. И потому естественно, что доступ в театр облегчен тем пьесам и исполнителям, которые более соответствуют еврейскому вкусу.

Английского влияния на театр, если говорить о партере, не существует, потому что богатый, обладающий высокой покупательной способностью англичанин предпочитает церковь и политику: душа у него слишком неподатлива, чтобы очищаться с помощью явного лицедейства. Ему претит играть в чувственные или романтические идеи. Когда ему нужны чувственные удовольствия, он им предается. От драмы идей (а это самое большое, на что способна драма) он ждет поучений и ни за что другое, показываемое на сцене, платить не будет. Следовательно, театральная касса не станет проводником английского влияния до тех пор, пока театр не повернет от романтической любовной драмы к драме нравоучительной.

Перейдем теперь от партера ко всему зрительному залу и подумаем над смыслом того факта, что цены на места (кстати, слишком высокие) колеблются от полгинеи до шиллинга, а возраст зрителей — от восемнадцати до восьмидесяти лет; ведь каждый возраст и почти каждая цена билета представляют разные вкусы. Разве не ясно, что при таком разнообразии публики невозможно удовлетворить каждого отдель-

ного зрителя одним и тем же зрелищем? Ведь в этом царстве бесконечных причуд что здорово для одного — отрава для другого и предмет вожделений одного возраста другому омерзителен. И тем не менее почти все то время, что я был обречен судьбой посещать театры, они продолжали стремиться к этой своей цели.

С другой стороны, самым простым делом для них было бы заинтересовать людей разного возраста, общественного положения и темперамента, направляя их мысль на какое-либо важное для всех явление, как это делают проповедники и политики. Но театры отвергли этот путь, сочтя его разорительной эксцентричностью. Театральные мудрецы упорствовали в мнении, что у всех людей одинаковые вкусы, увлечения и страсти, но зато не найти и двух людей с одинаковыми интересами, а у большинства зрителей вообще нет никаких интересов. И поскольку это убеждение полностью противоречит очевидным фактам, большинство идущих в театрах пьес проваливалось, что было ясно даже вышеупомянутым мудрецам еще до окончания первого акта. Однако, неспособные извлечь урок, они снова кидались раздобывать и ставить пьесу, еще более строго отвечающую их теориям, и результат, соответственно, оказывался еще более катастрофическим. Количества денег, переходивших на моих глазах из карманов театральных спекулянтов и синдикатов в карманы парикмахеров, костюмеров, декораторов, плотников, швейцаров, актеров, антрепренеров и всех прочих, ради прибылей которых, по-видимому, только и существует большинство лондонских театров, между тем достало бы на содержание театра, который всецело посвятил бы себя высокой драме. Если бы члены обществ Шелли и Браунинга были дураками, как вышеупомянутые мудрецы называют их за то, что они поставили «Страффорд», «День рождения Коломбы» и «Ченчи», если бы руководители Независимого театра, Театра нового века и Театрального общества, ставящие Метерлинка и Ибсена, были непрактичными чудаками, то какой же эпитет был бы достаточно презрителен для ставящих так называемые «популярные» пьесы?

Актеры-антрепренеры были гораздо более удачливы, потому что они ставили пьесы, которые хотя бы нравились им самим; другие же, с их сложной теорией насчет того, как потрафить всем и каждому, ставили пьесы, которые не нравились никому. Однако их случайные удачи в эротических пьесах и тщательное замалчивание ими своих неудач только укрепляли представления, ошибочность которых полностью обнаруживалась, когда судьба пьесы целиком зависела от ее

собственных достоинств и недостатков. Даже Шекспира играли, вытравив из него всякую мысль.

В 1896 году, когда с Генри Ирвингом произошел несчастный случай, а мисс Эллен Терри очень болела и не появлялась на сцене, «Лицеум» пришлось закрыть после недолгих попыток продержаться на притягательности одной из сыгранных его труппой шекспировских пьес. Возможно, это вина Шекспира: недаром сэр Генри Ирвинг позднее жаловался, что он потерял на Шекспире громадную сумму денег. Но Шекспир, если бы только мог, ответил бы, что громадная сумма денег была истрачена не на его драматическую поэзию, а на пышные сценические ритуалы, сопровождавшиеся бессмысленным искажением текста. Все это было предложено публике, о которой известно лишь, что ей свойственны естественная склонность почитать Шекспира и недоверие и неприязнь к ритуалам.

Спору нет, эти зрелища в «Лицеуме» больше удовлетворяют эстетическое чувство и изысканное воображение, чем музыкальные фарсы, которые ставятся устроителями театральных рождественских увеселений (с такими же печальными для финансов результатами). Но и здесь и там налицо преднамеренное отсутствие мысли, опирающееся все на ту же теорию, будто публике мысль ни к чему, она не хочет думать и вообще не хочет от театра ничего, кроме развлечения. В отношении определенной части публики эта теория, к несчастью, верна. За этой частью публики театры ухаживали, и она пошла в театр, вытесняя прочих зрителей. В конце концов даже эта часть публики сообразила (а истинным ценителям театра это давно было ясно), что в обыкновенном производстве развлечений театру не под силу соперничать ни с другими искусствами, ни даже с пошлым флиртом. Из всего того, что только доступно лондонцу, театральные картины — самый худший вид картин, театральная музыка — самая скверная музыка, а театральные декорации — самые худшие декорации. Примадонна или первый любовник, вероятно, так же соблазнительны для сидящего в партере обожателя, как кушанья в витрине харчевни для стоящего на улице нищего бродяги. Но люди, полагаю, ходят в театр не для того, чтобы испытывать муки Тантала!

Крах такой театральной политики был показателен. Когда режиссеры пытались провести в жизнь свою теорию о том, что театр должен угождать всем, Необходимость, всегда иронически посмеивающаяся над Глупостью, толкнула их на поиски универсального развлечения. И так как многие невосприимчивы к музыке или безразличны к живописи, то ре-

жиссеры неизбежно вернулись к половому инстинкту, увидев в нем ключ ко всем сердцам. Конечно, это обращение к сексу могло привести только к одной неудаче. С позиций своего пола могу сказать, что примадонна не всем приходилась по вкусу: ее хорошенькое личико часто дурнело, когда она старалась придать ему выразительность, голос у нее при первом неискреннем слове терял обаяние (если вообще им обладал). Из-за национальных предрассудков креслам хотелось, чтобы она больше напоминала Ревекку, чем Ровену, а партер хотел обратного. Может показаться странным и даже чудовищным, что мужчина способен питать постоянную привязанность к безобразным ведьмам из «Макбета» и в то же время зевать при одной только мысли провести еще один вечер в созерцании соблазнительных форм и длинных ресниц прекрасно загримированной и модно одетой молодой и красивой примадонны. Но именно это происходит со мной в театре.

Я не считаю, что положение в театре улучшилось с появлением дамы, притворяющейся страшно темпераментной «женщиной с прошлым», или пьес, называемых «проблемными», даже когда режиссер, а иногда, подозреваю, и сам автор были твердо уверены, что слово «проблема» — это наимоднейший эвфемизм, употребляемый взамен того, что судья Шеллоу называл «bona roba».[1] *Конечно, ни режиссер и ни автор не рискнули бы и фартингом ради настоящей проблемы. Драматизм в этих, с позволения сказать, «проблемных» пьесах основывается на предвзятых умозаключениях и самых пошлых общепринятых взглядах относительно половой морали.*

Взгляды авторов проблем не содержали. Единственное, чего им хотелось, это добиться, хоть в малой степени, ибсеновской притягательности. Им казалось, что все ибсеновские героини — испорченные женщины, и они пытались сочинять пьесы, изображая своих героинь порочными, причем очень старались сделать их красивыми и нарядными. Таким образом, эта псевдоибсеновская пьеса представляла собой не более чем обычное пошлое театральное эротическое зрелище, доведенное до той степени откровенной порнографии, сколько позволяли приличия.

Я обнаружил, что вся эта эротическая театральщина, будь то Шекспир в «Лицеуме», музыкальный фарс или псевдоибсеновская пьеса, вызывает у меня отвращение, и не потому, что я ханжа или утончен до нетерпимости, а потому, что мне стало скучно. А скука — это такое состояние, при кото-

[1] Благопристойное обличье *(лат.)*.

ром человек так же чувствителен ко всему уродливому и раздражающему, как при головной боли к яркому свету и шуму. Будучи мужчиной, я разделяю общую глупость и вульгарность мужского отношения к сексу, что весьма удивляет женщин, для которых секс дело серьезное. Я не архиепископ и не притворяюсь, что всегда следую одним только высшим побуждениям и настроениям: напротив, признаюсь, причудливые похождения «Комедии плута» и «Карьеры мота» доступны мне в той же степени, как набожная высоконравственность «Знака креста». Например, Фальстаф, куда более грубый, чем любой из персонажей наших самых легкомысленных пьес, мне никогда не приедается. Меня не шокирует Долл Тершит, самая наипропащая из всех женщин. На мой взгляд, трагедия «Ромео и Джульетта» была бы гораздо скучнее, если бы из нее вымарали единственный дошедший до нас фрагмент разговора кормилицы с мужем. Нет, мое отвращение не было проявлением тонкокожей стыдливости. Когда моральное чувство возмущалось во мне, как это часто случалось, до самых глубин, то лишь из-за тошнотворного заигрывания театра с ходячей добродетелью. Если я презираю музыкальные фарсы, то потому, что они всегда пасовали перед пороком. При всех потугах установить взаимопонимание между дешевым комедиантом, отпускающим на сцене двусмысленные сальности, и подвыпившим школярам из партера, эти фарсы все время подчеркивают свою добропорядочность, патриотизм и верноподданничество, причем с той же жалостностью, с какой бедная уличная девица прикидывается пасторской дочкой.

Разумеется, меня не может не оскорблять, когда постановщик, с грубой откровенностью ублажающий меня, как ублажает пашу работорговец, предлагает мне забыть о человеческой близости между мной и актерами, поскольку не требует от них ничего, кроме соблазнительной внешности. Правда, лучшие наши театры до такой крайности не доходят. Продавцы, машинистки, клерки, те, кто, как я уже сказал, ничего не понимают в театре, никогда не посмели бы находить в этом удовольствие. А если бы даже и посмели, то этого не допустили бы наши режиссеры, которые, столкнувшись с единственным логическим следствием своего принципа видеть в театре храм удовольствий, с негодованием отказались бы переменить театральную профессию на профессию миссис Уоррен, ибо именно к этому сводятся, в конечном счете, все эти требования удовольствий, предъявляемые к театру.

И решение проблемы заключается не в том, что люди не должны стремиться к чувственным удовольствиям (тут

ничего не поделаешь), а в том, что театр не может доставить их, даже в пределах, допускаемых честью и совестью; театр — место, столь мало приятное и мало комфортабельное, что забыть о его неудобствах можно только тогда, когда он заставляет нас отрешиться от самих себя. Пьеса, которая не захватывает искателя удовольствий, очень скоро подскажет ему, что он выбрал малоприятный и дорогой способ провести вечер. Ему хочется пить, курить, переменить пьесу, отделаться от докучающих ему пожилых актеров и актрис и поглядеть на складных молоденьких танцовщиц и пластичных акробатов, проделывающих всякие забавные трюки. Словом, его тянет в мюзик-холл, куда он и отправляется, предоставляя постановщикам удивляться этому, для них неожиданному, но совершенно неизбежному следствию попыток доставить ему удовольствие.

Все было бы хорошо, если бы пьеса захватила его, пусть даже им овладел бы ужас; лишь бы ужас не овладел режиссером, драматургом и актерами, смертельно боящимися вызвать его неудовольствие.

Итак, мы приходим к выводу, что театр — это то место, неудобства которого зрители будут терпеть, когда забудут самих себя; то есть когда их внимание будет полностью поглощено, их интерес глубоко возбужден, их симпатии с готовностью отданы, а их себялюбие совершенно уничтожено. Подумайте же, каков бывает результат такого руководства театром, когда он взывает только к эгоистическим инстинктам людей, у которых нет ни внимания, ни интересов, ни симпатий, нет, короче говоря, ни ума, ни сердца. Такими и были театры, когда я писал о них,— вот поэтому они чуть было не погубили меня.

Однако намерения антрепренеров очень хороши. Чувство собственного достоинства у них, пожалуй, в избытке. Не зря же они ополчились против нравов богемы, отличавших актеров прошлых поколений, и теперь своей безупречной респектабельностью столь настойчиво стараются добиться общественного признания, что драма, забытая в этой борьбе, только-только робко начинает оживать в Англии после застоя, возникшего в шестидесятых годах, когда процветал Том Робертсон, и длившегося до девяностых годов, когда английскому актеру было впервые даровано дворянство. Режиссер, возможно, не жаждет хороших пьес, но он не хочет и плохих. Ему нужны пьесы изящные. Да, изящные пьесы, изящные костюмы, изящные гостиные, изящные герои — все это обязательно. Быть неэлегантным — хуже, чем провалиться! Я намеренно употре-

был слово «неэлегантный», ибо на сцене показывается жизнь, стоящая тридцать фунтов в день, не такой, как она есть на самом деле, а такой, какой ее представляют себе люди, зарабатывающие тридцать шиллингов в неделю. Реальность шокировала бы публику точь-в-точь так, как манеры студентов и школьников шокируют опекунский совет.

Потому и пьесы, являющиеся подлинной аристократией современной драматургии, наносят удар благоговению перед светскостью, которое правит нынешним театром. Возражение против Ибсена, например, не есть в действительности возражение против его философии; это возмущение тем, что его герои и героини ведут себя не так, как по общепринятым представлениям подобает леди и джентльменам. Если вы восхищаетесь Геддой Габлер в реальной жизни, завидуете ей, чувствуете, что ничто, кроме бедности, не мешает вам быть столь же утонченным созданием; если вы уверены, что внезапный брак (хотя бы с гвардейским офицером, который влюбится в вас, пока вы подсчитываете количество слов в телеграмме, поданной им через окошко) в любую минуту может поставить вас на место Гедды, то сделанное Ибсеном разоблачение пошлости и бесполезности ее жизни покажется вам жестоким и кощунственным.

Эту точку зрения не разделяют умные женщины того класса, к которому принадлежит Гедда. Они узнают лицо на портрете, аплодируют художнику, написавшему его, и понимают, что вся эта антиибсеновская суета означает не больше, чем мещанское возмущение тем, что Гедда обсуждает с судьей Браком ménage a trois.[1] *Беглое знакомство с популярными пьесами скоро убедило бы этих умных дам, что героиня, которая в последнем акте достигает искупления через самоубийство, может делать все, о чем Гедда только рассуждает, и никто — ни публика, ни пресса — ни одним словом не осудит ее. Возражают не против убийства, адюльтера, грабежа, — напротив. Возражают против недопустимого для леди взгляда на жизнь; иными словами — против посягательства на те общественные идеалы, которые дороги низшим слоям среднего класса и тому солидному пополнению, которое за последние двадцать лет они получили за счет выходцев из рабочего класса.*

Пусть только драматург занимает «джентльменскую» позицию — тогда его героини могут делать все, что хотят. Паолу Тэнкерей зрители встретили восторженно. А святую Терезу те же самые зрители освистали бы за ее презрение к идеалу,

[1] Жизнь втроем *(франц.)*.

который воплощен в модной портнихе, собственном выезде и дюжине слуг.

Хорошенькая проблема возникает здесь для режиссера! Он убежден, что драматизм пьесы зависит от того, насколько она взывает к половому инстинкту. В то же время недавно завоеванное им общественное положение требует, чтобы пьесы были вполне пристойны и пригодны для благочестивых прихожан. Следовательно, секс нужно подавать в границах благопристойности. Невозможно! — воскликнете вы. Ошибаетесь! Нет ничего более поразительного, чем масштабы, в которых в действительной жизни секс ограждается указанными границами, даже если это ведет к пожизненному сексуальному голоданию. Мало у кого достанет силы, чтобы подчиниться велениям какого-либо из наших инстинктов. Нас можно заставить жить в притворстве, что хорошо известно деспотическому меньшинству. Но робкое большинство, неспособное властвовать где бы то ни было, властвует, по крайней мере, в театре, и это вполне в порядке вещей, ибо единственное, что может существовать на сцене, это притворство. В жизни за показной внешностью таится реальная сущность. В театре нет ничего, кроме внешности.

Однако может ли театр показывать ласки любовников? Нет, тысячу раз нет! И думать не смейте о возможности подобных неджентльменских зрелищ. Если хотите, вам покажут точное воспроизведение драк, побегов, сожжений, судебных заседаний, стихийных бедствий, убийств, казней. Но не может быть и речи о том, чтобы столь же правдоподобно показывались проявления пола! Певец, танцор, обладающий драматическим талантом, изысканный декламатор пылких стихов, тонкий художник, привносящий элементы всех этих трех искусств в будничную работу театра, способные пленить публику одним выражением драматического чувства, могут сделать любовь предметом своего выступления. Но прозаический джентльмен наших модных театров, который реалистически симулирует житейские события, не может обратиться к этой теме, не нарушая приличий.

Может ли дилемма быть сложней? Любовь считается единственной темой, которая безотказно трогает всех сидящих в зрительном зале — молодых и старых, бедняков и богачей. И тем не менее любовь — единственная тема, за которую не смеет браться салонная пьеса.

Из этой очень старой дилеммы родилась романтическая пьеса — та, в которой любовь не допускается на сцену, хотя и предполагается, что это чувство — единственная побудительная причина всех показываемых зрителю поступков. В резуль-

ните человеческое поведение нестерпимо извращается (по крайней мере, на мой взгляд).

Есть два типа сюжетов, которые в самой основе своей представляются мне не только фальшивыми, но убого низменными. Один из них — это псевдорелигиозный сюжет, герой или героиня которого вершат добро из сугубо коммерческих побуждений. На земле они неохотно расходуют свой небольшой запас добродетели, надеясь, что это сторицей окупится на небесах. Очень похоже на то, как одалиска позволяет кади высечь себя за парочку миллионов золотом! Второй — это роман, герой которого, тоже неукоснительно расчетливый, все в жизни делает только ради героини. Конечно же, это в равной степени удручающе и далеко от жизни.

Сравните это с откровенно неприличным, по нашим понятиям, изображением любви в восточной литературе. Ни в одной из «Арабских сказок» (некоторые из них очень хороши) не соблюдается никакого декорума. В результате, все они бесконечно поучительнее, да и забавнее наших романов, ибо любовь в них изображается так же естественно, как всякая другая страсть. В них нет закостенелых условных понятий относительно последствий любви; нет ложного соотнесения ее телесности с общей порочностью характера, а ее сентиментальности — с общей возвышенностью; нет ложного убеждения, будто мужчина или женщина мужественны, дружелюбны и добры только тогда, когда они безрассудно влюблены (неужто не найдется какого-либо достаточно храброго поэта, который воспел бы Старых Дев Англии?); скорее мы найдем здесь настойчивое подчеркивание ослепляющей и ограничивающей силы любовной горячки — источника несчастий и неудач царственных героев.

Эти сказки, кроме того, делают очевидным ложность распространенного представления, будто интерес к этому самому капризному, непостижимому и быстротечному из всех инстинктов неисчерпаем, и будто поле английских романистов самым безжалостным образом сужено ограничениями, в рамках которых им дозволено писать о любви.

Свободный от подобных ограничений, рассказчик арабских сказок нагромождает целую кучу персонажей, приключений, чудес, тогда как английский романист, подобно голодному бродяге, думающему лишь о том, как бы насытиться, не может, по-видимому, сбросить с себя одержимость сексуальной темой и готов переписывать даже Евангелие, поскольку в стиле оригинального текста отсутствует экстатическая чувственность. Вслед за Мартином Лютером мы давно не требуем безбрачия

от священников. Однако мы все еще требуем его от нашего искусства. Результаты получаются очень нежелательные и неожиданные: ни один редактор, издатель или режиссер не примет теперь повести и не поставит пьесы без «любовной темы». Вот недавний пример — «Война миров» Герберта Дж. Уэллса, повесть о нашествии на землю марсиан. Великолепная история, от нее невозможно оторваться. Любовная тема несовместима с ее научной проблематикой: ничто не может быть более неуместным и досадным. Тем не менее г-ну Уэллсу пришлось сделать вид, что его герой влюблен в молодую особу, сочиненную для этой цели, и намекнуть, что только из-за нее он переживает тревогу по поводу, очевидно, неизбежного уничтожения человечества марсианами.

Еще один пример. Несколько лет назад один, недавно умерший, американский романист завоевал огромный успех, сочинив «Бостонскую утопию» на основе проектов, составленных небольшими группами убежденных коммунистов, которые со времен Фурье и Оуэна пытаются периодически создавать утопические колонии, вне рамок нашей коммерческой цивилизации. И даже в этой экономической утопии мы натыкаемся на неизбежную любовную интригу! Герой, проснувшись после волшебного сна в далеком будущем, встречает юную жительницу Бостона, сотворенную специально для того, чтобы он в нее влюбился. Все женщины в то время уже ходят в брюках. Но она, щадя чувства героя, добывает из музея древностей юбку и в его присутствии носит ее, дожидаясь, пока он не освоится с обычаями нового века. Когда я дошел до этого трогательного эпизода, я, подобно Паоло и Франческе, «ту книгу больше не читал». Увеличивать количество примеров не буду. Но если такого рода дурацкая чушь проникает даже в книги, где развиваются метеорологические и экономические гипотезы, то что же сказать о размерах, которых она достигает в чувствительных романах?

Самое худшее вот в чем. Так как человек по большей части мысленно представляет себя таким, каким его описывают в книгах, то он в конце концов приемлет ложное представление о себе самом, которое навязывает ему литература, и исходит из него в своих поступках. Если бы во всех зеркалах наши носы получались вдвое длиннее, мы жили бы и умирали в убеждении, что все мы Панчи, и считали бы правильное зеркало вещью, сделанной дураком, безумцем или шутом. Нет, я даже уверен, что, согласно закону приспособляемости, открытому Ламарком, мы увеличили бы наши носы до желаемых размеров. Я заметил: едва какой-нибудь тип лица, поя-

явившись в живописи, начинает вызывать восхищение как образец прекрасного, он сейчас же распространяется и в жизни. Сегодняшние Беатриче и Франчески картинных галерей, которым поэты посвящают стихи, озаглавленные «Моей возлюбленной», завтра оживают в типе лица горничных и официанток.

Если условности романа будут поддерживаться достаточно долго и единообразно (это условие гарантируется единообразием человеческой глупости и тщеславия), то для огромных масс, обученных грамоте в обязательном порядке, ничего, кроме романов, не читающих, эти условности превратятся в законы личной чести. Так, обязательной сделается ревность — а она ведь не что иное, как подлый эгоизм или особого рода помешательство. Ничтожные события, которые, если отнестись к ним естественно и просто, гроша ломаного не стоят, повлекут за собой (и уже влекут) катастрофы, остракизм, распад семьи, дуэлянтство, убийство, самоубийство, детоубийство. Людей станут бессмысленно истреблять на поле боя, поскольку, с точки зрения офицеров, их первый долг заключается в романтической демонстрации показной храбрости. А сквайра, который никогда и часа не урвет от охоты на приходские дела, признают патриотом, так как он готов убивать и быть убитым ради того, чтобы навязать свой образ жизни другим странам.

В судах дела будут решаться исходя из романтических, а не юридических принципов; при наложении штрафов и вынесении приговоров судьи будут прислушиваться к вздорным свидетельствам и отвергать или заглушать разумные показания, и это уничтожит самый смысл законов. Кайзеры, генералы, судьи, премьер-министры покажут пример того, как надо добиваться дешевой популярности. Любой писака обретет возможность играть на романтических иллюзиях людей, которых в обязательном порядке обучили грамоте, и будет водить этих людей за нос еще успешней, чем когда играли на их былом невежестве и предрассудках. Но почему я сказал «будет водить»? Это делается и теперь. Одно десятилетие чтения дешевой литературы превратило англичан из самой флегматичной нации Европы в самую истеричную и театральную.

Думаю, теперь ясно, почему театр был несносен для меня; почему от него пострадали и мое тело, и характер нации, почему, наконец, я призываю пуритан спасти английский театр, как они спасли его однажды, когда он в глупой погоне за удовольствием погрузился в светскую пустоту и безнравственность.

Пожалуй, в своем отношении к искусству я всегда был пуританином. Я люблю прекрасную музыку и совершенную архитектуру, как любили их Милтон, Кромвел и Беньян. Но если бы я увидел, что эти искусства систематически поклоняются чувственности, я почел бы за благо взорвать динамитом все соборы в мире вместе с их органами и прочими принадлежностями и не обратил бы никакого внимания на вопли искусствоведов и утонченных сладострастников. И когда я вижу, что девятнадцатый век взлелеял идолопоклонство перед искусством обожествления любви, и считает, что всякий поэт, провозгласивший, будто Любовь превыше всего, будто она — Все, Весь Мир, — не иначе, как заглянул в святая святых, я чувствую, что Искусство было в большей безопасности в руках любого из самых фанатичных кромвелевских генералов, чем оно будет в моих, если, конечно, когда-нибудь в них попадет.

Я симпатизирую наслаждению чувствами, я его разделяю. Но подменять интеллектуальную деятельность и честность чувственным экстазом — нет, это никуда не годится! Это уже привело нас к парламентскому обсуждению билля о телесных наказаниях и, в качестве реакции на него, к появлению на сцене женоподобных героев. Если эта эпидемия будет распространяться до тех пор, пока демократические позиции не превратятся полностью в романтические, реалистам, будь они филистеры или платоники, нечем будет дышать в нашей стране. И когда это случится, грубая и умная сила человека действия, который не терпит вздора, — человека бисмарковского склада — объединится с тонкостью и духовной энергией человека мысли, которого никакие подделки не смогут ни обмануть, ни увлечь. Этот союз противопоставит себя романтизму. И тогда горе романтизму: он рухнет, даже если ему придется увлечь за собой Демократию, — ибо все установления, в конце концов, должны опираться на природу вещей, а не на воображение.

ОБ ЭТИКЕ ПОКЛОННИКОВ ДЬЯВОЛА

Существует глупое убеждение, будто каждый автор должен писать так, чтобы его произведения сами говорили за себя, а если он объясняет их в предисловиях или послесловиях, значит, он плохой художник, вроде того живописца, на которого ссылался Сервантес и который подписал под своей картиной «Это петух», чтоб, чего доброго, никто не ошибся.

На это легковесное сравнение уместно ответить, что художники всегда снабжают свои картины такими ярлычками.

Что представляет собой каталог Королевской академии, как не серию утверждений, вроде: это — «Долина отдыха», это — «Афинская школа», это — «Холодный октябрь», это — «Его высочество принц Уэльский» и т. п.? Большинство драматургов не пишут предисловий к своим пьесам только потому, что не умеют: чтобы быть мастерами, им не обязательно быть и мыслящими философами, и опытными критиками. Выдавая свою неспособность за достоинство, они, естественно, либо отвергают предисловия, как нечто постыдное, либо же, напустив на себя скромность, просят какого-нибудь известного критика написать его для них, будто бы говоря тем самым: «Если я захочу сказать о себе правду, я поневоле покажусь хвастуном. А не говоря всей правды, я причиню себе ущерб и обману своих читателей». Что же касается критика, которого приглашают со стороны, то ему ничего не остается, как намекать, что необычайный драматический талант его друга превзойден только его прекрасными человеческими качествами.

Ну, а я думаю — к чему же поручать другому человеку хвалить меня, если я сам могу это делать? Мне не приходится жаловаться на свои возможности. Дайте-ка мне вашего лучшего критика, и я раскритикую его в пух и в прах. Если говорить о философии, то это я своей «Квинтэссенцией ибсенизма» научил критиков тому немногому, что они понимают в ней. А теперь они обращают на меня свои орудия — орудия, которые я же для них зарядил, и заявляют, что я пишу так, словно у людей есть Интеллект, но нет Воли или Сердца, как они называют Волю. Неблагодарные! А кто же научил вас различать между Волей и Интеллектом? Не Шопенгауэр, полагаю, а Шоу.

Еще они заявляют, что вот мистер такой-то не пишет предисловий и он ничуть не шарлатан. Ну а я шарлатан. Сначала я заставил британцев слушать меня, когда, стоя на повозке в Гайд-парке, произносил речи под трубные звуки духового оркестра. И я сделал это вовсе не потому, что волей-неволей жертвовал своей любовью к уединению ради политической необходимости, а потому, что я прирожденный скоморох, как все истинные драматурги и мимы. Я прекрасно понимаю, что рядовой британский гражданин требует, чтобы все скоморохи, платя дань уважения святости его ничтожной личной жизни, на которую он обречен из-за своей неспособности жить жизнью общественной, тем самым как бы признавали свою профессию постыдной.

Так, Шекспир сначала объявил: «Замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше этих веских слов», а потом,

в духе условностей эпохи, стал каяться: «Пред кем шута не корчил площадного». И так уж с тех пор повелось, что британец, забывая шекспировские фанфары, цитирует его покаянные слова.

Когда актриса пишет свои мемуары, она в каждой главе жалуется на жестокие страдания, пережитые ею из-за необходимости выставлять себя напоказ перед публикой. Однако она не забывает украсить книгу дюжиной своих портретов. Я, право, не могу сочувствовать этому требованию ложной скромности. Я не стыжусь ни своей работы, ни того, как я ее делаю. Я люблю разъяснять ее достоинства огромному большинству читателей, которые не умеют отличить хорошее произведение от плохого. Это приносит им пользу; это приносит пользу и мне, излечивая меня от нервозности, снобизма и лени. Я пишу предисловия подобно Драйдену и трактаты подобно Вагнеру, потому что умею это делать. Я отдал бы полдюжины шекспировских пьес за одно из тех предисловий, которые он должен был бы написать. Тишину уединения я предоставлю тем, кто считает, будто они прежде всего джентльмены, а уж потом литераторы. Для себя я выбираю ораторскую трибуну и сигнальную трубу.

Все это прекрасно. Но труба — это такой инструмент: чем больше в него трубишь, тем больше входишь во вкус. Временами я выдувал из своей трубы столь резкие звуки, что даже те, кого они больше всего раздражали, принимали новизну моего бесстыдства за новизну моих пьес и взглядов. Возьмем, к примеру, первую пьесу в этом томе, озаглавленную «Ученик дьявола». В ней нет ни единого хоть сколько-нибудь нового эпизода. Любому старому завсегдатаю театра «Адельфи», не будь он, как я далее объясню, совершенно зачарован моей пьесой, показались бы давно знакомыми и чтение завещания, и бедная сиротка, которая неожиданно нашла защитника, и арест, и героическое самопожертвование, и военный трибунал, эшафот, и отмена казни в последнюю минуту: он узнал бы все это, как узнает знакомые блюда в меню ресторана, где он постоянно обедает.

Но вот в 1897 году эту пьесу поставил в Нью-Йорке Ричард Мэнсфилд с таким успехом, который доказывает, что либо моя мелодрама была построена на очень солидной старой основе, либо американская публика сплошь состоит из гениев. И тут критики, хотя каждый из них по-своему оценил достоинства моей пьесы, единодушно признали ее новаторской — о р и г и н а л ь н о й, как они определили, на грани дерзкой эксцентричности.

На самом деле все это чепуха, если говорить об эпизодах, сюжете, композиции и обычных профессиональных и технических особенностях пьесы. Истина в том, что я во всем этом как драматург очень старомоден. Когда последний сборник моих пьес вызвал массу аналогичных разговоров — и враждебных и дружественных, — Роберт Бьюкенен, драматург, знающий в области истории столько же, сколько знаю я, и помнящий все, что помню я, указал, что мои сценические трюки, которые молодое поколение зрителей принимает как нечто неожиданное, уже давным-давно доставили успех фарсу «Холодна, как лед» и многим другим ныне забытым фарсам и комедиям школы Байрона — Робертсона, главной фигурой в которых был невозмутимо бесстыдный комик. Позднее реакция в пользу безмозглой сентиментальности вытеснила его со сцены. Примерно так бывает всегда: то, что ново для молодых, всего лишь возрожденная мода предпредпоследнего поколения.

Однако сценические приемы «Ученика дьявола» не являются, в отличие от некоторых в пьесе «Оружие и человек», забытыми трюками шестидесятых годов. Они — затасканные приемы нашего времени. Да, но почему же их не узнали? Отчасти, конечно, из-за того, что я много трубил в трубу и ораторствовал. Критики пали жертвой долгих гипнотических внушений, с помощью которых журналист Джи-Би-Эс создавал необычную репутацию Бернарду Шоу-драматургу.

В Англии, как и везде, действительно оригинальное произведение получает стихийное признание первоначально среди небольшой горстки людей. Оно распространяется крайне медленно: недаром сделалось расхожим мнение, что гений, просящий хлеба, получит камень, и то после смерти его владельца.

Лекарство против этого — энергичная реклама. И я рекламировал себя столь усердно, что теперь я, далеко еще не старый человек, оказался почти такой же легендарной личностью, как Летучий голландец. Критики, как вообще все люди, находят то, что ищут, а не то, что действительно есть перед ними. Они ищут в моих пьесах мои легендарные достоинства — и находят оригинальность и великолепие в самых банальных трюках. Если бы я переиздал под своим именем «Кораблекрушение на берегу» Бакстоуна, книгу приветствовали бы как новый шедевр, исполненный извращенных парадоксов и блистательной сатиры. Конечно, такое мнение высказали бы не первоклассные критики вроде вас, мой друг, читающий сейчас этот приговор. Ваше заблуждение относительно моей оригинальности значительно тоньше. В «Ученике дьявола» действительно есть новизна. Только она — не мое изобретение: это

новизна современной передовой мысли. Как таковая она постепенно утратит свой блеск, и тогда обнаружится, что «Ученик дьявола» — избитая мелодрама, чем она по своей технике действительно является.

Позвольте мне объяснить (ибо, как написал А. Б. Уокли в своем исследовании «Настроения», «я ничего собой не представляю, когда не выступаю с разъяснениями»). Дик Даджен, прозванный Учеником дьявола, — пуританин из пуритан. Он воспитан в семье, где пуританская религия умерла. Искаженная, она служит его матери для оправдания ее господствующей страсти — ненависти, сочетаемой с жестокостью и завистью. Извращение пуританства было в свое время драматически изображено Чарлзом Диккенсом в романе «Крошка Доррит» в образе семьи Кленнем; миссис Даджен как бы повторяет миссис Кленнем — с некоторыми незначительными отклонениями. Может быть, в ней запечатлены также кое-какие черты миссис Гарджери из диккенсовских «Больших ожиданий». В подобной семье юный пуританин Дик, для которого религия — настоятельная потребность его натуры, испытывает религиозное голодание. Он, как и его мать, всецело поглощен единой страстью. Но страсть эта не ненависть, а жалость — Дик жалеет дьявола, принимает его сторону и, подобно истинному ковенантору, сражается за него против всего мира. Как все подлинно религиозные люди, он становится нечестивцем и отщепенцем. Достаточно понять это, и вся пьеса покажется очень простой.

Позиция Ученика дьявола нова для сегодняшнего лондонского зрителя, но не для любителей серьезной литературы. Начиная от Прометея до вагнеровского Зигфрида среди героев самой возвышенной поэзии выделяется богоборец — бесстрашный защитник людей, угнетаемых тиранией богов. Наш новейший идол — Сверхчеловек, празднующий смерть бога, возможно, моложе, чем горы, но он так же стар, как пастухи.

Двести пятьдесят лет назад Джон Беньян, величайший из английских мастеров драматизировать жизнь, закончил одно из своих произведений словами, что дорога в ад, случается, ведет даже от врат небесных. Тем самым он толкнул нас к не менее верному предположению, что даже от ворот ада есть путь на небо. Сто лет назад Уильяма Блейка считали, как и Дика Даджена, Учеником дьявола. Своих ангелов Блейк называл дьяволами, а своих дьяволов — ангелами. Его Дьявол — это Искупитель.

Пускай те, кто превозносит оригинальность изображенной мною странной религии Дика Даджена, прочтут «Брак Неба

и Ада» Уильяма Блейка. Мне повезет, если после этого меня не обвинят в плагиате. Но зачем возвращаться к Блейку и Беньяну! Разве мои почитатели не слышали недавнего шума по поводу Ницше и его По ту сторону Добра и Зла? Роберт Бьюкенен написал длинную поэму, показав в ней Дьявола как героя милосердного. Эта поэма была у меня в руках, еще когда не было написано ни одного слова «Ученика дьявола». Появление «Ученика дьявола» в конце XIX века было неизбежностью. Век был чреват этой пьесой.

К сожалению, я должен добавить, что, когда эта пьеса в постановке Мэррея Карсона шла в течение нескольких недель октября 1899 года в пригородном театре (Кеннингтон), большинство лондонских критиков, моих старых друзей и коллег, не обнаружило никакого знакомства ни с пуританством, ни с проблемой Дьявола. Они приняли миссис Даджен, поверив ее собственной характеристике, за религиозную женщину, потому что она была на редкость противной. А Дика они сочли, опять-таки поверив ей, за негодяя, потому что он не был несимпатичным и противным. Далее критики остановились в недоумении. Почему же негодяй, рискуя своей жизнью, спасает жизнь человека, который вовсе не друг ему? Очевидно, заявили критики, потому, что Дика переродила любовь. Согласно романтической метафизике, именно так происходит на сцене со всеми злодеями.

К несчастью, для подобного объяснения (которого, признаюсь, я не понимаю), в третьем акте обнаруживается, что Дик и в этом отношении — истинный пуританин — человек, движимый только милосердием; ни жена и мать, ни церковь и государство, ни жажда жизни и голос плоти не в силах руководить им или изменить его намерения. В уютном доме священника, человека мужественного, гуманного, разумного, который женат на прелестной женщине моложе его двадцатью годами и который мгновенно преображается в солдата, чтобы избавить своего спасителя от смерти, — Дик оглядывается вокруг, проникаясь очарованием, покоем, святостью и в то же время понимая, что материальный комфорт не для него. Когда женщина, взлелеянная в этой атмосфере, влюбляется в него и решает (совсем как критики, которые почему-то всегда разделяют точку зрения моих сентиментальных героинь), что он рисковал своей жизнью ради нее, Дик разъясняет ей очевидную истину, что он поступил бы точно так же ради первого встречного. Не выгода и не страсть — сама его натура не позволяет ему объявить, что петлю с его шеи следует снять, чтобы накинуть ее на шею другого.

Но тогда, спрашивают критики, где же мотивировка? Почему Дик спасает Андерсона? Очевидно, что на сцене люди совершают поступки, имея на то «мотивы». В жизни все бывает иначе. Вот почему так удручающе скучны и так автоматичны заводные герои, которые начинают действовать только тогда, когда вы заводите в них пружину «мотива». Спасти кому-то жизнь, рискуя своей, это не частый случай. Однако население современного мира столь велико, что мы слышим о самых необычных событиях каждую неделю, а то и чаще. Многим из моих критиков сотни раз приходилось читать в своей газете, как некий полицейский, пожарный или няня за спасение чьей-то жизни с риском для собственной награждены медалью, благодарственной грамотой магистрата, а иногда, возможно, и похоронами на общественный счет. Но доводилось ли моим критикам читать в добавление к этому, что спасенный был мужем женщины, которую любил спасший его человек? Или что спасена была сама эта женщина? Или что спаситель знал того, кого спас, хотя бы с виду? Нет, не доводилось. Когда нам хочется почитать о делах, свершенных ради любви, к чему мы обращаемся? К хронике убийств, и тут мы редко бываем разочарованы.

Нужно ли повторять еще раз, что из-за профессиональной косности театральный критик перестает понимать связь между реальной жизнью и сценой? Что он утрачивает естественную привычку обращаться к первой, чтобы объяснять вторую? Критик, обнаруживший романтические мотивы в самопожертвовании Дика, был не просто литературным мечтателем, но и толковым адвокатом. Он указал, что Дик безусловно обожал миссис Андерсон, что именно ради нее готов был пожертвовать собственной жизнью, дабы спасти ее любимого мужа, что решительное отрицание им своей страсти было благородной ложью джентльмена, чье уважение к замужней женщине и долг по отношению к ее отсутствующему мужу наложили печать молчания на его трепещущие страстью уста. В тот момент, когда было высказано это пагубное своим правдоподобием объяснение, «Ученик дьявола» перестал быть моей пьесой и стал пьесой моего критика. И с этих пор Дик Даджен на каждом спектакле подтверждал правоту моего критика тем, что, тихонько заняв место позади миссис Андерсон, он вслух начисто отрицал свою любовь к ней и в то же время молча выражал свою страсть, украдкой запечатлевая печальный поцелуй на ее локоне. Я же в неведении всего этого бродил тогда по улицам Константинополя. Когда я вернулся, было уже поздно. Мои личные отношения с критиком и акте-

ром удержали меня от проклятий в их адрес. У меня не было даже возможности публично заявить, что я их прощаю. Они желали мне добра. Но если им когда-нибудь придется написать пьесу, дай бог, чтобы разъяснял ее я![1]

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ШЕКСПИР?

Что касается остальных пьес этого тома, то в применении к ним его заглавие менее понятно, потому что Юлий Цезарь, Клеопатра и леди Сесили Уайнфлит на первый взгляд политически с пуританизмом не связаны. Само имя Клеопатры сразу наводит на мысль о трагедии Цирцеи, с той ужасной разницей, что античный миф правильно говорит о Цирцее, обращающей героев в свиней, тогда как современная романтическая условность заставила бы ее обращать свиней в героев. Шекспировских Антония и Клеопатру совсем не приемлет истинный пуританин, а на нормального рядового гражданина они действуют как-то удручающе: Шекспир, правдиво обрисовав вначале погрязшего в разврате солдата и обыкновенную распутницу, в чьих объятиях погибают такие мужчины, затем вдруг могучей властью своей риторики и сценического пафоса придает театральную возвышенность злосчастному окончанию этой истории, внушая глупым зрителям, что его герои поступили красиво, отдав все — весь мир — за любовь. Такую фальшь не может вытерпеть никто, кроме действительно существующих антониев и клеопатр (их можно встретить в любом кабаке), которые, разумеется, были бы рады, если бы какой-нибудь поэт преобразил их в бессмертных любовников.

Но горе поэту, который снизойдет до подобной глупости! Человек, который видит жизнь в истинном свете, а истолковывает ее романтически, обречен на отчаяние. Как хорошо знакомы нам вопли этого отчаяния! «Суета сует и всяческая суета», — стонет проповедник, когда жизнь в конце концов доказывает ему, что Природу не заставишь танцевать под дудку его морали. А столетия спустя Теккерей продолжает выть на луну все в тех же выражениях. «Дотлевай, огарок», —

---

[1] Когда я отдал эти страницы в печать (сентябрь 1900 года), критики в Йоркшире осудили, словно какое-то святотатство, появление на сцене их театра Дика Даджена, воплощаемого Форбс-Робертсоном. «Законченный негодяй» — так аттестовали они этого Дика. Подобный случай стоит запомнить, ибо он свидетельствует, как крепко спит моральное чувство в людях, вполне удовлетворенных общепринятыми формулами достойного поведения.

восклицает Шекспир в своей трагедии о современном поэте, представленном в роли убийцы, совещающегося с ведьмами. Но пришло время, когда иссякло наше снисхождение к писателям, которые, встав перед вопросом, что делать — то ли отвернуться в отчаянии от жизни, то ли вышвырнуть вон негодные моральные кухонные весы, на которых они пытаются взвешивать вселенную, — суеверно цепляются за весы и тратят остаток своей жизни, притворяясь, что презирают ее, на то, чтобы отравлять сознание людей.

Даже впав в пессимизм, мы можем выбирать между интеллектуальной честностью и обманом. Хогарт рисовал распутника и шлюху, не восславляя их конца. Свифт, принимая наш моральный и религиозный кодекс и исходя из него, устами императора Бробдингнега вынес нам неумолимый приговор и изобразил человека в образе йэху, возмущающего всем своим поведением лошадь, более благородную, чем он. Стриндберг, единственный ныне живущий подлинный продолжатель Шекспира в драме, показывает, что самка йэху, с точки зрения романтического стандарта, куда подлее, чем одураченный и порабощенный ею самец. Я уважаю таких решительных авторов трагикомедий: они последовательны и преданы истине; они прямо ставят перед вами альтернативу — либо признать основательность их выводов (и тогда оставаться в живых — трусость), либо же согласиться, что ваш способ судить о человеческом поведении абсурден. Но я не чувствую никакого уважения к Шекспирам и Теккереям, когда они смешивают все представления в одну кучу и, убив кого-нибудь в финале, затем, словно гробовщик, протягивают вам натертый луком носовой платок, исторгая у вас слезы чувствительной фразой вроде: «И ангелы с песнопением будут сопровождать тебя к вечному покою», «Adsum»[1] *или что-нибудь в таком же роде. Эта сентиментальщина, возможно, производит впечатление на трезвенников, напивающихся чаем, но не на меня.*

Кроме того, у меня имеется профессиональное возражение против того, чтобы делать сексуальное безумство темой трагедии. Опыт учит, что оно производит впечатление, только когда подается в комическом свете. Мы можем принять миссис Куикли, закладывающую свое блюдо из любви к Фальстафу, но не Антония, из любви к Клеопатре бегущего с поля битвы при Акциуме. Если уж это необходимо, пусть сексуальное безумство будет предметом изображения в реалистическом повествовании, объектом критики в комедии, поводом для лоша-

[1] «Я предстаю...» — начало грегорианской молитвы.

диного ржания сквернословов. Но требовать, чтобы мы подставляли душу его разрушительным чарам, поклонялись ему и обожествляли его, и внушать нам, что только оно одно придает ценность нашей жизни, — чистая глупость, доведенная до эротического помешательства: по сравнению с ней тупое пьянство и нечистоплотность Фальстафа высоконравственны и почтенны. Тот, кто думает найти на страницах моей пьесы Клеопатру в виде Цирцеи, а Цезаря — в виде свиньи, пусть лучше отложит в сторону книгу и тем избавит себя от разочарования.

В Цезаре я показываю характер, уже показанный до меня Шекспиром. Но Шекспир, так глубоко понимавший человеческую слабость, никогда не понимал, что такое человеческая сила цезаревского типа. Его Цезарь — это общепризнанная неудача; его Лир — непревзойденный шедевр. Трагедия разочарования и сомнения, отчаянной борьбы за то, чтобы удержаться на зыбкой почве, трагедия, возникшая в результате глубочайших наблюдений над жизнью и тщетных попыток приписать Природе честность и нравственность; трагедия воли, безверия и острого зрения, воли колеблющейся и слишком слабой, чтобы притупить остроту зрения, — из всего этого создается Гамлет или Макбет, всему этому бурно аплодируют литературно образованные джентльмены. Но Юлия Цезаря из этого не создашь. Цезарь был вне возможностей Шекспира и недоступен пониманию эпохи, у истоков которой стоял Шекспир и которая теперь быстро клонится к упадку. Шекспиру ничего не стоило принизить Цезаря — это был просто драматургический прием, с помощью которого он возвысил Брута. И какого Брута! Законченного жирондиста, отраженного в зеркале шекспировского искусства за два столетия до того, как он созрел в действительности, стал ораторствовать и красоваться, пока ему, наконец, не отрубили голову более грубые антонии и октавии нового времени, которые, по крайней мере, понимали, в чем отличие между жизнью и риторикой.

Вероятно, скажут, что единственная цель этих моих замечаний — предложить публике Цезаря лучшего, чем шекспировский. Совершенно справедливо, цель их действительно такова. Но здесь разрешите мне дружески предостеречь писак, которые постоянно возмущаются моей критикой Шекспира и кричат, что я богохульствую, посягая на Совершенство и Непогрешимость, которые доныне никем не оспаривались. Моя критика Шекспира, однако, не новее, чем символ веры моего предавшегося Дьяволу пуританина или чем возрожденная мною эксцентриада фарса «Холодна, как лед». Те, кто слишком удивляется моим стать-

ям, обнаруживают весьма ограниченное знание шекспировской критики, которое не включает в себя ни предисловий доктора Джонсона, ни высказываний Наполеона. Я только повторил на языке моего собственного времени и в духе его философии то, что сказали они на языке своей эпохи и в духе ее философии. Не давайте сбить себя с толку шекспироманам, которые еще со времен Шекспира восторгаются его пьесами точно так же, как могли бы восторгаться какой-нибудь особой породой голубей, если бы не умели читать. Подлинные ценители Шекспира, от Бена Джонсона до Фрэнка Хэрриса, всегда держались (так же как и я) в стороне от этого идолопоклонства.

Что же касается рядовых, лишенных критической способности граждан, то они целых три столетия медленно тащились вперед к той вершине, которой Шекспир достиг одним прыжком еще в елизаветинские времена. Сейчас большая их часть как будто добралась до нее, а другие уже где-то невдалеке. В результате пьесы Шекспира начинают наконец показывать в том виде, как он их написал. Бесчисленное количество безобразных фарсов, мелодрам и пышных зрелищ, которые актеры-режиссеры — от Гаррика и Сиббера до наших современников — вырубали из его произведений, как вырубают крестьяне камни из Колизея для своих хижин, мало-помалу исчезают со сцены.

Примечательно, что люди, искажавшие Шекспира и не внимавшие уговорам, что он знал свое дело лучше, чем они, всегда были самыми фанатичными из его поклонников. Покойный Огастин Дейли не останавливался ни перед какой ценой, чтобы пополнить свою коллекцию шекспировских реликвий, но, приспособляя к сцене произведения Шекспира, он исходил из убеждения, что тот был ремесленник, а он, Дейли, — художник. Я слишком хорошо знаю Шекспира, чтобы простить Генри Ирвинга, который так изуродовал «Короля Лира» в своей постановке, что многочисленные критики, никогда не читавшие этой трагедии, не смогли разобраться в истории Глостера. Эти поклонники Барда, очевидно, сочли Форбс-Робертсона сумасшедшим за то, что он вернул на сцену Фортинбраса и играл «Гамлета» столько, сколько позволяло время, и никак не меньше. Немедленный успех его эксперимента вызвал в их умах, кажется, только одно заключение: что публика тоже сошла с ума. Бенсон ставит всю эту пьесу в двух частях, вызывая у вышеупомянутых многочисленных критиков наивное удивление, что Полоний — художественно законченный и интересный характер. Огульное восхваление Шекспира, столь хорошо нам знако-

мое, возникло в эпоху, когда творчество его было малоизвестно и недоступно пониманию. Возрождение подлинно критического изучения этих произведений совпало с театральным движением, цель которого — ставить подлинно шекспировские спектакли вместо глупых подделок. Но довольно о бардопоклонстве!

Из всего этого, однако, не вытекает, что право критиковать Шекспира предполагает способность писать пьесы лучше, чем он. И действительно — не удивляйтесь моей скромности, — я не претендую на то, чтобы писать пьесы лучше шекспировских. Сочинение пригодных для постановки пьес не предоставляет человеческому таланту слишком большого простора. Драматурги, которые преувеличивают сложность этого дела, просто хвастаются. Вершины в их искусстве достигались не раз и не два. Никто не напишет трагедии лучше, чем «Король Лир», комедии лучше, чем «Каменный гость» или «Пер Гюнт», оперы лучше, чем «Дон Жуан», музыкальной драмы лучше, чем «Кольцо нибелунга», или даже салонных пьес и мелодрам лучше тех, что теперь поставляются авторами, даже в насмешку не именуемыми бессмертными.

Изменяется философия, мировоззрение, но не драматургическое мастерство. Поколение, столь основательно пропитанное нравственностью и патриотизмом, что считает всякое добродетельное негодование духовно плодотворным, убивает убийцу и грабит вора и в то же время простирается ниц перед всевозможными идеалами — общественными, военными, церковными, монархическими и религиозными, — такое поколение, с моей точки зрения, погрязло в заблуждениях. Но оно не терпит недостатка в пьесах, написанных так хорошо, как только может писать перо человека. Только этих пьес не станут ни писать, ни любить люди, в философии которых вина и невинность, и, следовательно, возмездие и идолопоклонство лишены смысла. Таким людям придется переписывать все старые пьесы в терминах их собственной философии. Вот почему, как указал Стюарт Гленни, не может быть новой драмы без новой философии. А я к этому могу добавить, что без нее не может быть ни Шекспира, ни Гете, как не может быть и двух Шекспиров в одну философскую эпоху, поскольку (об этом я уже говорил) великий человек, первым пришедший в свою эпоху, пожинает весь урожай и низводит тех, кто приходит после, до уровня обыкновенных собирателей упавших колосьев или, что еще хуже, до уровня глупцов, прилежно и бессмысленно повторяющих на сжатом поле движения жнеца и вязальщика снопов.

Какой смысл писать пьесы или рисовать фрески, если вы не способны поведать или показать больше, чем поведали и по-

казали Шекспир, Микеланджело и Рафаэль? Если бы они не увидели жизнь иначе — хуже или лучше, неважно, — чем видели ее драматурги Таунлейских мистерий или Джотто, они никогда не смогли бы создать свои произведения. Никогда, даже если бы они вдвое лучше владели пером или кистью. После них не было необходимости (а только одна необходимость дает людям мужество переносить все преследования, сопровождающие рождение нового искусства) создавать то, что было уже создано.

Но вот наступило время, когда их философия изжила себя и новое племя поэтов и критиков девятнадцатого века — от Байрона до Уильяма Морриса — начало сперва прохладно отзываться о Шекспире и Рафаэле — этих мастерах Ренессанса, затмивших средневековое искусство, а затем заново открывать в средневековье некоторые забытые элементы, созревающие для нового урожая. Больше того, критики и поэты начали сознавать, что техническое мастерство Шекспира и Рафаэля отнюдь не было совершенным. И действительно, пусть кто-нибудь возьмется доказать, что творцы великих эпох в истории искусства обязаны своим положением техническому мастерству. Правда, когда нужно привести пример превосходного владения языком или графической линией, мы не можем вспомнить никого, кто был бы лучше Шекспира и Микеланджело. Но искусство их не принесло плодов, ибо художники последующих поколений пытались добиться величия, копируя их технику. Эта техника была освоена, отшлифована и неоднократно превзойдена. Однако превосходство двух великих образцов по-прежнему оставалось несомненным.

Легко заметить, что в каждом поколении рождаются люди, одаренные незаурядными специальными способностями к искусствам, математике, лингвистике; но, вследствие отсутствия у них новых идей или вообще каких-нибудь заслуживающих внимания идей, они не достигают успеха за пределами мюзик-холлов или школьных аудиторий, хотя умеют с легкостью делать такие вещи, какие великие творцы делали нескладно или же не умели делать вовсе. Презрение какого-нибудь академического педанта к художнику оригинальному часто основано на действительном превосходстве его технических познаний и навыков. С точки зрения анатомии его рисунки иногда могут быть лучше рисунков Рафаэля. Он может владеть тройным контрапунктом лучше Бетховена или быть лучшим версификатором, чем Байрон. Да что говорить, это справедливо не только в отношении педантов, но и в отношении людей, которым удалось создать произведения искусства, имеющие определенное значение. Если бы тайна великого искусства заключалась только

в техническом мастерстве, то Суинберн был бы выше Браунинга и Байрона, взятых вместе, Стивенсон выше Скотта или Диккенса, Мендельсон выше Вагнера, а Маклиз — выше Мэдокса Брауна.

Кроме того, новые идеи создают свою технику так, как прокладывает себе русло вода. Человек, владеющий техникой, но не имеющий идей, бесполезен, как тот строитель канала, который не наполняет его водой, хотя он, возможно, весьма искусно проделывает то, что Миссисипи делает очень грубо. Чтобы покончить с этим вопросом, остается заметить, что великие художники обычно становились профессионалами еще до того, как новые идеи захватывали их целиком, требуя постоянного своего выражения в творчестве. В этих случаях мы вынуждены признать, что если бы этому художнику случилось умереть раньше, то он никогда не достиг бы величия, даже если б его профессиональная квалификация была уже достаточно высокой. Ранние подражательные произведения великих людей обычно намного ниже лучших работ их предшественников. Вообразите, что Вагнер умер бы, создав только «Риенци», а Шелли — только «Застрояцци»! Решился ли бы тогда кто-нибудь из компетентных критиков сравнивать техническое мастерство Вагнера с мастерством Россини, Спонтини и Мейербера, а мастерство Шелли — с мастерством Мура?

Рассмотрим вопрос с другой стороны. Можно ли предположить, что, если бы Шекспиру были уже доступны философские идеи Гете или Ибсена, он выразил бы их с меньшим искусством, чем они? Учитывая характер человеческих способностей, можно ли предполагать, что в наше время возможен прогресс в искусстве (я не говорю о внешних условиях его существования), в области его выразительных и изобразительных средств, который позволил бы писателю попытаться, не выставляя себя на посмешище, выразить то, что он имеет сказать, лучше, чем это делали Гомер или Шекспир? Но даже самый робкий автор, а тем более автор самонадеянный, вроде меня, вправе утверждать, что он сможет в наши дни сказать то, чего ни Гомер, ни Шекспир никогда не говорили. И наш зритель с полным основанием ждет, чтобы исторические события и исторические деятели показывались ему в современном истолковании, даже если раньше и Гомер и Шекспир показали их в свете своего времени. Например, Гомер в «Илиаде» показал миру Ахилла и Аякса как героев. Потом пришел Шекспир, который, в сущности, сказал: «Я никак не могу считать великими людьми этого избалованного ребенка и этого здоровенного дурака только потому, что Гомер превознес их, желая потра-

фить вкусам греческой галерки». Соответственно в «Троиле и Крессиде» мы находим приговор, вынесенный им обоим шекспировской эпохой (и нашей собственной). Это, однако, ни в коей мере не означало, что Шекспир считал себя более великим поэтом, чем Гомер.

Шекспир, в свою очередь, подошел к созданию Генриха V и Юлия Цезаря с позиций своей, по сути дела, рыцарской концепции великого правителя-полководца. А в девятнадцатом веке появился немецкий историк Моммзен, который тоже избрал своим героем Цезаря и показал огромную разницу в масштабе личностей «совершенного рыцаря» Верцингеторикса и его великого победителя Юлия Цезаря. В Англии Карлейль, исполненный чисто крестьянского воодушевления, уловил характер того величия, которое ставит подлинного героя истории намного выше феодального preux chevalier,[1] *чья фанатичная личная честь, отвага и самопожертвование основаны на жажде смерти, возникающей вследствие неспособности выдержать бремя жизни, поскольку жизнь не обеспечивает им идеальных условий. По существу, это единственное открытие и составляет весь основной капитал Карлейля; его оказалось достаточно, чтобы обеспечить ему видное место среди признанных литераторов.*

С течением времени, когда Моммзен стал стариком, а Карлейля нет уже в живых, явился я и показал известное теперь уже всем различие между двумя типами героизма в драме «Оружие и человек», столкнув в комедийном конфликте рыцарственного болгарина и моммзеновского швейцарского капитана. И тут зрители, которые в своем большинстве еще не читали Шекспира, не говоря уже о Моммзене или Карлейле, подняли такой вопль в защиту своего рыцарственного идеала, словно никто со средних веков не посягал на его состоятельность. Пусть бы они лучше поблагодарили меня за то, что я их просветил.

И пусть они разрешат мне показать им теперь Цезаря в столь же современном освещении и отнестись к Шекспиру с такой же свободой, с какой он отнесся к Гомеру. При этом я не претендую на то, чтобы выразить моммзеновский взгляд на Цезаря лучше, чем Шекспир выразил взгляд, который не был даже плутарховским. Скорее всего, подозреваю, этот взгляд восходил к традиции театральных завоевателей, которую утвердил Марло своим «Тамерланом», и к рыцарскому представлению о героизме, воплощенному в Генрихе V. Со своей стороны,

[1] Доблестный рыцарь *(франц.)*.

могу признаться, что изобретательность, юмор и чувство сцены, на которые я оказался способен в «Приятных пьесах» и «Неприятных» и в этих «Трех пьесах для пуритан», находились во мне под спудом, пока я, наконец, не увидел старые факты в новом освещении. Я, по-моему, не способен в области драматургической техники делать что-то иначе, чем делали до меня мои предшественники.

Правда, вы найдете в моих пьесах наисовременнейшие технические улучшения. Так, действие у меня развивается без помощи немыслимых монологов и реплик в сторону. Чтобы входить на сцену и уходить с нее, моим героям не требуется четырех дверей там, где в настоящей жизни была бы одна. Но мои сюжеты — это старые сюжеты, и мои персонажи — это наши знакомые Арлекин и Коломбина, Клоун и Панталоне (обратите внимание на прыжок Арлекина в третьем акте «Цезаря и Клеопатры»). Мои сценические трюки, остроты, паузы, шутки,— средства держать зрителей в напряжении или приводить их в трепет — были в моде, когда я был мальчишкой, и к тому времени они уже успели приесться моему дедушке. Молодежи, которая впервые знакомится с ними в моих пьесах, они, возможно, покажутся новаторскими, как нос Сирано кажется тем, кто никогда не видал нос Панча. В то же время в глазах старшего поколения мои неожиданные попытки заменить условную мораль и романтическую логику естественной историей могут столь сильно видоизменить бессмертных театральных марионеток с их неизбежными дилеммами, что какое-то время они останутся неузнанными.

Тем лучше для меня: возможно, что на ближайшие несколько лет бессмертие мне обеспечено. Однако стремительный бег времени скоро приведет публику к моей точке зрения, и тогда очередной Шекспир претворит мои скромные опыты в шедевры, венчающие их эпоху. К тому времени мои особенности, характерные для двадцатого века, не будут привлекать ничьего внимания, как нечто само собой разумеющееся, а искусственность восемнадцатого века, характерная для всех ирландских литераторов моего поколения, будет казаться глупой и старомодной.

Опасная это штука, когда тебя сразу же провозгласят оригинальным, как провозгласили меня мои немногие опрометчивые поклонники. Но то, что мир называет оригинальным, — всего лишь непривычный способ щекотать нервы. Мейербер показался парижанам страшно оригинальным, когда впервые обрушился на них. А сегодня он — ворона, последовавшая за плугом Бетховена. Я и сам ворона, идущая вслед за плугами многих.

Конечно, я кажусь невероятно умным тем, кто никогда не рыскал, голодный и любознательный, по полям философии, политики и искусства. Карл Маркс сказал, что Стюарт Милль кажется высотой потому, что кругом сплошная равнина. В наше время — время бесплатных школ, всеобщей грамотности, дешевых газет и, как следствие этого, растущего спроса на знаменитостей всякого рода — литературных, политических, военных и просто модных, о которых пишутся статьи, — подобного рода высота доступна любому человеку весьма скромных способностей. Репутации нынче дешевы. А даже если бы они и стоили дорого, ни один честолюбивый общественный деятель в мире не может надеяться на долговечную славу: ведь это значило бы надеяться на то, что наша культура никогда не поднимется выше уже достигнутого жалкого уровня. Мне ненавистна мысль о том, что слава Шекспира длится уже целых триста лет, хотя он двинулся не дальше священника Когелета, который умер за много столетий до него, или о том, что живший более двух тысячелетий назад Платон до сих пор еще недостижим для наших избирателей.

Мы должны торопиться. Мы должны покончить с репутациями: они — сорная трава, возрастающая на почве невежества. Обработайте эту почву, и репутации зацветут еще краше, но только как однолетки.

Если это предисловие поможет уничтожить мою репутацию, я сочту, что затраченный на его сочинение труд не пропал даром.

Серрэй, 1900

УЧЕНИК ДЬЯВОЛА

Мелодрама

1896 – 1897

THE DEVIL'S DISCIPLE

Зимою 1777 года, в унылый час между черной ночью и хмурым утром, миссис Даджен бодрствует в своем доме на окраине городка Уэбстербриджа, штат Нью-Хэмпшир, в кухне, которая в то же время служит и жилой комнатой. Миссис Даджен нельзя назвать привлекательной. Ночь, проведенная без сна, не красит женщину, а миссис Даджен и в лучшие минуты своей жизни кажется угрюмой и мрачной от суровых складок на лице, которые говорят о крутом нраве и непомерной гордости, обуздываемых окаменелыми догмами и традициями отжившего пуританства. Она уже немолода, но жизнь, полная трудов, не принесла ей ничего, кроме полновластия и одиночества в этом неуютном доме да прочной славы доброй христианки среди соседей, для которых пьянство и разгул все еще настолько заманчивее религии и нравственных подвигов, что добродетель представляется им попросту самобичеванием. А так как от самобичевания недалеко и до бичевания других, то с понятием добродетели стали связывать вообще все неприятное. Поэтому миссис Даджен, будучи особой крайне неприятной, почитается крайне добродетельной. Если не говорить о явных злодеяниях, ей все дозволено, кроме разве каких-либо милых слабостей, и в сущности она, сама того не зная, пользуется такой свободой поведения, как ни одна женщина во всем приходе, лишь потому, что ни разу не преступила седьмой заповеди и не пропустила ни одной воскресной службы в пресвитерианской церкви.

1777 год — это год, когда американские колонии, не столько в силу своих стремлений, сколько в силу закона тяжести, только что оторвались от Англии, и страсти, разгоревшиеся в связи с этим событием, нашли себе выход в вооруженной борьбе, в которой англичане видят подавление мятежа и утверждение британского могущества, а американцы — защиту принципов свободы, отпор тирании и принесение себя в жертву на алтарь Прав Человека. Здесь нет надобности вдаваться в оценку этих явно идеализированных представлений; достаточно сказать вполне беспристрастно, что воодушевленные ими американцы и англичане почитают своим высоким нравственным

долгом истреблять друг друга как можно усерднее и что военные действия, направленные к достижению этой цели, находятся в самом разгаре, причем духовенство в том и другом лагере оказывает моральную поддержку воюющим, призывая на них божье благословение, каждый со своей стороны. Одним словом, обстоятельства таковы, что неприятная миссис Даджен сейчас далеко не единственная женщина, которая проводит ночи без сна в ожидании вестей. И не одна она засыпает под утро на стуле, с риском ткнуться носом в пламя очага. Голова уснувшей миссис Даджен прикрыта шалью, ноги покоятся на широкой железной решетке, этой ступени домашнего алтаря — очага с его священными атрибутами: котлом, таганами и огромным крюком, к которому подвешивается при обжаривании мясо. Против очага, сбоку от миссис Даджен, стоит обыкновенный кухонный стол, и на нем свеча в оловянном подсвечнике. Стул, на котором сидит миссис Даджен, простой, некрашеный, с жестким деревянным сиденьем, как и все прочие стулья в комнате, но спинка у него круглая, резная, и сиденье выточено в некотором соответствии с формами сидящего, так что, по-видимому, это почетное седалище. В комнате три двери: одна, по той же стене, что и очаг, ведет в спальню хозяйки дома; другая, как раз напротив,— в чулан для стирки и мытья посуды; входная дверь, с тяжелым замком, щеколдой и громоздким деревянным засовом, расположена в передней стене, между окном, которое находится посередине, и углом, ближайшим к двери в спальню. Между окном и дверью вешалка, при виде которой наблюдательный зритель сразу догадается, что никого из мужчин нет дома, так как на крючках не висит ни одной шляпы и ни одного плаща. По другую сторону окна стенные часы с белым деревянным циферблатом, черными железными гирями и медным маятником. Ближе к углу большой дубовый поставец, нижнее отделение которого состоит из полок, уставленных простой фаянсовой посудой, а верхнее — глухое и заперто на ключ.

У стены, что против очага, рядом с дверью в чулан, стоит черный диван, безобразный до неприличия. При взгляде на него обнаруживается, что миссис Даджен не одна в комнате. На диване спит д е в о ч к а лет шестнадцати-семнадцати, диковатая и робкая на вид; у нее черные волосы и обветренная кожа. На ней плохонькое платье — рваное, линялое, закапанное ягодным соком и

вообще не слишком чистое; оно падает свободными складками, открывая босые загорелые ноги, и это позволяет предположить, что под платьем надето не слишком много. В дверь стучат, но не настолько громко, чтобы разбудить спящих. Потом еще раз, погромче, и миссис Даджен слегка шевелится во сне. Наконец, слышно, как дергают замок, что сразу заставляет ее вскочить на ноги.

Миссис Даджен *(с угрозой)*. Ты что же это не отворяешь? *(Видит, что девочка уснула, и тотчас бурно дает выход накипевшему раздражению.)* Скажите на милость, а! Да это просто... *(Трясет ее.)* Вставай, вставай сейчас же! Слышишь?

Девочка *(приподнимаясь)*. Что случилось?

Миссис Даджен. Сейчас же вставай! Стыда в тебе нет, бессердечная ты грешница! Отец еще в гробу не остыл, а она тут разоспалась.

Девочка *(еще полусонная)*. Я не хотела. Я нечаянно...

Миссис Даджен *(обрывает ее)*. Да, да, за оправданиями у тебя дело не станет. Нечаянно! *(С яростью, так как стук в дверь возобновляется.)* Ты почему же не идешь отворить дверь своему дяде, а? *(Грубо сталкивает ее с дивана.)* Ладно! Сама отворю, от тебя все равно никакого проку. Ступай подложи дров в огонь.

Девочка, испуганная и жалкая, идет к очагу и подкладывает в огонь большое полено. Миссис Даджен отодвигает засов и, распахнув дверь, впускает в душную кухню струю не столько свежего, сколько промозглого и холодного утреннего воздуха, а заодно своего младшего сына Кристи — толстого придурковатого парня лет двадцати двух, белобрысого и круглолицого, закутанного в серый плащ и клетчатую шаль. Он, поеживаясь, спешит подсесть к огню, предоставив миссис Даджен возиться с дверным засовом.

Кристи *(у очага)*. Брррр! Ну и холодище! *(Заметив девочку и вытаращив на нее глаза.)* Ты кто же такая?

Девочка *(робко)*. Эсси.

Миссис Даджен. Да вот, поневоле спросишь. *(К Эсси.)* Ступай, девочка, к себе в комнату и ложись, раз уж ты по своей бесчувственности не можешь удержаться от сна. Твоя история такого свойства, что не годится даже для твоих собственных ушей.

Эсси. Я...

Миссис Даджен *(повелительно)*. Вы не отвечайте, мисс, а покажите, что вы умеете слушаться, и делайте то, что вам говорят.

Эсси, сдерживая слезы, идет через всю комнату к двери чулана.

Да не забудь молитву прочитать.

Эсси выходит.

Если б не я, она бы вчера улеглась спать, словно ничего и не случилось.

Кристи *(равнодушно)*. А чего ей особенно убиваться из-за дядюшки Питера? Она ведь не родня нам.

Миссис Даджен. Что ты такое говоришь, мальчик? Ведь она же его дочь — наказание за все его нечестивые, позорные дела. *(Обрушивается на стул всей своей тяжестью.)*

Кристи *(вытаращив глаза)*. Дочка дядюшки Питера?

Миссис Даджен. А иначе откуда бы ей тут взяться? Мало мне было хлопот и забот с собственными дочерьми, не говоря уж о тебе и твоем бездельнике брате, так вот теперь еще возись с дядюшкиными приблудышами...

Кристи *(перебивает ее, опасливо косясь на дверь, в которую вышла Эсси)*. Тсс! Еще услышит.

Миссис Даджен *(повышая голос)*. Пусть слышит. Кто боится господа бога, тот не боится назвать дела дьявола так, как они того заслуживают.

Кристи, постыдно равнодушный к борьбе добра и зла, греется уставясь на огонь.

Что ж, долго ты еще будешь глаза пялить, точно осоловелая свинья? Какие новости привез?

Кристи *(сняв шляпу и плащ, идет к вешалке)*. Новость тебе священник объявит. Он сейчас придет сюда.

Миссис Даджен. Какую новость?

Кристи *(привстав, по детской привычке, на цыпочки, чтоб повесить шляпу, хоть теперь в этом вовсе нет надобности, произносит тоном безмятежного спокойствия, который плохо вяжется с содержанием его слов)*. Отец-то помер тоже.

Миссис Даджен *(остолбенев)*. Твой отец!

Кристи *(насупившись, возвращается к огню и продолжает греться, уделяя этому занятию значительно больше внимания, чем разговору с матерью)*. Что ж, я, что ли, виноват? Когда мы приехали в Невинстаун, он уже лежал

в постели, больной. Сперва он и не признал нас. Священник уселся подле него, а меня прогнал. В ночь он и помер.

Миссис Даджен *(разражаясь сухими, злобными рыданиями)*. Нет, уж это слишком, это слишком! Братец его, который всю жизнь позорил нас, угодил на виселицу как мятежник; а твой отец, вместо того чтобы сидеть добром дома, со своей семьей, поскакал за ним — и вот теперь умер и все бросил на меня одну. Да еще эту девчонку прислал, чтоб я с ней нянчилась! *(Резким движением надвигает шаль на лоб.)* Грех это, вот я что скажу. Грех, да и только.

Кристи *(помолчав немного, с тупой, скотской радостью в голосе)*. А денек-то, видно, славный будет.

Миссис Даджен *(передразнивая его)*. Денек славный... А у самого только что отец умер. Да есть ли у тебя сердце, мальчик?

Кристи *(упрямо)*. А что ж тут такого? Выходит, если у человека отец умер, так ему и про погоду слова сказать нельзя?

Миссис Даджен *(с горечью)*. Хорошее утешенье мне мои дети. Один сын — дурак, другой — пропащая душа, ушел из родного дома и живет среди цыган, контрабандистов и преступников, самого отребья людского.

В дверь стучат.

Кристи *(не двигаясь с места)*. Это священник.

Миссис Даджен *(резко)*. Может, ты встанешь и впустишь мистера Андерсона в дом?

Кристи нерешительно направляется к двери. Миссис Даджен закрывает лицо руками, так как ей в качестве вдовы надлежит быть убитой горем. Кристи отворяет дверь, и в кухню входит священник Антони Андерсон — человек трезвого ума, живого нрава и приветливого склада. Ему лет пятьдесят, и он держится с достоинством, присущим его профессии; но это достоинство вполне мирское, смягченное дружелюбной и тактичной манерой обхождения и отнюдь не наводящее на мысль о бесповоротной отрешенности от всего земного. По наружности это сильный, здоровый мужчина с толстой шеей сангвиника; уголки его резко очерченного, весело улыбающегося рта прячутся в складках мясистых щек. Без сомнения — превосходный пастырь духовный, но вместе с тем человек,

способный взять лучшее и от здешнего мира и чувствующий некоторую неловкость от сознания, что уживается он с этим миром легче, чем подобало бы доброму пресвитерианину.

Андерсон *(снимая свой плащ и поглядывая на миссис Даджен)*. Ты сказал ей?

Кристи. Она меня заставила. *(Запирает дверь, потягивается, потом бредет к дивану, садится и вскоре засыпает.)*

Андерсон снова с состраданием смотрит на миссис Даджен, затем вешает плащ и шляпу на вешалку. Миссис Даджен вытирает глаза и поднимает голову.

Андерсон. Сестра! Тяжко легла на вас десница господня.

Миссис Даджен *(упорствуя в своем смирении)*. Такова, стало быть, воля его, и я должна склониться перед ней. Но мне нелегко. Зачем только Тимоти понадобилось ехать в Спрингтаун и напоминать всем о своем родстве с человеком, приговоренным к виселице и *(со злобой)* заслужившим ее, если уж на то пошло.

Андерсон *(мягко)*. Это был его брат, миссис Даджен.

Миссис Даджен. Тимоти не признавал его за брата, после того как мы поженились: он слишком уважал меня, чтоб навязывать мне подобного братца. А вы думаете, этот негодный себялюбец Питер поскакал бы за тридцать миль, чтобы взглянуть, как Тимоти надевают петлю на шею? И тридцати шагов не прошел бы, не из таких. Но, как бы там ни было, я должна с покорностью нести свой крест. Слов меньше, толку больше.

Андерсон *(подойдя к огню и став к нему спиной; очень внушительно)*. Ваш старший сын присутствовал при казни, миссис Даджен.

Миссис Даджен *(неприятно пораженная)*. Ричард?

Андерсон *(кивнув)*. Да.

Миссис Даджен *(грозно)*. Пусть это ему послужит предостережением. Он и сам, верно, кончит тем же — распутник, нечестивец, безбожник!.. *(Вдруг останавливается — голос изменил ей — и с явным испугом спрашивает.)* А Тимоти его видел?

Андерсон. Да.

Миссис Даджен *(затаив дыхание)*. Ну?

Андерсон. Он только видел его в толпе; они не разговаривали.

Миссис Даджен облегченно переводит дух.

Ваш муж был очень взволнован и потрясен ужасной смертью своего брата.

Миссис Даджен усмехается.

(Меняя тон, обращается к ней настойчиво и с оттенком негодования.) Что ж, разве это не естественно, миссис Даджен? В эту минуту он подумал о своем блудном сыне, и сердце его смягчилось. Он послал за ним.

Миссис Даджен *(со вновь зародившейся тревогой)*. Послал за Ричардом?

Андерсон. Да, но Ричард не захотел прийти. Он ответил отцу через посланного. И, к сожалению, должен сказать, это был дурной ответ, страшный ответ.

Миссис Даджен. Что же он ответил?

Андерсон. Что он всегда будет на стороне своего беспутного дяди и против своих праведных родителей, и в этом мире и в будущем.

Миссис Даджен *(непримиримо)*. Он понесет кару за это. Он понесет кару за это – и здесь и там.

Андерсон. Это не в нашей воле, миссис Даджен.

Миссис Даджен. А я разве другое говорю, мистер Андерсон? Но ведь нас учат, что зло бывает наказано. Зачем нам исполнять свой долг и блюсти закон господень, если не будет никакой разницы между нами и теми, кто живет как заблагорассудится и глумится над нами и над словом творца своего?

Андерсон. Что ж, земной отец Ричарда простил его, а небесным его судиею будет тот, кто всем нам отец.

Миссис Даджен *(забывшись)*. Земной отец Ричарда был безмозглый...

Андерсон *(потрясенный)*. О!

Миссис Даджен *(слегка устыдясь)*. В конце концов я мать Ричарда. Если уж я против него, кто вправе быть за него? *(Стараясь загладить свой промах.)* Присядьте, мистер Андерсон. Мне бы давно надо предложить вам, но я так взволнована.

Андерсон. Благодарю вас. *(Берет стул, стоящий перед очагом, и поворачивает его так, чтобы можно было поудобнее расположиться у огня. Усевшись, продолжает тоном человека, который сознает, что заводит разговор на щекотливую тему.)* Вам Кристи сказал про новое завещание?

Миссис Даджен *(все ее опасения возвратились)*. Новое

завещание? Разве Тимоти... *(Голос у нее срывается, и она не может договорить.)*

Андерсон. Да. В последний час он изменил свою волю.

Миссис Даджен *(бледнея от бешенства)*. И вы дали ему меня ограбить?

Андерсон. Я был не вправе помешать ему оставить свои деньги своему сыну.

Миссис Даджен. У него ничего не было своего. Его деньги — это те деньги, которые я принесла ему в приданое. Деньги мои и сын мой, и я одна могла решать, как тут поступить. При мне он никогда не отважился бы на такую подлость, и он это хорошо знал. Оттого-то он и улизнул исподтишка, точно вор, чтобы, прикрывшись законом, ограбить меня за моей спиной. А вам, мистер Андерсон, вам, проповеднику слова божия, тем зазорней быть сообщником в таком преступном деле.

Андерсон *(поднимаясь)*. Я не в обиде на вас за эти слова, сказанные в пылу горя.

Миссис Даджен *(презрительно)*. Горя!

Андерсон. Ну разочарования — если сердце подсказывает вам, что это более подходящее слово.

Миссис Даджен. Сердце! Сердце! С каких это пор вы стали считать, что должно доверяться голосу сердца?

Андерсон *(с несколько виноватым видом)*. Я... э-э...

Миссис Даджен *(страстно)*. Не лгите, мистер Андерсон. Нас учат, что сердце человеческое неверно и лживо, что оно закоснело во зле. Мое сердце когда-то принадлежало не Тимоти, а его брату, тому самому нечестивцу, что только что кончил свои дни с веревкой на шее, — да, именно так, Питеру Даджену. Вы это знаете: старый Эли Хоукинс, чье место вы заступили в нашем приходе, — хотя вы не достойны развязать шнурки на его башмаках, — он вам рассказал об этом, вверяя заботу о наших душах. Это он предостерег меня и укрепил мой дух в борьбе против моего сердца; он настоял на том, чтобы я взяла в мужья человека доброго и богобоязненного, как ему казалось. Не это ли послушание сделало меня тем, что я есть? А вы — вы-то сами женились по влечению сердца, а теперь толкуете о том, что мое сердце подсказывает мне. Ступайте домой к своей красивой жене, мистер Андерсон, а меня оставьте и дайте мне помолиться спокойно. *(Отворачивается, подпирает голову руками и, предавшись мыслям о несправедливости судьбы, перестает замечать его присутствие.)*

Андерсон *(который и сам рад уйти)*. Да не допустит господь, чтобы я помешал вам обратиться к источнику всяческого утешения. *(Идет к вешалке за плащом и шляпой.)*

Миссис Даджен *(не глядя на него)*. Господь и без вас знает, что допускать и чего не допускать.

Андерсон. И господь знает, кого прощать! И я надеюсь, что он простит Эли Хоукинса и меня, если когда-либо мы учили противно его закону. *(Застегивает плащ, готовясь выйти.)* Еще одно слово... по неотложному делу, миссис Даджен. Предстоит чтение завещания, и Ричард вправе присутствовать. Он здесь, в городе, но он великодушно заявил, что не хочет вторгаться сюда силой.

Миссис Даджен. Он *должен* сюда прийти. Уж не воображает ли он, что ради его удобства мы покинем дом его отца? Пусть приходят все; и пусть приходят скорее и скорее уходят. Нечего полдня отлынивать от работы под предлогом завещания. Я буду готова, не беспокойтесь.

Андерсон *(делая два-три шага к ней)*. Миссис Даджен! Я когда-то пользовался некоторым влиянием на вас. С каких пор я его утратил?

Миссис Даджен *(по-прежнему не глядя на него)*. С тех пор как женились по любви. Вот теперь вы знаете.

Андерсон. Да, теперь знаю. *(Выходит, погруженный в раздумье.)*

Миссис Даджен *(про себя, думая о муже)*. Вор! Вор! *(Сердито срывается со стула, сбрасывает шаль с головы и принимается за уборку комнаты к предстоящему чтению завещания. Для начала стул Андерсона водружается на прежнее место, а тот, на котором сидела она сама, отлетает к окну. Потом она окликает обычным своим суровым, гневным, повелительным тоном.)* Кристи!

Никакого ответа. Кристи крепко спит.

Кристи! *(Подходит и грубо трясет его.)* Вставай сию же минуту! Не стыдно тебе? Отец умер, а он спит как ни в чем не бывало! *(Возвращается к столу, ставит свечу на полку над очагом, вынимает из ящика красную скатерть и накрывает стол.)*

Кристи *(неохотно поднимаясь)*. А что ж, по-твоему, нам теперь и спать нельзя, пока не кончится траур?

Миссис Даджен. Ладно, хватит разговоров! Иди сюда, помоги мне переставить стол.

Вдвоем они выдвигают стол на середину комнаты, так что сторона Кристи обращена к очагу, а сторона миссис

Даджен — к дивану. Кристи при первой же возможности отходит к огню, предоставив матери одной окончательно устанавливать стол на место.

Сейчас священник придет с адвокатом, и вся родня соберется слушать завещание, а ты все будешь нежиться у огня? Ступай, разбуди девчонку и потом растопи печку в сарае, здесь тебе завтракать не придется. Да смотри умойся хорошенько и приведи себя в порядок к приходу гостей. *(Весь этот перечень приказаний она размечает действиями: подходит к поставцу, отпирает его, достает графин с вином, который, без сомнения, хранится там с последнего семейного торжества, вынимает также несколько стаканов — и ставит все это на стол. Затем следуют два блюда зеленого стекла; на одно она кладет ячменный пирог и рядом нож, на другое высыпает немного печенья из жестяной банки, потом две или три штуки откладывает обратно и тщательно пересчитывает остальное.)* Смотри, здесь десять штук; так вот, чтоб их и оставалось десять, когда я оденусь и выйду сюда. И не вздумай выковыривать изюм из пирога. И Эсси скажи то же самое. Надеюсь, ты сумеешь принести стеклянный ящик с птичьими чучелами, не разбив его по дороге. *(Убирает банку с печеньем в поставец, запирает дверцу и заботливо прячет ключ в карман.)*

Кристи *(мешкая у огня)*. Ты бы лучше чернильницу поставила для адвоката.

Миссис Даджен. Вас не спрашивают, сэр! Ступай и делай, что тебе сказано.

Кристи хмуро поворачивается, собираясь исполнить приказание.

Погоди, сперва открой ставни, уже светло на дворе. Неужели я должна нести всю тяжелую работу в доме, а такой здоровый олух будет слоняться без дела!

Кристи подходит к окну, вынимает железный брус из боковых скоб и кладет его на пол, потом растворяет ставни. За окном брезжит серое, пасмурное утро. Миссис Даджен берет подсвечник с полки над очагом, гасит свечу пальцами, предварительно послюнив их для этого, и снова ставит подсвечник со свечой на полку.

Кристи *(глядя в окно)*. Священникова жена идет.

Миссис Даджен *(недовольная)*. Как! Сюда идет?

Кристи. Ну да.

Миссис Даджен. С чего это ей вздумалось тревожить людей в такой час? Я еще даже не одета, чтобы гостей принимать.

Кристи. А ты бы у нее спросила.

Миссис Даджен *(с угрозой)*. А ты бы научился разговаривать повежливее.

Кристи, надувшись, шагает к двери. Она идет за ним, продолжая забрасывать его поручениями.

Девчонке скажи, чтоб шла сюда, ко мне, как только позавтракает. Да пусть приведет себя в порядок, чтоб не стыдно было показаться на люди.

Кристи выходит и захлопывает дверь у нее перед носом.

Хорош, нечего сказать!

В наружную дверь стучат. Миссис Даджен поворачивается и довольно негостеприимно кричит.

Войдите!

Джудит Андерсон, жена священника, входит в комнату. Джудит лет на двадцать с лишком моложе своего мужа, но по живости и энергии ей далеко до него. Она красива, изящна, женственна, и привычка к восторгам и ухаживаниям помогла ей составить о себе достаточно лестное мнение, чтобы в нем черпать уверенность, которая ей заменяет силу. Она мило и со вкусом одета; какие-то милые черточки в ее лице изобличают чувствительность, воспитанную склонностью к мечтам. Даже в присущем ей самодовольстве есть что-то милое, как в хвастливости ребенка. В общем — это существо, способное вызвать ласковое сочувствие в каждом, кто знает, как суров наш мир. Ясно, что Андерсон мог сделать и худший выбор, а она, как женщина, нуждающаяся в защите и опоре, не могла сделать лучшего.

Ах, это вы, миссис Андерсон!

Джудит *(очень любезно, почти покровительственно)*. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезной, миссис Даджен? Чем-нибудь помочь по хозяйству, чтобы все в доме было готово, когда соберутся слушать завещание?

Миссис Даджен *(холодно)*. Благодарю вас, миссис Андерсон, у меня в доме всегда все готово к приему любых гостей.

Джудит *(снисходительно-дружелюбно)*. Да, это верно. Может быть, я вам даже помешала своим приходом.

Миссис Даджен. О, одним человеком больше или меньше,

не все ли это равно сегодня, миссис Андерсон? Раз уж вы пришли, оставайтесь. Только, если вас не затруднит, закройте дверь, пожалуйста.

Джудит улыбается, как будто говоря: «Какая же я неловкая!», и запирает дверь движением, исполненным раздражающей уверенности в том, что она делает нечто очень милое и приятное.

Вот так-то лучше. Теперь мне надо пойти прибраться немного самой. Вам, я думаю, нетрудно будет посидеть здесь, на случай если кто придет раньше, чем я буду готова?

Джудит *(милостиво отпускает ее)*. Ну конечно, конечно. Положитесь на меня, миссис Даджен; и можете не спешить. *(Вешает свой плащ и шляпку.)*

Миссис Даджен *(почти с издевкой)*. Это, пожалуй, больше подойдет вам, чем помогать по хозяйству.

Входит Эсси.

А, это ты? *(Строго.)* Поди сюда, дай-ка я на тебя погляжу.

Эсси робко приближается. Миссис Даджен хватает ее за руку и бесцеремонно поворачивает во все стороны, проверяя результаты ее попыток придать себе более чистый и опрятный вид – результаты, которые свидетельствуют о недостатке опыта и в особенности рвения.

Гм! Это у тебя называется причесаться как следует? Сразу видно, кто ты есть и как тебя воспитывали. *(Бросает ее руку и продолжает тоном, не допускающим возражений.)* Запомни, что я тебе теперь скажу, и выполняй все в точности. Сядь там, в уголке, у огня; когда соберутся, не смей говорить ни слова, покуда тебя не спросят.

Эсси пятится к очагу.

Пускай родичи твоего отца видят тебя и знают, что ты здесь; они столько же обязаны заботиться, чтоб ты не умерла с голоду, сколько и я. Помочь во всяком случае должны бы. Но только не вздумай распускать язык и вольничать, точно ты им ровня. Поняла?

Эсси. Да.

Миссис Даджен. Ну вот, ступай и делай, что тебе сказано.

Эсси, вся съежившись, присаживается на угол решетки, с той стороны очага, которая дальше от двери.

Не обращайте на нее внимания, миссис Андерсон; вам известно, кто она и что. Если она вам станет докучать, вы только скажите мне, я ее быстро образумлю. *(Уходит в спальню, властно прихлопнув за собой дверь, как будто даже дверь нужно держать в строгости, для того чтобы она исправно делала свое дело.)*

Джудит *(поучает Эсси и одновременно переставляет по-своему вино и печенье на столе)*. Ты не должна обижаться, если тетушка строга с тобой. Она очень хорошая женщина и желает тебе добра.

Эсси *(с тупым безразличием горя)*. Да.

Джудит *(раздосадованная нечувствительностью Эсси к утешениям и назиданиям и ее неспособностью оценить снисходительную любезность сделанного замечания)*. Надеюсь, ты не станешь дуться, Эсси?

Эсси. Нет.

Джудит. Ну вот, умница. *(Ставит у стола два стула, спинками к окну, с приятным сознанием, что она более предусмотрительная хозяйка, чем миссис Даджен.)* Ты знаешь кого-нибудь из родственников твоего отца?

Эсси. Нет. Они никто не хотели с ним знаться; они слишком набожные. Отец часто поминал Дика Даджена, но я его ни разу не видела.

Джудит *(явно шокированная)*. Дик Даджен! Эсси, ты ведь хочешь быть хорошей девушкой, показать, что ты умеешь ценить добро, и своим достойным поведением заслужить себе место в этом доме?

Эсси *(без особого энтузиазма)*. Да.

Джудит. Ну, так никогда не произноси имени Ричарда Даджена, даже не думай о нем. Он дурной человек.

Эсси. А что он сделал?

Джудит. Ты не должна расспрашивать о нем, Эсси. Ты еще слишком молода, чтобы понять, что это значит — дурной человек. Он контрабандист. Он живет среди цыган, не любит свою мать и своих родных и по воскресеньям, вместо того чтобы ходить в церковь, дерется и играет в карты. Старайся никогда не подпускать его к себе, Эсси, и помни, что, водясь с подобными людьми, ты запятнаешь и себя и весь наш женский род.

Эсси. Да.

Джудит *(прежним недовольным тоном)*. Боюсь, что ты говоришь «да» и «нет», не дав себе труда подумать хорошенько.

Эсси. Да. То есть я хотела сказать...

Джудит *(строго)*. Что ты хотела сказать?

Эсси *(сдерживая слезы)*. Только... мой отец тоже был контрабандист... и...

В дверь стучат.

Джудит. Ну вот, уже идут. Не забывай, Эсси, чему тебя учила тетушка, и будь умницей.

Кристи приносит подставки с птичьими чучелами под стеклянным колпаком и чернильницу. То и другое он ставит на стол.

Доброе утро, мистер Даджен. Будьте так добры, отоприте дверь: пришел кто-то.

Кристи. Доброе утро. *(Отодвигает дверной засов.)*

На дворе уже совсем рассвело и стало теплее, и Андерсон, который входит первым, оставил дома свой плащ. Вместе с Андерсоном является адвокат Хоукинс — жизнерадостный мужчина средних лет, в коричневых гетрах и желтых брюках для верховой езды, больше похожий на помещика, чем на стряпчего. Он и Андерсон, по праву представителей ученых сословий, возглавляют шествие. За ними следуют родственники. Впереди всех старший дядя, Уильям Даджен,— нескладный верзила с носом сливою, явно не принадлежащий к разряду аскетов и постников; его костюм и его боязливая жена не из тех костюмов и жен, по которым сразу узнается человек, преуспевающий в жизни. Младший дядя, Тайтэс Даджен,— маленький, поджарый человечек, похожий на фокстерьера; при нем огромная жена, которая кичится своим богатством; по всему видно, что ни ему, ни ей не знакомы затруднения, обычные в домашнем обиходе Уильяма.

Хоукинс сразу же энергичным шагом направляется к столу и усаживается на стул, стоящий ближе к дивану, так как именно здесь Кристи поместил чернильницу; он ставит шляпу на пол и вынимает завещание. Дядя Уильям подходит к очагу, поворачивается к огню спиной и греет полы своего сюртука, бросив миссис Уильям одну у дверей. Дядя Тайтэс, который в семье слывет за дамского угодника, спешит к ней на выручку и, подав ей свободную руку, ведет к дивану, где затем и сам уютно устраивается между собственной супругой и женой брата. Андерсон вешает свою шляпу и отходит в сторону, ожидая случая перемолвиться словом с Джудит.

Джудит. Она сейчас выйдет. Попроси их подождать. *(Стучит в дверь спальни; дождавшись ответа, отворяет дверь и скрывается за нею.)*

Андерсон *(занимая место за столом против Хоукинса)*. Наша бедная, скорбящая сестра сейчас выйдет к нам. Все ли мы в сборе?

Кристи *(у наружной двери, которую он только что захлопнул)*. Все, кроме Дика.

Невозмутимость, с которой Кристи произнес имя нечестивца, оскорбила семейное нравственное чувство. Дядя Уильям медленно и безостановочно качает головой. Миссис Тайтэс судорожно ловит носом воздух. Ее супруг берет слово.

Дядя Тайтэс. Я надеюсь, он сделает нам одолжение и не придет. Я твердо надеюсь.

Все Даджены издают одобрительное бормотание, кроме Кристи, который переходит к окну и занимает там наблюдательный пост. Хоукинс загадочно улыбается, как будто ему известно нечто такое, что сразу заставило бы их всех запеть по-другому, доведись им узнать это. Андерсон нервничает: торжественные семейные советы, особенно по траурному поводу, не в его вкусе. В дверях спальни появляется Джудит.

Джудит *(мягко, но внушительно)*. Друзья мои,— миссис Даджен! *(Берет стул, стоящий у очага, и пододвигает его миссис Даджен, которая выходит из спальни, вся в черном, держа в руке чистый носовой платок и прикладывая его к глазам.)*

Все встают, за исключением Эсси. Миссис Уильям и миссис Тайтэс извлекают столь же чистые носовые платки и тихо плачут. Трогательная минута.

Дядя Уильям. Может быть, тебе легче станет, сестра, если мы прочитаем молитву?

Дядя Тайтэс. Или споем гимн?

Андерсон *(с некоторой поспешностью)*. Я уже навестил сегодня нашу сестру, друзья мои. Испросим благословения в сердцах наших.

Все *(за исключением Эсси)*. Аминь.

Все садятся, кроме Джудит, которая становится за стулом миссис Даджен.

Джудит *(Эсси)*. Эсси, ты сказала «аминь»?

Эсси *(испуганно)*. Нет.

Джудит. Так будь умницей и скажи.

Эсси. Аминь.

Дядя Уильям *(ободряюще)*. Ну, ничего, ничего. Мы знаем, кто ты такая, но мы будем к тебе добры, если ты заслужишь это хорошим поведением. Все мы равны перед престолом всевышнего.

Эта республиканская идея не встречает сочувствия у женщин, которые убеждены, что именно престол всевышнего — то место, где их превосходство, часто оспариваемое в этом мире, наконец будет признано и вознаграждено по заслугам.

Кристи *(у окна)*. А вот и Дик.

Андерсон и Хоукинс оглядываются с приветливым выражением. Эсси поднимает голову, и сквозь ее тупое безразличие пробивается искорка интереса. Кристи, осклабившись, выжидательно смотрит на дверь. Остальные застыли в томительном предчувствии опасности, которою грозит Добродетели приближение Порока в неприкрытом виде. Дверь распахивается, и закоренелый грешник появляется на пороге, освещенный утренним солнцем, которое красит его явно не по заслугам. Он безусловно самый красивый в семье; только выражение лица у него дерзкое и язвительное, манера держаться глумливая и вызывающая; одежда живописно небрежна. Но лоб и рисунок губ изобличают непреклонность духа поистине удивительную, а глаза горят фанатическим огнем.

Ричард *(на пороге, снимая шляпу)*. Леди и джентльмены! Ваш слуга, ваш покорнейший слуга! *(С этим откровенно издевательским приветствием он швыряет шляпу Кристи, который подпрыгивает от неожиданности, точно зазевавшийся вратарь, а сам выходит на середину комнаты, останавливается и непринужденно оглядывает все общество.)* Какая радость написана на ваших лицах! Как вы все счастливы меня видеть! *(Поворачивается к миссис Даджен, и верхняя губа у него зловеще приподнимается, обнажая клыки, когда он встречает ее полный ненависти взгляд.)* Что, матушка, как всегда, соблюдаем приличия? Что ж, правильно, правильно.

Джудит демонстративно отступает от него в дальний угол кухни, инстинктивно подобрав юбку, словно для того,

чтобы уберечься от прикосновения заразы. Дядя Тайтэс спешит высказать ей свое одобрение, бросившись добывать для нее стул.

Как! Дядюшка Уильям! Да мы с вами не видались с тех пор, как вы бросили пить. *(Бедный дядя Уильям, сконфуженный, хочет возразить, но Ричард, дружески хлопнув его по плечу, прибавляет.)* Ведь вы же бросили, верно? И хорошо сделали, а то уж очень вы усердствовали. *(Поворачивает спину дяде Уильяму и направляется к дивану.)* А где же наш честный барышник, дядюшка Тайтэс? Дядюшка Тайтэс, покажитесь. *(Застигнув Тайтэса в тот момент, когда тот подставляет стул Джудит.)* Ну конечно, как всегда, ухаживает за дамами.

Дядя Тайтэс *(негодующе)*. Стыдитесь, сэр...

Ричард *(перебивает его, насильно пожимая ему руку)*. Стыжусь, стыжусь, но и горжусь тоже — горжусь своим дядюшкой, всеми своими родственниками. *(Снова оглядывает присутствующих.)* Разве можно смотреть на них и не испытывать при этом гордости и удовольствия!

Дядя Тайтэс, уничтоженный, возвращается на свое прежнее место.

(Поворачивается к столу.) А, мистер Андерсон! Всё заняты добрыми делами, всё пасете свое стадо. Не давайте им сбиваться с пути, пастор, не давайте им сбиваться с пути. Ага! *(С размаху усаживается на стол и берет в руки графин с вином.)* Чокнемся, мистер Андерсон, за доброе старое время.

Андерсон. Вы, кажется, знаете, мистер Даджен, что я не привык пить до обеда.

Ричард. Со временем привыкнете, пастор. Вот дядюшка Уильям — так тот даже до завтрака пил. Верьте мне: от этого ваши проповеди только станут елейнее. *(Нюхает вино и корчит гримасу.)* Только не советую начинать с хереса моей матушки. Я его раз отведал тайком, когда мне было лет шесть, и с тех пор отличаюсь умеренностью. *(Ставит графин на место и меняет тему.)* Так я слыхал, вы женились, пастор? И говорят, ваша жена гораздо красивее, чем подобает доброй христианке.

Андерсон *(спокойно указывает на Джудит)*. Вот моя жена, сэр.

Джудит встает и застывает в позе несокрушимой добродетели.

Ричард *(соскакивает со стола, повинуясь инстинктивному чувству приличия)*. Ваш слуга, сударыня. Не обижайтесь на меня. *(Внимательно смотрит на нее.)* Что ж, ваша слава не преувеличена, но, к сожалению, по вашему лицу видно, что вы добродетельная женщина.

Джудит явно шокирована и опускается на свое место под возмущенно-сочувственный ропот дадженовской родни. Андерсон, который достаточно умен, чтобы понять, что подобные изъявления неудовольствия только забавляют и раззадоривают человека, задавшегося целью злить окружающих, сохраняет все свое благодушие.

Но все равно, пастор, я вас теперь уважаю больше прежнего. Да, кстати; я как будто слыхал, что наш безвременно скончавшийся дядюшка Питер хоть и не был женат, но оставил потомство?

Дядя Тайтэс. У него был только один внебрачный ребенок, сэр.

Ричард. Только один! По-вашему, это пустяки? Я краснею за вас, дядюшка Тайтэс.

Андерсон. Мистер Даджен, вы находитесь в присутствии вашей матери, удрученной горем.

Ричард. Я весьма растроган ее горем, пастор. А кстати, где он, этот внебрачный ребенок?

Андерсон *(указывая на Эсси)*. Перед вами, сэр, и слушает ваши речи.

Ричард *(от неожиданности бросив паясничать)*. Как! Какого же черта вы мне об этом не сказали раньше? В этом доме дети довольно видят горя и без того, чтобы... *(Мучимый угрызениями совести, бросается к Эсси.)* Послушай, сестренка! Ты не сердись на меня, я не хотел тебя огорчить.

Эсси поднимает на него взгляд, полный благодарности.

(Выражение ее лица и следы слез на нем глубоко трогают Ричарда, и он кричит в бурном порыве гнева.) Кто заставил ее плакать?.. Кто обидел ее? Клянусь богом...

Миссис Даджен *(встает и наступает на него)*. Придержи язык, богохульник. С меня довольно. Прочь из моего дома!

Ричард. А почему вы знаете, что дом ваш? Ведь завещание еще не прочитано.

Мгновение они смотрят друг на друга с непримиримой ненавистью, потом миссис Даджен, побежденная, тяжело

опускается на место. Ричард решительным шагом проходит мимо Андерсона к окну и берется рукой за резную спинку стоящего там стула.

Леди и джентльмены! Приветствую вас как старший сын своего покойного отца и недостойный глава этого дома. С вашего разрешения, пастор Андерсон, с вашего разрешения, адвокат Хоукинс. Место главы семейства — во главе стола. *(Ставит стул с резной спинкой к столу, между священником и стряпчим, садится и тоном председателя обращается ко всем присутствующим.)* Мы собрались здесь сегодня по прискорбному поводу: в семье скончался отец, дядя повешен и, должно быть, угодил в преисподнюю. *(Сокрушенно качает головой.)*

Родственники цепенеют от ужаса.

Вот, вот, так и надо; стройте самые постные мины *(взгляд его падает на Эсси, и тотчас же голос теплеет и тон становится серьезнее)*, только бы у девочки в глазах светилась надежда. *(Живо.)* Ну, адвокат Хоукинс, к делу, к делу! Читайте завещание, друг.

Тайгес. Мистер Хоукинс, не позволяйте приказывать вам и понукать вас.

Хоукинс *(любезно и предупредительно)*. Я уверен, что мистер Даджен не имел в виду ничего обидного. Я вас и секунды не задержу, мистер Даджен. Вот только надену очки... *(Шарит по карманам.)*

Даджены переглядываются, предчувствуя недоброе.

Ричард. Ага! Они заметили вашу вежливость, мистер Хоукинс. Они готовы к самому худшему. Стакан вина, покуда вы не начали, — прополоскать горло. *(Наливает стакан и подает ему, потом берет другой и наливает себе.)*

Хоукинс. Благодарю вас, мистер Даджен. Ваше здоровье, сэр!

Ричард. И ваше, сэр! *(Он уже поднес стакан к губам, но вдруг спохватывается, недоверчиво косится на вино и говорит с ударением.)* Не будет ли кто-нибудь так добр дать мне стакан воды?

Эсси, неотступно следившая за каждым его словом и движением, потихоньку встает, проскальзывает за спиной миссис Даджен в спальню, возвращается оттуда с кувшином в руке и, стараясь производить как можно меньше шуму, выходит из дому.

Хоукинс. Завещание написано не совсем таким слогом, каким пишутся обычно юридические документы.

Ричард. Да, мой отец умер без поддержки закона.

Хоукинс. Браво, мистер Даджен, браво! *(Приготовляется читать.)* Вы готовы, сэр?

Ричард. Готов, давно готов. Да вразумит нас господь и да поможет нам принять с благодарностью то, что нам предстоит услышать. Начинайте.

Хоукинс *(читает)*. «Это есть последняя воля и завещание составленное мною, Тимоти Дадженом, на моем смертном одре, в городе Невинстауне, по дороге из Спрингтауна в Уэбстербридж, сентября двадцать четвертого дня, года одна тысяча семьсот семьдесят седьмого. Настоящим я отменяю все ранее составленные мною завещания и заявляю, что нахожусь в здравом уме и знаю, что делаю, и что это моя настоятельная воля, согласная с моими собственными желаниями и чувствами».

Ричард *(взглянув на мать)*. Гм!

Хоукинс *(качая головой)*. Плохой слог, никуда не годный слог. «Моему младшему сыну, Кристоферу Даджену, назначаю и завещаю сто фунтов, из которых пятьдесят фунтов должны быть ему выплачены в день его свадьбы с Саррой Уилкинс, если она пойдет за него, и по десяти фунтов при рождении каждого ребенка, счетом до пяти».

Ричард. А если она не пойдет за него?

Кристи. Пойдет, раз у меня будет пятьдесят фунтов.

Ричард. Хорошо сказано, брат! Дальше.

Хоукинс. «Жене моей, Анне Даджен, рожденной Анне Примроз...» — вот видите, как он не разбирается в законе, мистер Даджен: ваша мать не родилась Анной, а была наречена так при крещении, — «...назначаю и завещаю пожизненную ренту в пятьдесят два фунта в год...

Миссис Даджен судорожным усилием сохраняет неподвижность под устремленными на нее взглядами.

...которые должны ей выплачиваться из процентов с ее собственных денег...» Ну что это за выражение, мистер Даджен? С ее собственных денег!

Миссис Даджен. Очень правильное выражение, потому что это святая истина. Они все мои собственные, до последнего пенни. Пятьдесят два фунта в год!

Хоукинс. «И за все ее благочестие и доброту поручаю ее милосердию детей, которых я всегда старался держать от нее подальше, насколько у меня хватало сил».

Миссис Даджен. Такова моя награда! *(Сдерживая накипающую ярость.)* Вы знаете, что я об этом думаю, мистер Андерсон, вы знаете, как я это назвала.

Андерсон. Ничего не поделаешь, миссис Даджен. Нужно терпеливо сносить выпавшие нам испытания. *(Хоукинсу.)* Продолжайте, сэр.

Хоукинс. «Старшему моему сыну и наследнику, Ричарду Даджену, назначаю и завещаю мой дом в Уэбстербридже со всеми угодьями, а также прочее мое имущество...»

Ричард. Ого-го! Упитанный телец, священник! Вот он, упитанный телец!

Хоукинс. «...на нижеследующих условиях...»

Ричард. Ах, черт! Есть условия?

Хоукинс. «Именно: первое — что он не допустит, чтобы незаконная дочка моего брата Питера умерла с голоду или пошла по дурной дорожке из-за нужды».

Ричард *(с жаром, стукнув кулаком по столу)*. Принято!

Миссис Даджен поворачивается, чтобы бросить злобный взгляд на Эсси, видит, что ее нет на месте, и в поисках оглядывается по сторонам; убедившись, что девочка без разрешения покинула комнату, мстительно поджимает губы.

Хоукинс. «Второе — что он будет хорошо относиться к моей старой лошади Джиму...» *(Снова качает головой.)* «Джеймсу», вот как надо было написать, сэр.

Ричард. Джеймс будет как сыр в масле кататься. Дальше.

Хоукинс. «...и оставит у себя на работе моего глухого батрака Проджера Фестона».

Ричард. Проджер Фестон каждую субботу будет пьян в доску.

Хоукинс. «Третье — что он сделает Кристи свадебный подарок из числа тех красивых вещей, что стоят в парадной комнате».

Ричард *(поднимая ящик с птичьими чучелами)*. Вот тебе, Кристи.

Кристи *(разочарованно)*. Я бы лучше взял фарфоровых павлинов.

Ричард. Получишь и то и другое.

Кристи в восторге.

Дальше?

Хоукинс. «Четвертое и последнее — что он постарается жить в ладу со своей матерью, поскольку она будет на это согласна».

Ричард *(с сомнением)*. Гм! Больше ничего, мистер Хоукинс?

Хоукинс *(торжественно)*. «В заключение я передаю свою грешную душу в руки творца моего, смиренно испрашивая прощения за все мои грехи и ошибки, и надеюсь, что он наставит моего сына на путь добра, так чтобы никто не мог сказать, будто я поступил неправильно, доверив ему больше, чем другим, в свой смертный час, здесь, на чужой стороне».

Андерсон. Аминь.

Дяди и тетки. Аминь.

Ричард. А матушка не сказала «аминь».

Миссис Даджен *(встает, еще не соглашаясь без борьбы отдать то, что считала своим)*. А правильное это завещание, мистер Хоукинс? Вспомните: ведь у меня хранится настоящее, законное завещание, которое вы сами составляли, и там сказано, что все переходит ко мне.

Хоукинс. Написано очень плохо и совсем не по форме, миссис Даджен, однако *(любезный поклон в сторону Ричарда)*, на мой взгляд, покойный распорядился своим имуществом как нельзя лучше.

Андерсон *(предупреждая возражения миссис Даджен)*. Вас не о том спрашивают, мистер Хоукинс. Имеет ли это завещание законную силу?

Хоукинс. Суд признáет действительным это, а не то.

Андерсон. Но почему, если то больше соответствует установленным образцам?

Хоукинс. Потому что суд всегда постарается решить дело в пользу мужчины, а не женщины, особенно если этот мужчина – старший сын. Говорил я вам, миссис Даджен, когда вы меня звали составлять завещание, что это неразумная затея, и хоть бы вы и заставили мистера Даджена подписать его, он все равно не успокоится, пока не уничтожит его силу. Но вы не хотели слушать моего совета. А теперь вот мистер Ричард – голова всему. *(Поднимает шляпу с полу, встает и рассовывает по карманам бумаги и очки.)*

Это служит сигналом, что пора расходиться. Андерсон достает свою шляпу с вешалки, подходит к очагу и заговаривает с дядей Уильямом. Тайтэс подает Джудит шляпку и плащ. Тетки, встав с дивана, беседуют с Хоукинсом. Миссис Даджен, теперь незваная гостья в своем собственном доме, стоит неподвижно: она подавлена несправедливостью закона по отношению к женщинам, но готова при-

нять его, как приучена принимать всякое тяжкое бедствие, усматривая в нем доказательство величия силы, его наславшей, и собственного ничтожества. Ибо не следует забывать, что в это время Мэри Уолстонкрафт еще только восемнадцатилетняя девушка и до появления ее «Защиты прав женщины» остается добрых полтора десятка лет. Миссис Даджен выходит из своего оцепенения, увидев Эсси, которая возвращается с полным кувшином воды. Она несет кувшин Ричарду, но миссис Даджен перехватывает ее по дороге.

Миссис Даджен *(с угрозой)*. Ты где была?

Эсси, перепуганная, пытается ответить, но не может.

Как ты смела уйти без спросу, после того что я тебе наказывала?

Эсси. Он просил пить... *(От страха у нее язык прилипает к гортани.)*

Джудит *(строго, но не так сурово)*. Кто просил пить?

Эсси без слов кивает на Ричарда.

Ричард. Что? Я?

Джудит *(скандализованная)*. Эсси, Эсси!

Ричард. Ах, да, верно! *(Берет стакан и подставляет Эсси. Она наклоняет кувшин, но у нее трясутся руки.)* Что такое? Ты меня боишься?

Эсси *(торопливо)*. Нет. Я... *(Наливает воду.)*

Ричард *(отпив немного)*. Ого, да ты ходила к тому колодцу, что у ворот рынка, не иначе. *(Пьет.)* Чудесная вода! Спасибо тебе! *(К несчастью, в этот миг он замечает Джудит, на лице которой написано самое упорное неодобрение его явной симпатии к пожирающей его преданным взором Эсси. Тотчас же к нему возвращается прежнее насмешливое озорство. Он ставит стакан на стол, демонстративно обнимает Эсси за плечи и ведет ее в круг гостей. Так как при этом миссис Даджен оказывается у них на дороге, то, поровнявшись с ней, он произносит.)* С вашего разрешения, матушка! *(И принуждает ее посторониться.)* Тебя как зовут? Бесси?

Эсси. Эсси.

Ричард. Ну да, Эсси. А ты хорошая девочка, Эсси?

Эсси *(глубоко разочарованная тем, что он, именно он тоже начинает с этого)*. Да. *(Неуверенно смотрит на Джудит.)* Я думаю... то есть я надеюсь...

Ричард. Скажи мне, Эсси, слыхала ты когда-нибудь о том, кого называют дьяволом?

Андерсон *(возмущенный)*. Посовеститесь, сэр, такому ребенку...

Ричард. Прошу прощения, священник; я не мешаю вашим проповедям, не прерывайте и вы моих. *(Эсси.)* Знаешь, Эсси, как меня называют?

Эсси. Дик.

Ричард *(улыбаясь, треплет ее по плечу)*. Верно, Дик. Но не только Дик. Меня называют Ученик дьявола.

Эсси. А вы зачем позволяете?

Ричард *(серьезно)*. Потому что это правда. Меня воспитывали в иной вере, но я с самого начала знал, что истинный мой наставник, повелитель и друг — дьявол. Я видел, что правда на его стороне и что только из страха мир подлаживается к тому, кто одержал над ним победу. Я втайне молился ему; и он утешал меня и не допустил, чтобы мой дух сломили в доме, где постоянно лились детские слезы. Я обещал ему свою душу и поклялся, что всегда буду стоять за него и в этом мире и в грядущем. Это обещание и эта клятва сделали меня человеком. Отныне этот дом — его дом, и никогда здесь не заплачет ребенок; этот очаг — его алтарь, и ни одна живая душа не будет дрожать здесь от страха долгими темными вечерами. Ну *(резким движением повернувшись к остальным)*, вы, добрые люди, кто из вас возьмет эту девочку, из дома дьявола, чтобы спасти ее?

Джудит *(подойдя к Эсси и кладя ей руку на плечо)*. Я возьму. Вас надо заживо сжечь.

Эсси. Но я не хочу! *(Отступает назад, так что Ричард и Джудит оказываются лицом к лицу.)*

Ричард. Слышали, добродетельнейшая дама? Не хочет!

Дядя Тайтэс. Берегитесь, Ричард Даджен. Закон...

Ричард *(угрожающе поворачивается к нему)*. Берегитесь вы сами. Через час здесь перестанут действовать все законы, кроме одного — закона войны. Я видел солдат на дороге в шести милях отсюда; еще до полудня майор Суиндон водрузит на рыночной площади виселицу для мятежников.

Андерсон *(спокойно)*. Что же тут опасного для нас, сэр?

Ричард. Больше, чем вы думаете. В Спрингтауне он не того повесил, кого ему надо было; у Дадженов доброе имя, и он думал, что дядюшка Питер почтенный человек. Следующий раз он выберет самое уважаемое лицо в городе,

только бы удалось обвинить его в мятежных речах. А ведь мы все мятежники, вы сами знаете.

Все мужчины *(за исключением Андерсона)*. Нет, нет, нет!

Ричард. Да, вы мятежники. Пусть вы и не кляли короля Георга на всех перекрестках, как я, но вы молились о его поражении. А служили молебны вы, Антони Андерсон, и вы же продали семейную библию, чтобы купить себе пару пистолетов. Меня, может быть, англичане и не повесят: не такое уж назидательное зрелище – Ученик дьявола, отплясывающий в воздухе. Иное дело священник!

Джудит, потрясенная, хватается за Андерсона.

Или адвокат!

Хоукинс усмехается с видом человека, который сумеет позаботиться о себе.

Или честный барышник!

Дядя Тайтэс рычит на него в ярости и страхе.

Или пропойца, бросивший пить!

Дядя Уильям жалобно стонет и трясется от ужаса.

Вот это действительно прекрасное доказательство, что король Георг шутить не любит!

Андерсон *(с полным самообладанием)*. Успокойся, дорогая: он просто пугает нас. Никакой опасности нет. *(Ведет жену к выходу.)*

Вслед за ними теснятся остальные, за исключением Эсси, которая остается подле Ричарда.

Ричард *(продолжает шумно издеваться)*. Что же вы, а? Есть среди вас охотники остаться со мной, поднять американский флаг на крыше дома дьявола и драться за свободу?

Они торопятся выйти, подталкивая друг друга в спешке. Кристи вместе с ними.

Ха-ха! Да здравствует дьявол! *(Видя, что миссис Даджен тоже направилась к двери.)* Как, матушка! И ты уходишь?

Миссис Даджен *(мертвенно-бледная, прижимая руку к груди, как будто ей нанесен смертельный удар)*. Проклинаю тебя! В последний час свой проклинаю тебя! *(Выходит.)*

Ричард *(кричит ей вслед)*. Это принесет мне счастье.

Эсси *(робко)*. А мне можно остаться?

Ричард *(оглянувшись)*. Как! Они так испугались за свое тело, что позабыли о спасении твоей души! Ну конечно, оставайся. *(Снова поворачивается к двери и возбужденно потрясает кулаком вслед ушедшим. Левая его рука, висящая неподвижно, тоже сжимается в кулак. Эсси вдруг хватает ее и целует, роняя на нее слезы. Он вздрагивает и оглядывается.)* Слезы! Крещение дьявола! *(Она, рыдая, падает на колени. Он ласково наклоняется, чтобы поднять ее.)* Ну ничего, Эсси; такими слезами можешь поплакать немножко, если уж тебе очень хочется.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Дом священника Андерсона стоит на главной улице Уэбстербриджа, неподалеку от ратуши. Жителю Новой Англии XVIII века он представляется много великолепнее простого фермерского дома Дадженов, но и в нем все настолько просто, что современный агент по недвижимости пустил бы оба дома внаем по одной цене. В жилой комнате такой же кухонный очаг — с котлом, с противнем для поджаривания хлеба, с подвижным железным крюком, чтобы подвешивать мясо, и с широкой решеткой, на которой стоит котелок и блюдо с гренками, смазанными маслом. Дверь, расположенная сбоку от очага, поближе к углу, не имеет ни филенок, ни металлических наличников, ни даже ручки; она сколочена из простых досок и запирается на засов. Стол простой, кухонный, покрыт коричневой домотканой скатертью, протершейся на углах; на нем лакированный поднос с чайной посудой: две толстые фаянсовые чашки с блюдцами, такая же полоскательница и молочник вместимостью не меньше кварты; в центре стола — деревянная дощечка, на которой лежит большой каравай хлеба и рядом квадратный полуфунтовый кусок масла в фаянсовой плошке. Большой дубовый шкаф, вделанный в стену напротив очага, служит не для декоративных целей, а для использования по назначению; на гвозде, вбитом снаружи в дверцу, висит домашний сюртук священника — знак, что хозяина нет дома, потому что, когда он дома, здесь висит его парадный сюртук. Высокие сапоги для верховой езды гордо красуются на полу возле шкафа,— по-видимому, это их обычное место. Одним словом, кухня, столовая и гостиная священника еще не эволюционировали настолько, чтобы выделиться в три самостоятельных помещения; и с точки зрения нашего изнеженного века, он живет ничуть не лучше Дадженов. Но разница все-таки есть. Прежде всего миссис Андерсон — особа, значительно более приятная для семейной жизни, нежели миссис Даджен. На что миссис Даджен не преминула бы возразить, и довольно резонно, что у миссис Андерсон нет детей, требующих присмотра, нет кур, свиней и домашней скотины, есть постоянный, твердый доход, не зависящий от урожая и ярмарочных цен,

есть любящий муж, за которым она живет как за каменной стеной,— короче говоря, что жизнь в пасторском доме настолько же легка, насколько она тяжела на ферме. Это все верно. Но объяснить факт — еще не значит его опровергнуть; и как ни мала заслуга миссис Андерсон в том, что она сумела сделать свой дом приятным и радостным, нужно признать, что ей это удалось в полной мере. Внешними вещественными знаками ее социального превосходства служат дорожка на полу, потолок, оштукатуренный в просветах между балками, и стулья — хотя и без обивки, но отполированные и покрашенные. Искусство представлено здесь портретом какой-то пресвитерианской духовной особы, гравюрой рафаэлевской «Проповеди святого Павла в Афинах» и подаренными к свадьбе часами рококо на полке над очагом, по сторонам которых выстроены в строгом порядке две миниатюры в рамках, две глиняные собачки с корзинками в зубах и две большие морские раковины. Очень украшает комнату низкое и широкое, почти во всю стену, окно с решетчатым переплетом, задернутое до половины высоты маленькими красными занавесками. Дивана в комнате нет; но около шкафа стоит нечто вроде деревянного кресла с резной спинкой, достаточно широкого для двоих. В общем это как раз тот тип комнат, возврат к которому благодаря усилиям мистера Филипа Уэбба и его последователей в искусстве интерьера стал в конце концов идеалом девятнадцатого века, хотя пятьдесят лет тому назад ни один уважающий себя священник не стал бы жить в такой комнате. Уже вечер, и в комнате темно, только уютно тлеют угли в очаге да в окно проникает тусклый свет масляных уличных фонарей; видно, что идет ровный, затяжной, теплый, не подгоняемый ветром дождь. На городских часах бьет четверть, и в комнату входит Джудит с двумя свечами в глиняных подсвечниках, которые она ставит на стол. От ее утренней самоуверенности не осталось и следа; она полна страха и тревоги. Подходит к окну и смотрит на улицу. Первое, что она видит там,— это ее муж, под дождем торопящийся домой. У нее вырывается короткий вздох облегчения, очень похожий на всхлип, и она поворачивается к двери. Входит Андерсон, закутанный в насквозь промокший плащ.

Джудит *(бросаясь к нему)*. О, наконец-то, наконец-то ты пришел! *(Хочет обнять его.)*

Андерсон *(отстраняясь)*. Осторожно, моя дорогая,— я весь мокрый. Дай мне раньше снять плащ. *(Ставит перед очагом стул спинкой к огню, развешивает на нем плащ, стряхивает капли воды со шляпы и кладет ее на решетку очага и тогда только поворачивается к Джудит и раскрывает ей объятия.)* Ну вот!

Она кидается к нему на грудь.

Не запоздал я? На городских часах било четверть, когда я подходил к дому, но городские всегда спешат.

Джудит. Сегодня они, наверно, отстают. Я так рада, что ты уже дома.

Андерсон *(крепко прижимая ее к себе)*. Беспокоилась, голубка моя?

Джудит. Немножко.

Андерсон. Да ты как будто плакала?

Джудит. Так, чуть-чуть. Не обращай внимания. Теперь уже все прошло.

Звук трубы где-то в отдалении.

(Испуганно вздрагивает и отступает к креслу с резной спинкой.) Что это?

Андерсон *(идет за ней, ласково усаживает ее в кресло и сам садится рядом)*. Король Георг, больше ничего, моя дорогая. Сбор в казармы, или сигнал на перекличку, или вечерняя зоря, или приказ седлать, или еще что-нибудь. Солдаты не звонят в колокол и не кричат в окно, если им что нужно, а посылают трубача, чтобы он переполошил весь город.

Джудит. Ты думаешь, есть все-таки опасность?

Андерсон. Ни малейшей.

Джудит. Это ты говоришь, чтобы успокоить меня, а не потому, что на самом деле уверен.

Андерсон. Милая моя, опасность всегда существует в этом мире для тех, кто ее боится. Существует опасность, что наш дом сгорит ночью, однако это не мешает нам спать спокойным сном.

Джудит. Да, я знаю, ты всегда так говоришь; и ты прав. Ну, конечно, прав. Только я, наверно, не очень храбрая,— и в этом все дело. У меня сердце сжимается всякий раз, как я вспомню про солдат.

Андерсон. Ничего, дорогая; храбрость тем дороже, чем больших она стоит усилий.

Джудит. Да, должно быть. *(Снова обнимает его.)* Милый

мой, какой ты храбрый! *(Со слезами на глазах.)* Я тоже буду храброй... вот увидишь: тебе не придется стыдиться своей жены.

Андерсон. Вот и хорошо. Очень рад это от тебя слышать. Так, так! *(Весело встает и подходит к огню, чтобы посушить башмаки.)* Заходил я к Ричарду Даджену, но не застал его дома.

Джудит *(встает, не веря своим ушам)*. Ты был у этого человека?

Андерсон. Да ничего не случилось, милая. Его не было дома.

Джудит *(едва не плача, как будто этот визит — личное оскорбление для нее)*. Но зачем ты туда ходил?

Андерсон *(очень серьезным тоном)*. Видишь ли, в городе ходят толки, что майор Суиндон собирается сделать здесь то же, что он сделал в Спрингтауне: взять самого отъявленного мятежника — ведь он нас всех так называет — и повесить его в назидание остальным. Там он ухватился за Питера Даджена, как за человека с худшей славой в городе; и все считают, что здесь его выбор падет на Ричарда, по тому же признаку.

Джудит. Но Ричард сказал...

Андерсон *(добродушно, перебивал ее)*. Хо! Ричард сказал! Ричард для того и сказал, дорогая моя, чтобы напугать тебя и меня. Он сказал то, во что и сам, пожалуй, рад бы поверить, да простит его господь! Страшно представить, каково думать о смерти такому человеку. Вот я и решил, что нужно предостеречь его. Я ему оставил записку.

Джудит *(сердито)*. Какую записку?

Андерсон. Да вот, что я хотел бы сказать ему несколько слов по делу, которое его касается, и буду очень рад, если он зайдет сюда мимоходом.

Джудит *(окаменев от ужаса)*. Ты позвал этого человека сюда?

Андерсон. Именно так.

Джудит *(падает в кресло, прижав руки к груди)*. Хоть бы он не пришел! Господи, хоть бы он не пришел!

Андерсон. Почему? Разве ты не хочешь, чтобы я предупредил его об опасности?

Джудит. Нет, нет, пусть он узнает, что ему грозит... О Тони, скажи... это очень дурно — ненавидеть богохульника и дурного человека? Я его ненавижу. Он у меня из головы не выходит. Я знаю, он принесет нам горе. Он оскорбил тебя, оскорбил меня, оскорбил свою мать...

Андерсон. А мы простим его, голубка, и все забудется.

Джудит. Я знаю, знаю, что это дурно – ненавидеть кого-нибудь, но...

Андерсон *(подходит к ней; шутливо-ласковым тоном)*. Полно, дорогая, не такая уж ты грешница, как тебе кажется. Самый большой грех по отношению к ближнему – не ненависть, а равнодушие; вот истинно вершина бесчеловечности. В конце концов, моя дорогая, если присмотреться к людям, ты сама удивишься, до чего ненависть похожа на любовь.

Она вздрагивает от непонятного волнения – даже испуга. Его забавляет это.

Да, да; я говорю вполне серьезно. Вспомни, как многие из наших друзей, мужья и жены, мучают друг друга, подозревают, ревнуют, дня не дают друг другу дышать свободно – и, право же, больше похожи на тюремщиков или рабовладельцев, чем на любящих супругов. А теперь вспомни, каковы эти самые люди со своими врагами – щепетильны, сдержанны, независимы, исполнены достоинства, следят за каждым сказанным словом. Ха! Не приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что любой из них, сам того не зная, больший друг врагу своему, чем собственному мужу или жене? Да вот хоть ты, моя дорогая: сама того не зная, ты, право же, больше любишь Ричарда, чем меня!

Джудит. О, не говори так, Тони, даже в шутку не говори! Ты не знаешь, как во мне все переворачивается от таких слов.

Андерсон *(смеется)*. Ну, ну, не сердись, голубка! Он дурной человек, и ты его ненавидишь, как он того и заслуживает. А сейчас ты меня напоишь чаем, правда?

Джудит *(полная раскаяния)*. Ох, я совсем забыла! Заставила тебя ждать столько времени! *(Идет к очагу и ставит котелок на огонь.)*

Андерсон *(направляясь к шкафу и на ходу снимая сюртук)*. Ты зашила рукав моего старого сюртука?

Джудит. Да, дорогой! *(Хлопочет у стола, заваривая чай.)*

Андерсон *(переодеваясь в старый сюртук и вешая на гвоздь тот, который он только что снял)*. Кто-нибудь заходил пока меня не было?

Джудит. Нет, только...

В дверь стучат.

(Сильно вздрагивает, выдавая свое напряженное состояние, и отступает к дальнему краю стола, с чайницей и ложкой в руках.) Кто это?

Андерсон *(подходит к ней и успокоительно треплет ее по плечу)*. Ну, ну, голубка. Не съедят тебя, кто бы там ни был.

Она силится улыбнуться, едва сдерживая слезы. Он подходит к двери и распахивает ее. На пороге стоит Ричард, без плаща, в одной куртке.

Надо было вам прямо поднять щеколду и войти, мистер Даджен. У нас просто, без церемоний. *(Радушно.)* Входите.

Ричард непринужденно входит в комнату, останавливается у стола и неторопливо осматривается; когда ему на глаза попадается портрет духовной особы, он слегка морщит нос. Джудит упорно глядит на чайницу, которую держит в руках.

Дождь перестал? *(Затворяет дверь.)*

Ричард. Ну да, кой... *(Ловит взгляд Джудит, которая в это мгновение быстро и надменно вскинула голову.)* Прошу прощения, но *(показывая свою вымокшую куртку)* — сами видите!

Андерсон. А вы снимите куртку, сэр, и повесьте ее у огня: моя жена извинит вас. Джудит, подсыпь еще ложку чаю на долю мистера Даджена.

Ричард *(смотрит на него, нагло прищурившись)*. Эх, деньги — волшебная сила! Даже вы, пастор, стали со мной обходительнее с тех пор, как я сделался наследником своего отца!

Джудит в негодовании роняет ложку.

Андерсон *(ничуть не задетый, помогает Ричарду стащить с плеч мокрую куртку)*. Я думаю, сэр, поскольку вы не отказываетесь от моего гостеприимства, не может быть, чтобы вы так дурно его истолковали. Садитесь, пожалуйста. *(Держа куртку Ричарда в одной руке, другою указывает на кресло с резной спинкой.)*

Ричард, оставшись в одной рубашке, с минуту глядит так, как будто собирается ответить дерзостью, но потом, качнув головой, как бы в признание того, что священник одержал верх, послушно усаживается в кресло. Андерсон

сбрасывает свой плащ со спинки стула на сиденье и на его место вешает перед огнем куртку Ричарда.

Ричард. Я пришел по вашему приглашению, сэр. Вы написали, что имеете сообщить мне что-то важное.

Андерсон. Мой долг велит мне предостеречь вас.

Ричард *(быстро вставая)*. Вы собираетесь читать мне проповедь? Простите, но я охотнее прогуляюсь под дождем. *(Делает движение к стулу, на котором висит его куртка.)*

Андерсон *(останавливая его)*. Не пугайтесь, сэр; я не такой уж рьяный проповедник. Можете быть совершенно спокойны.

Ричард невольно улыбается. Его взгляд теплеет, он даже делает движение рукой, словно извиняясь.

(Видя, что его удалось приручить, заговаривает снова, на этот раз уже серьезным тоном.) Мистер Даджен, вам угрожает опасность.

Ричард. Опасность? Какая?

Андерсон. Вам грозит участь вашего дяди. Виселица майора Суиндона.

Ричард. Это вам она грозит, а не мне. Я ведь предупреждал вас, что...

Андерсон *(перебивая его, добродушно, но веско)*. Знаю, знаю, мистер Даджен, но в городе все другого мнения. Наконец, даже если б мне угрожала опасность, меня здесь удерживает долг, которым я не могу пренебречь. Но вы человек, ничем не связанный. Зачем вам подвергать себя риску?

Ричард. А вы думаете, велика будет потеря, если меня повесят?

Андерсон. Я думаю, что жизнь любого человека заслуживает спасения.

Ричард отвешивает ему иронический поклон. Андерсон кланяется в ответ так же шутливо.

Прошу к столу. Выпейте чашку чаю, это вас предохранит от простуды.

Ричард. Я замечаю, что миссис Андерсон не так уж настаивает на этом, как вы, пастор.

Джудит *(ее душит негодование, которое муж, по ее мнению, должен был бы разделить, давая Ричарду резкий отпор за каждый его оскорбительный выпад)*. Прошу вас — ради

моего мужа. *(Берет чайник со стола и ставит его на огонь.)*

Ричард. Знаю, что не ради меня самого, сударыня. *(Встает.)* Нет, пастор, я, пожалуй, не преломлю хлеба в вашем доме.

Андерсон *(живо)*. Объясните, почему?

Ричард. Потому что в вас есть что-то такое, что мне внушает уважение и заставляет желать, чтоб мы с вами были врагами.

Андерсон. Хорошо сказано, сэр. На таких условиях я согласен быть врагом и вашим и чьим угодно. Джудит, мистер Даджен выпьет чаю с нами. Садитесь, на огне быстро настоится.

Ричард смотрит на него слегка растерянно, потом садится и низко наклоняет голову, чтобы скрыть некоторое волнение.

Я как раз только что говорил своей жене, мистер Даджен, что дружба...

Джудит хватает его за руку и умоляюще смотрит на него, вложив столько пылкости в движение и во взгляд, что он сразу останавливается.

Ну, ну, ладно! Оказывается, я вам об этом не должен говорить, хоть тут нет ничего такого, что могло бы повредить нашей дру... то есть я хотел сказать – вражде. Джудит вам лютый враг.

Ричард. Если бы все мои враги походили на миссис Андерсон, я был бы самым добрым христианином в Америке.

Андерсон *(довольный, хлопает Джудит по руке)*. Слыхала, Джудит? Мистер Даджен, оказывается, умеет говорить комплименты.

Кто-то приподнимает снаружи дверную щеколду.

Джудит *(вздрогнув)*. Кто там?

Входит Кристи.

Кристи *(останавливается и, вытаращив глаза, глядит на Ричарда)*. Это ты тут?

Ричард. Да, я. Проваливай отсюда, дурень! Миссис Андерсон не собирается угощать чаем все наше семейство сразу.

Кристи *(подходя ближе)*. Мать совсем плоха.

Ричард. Что ж, она тебя послала за мной?

Кристи. Нет.

Ричард. Я так и думал.

Кристи. Она меня послала за священником, чтоб он сейчас же пришел.

Джудит *(Андерсону)*. Выпей хоть чаю раньше.

Андерсон. Я с бóльшим удовольствием выпью его, когда вернусь, дорогая. *(Берется за свой плащ.)*

Кристи. Дождя-то нету.

Андерсон *(бросает плащ и берет с решетки шляпу)*. Где сейчас твоя мать, Кристи?

Кристи. У дядюшки Тайтэса.

Андерсон. За доктором ты ходил?

Кристи. Нет, она не велела.

Андерсон. Сейчас же ступай за ним, я тебя догоню у его дома.

Кристи поворачивается к двери.

Погоди минутку. Твой брат, верно, хочет, чтоб ты ему рассказал поподробнее.

Ричард. Вот еще! Он все равно ничего толком не скажет, да и мне ни к чему. *(Свирепо.)* Ну, марш отсюда, остолоп!

Кристи уходит.

(Добавляет несколько смущенно.) Мы и без него скоро все узнаем.

Андерсон. Ну хорошо. Тогда, с вашего разрешения, я сам расскажу вам все, когда вернусь. Джудит, ты напои мистера Даджена чаем и задержи его тут до моего прихода.

Джудит *(побледнев и вся дрожа)*. Как, мне...

Андерсон *(перебивает, чтобы скрыть ее волнение)*. Моя дорогая, я ведь могу на тебя положиться?

Джудит *(делая жалкие усилия казаться достойной его доверия)*. Да.

Андерсон *(прижимая ее ладонь к своей щеке)*. Вы уж извините нас, стариков, мистер Даджен. *(Идет к двери.)* Я не прощаюсь – надеюсь, что еще застану вас здесь. *(Выходит.)*

Ричард и Джудит следят за ним в окно, пока он не скрывается из виду; потом долго, молча, в замешательстве, смотрят друг на друга. Ричард, заметив, что у Джудит дрожат губы, первым приходит в себя.

Ричард. Миссис Андерсон, мне очень хорошо известно, как вы ко мне относитесь. Я не собираюсь навязывать вам

свое общество. Покойной ночи. *(Снова направляется к очагу за своей курткой.)*

Джудит *(становится у него на дороге)*. Нет, нет, не уходите! Пожалуйста, не уходите.

Ричард *(грубо)*. Почему? Вы ведь сами хотите, чтоб я ушел.

Джудит. Да, но... *(В отчаянии ломает руки.)* О, если я вам скажу правду, вы потом все время будете меня мучить.

Ричард *(возмущенно)*. Мучить? Кто дал вам право так говорить? И после этого вы воображаете, что я тут останусь?

Джудит. Я хочу, чтоб вы остались, но только *(с неожиданной злостью, точно рассерженный ребенок)* вовсе не потому, что мне это приятно.

Ричард. Вот как!

Джудит. Да, и уж лучше уходите. Только не вздумайте перетолковывать мои чувства. Я вас ненавижу и боюсь; и мой муж это знает. Если он вас не застанет здесь, когда вернется, он подумает, что я его не послушалась и прогнала вас.

Ричард *(с иронией)*. Тогда как на самом деле вы были так милы и любезны и оказали мне столь радушный прием, что я захотел уйти просто из упрямства. Так?

Джудит, почувствовав вдруг, что силы у нее иссякли, падает на стул и разражается слезами.

Перестаньте, перестаньте, сейчас же перестаньте. Не надо. *(Прижимает руку к груди, как будто у него там рана.)* Он меня поразил в самое сердце, выказав себя настоящим мужчиной. Теперь вы хотите еще растравить боль, выказав себя настоящей женщиной? Разве он не внушил вам, что вы, как и он сам, выше моих насмешек?

Она перестает плакать и, постепенно успокаиваясь, смотрит на него с боязливым любопытством.

Ну вот, теперь все в порядке. *(Участливо.)* Вам уже лучше, верно? *(Подбодряющим жестом кладет ей руку на плечо.)*

Она тотчас же встает, приняв холодный и надменный вид, и смотрит на него с вызовом.

(Мгновенно к нему возвращается прежний язвительный тон.) А-а, ну так-то лучше. Вы опять стали сами собой, и Ричард тоже. Что ж, сядем пить чай, как мирная, добропорядочная парочка, и будем дожидаться возвращения вашего мужа.

Джудит *(ей немного совестно)*. Да, конечно. Я... мне очень жаль, что я так глупо вела себя. *(Наклоняется к очагу за блюдом с гренками.)*

Ричард. А мне очень жаль — из-за вас, — что я таков, как я есть. Позвольте... *(Берет у нее из рук блюдо и несет к столу.)*

Джудит *(идет за ним с чайником)*. Пожалуйста, садитесь.

Он садится за стол со стороны шкафа; там стоит прибор — тарелка и нож. Второй прибор поставлен рядом, но Джудит садится напротив, со стороны очага, и пододвигает к себе поднос.

Вам с сахаром?

Ричард. Нет, но молока побольше. Позвольте положить вам гренки. *(Кладет гренки на тарелку, стоящую перед соседним стулом, и потом передает ей вместе с ножом. Это сразу показывает, как хорошо он понял, что она умышленно села подальше от него, изменив своему обычному месту.)*

Джудит *(смысл его поступка ей ясен)*. Благодарю вас. *(Передает ему чашку чаю.)* И себе тоже, пожалуйста.

Ричард. Благодарю вас. *(Кладет один ломтик на свою тарелку; она тем временем наливает себе чаю.)*

Джудит *(замечая, что он ни к чему не притрагивается)*. Вам не нравится? Почему вы ничего не едите и не пьете?

Ричард. А вы почему?

Джудит *(нервно)*. Я вообще не люблю чай. Вы на меня не обращайте внимания.

Ричард *(задумчиво оглядываясь по сторонам)*. Я все думаю... Чудно как-то. Я чувствую, как хорошо и покойно в этом доме. Я, кажется, никогда в жизни не отдыхал душой так, как сейчас; и все-таки я твердо знаю, что не мог бы здесь жить. Вероятно, домашний уют вообще не по мне. Но это очень хорошо; в этом есть что-то почти святое. *(С минуту сидит в раздумье, потом вдруг тихо смеется.)*

Джудит *(встрепенувшись)*. Чему вы?

Ричард. Мне пришло в голову, что если б сюда заглянул сейчас кто-нибудь чужой, он принял бы нас за мужа и жену.

Джудит *(обиженно)*. Вы намекаете на то, что по возрасту вы мне больше подходите, чем мой муж?

Ричард *(изумленный таким неожиданным истолкованием)*. У меня и в мыслях ничего подобного не было! *(Снова*

впадая в язвительный тон.) Оказывается, домашние радости имеют свою оборотную сторону.

Джудит *(сердито)*. Во всяком случае лучше иметь мужем человека, которого все уважают, чем... чем...

Ричард. Чем Ученика дьявола. Вы правы. Но я думаю, что это ваша любовь помогает ему быть хорошим человеком; точно так же, как ваша ненависть помогает мне быть плохим.

Джудит. Мой муж так добр к вам. Он простил вам все ваши оскорбления и думает о том, как бы спасти вас. Неужели же вы не можете простить ему, что он гораздо лучше вас? Как вы смеете его унижать, ставя себя на его место?

Ричард. Я?

Джудит. Да, вы. Вы сказали, что если бы кто-нибудь заглянул сюда, нас приняли бы за мужа и... *(Смолкает в испуге.)*

В окно видно, как к дому подходит взвод солдат.

Английские солдаты! Господи, что им...

Ричард *(прислушиваясь)*. Шш-ш!

Голос *(за дверью)*. Стой! Четверым встать здесь. Двое — вперед, за мной!

Джудит привстает, вслушиваясь и расширенными глазами глядя на Ричарда, который берет чашку и самым прозаическим образом принимается пить чай как раз в ту минуту, когда на двери, резко звякнув, взлетает щеколда и в комнату входит английский сержант в сопровождении двух рядовых, которые останавливаются у порога. Сержант быстрым шагом подходит к столу.

Сержант. Прошу извинить за беспокойство, мэм,— служба! Антони Андерсон, именем короля Георга вы арестованы как мятежник.

Джудит *(делая движение в сторону Ричарда)*. Но это не...

Он вскидывает на нее быстрый взгляд, не меняя выражения лица. Она закрывает рот рукой, которую подняла, чтобы указать на него, и стоит так, в безмолвном ужасе глядя на все, что перед ней происходит.

Сержант. Ну, пастор, надевайте сюртук и пойдем.

Ричард. Да, я иду. *(Встает и делает шаг по направлению к своей куртке, но тут же спохватывается и, стоя спиной к сержанту, не поворачивая головы, медленно обво-*

дит глазами комнату, пока не замечает черный сюртук Андерсона, висящий на шкафу. С полным спокойствием подходит к шкафу, снимает сюртук и облачается в него. При мысли о том, что он выступает в роли пастора, ему становится смешно; он смотрит на свою руку в черном рукаве и лукаво улыбается Джудит, но ее побелевшее лицо говорит ему, что она мучительно старается осознать не юмор положения, а весь его ужас. Он поворачивается к сержанту, который в это время подошел к нему, пряча за спиной пару наручников, и говорит почти весело.) Вам когда-нибудь уже приходилось арестовывать человека в таком платье, сержант?

Сержант *(с инстинктивным уважением отчасти к черному сюртуку, отчасти к безупречному тону и поведению Ричарда)*. Да пожалуй, что нет, сэр. Разве только армейского капеллана. *(Показывает наручники.)* Прошу извинить, сэр, но служба...

Ричард. Все понятно, сержант. Я здесь не вижу ничего зазорного. Благодарю за вашу деликатность. *(Протягивает руки.)*

Сержант *(оставляя его жест без внимания)*. Джентльмен джентльмена понимает, сэр. Не хотите ли сказать перед уходом словечко вашей хозяйке?

Ричард *(улыбаясь)*. Ну, мы ведь еще увидимся до того, как... э-э... *(Он хотел сказать: «До того, как меня повесят».)*

Сержант *(громко, с преувеличенной веселостью)*. Конечно, конечно. Даме не о чем беспокоиться. Но все-таки... *(Понизив голос так, чтобы слышал только Ричард.)* Другого случая не будет, сэр.

С минуту они многозначительно смотрят друг на друга. Потом Ричард шумно переводит дух и поворачивается к Джудит.

Ричард *(отчетливо и с ударением)*. Моя дорогая...

Джудит поднимает к нему жалкое, бледное лицо и хочет ответить, но не может, хочет подойти ближе, но не решается выпустить из рук край стола, за который ухватилась, ища опоры.

Этот бравый джентльмен настолько любезен, что дает нам возможность проститься.

Сержант деликатно отходит к своим людям, охраняющим дверь.

Щадя тебя, он хотел скрыть истину, но лучше тебе знать все. Ты меня слушаешь?

Она утвердительно кивает головой.

Ты понимаешь, что я иду на смерть?

Она кивает головой в знак того, что понимает.

Помни, ты должна обязательно разыскать нашего друга, который только что был здесь. Ты понимаешь?

Она кивает головой.

Ты должна сделать так, чтобы опасность не коснулась его. Ни за что на свете не рассказывай ему о том, что меня ждет; а если он все-таки узнает, скажи, что он не может меня спасти: они повесят его, но не помилуют и меня. И скажи ему, что я верен своей религии, как он верен своей, и что он может положиться на меня до конца. *(Поворачивается и хочет идти, но встречает взгляд сержанта, в котором как будто мелькнуло подозрение. Секунду он соображает, потом поворачивается снова к Джудит, и тень проказливой улыбки появляется на его сосредоточенном, серьезном лице.)* А теперь, моя радость, боюсь, сержант не поверит, что ты в самом деле добрая и любящая жена, если ты не поцелуешь меня на прощанье. *(Подходит ближе к ней и раскрывает объятия. Она отпускает стол и почти валится к Ричарду на грудь.)*

Джудит *(слова душат ее)*. Я должна... это убийство...

Ричард. Нет, только поцелуй. *(Тихо, ей.)* Ради него...

Джудит. Я не могу. Вы...

Ричард *(прижимает ее к себе в порыве жалости к ее мучениям)*. Бедная девочка!

Джудит с внезапной решимостью обхватывает его руками, целует и, выскользнув из его объятий, падает на пол в глубоком обмороке, как будто поцелуй убил ее.

Ричард *(торопливо подходит к сержанту)*. Идем, сержант, скорей, пока она не очнулась. Давайте наручники. *(Протягивает руки.)*

Сержант *(пряча наручники в карман)*. Не нужно, сэр, я вам доверяю. Вы настоящий человек. Вам бы солдатом быть, сэр. В середину, прошу вас.

Солдаты становятся один впереди, другой позади Ричарда. Сержант распахивает дверь.

Ричард *(оглядываясь в последний раз)*. Прощай, жена! Прощай, родной дом! Приглушим барабаны и — вперед!

Сержант делает головному знак трогаться. Все четверо гуськом быстро выходят из комнаты.

Когда Андерсон возвращается от миссис Даджен, он, к удивлению своему, находит комнату как будто пустой и погруженной почти в полную темноту, если не считать отсветов от очага, — одна свеча догорела, а другая вот-вот догорит.

Андерсон. Что же это такое?.. *(Зовет.)* Джудит, Джудит! *(Прислушивается — ответа нет.)* Гм! *(Идет к шкафу, достает из ящика свечу, зажигает ее от едва теплящегося огонька той, что стоит на столе, и при свете ее с удивлением оглядывает нетронутую еду. Потом вставляет свечу в подсвечник, снимает шляпу и озадаченно почесывает затылок. Этот жест заставляет его нагнуть голову, и тут он замечает Джудит — с закрытыми глазами, неподвижно распростертую на полу. Он бросается к ней, становится на колени, приподнимает ей голову.)* Джудит!

Джудит *(просыпаясь; обморок ее перешел в сон, как следствие усталости после перенесенного волнения)*. Да? Ты звал? Что случилось?

Андерсон. Я только что вошел и вижу, ты лежишь на полу, свечи догорели, чай в чашках совсем холодный... Что здесь произошло?

Джудит *(мысли ее еще блуждают)*. Не знаю. Я что, спала? Вероятно... *(Растерянно умолкает.)*

Андерсон *(со стоном)*. Да простит мне бог, что я оставил тебя одну с этим негодяем.

Джудит сразу все вспоминает. С жалобным криком она хватается за мужа и вместе с ним встает на ноги.

(Ласково обнимает ее.) Бедная моя голубка!

Джудит *(в исступлении прижимаясь к нему)*. Что мне делать! О боже мой, что мне делать!

Андерсон. Ничего, успокойся, моя дорогая, моя любимая. Это я виноват. Успокойся, теперь тебе нечего бояться... и ты ведь невредима, правда? *(Отпускает ее, чтобы посмотреть, в силах ли она стоять без поддержки.)*

Ну вот, ну вот, все хорошо. Только бы ты была невредима, остальное все неважно.

Джудит. Да, да, да! Я невредима.

Андерсон. Хвала господу! Ну, а теперь успокойся. *(Подводит ее к креслу с резной спинкой, усаживает и сам садится рядом.)* Сядь, отдохни, ты мне все завтра расскажешь *(видя ее отчаяние и неправильно истолковывая его)* или не расскажешь совсем, если это тебе тяжело. Ну, ну! *(Весело.)* Я вот тебе свежего чаю заварю, это тебя сразу подкрепит. *(Идет к столу и выливает чай из чайника в полоскательницу.)*

Джудит *(напряженным, неестественным голосом)*. Тони!

Андерсон. Что, дорогая?

Джудит. Ты не думаешь, что это все нам только снится?

Андерсон *(оглядывается на нее с тревогой, но продолжает весело и сосредоточенно хлопотать над чайником)*. Может быть, голубка, может быть. Но пусть уж тогда тебе заодно приснится чашка чаю.

Джудит. Перестань, перестань шутить! Ты не знаешь... *(Закрывает лицо судорожно сцепленными руками.)*

Андерсон *(выдержка изменяет ему, он оставляет чайник и подходит к ней)*. Дорогая моя, что случилось? Я не могу больше, ты должна мне сказать. Это все моя вина; безумие было довериться ему.

Джудит. Нет, не говори так. Ты не должен так говорить. Он... нет, нет! Не могу! Тони, не говори со мной. Возьми мою руку, обе возьми.

Он берет ее руки, недоумевая.

Заставь меня думать о тебе, а не о нем. Опасность грозит, страшная опасность. Она грозит тебе, а я не могу заставить себя думать об этом, не могу, не могу! У меня все время он на уме. Его надо спасти... Нет, это тебя надо спасти... Тебя, тебя, тебя. *(Вскакивает, как будто намереваясь что-то делать, куда-то идти.)* О господи, помоги мне!

Андерсон *(не поднимаясь с места, мягко, но решительно удерживает ее руки в своих)*. Спокойней, спокойней, голубка... Ты точно не в себе.

Джудит. Может быть... Что мне делать! Что мне делать! *(Вырывая у него руки.)* Я должна спасти его. *(Бросается к двери.)*

Андерсон, увидя это, поспешно встает. Но дверь в эту минуту стремительно распахивается, и в комнату, за-

дыхаясь, вбегает Эсси. Это неожиданное появление настолько неприятно Джудит, что сразу приводит ее в себя.

(Резко и неприветливо она спрашивает.) Что тебе нужно?

Эсси. Мне сказали, чтоб я шла к вам.

Андерсон. Кто сказал?

Эсси *(вытаращив на него глаза, как будто его присутствие кажется ей удивительным)*. Вы тут?

Джудит. Разумеется. Что еще за глупости!

Андерсон. Не надо так сурово, дорогая моя. Ты ее испугаешь. *(Становясь между ними.)* Поди сюда, Эсси.

Эсси подходит к нему.

Кто тебя прислал?

Эсси. Дик. Он мне это передал через солдата. Чтоб я сейчас же шла сюда и делала то, что велит миссис Андерсон.

Андерсон *(осененный догадкой)*. Солдат? О, теперь я все понял. Они арестовали Ричарда.

Джудит заламывает руки в отчаянии.

Эсси. Нет. Я спрашивала солдата. Никто Дика не трогал. Но солдат сказал, что взяли вас.

Андерсон. Меня? *(Озадаченный, поворачивается к Джудит, ища у нее объяснения.)*

Джудит *(вкрадчиво)*. Да, да, милый, я все понимаю. *(Эсси.)* Спасибо тебе, Эсси, что пришла, но ты мне пока не нужна. Можешь идти домой.

Эсси *(подозрительно)*. А вы верно знаете, что с Диком ничего не случилось? Может, он нарочно велел сказать, что это священника взяли? *(С тревогой.)* Миссис Андерсон, как вы думаете, может это быть?

Андерсон. Если это так, Джудит, скажи ей правду. Все равно она узнает от первого встречного на улице.

Джудит отворачивается и закрывает рукой глаза.

Эсси *(жалобно)*. Ой, что же ему теперь будет? Что ему теперь будет? Они его повесят?

Джудит конвульсивно вздрагивает и бросается на стул — тот, на котором сидел у стола Ричард.

Андерсон *(треплет Эсси по плечу, стараясь ее утешить)*. Не думаю. Не думаю. Может быть, если ты наберешься

мужества и терпения, мы как-нибудь найдем способ помочь ему.

Эсси. Да, да, помочь ему... Да, да, да... Я буду умницей.

Андерсон. Джудит, я сейчас же иду к нему.

Джудит *(вскакивая)*. Нет, нет! Ты должен уехать... уехать куда-нибудь далеко, где тебе не грозит опасность.

Андерсон. Ха!

Джудит *(страстно)*. Ты хочешь убить меня? Ты думаешь, я могу так жить – день за днем цепенеть от страха при каждом стуке в дверь, при каждом шорохе шагов, ночь за ночью проводить без сна, прислушиваясь в смертельном ужасе – вот они идут за тобой?!

Андерсон. А ты думаешь, легче будет сознавать, что я бросил свой пост и убежал при первом признаке опасности?

Джудит *(в отчаянии)*. Ты не уедешь. Я знаю. Ты останешься здесь... а я сойду с ума.

Андерсон. Дорогая моя, твой долг...

Джудит *(исступленно)*. А, что мне долг!

Андерсон *(потрясенный)*. Джудит!

Джудит. Я исполню свой долг. Я верна своему долгу. Долг велит мне сделать так, чтобы ты уехал, спасти тебя, а его предоставить его собственной судьбе.

У Эсси вырывается крик отчаяния; она бессильно валится на стул у очага и тихо плачет.

А чувство подсказывает мне то же, что вот ей,– спасти его во что бы то ни стало, хоть для него самого гораздо лучше было бы умереть! Гораздо возвышеннее! Но я знаю: ты поступишь по-своему, как и он. Я бессильна. *(Тяжело опускается в кресло с резной спинкой.)* Я ведь только женщина. Я могу лишь одно – сидеть тут и мучиться. Но ты скажи ему, что я пыталась тебя спасти, что я все делала для того, чтобы тебя спасти.

Андерсон. Дорогая моя, боюсь, что он гораздо больше беспокоится о собственном спасении, нежели о моем.

Джудит. Замолчи! Или я возненавижу тебя.

Андерсон. Ну, ну, ну! Мне надо уходить, а как я тебя оставлю в таком состоянии? Ты ведь не помнишь, что говоришь. *(Поворачивается к Эсси.)* Эсси!

Эсси *(поспешно встает и вытирает глаза)*. Да?

Андерсон. Будь умницей, ступай на улицу и подожди меня там; миссис Андерсон не вполне здорова.

Эсси смотрит на него недоверчиво.

Не бойся, я сейчас выйду; и я пойду к Дику.

Эсси. А вы верно к нему пойдете? *(Шепотом.)* Вы ее не послушаете?

Андерсон *(с улыбкой)*. Нет, нет, все будет в порядке. В полном порядке.

Эсси идет к двери.

Ну вот, умница. *(Закрывает за ней дверь и возвращается к Джудит.)*

Джудит *(она сидит, прямая и неподвижная)*. Ты идешь на смерть.

Андерсон *(шутливо)*. Тогда, пожалуй, нужно надеть парадный сюртук. *(Поворачивается к шкафу, принимаясь стягивать один рукав.)* А где же... *(Секунду смотрит в недоумении на пустой гвоздь, потом быстро оглядывается на очаг, идет к нему торопливым шагом и берет со стула куртку Ричарда.)* Что это, голубка? Он ушел в моем парадном сюртуке?

Джудит *(по-прежнему не шевелясь)*. Да.

Андерсон. Верно, солдаты ошиблись?

Джудит. Да, они ошиблись.

Андерсон. Так ведь он мог сказать им. Должно быть, очень растерялся, бедняга?

Джудит. Да, он мог сказать им. И я тоже могла.

Андерсон. Странно, странно это вышло... даже, можно сказать, забавно. Удивительно, как такие вот пустяки действуют на нас даже в самых... *(Обрывает фразу и принимается натягивать куртку Ричарда.)* Надо, пожалуй, отнести ему его куртку. Знаю, что он скажет! *(Передразнивая язвительный тон Ричарда.)* «Что, пастор, забеспокоились о моей душе, а заодно и о своем сюртуке?»

Джудит. Да, именно так он и скажет. *(Рассеянно.)* Неважно. Больше я никогда не увижу ни тебя, ни его.

Андерсон *(поддразнивая ее)*. Та-та-та! *(Садится с ней рядом.)* Это ты так держишь обещание, что мне не придется краснеть за свою храбрую жену?

Джудит. Нет, это я так его нарушаю. Я не в силах сдержать обещание, данное ему; почему же мне держать обещание, данное тебе?

Андерсон. Оставь эти туманные фразы, моя дорогая. Они производят впечатление неискренних.

Она глядит на него с невыразимым укором.

Да, да, дорогая, вздор всегда неискренен; а моя милая девочка сейчас говорит вздор. Именно вздор.

Ее лицо темнеет; с безмолвным упорством она смотрит прямо перед собой и больше уже не поворачивается к нему, поглощенная мыслями о судьбе Ричарда.

(Он наблюдает за ней, видит, что его шутливый тон не оказал на нее никакого действия, и оставляет его, больше не пытаясь скрыть свою тревогу.) Я все-таки хотел бы знать, что так напугало тебя. Была борьба? Он сопротивлялся?

Джудит. Нет. Он улыбался.

Андерсон. Как тебе кажется, он понимал, что его ждет?

Джудит. Он понимал, что ждет тебя.

Андерсон. Меня?

Джудит *(без всякого выражения)*. Он сказал: «Нужно сделать так, чтобы опасность не коснулась его». Я обещала... и не могу сдержать свое обещание. Он сказал: «Ни за что на свете не рассказывайте ему о том, что меня ждет». А я рассказала. Он сказал, что, если ты узнаешь, тебе все равно не удастся его спасти — они повесят его, но не пощадят и тебя.

Андерсон *(вставая, в порыве великодушного негодования)*. И ты думаешь, я допущу, чтобы человек с такой душой умер как пес, когда достаточно нескольких слов, чтобы он умер как христианин? Мне стыдно за тебя, Джудит!

Джудит. Он останется верен своей религии, как ты верен своей, и ты можешь положиться на него до конца. Так он сказал.

Андерсон. Да простит ему господь! Что он еще сказал?

Джудит. Он сказал: «Прощайте».

Андерсон *(в волнении шагает из угла в угол)*. Ах, бедняга, бедняга! Джудит, ты по крайней мере была с ним ласкова и сердечна на прощанье?

Джудит. Я поцеловала его.

Андерсон. Что? Джудит!

Джудит. Ты недоволен?

Андерсон. Нет, нет. Ты поступила правильно... ты поступила правильно. Бедняга, бедняга. *(С глубокой печалью.)* Погибнуть на виселице — в его годы! Ну, и потом что же, его увели?

Джудит *(устало)*. Потом ты оказался здесь; а до того я больше ничего не помню. Кажется, я лишилась чувств. Давай простимся. Тони. Я могу опять лишиться чувств. Как бы я хотела умереть.

Андерсон. Полно, полно, моя дорогая. Ты должна взять себя в руки и быть рассудительной. Мне не грозит никакая опасность, ни малейшая.

Джудит *(с силой)*. Ты идешь на смерть, Тони, на верную смерть,— если только господь допустит, чтобы казнили невинных. Ты его не увидишь; тебя арестуют, как только ты назовешь свое имя. Солдаты приходили за тобой.

Андерсон *(как громом пораженный)*. За мной?!! *(Его кулаки сжимаются, на шее вздуваются жилы, лицо багровеет, мешки под глазами набухают горячей кровью; тихий, мирный человек исчезает, превратясь в грозного и неукротимого воина.)*

Но Джудит, по-прежнему поглощенная своим, не смотрит на него; ее глаза устремлены вперед с твердостью, которая — словно отсвет твердости Ричарда.

Джудит. Он назвался твоим именем, он пошел на смерть, чтобы спасти тебя. Вот почему он ушел в твоем сюртуке Вот почему я поцеловала его.

Андерсон *(раздражаясь)*. Тысяча проклятий! *(Голос его звучит властно и сурово, движения полны грубой силы.)* Эй! Эсси! Эсси!

Эсси *(вбегая)*. Я здесь.

Андерсон *(стремительно)*. Беги к харчевню, живо, со всех ног! Скажи, пусть седлают самую сильную и быструю лошадь, какая только есть.

Джудит поднимается и смотрит на него, задыхаясь, не веря своим ушам.

Гнедую кобылу, если она в стойле. Только сейчас же, сию минуту. Сама ступай на конюшню и скажи там негру, что он получит серебряный доллар, если лошадь будет готова к моему приходу, и что я иду следом за тобой. Ну, беги.

Эсси, повинуясь напору его энергии, стремглав вылетает из дома. Он хватает свои сапоги, бросается в кресло перед очагом и торопливо принимается надевать их.

Джудит *(у нее не укладывается в голове, что он способен на подобное)*. Ты не идешь к нему?

Андерсон *(возится с сапогами)*. К нему? А что пользы в этом? *(Бормоча себе под нос, с трудом натягивает, наконец, один сапог.)* К ним, вот куда мне надо. *(Джудит, повелительно.)* Достань пистолеты, я их возьму с собой. И деньги, деньги; мне нужны деньги — все, что есть в доме.

(Наклоняется над вторым сапогом, ворча.) Велика прибыль для него, если я ему составлю компанию на виселице. *(Надевает сапог.)*

Джудит. Значит, ты его покидаешь?

Андерсон. Придержи язык, женщина, и достань мне пистолеты.

Джудит подходит к шкафу и достает кожаный пояс, к которому прикреплены пара пистолетов, пороховница и патронташ. Она бросает все это на стол, потом отпирает один из ящиков и вынимает кошелек.

(Хватает пояс и, надевая его, продолжает.) Если он в моем платье сошел за меня, почему бы мне в его платье не сойти за него? *(Застегивает пряжку и оправляет пояс.)* Похож я на него?

Джудит *(повернувшись к нему с кошельком в руке)*. Совсем не похож.

Андерсон *(вырывает у нее кошелек и высыпает его содержимое на стол)*. Гм! Увидим!

Джудит *(беспомощно опускается в кресло)*. Может быть, помолиться? Как ты думаешь, Тони?

Андерсон *(пересчитывая деньги)*. Молиться! Как будто молитвой можно отвести петлю от шеи Ричарда!

Джудит. Бог может смягчить сердце майора Суиндона.

Андерсон *(пряча в карман деньги, презрительно)*. Что ж, пусть попробует. Я не бог, и я должен действовать иначе.

У Джудит дух захватывает от такого кощунства.

(Бросает кошелек на стол.) На, убери. Я взял двадцать пять долларов.

Джудит. Неужели ты совсем позабыл о том, что ты священник?

Андерсон. А, ко всем... Тьфу! Шляпа, где моя шляпа? *(Хватает шляпу, плащ, в лихорадочной спешке надевает то и другое.)* Вот что, слушай. Если тебе удастся проникнуть к нему под видом жены, скажи, пусть придержит язык до утра; этого времени мне хватит.

Джудит *(мрачно)*. Ты можешь положиться на него до конца.

Андерсон. Ты глупа, Джудит, просто глупа. *(На мгновение обуздав свою бурную стремительность, говорит почти прежним тоном спокойной и внушительной уверенности.)* Ты не знаешь человека, с которым живешь.

Возвращается Эсси.

(Сразу набрасывается на нее.) Ну что, готова лошадь?

Эсси *(задыхаясь)*. Будет готова, как придете.

Андерсон. Отлично. *(Направляется к двери.)*

Джудит *(встает и невольным движением протягивает руки ему вслед)*. Ты даже не хочешь проститься со мной!

Андерсон. И потерять еще полминуты? Вздор! *(Со стремительностью горной лавины исчезает.)*

Эсси *(подбегает к Джудит)*. Он пошел спасать Ричарда, да?

Джудит. Спасать Ричарда! Нет, это Ричард его спас. Он пошел спасать себя. Ричард умрет.

Эсси с криком отчаяния падает на колени, закрыв руками лицо. Джудит не замечает ее; она неподвижно смотрит прямо перед собой — туда, где ей чудится Ричард, идущий на смерть.

Ранним утром следующего дня **сержант** *отпирает дверь маленькой пустой приемной в городской ратуше, где разместился штаб английских войск, и приглашает* **Джудит** *войти. Она провела мучительную ночь, вероятно полную лихорадочных видений, потому что даже сейчас, в реальной обстановке серенького, пасмурного утра, как только внимание ее перестают привлекать посторонние вещи, у нее вновь появляется тот же неподвижный, устремленный в пространство взгляд.*

По мнению сержанта, ее чувства заслуживают уважения, и он относится к ней с добродушной участливостью солдата. Ладно скроенный мужчина, гордый своим чином и своим мундиром, он чувствует в себе все данные для того, чтобы, оставаясь в рамках почтительности, утешить и подбодрить ее.

Сержант. Вот, мэм, здесь вы можете поговорить с ним спокойно и без помех.

Джудит. Мне долго придется ждать?

Сержант. Нет, мэм, минутку, не больше. Ночь он у нас пробыл в тюрьме, а сейчас его привели сюда, на суд. Вы не беспокойтесь, мэм: спал он, как дитя малое, а утром позавтракал на славу.

Джудит *(недоверчиво).* Он в хорошем настроении?

Сержант. В самом что ни на есть лучшем, мэм. Вчера вечером наш капеллан заходил к нему, и он у него выиграл семнадцать шиллингов в «три листика». И все поделил между нами, как настоящий джентльмен. Служба службой, мэм, это, конечно; но вы тут среди друзей.

Слышен приближающийся солдатский шаг.

Ну, вот и он.

Входит **Ричард**, *непринужденно, без тени тревоги или подавленности. Сержант кивает сопровождающим его* **конвойным** *и показывает на ключ от комнаты, который он держит в руке. Конвойные уходят.*

Хозяйка ваша, сэр.

Ричард *(направляясь к ней)*. Как! Моя жена! Моя милая женушка! *(Берет ее руку и целует с развязной, преувеличенной галантностью.)* Сколько же времени вы дадите безутешному супругу на последнее прощанье, сержант?

Сержант. Сколько можно будет, сэр. Мы вас не станем тревожить, покуда не соберется суд.

Ричард. Но ведь уже время.

Сержант. Время-то время, сэр, но вышла задержка. Только что прибыл генерал Бэргойн — Джонни-джентльмен, как он у нас прозывается, сэр, — а ему не меньше получаса понадобится, чтобы во всем найти непорядки. Уж я его знаю, сэр; я с ним в Португалии служил. Двадцать минут верных у вас есть, сэр, и, с вашего разрешения, я больше ни одной из них не отниму. *(Выходит и запирает дверь.)*

Ричард тотчас же оставляет свой развязный тон и обращается к Джудит сердечно и искренне.

Ричард. Миссис Андерсон, вы очень добры, что пришли. Как вы себя чувствуете после вчерашнего? Мне пришлось уйти, когда вы еще лежали без памяти, но я дал знать Эсси, чтобы она пошла вам помочь. Поняла она, что от нее требовалось?

Джудит *(задыхаясь и торопясь)*. О, забудьте про меня; я не для того пришла сюда, чтобы говорить о себе. Скажите мне, они в самом деле вас... *(Она не договаривает: «повесят».)*

Ричард *(с усмешкой)*. Ровно в полдень. По крайней мере именно в этот час они разделались с дядюшкой Питером.

Джудит содрогается.

Что, ваш муж вне опасности? Где он?

Джудит. Он больше не муж мне.

Ричард *(широко раскрывает глаза)*. Что?

Джудит. Я ослушалась вас. Я рассказала ему все. Я думала, он придет сюда и спасет вас. А он бежал.

Ричард. Но ведь именно на это я и рассчитывал. Что толку, если бы он остался? Они повесили бы нас обоих, и только.

Джудит *(серьезно и укоризненно)*. Ричард Даджен, скажите мне по всей совести, что сделали бы вы на его месте?

Ричард. То же самое, конечно.

Джудит. Ах, почему вы не хотите говорить со мной попросту — честно и откровенно! Если вы так своекорыстны, зачем же вы допустили, чтоб вас арестовали вчера?

Ричард *(весело)*. Честное слово, миссис Андерсон, я и сам не знаю. Со вчерашнего вечера задаю себе этот самый вопрос и не могу никак найти причину – зачем я это сделал.

Джудит. Нет, вы знаете – вы сделали это ради его спасения, потому что считали, что он достойнее вас.

Ричард *(смеясь)*. Ого! Ну нет! Это было бы очень возвышенно, слов нет, но я не настолько скромен. Нет, я сделал это не ради него.

Джудит *(после паузы, во время которой она смотрит на него со смущением во взгляде и медленно, мучительно краснеет)*. Тогда – ради меня?

Ричард *(рыцарски)*. Да, пожалуй, нельзя сказать, что вы тут вовсе ни при чем. Отчасти это было ради вас. Кстати сказать, вы дали им арестовать меня.

Джудит. О, вы думаете, я не твердила себе это целую ночь? Ваша смерть будет у меня на совести. *(В невольном порыве протягивает ему руку и говорит с глубоким чувством.)* Если бы я могла спасти вас, как вы спасли его, самая жестокая казнь меня не испугала бы.

Ричард *(улыбаясь, берет Джудит за руку, но удерживает ее на расстоянии вытянутой руки)*. Я бы вам никогда этого не позволил.

Джудит. Но ведь я могу спасти вас.

Ричард. Как? Обменяться со мной платьем?

Джудит *(высвобождает руку и прикладывает палец к его губам)*. Не надо... *(Она хочет сказать: «Не надо шутить».)* Нет – открыть суду, кто вы такой на самом деле.

Ричард *(нахмурившись)*. Бесполезно: меня все равно не помилуют, а ему это может помешать уйти. Они твердо решили вздернуть тут сегодня кого-нибудь на страх всем нам. А мы вот, на страх им, покажем, что умеем стоять друг за друга до самого конца. Это единственная сила, которая может прогнать Бэргойна обратно за океан и сделать Америку свободной страной.

Джудит *(нетерпеливо)*. Какое все это имеет значение!

Ричард *(смеясь)*. В самом деле, какое это имеет значение? И что вообще имеет значение? Видите ли, миссис Андерсон, у мужчин иногда бывают чудные идеи, но женщины сразу видят их нелепость.

Джудит. Женщины из-за них теряют тех, кого любят.

Ричард. Ну, всегда можно полюбить кого-нибудь другого.

Джудит *(возмущенная)*. О! *(С силой.)* Вы понимаете, что идете на самоубийство?

Ричард. Это единственный вид убийства, на который я имею право, миссис Андерсон. Не огорчайтесь: с моей смертью ни одна женщина не потеряет любимого человека. *(Улыбаясь.)* Обо мне, слава богу, некому пожалеть. Вы слыхали, что моя мать умерла?

Джудит. Умерла!

Ричард. Сегодня в ночь, от болезни сердца. Ее последним словом, обращенным ко мне, было проклятие. Что ж, вряд ли я предпочел бы ее благословение. Другие родичи не слишком станут сокрушаться по поводу моей смерти. Эсси поплачет день или два, но я позаботился о ней — я вчера тоже составил завещание.

Джудит *(после паузы, глухо)*. А я?

Ричард *(изумленный)*. Вы?

Джудит. Да, я. По-вашему, мне все равно?

Ричард *(весело и грубовато)*. Ну разумеется! Вы вчера довольно откровенно говорили о своих чувствах ко мне. То, что произошло потом, быть может, несколько смягчило их, но поверьте мне, миссис Андерсон, ни капли моей крови, ни волоска на моей голове вам не будет по-настоящему жаль. Вы еще порадуетесь, что избавились от меня,— вчера ли, сегодня ли, разница невелика.

Джудит *(голос у нее дрожит)*. Что мне сделать, чтоб вы поняли, как вы ошибаетесь?

Ричард. Не беспокойтесь. Я готов вам поверить, что теперь вы ко мне относитесь чуть получше, чем прежде. Я только хочу сказать, сердце ваше не разобьется оттого, что я умру.

Джудит *(почти шепотом)*. Откуда вы знаете? *(Кладет руки ему на плечи и пристально смотрит на него.)*

Ричард *(пораженный — он угадал истину)*. Миссис Андерсон!

На городских часах бьет четверть.

(Овладевает собой, снимает ее руки со своих плеч и говорит почти холодно.) Простите, сейчас за мной придут. Слишком поздно.

Джудит. Нет, не поздно. Вызовите меня как свидетельницу. Они не посмеют убить вас, когда узнают, как геройски вы поступили.

Ричард *(почти с усмешкой)*. В самом деле! Но если я не доведу дело до конца, где же тут героизм? Они увидят, что я просто-напросто провел их, и повесят меня за это как собаку. И поделом мне будет!

Джудит *(вне себя)*. Нет, вы просто хотите умереть!

Ричард *(упрямо)*. Совсем не хочу.

Джудит. Так почему же не попытаться спасти себя? Я умоляю вас! Послушайте! Вы только что сказали, что спасли его ради меня, — да, да *(хватает его за руку, уловив его отрицательное движение)*, отчасти ради меня. Так спасите же теперь самого себя ради меня. И я пойду за вами на край света.

Ричард *(взяв ее за обе руки и слегка отстранив от себя, смотрит ей прямо в лицо)*. Джудит!

Джудит *(едва дыша, радостно вздрогнув при звуке своего имени)*. Да?

Ричард. Если я сказал, желая доставить вам удовольствие, что то, что я сделал, я сделал хотя бы отчасти ради вас, — я солгал, как все мужчины лгут женщинам. Вы знаете, я много жил среди недостойных мужчин, да и среди недостойных женщин тоже. И вот я видел, что каждый из них становится порой и лучше и добрее именно тогда, когда он влюблен. *(Он произносит это слово с чисто пуританским презрением.)* Это научило меня не слишком ценить людей за добро, которое делается сгоряча. То, что я сделал вчера, я сделал с холодной головой, и сделал не столько для вашего мужа или *(с беспощадной прямотой)* для вас *(она поникает, сраженная)*, сколько для самого себя. Никаких особых причин у меня не было. Знаю только одно: когда дело обернулось так, что надо было снять петлю со своей шеи и надеть ее на чужую, я попросту не смог. Не знаю, почему, — я сам себе кажусь дураком после этого, — но я не мог; и теперь не могу. Я с детства привык повиноваться закону собственной природы, и против него я не могу пойти, хотя бы мне угрожали десять виселиц, а не одна.

Она медленно подняла голову и теперь смотрит ему прямо в лицо.

То же самое я сделал бы для кого угодно и для чьей угодно жены. *(Отпускает ее руки.)* Теперь вам ясно?

Джудит. Да. Вы хотите сказать, что не любите меня.

Ричард *(он возмущен; с бесконечным презрением)*. И это все, что вы поняли из моих слов?

Джудит. Что же еще я могла понять... и что может быть хуже для меня?

Сержант стучит в дверь. Этот стук отдается у нее в сердце.

О, еще одну минуту! *(Бросается на колени.)* Умоляю вас...

Ричард. Тсс! *(Кричит.)* Войдите.

Сержант поворачивает ключ в замке и отворяет дверь. Конвойные стоят у порога.

Сержант *(входя)*. Пора, сэр...

Ричард. Я готов, сержант. Ну, моя дорогая. *(Хочет поднять ее.)*

Джудит *(цепляясь за него)*. Еще только одно — молю вас, заклинаю вас! Позвольте мне присутствовать на суде. Я была у майора Суиндона; он сказал, что меня пустят, если вы попросите. Вы сделаете это. Это моя последняя просьба. Я никогда больше ни о чем не попрошу вас. *(Обнимает его колени.)* Вы должны, вы не можете мне отказать!

Ричард. А если я сделаю это, вы будете молчать?

Джудит. Буду.

Ричард. Обещаете?

Джудит. Обещаю... *(Рыдания одолевают ее.)*

Ричард *(наклоняется и берет ее под руку)*. Сержант, прошу вас, помогите мне.

Выходят все трое: Джудит посередине, судорожно всхлипывая, мужчины поддерживают ее с обеих сторон.

Между тем в зале совета все уже приготовлено для военного суда. Это большая комната с высокими стенами; посреди, на почетном месте, стоит кресло под балдахином красновато-коричневого цвета, на котором вытканы золотом корона и королевский вензель G. R.[1] *Перед креслом стол, накрытый сукном того же красновато-коричневого цвета; на нем колокольчик, массивная чернильница и письменные принадлежности. Вокруг стола несколько стульев. Дверь находится по правую руку от сидящего в почетном кресле — когда кто-нибудь в нем сидит; сейчас оно пусто. Майор Суиндон, бесцветный блондин лет сорока пяти, судя по виду, добросовестный, исполнительный служака, сидит у стола сбоку, спиной к двери, и пишет. Некоторое время он один в комнате; затем сержант докладывает о прибытии генерала, и по его приниженному тону можно догадаться, что Джонни-джентльмен успел сделать свое пребывание здесь довольно ощутимым.*

---

[1] Georgius Rex — король Георг *(лат.)*.

Сержант. Генерал, сэр.

Суиндон поспешно встает. Генерал входит, сержант выходит. Генералу Бэргойну пятьдесят пять лет, он очень хорошо сохранился. Это светский человек, обладающий врожденной галантностью, что в свое время привело его к романтической женитьбе с увозом невесты; незаурядным остроумием, что позволяет ему писать комедии, которые имеют успех; и аристократическими связями, что помогло ему сделать блистательную карьеру. В его лице особенно примечательны глаза — большие, блестящие, умные и проницательные; без них, пожалуй, тонкий нос и маленький рот наводили бы на мысль о несколько большей разборчивости и меньшей твердости, чем требуется для первоклассного генерала. В данный момент глаза смотрят гневно и мрачно, губы сжаты, ноздри раздуваются.

Бэргойн. Майор Суиндон, я полагаю?

Суиндон. Так точно. Генерал Бэргойн, если я не ошибаюсь?

Церемонно раскланиваются.

Очень рад именно сегодня получить поддержку в вашем лице. Не очень веселое занятие — вешать этого злосчастного священника.

Бэргойн *(с размаху усаживается в кресло Суиндона)*. Да, сэр, совсем не веселое. Публичная казнь — слишком большая честь для него; даже будь он служителем англиканской церкви, вы не могли бы придумать ничего более лестного. Мученичество, сэр, как раз по вкусу таким людям, — это единственный способ прославиться, не обладая никакими талантами. Но, так или иначе, вы нас вынуждаете повесить его; и чем скорее он будет повешен, тем лучше.

Суиндон. Казнь назначена на двенадцать часов дня. Все уже готово, остается только судить его.

Бэргойн *(глядя на него с плохо сдерживаемым гневом)*. Да, только это — и еще, пожалуй, спасти собственную шкуру. Как вам нравятся спрингтаунские новости?

Суиндон. Ничего заслуживающего внимания. Последние донесения были удовлетворительны.

Бэргойн *(встает в изумлении)*. Удовлетворительны, сэр! Удовлетворительны!! *(Секунду смотрит на него в упор, затем добавляет, зловеще подчеркивая свои слова.)* Очень рад, что вы так расцениваете положение вещей.

Суиндон *(озадаченный)*. Должен ли я понимать, что ваше мнение...

Бургойн. Я не высказывал своего мнения. Не в моих правилах употреблять те крепкие выражения, пристрастие к которым, увы, столь присуще людям нашей профессии. Если б не это, я, может быть, сумел бы высказать вам свое мнение о спрингтаунских новостях — новостях, о которых вы *(строго)*, по-видимому, еще не слышали. Сколько времени вам требуется, чтобы узнать новости от ваших подчиненных? Вероятно, не меньше месяца?

Суиндон *(обиженно)*. Должно быть, сэр, донесение было доставлено вам вместо меня. Что-нибудь серьезное?

Бургойн *(достает из кармана донесение и показывает ему)*. Спрингтаун в руках мятежников. *(Бросает донесение на стол.)*

Суиндон *(потрясенный)*. Со вчерашнего дня!

Бургойн. С двух часов ночи. Очень может быть, что сегодня к двум часам ночи в их руках окажемся и мы. Об этом вы не подумали?

Суиндон *(твердо)*. Если б это случилось, генерал, британский солдат сумеет постоять за себя.

Бургойн *(желчно)*. А потому, вероятно, британскому офицеру незачем знать свое дело: британский солдат исправит все его промахи своим штыком. На будущее, сэр, я просил бы вас несколько больше щадить жизнь ваших людей и несколько меньше щадить собственные умственные способности.

Суиндон. Прошу простить меня, сэр. Конечно, я не могу равняться с вами по уму и развитию. Я могу лишь делать все, что в моих силах, в остальном положившись на верность моих соотечественников.

Бургойн *(с неожиданным сарказмом)*. Позвольте спросить вас, майор Суиндон, вы не пишете мелодрам?

Суиндон *(вспыхнув)*. Нет, сэр.

Бургойн. Какая жалость! Какая жалость! *(Оставив саркастический тон и глядя ему прямо в глаза, веско и внушительно.)* Сэр, отдаете ли вы себе отчет в том, что только два обстоятельства служат нам пока защитой от катастрофы — наша собственная бравада и неорганизованность колонистов? Но ведь они такие же англичане, как и мы с вами; и, кроме того, их шестеро на каждого из нас *(с ударением)*, — шестеро против одного, сэр. А наши войска наполовину состоят из гессенцев, брауншвейгцев, прусских драгун и индейцев с томагавками. Вот те соотечественники, на верность которых вы собираетесь положиться! Теперь представьте себе: вдруг у мятежников

найдется вождь? Вдруг спрингтаунские вести означают, что такой вождь уже нашелся? Что мы тогда будем делать? А?

Суиндон *(мрачно)*. Я полагаю, сэр,— исполнять свой долг.

Бэргойн *(с прежним сарказмом, махнув на него рукой, как на безнадежного дурака)*. Да, да, разумеется. Благодарю вас, майор Суиндон, благодарю вас. Вы вполне разрешили вопрос, сэр; пролили яркий свет на создавшееся положение. Как отрадно сознавать, что рядом со мною находится верный и опытный офицер, на которого я вполне могу опереться в столь серьезный момент. Я думаю, сэр, для нас обоих полезно будет, если мы без отлагательства приступим к казни вашего диссидента *(звонит в колокольчик)*,— это даст выход нашим чувствам, тем более что мои правила лишают меня возможности отвести душу привычным для военного способом.

Сержант появляется на пороге.

Введите арестованного.

Сержант. Слушаю, сэр.

Бэргойн. И скажите всем офицерам, которые вам попадутся по дороге, что суд больше не может их ждать.

Суиндон *(сдерживаясь с большим трудом)*. Все члены суда давно готовы, сэр. Они уже больше получаса дожидаются, когда вам будет угодно открыть заседание. Все давно готовы, сэр.

Бэргойн *(кротко)*. И я тоже.

Входят несколько офицеров и занимают места за столом. Один садится сбоку, напротив двери, и готовится вести протокол судебного заседания. Судя по мундирам, здесь представлены 9-й, 20-й, 21-й, 24-й, 47-й, 53-й и 62-й британские пехотные полки. Один из офицеров в чине генерал-майора королевской артиллерии. Среди прочих есть и немецкие офицеры — из полков Брауншвейгского, Прусского драгунского и Гессенских стрелков.

С добрым утром, джентльмены. Крайне сожалею, что пришлось побеспокоить вас. Вы очень любезны, что согласились уделить нам несколько минут своего времени.

Суиндон. Угодно вам председательствовать, сэр?

Бэргойн *(теперь, на людях, он проявляет еще больше учтивости, внешнего лоска, изысканности в выражениях и язвительности в тоне)*. Нет, сэр. Я слишком ясно сознаю свое несовершенство, чтобы брать на себя так

много. Я, если позволите, займу место у ног Гамалиила. *(Подходит к крайнему стулу со стороны двери и, жестом пригласив Суиндона занять почетное кресло, стоит, выжидая, покуда тот сядет первым.)*

Суиндон *(крайне раздосадованный)*. Как вам угодно, сэр. Я лишь стараюсь исполнить свой долг при весьма затруднительных обстоятельствах. *(Садится в почетное кресло.)*

Бэргойн, на время оставив свой деланный тон, садится тоже и, озабоченно нахмурив брови, углубляется в бумаги, размышляя о критическом положении, в котором он очутился, и о полнейшей никчемности Суиндона. Вводят Ричарда. Джудит идет рядом с ним. Их конвоируют четверо солдат под командой сержанта — двое впереди и двое сзади. Они проходят через всю залу, направляясь к противоположной стене; но Ричарда, как только он минует почетное кресло, сержант останавливает движением руки и сам становится за его спиной. Джудит робко жмется к стене. Четверо конвоиров выстраиваются в нескольких шагах от нее.

Бэргойн *(подняв голову и увидя Джудит)*. Что это за женщина?

Сержант. Жена подсудимого, сэр.

Суиндон *(нервничая)*. Она просила меня разрешить ей присутствовать, и я подумал...

Бэргойн *(договаривая за него, с иронией)*. Вы подумали, что это доставит ей удовольствие. Понятно, понятно. *(Мягко.)* Подайте стул даме и устройте ее по возможности удобнее.

Сержант приносит стул и ставит неподалеку от Ричарда.

Джудит. Благодарю вас, сэр. *(В благоговейном ужасе приседает перед Бэргойном, который отвечает величественным наклоном головы.)*

Суиндон *(Ричарду, резко)*. Ваше имя, сэр?

Ричард *(с добродушным озорством)*. Полно вам! Что ж, вы меня привели сюда, даже не зная, кто я такой?

Суиндон. Форма требует, сэр, чтобы вы назвали свое имя.

Ричард. Ну, если форма требует, то мое имя Антони Андерсон, я священник пресвитерианской церкви.

Бэргойн *(с интересом)*. Вот как! Скажите, мистер Андерсон, в чем суть вашего учения?

Ричард. С удовольствием изложу вам, если у нас хватит

времени. Для полного вашего обращения мне потребуется не менее двух недель.

Суиндон *(обрывая его)*. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать ваши убеждения.

Бэргойн *(с изысканнейшим поклоном в сторону злополучного Суиндона)*. Принимаю ваш выговор.

Суиндон *(смутившись)*. Но я не вам, я...

Бэргойн. Ничего, пожалуйста. *(Ричарду, крайне вежливо.)* У вас есть политические убеждения, мистер Андерсон?

Ричард. Насколько я понимаю, мы собрались здесь именно для того, чтобы это выяснить.

Суиндон *(строго)*. Вы намерены отрицать, что вы мятежник?

Ричард. Я американец, сэр.

Суиндон. Что, по-вашему, я должен думать после такого заявления?

Ричард. По-моему, солдатам вообще думать не полагается, сэр.

Бэргойна этот ответ приводит в такой восторг, что он почти готов примириться с потерей Америки.

Суиндон *(позеленев от злости)*. Арестованный, предлагаю вам воздержаться от дерзостей.

Ричард. Ничего не поделаешь, генерал. Если вы решили повесить человека, вы тем самым даете ему в руки преимущество. Зачем мне быть с вами вежливым? Все равно — семь бед, один ответ.

Суиндон. Вы не имеете права утверждать, будто у суда имеется заранее принятое решение. И потрудитесь не называть меня генералом. Я майор Суиндон.

Ричард. Тысяча извинений! Я полагал, что имею честь беседовать с Джонни-джентльменом.

Движение среди офицеров. Сержанту большого труда стоит удержаться от смеха.

Бэргойн *(с отменной любезностью)*. Кажется, Джонни-джентльмен — это я, сэр, к вашим услугам. Друзья обычно зовут меня генералом Бэргойном.

Ричард отвешивает ему изысканно вежливый поклон.

Надеюсь, вы, как джентльмен и человек разумный, несмотря на ваше призвание, поймете, что если мы будем иметь несчастье повесить вас, это произойдет исключительно в силу политической необходимости и военного долга, без малейшего личного недоброжелательства с нашей стороны.

Ричард. Ах, вот как? Это, разумеется, совершенно меняет дело.

Все невольно улыбаются; кое-кто из самых молодых офицеров, не выдержав, фыркает.

Джудит *(все эти шутки и любезности еще усиливают ее ужас)*. О, как вы можете!

Ричард. Вы обещали молчать.

Бургойн *(обращаясь к Джудит с подчеркнутой почтительностью)*. Поверьте, сударыня, мы бесконечно обязаны вашему супругу за его истинно джентльменское отношение к этой крайне неприятной процедуре. Сержант! Подайте стул мистеру Андерсону.

Сержант исполняет приказание. Ричард садится.

Ну-с, майор Суиндон, мы ждем.

Суиндон. Мистер Андерсон, я полагаю, вам известно, к чему обязывает вас долг верноподданного его величества короля Георга Третьего?

Ричард. Мне известно, сэр, что его величество король Георг Третий собирается меня повесить за то, что я не хочу, чтобы лорд Норт грабил меня.

Суиндон. Это звучит крамолой, сэр.

Ричард. Да. На то и рассчитано.

Бургойн *(явно не одобряя такую линию защиты, но сохраняя вежливый тон)*. Не кажется ли вам, мистер Андерсон, что вы занимаете в этом вопросе – простите меня за резкое выражение – несколько вульгарную позицию? Стоит ли кричать о грабеже по такому пустяковому поводу, как почтовая пошлина, чайная пошлина или еще что-нибудь в этом роде? Настоящий джентльмен тем и отличается, что всегда платит с улыбкой.

Ричард. Не в деньгах дело, генерал. Но когда тебя обирает безмозглый тупица и кретин вроде короля Георга...

Суиндон *(скандализованный)*. Тсс, сэр! Молчите!

Сержант *(совершенно потрясенный, громовым голосом)*. Молчать!

Бургойн *(невозмутимо)*. У вас, я вижу, свой особый взгляд. Мое положение не позволяет мне вдаваться в это; разве только в частном разговоре. Но, разумеется, мистер Андерсон *(пожимает плечами)*, если вы твердо решили быть повешенным...

Джудит вздрагивает.

дальнейшие разговоры излишни. Своеобразный вкус, однако! *(Снова пожимает плечами.)*

Суиндон *(Бэргойну)*. Будем вызывать свидетелей?

Ричард. К чему свидетели? Если б наши горожане прислушивались к моим словам, вас встретили бы здесь баррикады на улицах, бойницы в каждом доме и жители с оружием в руках, готовые до последнего человека защищать от вас свой город. Но, к сожалению, вы пришли, когда мы еще не научились переходить от слов к делу; а потом было уже поздно.

Суиндон *(строго)*. Отлично, сэр, мы дадим вам и вашим горожанам урок, который не скоро забудется. Имеете вы еще что-нибудь сказать?

Ричард. Думаю, что у вас могло хватить совести поступить со мной как с военнопленным и расстрелять меня как человека, а не вешать как собаку.

Бэргойн *(сочувственно)*. О мистер Андерсон, извините меня, но это рассуждение штатского. Вам неизвестно, видимо, каков средний процент попаданий у стрелков армии его величества короля Георга Третьего. Знаете вы, что произойдет, если мы вышлем взвод солдат расстрелять вас? Половина промахнется, а остальные такого натворят, что начальнику охраны придется приканчивать вас из пистолета. Тогда как повесить вас мы можем с совершенным знанием дела и к полному вашему удовлетворению. *(Дружелюбно.)* Я вам от души желаю быть повешенным, мистер Андерсон.

Джудит *(ей дурно от этих разговоров)*. Боже правый!

Ричард *(Джудит)*. Вы обещали! *(Бэргойну.)* Благодарю вас, генерал; об этой стороне дела я не подумал. Чтобы сделать вам приятное, я снимаю свои возражения относительно веревки. Настоятельно прошу повесить меня.

Бэргойн *(любезно)*. Двенадцать часов дня для вас удобно, мистер Андерсон?

Ричард. Ровно в двенадцать я буду к вашим услугам, генерал.

Бэргойн *(поднимаясь)*. Джентльмены, вопрос исчерпан.

Все встают.

Джудит *(бросаясь к столу)*. Нет, нет, не может быть, чтоб вы послали человека на смерть вот так, даже без настоящего суда, даже не задумавшись над тем, что вы делаете, даже... *(Она не может найти слов.)*

Ричард. Так-то вы держите обещание?

Джудит. Если я должна молчать, говорите вы сами. Защищайтесь, спасите себя: скажите им правду.

Ричард *(с тревогой)*. Я уже достаточно наговорил им правды для того, чтобы меня повесили десять раз, а не один. Еще слово, и вы навлечете опасность на других людей, а меня все равно не спасете.

Бэргойн. Сударыня, наше единственное желание — по возможности избежать неприятностей. Неужели вам было бы легче, если бы мы затеяли здесь торжественную возню с переодеванием моего друга Суиндона в черную мантию и так далее? Я лично считаю, что все мы должны быть благодарны вашему мужу за проявленный им такт и благоразумие джентльмена...

Джудит *(бросая слова ему в лицо)*. Вы сумасшедший! Неужели вам нипочем любое преступление, лишь бы только все было сделано по-джентльменски? Неужели вам нипочем убить человека, если только, убивая, вы облачены в красный мундир? *(В исступлении.)* Вы не повесите этого человека! Это не мой муж.

Офицеры переглядываются и начинают шептаться; немцы спрашивают соседей, что такое сказала эта женщина. Бэргойн, на которого явно подействовал страстный упрек Джудит, сразу же приходит в себя при этом новом и неожиданном обороте дела. Ричард тем временем возвышает голос, стараясь перекрыть общий шум.

Ричард. Джентльмены, прошу вас положить этому конец. Она никак не поверит, что меня невозможно спасти. Объявите судебное заседание закрытым.

Бэргойн *(голосом настолько спокойным и твердым, что при звуке его тотчас же водворяется тишина)*. Одну минуту, мистер Андерсон. Одну минуту, джентльмены. *(Садится на прежнее место. Суиндон и офицеры следуют его примеру.)* Сударыня, я хотел бы точнее понять ваши слова. Означают ли они, что этот джентльмен не ваш муж, или же только — как бы это выразиться поделикатнее, — что вы ему не жена?

Джудит. Я не понимаю, что вы хотите сказать. Я вам говорю, что это не мой муж, мой муж убежал. Этот человек выдал себя за него, чтобы его спасти. Спросите кого хотите, пусть остановят любого прохожего на улице и приведут сюда как свидетеля, — он вам сейчас же скажет, Антони Андерсон это или нет.

Бэргойн *(по-прежнему сохраняя полное спокойствие)*. Сержант.

Сержант. Слушаю, сэр.

Бэргойн. Ступайте на улицу и приведите сюда первого горожанина, который вам попадется навстречу.

Сержант *(направляясь к двери)*. Слушаю, сэр.

Бэргойн *(ему вслед)*. Первого прилично одетого, трезвого горожанина, который вам попадется.

Сержант. Слушаю, сэр. *(Выходит.)*

Бэргойн. Присядьте, мистер Андерсон. Вы разрешите пока называть вас этим именем?

Ричард садится.

Присядьте и вы, сударыня, покуда приведут свидетеля. Дайте даме газету почитать.

Ричард *(негодующе)*. Как вам не стыдно!

Бэргойн *(с лукавой усмешкой)*. Если вы не муж ей, сэр, дело не представляет ничего серьезного... для нее.

Ричард закусывает губу, вынужденный замолчать.

Джудит *(Ричарду, возвращаясь на свое место)*. Я не могла иначе. *(Он качает головой. Она садится.)*

Бэргойн. Вы, конечно, понимаете, мистер Андерсон, что вам не следует возлагать надежд на этот маленький инцидент. Нам нужен кто-нибудь в качестве назидательного примера.

Ричард. Понимаю. Думаю, что мои объяснения вам не понадобятся?

Бэргойн. Если вы ничего не имеете против, мы предпочли бы показание беспристрастного лица.

Сержант вводит Кристи, который испуганно озирается по сторонам; в руке у сержанта пакет с бумагами.

Сержант *(передавая пакет Бэргойну)*. Депеши, сэр. Доставлены капралом тридцать третьего. Так гнал, что едва живой добрался, сэр.

Бэргойн вскрывает пакет и углубляется в чтение депеш. Содержание их оказывается настолько серьезным, что совершенно отвлекает его внимание от суда.

(К Кристи.) Ну, ты! Шляпу долой и слушай, что тебе говорят. *(Занимает позицию позади Кристи, который остановился с той стороны, где сидит Бэргойн.)*

Ричард *(обращаясь к Кристи привычным своим задиристым*

тоном). Чего боишься, дурак: ты тут только за свидетеля, тебя никто вешать не собирается.

Суиндон. Ваше имя?

Кристи. Кристи.

Ричард *(раздраженно)*. Кристофер Даджен. Простофиля несчастный! Полностью надо говорить.

Суиндон. Арестованный, прошу не вмешиваться. Подсказывать свидетелю запрещается.

Ричард. Ладно. Только предупреждаю, если вы хотите из него что-нибудь вытянуть, надо тянуть клещами. Благочестивая матушка так потрудилась над его воспитанием, что не оставила ему ни разума, ни соображения.

Бэргойн *(вскочив на ноги, отрывисто, сержанту)*. Где человек, который это привез?

Сержант. В караульном помещении, сэр.

Бэргойн выходит из комнаты с поспешностью, которая заставляет офицеров переглянуться.

Суиндон *(к Кристи)*. Знаете ли вы Антони Андерсона, местного священника?

Кристи. Еще бы не знать! *(Как бы подразумевая, что Суиндон просто осел, если сомневается в этом.)*

Суиндон. Он находится здесь?

Кристи *(оглядываясь)*. Не знаю.

Суиндон. Вы его не видите?

Кристи. Нет.

Суиндон. Вам как будто знаком арестованный?

Кристи. Это Дик, что ли?

Суиндон. Кто такой Дик?

Кристи *(указывая на Ричарда)*. А вот он.

Суиндон. Как его зовут?

Кристи. Дик.

Ричард. Отвечай как следует, дурья башка! Какой я им Дик!

Кристи. А что же ты, не Дик, что ли? Как же мне еще сказать?

Суиндон. Обращайтесь ко мне, сэр. А вы, арестованный, помолчите. Скажите, кто этот человек?

Кристи. Мой брат Дик – Ричард то есть, Ричард Даджен.

Суиндон. Ваш брат?

Кристи. Ну да.

Суиндон. Вы уверены, что это не Андерсон?

Кристи. Кто?

Ричард *(выйдя из себя)*. Я, я, я, чтоб тебя...

Суиндон. Молчите, сэр.

Сержант *(кричит)*. Молчать!

Ричард *(сердито)*. Тьфу! *(К Кристи.)* Он думает, что я пастор Андерсон, и спрашивает тебя, верно это или нет. Отвечай ему и перестань ухмыляться, точно клоун.

Кристи *(ухмыляясь шире прежнего)*. Ты — пастор? Андерсон — священник, достойный человек, а Дик — пропащий; с ним порядочные люди и знаться не хотят. Он у нас дурной сын, а я хороший.

Офицеры громко хохочут; солдаты улыбаются.

Суиндон. Кто арестовал этого человека?

Сержант. Я, сэр. Я его застал у священника в доме, за чайным столом наедине с этой дамой, без сюртука, совсем по-домашнему. Если он ей не муж, тем хуже для них.

Суиндон. И он откликался на имя священника?

Сержант. Да, сэр! Хотя, пожалуй, кроме как по имени, он ничем на священника не похож. Вот и наш капеллан вам скажет, сэр.

Суиндон *(Ричарду, с угрозой)*. Итак, сэр, вы, значит, пытались ввести нас в заблуждение. Ваше настоящее имя — Ричард Даджен?

Ричард. Разобрались наконец!

Суиндон. Даджен... это имя нам как будто знакомо.

Ричард. Еще бы, Питер Даджен, которого вы убили, был мой дядя.

Суиндон. Гм! *(Поджимает губы и смотрит на Ричарда с многозначительной суровостью.)*

Кристи. Они тебя повесят, Дик?

Ричард. Да. Убирайся отсюда; ты больше не нужен.

Кристи. Так я могу взять себе фарфоровых павлинов?

Ричард *(вскакивая)*. Пошел вон! Пошел вон, ты, скотина безмозглая!

Кристи, перепуганный, убегает. Суиндон встает. И все остальные тоже встают.

Суиндон. Ричард Даджен! Поскольку вы пожелали выдать себя за священника Андерсона, вы им останетесь до конца. Казнь состоится сегодня в полдень, как и назначено; и если до этого часа настоящий Андерсон не явится, вы займете его место на виселице. Сержант, уведите арестованного.

Джудит *(в смятении)*. Нет, нет!

Суиндон *(раздраженно, опасаясь, как бы она не возобновила свои мольбы)*. Уберите эту женщину.

Ричард *(одним прыжком, с ловкостью тигра перемахнув через стол, хватает Суиндона за горло)*. Негодяй!

Сержант бросается на выручку с одной стороны, солдаты — с другой. Они хватают Ричарда и оттаскивают на прежнее место. Суиндон, которого бешеный наскок Ричарда опрокинул на стол, поднимается и приводит себя в порядок. Он хочет заговорить, но его предупреждает Бэргойн, только что появившийся в дверях с двумя бумагами в руке, белой и голубой — письмом и депешей.

Бэргойн *(подходит к столу, с рассчитанным хладнокровием)*. В чем дело? Что здесь произошло? Мистер Андерсон, вы меня удивляете.

Ричард. Сожалею, если обеспокоил вас, генерал. Я только хотел придушить вот этого вашего подчиненного. *(Яростно Суиндону.)* Ты раздразнил во мне дьявола своей грубостью с женщиной! Собака желтомордая, с каким удовольствием я свернул бы тебе шею. *(Протягивает сержанту обе руки.)* Наденьте на меня наручники, живо! Иначе я не отвечаю за себя.

Сержант достает из кармана пару наручников и вопросительно смотрит на Бэргойна.

Бэргойн. Майор Суиндон, вы оскорбили эту даму грубым словом?

Суиндон *(сердито)*. Разумеется, нет, сэр. Вам бы не следовало задавать мне подобный вопрос. Я приказал ее вывести, так как она нарушила порядок, а этот человек набросился на меня. Уберите наручники, я в состоянии сам справиться.

Ричард. Ну, раз вы заговорили, как мужчина, наша ссора кончена.

Бэргойн. Мистер Андерсон...

Суиндон. Его зовут Даджен, сэр, Ричард Даджен. Он самозванец!

Бэргойн *(раздраженно)*. Чушь, сэр, Даджена вы повесили в Спрингтауне.

Ричард. То был мой дядя, генерал.

Бэргойн. Ах, вот как, дядя? *(Суиндону.)* Прошу извинить меня, майор Суиндон.

Суиндон принимает извинение довольно хмуро.

(Бэргойн поворачивается к Ричарду.) Как-то не совсем удачно складываются у нас отношения с вашим семей-

ством. Ну, хорошо, мистер Даджен, вот о чем я хотел спросить вас. Кто такой *(заглядывает в письмо)* Уильям Мэйндек Паршоттер?

Р и ч а р д. Мэр Спрингтауна...

Б э р г о й н. А что, этот Уильям... Мэйндек и так далее — человек слова?

Р и ч а р д. Вы у него покупаете что-нибудь?

Б э р г о й н. Нет.

Р и ч а р д. Тогда можете на него положиться.

Б э р г о й н. Благодарю вас, мистер... э-э... Даджен. Кстати, если вы не мистер Андерсон, разве мы... майор Суиндон, как? *(Он хочет сказать: «Разве мы все-таки повесим его?»)*

Р и ч а р д. Ничего не меняется, генерал.

Б э р г о й н. Да? Очень сожалею, очень. Ну, до свидания, мистер Даджен. До свидания, сударыня.

Р и ч а р д *(почти грубо останавливает Джудит, которая снова хотела броситься вперед с безрассудной мольбой, и решительным движением берет ее под руку)*. Ни слова больше! Идем.

Джудит смотрит на него умоляюще, но его решительность подавляет ее. Конвой занимает свои места, и они выходят. Сержант, сердито насупившись, шагает позади Ричарда, поглядывая на него с опаской, точно на дикого зверя.

Б э р г о й н. Джентльмены, не смею вас больше задерживать. Майор Суиндон, на два слова.

О ф и ц е р ы выходят.

(С невозмутимым спокойствием ждет, пока последний из них скроется за дверью. Потом лицо его сразу становится серьезным, и он обращается к Суиндону, в первый раз называя его просто по фамилии.) Суиндон! Знаете, что это такое? *(Показывает письмо.)*

С у и н д о н. Что?

Б э р г о й н. Они требуют охранное свидетельство на имя одного из офицеров ополчения, который явится к нам сюда для переговоров.

С у и н д о н. Ага, забили отбой!

Б э р г о й н. Дальше говорится, что они намерены послать того самого человека, который прошлой ночью поднял восстание в Спрингтауне и вытеснил оттуда наши части; так чтобы мы знали, что имеем дело с лицом значительным.

С у и н д о н. Ха!

Бергойн. Ему даются все полномочия для выработки условий... чего, как бы вы думали?

Сэр Уиндон. Их сдачи, надеюсь?

Бергойн. Нет. Вывода наших войск из города. Они дают нам шесть часов на то, чтобы полностью очистить Уэбстербридж.

Сэр Уиндон. Какая беспримерная наглость!

Бергойн. Как мы должны поступить, по-вашему?

Сэр Уиндон. Немедленно выступить в поход на Спрингтаун и нанести решительный удар.

Бергойн. Гм!.. *(Направляясь к двери.)* Пойдемте в комендатуру.

Сэр Уиндон. Зачем?

Бергойн. Писать охранное свидетельство. *(Берется за ручку двери.)*

Сэр Уиндон *(не двигаясь с места)*. Генерал Бэргойн!

Бергойн *(повернувшись)*. Сэр?

Сэр Уиндон. Считаю своим долгом заявить вам, сэр, что, в моих глазах, угроза толпы взбунтовавшихся лавочников — недостаточная причина, чтобы нам отступать.

Бергойн *(невозмутимо)*. Предположим, я откажусь от командования, что вы предпримете?

Сэр Уиндон. Я предприму то, для чего мы проделали весь путь от Квебека к югу и для чего генерал Хоу проделал весь путь от Нью-Йорка к северу,— пойду на соединение с ним в Олбэни, чтобы совместными силами уничтожить всю армию мятежников.

Бергойн *(загадочно)*. А лондонских наших врагов вы тоже рассчитываете уничтожить?

Сэр Уиндон. Лондонских? А что это за враги?

Бергойн *(мрачно)*. Бездарность и легкомыслие, нерадивость и волокита. *(Указывает на депешу, которая у него в руке, и говорит с отчаянием в голосе и во взгляде.)* Я только что узнал, сэр, что генерал Хоу все еще в Нью-Йорке.

Сэр Уиндон *(как громом пораженный)*. Великий боже! Он ослушался приказа!

Бергойн *(с язвительным спокойствием)*. Он не получил приказа, сэр. Какой-то джентльмен в Лондоне позабыл отправить этот приказ, торопился за город, должно быть. Его воскресный отдых будет стоить Англии ее американских колоний, а мы с вами через несколько дней очутимся в Саратоге с пятью тысячами солдат против восемнадцати тысяч мятежников на неприступной позиции.

Сэр Уиндон *(потрясенный)*. Не может быть!

Бэргойн *(холодно)*. Простите?

Суиндон. Я не могу этому поверить. Что скажет история?

Бэргойн. История, сэр, солжет, как всегда. Пойдемте, нужно поторопиться с этим охранным свидетельством. *(Выходит.)*

Суиндон *(следуя за ним в полной растерянности)*. Боже мой, боже мой! Мы погибли!

Близится полдень, и на рыночной площади уже чувствуется оживление. К виселице, которая на страх преступникам постоянно красуется среди площади по соседству с более мелкими, хоть и зловещими орудиями кары, такими, как позорный столб, колодки и помост для наказания плетьми, прилажена новая веревка, и петля закинута на перекладину, чтоб не могли достать мальчишки. Лестница-стремянка уже тоже на месте,— городской клерк принес ее и стережет от любопытных. У горожан, собравшихся на площади, вид оживленный и довольный; по Уэбстербриджу разнеслась уже весть о том, что мятежник, которого собираются вздернуть король Георг и его страшный генерал,— не священник Андерсон, а Ученик дьявола, а потому можно наслаждаться зрелищем казни, не смущая себя сомнениями в ее справедливости или беспокойными мыслями о том, что не следовало допускать ее без борьбы. Кое-кто в толпе даже начинает проявлять признаки нетерпения, так как двенадцатый час уже близок, а никаких приготовлений, кроме прихода клерка с лестницей, пока не видно. Но вот раздаются наконец возгласы: «Идут! Идут», и на площадь быстрым шагом, со штыками наперевес, прокладывая себе путь в толпе, входит отряд британской пехоты вперемежку с гессенцами.

Сержант. Отряд, стой! Равняйсь! Смирно!

Солдаты строятся прямоугольником вокруг виселицы; унтер-офицеры во главе с сержантом энергично выталкивают всех, кто случайно оказался внутри прямоугольника.

Марш! Марш! Проваливайте отсюда, живо! Ничего, придет время, сами будете здесь болтаться. Держи равнение, чертовы хессинцы. Что там с ними по-немецки лопотать! Прикладом по ногам — сразу поймут! Ну, марш, марш отсюда! *(Наталкивается на Джудит, которая стоит у самой виселицы.)* Вот еще тоже! Вам тут и вовсе делать нечего.

Джудит. Позвольте мне остаться. Я не помешаю.

Сержант. Ладно, ладно, без разговоров. Постыдились бы приходить смотреть, как вешают человека, который вам не муж. И он тоже хорош! Я его отрекомендовал майору как джентльмена, а он набросился на майора и чуть не задушил, да еще обозвал его величество кретином. Так что проваливайте отсюда, да поживее!

Джудит. Вот вам два серебряных доллара, только не гоните меня.

Сержант без долгих колебаний, бросив быстрый взгляд по сторонам, сует деньги в карман; затем говорит громко, тоном благородного негодования.

Сержант. Как! Вы хотите подкупить меня при исполнении обязанностей? Никогда! Я вот вас проучу за попытку совратить офицера королевской службы. До окончания казни вы арестованы. Извольте стоять вот здесь, на этом месте, и не вздумайте отойти, покуда я не дам разрешения. *(Подмигнув ей, указывает в правый угол прямоугольника, позади виселицы, потом поворачивается к ней спиной и снова начинает орать.)* Равнение! Не напирай!

В толпе раздаются возгласы: «Тсс! Тише!»; доносятся звуки духового оркестра, исполняющего похоронный марш из оратории Генделя «Саул». Мгновенно шум стихает: сержант и унтер-офицеры бегут в глубину прямоугольника и, торопливым шепотом отдавая приказания и подталкивая недостаточно проворных, заставляют ряды разомкнуться и пропустить траурную процессию, подвигающуюся под охраной двойной шеренги солдат. Впереди идут Бэргойн и Суиндон; вступив на площадь, они брезгливо косятся на виселицу и, взяв сразу немного в сторону, так, чтобы избежать необходимости пройти под ней, останавливаются в правой половине прямоугольника. За ними следует мистер Брюднелл — капеллан, в полном облачении, с раскрытым требником в руке, и рядом с ним Ричард, вид у которого мрачный и вызывающий; он демонстративно проходит под самой виселицей и останавливается в двух шагах от нее. За ним идет палач — дюжий солдат, в рубашке с засученными рукавами. Дальше два солдата катят легкую походную повозку. Шествие замыкает оркестр, который располагается позади прямоугольника и доигрывает похоронный марш. Джудит, с тоской глядя на Ричарда, прокрадывается к виселице

и прислоняется к правому столбу. В продолжение следующего разговора повозку подкатывают под виселицу оглоблями назад, и оба солдата становятся по сторонам. Палач достает из повозки маленькую лесенку и приставляет ее к задку повозки, чтобы осужденному удобно было взойти. Затем он взбирается на стремянку, прислоненную к столбу, и перерезает шнурок, которым петля подвязана к перекладине, веревка соскальзывает, и петля раскачивается в воздухе над повозкой, куда, спустившись с лестницы, забирается палач.

Ричард *(Брюднеллу, с трудом сдерживая раздражение)*. Послушайте, сэр! Человеку вашей профессии не место здесь. Ушли бы вы лучше.

Суиндон. Осужденный, если в вас сохранилась хоть капля чувства приличия, советую вам выслушать напутствие капеллана и с должным уважением отнестись к торжественности момента.

Капеллан *(Ричарду, с мягким укором)*. Постарайтесь взять себя в руки и покориться воле божьей. *(Поднимает перед собой требник, готовясь начать молитву.)*

Ричард. Вы хотите сказать — вашей воле, сэр, и воле вот этих двух ваших сообщников. *(Указывает на Бэргойна и Суиндона.)* Ни в них, ни в вас я ничего божественного не вижу. Толковать о христианстве, собираясь вешать врага своего, — слыхано ли где подобное кощунство! *(Обращаясь к Суиндону, более резко.)* А вы воспользовались «торжественностью момента», чтобы поразить народ своим благородным величием, — и музыка Генделя, и священник, присутствие которого придает убийству вид благочестивого деяния! Что ж, вы воображаете, что я стану помогать вам? Вы мне посоветовали выбрать веревку, так как вы слишком плохо знаете свое дело, чтобы расстрелять человека как следует. Так вот, вешайте — и покончим с этим.

Суиндон *(капеллану)*. Может быть, вам удастся на него воздействовать, мистер Брюднелл?

Капеллан. Попытаюсь, сэр. *(Начинает читать.)* «Человек, рожденный от женщины...»

Ричард *(глядя на него в упор)*. «Не убий».

Брюднелл едва не роняет из рук требник.

Капеллан *(признавая свою беспомощность)*. Что же мне сказать вам, мистер Даджен?

Ричард. Оставьте меня, добрый человек, в покое.

Бэргойн *(со светской предупредительностью)*. Я полагаю, мистер Брюднелл, поскольку обычная процедура кажется мистеру Даджену неуместной, лучше, пожалуй, отложить ее до того времени, когда... э-э... когда она уже ни в какой мере не будет беспокоить мистера Даджена.

Брюднелл, пожимая плечами, захлопывает требник и отходит в глубину прямоугольника.

Вы словно торопитесь, мистер Даджен?

Ричард *(ужас смерти настиг его)*. Вы думаете, так приятно дожидаться этого? Вы приняли решение совершить убийство — так убивайте, и делу конец.

Бэргойн. Мистер Даджен, мы это делаем лишь потому...

Ричард. Что вам за это платят.

Суиндон. Это наглая... *(Проглатывает свое возмущение.)*

Бэргойн *(с пленительным добродушием)*. Мне, право, очень жаль, что вы такого мнения, мистер Даджен. Если бы вы знали, во что обошелся мне мой чин и сколько я получаю жалованья, вы бы не так плохо думали обо мне. Я все-таки хотел бы, чтоб мы расстались друзьями.

Ричард. Послушайте вы, генерал Бэргойн! Если вы воображаете, что мне нравится быть повешенным, вы ошибаетесь. Совсем не нравится, и я не собираюсь делать вид, будто я в восторге. А если вы воображаете, что разодолжили меня своим джентльменством, так и это тоже зря. Мне вся эта история дьявольски не по душе, и только одно у меня есть маленькое утешение: то, что, когда все кончится, вам тут будет не веселее, чем мне там, наверху. *(Поворачивается и идет к повозке. Но в эту минуту Джудит, протянув вперед руки, загораживает ему дорогу. Ричард, чувствуя, что еще немного — и самообладание изменит ему, отступает назад с криком.)* Зачем вы здесь? Вам здесь не место! *(Она делает движение, как будто хочет дотронуться до него. Он отстраняется почти со злостью.)* Нет, нет, уходите; мне будет труднее при вас. Да возьмите же ее кто-нибудь!

Джудит. Вы не хотите проститься со мной?

Ричард *(позволяя ей взять его руку)*. Ну хорошо, прощайте. А теперь уходите... Скорее уходите.

Джудит не выпускает его руки — ей мало этого холодного прощания,— и когда он делает попытку высвободиться, она, не помня себя, бросается к нему на грудь.

Суиндон *(строго, сержанту, который, заметив движение Джудит, поспешил было к ней, чтобы помешать, но не успел и остановился в нерешительности)*. Что это значит? Как она сюда попала?

Сержант *(виновато)*. Не знаю, сэр. Такая хитрая – всюду пролезет.

Бэргойн. Она подкупила вас.

Сержант *(протестующе)*. Что вы, сэр...

Суиндон *(свирепо)*. Назад!

Сержант повинуется.

Ричард *(умоляющим взглядом перебрав всех вокруг, останавливается на Бэргойне, как на самом разумном)*. Возьмите ее. Неужели вы не понимаете, что я сейчас не могу возиться с женщиной?

Бэргойн *(подходя к Джудит и взяв ее под руку)*. Прошу вас, сударыня. Я вас не гоню. Можете не выходить из круга, но только встаньте позади нас и не смотрите.

Джудит поворачивается к Бэргойну и отпускает руку Ричарда, который, шумно, с захлебом переводя дух, бежит к повозке, как к спасительному пристанищу, и поспешно взбирается на нее. Палач снимает с него сюртук и отводит ему руки за спину.

Джудит *(мягко, но настойчиво вырывает у Бэргойна свою руку)*. Нет, я останусь тут; я не буду смотреть. *(Возвращается на прежнее место, у правого столба виселицы; хочет взглянуть на Ричарда, но тотчас же отворачивается, вся содрогнувшись, и падает на колени, шепча молитву.)*

К ней подходит Брюднелл, державшийся в стороне.

Бэргойн *(увидев ее на коленях, успокоенно кивает головой)*. Вот и хорошо. Не трогайте ее, мистер Брюднелл; теперь все будет в порядке.

Брюднелл также кивает и отходит, глядя на нее с состраданием.

(Бэргойн занимает свое место и достает из кармана изящный золотой хронометр.) Ну как, приготовления закончены? Не следует задерживать мистера Даджена.

Тем временем у Ричарда руки уже связаны за спиной и петля накинута на шею. Солдаты берутся за оглобли,

готовясь откатить повозку в сторону. Палач, встав позади Ричарда, подает сержанту знак.

Сержант. Все готово, сэр.

Бэргойн. Не желаете ли еще что-нибудь сказать, мистер Даджен? Осталось две минуты.

Ричард *(твердым голосом человека, преодолевшего ужас смерти)*. У вас часы на две минуты отстают, генерал, мне отсюда видны городские.

На городских часах бьет первый удар. Толпа, тихо ахнув, невольно жмется назад.

Аминь! Отдаю свою жизнь за будущее мира.

Андерсон *(врываясь на площадь)*. Аминь! Остановите казнь! *(Прорывает ряды солдат как раз напротив Бэргойна и, задыхаясь, бросается к виселице.)* Я — Антони Андерсон, тот самый, кого вы искали.

Толпа, затаив дыхание, напряженно слушает. Джудит приподнимается и смотрит на Андерсона широко раскрытыми глазами, потом воздевает руки к небу движением человека, самая страстная молитва которого услышана.

Суиндон. Вот как? Что ж, вы явились как раз вовремя, чтобы занять свое место на виселице. Взять его!

По знаку сержанта двое солдат выходят вперед, чтобы схватить Андерсона.

Андерсон *(выхватив какую-то бумагу, сует ее под самый нос Суиндону)*. Мое охранное свидетельство, сэр!

Суиндон *(пораженный)*. Охранное свидетельство! Так это вы...

Андерсон *(выразительно)*. Да, это я.

Солдаты берут его за плечи.

Велите вашим людям убрать от меня руки.

Суиндон *(солдатам)*. Не троньте его.

Сержант. Назад!

Солдаты возвращаются в строй. Радостный шум в толпе; горожане, видя, как уверенно пастор разговаривает с неприятелем, оживленно переглядываются в предвкушении торжества.

Андерсон *(с глубоким вздохом облегчения, отирая платком пот со лба)*. Слава богу, я поспел вовремя!

Бэргойн *(с обычной своей невозмутимостью, все еще держа хронометр в руке)*. Не только вовремя, сэр, но даже с запасом. Я бы никогда не позволил себе повесить джентльмена по американским часам. *(Прячет хронометр.)*

Андерсон. Да, генерал, на несколько минут мы уже опередили вас. А теперь прикажите снять петлю с шеи этого американского гражданина.

Бэргойн *(палачу, отменно вежливо)*. Будьте так добры, развяжите мистера Даджена.

Палач снимает петлю с шеи Ричарда, развязывает ему руки и помогает надеть сюртук.

Джудит *(робко приблизившись к Андерсону)*. Тони...

Андерсон *(обняв ее одной рукой и любовно поддразнивая)*. Ну, что ты теперь скажешь о своем муже, а? а?

Джудит. Мне стыдно... *(Прячет лицо у него на груди.)*

Бэргойн *(Суиндону)*. Вы как будто испытали разочарование, майор Суиндон?

Суиндон. Вы как будто потерпели поражение, генерал Бэргойн?

Бэргойн. Да, потерпел; и я достаточно человечен, чтобы радоваться этому.

Ричард соскакивает с повозки — Брюднелл поспешил подставить ему плечо для опоры, — бежит к Андерсону и горячо жмет ему руку — левую, так как правой тот обнимает Джудит.

Кстати, мистер Андерсон, я не совсем понимаю... Свидетельство было выписано для офицера ополчения. А между тем я полагал *(взглядом, настолько пристальным, насколько это допускает его хорошее воспитание, окидывает сапоги, пистолеты и принадлежащую Ричарду куртку)*, что вы — священник?

Андерсон *(стоя между Ричардом и Джудит)*. Сэр! Только в грозный час испытания человек познает свое истинное назначение. Этот глупый молодой человек *(кладет руку на плечо Ричарду)* хвастливо называл себя Учеником дьявола; но когда для него наступил час испытания, он понял, что призван страдать и оставаться верным до конца. Я привык думать о себе как о мирном проповеднике слова господня, но когда мой час испытания настал, оказалось, что я призван быть человеком действия и что мое настоящее место среди боевых кликов,

в грохоте сражения. И вот в пятьдесят лет я начинаю новую жизнь – как Антони Андерсон, капитан Спрингтаунского отряда народного ополчения; а этот Ученик дьявола отныне станет называться достопочтенным Ричардом Дадженом, займет мое место на церковной кафедре и будет наставлять на путь истинный мою глупенькую, чувствительную женушку. *(Кладет другую руку на плечо Джудит, которая украдкой косится на Ричарда, желая увидеть, как нравится ему такая перспектива.)* Ваша мать говорила мне как-то, Ричард, что если б я был рожден для духовного звания, я бы никогда не выбрал себе в жены Джудит. Боюсь, что она была права. Так что, с вашего разрешения, я уж останусь в вашем платье, а вы оставайтесь в моем.

Ричард. Пастор... то есть капитан Андерсон, я выказал себя дураком.

Джудит. Героем!

Ричард. Да это примерно одно и то же. *(Досадуя на самого себя.)* Хотя нет: если б у меня была хоть капля ума, я сделал бы для вас то, что вы для меня сделали, вместо того чтобы идти на бессмысленную жертву.

Андерсон. Вовсе не бессмысленную, мой мальчик. Всему свое место в мире, и святые нужны так же, как и солдаты. *(Повернувшись к Бэргойну.)* А теперь, генерал, – время не ждет; и Америка торопится. Вы, надеюсь, поняли, что можно брать города и выигрывать сражения, но нельзя покорить целый народ?

Бэргойн. Дорогой сэр, без завоеваний не может быть аристократии. Приглашаю вас к себе в штаб, мы там договоримся обо всем.

Андерсон. К вашим услугам, сэр. *(Ричарду.)* А вы, мой мальчик, проводите Джудит домой вместо меня, хорошо? *(Подталкивает ее к нему.)* Я готов, генерал. *(Деловитым шагом направляется через площадь в сторону ратуши, оставив Джудит и Ричарда вдвоем.)*

Бэргойн следует за ним, но, сделав несколько шагов, останавливается и поворачивается к Ричарду.

Бэргойн. Да, кстати, мистер Даджен, буду очень рад, если вы пожалуете ко мне позавтракать в половине второго. *(Немного выждав, добавляет с едва заметным лукавством.)* Вместе с миссис Андерсон, если она согласится оказать мне честь. *(Суиндону, в котором все клокочет от бешенства.)* Не расстраивайтесь, майор Суиндон: ваш

друг, британский солдат, может устоять против чего угодно, кроме британского военного министерства. *(Уходит вслед за Андерсоном.)*

Сержант *(Суиндону)*. Каковы будут приказания, сэр?

Суиндон *(со злостью)*. Приказания! Что толку теперь приказывать! Армии нет. Назад в казармы и ко всем... *(Делает резкий поворот кругом и уходит.)*

Сержант *(с воинственным и патриотическим задором, отказываясь признавать факт поражения)*. Смирррно! Слушай мою команду! Голову выше, и пусть видят, что вам на них в высокой мере наплевать! На пле-чо! Кругом! Справо по четыре левое плечо вперед – марш!

Барабаны с оглушительным грохотом отбивают такт; оркестр начинает играть «Британских гренадеров», сержант, Брюднелл и английские солдаты, вызывающе чеканя шаг, покидают площадь. За ними валит народ, крича и улюлюкая; в арьергарде доморощенный городской оркестр старательно выводит «Янки Дудль». Эсси, пришедшая с оркестром, кидается к Ричарду.

Эсси. Ох, Дик!

Ричард *(добродушно, но настойчиво)*. Ну, ну, ладно. Быть повешенным – это еще куда ни шло, но чтобы меня оплакивали – не желаю.

Эсси. Нет, нет. Я обещаю. Я буду умницей. *(Старается удержать слезы, но не может.)* Я... я хочу посмотреть, куда пошли солдаты. *(Отходит на несколько шагов, как бы для того, чтобы взглянуть вслед толпе.)*

Джудит. Обещайте, что вы ему никогда не расскажете.

Ричард. Можете быть спокойны.

Они скрепляют обещание рукопожатием.

Эсси *(кричит)*. Они возвращаются. Они идут за вами!

Всеобщее ликование. Толпа снова заполнила площадь; горожане под звуки своего оркестра окружают Ричарда и, подняв его на плечи, несут с приветственными возгласами.

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА

История

1898

CAESAR AND CLEOPATRA

ПРОЛОГ

Врата храма бога Ра в Мемфисе. Глубокий сумрак. Величественное существо с головой сокола, излучающее таинственный свет, выступает из мрака в глубине храма. Бог с величайшим презрением окидывает взором современную аудиторию и после некоторой паузы обращается к ней со следующими словами:

– Молчание! Умолкните и слушайте меня вы, чопорные маленькие островитяне! Внемлите мне вы, мужчины, что носите на груди своей белый папирус, на котором не начертано ничего (дабы изобличить младенческую невинность мозгов ваших). Слушайте меня вы, женщины, облекающиеся в соблазнительные одежды, вы, скрывающие мысли свои от мужчин, дабы они верили, что вы считаете их сильными и могущественными повелителями, тогда как на самом деле в сердце своем вы знаете, что они неразумные дети. Смотрите на мою соколиную голову, смотрите и знайте: я – Ра, который некогда был могущественным богом в Египте. Вы не можете пасть передо мною на колени, распростершись ниц, ибо вы стиснуты в тесные ряды и лишены свободы движения и не видите дальше спины сидящего перед вами; а к тому же ни один из вас не осмелится признать сие достойным и подобающим, пока не увидит, что и все остальные делают то же, – откуда и происходит, что в решительные минуты вы пребываете в бездействии, хотя каждый из вас говорит своему ближнему, что необходимо что-то сделать. Я не требую от вас преклонения, я требую лишь тишины. Пусть мужчины ваши не говорят, а женщины пусть не кашляют, ибо я желаю перенести вас далеко в глубь времен, за две тысячи лет, за могилы шестидесяти поколений. Вы, жалкие последыши, не мните себя первыми. Другие глупцы видели до вас, как солнце всходило и закатывалось, а месяц менял лицо свое и час свой. Чем были они, тем вы стали ныне, но далеко вам до их величия; пирамиды, воздвигнутые моим народом, стоят и по сей день, а эти кучи праха, что вы зовете империями, где в рабстве влачите вы дни свои, рассыпаются по ветру,

хотя вы и заваливаете их телами сынов ваших, дабы скопилось побольше праха.

Внемлите же мне, о вы, принудительно обученные! Узнайте, что, подобно тому как ныне у вас существует старая Англия и новая Англия и вы растерянно топчетесь между той и другой, так некогда, в те дни, когда люди поклонялись мне, существовал старый Рим и новый Рим, и между этими двумя Римами растерянно топтались люди. И старый Рим был мал и беден, свиреп и алчен и страдал многими пороками; но так как ум его был мал, а труд его был прост, он жил своим умом, и труд его спорился. И боги снисходили к нему, и помогали ему, и поддерживали его, и охраняли его; ибо боги проявляют терпение к малым. И вот старый Рим, словно нищий, очутившийся на коне, понадеялся на милость богов и сказал: «Увы мне! Нет ни величия, ни богатства в малости моей. Кто хочет богатства и величия, тот должен грабить бедных и убивать слабых!» И стали римляне грабить бедняков и овладели в совершенстве этим искусством, и завели законы, в силу которых деяния их считались пристойными и честными. А когда выжали бедняков своих досуха, они стали грабить бедняков других стран и присоединили эти страны к Риму и создали новый Рим, богатый и необъятный. А я, Ра, смеялся над этим, ибо мозги римлян остались все такими же, между тем как владычество их распространилось по всей земле.

Так слушайте же меня, дабы понять то, что вы сейчас увидите. В те дни, когда римляне все еще топтались между старым и новым Римом, среди них явился могущественный воин, великий Помпей. Но путь воина есть путь смерти, а путь богов — путь жизни; и поэтому бог к концу пути своего являет мудрость свою, а воин в конце пути своего оказывается глупцом. И вот Помпей стоял за старый Рим, где только воины могли достигнуть величия; но боги обернулись к новому Риму, в котором каждый человек, обладавший умом, мог сделаться тем, чем он хотел. И друг Помпея, Юлий Цезарь, был на той же стороне, что и боги: он видел, что Рим перерос владык своих — старых маленьких римлян. И Цезарь этот был великий краснобай и политик: он покупал людей словами и золотом, подобно тому как ныне покупают вас. А когда они перестали довольствоваться словами и золотом и потребовали побед и военной славы, Цезарь, уже не в юных летах, обратился к этому ремеслу; и те, что

восставали против него, когда он заботился о благоденствии их, склонились перед ним, когда он стал убийцей и завоевателем. Ибо такова природа ваша, смертные. Что же до Помпея – он надоел своими успехами и тем, что он сам себя возомнил богом; ибо он толковал о законе, и долге, и о прочих вещах, которых не может касаться жалкая человеческая тварь. И боги улыбнулись Цезарю, ибо он смело жил жизнью, которую они даровали ему, и не хулил нас постоянно за то, что мы, созидая живое, не ведаем стыда, и не прятал деяний наших от людей, как если бы это было нечто постыдное. Вы хорошо знаете, о чем я говорю, ибо это один из ваших собственных грехов.

И так случилось между старым и новым Римом, что Цезарь сказал: «До тех пор, пока я не нарушу закон старого Рима, мне не удастся получить свою долю во владычестве над ним, и дар владычествовать, дар, который мне дали боги, погибнет и не принесет плода». Но Помпей сказал: «Закон выше всего, и если ты нарушишь его, ты должен погибнуть». И сказал Цезарь: «Вот я нарушу его, и пусть, кто посмеет, убьет меня». И он нарушил закон Рима. И Помпей пошел на него, как сказано в ваших книгах, с великой армией, дабы изничтожить его и утвердить старый Рим. И Цезарь бежал через волны Адриатического моря, ибо великие боги хотели дать ему урок, тот же урок, что в свое время получите и вы, если вы так же будете забывать их и поклоняться этому пройдохе среди богов – Маммоне. И поэтому, прежде чем вознести Цезаря и сделать его владыкой мира, они захотели бросить его в прах к ногам Помпея и очернить лицо его перед всеми народами. Помпея же они возвеличили и вознесли выше прежнего – и законы его и его высокомерный ум, который пытался по-обезьяньи подражать богам. И сделали они это затем, дабы страшней было его падение. И Помпей отправился в погоню за Цезарем, и раздавил его всем величием старого Рима, и стал над ним и надо всем миром, подобно тому как вы стоите ныне с вашим флотом, что покрывает воды морские на тридцать миль. И когда Цезарь был низринут и повержен в прах, он поднялся в последний раз, дабы умереть с честью, и не отчаялся, а сказал: «Вот они против меня – и Помпей, и старый Рим, и закон, и легионы – все, все против меня; но высоко надо всем этим – боги; а Помпей – глупец».

И боги засмеялись и похвалили его. И на полях Фарсалы совершилось невозможное: кровь и железо, на которых держится ваша вера, пали перед духом человека, ибо дух человека – это воля богов. И могущество Помпея рассыпалось в руке его, подобно тому как рассыпалось могущество державной Испании, когда она обратилась против ваших предков в те дни, когда Англия была мала, и жила своим умом, и полагалась на свой ум, а не на то, что она распространяет в газетах. И потому остерегайтесь, дабы какой-нибудь маленький народ, который вы обратили в рабство, не поднялся и не обратился в руках богов в бич, что обрушится на ваше хвастовство и вашу несправедливость, на ваши пороки и вашу глупость.

Так хотите ли вы теперь узнать о конце Помпея, или вы будете спать, когда говорит бог? Внемлите словам моим, ибо Помпей отправился туда, куда и вы пошли ныне, – в Египет, где стояла римская армия, подобно тому как ныне там стоит британская армия. И Цезарь погнался за Помпеем в Египет; римлянин бежал, и римлянин гнался за беглецом: пес, пожирающий пса. И египтяне говорили: «Глядите, вот римляне, которые давали золото царям нашим и собирали с нас дань силой оружия своего, не они ли призывали нас быть верными им и предавать нашу родную страну. И вот теперь перед нами два Рима – Рим Помпея и Рим Цезаря. Которому же из них ныне должны мы хранить верность?» И в смущении своем они обратились к воину, который некогда служил Помпею, и знал пути Рима, и обладал всеми его пороками. И сказали ему: «Гляди, в твоей стране пес пожирает пса, и оба пса пришли к нам, дабы пожрать нас. Что ты можешь посоветовать нам?» И воин этот, которому было имя Луций Септимий и которого вы ныне увидите перед собой, ответил: «Вам надлежит тщательно взвесить, который из двух псов сильнее, и затем убить слабейшего в угоду сильному и тем завоевать его милость». И египтяне сказали: «Ты дал дельный совет, но если мы убьем человека, мы преступим закон и поставим себя наравне с богами, а этого мы не смеем делать. Но ты – римлянин: тебе привычно убийство, ибо у тебя страсть господствовать. Не возьмешься ли ты вместо нас убить того пса, который послабее?» И Луций ответил: «Да будет так, ибо я сделал Египет отчизной своей и желаю, чтобы вы почитали и слушали меня». И египтяне сказали: «Мы так и думали, что ты не станешь

делать этого безо всякой мзды; ты получишь свою награду». И вот Помпей прибыл в Египет и пристал к берегам его один, на маленькой галере, положившись на его закон и обычай. И народ Египта увидел, что Помпей поистине слабый и ничтожный пес; и едва он успел ступить на берег, как его встретил его старый соратник Луций Септимий, который одной рукой приветствовал его, а другой отсек ему голову; и сохранил эту голову, как хранят капустный кочан, дабы поднести ее в дар Цезарю. И род людской содрогнулся. А боги засмеялись: ибо Септимий был всего лишь мечом, отточенным рукой Помпея. И когда меч этот обратился против его собственного горла, боги сказали, что Помпею лучше было бы сделать Септимия хлебопашцем, а не столь доблестным и скорым на руку убийцей. И поэтому я снова говорю вам: остерегайтесь вы, которые все желали бы стать Помпеями, если бы осмелились; ибо война — это волк, и он может прийти и к вашей двери.

Вам, кажется, наскучила речь бога? Вас снедает нечистое желание послушать о жизни порочной женщины? Или имя Клеопатры пробудило в вас это любопытство? О, вы глупцы! Клеопатра всего лишь дитя, которое шлепает нянька. И я, заботясь о благе ваших душ, хочу показать вам, как Цезарь, который пришел в Египет искать Помпея, нашел Клеопатру; и как принял он в дар кочан капусты, что некогда был головой Помпея; и что произошло между старым Цезарем и царицей-ребенком, пока он не покинул Египта и не проложил себе победный путь в Рим, чтобы затем быть убитым, подобно Помпею, людьми, в которых еще уцелел дух Помпея. Все это вы увидите и в невежестве своем будете удивляться тому, что за двадцать веков до ваших дней люди были такие же, как вы, жили и говорили, как вы,— не хуже и не лучше, не умнее и не глупее. И эти две тысячи лет, что минули с тех пор,— для меня, бога Ра, всего лишь мгновение; и то, что вы зовете сегодняшним днем, ничем не отличается от того дня, когда Цезарь впервые ступил на землю моего народа. А теперь я покину вас, ибо вы тупое племя и поучать вас — напрасная трата слов; и я бы не стал расточать их, не будь я богом, а природа богов такова, что они вечно борются с прахом и тьмой и своей неизбывной жаждой божественного вечно стремятся высечь из праха и тьмы новые и новые искры жизни и света. Итак, сидите спокойно на ваших

сиденьях и молчите, ибо вы услышите сейчас речь человека, и, по вашему разумению, это был великий человек. И не бойтесь, я больше не заговорю с вами; да поведают вам истинный ход истории те, кто участвовал в ней. Прощайте и не вздумайте рукоплескать мне!

Храм исчезает в глубоком мраке.

Октябрьская ночь на сирийской границе Египта в конце царствования XXXIII династии. 706 год по римскому летосчислению, 48-й до рождения Христова — по более позднему, христианскому исчислению. Яркий серебряный свет восходящего ночного светила разгорается на востоке. Звезды и безоблачное небо — наши современники, разве лишь на девятнадцать с половиной веков моложе, чем те, которые мы знаем. Но по их виду этого сказать нельзя. Внизу под ними — два весьма сомнительных завоевания цивилизации: дворец и с о л д а т ы. Дворец — старая низкая сирийская постройка из беленого ила — значительно менее уродлив, чем Букингемский дворец; и офицеры во дворце много культурнее, чем современные английские офицеры: так, например, они не имеют обыкновения выкапывать тела мертвых врагов и четвертовать их, как мы поступили с Кромвелем и Махди. Они разбились на две группы; одна с напряженным вниманием следит за игрой своего начальника Б е л ь з е н о р а, воина лет пятидесяти; он положил копье на землю около колена и, наклонившись, мечет кости, играя с молодым, лукавого вида, персидским наемником. Другая группа собралась вокруг одного из о ф и ц е р о в стражи, который только что рассказал непристойный анекдот (до сих пор пользующийся большим успехом в английских казармах), встреченный громовым хохотом. Всего их человек двенадцать; это молодые офицеры египетской гвардии, юноши из высокой аристократии. Они в красной одежде, с оружием и в доспехах, при этом, в отличие от англичан, они не стыдятся своей профессиональной одежды и не тяготятся ею — наоборот, они явно и высокомерно воинственны и гордятся своей принадлежностью к военной касте.

Бельзенор — типичный ветеран, суровый и крутой; находчивый, усердный и исполнительный в тех случаях, когда требуется грубая сила; беспомощный и ребячливый, когда она не требуется; прекрасный сержант, неспособный генерал, никуда не годный диктатор. В современном европейском государстве, будь у него хорошие связи, несомненно подвизался бы на двух этих последних поприщах в силу своих заслуг на первом. Ныне, принимая во внимание, что

Юлий Цезарь идет войной на его страну, он заслуживает сожаления. Не зная об этом, он весь поглощен игрой с персом, которого он, как чужеземца, считает способным и сплутовать.

Его подчиненные — по большей части красивые юноши; их интерес к игре и к непристойному анекдоту довольно полно характеризует основной круг интересов, которыми они живут. Их копья стоят у стены или лежат на земле, готовые служить им в любую минуту. Угол двора образует треугольник; одна сторона его — это фасад дворца с его главным входом, другая — стена с воротами. Группа, слушающая рассказчика, находится около дворца, игроки — ближе к воротам. Рядом с воротами, у стены, большой камень, с которого нубиец-часовой может заглянуть через стену. Двор освещен факелом, воткнутым в стену. Когда хохот воинов, окружающих рассказчика, смолкает, перс, стоящий на коленях и выигравший этот кон, хватает ставку с земли.

Бельзенор. Аписом клянусь, перс, твои боги благоволят тебе.

Перс. А ну еще раз, начальник. Давай на все, отыграешься.

Бельзенор. Нет. Довольно. Мне сегодня не везет.

Часовой *(выглянув наружу, берет наперевес свое копье)*. Стой. Кто идет?

Все настораживаются. Незнакомый голос отвечает из-за стены.

Голос. Гонец с дурными вестями.

Бельзенор *(кричит часовому)*. Пропустить!

Часовой *(опуская копье)*. Приблизься, гонец с дурными вестями.

Бельзенор *(пряча в карман кости и поднимая с земли копье)*. Принять с почестями этого человека. Он несет дурные вести.

Воины хватают свои копья и строятся около ворот, оставляя проход для пришельца.

Перс *(поднимаясь с колен)*. Разве дурным вестям подобают почести?

Бельзенор. Слушай меня, о невежественный перс, и учись. В Египте гонца с добрыми вестями приносят в жертву богам — как благодарственный дар; но ни один бог не примет крови посланца зла. Когда мы посылаем хорошую

весть мы вкладываем ее в уста самого негодного раба. Дурные вести несет благородный юноша, который желает отличиться.

Они присоединяются к тем, что стоят у ворот.

Часовой. Иди, о юный воин, и склони голову в доме царицы.

Голос. А ты намажь свое копье свиным салом, о чернокожий. Ибо еще не вспыхнет утро, как римлянин заставит тебя проглотить его по самую рукоять.

Обладатель голоса — светловолосый щеголь, одетый иначе, чем дворцовая стража, но не менее вычурно,— смеясь, входит в ворота. На нем явственные признаки кровавой битвы: левая рука, на перевязи, выглядывает из разорванного рукава, в правой руке он держит римский меч в ножнах. Он важно шествует по двору. Перс справа от него. Бельзенор слева, стража толпится сзади.

Бельзенор. Кто ты, осмеливающийся смеяться в доме царицы Клеопатры и пред лицом Бельзенора, начальника ее стражи?

Пришелец. Я Бел-Африс, потомок богов.

Бельзенор *(торжественно)*. Привет, родич!

Все *(кроме перса)*. Привет, родич!

Перс. Вся стража царицы — потомки богов, кроме меня, о чужеземец. Я перс, потомок многих царей.

Бел-Африс *(страже)*. Привет, родичи! *(Персу, снисходительно.)* Привет, смертный!

Бельзенор. Ты с поля битвы, Бел-Африс! Ты, воин, здесь среди воинов. Ты не допустишь, чтобы служанки царицы первыми услышали твои вести.

Бел-Африс. У меня нет иных вестей, кроме того, что всем здесь, женщинам и воинам, скоро перережут глотки.

Перс *(Бельзенору)*. Говорил я тебе?

Часовой *(он слушал их)*. Горе нам, горе!

Бел-Африс *(часовому)*. Успокойся, бедный эфиоп. Судьба в руках богов, которые сделали тебя черным. *(Бельзенору.)* Что тебе говорил этот смертный? *(Показывает на перса.)*

Бельзенор. Он говорил, что римлянин Юлий Цезарь, который высадился с кучкой своих приверженцев у наших берегов, станет владыкой Египта. Он боится римских солдат!

Стража презрительно хохочет.

Бояться этого мужичья, что умеет только пугать ворон да тащиться за плугом! Этих сыновей кузнецов, медников

и кожемяк! Нам, благородным потомкам богов, посвятившим себя оружию!

Перс. Бельзенор! Боги не всегда благосклонны к своим бедным родичам.

Бельзенор *(запальчиво, персу)*. А что же, мы один на один не справимся с рабами Цезаря?

Бел-Африс *(становится между ними)*. Послушай, родич. В бою один на один египтяне – боги в сравнении с римлянами.

Стража *(торжествующе)*. Ага!

Бел-Африс. Но этот Цезарь не знает боя один на один, он бросает легион туда, где мы всего слабее, как бросают камень из катапульты. И этот легион подобен человеку с одной головой и тысячей рук, и он не знает бога. Я сражался с ним, и я знаю.

Бельзенор *(насмешливо)*. Они испугали тебя, родич?

Стража гогочет, в восторге от находчивости своего начальника.

Бел-Африс. Нет, родич. Но они меня сразили. Возможно, они испугались, но они раскидали нас, как солому.

Стража угрюмо ворчит, выражая свое презрение и гнев.

Бельзенор. А разве ты не мог умереть?

Бел-Африс. Нет, это было бы слишком легко, чтобы быть достойным потомка богов. Да к тому же я и не успел. Все кончилось в одно мгновение. Они напали на нас там, где мы их меньше всего ждали.

Бельзенор. Это значит, что римляне трусы.

Бел-Африс. Им все равно, трусы они или нет: они бьются, чтобы победить. Гордость и честь войны неведомы им.

Перс. Расскажи нам о битве. Как было дело?

Стража *(в нетерпеливом любопытстве обступает Бел-Африса)*. Да, да, расскажи нам о битве.

Бел-Африс. Так вот узнайте: я недавно посвящен в стражу мемфисского храма Ра, я не служу ни Клеопатре, ни брату ее Птолемею, я служу великим богам. Мы двинулись в путь, чтобы узнать, зачем Птолемей прогнал Клеопатру в Сирию и как нам, египтянам, поступить с римлянином Помпеем, который только что прибыл в наши земли, после того как Цезарь разбил его под Фарсалой. И что же узнали мы? А то, что Цезарь уже идет сюда по пятам своего врага, а Птолемей убил Помпея и от-

рубил ему голову, дабы преподнести ее в дар победителю.

Стража потрясена.

И еще мы узнали, что Цезарь уже здесь, ибо не прошли мы и полдня обратного пути, как увидели городскую чернь, бегущую от его легионов, которым она пыталась помешать высадиться на берег.

Бельзенор. А вы, стража храма, вы не бросились в битву с легионами?

Бел-Африс. Мы сделали все, что может сделать человек. Но раздался рев трубы, и голос ее был как проклятие Черной Горы. Потом увидели мы стену из щитов, надвигавшуюся на нас. Всякий из вас знает, как замирает сердце, когда идешь приступом на укрепленную стену. Каково же, если сама стена ринется на вас?

Перс *(захлебываясь, ибо он уже говорил это)*. Разве я тебе не говорил?

Бел-Африс. Когда стена приблизилась, она превратилась в строй солдат — простых, грубых людей в шлемах, в кожаных одеждах и с нагрудниками. И каждый из них метнул копье; и то, которое летело на меня, пронзило мой щит, словно папирус. Глядите. *(Показывает на перевязанную левую руку.)* Оно бы проткнуло мне шею, но я нагнулся. И тут же они ринулись, сдвоив ряды, и их короткие мечи обрушились на нас вслед за копьями. Против таких мечей в рукопашном бою наше оружие бесполезно: оно слишком длинно.

Перс. Что же ты сделал?

Бел-Африс. Сжал кулак и что есть силы ударил римлянина в зубы. И оказалось, римлянин мой — простой смертный: он свалился оглушенный. Я проткнул его его же мечом. *(Вытаскивает меч.)* Вот — римский меч и кровь римлянина на нем.

Стража *(одобрительно)*. Хорошо! *(Берут у него меч и передают из рук в руки, разглядывая его с любопытством.)*

Перс. А твои люди?

Бел-Африс. Обратились в бегство. Рассыпались, как овцы.

Бельзенор *(в ярости)*. Трусливые рабы! Оставить потомков богов на растерзанье!

Бел-Африс *(с ядовитым спокойствием)*. Потомки богов не остались на растерзанье, родич. Поле боя досталось не сильным, но в беге одолел скорый. У римлян нет колесниц, но они послали тучи всадников в погоню, и те перебили

множество. Тогда полководец нашего верховного жреца призвал двенадцать потомков богов и заклинал нас погибнуть в бою. Я подумал: лучше стоять, нежели задыхаться в беге и погибнуть от удара в спину. Я остался на месте с военачальником. Римляне оказали нам уважение; ибо никто не нападает на льва, когда поле полно овец,— если он не знает, что такое честь и гордость войны; а римляне не знают этого. Так мы спаслись. И я пришел сказать вам, чтобы вы открыли ворота Цезарю; ибо не пройдет и часа, как подойдут его передовые отряды. Между вами и его легионами нет ни одного египетского воина.

Часовой. О горе! *(Бросает свое копье и бежит во дворец.)*

Бельзенор. Пригвоздить его к двери! Живо!

Стража гонится за часовым, потрясая копьями, но он ускользает от них.

Теперь твоя весть побежит по дворцу, как огонь по жнивью.

Бел-Африс. Что же нам сделать, дабы спасти женщин от римлян?

Бельзенор. А почему бы не убить их?

Перс. Потому что за кровь некоторых из них пришлось бы поплатиться головой. Пусть лучше их убьют римляне. Это дешевле.

Бельзенор *(в благоговении перед его сообразительностью)*. О хитроумный! О змий!

Бел-Африс. А ваша царица?

Бельзенор. Да. Мы должны увезти Клеопатру.

Бел-Африс. А разве вы не собираетесь подождать ее приказаний?

Бельзенор. Приказаний? Девчонки шестнадцати лет! Еще чего! Это вы в Мемфисе считаете ее царицей; а мы-то здесь знаем. Я посажу ее на круп моего коня. Когда мы, воины, спасем ее от рук Цезаря, пусть жрецы и няньки опять выставляют ее царицей и нашептывают ей, что́ она должна приказать.

Перс. Выслушай меня, Бельзенор.

Бельзенор. Говори, о мудрый не по летам.

Перс. Птолемей, брат Клеопатры, враждует с ней. Продадим ему Клеопатру.

Стража. О хитроумный! О змий!

Бельзенор. Мы не смеем. Мы потомки богов, но Клеопатра — дочь Нила. И земля отцов наших не будет давать

зерна, если Нил не поднимет свои воды и не напитает ее. Без даров отца нашего мы станем нищими.

Перс. Это правда. Стража царицы не может прожить на жалованье. Но выслушайте меня, о вы, родичи Озириса.

Стража. Говори, о хитроумный! Внемлите детищу змия!

Перс. Разве не правда то, что я говорил вам о Цезаре, когда вы думали, что я насмехаюсь над вами?

Стража. Правда, правда!

Бельзенор *(неохотно соглашаясь)*. Так говорит Бел-Африс.

Перс. Так узнайте другое. Этот Цезарь — он очень любит женщин; они становятся ему друзьями и советчицами.

Бельзенор. Фу! Владычество женщин приведет к гибели Египет.

Перс. Пусть оно приведет к гибели Рим. Цезарь уже в преклонных летах. Ему больше пятидесяти лет, он утомлен битвами и трудом. Он стар для юных жен, а пожилые слишком мудры, чтобы боготворить его.

Бел-Африс. Берегись, перс! Цезарь близко, как бы он не услыхал тебя.

Перс. Клеопатра еще не женщина, и мудрости нет у нее. Но она уже смущает разум мужчин.

Бельзенор. Верно! Это потому, что она дочь Нила и черной кошки от священного Белого Кота. Ну и что же?

Перс. Продадим ее тайно Птолемею, а сами пойдем к Цезарю и предложим ему пойти войной на Птолемея, чтобы спасти нашу царицу, прапраправнучку Нила.

Стража. О змий!

Перс. И он послушает нас, если мы придем и распишем ему, какова она. Он победит и убьет ее брата, и воцарится в Египте, и Клеопатра станет его царицей. А мы будем ее стражей.

Стража. О коварнейший из змиев! О мудрость! О чудо из чудес!

Бел-Африс. Он явится сюда, пока ты здесь разглагольствуешь, о длинноязыкий.

Бельзенор. Это правда.

Испуганные вопли во дворце прерывают его.

Скорей! Они уже бегут! К дверям!

Стража бросается к двери и загораживает ее копьями. Толпа служанок и нянек показывается в дверях. Те, что впереди, пятятся от копий и вопят задним, чтобы они не напирали. Голос Бельзенора покрывает их вопли.

Назад! На место! Назад, негодные коровы!

Стража. Назад, негодные коровы!

Бельзенор. Пошлите сюда Фтататиту, главную няньку царицы!

Женщины *(кричат во дворце)*. Фтататита, Фтататита! Иди сюда скорей. Говори с Бельзенором!

Одна из женщин. Да подайтесь же вы назад! Вы толкаете меня на копья!

На пороге появляется рослая мрачная женщина. Лицо ее покрыто сетью тонких морщин; большие старые, умные глаза. Она мускулистая, высокая, очень сильная; у нее рот ищейки и челюсти бульдога; одета как важная особа при дворе, говорит со стражей высокомерно.

Фтататита. Дайте дорогу главной няне царицы.

Бельзенор *(с величавой надменностью)*. Фтататита, я Бельзенор, начальник царской стражи, потомок богов.

Фтататита *(вдвойне высокомерно)*. Бельзенор, я Фтататита, главная няня царицы, а твои божественные предки гордились тем, что изображения их живут на стенах пирамид великих царей, которым служили мои предки.

Женщины злорадно смеются.

Бельзенор *(со злобной насмешкой)*. Фтататита, дочь длинноязыкого и оковращающего хамелеона, римляне на пороге!

Вопль ужаса среди женщин; если бы не копья, они тут же бросились бы бежать.

Никто, даже потомки богов, не может преградить им путь, ибо у каждого из них семь рук и семь копий в каждой. Кровь в их жилах – как кипящая ртуть. Жены их становятся матерями через три часа, а назавтра их убивают и едят.

Женщины содрогаются в ужасе. Фтататита, преисполненная презрения к ним, пренебрежительно смотрит на солдат, она прокладывает себе дорогу сквозь толпу и идет, не смущаясь, прямо на копья.

Фтататита. Тогда бегите и спасайтесь, о жалкие трусы, потомки грошовых глиняных божков, которых покупают рыбные торговки. Оставьте нас, мы сами позаботимся о себе.

Бельзенор. Но прежде исполни повеление наше, о ужас рода человеческого! Приведи к нам Клеопатру-царицу. А потом иди куда хочешь.

Фтататита *(с насмешливой улыбкой)*. Теперь я знаю, почему боги взяли ее из наших рук.

Воины в смятении переглядываются.

Узнай же, глупый солдат, что ее нет с той поры, как закатилось солнце.

Бельзенор *(в ярости)*. Ведьма, ты спрятала ее, чтобы продать Цезарю или брату ее, Птолемею. *(Хватает Фтататиту за руку и с помощью стража тащит ее на середину двора, бросает на колени и заносит над ней смертоносный нож.)* Где она? Говори или... *(Грозит перерезать ей горло.)*

Фтататита *(свирепо)*. Тронь меня, собака! И Нил перестанет питать поля твои и в течение семижды семи лет обречет тебя на голод.

Бельзенор *(испуганно, но решившись на все)*. Я принесу жертвы. Я откуплюсь. Нет, постой! *(Персу.)* Ты, о премудрый, земля твоих отцов лежит далеко от Нила, убей ее.

Перс *(угрожая ей ножом)*. У персов один бог, и он любит кровь старых женщин. Где Клеопатра?

Фтататита. Перс! Клянусь Озирисом, я не знаю. Я бранила ее за то, что она навлечет на нас дурные дни своей болтовней со священными кошками; она вечно таскает их на руках. Я грозила ей, что оставлю ее одну, когда придут римляне, в наказанье за ее непослушный нрав. И она исчезла, убежала, спряталась. Я говорю правду. Да будет Озирис мне свидетелем...

Женщины *(угодливо подхватывают)*. Истинная правда, Бельзенор!

Бельзенор. Ты запугала девчонку. Она спряталась. Живо обыскать дворец! Обшарить все углы!

Стража во главе с Бельзенором прокладывает себе путь во дворец сквозь толпу женщин, которые, не помня себя, бросаются в ворота.

Фтататита *(вопит)*. Святотатство! Мужчины в покоях царицы! Свято... *(Голос ее обрывается, перс подносит нож к ее горлу.)*

Бел-Африс *(кладет руку на плечо Фтататиты)*. Подари ей еще минуту, перс. *(Фтататите, весьма внушительно.)* Мать, твои боги спят или развлекаются охотой. И меч у горла твоего. Отведи нас туда, где спряталась царица, и ты будешь жить.

Фтататита *(презрительно)*. Кто остановит меч в руке глупца, если боги вложили меч в его руку? Послушайте меня вы, безумные юноши. Клеопатра боится меня, но римлян она боится еще больше. Есть только одна сила, которая для нее страшнее гнева царской няньки или жестокости Цезаря, — это Сфинкс, который сидит в пустыне и сторожит путь к морю. Она шепчет на ухо священным кошкам то, что ей хочется сказать ему. И в день своего рождения она приносит ему жертвы и украшает его маками. Так идите же в пустыню и ищите Клеопатру под сенью Сфинкса. Берегите ее больше жизни своей, дабы с ней не случилось худа.

Бел-Африс *(персу)*. Можно ли верить этому, о хитроумный?

Перс. Откуда идут римляне?

Бел-Африс. Через пустыню от моря, мимо Сфинкса.

Перс *(Фтататите)*. О мать вероломства, о язык ехидны! Ты придумала эту сказку, чтобы мы пошли в пустыню и погибли на римских копьях. *(Заносит нож.)* Вкуси же смерть!

Фтататита. Не от тебя, щенок! *(Ударяет его с силой под коленку, а сама бросается бежать вдоль дворцовой стены и исчезает в темноте.)*

Бел-Африс хохочет над упавшим персом. Стража выбегает из дворца с Бельзенором и кучкой беглянок, большинство тащит узлы.

Перс. Нашли вы Клеопатру?

Бельзенор. Она исчезла. Мы обыскали все закоулки.

Нубиец-часовой *(появляясь в дверях дворца)*. Горе нам! Увы! Горе нам! Спасайтесь!

Бельзенор. Что еще там случилось?

Нубиец. Украли священного Белого Кота.

Все. Горе нам, горе!

Всеобщая паника. Все бегут с воплями ужаса. В суматохе падает и гаснет факел. Топот и крики беглецов вдалеке. Тьма и мертвая тишина.

Та же мгла, которая поглотила храм Ра и сирийский дворец. Та же мертвая тишина. Настороженное ожидание. Но вот черная неподвижная мгла подергивается мягкой серебряной дымкой. Слышится странная мелодия: это колеблемая ветром арфа Мемнона поет перед восходом луны. Громадная полная луна встает над пустыней, озаряя широкий горизонт, на фоне которого смутно выступает огромная фигура; в расстилающемся лунном свете она постепенно принимает очертания Сфинкса, покоящегося среди песков. Свет становится все ярче, и теперь уже ясно видны открытые глаза истукана — они устремлены прямо вперед и вверх в бесконечном, бесстрашном бодрствовании; между его громадными лапами виднеется яркое пятно — груда красных маков, на которой неподвижно лежит д е в о ч к а. Ее шелковая одежда тихо и мерно поднимается на груди от дыхания — спокойного дыхания спящей; заплетенные волосы сверкают в лунном блеске, подобно крылу птицы. Внезапно издалека раздается смутный чудовищный гул — может быть, это рев Минотавра, смягченный далеким расстоянием,— и арфа Мемнона смолкает. Тишина, затем несколько далеких пронзительных звуков трубы. Снова тишина. Потом с южной стороны, крадучись, появляется ч е л о в е к. Восхищенный и изумленный этой загадкой ночи, он останавливается и замирает, погруженный в созерцание; но грудь Сфинкса с ее сокровищем скрыта от него огромным плечом истукана.

Ч е л о в е к. Слава тебе, Сфинкс! Юлий Цезарь приветствует тебя! Изгнанный рождением на землю, я скитался по многим странам в поисках утраченного мира, в поисках существ, подобных мне. Я видал стада и пастбища, людей и города, но я не встретил другого Цезаря, ни стихии, родственной мне, ни человека, близкого мне по духу, никого, кто бы мог довершить дела моих дней и разрешить мои ночные думы. В этом маленьком подлунном мире, о Сфинкс, я вознесен столь же высоко, как и ты в этой безбрежной пустыне; но я скитаюсь, а ты сидишь неподвижен; я завоевываю, а ты живешь в веках; я тружусь и изумляюсь, ты бодрствуешь и ждешь; я смотрю вверх — и я ослеплен, смотрю вниз — и омрачаюсь, огля-

дываюсь кругом — и недоумеваю, тогда как твой взор всегда, неизменно устремлен прямо, по ту сторону мира, к далеким краям утраченной нами отчизны. Сфинкс, ты и я — мы чужды породе людей, но не чужды друг другу: разве не о тебе, не о твоей пустыне помнил я с тех пор, как появился на свет? Рим — это мечта безумца; а здесь — моя действительность. В далеких краях, в Галлии, в Британии, в Испании, в Фессалии, видел я звездные твои светильники, подающие знаки о великих тайнах бессменному часовому здесь, внизу, которого я нигде не мог найти. И вот он, наконец, здесь, этот часовой — образ неизменного и бессмертного в бытии моем,— безмолвный, полный дум, одинокий в серебряной пустыне. Сфинкс, Сфинкс! Я поднимался ночью на вершины гор, прислушиваясь издалека к вкрадчивому бегу ветров — наших незримых детей, о Сфинкс, взметающих в запретной игре твои пески, лепечущих и смеющихся. Мой путь сюда — это путь рока, ибо я тот, чей гений ты воплощаешь: полузверь, полуженщина, полубог, и нет во мне ничего человеческого. Разгадал ли я твою загадку, Сфинкс?

Девочка *(проснувшись, осторожно выглядывает из своего убежища)*. Старичок!

Цезарь *(сильно вздрагивает и хватается за меч)*. Бессмертные боги!

Девочка. Старичок, не убегай.

Цезарь *(совершенно ошеломленный)*. «Старичок, не убегай...» И это — Юлию Цезарю!

Девочка *(настойчиво)*. Старичок!

Цезарь. Сфинкс, ты забыл о своих столетиях. Я моложе тебя, хотя голос твой — голос ребенка.

Девочка. Полезай скорей сюда, а то сейчас придут римляне и съедят тебя.

Цезарь *(бежит, огибая плечо Сфинкса, и видит девочку)*. Дитя у него на груди! Божественное дитя!

Девочка. Полезай скорей. Ты взберись по его боку, а потом ползи кругом.

Цезарь *(изумленный)*. Кто ты?

Девочка. Я Клеопатра, царица Египта.

Цезарь. Цыганская царица, ты хочешь сказать?

Клеопатра. Ты не должен так непочтительно говорить со мной, а то Сфинкс отдаст тебя римлянам, и они съедят тебя. Лезь сюда. Здесь очень уютно.

Цезарь *(про себя)*. Какой сон, какой дивный сон! Только

бы не проснуться. Я готов завоевать десять материков, чтобы доглядеть его до конца. *(Карабкается по туловищу Сфинкса и, обогнув правое плечо, появляется на пьедестале.)*

Клеопатра. Осторожней! Вот так. Теперь садись. Вот тебе другая его лапа. *(Усаживается поудобней на левой лапе Сфинкса.)* Он очень могущественный и защитит нас. Только... *(дрогнувшим, жалобным голосом)* он не обращает на меня никакого внимания и ничего мне не рассказывает. Я очень рада, что ты пришел: мне было так скучно. А ты нигде здесь не видел Белого Кота?

Цезарь *(усаживается на правую лапу; в крайнем удивлении)*. Ты, значит, потеряла кошку?

Клеопатра. Да, священного Белого Кота. Подумай, какой ужас! Я несла его сюда, я хотела принести его в жертву Сфинксу, но только мы отошли от города, его позвала черная кошка, и он вырвался у меня из рук и убежал. А как ты думаешь, может быть эта черная кошка и есть моя прапрапрабабушка?

Цезарь *(не сводя с нее изумленных глаз)*. Твоя прапрапрабабушка? Возможно. В эту диковинную ночь я ничему не удивлюсь.

Клеопатра. Да, я тоже так думаю. Прабабушка моей прабабушки была черной кошкой от священного Белого Кота, а Нил сделал ее своей седьмой женой. Вот потому у меня такие волнистые волосы. И мне всегда хочется делать по-своему — все равно, хотят этого боги или нет. Потому что моя кровь — это воды Нила.

Цезарь. А что ты тут делаешь так поздно? Ты живешь здесь?

Клеопатра. Ну конечно нет. Я — царица. Я буду жить во дворце в Александрии, когда убью своего брата, который меня прогнал оттуда. Когда я стану совсем большая, я буду делать все, что хочу. Я буду кормить ядом моих рабов и буду смотреть, как они корчатся. А Фтататиту я буду пугать, что ее посадят в огненную печь.

Цезарь. Гм... Ну, а сейчас почему ты не дома, не в постели?

Клеопатра. Потому что сюда идут римляне, и они нас всех съедят. Ты ведь тоже не дома и не в постели.

Цезарь *(с убеждением)*. Нет, я дома. Мой дом — палатка. И я сейчас крепко сплю в своей палатке и вижу сон. Неужели ты думаешь, что ты существуешь на самом деле, ты, сонное наваждение, маленькая немыслимая колдунья?

Клеопатра *(хихикая, доверчиво прижимается к нему)*. Ты смешной милый старичок! Ты мне очень нравишься.

Цезарь. Ах, ты мне портишь сон. Почему тебе не снится, что я молодой?

Клеопатра. Я была бы очень рада, если бы ты был молодой. Только тогда я бы тебя, наверно, боялась. Мне нравятся юноши, у которых круглые, сильные руки. Но я боюсь их. А ты старый, худой и жилистый. Но у тебя приятный голос; и я рада, что есть с кем поболтать, хотя ты, наверно, немножко сумасшедший. Должно быть, это луна на тебя действует, что ты так глупо разговариваешь сам с собой.

Цезарь. Как? Ты слышала? Я возносил мольбы великому Сфинксу.

Клеопатра. Да это вовсе не великий Сфинкс.

Цезарь *(в крайнем огорчении смотрит на истукана)*. Что?

Клеопатра. Это милый, малюсенький, крохотный Сфинксик. Что ты! Великий Сфинкс — он до того большой, что у него целый храм стоит между лапами. А это мой дорогой Сфинксик. А скажи, как ты думаешь, у римлян есть такие колдуны, которые могут нас колдовством унести отсюда?

Цезарь. Что? Неужели ты боишься римлян?

Клеопатра *(совершенно серьезно)*. Ох, они нас съедят, если только поймают. Они — варвары. Их вождя зовут Юлий Цезарь. У него отец — Тигр, а мать — Пылающая Гора. А нос у него, как хобот у слона.

Цезарь невольно трогает себя за нос.

У них у всех длинные носы, клыки слоновьи и маленькие хвостики. И семь рук, и по сотне стрел в каждой; а едят они человечину.

Цезарь. Хочешь, я покажу тебе настоящего римлянина?

Клеопатра *(испуганно)*. Нет, не пугай меня.

Цезарь. Не все ли равно, ведь это только сон...

Клеопатра *(возбужденно)*. Нет, не сон, не сон. Вот смотри. *(Вытаскивает шпильку из волос и колет его несколько раз в руку.)*

Цезарь. Ай! Перестань! *(Гневно.)* Как ты смеешь!

Клеопатра *(оробев)*. Ты ведь говорил, что ты спишь. *(Чуть не плача.)* Я только хотела доказать тебе...

Цезарь *(ласково)*. Ну, полно, полно, не плачь. Царицам нельзя плакать. *(Потирает уколотую руку и удивляется совершенно реальному ощущению боли.)* Что это, правда, наяву? *(Ударяет рукой по истукану, чтобы проверить*

себя. И ощущение оказывается настолько реальным, что он сбит с толку и растерянно бормочет.) Да я... *(В совершенном ужасе.)* Нет, немыслимо. Безумие, безумие! *(Вне себя.)* Скорее в лагерь, в лагерь! *(Вскакивает и собирается спрыгнуть на землю.)*

Клеопатра *(в страхе цепляется за него и не пускает)*. Нет, не оставляй меня! Нет, нет, нет, не уходи! Мне страшно, я боюсь римлян.

Цезарь *(волей-неволей убеждаясь, что он действительно не спит)*. Клеопатра, ты хорошо видишь мое лицо?

Клеопатра. Да. Оно такое белое в лунном свете.

Цезарь. Ты уверена, что это только от луны оно кажется белее лица египтянина? *(Зловеще.)* Ты не находишь, что у меня очень длинный нос?

Клеопатра *(отшатываясь от него и замирая в ужасе)*. Ой!

Цезарь. Это римский нос, Клеопатра.

Клеопатра. Ах! *(С пронзительным криком вскакивает и, юркнув за левое плечо Сфинкса, прыгает на песок и, упав на колени, вопит и взывает к Сфинксу.)* Раскуси его пополам, Сфинкс! Раскуси его пополам! Я хотела принести тебе в жертву Белого Кота – правда, я несла его тебе.

Цезарь спускается с пьедестала, трогает ее за плечо.

Ах! *(Съеживается и закрывает лицо руками.)*

Цезарь. Клеопатра, хочешь, я научу тебя, что надо сделать, чтобы Цезарь не съел тебя?

Клеопатра *(умоляюще жмется к нему)*. Ах, научи, научи. Я украду драгоценности у Фтататиты и подарю тебе. Я повелю Нилу питать твои поля дважды в год.

Цезарь. Успокойся, успокойся, малютка! Твои боги трепещут перед римлянами. Ты видишь, Сфинкс не смеет укусить меня. И если я захочу отдать тебя Юлию Цезарю, он не посмеет помешать мне.

Клеопатра *(жалобно уговаривая его)*. Нет, ты не отдашь, ты не отдашь, ты сам сказал, что не отдашь.

Цезарь. Цезарь не ест женщин.

Клеопатра *(вскакивает, оживая надеждой)*. Что?

Цезарь *(внушительно)*. Но он ест девочек *(она снова цепенеет)* и кошек. Ты глупенькая маленькая девочка, и ты родилась от черной кошки. Значит, ты и девочка и кошка.

Клеопатра *(дрожа)*. И он съест меня?

Цезарь. Да-а, если только ты не заставишь его поверить, что ты женщина.

Клеопатра. Так найди же волшебника, который сделает из меня женщину. Может быть, ты сам волшебник?

Цезарь. Возможно. Но на это потребуется много времени; а тебе в эту же ночь предстоит встретиться лицом к лицу с Цезарем во дворце твоих предков.

Клеопатра. Нет, нет! Ни за что!

Цезарь. Как бы сердце твое ни трепетало от ужаса, как бы ни был для тебя страшен Цезарь, ты должна встретить его как мужественная женщина и великая царица: он не должен видеть, что ты боишься. Если твоя рука дрогнет или голос прервется, тогда — мрак и смерть.

Клеопатра стонет.

Но если он найдет тебя достойной царствовать, он посадит тебя на трон рядом с собой и сделает тебя истинной владычицей Египта.

Клеопатра *(в отчаянии)*. Нет, он догадается, он увидит.

Цезарь *(с некоторой грустью)*. Женщины легко обманывают его. Их глаза ослепляют его. Он видит их не такими, какие они есть, а такими, какими ему хочется их видеть.

Клеопатра *(с надеждой в голосе)*. Так мы обманем его. Я надену наколку Фтататиты, и он примет меня за старуху.

Цезарь. Если ты сделаешь это — знай, он проглотит тебя одним глотком.

Клеопатра. А я сделаю ему сладкий пирог с моим волшебным опалом, а в тесте запеку семь волосков Белого Кота. И еще...

Цезарь *(прерывает ее)*. Фу, какая ты дурочка! Он съест твой сладкий пирог, да и тебя вместе с ним. *(С презрением поворачивается и отходит.)*

Клеопатра *(бежит за ним и цепляется за него)*. Ах, нет! Ну, пожалуйста, пожалуйста! Я сделаю все, что ты велишь. Я буду слушаться. Я буду твоя рабыня.

Снова из пустыни доносится мощный рев, теперь уже совсем близко. Это буцина — римский военный рог.

Цезарь. Слышишь?

Клеопатра *(дрожа)*. Что такое?

Цезарь. Это голос Цезаря.

Клеопатра *(тащит его за руку)*. Так давай убежим. Идем, идем скорей.

Цезарь. Со мной тебе ничего не грозит, пока ты не взойдешь на трон, дабы принять Цезаря. Веди меня туда.

Клеопатра *(радуясь, что можно уйти)*. Хорошо, хорошо.

Снова слышен рог.

Идем же скорей, идем, идем! Боги гневаются. Слышишь, как дрожит земля?

Цезарь. Это поступь легионов Цезаря.

Клеопатра *(тащит его за собой)*. Вот сюда, да скорей же! И давай посмотрим, нет ли где здесь Белого Кота. Это он превратил тебя в римлянина.

Цезарь. Неисправима, совершенно неисправима! Ну, идем! *(Следует за ней.)*

Рев буцины становится все громче, по мере того как они, крадучись, пробираются по пустыне. Лунный свет гаснет, горизонт снова зияет черной мглой, в которой причудливо выступает громада Сфинкса. Небо исчезает в беспросветной мгле. Затем в тусклом свете отдаленного факела взору открываются высокие египетские колонны, поддерживающие свод величественной галереи. В глубине ее раб-нубиец несет факел. Цезарь следует за Клеопатрой, они идут за рабом. Проходя колоннадой, Цезарь с любопытством рассматривает незнакомую архитектуру и выступающие из мрака между колоннами, в свете бегущего факела, фигуры крылатых людей с соколиными головами и громадных черных мраморных котов, которые вдруг словно выскакивают из засады и так же внезапно прячутся. Галерея поворачивает за угол и образует просторный неф, где Цезарь видит направо от себя трон и за ним дверь. По обе стороны трона возвышаются стройные колонны, и на каждой из них светильник.

Цезарь. Что это такое?

Клеопатра. Здесь я сижу на троне, когда мне позволяют надевать мою корону и порфиру.

Раб поднимает факел и освещает трон.

Цезарь. Прикажи рабу зажечь светильники.

Клеопатра *(смущенно)*. Ты думаешь, можно?

Цезарь. Конечно. Ты — царица.

Она не решается.

Ну, что же ты?

Клеопатра *(несмело, рабу)*. Зажги все светильники.

Фтататита *(внезапно появляется позади трона)*. Остановись, раб!

Раб останавливается. Фтататита строго обращается к Клеопатре, которая струсила, как напроказивший ребенок.

Кто это с тобой? И как ты осмелилась распорядиться зажечь светильники без моего разрешения?

Клеопатра от страха не может вымолвить ни слова.

Цезарь. Кто это?

Клеопатра. Фтататита.

Фтататита *(высокомерно)*. Главная няня цари...

Цезарь *(обрывая ее)*. Я говорю с царицей. Молчи! *(Клеопатре.)* Так-то твои слуги знают свое место? Отошли ее. А ты *(обращаясь к рабу)* делай так, как тебе приказала царица.

Раб зажигает светильники. Клеопатра колеблется, боясь Фтататиты.

Ты – царица; отошли ее.

Клеопатра *(заискивающе)*. Фтататита, милочка, пожалуйста, уйди – ну на минутку.

Цезарь. Ты не приказываешь, ты просишь. Ты не царица. Тебя съедят. Прощай. *(Делает движение, собираясь уйти.)*

Клеопатра *(хватается за него)*. Нет, нет, нет! Не оставляй меня!

Цезарь. Римлянам нечего делать с царицами, которые боятся своих рабов.

Клеопатра. Я не боюсь. Правда же, я не боюсь.

Фтататита. Посмотрим, кто здесь боится! *(Угрожающе.)* Клеопатра...

Цезарь. На колени, женщина! Или ты думаешь, и я дитя, что ты осмеливаешься шутить со мной? *(Показывает ей на пол у ног Клеопатры.)*

Фтататита, наполовину укрощенная, но вместе с тем взбешенная, медлит. Цезарь окликает нубийца.

Раб!

Нубиец подходит.

Ты сумеешь отсечь голову?

Нубиец кивает и восхищенно улыбается, показывая все зубы.

(Цезарь протягивает свой меч в ножнах рукоятью вперед нубийцу, потом поворачивается к Фтататите и снова указывает на пол.) Ты опомнилась, женщина?

Фтататита, уничтоженная, падает на колени перед Клеопатрой, которая не верит своим глазам.

Фтататита *(хрипло)*. О царица, не забудь слугу твою в день твоего величия!

Клеопатра *(вне себя от возбуждения)*. Прочь! Поди прочь! Вон отсюда!

Фтататита поднимается и с опущенной головой пятится к двери.

(Восхищенная этой покорностью, чуть не хлопает в ладоши, руки у нее дрожат. Внезапно она кричит.) Дайте мне что-нибудь, я отхлещу ее. *(Хватает с трона змеиную кожу и, размахивая ею, как бичом, бросается за Фтататитой.)*

Цезарь мгновенно, одним прыжком, оказывается около Клеопатры и удерживает ее, пока Фтататита не исчезает.

Цезарь. Вот как? Ты царапаешься, котенок?

Клеопатра *(вырываясь)*. Я хочу побить кого-нибудь. Я побью его. *(Бросается на раба.)* Вот! вот! вот!

Раб опрометью бежит по галерее и скрывается.

(Бросает змеиную кожу на ступеньки трона и, размахивая руками, кричит.) Вот теперь я настоящая царица! Настоящая царица — царица Клеопатра!

Цезарь с сомнением покачивает головой: преимущество этого превращения кажется ему сомнительным, когда он взвешивает его с точки зрения общественного блага Египта.

(Поворачивается и смотрит на Цезаря сияя, потом соскакивает с трона, подбегает к нему, вне себя от радости бросается к нему на шею и кричит.) О, как я люблю тебя за то, что ты сделал меня царицей!

Цезарь. Царицам надлежит любить только царей.

Клеопатра. Все, кого я люблю, будут у меня царями. Я тебя сделаю царем. У меня будет много молодых царей с круглыми, сильными руками. А когда они наскучат мне, я их запорю до смерти. Но ты всегда будешь моим царем. Моим милым, добрым, умным, хорошим, любимым старым царем.

Цезарь. О мои морщины, мои морщины! И мое детское сердце! Ты будешь самой опасной из побед Цезаря.

Клеопатра *(опомнившись, в ужасе)*. Цезарь! Я забыла про Цезаря! *(В смятении.)* Ты скажешь ему, что я царица? Что я настоящая царица! Послушай *(ластясь к нему)*, давай убежим и спрячемся, пока Цезарь не уйдет?

Цезарь. Если ты боишься Цезаря, ты не настоящая царица. И хотя бы ты спряталась под пирамидой, он подойдет и поднимет ее одной рукой. И тогда... *(Щелкает зубами.)*

Клеопатра *(дрожит)*. Ой!

Цезарь. Посмей только, испугайся!

Вдалеке снова раздается рев буцины. Клеопатра стонет от страха.

(Торжествующе восклицает.) Ага! Цезарь идет к трону Клеопатры. Ступай сядь на свое место. *(Берет ее за руку и ведет к трону. Она так перепугана, что не может выговорить ни слова.)* Эй, Титатота! Как ты зовешь своих рабов?

Клеопатра *(безжизненно опускается на трон, съеживается и дрожит)*. Хлопни в ладоши.

Цезарь хлопает в ладоши. Входит Фтататита.

Цезарь. Принеси одеяния царицы и ее корону. Позови служанок и обряди ее.

Клеопатра *(оживляясь и немного приходя в себя)*. Да, корону, Фтататита! Я надену корону.

Фтататита. Для кого должна царица облечься в свои царские одежды?

Цезарь. Для римского гражданина, для царя царей, Тотатита.

Клеопатра *(топая ногой)*. Как ты смеешь спрашивать? Иди и делай, что тебе приказано.

Фтататита уходит, угрюмо улыбаясь.

(Нетерпеливо, Цезарю.) Цезарь узнает, что я царица, когда увидит мою корону и одеяние, правда?

Цезарь. Нет, откуда узнает он, что ты не рабыня, надевшая царское одеяние?

Клеопатра. Ты скажешь ему.

Цезарь. Он не станет меня спрашивать. Он узнает Клеопатру по ее гордости, мужеству, ее величию и красоте.

Клеопатра смотрит на него с крайним сомнением.

Ты дрожишь?

Клеопатра *(трясясь от страха)*. Нет... я... я... *(совершенно угасшим голосом)* нет.

Фтататита и три женщины входят с царским одеянием.

Фтататита. Из всех приближенных женщин царицы остались только трое. Остальные бежали.

Они начинают одевать Клеопатру, которая подчиняется им, бледная, безжизненная.

Цезарь. Ничего, ничего. Достаточно и троих. Бедному Цезарю обычно приходится одеваться самому.

Фтататита *(презрительно)*. Царицу Египта сравнить с римским варваром! *(Клеопатре.)* Будь смелей, дитя мое! Выше голову перед этим чужеземцем.

Цезарь *(любуясь Клеопатрой, возлагает ей корону на голову)*. Ну как? Сладко ли быть царицей, Клеопатра?

Клеопатра. Не сладко.

Цезарь. Подави свой страх — и ты завоюешь Цезаря. Близко ли римляне, Тота?

Фтататита. Они на пороге, а стража разбежалась.

Женщины *(горестно стонут)*. О, горе нам, горе!

По галерее бежит нубиец.

Нубиец. Римляне в ограде! *(Одним прыжком исчезает за дверью.)*

Женщины с воплями бросаются за ним. Фтататита смотрит со злобной решимостью. Она не двигается с места. Клеопатра еле удерживается, чтобы не броситься вслед за служанками. Цезарь держит ее за руку и сурово смотрит на нее, не сводя глаз. Она стоит, как мученица, обреченная на казнь.

Цезарь. Царица должна одна встретить Цезаря. Скажи: да будет так.

Клеопатра *(белая, как полотно)*. Да будет так!

Цезарь *(отпуская ее)*. Хорошо.

Слышен шум и тяжелый шаг вооруженных воинов. Ужас Клеопатры усиливается. Рев буцины раздается совсем рядом. Его подхватывает оглушительная фанфара труб. Это свыше сил Клеопатры, она издает вопль и бросается к двери. Фтататита безжалостно останавливает ее.

Фтататита. Я вынянчила тебя. Сейчас ты сказала: «Да будет так!» И если бы даже тебе пришлось умереть, ты

должна сдержать слово царицы. *(Подводит Клеопатру к Цезарю, и он ведет ее, еле живую от страха, к трону.)*

Цезарь. Теперь, если ты дрогнешь... *(Садится на трон.)*

Клеопатра стоит на ступеньках почти без чувств, приготовившись к смерти. Римские солдаты с грохотом идут по галерее. Впереди знаменосец с римским орлом, за ним трубач с буциной — рослый воин с рогом, обвивающимся вокруг его тела; медный раструб изображает воющую волчицу. Дойдя до нефа, они с изумлением глядят на трон; потом выстраиваются перед троном, выхватывают мечи и, потрясая ими в воздухе, кричат: «Слава Цезарю!» Клеопатра оборачивается и бессмысленно смотрит на Цезаря. Внезапная истина доходит до ее сознания, и она с воплем облегчения, рыдая, падает в его объятия.

Александрия. Зал в нижнем этаже дворца, переходящий в лоджию, куда ведут две ступени. Через арки лоджии видно, как сверкают в утреннем солнце волны Средиземного моря. Высокие светлые стены покрыты фресками, представляющими процессию египетских царей, изображенных в профиль, в виде плоского орнамента; отсутствие зеркал, искусственных перспектив, мягкой мебели и тканей делает это место красивым, простым, здоровым, прохладным или, как сказал бы богатый английский фабрикант,— бедным, голым, нелепым и неуютным, ибо цивилизация Тоттенхем-Корт-Роуд по отношению к египетской цивилизации — все равно что стеклянные бусы и татуировка по отношению к цивилизации Тоттенхем-Корт-Роуд.

Юный царь Птолемей-Дионис (десятилетний мальчик), которого ведет за руку его опекун Потин, сходит со ступеней лоджии. Двор собрался на царский прием. Придворные — мужчины и женщины разных племен и разного цвета кожи, но большей частью египтяне; некоторые из них значительно светлее — жители Нижнего Египта, другие, более смуглые,— уроженцы Верхнего Египта; среди них несколько греков и евреев. В группе по правую руку Птолемея выделяется наставник Птолемея — Теодот; группу по левую руку Птолемея возглавляет Ахилл — военачальник Птолемея. Теодот — маленький, высохший старичок, с таким же высохшим и сморщенным лицом, на котором, господствуя над остальными чертами, выделяется высокий, прямой лоб; он смотрит с проницательностью и глубокомыслием сороки и слушает то, что говорят другие, с придирчивой саркастичностью философа, внимающего ораторским упражнениям своих учеников. Ахилл — высокий красивый человек лет тридцати пяти, с роскошной черной бородой, курчавящейся, словно шерсть пуделя; умом не блещет, но вид имеет внушительный и не роняет своего достоинства. Потин — крепкий мужчина, примерно лет пятидесяти, евнух; пылкий, энергичный, находчивый, умом и характером не отличается, нетерпелив и не умеет владеть собой; у него пушистые волосы, похожие на мех. Царь Птолемей на вид

гораздо старше, чем английский мальчик тех же лет, но держится ребячливо, привык к тому, чтобы его водили на помочах, беспощаден и раздражителен и, подобно всем взращенным при дворе принцам, выглядит чересчур тщательно умытым, одетым и причесанным.

Царя встречают церемониальными поклонами, он сходит со ступенек к тронному креслу, которое стоит направо от него,— это единственное сиденье во всем зале. Подойдя к креслу, он растерянно поглядывает на Потина, который становится по левую его руку.

Потин. Царь Египта скажет свое слово.

Теодот *(писклявым голосом, который звучит внушительно только благодаря его самомнению)*. Внемлите слову царя!

Птолемей *(без всякого выражения; он, по-видимому, повторяет затверженный урок)*. Узнайте, все вы. Я — перворожденный сын Авлета — Певучей Флейты,— который был вашим царем. Моя сестра Береника свергла его с трона и завладела его царством, но... но... *(Заикается и смолкает.)*

Потин *(тихонько подсказывает)*. Но боги не потерпели...

Птолемей. Да, боги не потерпели, не потерпели... *(Останавливается, и совершенно убитым голосом.)* Я забыл, чего боги не потерпели...

Теодот. Пусть Потин, опекун царя, скажет слово царя.

Потин *(с трудом подавляя раздражение)*. Царь хотел сказать, что боги не потерпели, чтобы беззаконие сестры его осталось безнаказанным.

Птолемей *(поспешно)*. Да, да, дальше я помню. *(Снова начинает тем же монотонным голосом.)* И вот боги послали чужеземца Марка Антония, римского начальника всадников, через пески пустынь, и он вернул трон отцу моему. И отец мой взял сестру мою Беренику и отсек ей голову. И ныне, после кончины отца моего, другая дочь его, сестра моя Клеопатра, похитила у меня царство мое и хочет завладеть моим троном. Но боги не потерпят...

Потин предостерегающе покашливает.

Боги... боги... не потерпят...

Потин *(подсказывает)*. Не допустят...

Птолемей. Ах, да... не допустят сего беззакония, они предадут ее голову секире, как предали голову сестры ее. Но с помощью колдуньи Фтататиты она заворожила

римлянина Юлия Цезаря и заставила его поддержать ее беззаконные притязания на египетское царство. Узнайте теперь, что я не потерплю... Я не потерплю... *(Капризно, Потину.)* Чего я не потерплю?

Потин *(выведенный из себя, со всем пылом страстно негодующего политика)*. Царь не потерпит, чтобы чужеземец похитил у него трон нашего египетского царства. *(Возгласы одобрения.)* Скажи царю, Ахилл, сколько воинов и всадников у этого римлянина?

Теодот. Военачальник царя скажет слово.

Ахилл. Всего два римских легиона, о царь! Три тысячи солдат и едва ли тысяча всадников.

Двор разражается презрительным смехом, начинается оживленная болтовня; в это время в лоджии появляется римский офицер Руфий. Это рослый, сильный чернобородый человек средних лет, с маленькими светлыми глазами, решительный и грубый; у него толстые нос и щеки, но сам он весь словно выкован из железа.

Руфий *(со ступеней)*. Эй, вы там!

Смех и болтовня сразу прекращаются.

Цезарь идет.

Теодот *(с большим присутствием духа)*. Царь разрешает римскому военачальнику войти.

Цезарь в простой одежде, но в венке из дубовых листьев, прикрывающем лысину, спускается из лоджии в сопровождении своего секретаря Британа, уроженца британских островов, человека лет сорока, высокого, внушительного, уже слегка лысеющего, с густыми, спадающими вниз каштановыми усами, подстриженными так, что их концы переходят в опрятные баки. Он аккуратно одет во все синее; за поясом у него кожаная сумка, чернильница из рога и тростниковое перо. Его серьезный вид, свидетельствующий о важности предстоящего им дела, находится в очевидном несоответствии с добродушием Цезаря, который разглядывает незнакомую обстановку с откровенным любопытством, а затем оборачивается к креслу царя. Британ и Руфий располагаются возле ступеней, ведущих к лоджии.

Цезарь *(смотрит на Потина и Птолемея)*. Кто царь, мужчина или мальчик?

Потин. Я – Потин, опекун владыки моего, царя.

Цезарь *(ласково похлопывает Птолемея по плечу)*. Так это, значит, ты царь? Скучное занятие в твоем возрасте, а? *(Потину.)* Привет тебе, Потин. *(Равнодушно отворачивается и медленно идет на середину зала, оглядываясь по сторонам и рассматривая придворных, пока не доходит до Ахилла.)* А этот молодец кто такой?

Теодот. Ахилл, военачальник царя.

Цезарь *(дружески, Ахиллу)*. А, военачальник, я тоже военачальник. Но я слишком поздно начал, слишком поздно. Желаю тебе здравствовать и одержать много побед, Ахилл.

Ахилл. Как будет угодно богам, Цезарь.

Цезарь *(Теодоту)*. А ты, кажется...

Теодот. Теодот, наставник царя.

Цезарь. Ты учишь людей быть царями, Теодот. Умное занятие, ничего не скажешь. *(Отворачивается, разглядывает богов по стенам, затем снова подходит к Потину.)* А что здесь, собственно, такое?

Потин. Палата советников царской сокровищницы, Цезарь.

Цезарь. А-а, ты мне напомнил. Мне нужны деньги.

Потин. Сокровищница царя оскудела, Цезарь.

Цезарь. Да, я вижу, здесь всего одно сиденье.

Руфий *(грубо кричит)*. Дайте сюда кресло для Цезаря!

Птолемей *(застенчиво поднимается и предлагает Цезарю свое кресло)*. Цезарь...

Цезарь *(ласково)*. Нет, нет, мой мальчик. Это твое место. Сядь.

Он заставляет Птолемея сесть. Между тем Руфий, оглядываясь по сторонам, замечает в углу изображение бога Ра, которое представляет собой сидящего человека с соколиной головой. Перед этим изображением стоит бронзовый треножник размером с табуретку, на нем курится фимиам. Руфий, с находчивостью римлянина и свойственным ему равнодушием к чужеземным суевериям, быстро хватает треножник, стряхивает курения, сдувает пепел и ставит его позади Цезаря, почти посредине зала.

Руфий. Садись сюда, Цезарь.

Придворные содрогаются, раздается свистящий шепот: «Кощунство!»

Цезарь *(усаживаясь)*. Так вот, Потин, поговорим о деле. Мне очень нужны деньги.

Британ *(неодобрительно: ему не нравится такой неофициальный тон)*. Мой повелитель хочет сказать, что у Рима законный иск к Египту по обязательствам, заключенным вашим почившим царем с триумвиратом. И долг Цезаря по отношению к отчизне заставляет его требовать немедленной уплаты.

Цезарь *(учтиво)*. Ах да, я забыл. Я не представил вам моих соратников. Потин, — это Британ, мой секретарь. Островитянин, с западного края мира. От Галлии — день пути.

Британ чопорно кланяется.

А это Руфий, мой товарищ по оружию.

Руфий кивает.

Так вот, Потин, мне нужно тысячу шестьсот талантов.

Придворные ошеломлены, в толпе подымается ропот. Теодот и Ахилл безмолвно взывают друг к другу, возмущенные столь чудовищным требованием.

Потин *(в ужасе)*. Сорок миллионов сестерций! Немыслимо! В царской сокровищнице нет таких денег.

Цезарь *(ободряюще)*. Всего тысяча шестьсот талантов, Потин. Зачем считать на сестерции? Что купишь на одну сестерцию? Каравай хлеба.

Потин. А за талант можно купить породистого коня. Мы переживаем смутное время, ибо сестра царя, Клеопатра, беззаконно оспаривает его трон. Царские подати не собирались целый год.

Цезарь. Их собирают, Потин. Мои воины сегодня с утра занимаются этим.

Снова шепот и общее изумление, кое-где среди придворных сдавленные смешки.

Руфий *(резко)*. Нужно платить, Потин. Что зря разговаривать. Вы и так отделаетесь недорого.

Потин *(язвительно)*. Возможно ли, чтобы завоеватель мира, Цезарь, терял время на такие мелочи, как наши подати?

Цезарь. Друг мой, подати для завоевателя мира — самое главное дело.

Потин. Так слушай, Цезарь, сегодня же сокровища храмов и золото царской казны отдадут литейщикам монетного двора перелить на монету и уплатить выкуп на глазах у всего народа. И пусть увидит народ, как мы будем сидеть у голых стен и пить из деревянных чаш. Да падет

гнев его на твою голову, Цезарь, если ты принудишь нас к этому святотатству.

Цезарь. Не опасайся этого, Потин: народ знает, как приятно пить вино из деревянной чаши. А я за твою щедрость готов уладить ваши споры из-за трона, если хочешь. Что ты скажешь на это?

Потин. Если я скажу «нет», разве я остановлю тебя?

Руфий *(вызывающе)*. Нет.

Цезарь. Ты говоришь, что дело тянется уже целый год, Потин. Можешь ты уделить мне на это десять минут?

Потин. Ты сделаешь так, как тебе угодно, ясно.

Цезарь. Хорошо, но сначала позовите Клеопатру.

Теодот. Ее нет в Александрии, она убежала в Сирию.

Цезарь. Не думаю. *(Руфию.)* Позови Тотатиту.

Руфий *(кричит)*. Эй, Титатота!

Фтататита появляется в лоджии и надменно останавливается на ступеньках.

Фтататита. Кто произносит имя Фтататиты, главной няньки царицы?

Цезарь. Никто, кроме тебя, его произнести не может, Тота. Где твоя повелительница?

Клеопатра, которая прячется за Фтататитой, выглядывает и смеется. Цезарь встает.

Угодно царице почтить нас своим присутствием на минуту?

Клеопатра *(отталкивает Фтататиту и высокомерно становится на ее место)*. Я должна вести себя как царица?

Цезарь. Да.

Клеопатра тотчас же подбегает к трону, хватает Птолемея, стаскивает его с кресла и усаживается на его место. Фтататита опускается на ступеньки лоджии и пристально, с видом сивиллы, наблюдает эту сцену.

Птолемей *(в страшном огорчении, едва удерживаясь от слез)*. Цезарь, видишь, как она со мной обращается? И вот всегда так. Если я царь, так как же она смеет отнимать у меня все?

Клеопатра. Не будешь ты царем, нюня. Тебя съедят римляне.

Цезарь *(тронутый отчаянием мальчика)*. Подойди сюда, мой мальчик, стань около меня.

Птолемей идет к Цезарю, который снова усаживается

на свой треножник и ласково берет мальчика за руку. Клеопатра, вскочив, пожирает их ревнивым взглядом.

Клеопатра *(с пылающими щеками)*. На тебе твой трон. Не нужен он мне. *(Бежит к Птолемею, который пятится от нее.)* Иди сию же минуту и садись на свое место.

Цезарь. Иди, Птолемей. Никогда не отказывайся от трона, когда тебе его предлагают.

Руфий. Я надеюсь, Цезарь, у тебя хватит здравого смысла последовать собственному совету, когда мы вернемся в Рим.

Птолемей медленно идет к трону, далеко обходя Клеопатру, явно опасаясь ее. Она становится на его место, рядом с Цезарем.

Цезарь. Потин...

Клеопатра *(прерывая его)*. Разве ты не хочешь говорить со мной?

Цезарь. Успокойся. Открой еще раз рот без моего разрешения, и я тебя съем на месте.

Клеопатра. А я не боюсь. Царица не должна бояться. Съешь моего мужа. Посмотри, как он боится.

Цезарь *(вскакивая)*. Твоего мужа? Что ты говоришь?

Клеопатра *(показывая на Птолемея)*. Вот эту дрянь.

Оба римлянина и бритт переглядываются, пораженные.

Теодот. Цезарь, ты чужеземец, и тебе неведомы наши законы. Цари и царицы Египта не могут вступать в брак ни с кем, кто не их царской крови. Птолемей и Клеопатра — царственные супруги, ибо они брат и сестра.

Британ *(шокированный)*. Цезарь, это непристойно.

Теодот *(возмущенный)*. Что?

Цезарь *(снова овладевая собой)*. Прости его, Теодот. Он варвар и полагает, что обычаи его острова суть законы природы.

Британ. Напротив, Цезарь, это египтяне варвары, и ты напрасно поощряешь их. Я говорю, что это позор.

Цезарь. Позор или нет, мой друг, но это открывает врата миру. *(Серьезно обращается к Потину.)* Потин, выслушай мое предложение.

Руфий. Слушайте Цезаря.

Цезарь. Птолемей и Клеопатра будут царствовать в Египте вместе.

Ахилл. А как быть с младшим братом царя и младшей сестрой Клеопатры?

Руфий *(поясняя)*. У них, оказывается, есть еще один маленький Птолемей.

Цезарь. Ну что ж, маленький Птолемей может жениться на другой сестре, и мы им обоим подарим Кипр.

Потин *(нетерпеливо)*. Кому нужен Кипр?

Цезарь. Это не важно. Вы возьмете его во имя мира.

Британ *(бессознательно предвосхищая идею более поздних государственных деятелей)*. Почетного мира, Потин.

Потин *(возмущенно)*. Будь честен, Цезарь. Деньги, которые ты требуешь, — это цена нашей свободы. Возьми их и дай нам самим уладить наши дела.

Наиболее смелые из придворных *(ободренные тоном Потина и спокойствием Цезаря)*. Да, да, Египет — египтянам!

Собрание превращается в перебранку, египтяне все более и более распаляются. Цезарь все так же невозмутим, но Руфий хмурится и свирепеет, а Британ презрительно высокомерен.

Руфий *(презрительно)*. Египет — египтянам! Вы забываете, что здесь стоит римская оккупационная армия, оставленная Авлием Габинием, который посадил на трон вашего игрушечного царя.

Ахилл *(внезапно заявляя о своих правах)*. И которая ныне находится под моим началом. Я здесь римский военачальник, Цезарь!

Цезарь *(забавляясь комизмом положения)*. А также и египетский военачальник, не так ли?

Потин *(победоносно)*. Да, это так, Цезарь.

Цезарь *(Ахиллу)*. Значит, ты можешь пойти войной на египтян от имени Рима? И на римлян — на меня, если понадобится, — от имени Египта?

Ахилл. Да, это так, Цезарь.

Цезарь. А не скажешь ли ты, военачальник, на какой стороне ты находишься сейчас?

Ахилл. На стороне права и богов.

Цезарь. Гм. Сколько у тебя войска?

Ахилл. Когда я двинусь в бой, враги узнают это.

Руфий *(воинственно)*. А воины у тебя — римляне? Если нет, то не важно, сколько их у тебя, лишь бы не превышало пятьсот на десять.

Потин. Напрасно ты пытаешься запугать нас, Руфий. Цезарь терпел поражения раньше. Он может потерпеть его и теперь. Всего несколько недель тому назад Цезарь,

спасая свою жизнь, бежал от Помпея. И, может быть, не пройдет нескольких месяцев, он побежит от Катона и Юбы Нумидийского, царя Африканского.

Ахилл *(с угрозой, подхватывая речь Потина)*. Что ты можешь сделать с четырьмя тысячами человек?

Теодот *(пискливым голосом, подхватывая слова Ахилла)*. И без денег? Уйдите прочь!

Придворные *(яростно кричат и толпятся вокруг Цезаря)*. Идите прочь! Египет — египтянам! Убирайтесь!

Руфий жует бороду, он слишком взбешен, чтобы говорить. Цезарь сидит совершенно спокойно, точно он завтракает, а к нему пристает кошка, выпрашивая кусочек рыбы.

Клеопатра. Почему ты позволяешь им так говорить, Цезарь? Ты боишься?

Цезарь. Почему же, дорогая? Ведь то, что они говорят,— истинная правда.

Клеопатра. Но если ты уйдешь, я не буду царицей.

Цезарь. Я не уйду, пока ты не станешь царицей.

Потин. Если ты не глупец, Ахилл, возьми эту девчонку, пока она не ушла у нас из рук.

Руфий *(вызывающе)*. А почему бы заодно не прихватить и Цезаря, Ахилл?

Потин *(отвечая на вызов, словно ему пришлась по душе эта идея)*. Неплохо сказано, Руфий. Правда, почему бы и нет?

Руфий. Попробуй, Ахилл! *(Кричит.)* Эй, стража!

Лоджия немедленно заполняется воинами Цезаря; обнажив мечи, они останавливаются на ступенях и ждут приказания своего центуриона, который держит жезл в руке. Сперва египтяне встречают воинов гордыми взглядами, но затем угрюмо, нехотя возвращаются на свои места.

Британ. Вы все здесь пленники Цезаря.

Цезарь *(милостиво)*. О нет, нет! Ни в коем случае. Вы гости Цезаря, господа.

Клеопатра. А почему ты не рубишь им головы?

Цезарь. Что? Отрубить голову твоему брату?

Клеопатра. А что? Ведь он же отрубил бы мне голову, если бы представился случай? Правда, Птолемей?

Птолемей *(бледный и упрямый)*. И отрублю, когда буду большой.

Клеопатра борется в своем новообретенном величии царицы с неудержимым желанием показать язык Птолемею.

В последующей сцене она не принимает участия, но наблюдает с любопытством и изумлением; она вся дрожит от детского нетерпения; когда Цезарь встает, она садится на его треножник.

Потин. Цезарь, если ты попытаешься захватить нас...

Руфий. Он сделает это, египтяне. Будьте готовы к этому. Мы захватили дворец, побережье и Восточную пристань. Дорога к Риму открыта. И вы пойдете по ней, если такова будет воля Цезаря.

Цезарь *(любезно)*. Мне не оставалось ничего другого, Потин, надо было обеспечить отступление моим собственным воинам. Но ты свободен и можешь идти, как и все другие здесь во дворце.

Руфий *(возмущенный этим милосердием)*. Как? И предатели? И вся клика?

Цезарь *(смягчая его выражения)*. Римская оккупационная армия и все остальные, Руфий.

Потин *(вне себя)*. Да... Но... но ведь...

Цезарь. Что ты хочешь сказать, друг мой?

Потин. Ты выгоняешь нас на улицу из нашего собственного дома. И с величественным видом заявляешь нам, что мы можем идти. Это вы должны уйти.

Цезарь. Твои друзья на улице, Потин. Тебе там будет спокойней.

Потин. Это подвох. Я опекун царя. Я шагу отсюда не сделаю. Я здесь по праву. А где оно – твое право?

Цезарь. Оно в ножнах Руфия, Потин. И мне не удержать его там, если ты будешь слишком медлить.

Возмущенный ропот.

Потин *(с горечью)*. И это римская справедливость!

Теодот. Но не римская благодарность, полагаю?

Цезарь. Благодарность? Разве я в долгу перед вами за какую-нибудь услугу, господа?

Теодот. Разве жизнь Цезаря так ничтожна в его глазах, что он забыл, как мы ее спасли?

Цезарь. Мою жизнь? И это все?

Теодот. Твою жизнь, твои лавры, твое будущее.

Потин. Он говорит правду. Я призову свидетеля, и он докажет, что, если бы не мы, римская оккупационная армия под предводительством величайшего воина мира держала бы ныне жизнь Цезаря в своих руках. *(Кричит в лоджию.)* Сюда, Луций Септимий!

Цезарь вздрагивает, потрясенный.

Если ты слышишь меня, приди сюда и подтверди мои слова Цезарю.

Цезарь *(содрогаясь)*. Нет, нет.

Теодот. Да, говорю я! Пусть военный трибун принесет свидетельство.

Луций Септимий, подтянутый, чисто выбритый, выхоленный, атлетического сложения человек лет сорока, в одежде римского воина, с правильными чертами лица, решительным ртом и тонким красивым римским носом, проходит через лоджию и становится перед Цезарем, который на миг закрывает лицо плащом, но затем, овладев собой, откидывает плащ и с достоинством смотрит на трибуна.

Потин. Говори, Луций Септимий. Цезарь явился сюда, преследуя своего врага. Разве мы дали убежище его врагу?

Луций. Едва нога Помпея ступила на египетский берег, голова его упала от меча моего.

Теодот *(со змеиной радостью)*. На глазах его жены и ребенка! Запомни это, Цезарь. Они видели это с корабля, с которого он только что сошел. Мы дали тебе полной мерой насладиться местью.

Цезарь *(в ужасе)*. Местью?

Потин. Едва лишь галера твоя показалась у гавани, нашим первым даром тебе была голова твоего соперника, того, что оспаривал у тебя владычество над миром. Подтверди это, Луций. Разве это не так?

Луций. Вот этой рукой, которая убила Помпея, я положил его голову к ногам Цезаря.

Цезарь. Убийца! Так же убил бы ты Цезаря, если бы Помпей победил при Фарсале.

Луций. Горе побежденному, Цезарь. Когда я служил Помпею, я убивал людей не менее достойных, чем он, только потому, что он победил их. Пришла и его очередь.

Теодот *(льстиво)*. Это дело не твоих рук Цезарь, а наших; вернее, моих. Ибо это было сделано по моему совету. Благодаря нам ты сохранил славу милосердного и насладился местью.

Цезарь. Месть! месть! О, если бы я мог унизиться до мести, к чему бы только не принудил я вас в возмездие за кровь этого человека.

Они отшатываются, смятенные и пораженные.

Он был моим зятем, моим старым товарищем. В течение

двадцати лет он был владыкой великого Рима, в течение тридцати лет победа следовала за ним. Разве я, римлянин, не разделял его славы? Или судьба, которая заставила нас биться за владычество над миром, это дело наших рук? Кто я – Юлий Цезарь или волк, что вы бросаете мне седую голову старого воина, венчанного лаврами победителя, могущественного римлянина, предательски убитого этим бессердечным негодяем? И еще требуете от меня благодарности! *(Луцию Септимию.)* Уйди, ты внушаешь мне ужас!

Луций *(холодно и безбоязненно)*. Ха! Мало ли отрубленных голов видел Цезарь! И отрубленных правых рук, не так ли? Тысячи их были в Галлии, после того как ты победил Верцингеторикса. Пощадил ли ты их при всем твоем милосердии? Это ли была не месть?

Цезарь. Нет, клянусь богами! О, если бы это было так! Месть – это по крайней мере нечто человеческое. Нет, говорю я. Эти отрубленные правые руки и храбрый Верцингеторикс, гнусно удушенный в подземельях Капитолия, были жертвами *(содрогаясь, с горькой иронией)* мудрой строгости, необходимой мерой защиты общества; долг государственного мужа – безумье и бредни, в десять раз более кровавые, нежели честная месть. О, каким я был глупцом! Подумать только, что жизнь людей должна быть игрушкой в руках подобных глупцов! *(Смиренно.)* Прости меня, Луций Септимий. Как убийце Верцингеторикса упрекать убийцу Помпея? Можешь идти с остальными. Или оставайся, если хочешь, я найду тебе место у себя.

Луций. Судьба против тебя, Цезарь. Я ухожу. *(Поворачивается и идет через лоджию.)*

Руфий *(вне себя, видя, как ускользает его добыча)*. Значит, он республиканец!

Луций *(оборачивается на ступенях лоджии, вызывающе)*. А ты кто?

Руфий. Цезарианец, как и все солдаты Цезаря.

Цезарь *(учтиво)*. Поверь мне, Луций, Цезарь не цезарианец. Будь Рим истинной республикой, Цезарь был бы первым из республиканцев. Но ты сделал выбор. Прощай.

Луций. Прощай. Идем, Ахилл, пока еще не поздно.

Цезарь, видя, что Руфий не владеет собой, кладет ему руку на плечо и отводит в сторону, подальше от искушения. Британ идет за ним, держась по правую руку Цезаря. Таким образом, все трое оказываются совсем близко от

Ахилла, который надменно отворачивается и переходит на другую сторону, к Теодоту. Луций Септимий проходит между рядами воинов, выстроившихся в лоджии; Потин, Теодот и Ахилл следуют за ним в сопровождении придворных, которые весьма опасливо поглядывают на воинов; сомкнув ряды, воины уходят вслед за ними, довольно бесцеремонно подгоняя их. Царь остался один на своем троне, жалкий, упрямый, лицо у него передергивается и руки дрожат. Во время всей этой сцены Руфий свирепо ворчит.

Руфий *(глядя на уходящего Луция)*. Ты думаешь, он бы отпустил нас, если бы наши головы были в его руках?

Цезарь. Как смею я думать, что он поступил бы более низко, чем я?

Руфий. Ха!

Цезарь. Если бы я во всем следовал Луцию Септимию, Руфий, и, уподобившись ему, перестал быть Цезарем, разве ты остался бы со мной?

Британ. Цезарь, ты поступаешь неразумно. Твой долг перед Римом — лишить его врагов возможности причинять зло.

Цезарь, которого чрезвычайно забавляют моралистические увертки его деловитого британского секретаря, снисходительно улыбается.

Руфий. Что с ним спорить, Британ? Не трать понапрасну слов. Запомни одно, Цезарь: тебе хорошо быть милосердным, но каково твоим воинам? Ведь им завтра же придется драться с людьми, которых ты вчера пощадил! Ты можешь приказывать все, что тебе угодно, но я говорю, что твоя следующая победа будет резней из-за твоего милосердия. Я во всяком случае не буду брать пленных. Я буду убивать врагов тут же, на поле битвы, а потом можешь проповедовать милосердие, сколько хочешь. Мне уже не придется сражаться с ними. А теперь позволь, я посмотрю за тем, чтобы они убрались подальше. *(Поворачивается и хочет уйти.)*

Цезарь *(оглядывается и видит Птолемея)*. Как? Они оставили ребенка одного? Какой стыд!

Руфий *(берет Птолемея за руку и заставляет его встать)*. Идемте, ваше величество.

Птолемей *(вырывая руку у Руфия, Цезарю)*. Он хочет выгнать меня из моего дворца?

Руфий *(мрачно)*. Можешь оставаться, если хочешь.

Цезарь *(ласково)*. Иди, мой мальчик. Я не хочу тебе зла.

Но среди твоих друзей ты будешь в большей безопасности. Здесь ты в пасти льва.

Птолемей *(уходя)*. Я боюсь не льва, а *(глядит на Руфия)* шакала. *(Уходит через лоджию.)*

Цезарь *(одобрительно смеется)*. Храбрый мальчуган!

Клеопатра *(завидуя, что Цезарь похвалил брата, кричит вслед Птолемею)*. Глупый щенок! Ты думаешь, это очень умно?

Цезарь. Британ! Проводи царя. Сдай его на руки этому самому, как его, Потину.

Британ идет за Птолемеем.

Руфий *(указывая на Клеопатру)*. А эта девчонка? С ней что делать? Ну, впрочем, полагаю, это можно предоставить тебе. *(Уходит через лоджию.)*

Клеопатра *(вспыхнув, поворачивается к Цезарю)*. Ты хочешь, чтобы и я ушла с остальными?

Цезарь *(несколько озадаченный, со вздохом идет к трону Птолемея, между тем как Клеопатра, вся красная, сжав кулаки, ждет ответа)*. Ты можешь поступить, как тебе нравится, Клеопатра.

Клеопатра. Так, значит, тебе все равно, останусь я или нет?

Цезарь *(улыбаясь)*. Ну конечно, мне больше хотелось бы, чтобы ты осталась.

Клеопатра. Больше? Гораздо больше?

Цезарь *(кивает)*. Больше. Гораздо больше.

Клеопатра. Тогда я согласна остаться. Потому что ты меня просишь. Но я этого не хочу. Запомни это.

Цезарь. Само собой разумеется. *(Кричит.)* Тотатита!

Фтататита поднимает на него угрюмый взгляд, но не двигается с места.

Клеопатра *(фыркает)*. Ее зовут не Тотатита, а Фтататита. *(Зовет.)* Фтататита!

Фтататита поднимается и идет к Клеопатре.

Цезарь *(запинаясь)*. Тфатафита простит неверный язык римлянина. Тота! Престольный город царицы будет в Александрии. Найми женщин, чтобы они прислуживали ей, и сделай все, что надо.

Фтататита. Я буду правительницей царского дома?

Клеопатра *(резко)*. Нет, я правительница царского дома! Иди и делай, что тебе приказывают, а то я сегодня же брошу тебя в Нил, чтоб отравить бедняжек крокодилов.

Цезарь *(возмущенный)*. Нет, нет!

Клеопатра. Нет да! Нет да! Ты слишком чувствителен, Цезарь. Но ты умный, и если ты будешь делать все, как я тебе говорю, ты скоро научишься править.

Цезарь, совершенно остолбенев от этой дерзости, поворачивается на сиденье и смотрит на нее, не говоря ни слова. Фтататита мрачно улыбается, показывая великолепный ряд зубов, и уходит, оставляя их вдвоем.

Цезарь. Клеопатра, я и впрямь думаю, что мне придется в конце концов съесть тебя.

Клеопатра *(опускается рядом с ним на колени и смотрит на него с жадным вниманием, наполовину искренним, наполовину притворным, желая показать, какая она стала умная)*. Ты теперь не должен со мной так говорить, точно я маленькая.

Цезарь. С тех пор как Сфинкс познакомил нас вчера ночью, ты выросла. И ты уж думаешь, что знаешь больше, чем я?

Клеопатра *(приспыженная, спешит оправдаться)*. Нет. Это было бы очень глупо с моей стороны, конечно, я понимаю. Но только... *(Внезапно.)* Ты сердишься на меня?

Цезарь. Нет.

Клеопатра *(не совсем веря ему)*. Тогда о чем же ты так задумался?

Цезарь *(поднимается)*. Мне надо идти работать, Клеопатра.

Клеопатра *(отшатывается)*. Работать? *(Оскорбленная.)* Тебе надоело разговаривать со мной, и ты это придумал, чтобы отделаться от меня.

Цезарь *(снова садится, успокаивая ее)*. Ну хорошо, хорошо. Еще минутку, а потом — за работу.

Клеопатра. Работа? Какой вздор! Не забывай, что ты теперь царь. Я тебя сделала царем. Цари не работают.

Цезарь. Ах, вот что! Кто тебя научил этому, котенок?

Клеопатра. Мой отец был царь Египта. Он никогда не работал. А он был великий царь, он отрубил голову моей сестре, когда она восстала против него и захватила его трон.

Цезарь. Так. А как же он получил свой трон обратно?

Клеопатра *(горячо, глаза у нее загораются)*. Я сейчас тебе расскажу. Прекрасный юноша с круглыми сильными руками пришел сюда через пустыни со множеством всадников. И он убил мужа моей сестры и вернул отцу его трон. *(Грустно.)* Мне было тогда только двенадцать лет.

Ах, мне бы хотелось, чтобы он пришел теперь, когда я царица. Я бы сделала его своим мужем.

Цезарь. Что ж, это можно будет как-нибудь устроить. Ибо ведь я послал сюда этого прекрасного молодого человека на помощь твоему отцу.

Клеопатра *(замирая от восторга)*. Так ты знаешь его?

Цезарь *(кивая)*. Знаю.

Клеопатра. И он пришел с тобою?

Цезарь отрицательно качает головой.

(Страшно огорчена.) Ах, как мне хочется, чтобы он пришел! О, если бы он только пришел! Только бы мне быть чуть-чуть постарше, чтобы он не считал меня глупым котенком, как ты. Но, может быть, это потому, что ты старый? Ведь он на много, много-много лет моложе тебя, правда?

Цезарь *(словно давясь пилюлей)*. Да, несколько моложе.

Клеопатра. А он согласится стать моим мужем, если я предложу ему? Как ты думаешь?

Цезарь. Весьма вероятно.

Клеопатра. Только мне не хочется просить. А ты не можешь его уговорить, чтобы он попросил меня и чтобы он не знал, что я этого хочу?

Цезарь *(тронутый ее невинностью и полным непониманием характера этого прекрасного молодого человека)*. Бедное дитя!

Клеопатра. Почему ты так говоришь, будто жалеешь меня? Может быть, он любит кого-нибудь другого?

Цезарь. Опасаюсь, что да.

Клеопатра *(глотая слезы)*. Тогда, значит, я буду не первая, кого он полюбит?

Цезарь. Не совсем первая. Он пользуется большим успехом у женщин.

Клеопатра. Ах, мне так хотелось бы быть первой! Но если он полюбит меня, я заставлю его убить всех остальных. Скажи мне, он все так же прекрасен? И его круглые сильные руки все так же сверкают на солнце, словно мрамор?

Цезарь. Он прекрасно сохранился, особенно если принять во внимание, сколько он ест и пьет.

Клеопатра. Нет, ты не должен говорить о нем такие грубые, низкие вещи! Потому что я люблю его. Он бог.

Цезарь. Он великий начальник всадников и быстрее в беге, чем любой из римлян!

Клеопатра. Как его настоящее имя?

Цезарь *(недоуменно)*. Настоящее?

Клеопатра. Да, я всегда называла его Гор. Потому что Гор — самый прекрасный из всех наших богов. Но мне хочется знать его настоящее имя.

Цезарь. Его зовут Марк Антоний.

Клеопатра *(мелодично)*. Марк Антоний... Марк Антоний... Марк Антоний... Какое прекрасное имя! *(Бросается обнимать Цезаря.)* Ах, как я люблю тебя за то, что ты послал его на помощь отцу! Ты очень любил моего отца?

Цезарь. Нет, детка. Но твой отец, как ты сама говоришь, никогда не работал. А я всегда работал. Так вот, когда он потерял свою корону, ему пришлось пообещать мне шестнадцать тысяч талантов за то, чтобы я вернул ему ее.

Клеопатра. А он тебе заплатил?

Цезарь. Не все.

Клеопатра. Он правильно поступил. Потому что это уж слишком много. Весь мир не стоит шестнадцати тысяч талантов.

Цезарь. Возможно, что это и так, Клеопатра. Так вот, те египтяне, которые работают, заплатили мне за это как раз столько, сколько он мог вытянуть из них. Остальное еще не уплачено. Но, так как похоже, что мне уже не видать этих денег, надо снова приниматься за работу. А ты пойди погуляй немножко и пришли ко мне моего секретаря.

Клеопатра *(ласкаясь)*. Нет, я хочу остаться с тобой, а ты мне расскажи про Марка Антония.

Цезарь. Если я не примусь за работу, то Потин и все прочие отрежут нас от пристани, и дорога в Рим будет закрыта.

Клеопатра. Мне все равно. Я не хочу, чтобы ты уезжал в Рим.

Цезарь. Но ведь ты хочешь, чтобы оттуда приехал Марк Антоний.

Клеопатра *(вскакивая)*. О да, да, да! Я забыла! Иди скорей, принимайся за работу, Цезарь. И смотри, чтобы путь с моря был открыт для моего Марка Антония. *(Бежит через лоджию, посылая воздушный поцелуй Марку Антонию через море.)*

Цезарь *(поспешно идет на середину зала, к лестнице лоджии)*. Эй, Британ! *(Сталкивается на верхней ступени с раненым солдатом.)* Что случилось?

Солдат *(показывая на свою перевязанную голову)*. Вот, Цезарь. А два моих товарища убиты на рыночной площади.

Цезарь *(спокойно, но озабоченно)*. Так. Как же это случилось?

Солдат. К Александрии подошла армия, которая называет себя римской армией.

Цезарь. Римская оккупационная армия?

Солдат. Да, под началом какого-то Ахилла.

Цезарь. И что же?

Солдат. Жители восстали против нас, как только эта армия вошла в город. Я был с двумя другими на рыночной площади, когда разнесся слух об этом. Они бросились на нас. Мне удалось пробиться, и вот я здесь.

Цезарь. Хорошо. Рад, что ты жив.

В лоджию поспешно входит Руфий, проходит мимо солдата и смотрит через арку на набережную внизу.

Руфий, нас осаждают.

Руфий. Как? Ужс?

Цезарь. Сейчас или завтра, какое это имеет значение? Этого нельзя было избежать.

Вбегает Британ.

Британ. Цезарь!

Цезарь *(перебивая его)*. Да, я знаю.

Руфий и Британ спускаются из лоджии по обе стороны Цезаря, который задерживается минуту на ступенях, разговаривая с солдатом.

Передай приказ, друг, чтобы наши вышли на набережную и были наготове возле галер. Пусть позаботятся о твоей ране. Ступай.

Солдат поспешно уходит.

(Сходит в зал, останавливается между Руфием и Британом.) В Западной гавани стоят несколько наших кораблей, сожги их.

Руфий *(смотрит на него непонимающим взглядом)*. Сжечь?

Цезарь. Возьми все лодки, что стоят в Восточной гавани, и захвати Фарос, остров с маяком. Оставь половину наших людей охранять часть берега и набережную позади дворца — то есть наш путь домой.

Руфий *(с крайним неодобрением)*. Значит, отдаем город?

Цезарь. Мы не брали его, Руфий. Мы удерживаем этот дворец и... какое это там здание рядом?

Руфий. Театр.

Цезарь. Так вот и его тоже. Оно господствует над побережьем. А остальное: Египет — египтянам!

Руфий. Хорошо. Тебе лучше знать, я полагаю. Это все?

Цезарь. Все. А те корабли еще не горят?

Руфий. Будь покоен, я не стану терять времени. *(Убегает.)*

Британ. Цезарь, Потин настаивает на разговоре с тобой. Мне кажется, его следует проучить. Он держит себя крайне вызывающе.

Цезарь. Где он?

Британ. Ждет снаружи.

Цезарь. Эй, там, пропустите Потина!

Потин появляется в лоджии, очень высокомерно проходит в зал и останавливается слева от Цезаря.

Цезарь. Что скажет Потин?

Потин. Я принес тебе наши условия, Цезарь.

Цезарь. Условия? Дверь была открыта: тебе следовало уйти до того, как вы объявили войну. Теперь ты мой пленник. *(Подходит к креслу и развязывает тогу.)*

Потин *(презрительно)*. Я твой пленник? Да знаешь ли ты, что ты в Александрии и что царь Птолемей с армией, которая во сто раз превосходит твое маленькое войско, держит Александрию в своих руках?

Цезарь *(невозмутимо снимает с себя тогу, бросает ее на кресло)*. Ну что ж, друг, уйди, если сумеешь. И скажи твоим друзьям, чтобы они больше не убивали римлян на рыночной площади, а то мои солдаты, которые не обладают моим прославленным великодушием, пожалуй убьют тебя. Британ, предупреди стражу и дай мои доспехи.

Британ выбегает. Руфий возвращается.

Ну что?

Руфий *(показывает через арку лоджии на клубы дыма, поднимающиеся над гаванью)*. Смотри!

Потин с любопытством подбегает к ступенькам и выглядывает.

Цезарь. Как? Уже пылают? Невероятно!

Руфий. Да, пять добрых галер, и при каждой барка, груженная маслом. Но это не я. Египтяне избавили меня от хлопот. Они захватили Западную пристань.

Цезарь *(с беспокойством)*. А Восточная гавань, маяк, Руфий?

Руфий *(внезапно разражаясь бешеной руганью, сбегает к Це-*

зарю и накидывается на него). Да разве я могу в пять минут погрузить легион на суда? Первая когорта уже на берегу. Больше сделать невозможно. Если тебе нужно скорей, пойди и делай сам.

Цезарь *(успокаивает его).* Ну хорошо, хорошо! Терпение, терпение, Руфий.

Руфий. Терпение! Кому здесь не терпится, мне или тебе? Разве я был бы здесь, если бы не мог наблюдать за ними через арку?

Цезарь. Прости меня, Руфий, и *(нетерпеливо)* поторопи их как только можно...

Его прерывает отчаянный старческий вопль. Этот вопль быстро приближается, и в лоджию врывается Теодот, который рвет на себе волосы и издает горестные душераздирающие возгласы. Руфий отступает, глядя на него в недоумении и удивляясь его безумию. Потин оборачивается и прислушивается.

Теодот *(на ступенях, потрясая руками).* Ужас неслыханный! Горе нам, горе! Помогите!

Руфий. Что такое?

Цезарь *(нахмурившись).* Кого убили?

Теодот. Убили? Да это хуже, чем гибель десяти тысяч человек! Утрата, непоправимая утрата для всего человечества!

Руфий. Что случилось?

Теодот *(бросаясь к нему).* Огонь перебросился с ваших кораблей. Гибнет величайшее из семи чудес мира! Горит Александрийская библиотека!

Руфий. Фу-у! *(Совершенно успокоенный, поднимается в лоджию и следит за посадкой войск на берегу.)*

Цезарь. Это все?

Теодот *(не верит своим ушам).* Все? Цезарь, потомство сохранит о тебе память как о варваре-солдате, который был так невежествен, что не знал, какова цена книгам.

Цезарь. Теодот, я сам писатель. И я скажу тебе: пусть лучше египтяне живут, а не отрешаются от жизни, зарывшись в книги.

Теодот *(падая на колени, с фанатизмом истинного книжника, со страстью педанта).* Цезарь! Десять поколений сменятся одно другим, и за все это время однажды рождается бессмертная книга.

Цезарь *(непреклонно).* Если она не льстит человечеству, ее сжигает палач.

Теодот. Если не вмешается история, смерть положит тебя рядом с последним из твоих солдат.

Цезарь. Смерть всегда так делает. Я не прошу лучшей могилы.

Теодот. Но ведь это горит память человечества!

Цезарь. Позорная память! Пусть горит.

Теодот *(вне себя)*. Ты готов разрушить прошлое?

Цезарь. Да. И построю будущее на его развалинах.

Теодот в отчаянии бьет себя кулаком по голове.

Но послушай, Теодот, наставник царей! Ты, оценивший голову Помпея не дороже, чем пастух ценит луковицу, вот ты теперь стоишь передо мной на коленях, и слезы льются из твоих старых глаз, и ты умоляешь меня пощадить несколько твоих овечьих кож, исцарапанных знаками заблуждений! Я не могу сейчас уделить тебе ни одного человека, ни одного ведра воды; но ты можешь свободно уйти из дворца. Иди, ступай к Ахиллу и проси у него его легионы, чтобы потушить огонь. *(Подталкивает его к ступеням и выпроваживает его.)*

Потин *(многозначительно)*. Ты понимаешь, Теодот? Я остаюсь пленником.

Теодот. Пленником?

Цезарь. И ты будешь тратить время на разговоры, в то время как горит память человечества? *(Кричит из лоджии.)* Эй, там! Пропустите Теодота! *(Теодоту.)* Ну, ступай!

Теодот *(Потину)*. Я должен идти спасать библиотеку. *(Поспешно уходит.)*

Цезарь. Проводи его до ворот, Потин. Скажи ему, пусть он внушит вашим людям, чтобы они, для твоей безопасности, не убивали больше моих людей.

Потин. Моя жизнь дорого обойдется тебе, Цезарь, если ты захочешь отнять ее. *(Идет вслед за Теодотом.)*

Руфий, поглощенный наблюдением за посадкой, не видит, что оба египтянина уходят.

Руфий *(кричит из лоджии на берег)*. Все готово?

Центурион *(снизу)*. Готово! Мы ждем Цезаря.

Цезарь. Скажи им, канальям, что Цезарь идет. *(Кричит.)* Британник! *(Это пышное производное от имени его секретаря — одна из обычных шуток Цезаря. Впоследствии это вполне серьезно и официально означало бы — завоеватель Британии.)*

Руфий *(кричит вниз)*. Отваливай все, кроме баркаса! Становись на посадку, стража Цезаря! *(Возвращается из лоджии*

в зал.) А где ж египтяне? Опять милосердие? Ты отпустил их?

Цезарь *(посмеиваясь)*. Я отпустил Теодота спасать библиотеку. Мы должны уважать литературу, Руфий.

Руфий *(в бешенстве)*. Да падет это безумие на голову безумца! Я думаю, что если бы ты мог вернуть к жизни всех перебитых в Испании, Галлии и Фессалии, ты бы сделал это, чтоб нам опять с ними драться и драться.

Цезарь. Ты думаешь, боги не разрушили бы вселенной, если бы их единственной заботой было сохранить мир на ближайший год? *(Руфий, потеряв терпение, с раздражением отворачивается. Цезарь внезапно хватает его за рукав и шепчет лукаво ему на ухо.)* Кроме того, каждый пленный египтянин — это два римских солдата, которые должны стеречь его. Ясно?

Руфий. А! Я должен был догадаться, что за этими высокими разговорами скрываются какие-то лисьи хитрости. *(Отходит от Цезаря, раздраженно пожимая плечами, и идет в лоджию посмотреть на погрузку войск, затем уходит.)*

Цезарь. Что же это Британ спит? Я послал его за моими доспехами час тому назад. *(Кричит.)* Британник! Эй, ты, британский островитянин! Британник!

Клеопатра вбегает через лоджию с мечом и шлемом Цезаря, которые она выхватила у Британа. Тот следует за ней с латами и поножами. Они подходят — она слева, Британ справа.

Клеопатра. Я буду облачать тебя, Цезарь. Садись.

Цезарь повинуется.

Какие красивые эти римские шлемы! *(Снимает с его головы венок.)* Ах! *(Покатывается с хохоту.)*

Цезарь. Что ты смеешься?

Клеопатра. У тебя — лысина! *(Она не договаривает и снова разражается хохотом.)*

Цезарь *(почти рассердившись)*. Клеопатра! *(Встает, чтобы Британ мог надеть на него латы.)*

Клеопатра. Так вот зачем ты носишь венок! Чтобы ее не было видно.

Британ. Замолчи, египтянка, это лавры победителя. *(Затягивает латы.)*

Клеопатра. Сам молчи, островитянин! *(Цезарю.)* Ты должен втирать в голову крепкий сахарный настой. Они будут расти.

Цезарь *(с кислой миной)*. Клеопатра, тебе приятно, когда тебе напоминают, что ты очень молода?

Клеопатра *(надувшись)*. Нет.

Цезарь *(снова садится и подставляет ногу Британу, который надевает ему поножи)*. Ну, а мне не нравится, когда мне напоминают, что я не молод. Хочешь, я отдам тебе десять моих лишних лет? Тебе будет двадцать шесть, а мне только... ну не важно. Согласна?

Клеопатра. Согласна. Двадцать шесть, запомни. *(Надевает на него шлем.)* Ах, как красиво! Тебе в нем никак не больше пятидесяти.

Британ *(строго смотрит на нее)*. Ты не должна так говорить с Цезарем.

Клеопатра. А правда, что, когда Цезарь поймал тебя там, на твоем острове, ты был весь-весь выкрашен синей краской?

Британ. Синий цвет — это цвет бриттов высокого рождения. На войне мы окрашиваем наши тела в синий цвет. Наши враги могут снять с нас одежду, отнять нашу жизнь, но они не могут отнять у нас нашу респектабельность. *(Поднимается с колен.)*

Клеопатра *(держа в руках меч Цезаря)*. Дай я надену его на тебя. Теперь ты прямо замечательный! А в Риме есть твои статуи?

Цезарь. Да. Немало.

Клеопатра. Ты должен послать за одной и подарить мне.

Руфий *(возвращается в лоджию в страшном нетерпении)*. Ну, Цезарь, наговорился ты? Как только ты вступишь на борт, задержки не будет. Галеры наперегонки полетят к маяку.

Цезарь *(вытаскивая меч и пробуя лезвие)*. Хорошо ли он наточен, Британник? Под Фарсалой он был туп, как втулка от бочки.

Британ. Рассечет волос египетский. Я точил его сам.

Клеопатра *(в внезапном страхе бросается на шею Цезарю, обнимает его.)* Нет, нет! Неужели ты в самом деле идешь затем, чтобы тебя убили?

Цезарь. Нет, Клеопатра, ни один человек не идет в бой затем, чтобы его убили.

Клеопатра. А их убивают. Муж сестры моей был убит в бою! Ты не должен уходить. Пусть он идет. *(Показывает на Руфия.)*

Все смеются над ней.

Пожалуйста, пожалуйста, не уходи! Что же будет со мной, если ты больше не вернешься?

Цезарь *(внушительно)*. Ты боишься?

Клеопатра *(съежившись)*. Нет.

Цезарь *(спокойно и властно)*. Иди на балкон, и ты увидишь, как мы возьмем Фарос. Тебе следует приучаться смотреть на бой. Иди!

Она идет, поникшая, и смотрит с балкона.

Вот и хорошо. Ну, Руфий, марш!

Клеопатра *(хлопая в ладоши)*. А вот ты и не сможешь уйти, Цезарь!

Цезарь. Что там еще?

Клеопатра. Они осушают гавань, они сейчас вычерпают оттуда всю воду ведрами. Сколько солдат! Вон там. *(Показывает налево.)*

Руфий *(поспешно выглядывает)*. Верно. Египетская армия! Усеяли всю Западную гавань, как саранча. *(Разозленный, подходит крупными шагами к Цезарю.)* Это все твое проклятое милосердие, Цезарь! Их привел Теодот.

Цезарь *(в восторге от собственной проницательности)*. Я так и полагал, Руфий. Они пришли тушить огонь. Они будут возиться с библиотекой, а мы пока захватим маяк. *(Решительно идет через лоджию в сопровождении Британа.)*

Руфий *(с отвращением)*. Опять лисьи хитрости. Эх! *(Бросается за ними.)*

Крики солдат внизу возвещают появление Цезаря.

Центурион *(внизу)*. Все на борт! Расступись! Дай дорогу!

Снова крики.

Клеопатра *(машет шарфом из арки лоджии)*. Прощай, милый Цезарь! Возвращайся невредимый! Прощай!

Набережная перед дворцом, обращенная на западную сторону Восточной гавани Александрии; отсюда открывается вид на остров Фарос, на одном конце которого, выступающем узкой косой, стоит знаменитый маяк — громадная квадратная башня из белого мрамора, сужающаяся кверху от этажа к этажу и заканчивающаяся сигнальной вышкой. Остров с материком соединен Гептастадием — это большая дамба длиной в пять миль, она примыкает к гавани с южной стороны.

Посреди набережной стоит на посту римский часовой. В руке у него пилум, он с напряженным вниманием, прикрыв левой рукой глаза, смотрит на маяк. Пилум — это толстый деревянный кол в четыре с половиной фута длиной, с железным наконечником длиною примерно в три фута. Часовой так поглощен своими наблюдениями, что не замечает, как с северной стороны набережной приближаются четверо египтян-носильщиков, которые несут тюки свернутых ковров. Впереди идут Фтататита и сицилиец Аполлодор. Аполлодор — блестящий молодой человек лет двадцати четырех, красивый, с непринужденными манерами; он одет с вычурной изысканностью — в серо-голубую с бледным пурпуром одежду с украшениями из бронзы, оксидированного серебра, нефрита и агата. Вороненое лезвие его меча, отделанного не хуже, чем средневековые кресты, блестит в прорезях пурпурных кожаных ножен с филигранным узором. Носильщики вслед за Фтататитой проходят позади часового к ступеням дворца, где они складывают свои тюки и присаживаются на корточки. Аполлодор отстает от них и останавливается, заинтересованный поведением часового.

Аполлодор *(окликая часового)*. Кто идет? Эй!

Часовой вздрагивает, круто поворачивается с пилумом наперевес; теперь видно, что это маленький, жилистый исполнительный молодой человек с несколько старообразным лицом и волосами песочного цвета.

Часовой. Что такое? Стой! Ты кто такой?

Аполлодор. Я Аполлодор, сицилиец. О чем это ты задумался? С тех пор как я провел караван через караул у театра, я прошел мимо трех часовых, и все они до того

заняты маяком, что ни один из них не окликнул меня. Это что, римская дисциплина?

Часовой. Мы сторожим здесь не сушу, а море. Цезарь только что высадился на Фаросе. *(Смотрит на Фтататиту.)* А это что такое? Что это еще за египетская посудина?

Фтататита. Усмири эту римскую собаку, Аполлодор. Скажи ему, чтобы он придержал язык в присутствии Фтататиты, царской домоправительницы.

Аполлодор. Друг мой, это знатная особа, которая пользуется покровительством Цезаря.

Часовой *(на которого это не произвело никакого впечатления, указывая на ковры)*. А это что за добро?

Аполлодор. Ковры для покоев царицы. Я выбрал их из самых лучших ковров в мире, а царица выберет лучшие из тех, что отобрал я.

Часовой. Так ты, значит, торговец коврами?

Аполлодор *(задетый)*. Друг мой, я патриций.

Часовой. Патриций! Хорош патриций, который держит лавку, вместо того чтобы носить оружие.

Аполлодор. Я не держу лавки. Я служитель в храме искусства. Я поклоняюсь красоте. Мое призвание — находить прекрасные вещи для прекрасных цариц. Мой девиз — искусство для искусства.

Часовой. Это не пароль.

Аполлодор. Это всемирный пароль.

Часовой. Я ничего не знаю насчет всемирных паролей. Или говори мне сегодняшний пароль, или проваливай назад в свою лавку.

Фтататита, возмущенная его враждебным тоном, подкрадывается шагом пантеры и становится позади часового.

Аполлодор. А если я не сделаю ни того, ни другого?

Часовой. Проткну тебя пилумом.

Аполлодор. Я готов, друг. *(Обнажает свой меч и наступает на часового с невозмутимым изяществом.)*

Фтататита *(неожиданно хватает часового сзади за руки)*. Воткни меч в глотку собаке, Аполлодор!

Рыцарственный Аполлодор, смеясь, качает головой; он отходит от часового, опускает свой меч и идет к дворцу.

Часовой *(тщетно пытаясь вырваться)*. Проклятье! Пусти меня. Гей! На помощь!

Фтататита *(поднимая его на воздух)*. Проткни этого римского гаденьша! Насади его на свой меч!

Центурион с римскими солдатами выбегают с

северной стороны набережной. Они выручают товарища и отбрасывают Фтататиту так, что она катится кубарем по земле налево от часового.

Центурион *(невзрачный человек лет пятидесяти; краткая и отрывистая речь и движения; в руках жезл из виноградной лозы)*. Что такое, что здесь творится?

Фтататита *(Аполлодору)*. Почему ты не проткнул его? У тебя было время.

Аполлодор. Центурион, я здесь по повелению царицы, ибо...

Центурион *(прерывая его)*. Царицы? Да, да. *(Часовому.)* Пропусти его. И пропускай всех этих рыночных торговцев с товарами к царице. Но берегись, если ты выпустишь из дворца хотя бы одного из тех, кого ты не пропускал туда, хотя бы самое царицу.

Часовой. Вот эта вредная старуха — она сильней троих мужчин — подговаривала купца заколоть меня.

Аполлодор. Центурион, я не купец. Я патриций и служитель искусства.

Центурион. Эта женщина твоя жена?

Аполлодор *(в ужасе)*. Нет, нет! *(Спохватившись, учтиво.)* Конечно, нельзя отрицать, что по-своему эта дама весьма замечательна, но *(внушительно)* она не жена мне.

Фтататита *(центуриону)*. Римлянин, я — Фтататита, домоправительница царицы.

Центурион. Руки прочь от наших мужчин, красотка, или я сброшу тебя в гавань, хотя бы ты была сильней десяти мужчин. *(Солдатам.)* Марш на посты! *(Уходит с солдатами.)*

Фтататита *(провожая его злобным взглядом)*. Мы еще увидим, кого больше любит Изида — служанку свою Фтататиту или эту римскую собаку!

Часовой *(Аполлодору, показывая пилумом на дворец)*. Проходи. Да держись подальше. *(Обращаясь к Фтататите.)* Подойди хоть на шаг ко мне, древняя крокодилица, и я тебе всажу вот эту штуку *(потрясает пилумом)* прямо в глотку.

Клеопатра *(из дворца)*. Фтататита! Фтататита!

Фтататита *(смотрит с возмущением наверх)*. Отойди от окна, отойди от окна, здесь мужчины!

Клеопатра. Я иду вниз.

Фтататита *(растерянно)*. Нет, нет! Что ты выдумала! О боги, боги! Аполлодор, прикажи твоим людям взять тюки. И следуйте за мной во дворец, скорей!

Аполлодор. Повинуйтесь домоправительнице царицы.

Фтататита *(нетерпеливо носильщикам, которые нагибаются поднять тюки)*. Скорей, скорей, а то она сама придет сюда.

Клеопатра выходит из дворца и бежит по набережной к Фтататите.

О, лучше бы мне не родиться!

Клеопатра *(оживленно)*. Фтататита, ты знаешь, что я придумала? Мне нужно лодку, сейчас же.

Фтататита. Лодку? Нет, и думать нечего. Аполлодор, поговори с царицей.

Аполлодор *(галантно)*. Прекрасная царица! Я — Аполлодор, сицилиец, твой слуга. Я принес тебе с базара на выбор три прекраснейших в мире персидских ковра.

Клеопатра. Мне сейчас не нужно никаких ковров. Достань лодку.

Фтататита. Что за прихоть? Кататься по морю ты можешь только в царской барке.

Аполлодор. О Фтататита! Царственность не в барке, а в самой царице. *(К Клеопатре.)* Самая жалкая посудина в гавани станет царственной, едва нога ее величества коснется борта. *(Поворачивается к гавани и кричит в море.)* Эй, лодочник. Греби ко дворцу!

Клеопатра. Аполлодор, ты достойный рыцарь мой. И я всегда буду покупать ковры только у тебя.

Аполлодор радостно кланяется. Над парапетом набережной поднимается весло, и лодочник, бойкий круглоголовый парень, почти черный от загара, поднимается по ступеням справа от часового и останавливается с веслом в руке.

Ты умеешь грести, Аполлодор?

Аполлодор. Весла мои будут крыльями твоему величеству. Куда прикажет отвезти себя царица?

Клеопатра. На маяк. Идем. *(Сбегает по ступеням.)*

Часовой *(преграждая путь пилумом)*. Стой! Тебе нельзя.

Клеопатра *(гневно вспыхивает)*. Как ты осмелился? Знаешь ты, что я царица?

Часовой. Я повинуюсь приказу. Не велено пропускать.

Клеопатра. Я скажу Цезарю, и он убьет тебя за то, что не повинуешься мне.

Часовой. Он поступит со мной еще хуже, если я ослушаюсь моего начальника. Назад!

Клеопатра. Фтататита, задуши его.

Часовой *(с опаской глядя на Фтататиту, размахивает пилумом)*. Не подходи, ты!

Клеопатра *(бросается к Аполлодору)*. Аполлодор, скажи твоим рабам, чтобы они помогли нам.

Аполлодор. Мне не нужна их помощь, повелительница. *(Обнажает меч.)* Ну, воин, выбирай – чем будешь защищаться? Меч против пилума или меч против меча?

Часовой. Римлянин против сицилийца, будь он проклят! На, получай! *(Бросает свой пилум в Аполлодора, который ловко припадает на одно колено, и пилум со свистом пролетает над его головой, не причинив ему вреда. Аполлодор с криком торжества нападает на часового, который обнажает меч и, защищаясь, кричит.)* Эй, стража, на помощь!

Клеопатра, замирая от страха и восторга, прижимается к стене дворца, где сидят среди своих тюков носильщики. Лодочник в перепуге бросается вниз по ступеням, подальше от поединка, но останавливается так, что над парапетом набережной видна его голова, и следит за боем. Часовому приходится трудно, так как он боится, как бы на него не напала сзади Фтататита. Его искусство фехтовать довольно грубо и не блещет изяществом, тем более что, нанося удар и отражая выпад Аполлодора, он нет-нет да и замахивается на Фтататиту, чтобы отогнать ее. Центурион снова входит с несколькими солдатами. Аполлодор при виде этого подкрепления отскакивает назад, к Клеопатре.

Центурион *(подходя к часовому справа)*. Что здесь еще?

Часовой *(отдуваясь)*. Я бы отлично справился, коли бы только не эта старуха. Уберите ее от меня. Больше мне ничего не надо.

Центурион. Докладывай по порядку. Что случилось?

Фтататита. Центурион, он чуть не убил царицу.

Часовой *(грубо)*. И скорей убил бы, а не выпустил. Она хотела взять лодку и отправиться, как она сказала, на маяк. Я остановил ее, как было приказано. А она натравила на меня вот этого молодца. *(Идет, поднимает свой пилум и возвращается обратно.)*

Центурион *(Клеопатре)*. Клеопатра, я не хотел бы тебя огорчать, но без особого приказа Цезаря мы не смеем пропустить тебя за линию римских постов.

Аполлодор. Скажи, центурион, а разве маяк теперь не в

пределах римских постов, с тех пор как Цезарь высадился на Фаросе?

Клеопатра. Да, да! Что ты на это ответишь?

Центурион *(Аполлодору)*. Ты, Аполлодор, благодари богов, что пилум не пригвоздил тебя к двери дворца за твое вмешательство.

Аполлодор *(очень любезно)*. Друг мой воин, я рожден не для того, чтобы меня убили столь уродливым оружием. Если мне суждено пасть, так меня сразит *(выхватывает свой меч)* вот этот владыка всех клинков, единственное оружие, достойное служителя искусства. И так как ты теперь убедился, что мы не думаем выходить за пределы римских постов, дай мне прикончить часового и отправиться с царицей.

Центурион *(на гневное движение часового)*. Спокойствие! Клеопатра, я подчиняюсь приказу, а не хитроумным толкованиям этого сицилийца. Тебе должно уйти во дворец и заняться там этими коврами.

Клеопатра *(надувшись)*. Я не пойду. Я царица. Цезарь так не говорит со мной, как ты. Или центурионы Цезаря учатся манерам у судомоек?

Центурион *(хмуро)*. Я исполняю свой долг. Это все.

Аполлодор. Царица, когда глупец делает что-нибудь, чего он стыдится, он всегда заявляет, что это его долг.

Центурион *(гневно)*. Аполлодор...

Аполлодор *(перебивая его, с вызывающим изяществом)*. Я готов дать тебе удовлетворение мечом в надлежащее время и в надлежащем месте. Художник всегда готов к поединку. *(Клеопатре.)* Послушайся моего совета, о звезда востока! Пока этим солдатам не придет приказ от самого Цезаря, ты — пленница здесь. Отправь меня с поручением к нему и с подарком. И прежде чем солнце, склонясь в объятия моря, пройдет половину своего пути, я привезу тебе обратно приказ Цезаря.

Центурион *(издеваясь)*. И ты, конечно, продашь царице ее подарок Цезарю?

Аполлодор. Центурион, царица получит от меня без всякой мзды, как добровольную дань сицилийца, поклоняющегося египетской красоте, самый прекрасный из этих ковров для подарка Цезарю.

Клеопатра *(торжествуя, центуриону)*. Ты видишь теперь, какая ты неотесанная дубина!

Центурион *(отрывисто)*. Глупец скоро расстается со своим добром. *(Солдатам.)* Еще двоих на этот пост, и никого не

выпускать из дворца, кроме этого молодчика с его товаром. Если он обнажит меч в пределах поста – заколоть! Марш на посты! *(Уходит, оставляя двух лишних часовых.)*

Аполлодор *(вежливо и дружелюбно)*. Друзья мои, не зайти ли нам во дворец и не утопить ли нашу размолвку в чаше доброго вина? *(Вытаскивает кошель, позвякивая монетой.)* У царицы нашлись бы подарки для всех вас.

Часовой *(очень угрюмо)*. Ты слышал приказ? Иди своей дорогой.

Первый подчасок. Да, должен понимать. Убирайся.

Второй подчасок *(горбоносый мужчина, не похожий на своего товарища, у которого грубое, толстое лицо, с жадностью поглядывает на кошель)*. Не искушай бедняка.

Аполлодор *(Клеопатре)*. Жемчужина среди цариц! Центурион в двух шагах, а римский солдат неподкупен, когда на него смотрит его начальник. Мне придется отвезти твое поручение Цезарю.

Клеопатра *(задумчиво, уставившись на ковры)*. Эти ковры очень тяжелые?

Аполлодор. Не все ли равно, тяжелы они или нет? У нас хватит носильщиков.

Клеопатра. А как они спускают эти ковры в лодки? Просто бросают их?

Аполлодор. В маленькие лодки, твое величество, их нельзя бросать, лодка может утонуть.

Клеопатра. Вот в такую лодку, как эта? *(Показывает на лодочника.)*

Аполлодор. Нет, эта уж слишком мала.

Клеопатра. Но ты сумеешь отвезти в ней ковер Цезарю, если я пошлю?

Аполлодор. Без сомнения!

Клеопатра. И ты будешь осторожно нести его по ступеням? И будешь очень беречь его?

Аполлодор. Положись на меня.

Клеопатра. Ты будешь очень-очень беречь его?

Аполлодор. Больше, чем свою голову.

Клеопатра. Ты обещаешь мне, что посмотришь за носильщиками, чтобы они не уронили его, не бросали кое-как?

Аполлодор. Положи в него кубок из самого тонкого стекла, что только есть во дворце, и если он разобьется, я заплачу за него своей головой.

Клеопатра. Хорошо. Идем, Фтататита.

Фтататита подходит. Аполлодор собирается сопровождать их.

Нет, Аполлодор, ты не должен идти. Я сама выберу ковер. Жди здесь. *(Бежит во дворец.)*

Аполлодор *(носильщикам)*. Следуйте за этой особой *(показывает на Фтататиту)* и повинуйтесь ей.

Носильщики встают и поднимают тюки.

Фтататита *(обращаясь к носильщикам так, словно это нечто нечистое)*. Сюда. И снимите обувь, прежде чем ступить на эту лестницу.

Входит во дворец, за ней носильщики с коврами. Аполлодор тем временем подходит к краю набережной и смотрит на море. Часовые враждебно косятся на него.

Аполлодор *(часовому)*. Друг мой!

Часовой *(грубо)*. Молчать!

Первый подчасок. Закрой пасть, ты!

Второй подчасок *(полушепотом, с опаской поглядывая на северный край набережной)*. Чего тебе не терпится? Не можешь подождать немного?

Аполлодор. Терпение – достопочтенный осел о трех головах!

Часовые ворчат.

(Не проявляет ни малейшего страха.) Послушайте, вы что – за мной здесь наблюдаете или за египтянами?

Часовой. Мы свое дело знаем.

Аполлодор. Тогда почему же вы не делаете его? Глядите-ка, что там творится. *(Показывает на юго-западную часть мола.)*

Часовой *(желчно)*. Мне не нужны советы такого, как ты.

Аполлодор. Чурбан! *(Кричит.)* Эй, там, центурион! Хо-хо!

Часовой. Проклятье на тебя. Чего ты лезешь? *(Кричит.)* Хо-хо! Тревога! Тревога!

Первый и второй подчаски. Тревога! Тревога! Хо-хо!

Центурион бежит со своими солдатами.

Центурион. Что такое еще? Опять на тебя старуха напала? *(Видит Аполлодора.)* Ты все еще здесь?

Аполлодор *(указывая снова туда же)*. Посмотри-ка, египтяне зашевелились. Они собираются отбить у вас Фарос. Вон они уже готовы напасть и с суши и с моря. С суши –

по большому молу, с моря – из Западной гавани. Поворачивайтесь вы, воины! Охота началась.

С разных сторон набережной раздаются звуки труб.

Ага! Я говорил!

Центурион *(поспешно)*. Вы, двое лишних, передать тревогу на южные посты! Одному остаться на часах. Остальные – за мной! Живо!

Два подчаска бегут в южную сторону. Центурион с солдатами – в противоположную сторону. Сейчас же вслед за этим раздается рев буцины. Четверо носильщиков выходят из дворца, неся свернутый ковер. За ними Фтататита.

Часовой *(с опаской поднимая пилум)*. Опять ты!

Носильщики останавливаются.

Фтататита. Потише, римлянин: ты теперь остался один. Аполлодор, этот ковер Клеопатра посылает в подарок Цезарю. В нем завернуто десять драгоценных кубков тончайшего иберийского хрусталя и сотня яиц священной синей голубки. Поклянись честью, что ни одно из них не будет разбито.

Аполлодор. Клянусь головой. *(Носильщикам.)* Несите в лодку. Осторожней!

Носильщики сходят с тюком по ступеням.

Первый носильщик *(смотрит вниз на лодку)*. Поостерегитесь, господин! Яйца, о которых говорит эта госпожа, весят, должно быть, каждое по фунту. Эта лодка не выдержит такой тяжести.

Лодочник *(в бешенстве вскакивает на ступени)*. О ты, злоязычный носильщик! Ты, противный естеству сын верблюдихи! *(Аполлодору.)* Моя лодка, господин, возила не раз по пять человек. Неужели она не свезет вашу милость да сверток с голубиными яйцами? *(Носильщику.)* Ты, облезлый дромадер! Пусть боги покарают тебя за твою злобу и зависть!

Первый носильщик *(флегматично)*. Я не могу бросить тюк, чтобы отдуть тебя. Но уж когда-нибудь я тебя подстерегу!

Аполлодор *(примирительно)*. Замолчите! Если бы эта лодка была всего-навсего щепкой, я бы все равно поплыл на ней к Цезарю.

Фтататита *(в тревоге)*. Заклинаю тебя богами, Аполлодор, не поступай неосмотрительно с этим тюком.

Аполлодор. Не бойся ты, о почтеннейшая из химер. Я понимаю, что ему нет цены. *(Носильщику.)* Клади, говорю я, да поосторожней, или ты десять дней не будешь есть ничего, кроме палки.

Лодочник спускается вниз, за ним носильщики с тюком. Фтататита и Аполлодор наблюдают с берега.

Тише, сыновья мои! Тише, дети мои! *(С внезапным испугом.)* Да тише вы, собаки! Клади поровней на корму. Так! Хорошо!

Фтататита *(вопит одному из носильщиков)*. Не наступи на него. Не наступи! О ты, грубая скотина!

Первый носильщик *(поднимаясь по ступеням)*. Не волнуйся, госпожа. Все цело.

Фтататита *(задыхаясь)*. Все цело. Как только сердце мое не разорвалось! *(Хватается за грудь.)*

Все четверо носильщиков поднялись и стоят на верхней ступени, дожидаясь платы.

Аполлодор. Вот вам, голяки! *(Дает деньги первому носильщику, который подбрасывает их на руке, чтобы показать остальным.)*

Они жадно толпятся вокруг и заглядывают, сколько он получил, уже приготовившись, по восточному обычаю, взывать к богам, проклиная жадность нанимателя. Но его щедрость ошеломляет их.

Первый носильщик. О щедрый государь!

Второй носильщик. О повелитель базара!

Третий носильщик. О любимец богов!

Четвертый носильщик. О отец всех носильщиков рынка!

Часовой *(с завистью, злобно замахиваясь на них пилумом)*. Пошли вон, собаки! Убирайтесь.

Они убегают по набережной в северном направлении.

Аполлодор. Прощай, Фтататита! Я буду на маяке раньше египтян. *(Спускается вниз.)*

Фтататита. Пусть боги даруют тебе скорый путь и защитят мое сокровище!

Часовой возвращается после погони за носильщиками, чтобы не дать Фтататите бежать.

Аполлодор *(снизу, в то время как лодка отчаливает)*. Прощай, доблестный метатель пилума!

Часовой. Прощай, лавочник!

Аполлодор. Ха-ха! Налегай на весла, бравый лодочник.

Хо-хо-хо! *(Он начинает петь на мотив баркаролы, в такт веслам.)*

Сердце мое, крылами взмахни,
Бремя любви, сердце, стряхни.

Дай-ка мне весла, о сын черепахи!

Часовой *(угрожающе, Фтататите)*. Ну, красавица, иди-ка в свой курятник. Марш отсюда!

Фтататита *(падая на колени и протягивая руки к морю)*. Боги морей, вынесите ее невредимую на берег!

Часовой. Вынесите кого невредимой? Что это ты плетешь?

Фтататита *(глядя на него зловеще)*. Боги Египта и боги Возмездия, сотворите так, чтобы этот римский болван был избит хуже всякой собаки начальником своим за то, что он недосмотрел и пустил ее в море.

Часовой. Проклятая! Так, значит, это она в лодке? *(Кричит в море.)* Хо-хо! Лодочник! Хо-хо!

Аполлодор *(поет вдалеке)*.

Будь свободным, счастливым будь,
Злую неволю, сердце, забудь.

Тем временем Руфий, после утренней битвы, сидит на связке хвороста перед дверью маяка и жует финики; гигантская вышка маяка поднимается слева от него, уходя в небо. Между колен у Руфия зажат его шлем, полный фиников; рядом кожаная фляга с вином. Позади него громадный каменный пьедестал маяка, закрытый с моря низким каменным парапетом, с двумя ступенями посредине. Массивная цепь с крюком от маячного подъемного крана висит прямо над головой Руфия. Такие же вязанки хвороста, как и та, на которой он сидит, лежат рядом, приготовленные для маячного костра. Цезарь стоит на ступенях парапета и тревожно смотрит вдаль, по-видимому, в довольно мрачном настроении. Из дверцы маяка выходит Британ.

Руфий. Ну как, островитянин-бритт? Поднимался ты на самый верх?

Британ. Да. Думаю, высота около двухсот футов.

Руфий. Есть там кто-нибудь?

Британ. Старый сириец, который работает краном, и его сын, благонравный юноша лет четырнадцати.

Руфий *(смотрит на цепь)*. Ну-ну! Старик и мальчишка поднимают вот эту штуку? Да их там человек двадцать, наверно.

Британ. Только двое, уверяю. У них там противовесы и

какая-то машина с кипящей водой – не знаю, в чем там дело; это не британское изобретение. Они поднимают бочонки с маслом и хворост для костра на вышке.

Руфий. А как же...

Британ. Прости, я спустился, потому что к нам по молу идут гонцы с острова. Нужно узнать, что им надо. *(Торопливо проходит мимо маяка.)*

Цезарь *(отходит от парапета, поеживаясь, явно не в духе)*. Руфий, это была безумная затея. Нас расколотят. Хотел бы я знать, как там идет дело с баррикадой на большой дамбе?

Руфий *(огрызается)*. Уж не прикажешь ли мне оставить еду и на голодное брюхо бежать туда, чтобы доложить тебе?

Цезарь *(нервничая, но стараясь успокоить его)*. Нет, Руфий, нет. Ешь, сын мой, ешь. *(Снова выходит на парапет.)*

Руфий продолжает поглощать финики.

Вряд ли египтяне настолько глупы, что не догадаются ударить по укреплению и ворваться сюда, прежде чем мы его доделаем. Первый раз решился на рискованный шаг, когда его можно было легко избежать. Не следовало мне идти в Египет.

Руфий. А всего какой-нибудь час тому назад ты ликовал и праздновал победу.

Цезарь *(оправдываясь)*. Да. Я был глупцом. Опрометчивость, Руфий, мальчишество!

Руфий. Мальчишество? Ничуть. На-ка вот. *(Протягивает ему горсть фиников.)*

Цезарь. Зачем это?

Руфий. Съешь. Тебе как раз этого не хватает. Человек в твоем возрасте всегда склонен раскисать натощак. Поешь и отхлебни вот этого. А тогда и поразмысли еще раз о наших делах.

Цезарь *(берет финики)*. В моем возрасте... *(Качает головой и откусывает кусочек.)* Да, Руфий, я старый человек, я износился. Это правда, сущая правда. *(Погружается в грустные размышления и машинально дожевывает второй финик.)* Ахилл – он еще во цвете лет. Птолемей – мальчик. *(Жует третий финик, несколько приободряется.)* Ну что ж, каждому свое время. И я взял свое, жаловаться не приходится. *(Неожиданно оживившись.)* А неплохие финики, Руфий.

Возвращается Британ, он очень взволнован, в руках у него кожаная сума.

(Уже опять стал самим собой.) Что еще?

Британ *(торжествующе)*. Наши доблестные родосские моряки выловили сокровище. Вот! *(Бросает суму к ногам Цезаря.)* Теперь враги твои в наших руках.

Цезарь. В этой суме?

Британ. Дай договорить. В этой суме все письма, которые партия Помпея посылала в Египет оккупационной армии.

Цезарь. Ну и что же?

Британ *(досадуя на то, что Цезарь так туго соображает)*. Ну вот, теперь мы будем знать, кто враги твои. Имена всех, кто замышлял против тебя, с тех пор как ты перешел Рубикон, могут оказаться здесь, в этих бумагах.

Цезарь. Брось это в огонь.

Британ *(остолбенев, изумленно)*. Бросить?!!

Цезарь. В огонь! Неужели ты заставишь меня тратить ближайшие три года моей жизни на то, чтобы осуждать и отправлять в изгнание людей, которые могут стать мне друзьями, если я докажу им, что моя дружба стоит дороже дружбы Помпея или Катона? О ты, неисправимый бритт-островитянин! Или я бульдог, чтобы лезть в драку только затем, чтобы показать, какие у меня крепкие челюсти?

Британ. Но честь твоя — честь Рима?

Цезарь. Я не устраиваю человеческих жертвоприношений моей чести, как ваши друиды. Не хочешь сжечь — давай я их швырну в море. *(Поднимает мешок и бросает через парапет в волны.)*

Британ. Цезарь, это просто чудачество! Можно ли поощрять предателей ради красивого жеста и красивого словца?

Руфий *(вставая)*. Цезарь, когда островитянин кончит свою проповедь, позови меня. Я пойду взглянуть на машину с кипящей водой. *(Уходит в помещение маяка.)*

Британ *(с искренним чувством)*. О Цезарь, мой великий повелитель! Если бы я мог убедить тебя, что на жизнь надо смотреть серьезно, как это делают люди моей страны.

Цезарь. А они действительно так смотрят?

Британ. Разве ты не был у нас? Разве ты не видал их? Разве бритт будет говорить с таким легкомыслием, как говоришь ты? Разве бритт может пренебречь молитвой в священной роще? Разве бритт решится носить такую пеструю одежду, вместо одноцветной синей, как подобает

всем солидным, достойным уважения людям? Ведь для нас это вопросы морали.

Цезарь. Хорошо, хорошо, друг. Когда-нибудь, когда я устроюсь попрочнее, я, может быть, и заведу себе синюю тогу. А пока уж мне приходится выворачиваться как умею, на мой римский, распущенный лад.

Аполлодор проходит мимо маяка.

Это что такое?

Британ *(быстро оборачивается и с официальным высокомерием окликает чужеземца)*. Это что значит? Кто ты такой? Как попал сюда?

Аполлодор. Успокойся, приятель. Я тебя не съем. Я приплыл на лодке из Александрии с драгоценными дарами для Цезаря.

Цезарь. Из Александрии?

Британ *(сурово)*. С тобой говорит Цезарь.

Руфий *(появляясь в двери маяка)*. Что тут такое?

Аполлодор. Слава великому Цезарю! Я Аполлодор, сицилиец, художник.

Британ. Художник? Кто пустил сюда этого бродягу?

Цезарь. Успокойся, друг! Аполлодор – именитый патриций, он художник-любитель.

Британ *(смущенно)*. Прошу прощения, благородный господин. *(Цезарю.)* Я понял так, что это его ремесло. *(Несколько пристыженный, он уступает Аполлодору место рядом с Цезарем.)*

Руфий, окинув Аполлодора явно пренебрежительным взглядом, отходит на другой конец парапета.

Цезарь. Привет тебе, Аполлодор! Что ты хочешь от нас?

Аполлодор. Прежде всего поднести тебе дар от царицы цариц.

Цезарь. От кого это?

Аполлодор. От Клеопатры, царицы египетской.

Цезарь *(обращается к нему доверчиво, самым подкупающим тоном)*. Аполлодор, сейчас нам не время забавляться подарками. Прошу тебя, вернись к царице и скажи ей, что если все сложится удачно, я нынче же вечером вернусь во дворец!

Аполлодор. Цезарь, я не могу вернуться. Когда мы подплывали к маяку, какой-то болван сбросил в море громадный кожаный мешок и сломал нос моей лодки. Я едва успел выбраться с ношей на берег, как эта жалкая скорлупка пошла ко дну.

Цезарь. Сочувствую тебе, Аполлодор. Болвана мы накажем. Ну, ладно! Расскажи, что ты привез мне? Царица будет в обиде, если я не взгляну.

Руфий. Разве есть время заниматься пустяками? Твоя царица – ребенок!

Цезарь. Вот именно. Поэтому-то нам и нельзя огорчать ее. Что же это за подарок, Аполлодор?

Аполлодор. Цезарь, это персидский ковер, красота из красот. И в нем, как мне сказали, голубиные яйца, хрустальные кубки и хрупкие драгоценности. Я отвечаю головой за мою ношу и поэтому не рискнул тащить ее сюда по узкой лесенке с мола.

Руфий. Можно поднять краном. Прицепи на крюк. Яйца пошлем повару, из кубков будем пить вино, а ковер пойдет на ложе Цезаря.

Аполлодор. Краном? Цезарь, я поклялся беречь тюк с ковром, как собственную жизнь.

Цезарь *(шутливо)*. Тогда можно поднять вас обоих вместе. И если цепь оборвется, ты погибнешь вместе с голубиными яйцами. *(Подходит к цепи и с любопытством рассматривает ее.)*

Аполлодор *(Британу)*. Цезарь это серьезно говорит?

Британ. Он разговаривает таким легкомысленным тоном потому, что он итальянец, но то, что он говорит, он делает.

Аполлодор. Серьезно или нет, но он говорит дело. Дайте же мне отряд воинов, чтобы привести этот кран в действие.

Британ. Предоставь кран мне, а сам ступай вниз и дожидайся, пока спустится цепь.

Аполлодор. Хорошо. Вы сейчас увидите меня вон там. *(Поворачивается к ним и красноречивым жестом показывает на небо.)* Я взойду там, словно солнце, с моим сокровищем. *(Уходит тем же путем, что и пришел.)*

Британ скрывается в помещении маяка.

Руфий *(ворчливо)*. Ты действительно намерен дожидаться здесь, чем кончится весь этот балаган?

Цезарь *(отходит в сторону, когда цепь начинает двигаться)*. Почему бы и нет?

Руфий. Египтяне сейчас покажут тебе, почему нет, если только у них хватит ума броситься на нас с берега, пока мы не возвели укрепление. А мы здесь стоим и дожи-

даемся, как малые ребята, чтобы нам показали ковер с голубиными яйцами.

Цепь с грохочущим лязгом поднимается над парапетом, затем, раскачиваясь, поворачивается вместе с краном и исчезает за маяком.

Цезарь. Не бойся, о Руфий, сын мой! Едва только первый египтянин станет на мол, наши затрубят тревогу. И мы с тобой отсюда успеем добежать до укрепления раньше, чем египтяне с той стороны. Мы с тобой вдвоем, Руфий: я, старик, и ты, его старший сын. И старик будет там первым. Итак, успокойся! И дай-ка мне еще фиников.

Аполлодор *(с насыпи внизу)*. Эй-хо! Давай, тяни! О-хо-хо!

Цепь поднимается и снова, раскачиваясь, появляется из-за маяка. Аполлодор висит в воздухе со своим тюком, паря над парапетом.

(Поет.)

Наверху, надо мной, синева в небесах,
Не увидеть такой у красотки в очах...

Эй, вы там! Стоп! *(Перестает подниматься.)* Поворачивай!

Цепь возвращается снова к парапету.

Руфий *(кричит наверх)*. Ну, опускай!

Цепь с ношей начинает опускаться.

Аполлодор *(кричит сверху)*. Осторожней! Тише! Не забудьте о яйцах.

Руфий *(кричит наверх)*. Легче! Эй, вы там! Тише, тише!

Аполлодор со своей ношей невредимо опускается на кучу хвороста на парапете. Руфий и Цезарь помогают Аполлодору отцепить тюк.

Руфий. Поднимай!

Цепь с лязгом взвивается прямо над их головами. Британ выходит из маяка и помогает им развязать тюк.

Аполлодор *(после того, как они сняли веревки)*. Отойдите, друзья. Пусть смотрит Цезарь. *(Распахивает ковер.)*

Руфий. Ничего тут нет, кроме кучи тряпок. Где же голубиные яйца?

Аполлодор. Приблизься, Цезарь, и поищи их среди шалей.

Руфий *(обнажая меч)*. А, предательство! Не подходи, Цезарь! Я вижу, шаль шевелится, там что-то живое.

Британ *(обнажая меч)*. Змея!

Аполлодор. Осмелится ли Цезарь вложить руку в мешок, где шевелится змея?

Руфий *(оборачивается к нему)*. Предатель, собака!

Цезарь. Успокойтесь. Уберите ваши мечи. Аполлодор, твоя змея уж слишком ровно дышит. *(Засовывает руки под шаль и освобождает оттуда чью-то голую руку.)* Хорошенькая маленькая змейка!

Руфий *(вытягивая оттуда другую руку)*. А ну-ка, давай сюда и все остальное.

Они вытаскивают за руки Клеопатру, и она садится среди шалей. Британ, шокированный, вкладывает свой меч в ножны и возмущенно пожимает плечами.

Клеопатра *(едва переводя дух)*. Ой, я чуть-чуть не задохлась. Ах, Цезарь, кто-то на меня наступил в лодке, а потом на меня свалился с неба какой-то громадный, страшно тяжелый мешок. А потом лодка стала тонуть, а потом меня унесло куда-то в воздух и оттуда вниз...

Цезарь *(лаская ее, когда она, поднявшись, бросается к нему на грудь)*. Ну, ничего, ничего. Теперь уже все кончено, ты здесь, цела и невредима.

Руфий. Н-да, а теперь, когда она здесь, что же нам с ней делать?

Британ. Она не может оставаться здесь, Цезарь, без присмотра какой-нибудь матроны.

Клеопатра *(ревниво, Цезарю, который явно не знает, что с ней делать)*. Так, значит, ты не рад, что видишь меня?

Цезарь. О нет, я-то очень рад, но вот Руфий очень недоволен, а Британ шокирован.

Клеопатра *(пренебрежительно)*. А ты отруби им головы, разве ты не можешь это сделать?

Цезарь. Я боюсь, моя ласточка, что с отрубленными головами они будут мне гораздо менее полезны.

Руфий *(Клеопатре)*. Мы сейчас пойдем рубить головы кое-кому из твоих египтян. Ну, а что ты скажешь, если нас, неровен час, побьют и ты попадешь в плен к своему маленькому братцу?

Клеопатра. Ты не должен покидать меня, Цезарь. Ты ведь не покинешь меня, правда?

Руфий. Еще бы! Вот сейчас загремит труба, и тогда жизнь каждого из нас будет зависеть от того, ступит ли Цезарь на баррикаду прежде, чем до нее доберется кто-нибудь из египтян.

Клеопатра. Ну и пусть они погибнут! Ведь это простые солдаты.

Цезарь *(внушительно)*. Клеопатра, когда загремит труба, каждый из нас, не щадя себя, понесет жизнь свою в руке и швырнет ее в лицо смерти. И среди всех моих солдат, которые доверили мне свою судьбу, нет ни одного, чья рука не была бы мне дороже твоей головы.

Клеопатра совершенно уничтожена; глаза ее наполняются слезами.

Аполлодор, ты отвезешь ее обратно во дворец.

Аполлодор. Разве я дельфин, Цезарь, чтобы плавать по морям с юными девами на спине? Лодка моя погибла, а все ваши суда или у баррикады, или вернулись в город. Попробую окликнуть их — это все, что я в состоянии сделать. *(Уходит на мол.)*

Клеопатра *(глотая слезы)*. Мне все равно. Я не вернусь обратно. Я никому не нужна.

Цезарь. Клеопатра!

Клеопатра. Ты хочешь, чтобы меня убили.

Цезарь *(еще внушительней)*. Твоя жизнь, бедное мое дитя, мало кому нужна здесь, кроме тебя самой.

Клеопатра не выдерживает, бросается на вязанки хвороста и плачет. Внезапно в отдалении поднимается сильный шум, сквозь него прорывается рев буцины и труб. Британ сбегает на парапет и смотрит на мол. Цезарь и Руфий обмениваются быстрыми, понимающими взглядами.

Идем, Руфий.

Клеопатра *(вскакивает на колени и цепляется за Цезаря)*. Нет, нет, не оставляй меня, Цезарь!

Цезарь вырывает свою одежду из ее рук.

Ах!

Британ *(с парапета)*. Цезарь! Мы отрезаны. Египтяне подошли из Западной гавани и высадились между нами и баррикадой.

Руфий *(подбегая к нему)*. Проклятье! Верно, мы попались, как крысы в капкан!

Цезарь *(со скорбью в голосе)*. Руфий, Руфий! Мои солдаты на баррикаде, их окружают и с берега и с моря; я послал их на смерть!

Руфий *(возвращается с парапета, подходит к Цезарю справа)*. Н-да, вот к чему приводит эта возня с девчонками.

Аполлодор *(поспешно идет с мола)*. Взгляни с парапета, Цезарь.

Цезарь. Мы смотрели, друг. Нам придется защищаться здесь.

Аполлодор. Я бросил веревочную лестницу в море. Сюда они теперь не могут подняться.

Руфий. А мы не можем уйти. Об этом ты подумал?

Аполлодор. Не можем уйти? Почему? У вас же стоят корабли в Восточной гавани.

Британ *(с парапета, с надеждой в голосе)*. Родосские галеры уже повернули к нам.

Цезарь торопливо подходит к Британу.

Руфий *(Аполлодору, нетерпеливо)*. А скажи-ка, пожалуйста, как же мы попадем на галеры?

Аполлодор *(вызывающе-весело и наставительно)*. Путем, который ведет всюду. Алмазным путем солнца и луны. Разве ты никогда не видал, как дети играют в сломанный мост? «Утки и гуси переправляются на ту сторону...» А? *(Бросает плащ и шляпу и привязывает меч себе на спину.)*

Руфий. Что ты плетешь?

Аполлодор. Сейчас покажу. *(Кричит Британу.)* Сколько отсюда до ближайшей галеры?

Британ. Локтей триста.

Цезарь. Нет, нет, они дальше, чем кажется в этом ясном воздухе глазам бритта. Около четверти мили, Аполлодор.

Аполлодор. Прекрасно. Продержитесь здесь, пока я не пришлю вам лодку с галеры.

Руфий. Что у тебя, крылья, что ли, есть?

Аполлодор. Морские крылья, воин. Смотри! *(Взбегает по ступеням на скат парапета между Цезарем и Британом, подпрыгивает и бросается головой вниз в море.)*

Цезарь *(как мальчишка, в диком восторге)*. Браво, браво! *(Сбрасывает плащ.)* Клянусь Юпитером, я тоже!

Руфий *(хватает его)*. С ума сошел? Куда?

Цезарь. Почему? Разве я плаваю хуже?

Руфий *(вне себя)*. Да разве может старый безумец плавать и нырять, точно молодой?

Цезарь *(отталкивая его)*. Старый?..

Британ *(потрясенный)*. Руфий, что ты говоришь!

Цезарь. Хочешь, отец Руфий, наперегонки до галеры за недельное жалованье?

Клеопатра. А я? А я? Что со мной будет?

Цезарь. Довезу тебя на спине, как дельфин, до галеры. Руфий, когда я вынырну, брось ее в воду. Я отвечаю. А после нее прыгайте вы оба.

Клеопатра. Нет, нет, ни за что! Я утону.

Британ. Цезарь, я человек и бритт, а не рыба. Мне нужна лодка. Я плавать не умею.

Клеопатра. И я не умею.

Цезарь *(Британу)*. Тогда оставайся здесь, пока мы не отобьем маяк. Ну, Руфий!

Руфий. Ты действительно решился на это безумие?

Цезарь. За меня решили египтяне. А что делать? Ты только смотри, когда будешь прыгать. Я не хочу, чтобы твоя двухсотфунтовая туша свалилась мне на спину, когда я высуну нос из воды. *(Взбегает на ступени и становится на выступе.)*

Британ *(в смятении)*. Еще одно слово, Цезарь. Умоляю тебя, не показывайся в аристократическом квартале Александрии, пока не переоденешься.

Цезарь *(кричит в море)*. Эй, Аполлодор! *(Показывает на небо и поет на мотив баркаролы.)*

Облака блестят в синеве...

Аполлодор *(плывет вдалеке и подхватывает)*.

И пурпур в зеленой волне...

Цезарь *(в восторге)*. А-ах! *(Бросается в волны.)*

Клеопатра *(в страшном волнении бежит к ступеням)*. Дайте мне посмотреть, он сейчас утонет!

Руфий хватает ее.

Ай-яй-яй! *(Она вопит, он швыряет ее в воду.)*

Руфий с Британом в восторге покатываются от хохота.

Руфий *(глядя вниз)*. Поймал ее, смотри! *(Британу.)* Держи эту крепость, бритт! Цезарь тебя не забудет! *(Прыгает.)*

Британ *(бежит на ступени и смотрит, как они плывут)*. Ну как, целы вы, Руфий?

Руфий *(издалека)*. Целы!

Цезарь *(далеко впереди него)*. Укройся около костра. И навали побольше дров на дверцу люка.

Британ *(кричит ему)*. Сделаю все и поручу себя богам моей отчизны.

Радостные крики с моря. Британ в неистовом восторге.

Лодка! К нему подошла лодка! Гип-гип-гип-ура!

Окуновение Клеопатры в воды Восточной гавани произошло в октябре 48 года до нашей эры. В марте 47 года она, после полудня, в своих покоях, окруженная придворными дамами, слушает девушку рабыню, которая играет на арфе. Арфистка стоит посредине комнаты. Учитель арфистки — старик музыкант, у него изрезанное морщинами лицо, большой нависший лоб, седая борода, взъерошенные, щетинистые усы и брови; он с глубокомысленным и важным видом сидит на корточках на полу около музыкантши и следит за ее игрой. Фтататита восседает на своем посту у дверей, во главе маленькой группы женщин рабынь. Все сидят, за исключением арфистки: Клеопатра в кресле против двери, на другом конце комнаты; остальные — на полу. Придворные дамы Клеопатры — молоденькие женщины; из них наиболее выделяются Хармиана и Ирас, ее любимицы. Хармиана — маленький терракотовый бесенок, продолговатое лицо, быстрые движения, точеные ноги и руки. Ирас — пухленькое добродушное создание с копной рыжих волос; умом не блещет и рада похихикать по любому поводу.

Клеопатра. А я могла бы?..

Фтататита *(грубо, музыкантше)*. Замолчи, ты! Царица говорит.

Музыка обрывается.

Клеопатра *(старому музыканту)*. Я хочу научиться сама играть на арфе. Цезарь любит музыку. Ты можешь научить меня?

Музыкант. Без сомнения. Только я, и никто другой, могу научить царицу. Разве не я открыл тайну древних египтян, которые заставляли дрожать пирамиду, касаясь единой басовой струны? Все другие учителя обманщики, я не раз изобличал их.

Клеопатра. Хорошо. Ты будешь учить меня. Сколько тебе надо времени?

Музыкант. Не очень много. Всего четыре года. Я должен сначала посвятить твое величество в философию Пифагора.

Клеопатра. А она *(показывая на рабыню)* посвящена в философию Пифагора?

Музыкант. Она рабыня! Она выучилась, как учатся собаки.

Клеопатра. Прекрасно. Я тоже хочу выучиться, как учатся собаки. Она играет лучше тебя. Ты будешь учить меня каждый день в течение двух недель.

Музыкант поспешно поднимается и низко кланяется.

А после этого всякий раз, когда я ошибусь, тебя будут бичевать. А если я буду так часто ошибаться, что за мной не поспеют бичевать, тебя бросят в Нил, крокодилам. Дайте арфистке золотую монету и отошлите их.

Музыкант *(растерянно)*. Но истинное искусство нельзя принуждать.

Фтататита. Что? Ты осмеливаешься спорить с царицей? Убирайся! *(Выталкивает его.)*

За музыкантом идет рабыня-арфистка под общий хохот приближенных женщин и рабынь.

Клеопатра. Ну, так кто же из вас может позабавить меня? Есть у вас что-нибудь новенькое?

Ирас. Фтататита...

Клеопатра. Ах, Фтататита, Фтататита! Вечно Фтататита! Опять какие-нибудь небылицы, чтоб восстановить меня против нее?

Ирас. Нет, на этот раз Фтататита проявила добродетель.

Приближенные смеются, но не рабыни.

Потин пытался подкупить ее, чтобы она пропустила его к тебе.

Клеопатра *(гневно)*. Ха, все вы торгуете моими аудиенциями! Точно я должна смотреть на тех, кто угоден вам, а не мне. Хотела бы я знать, сколько этой рабыне-арфистке придется отдать из своего золота, прежде чем она выйдет из дворца?

Ирас. Если хочешь, мы тебе это узнаем.

Приближенные смеются.

Клеопатра *(хмурясь)*. Вы смеетесь? Берегитесь, берегитесь! Когда-нибудь я сумею заставить вас служить мне так, как служат Цезарю.

Хармиана. Горбоносый старикан!

Опять хохот.

Клеопатра *(разъяренная)*. Молчать! Хармиана, тебе не пристало держать себя, как маленькой египетской дурочке! Знаете ли вы, почему я позволяю вам болтать в моем присутствии все, что вам придет в голову, вместо того чтобы обращаться с вами так, как обращалась бы Фтататита, будь она царицей?

Хармиана. Потому что ты стараешься во всем подражать Цезарю, а он позволяет говорить ему все что вздумается.

Клеопатра. Нет. А потому, что я спросила его однажды, почему он это делает? И он сказал: «Не мешай болтать твоим женщинам, и ты можешь многое узнать от них». — «А что же могу я узнать?» — спросила я. «Ты узнаешь, кто они», — сказал он. И, ах, если бы вы только видели глаза его, когда он произносил эти слова! Вы прямо в комочки сжались бы, жалкие ничтожества!

Они смеются.

(Гневно накидывается на Ирас.) Над кем ты смеешься, надо мной или над Цезарем?

Ирас. Над Цезарем.

Клеопатра. Если бы ты не была дурой, ты бы смеялась надо мной; а если бы не была трусихой, ты не побоялась бы сказать мне это.

Возвращается Фтататита.

Фтататита, мне сказали, что Потин предлагал одарить тебя, если ты допустишь его ко мне.

Фтататита *(возмущенно)*. Клянусь богами предков моих...

Клеопатра *(властно обрывая ее)*. Сколько раз приказывала я тебе, чтобы ты не смела отпираться. Ты готова целый день взывать к богам твоих предков и призывать их в свидетели своих достоинств, если бы я тебе позволила. Поди возьми его золото и приведи Потина сюда.

Фтататита хочет возразить ей.

Не спорь. Иди!

Фтататита уходит. Клеопатра встает и в раздумье начинает ходить взад и вперед, между креслом и дверью. Все поднимаются и стоят.

Ирас *(неохотно поднимаясь)*. Ах, как бы мне хотелось, чтобы этот Цезарь уже был в Риме.

Клеопатра *(угрожающе)*. Это будет плохой день для всех

нас, когда он уедет туда. О, если бы я не стыдилась показать ему, что сердце мое столь же безжалостно, как сердце отца моего, я бы заставила тебя раскаяться в этих словах. Зачем это тебе, чтобы он уехал?

Ирас. Ты делаешься при нем такой ужасно скучной, серьезной, ученой и фило-со-фичной. А в *нашем* возрасте это хуже, чем быть святошей.

Приближенные смеются.

Клеопатра. Перестаньте вы без конца кудахтать... Слышите! Прикусите языки.

Хармиана *(с насмешливой покорностью)*. Хорошо, хорошо! Видно, всем уж нам придется взять себе в пример Цезаря.

Они снова хохочут. Клеопатра молча бесится и продолжает ходить взад и вперед. Фтататита возвращается с Потином, который останавливается на пороге.

Фтататита *(в дверях)*. Потин смиренно молит царицу преклонить слух...

Клеопатра. Ну хорошо, хорошо! Довольно! Пусть он войдет. *(Опускается в кресло.)*

Все садятся, кроме Потина,— он выходит на середину. Фтататита занимает свое прежнее место.

Итак, Потин? Что слышно нового о твоих друзьях-мятежниках?

Потин *(надменно)*. Я не друг мятежу. К тому же пленник не знает новостей.

Клеопатра. Ты пленник не больше, чем я, чем Цезарь. Вот уж шесть месяцев мой дворец осажден моими подданными. Тебе дозволено разгуливать по набережной среди воинов, а могу ли я ступить далее? Может ли Цезарь?

Потин. Ты дитя, Клеопатра, и не понимаешь этого.

Приближенные смеются. Клеопатра смотрит на него непроницаемым взглядом.

Хармиана. Я вижу, ты не знаешь самой последней новости, Потин?

Потин. Какой?

Хармиана. Что Клеопатра больше уже не дитя. Хочешь, я научу тебя, как в один день сделаться много старше и много, много умнее.

Потин. Я предпочел бы стать умнее, не старея.

Хармиана. Так вот. Поднимись на вышку маяка и попроси кого-нибудь схватить тебя за волосы и бросить оттуда в море.

Приближенные смеются.

Клеопатра. Это правда, Потин. Немало самодовольства смоется с тебя, когда ты выйдешь из волн на берег.

Приближенные смеются.

(Гневно встает.) Идите прочь все! Я буду одна говорить с Потином! Фтататита, прогони их.

Они, смеясь, выбегают. Фтататита закрывает за ними дверь.

Ты чего ждешь?

Фтататита. Не подобает царице оставаться с глазу на глаз...

Клеопатра *(обрывает ее)*. Фтататита! Или надо принести тебя в жертву богам отцов твоих, чтобы ты узнала, что царица Египта — я, а не ты?

Фтататита *(негодующе)*. Вот и ты теперь такая же, как все. Тебе хочется быть тем, что эти римляне именуют передовой женщиной. *(Уходит, хлопая дверью.)*

Клеопатра *(садясь)*. Ну, Потин, зачем старался ты подкупить Фтататиту и проникнуть ко мне?

Потин *(смотрит на нее испытующе)*. Клеопатра, то, что мне сказали, — правда: ты изменилась.

Клеопатра. Попробуй, поговори с Цезарем полгода день за днем, и ты изменишься.

Потин. Все говорят, что ты без ума от этого старика.

Клеопатра. Без ума? Что это такое? Лишилась рассудка? О нет! Я бы хотела его лишиться.

Потин. Ты хотела бы лишиться рассудка? Что ты хочешь сказать?

Клеопатра. Когда я была безрассудной, я делала то, что мне было приятно, когда не боялась, что Фтататита побьет меня. Но и тогда я обманывала ее и украдкой делала по-своему. Теперь, когда Цезарь дал мне мудрость, мне нет дела до того, нравится мне что-то или не нравится: я делаю то, что должно делать, мне некогда думать о себе. Это не счастье, но это величие. Если Цезарь уедет, я полагаю, что сумею управлять египтянами, ибо то, что Цезарь для меня, то я для окружающих меня глупцов.

Потин *(пристально смотрит на нее)*. Клеопатра, может быть, это тщеславие юности?

Клеопатра. Нет, нет! Это не значит, что я так уж умна, а просто, что другие – слишком глупы.

Потин *(задумчиво)*. Да, это великий секрет.

Клеопатра. Ну, теперь расскажи, что ты хочешь?

Потин *(в затруднении)*. Я? Ничего.

Клеопатра. Ничего?

Потин. Кроме того, чтобы просить тебя вернуть мне свободу. Это все.

Клеопатра. Об этом ты пришел бы молить Цезаря. Нет, Потин, ты явился с умыслом, уповая на то, что Клеопатра все еще глупый котенок. А теперь, когда ты видишь царицу, твои замыслы разрушились.

Потин *(покорно склоняя голову.)* Это так.

Клеопатра *(торжествуя)*. Ага!

Потин *(устремляя на нее проницательный взгляд)*. Так, значит, Клеопатра поистине царица, она больше не пленница, не рабыня Цезаря?

Клеопатра. Потин, все мы – рабы Цезаря, все в Египте, хотим мы этого или нет. И та, чьей мудрости открыто это, будет властительницей Египта, когда уйдет Цезарь.

Потин. Ты все повторяешь, что Цезарь уйдет.

Клеопатра. А если и так?

Потин. Значит, он не любит тебя?

Клеопатра. Любит? Потин, Цезарь никого не любит. Кого любим мы? Лишь тех, кого мы не ненавидим. Все люди чужды нам, все нам враги, кроме тех, кого мы любим. Но Цезарь не таков: он не знает ненависти, он дружит с каждым так же, как он дружит с собаками или детьми. Его доброта ко мне поистине чудо: ни мать, ни отец, ни нянька никогда не умели так заботиться обо мне, никто не делился со мной так просто своими мыслями.

Потин. Разве это не любовь?

Клеопатра. Любовь? Таков же будет он для любой девчонки, что встретится ему на пути в Рим. Спроси раба его, Британа, он так же добр к нему. Что говорить? Спроси его коня. Его доброта не такова, чтобы любить что-то такое, что есть во мне, она просто в природе его.

Потин. Как можешь ты знать, что он не любит тебя так, как мужчина любит женщину?

Клеопатра. Я не могу заставить его ревновать. Я пыталась.

Потин. Гм! Может быть, мне следовало бы спросить: а ты любишь его?

Клеопатра. Как любить бога? И потом я люблю другого римлянина, я видела его задолго до Цезаря. Он не бог, он человек — он умеет любить и ненавидеть. Я могу заставить его страдать, и он может заставить страдать меня.

Потин. И Цезарь знает это?

Клеопатра. Да.

Потин. И не гневается?

Клеопатра. Он обещал послать его в Египет, чтобы угодить мне.

Потин. Не понимаю этого человека.

Клеопатра *(с величественным презрением)*. Тебе — понять Цезаря! Где тебе! *(Горделиво.)* Я понимаю его — душой.

Потин *(поразмыслив, с величайшим почтением)*. Твое величество изволило допустить меня к себе. Что соизволит сказать мне царица?

Клеопатра. А вот что. Ты думал, что, посадив моего брата на трон, ты будешь править Египтом, ибо ты опекун его, а он малыш и глупец?

Потин. Так говорит царица.

Клеопатра. Царица говорит тебе: Цезарь проглотит и тебя, и Ахилла, и брата моего, как кошка глотает мышь. Он накинет себе на плечи эту страну, как пастух накидывает на себя бурнус. А когда он сделает это, он уйдет в Рим, а Клеопатра останется править Египтом от имени его.

Потин *(яростно)*. Этого не будет. У нас тысяча воинов против его десяти. В море загоним мы и его и его нищие легионы.

Клеопатра *(с презрением, поднимаясь)*. Ты мелешь вздор, как простолюдин. Ступай, веди свои тысячи. И поторопись, ибо Митридат Пергамский недалеко, и он ведет новое войско Цезарю. Цезарь сумел обуздать вас здесь с двумя легионами; посмотрим, что сделает он, когда у него будет двадцать!

Потин. Клеопатра!

Клеопатра. Довольно, довольно! Это Цезарь сбил меня с толку, и я, следуя его примеру, позволила себе говорить с таким ничтожеством, как ты. *(Уходит.)*

Потин, взбешенный, идет за ней. Появляется Фтататита и останавливает его.

Потин. Дай мне уйти из этого ненавистного дома.

Фтататита. Ты гневаешься?

Потин. Да падут на нее проклятия всех богов! Она продала страну свою римлянину затем, чтобы выкупить ее своими поцелуями.

Фтататита. Глупец, разве она не сказала тебе, что она ждет, чтобы Цезарь уехал?

Потин. Ты подслушивала?

Фтататита. Я позаботилась о том, чтобы честная женщина была на страже здесь, в то время как ты оставался с ней.

Потин. Клянусь богами...

Фтататита. Кому здесь нужны твои боги! Здесь правят боги Цезаря. И какой толк, что *ты* приходишь к Клеопатре? Ты ведь египтянин. Она не желает слушать никого из своего народа. Она считает нас детьми.

Потин. Да погибнет она за это!

Фтататита *(мрачно)*. Да отсохнет у тебя язык за такие слова! Иди! Пришли сюда Луция Септимия, убийцу Помпея. Он римлянин; может быть, она послушает его. Ступай!

Потин *(зловеще)*. Я знаю, к кому мне пойти...

Фтататита *(подозрительно)*. К кому же?

Потин. К римлянину помогущественней, чем Луций. И запомни, домоправительница: ты думала, до того как явился Цезарь, что будешь со своей кликой править Египтом от имени Клеопатры; я воспротивился этому...

Фтататита *(прерывает его, бранчливо)*. Да, а ты думал, что ты с твоей кликой будешь править от имени Птолемея?

Потин. Лучше я или даже ты, чем женщина с римским сердцем; а это то, чем стала теперь Клеопатра. Пока я жив, она не будет править. Запомни это! *(Уходит.)*

Близится время обеда. Стол накрыт на кровле дворца; туда-то и поднимается Руфий, ему предшествует величественный придворный с жезлом; сзади идет раб и несет на руках инкрустированный табурет. Преодолев бесчисленные ступени, они, наконец, вступают под внушительную колоннаду кровли. Легкие занавеси протянуты между северными и восточными колоннами, дабы смягчить жар лучей заходящего солнца. Придворный подводит Руфия к одному из этих затененных мест. Шнур от занавесей висит между колоннами.

Придворный *(с поклоном)*. Римский военачальник будет ожидать Цезаря здесь.

Раб ставит табурет около самой южной колонны и исчезает за занавесями.

Руфий *(усаживается, он несколько запыхался)*. Уф! Вот это лестница! Высоко ли здесь?

Придворный. Мы на кровле дворца, о любимец побед!

Руфий. Хорошо, что любимцу не нужно карабкаться еще выше.

С противоположной стороны, пятясь, входит второй придворный.

Второй придворный. Цезарь идет.

Входит Цезарь. Он только что выкупался и облачился в новую пурпурную шелковую тунику; вид у него сияющий, праздничный. За ним идут два раба и несут легкое ложе — нечто вроде скамьи, украшенной тонкой резьбой. Они ставят его возле самой северной из затянутых занавесями колонн и исчезают. Оба придворных с церемонными поклонами следуют за ними. Руфий встает навстречу Цезарю.

Цезарь *(подходя к нему)*. А, Руфий! *(Разглядывает его одеяние с восхищенным удивлением.)* Новая перевязь! Новый золотой эфес на мече! Да ты подстригся! А бороду — нет, непостижимо уму! *(Нюхает бороду Руфия.)* Так и есть! Клянусь Юпитером Олимпийским, он надушился!

Руфий *(ворчливо)*. Ладно, ведь не для себя же я старался.

Цезарь *(нежно)*. Нет, Руфий, сын мой, для меня, конечно. Дабы почтить день моего рождения.

Руфий *(пренебрежительно)*. День рождения! У тебя каждый раз день рождения, как только надо умаслить какую-нибудь смазливую девчонку или утихомирить какого-нибудь посла. За последние десять месяцев у тебя их было семь.

Цезарь *(сокрушенно)*. Да, Руфий, это верно. Никак не могу отучить себя от этих маленьких хитростей.

Руфий. Кто обедает с нами, кроме Клеопатры?

Цезарь. Аполлодор, сицилиец.

Руфий. Этот щелкопер?

Цезарь. Полно. Этот щелкопер — забавный враль, всегда может рассказать что-нибудь, спеть песню и избавляет нас от труда расточать любезности Клеопатре. Что для нее

два таких старых политика, эдакие лагерные медведи, вроде нас с тобой? Нет, Аполлодор в компании — чудесный малый, Руфий, чудесный малый.

Руфий. Да, он немножко плавает, немножко фехтует... Мог бы и хуже быть. Вот если бы он еще научился держать язык на привязи!..

Цезарь. Да пощадят его от этого боги. Ох, эта жизнь воина! Скучная, грубая жизнь — жизнь дела. Это самое худшее в нас, римлянах. Труженики, работяги, пчелиный рой, обращенный в народ. То ли дело краснобай с таким умом и воображением, которые могут избавить человека от необходимости вечно что-нибудь делать!

Руфий. Гм, сунулся бы он к тебе со всем этим после обеда! Ты замечаешь, что я пришел раньше, чем положено?

Цезарь. Н-да, я сразу подумал, что это неспроста. Ну, что случилось?

Руфий. Нас слышат здесь?

Цезарь. Наше уединение располагает к подслушиванию, но это можно исправить. *(Дважды хлопает в ладоши.)*

Занавеси раздвигаются, за ними открывается висячий сад, посреди которого стоит празднично убранный стол с четырьмя приборами — два на противоположных концах, два рядом. Конец стола, ближе к Цезарю и Руфию, уставлен золотыми ковшами и чашами. Величественный дворецкий наблюдает за целым штатом рабов, которые суетятся вокруг стола. По обе стороны сада идут колонны, и только в самой глубине — просвет, наподобие большой арки, ведущей на западный конец кровли, откуда открывается широкий горизонт. В глубине, посреди этой арки, на массивном пьедестале восседает бог Ра, с головой сокола, увенчанный аспидом и диском. У подножия его стоит алтарь из гладкого белого камня.

Ну вот, теперь нас видят все, и никому не придет в голову подслушивать нас. *(Садится на ложе, которое принесли рабы.)*

Руфий *(усаживаясь на свой табурет)*. Потин хочет говорить с тобой. Советую тебе повидаться с ним: тут какие-то козни среди женщин.

Цезарь. А кто это такой, Потин?

Руфий. Да этот, у которого волосы как беличий мех, — поводырь маленького царька, твой пленник.

Цезарь *(досадливо)*. И он не убежал?

Руфий. Нет.

Цезарь *(грозно поднимаясь)*. Почему? Зачем ты стережешь его, вместо того чтобы наблюдать за врагом? Разве не говорил я тебе, что пленникам надо всегда давать возможность бежать, если о них нет особых распоряжений. Ртов у нас и без него немало.

Руфий. Верно! Если бы у тебя было немного здравого смысла и ты позволил бы мне перерезать ему горло, наши рационы были бы целее. Но, как бы там ни было, он бежать *не хочет*. Три караула грозили ему, что проткнут его пилумом, если он снова попадется им на глаза. Что они еще могут сделать? Он предпочитает оставаться и шпионить за нами. Так же поступил бы и я на его месте, если бы имел дело с военачальником, страдающим припадками великодушия.

Цезарь *(которому нечего возразить, садится снова)*. Гм! И он хочет видеть меня?

Руфий. Да. Я захватил его с собой. Он ждет там *(показывает через плечо)*, под стражей.

Цезарь. И ты хочешь этого?

Руфий *(упрямо)*. Я ничего не хочу. Полагаю, что ты поступишь так, как тебе нравится. Пожалуйста, не сваливай на меня.

Цезарь *(всем видом показывает, что он делает это только из желания угодить Руфию)*. Ну, хорошо, хорошо! Давай его сюда.

Руфий *(кричит)*. Эй, стража! Отпустите пленника, пусть он идет сюда. *(Показывает рукой.)* Иди сюда!

Входит Потин и недоверчиво останавливается между ними, переводя глаза с одного на другого.

Цезарь *(приветливо)*. А, Потин! Добро пожаловать! Что у тебя нового сегодня?

Потин. Цезарь, я пришел предостеречь тебя от опасности и сделать тебе одно предложение.

Цезарь. Брось опасности, давай предложение.

Руфий. А ну тебя с предложениями! Говори, какая опасность?

Потин. Ты думаешь, Цезарь, что Клеопатра предана тебе?

Цезарь *(внушительно)*. Друг, я сам знаю, что думаю. Переходи к твоему предложению.

Потин. Я буду говорить прямо. Не знаю, какие неведомые боги дали тебе силу защищать дворец и небольшой клочок берега против целого города и войска. Мы отрезали тебя от озера Мареотиса, но ты выкопал колодцы в соленых морских песках и черпаешь оттуда ведрами пресную воду,

и мы узнали, что боги твои непобедимы и что ты можешь творить чудеса. Я ныне не угрожаю тебе.

Руфий *(насмешливо)*. Вот как! Очень великодушно с твоей стороны.

Потин. Да будет так. Ты – повелитель. Наши боги послали нам северо-западные ветры, дабы ты остался в наших руках, но ты сильнее их.

Цезарь *(ласково понукая его, чтобы он перешел к делу)*. Да, да, мой друг. Что же дальше?

Руфий. Выкладывай приятель. Что у тебя на уме?

Потин. Я хочу сказать, что в твоем лагере есть предательница, Клеопатра...

Дворецкий *(у стола провозглашает)*. Царица!

Цезарь и Руфий встают.

Руфий *(в сторону Потина)*. Тебе надо было выложить все это поскорей, дубина! Теперь поздно.

Клеопатра, в роскошнейшем одеянии, величественно появляется в арке колоннады и проходит мимо изображения Ра и мимо стола к Цезарю. Ее приближенные, возглавляемые Фтататитой, присоединяются к слугам у стола. Цезарь предлагает Клеопатре свое место Она садится.

Клеопатра *(живо, увидев Потина)*. А он что здесь делает?

Цезарь *(усаживается рядом с ней в самом приветливом расположении духа)*. Только что начал мне что-то рассказывать о тебе. Ты сейчас услышишь. Продолжай, Потин.

Потин *(в замешательстве)*. Цезарь... *(Осекается.)*

Цезарь. Ну, говори.

Потин. То, что я имею сказать, это для твоего слуха, а не для слуха царицы.

Клеопатра *(подавляя ярость)*. Есть средства заставить тебя говорить. Берегись!

Потин *(вызывающе)*. Цезарь не прибегает к этим средствам.

Цезарь. Друг, когда человеку в этом мире не терпится что-нибудь сказать, трудность не в том, чтобы заставить его говорить, а в том, чтобы помешать ему повторять это чаще, чем нужно. Позволь мне ознаменовать день моего рождения дарованием тебе свободы. Прощай! Мы больше не встретимся.

Клеопатра *(гневно)*. Цезарь, твое великодушие безрассудно.

Потин *(Цезарю)*. Позволь мне побеседовать с тобой с глазу на глаз. Быть может, жизнь твоя зависит от этого.

Цезарь величественно поднимается.

Руфий *(Потину)*. Осел! Теперь он пойдет ораторствовать!

Цезарь *(ораторским тоном)*. Потин...

Руфий *(прерывая его)*. Цезарь, обед простынет, если ты заведешь свою любимую проповедь насчет жизни и смерти.

Клеопатра *(внушительно)*. Замолчи, Руфий. Я хочу слушать Цезаря.

Руфий *(бесцеремонно)*. Твое величество уже слышало все это. На прошлой неделе ты это повторяла Аполлодору, и он думал, что это твое собственное измышление.

Все величие Цезаря мигом исчезает; очень довольный, он снова садится и лукаво поглядывает на разъяренную Клеопатру.

(Кричит.) Эй, стража! Выпустите пленника. Он свободен. *(Потину.)* Ну, марш отсюда! Не сумел воспользоваться случаем.

Потин *(запальчивый нрав которого берет верх над его осторожностью)*. Я буду говорить.

Цезарь *(Клеопатре)*. Видишь? Никакая пытка не вырвала бы у него ни слова.

Потин. Цезарь, ты открыл Клеопатре искусство, с помощью которого римляне управляют миром.

Цезарь. Увы, они не умеют управлять даже сами собой. Ну и что же?

Потин. Что? Неужели ты так ослеплен красотой ее, что не видишь, как она жаждет царствовать над Египтом одна и всем сердцем ждет твоего отъезда?

Клеопатра *(вскакивая)*. Лжец!

Цезарь *(скандализованный)*. Что? Спорить? Пререкаться?

Клеопатра *(пристыжена, но вся дрожит от сдерживаемой ярости)*. Нет, я не унижу себя, не стану возражать. Пусть говорит. *(Снова садится.)*

Потин. Я слышал это из ее собственных уст. Ты только орудие для нее: ты должен сорвать корону с головы Птолемея и возложить на ее голову. Предать нас всех в ее руки и себя тоже. А затем Цезарь может отправиться в Рим или во врата смерти, что вернее и ближе.

Цезарь *(спокойно)*. Ну что же, друг, все это так естественно.

Потин *(изумленный)*. Естественно? И тебя не возмущает предательство?

Цезарь. Возмущаться? Что даст мне возмущение, о глупый египтянин? Стану ли я возмущаться ветром, когда он леденит меня, или возмущаться ночью, что заставляет меня спотыкаться в темноте? Стану ли я возмущаться юностью,

когда она отворачивается от старости, или возмущаться честолюбием, которому претит низкопоклонство? Прийти и говорить мне об этом — все равно как если бы ты пришел мне сказать, что завтра взойдет солнце.

Клеопатра *(она больше не в силах сдерживаться)*. Но это ложь! Ложь! Я клянусь!

Цезарь. Это правда, хотя бы ты клялась тысячу раз и верила тому, в чем клянешься.

Клеопатра уже не владеет собой, лицо ее судорожно передергивается.

(Желая загородить ее, Цезарь встает и обращается к Потину и Руфию.) Идем, Руфий, проводим Потина мимо стражи. Мне нужно сказать ему несколько слов. *(Тихо.)* Нужно дать царице время овладеть собой. *(Громко.)* Идем. *(Уводит Потина и Руфия, беседуя с ними по дороге.)* Скажи друзьям твоим, Потин, пусть они не думают, что я противник того, чтобы разумно уладить дела в стране...

Они уходят, и конца фразы не слышно.

Клеопатра *(сдавленным шепотом)*. Фтататита, Фтататита!

Фтататита *(бросается к ней и успокаивает ее)*. Успокойся, дитя, не расстраивайся...

Клеопатра *(прерывает ее)*. Нас кто-нибудь слышит?

Фтататита. Нет, голубка, говори.

Клеопатра. Слушай меня. Если он выйдет из дворца, не показывайся мне на глаза!

Фтататита. Он? По...

Клеопатра *(бьет ее по губам)*. Убей его так, как я убила имя его на устах твоих. Сбрось его со стены, пусть разобьется о камни! Убей, убей, убей его!

Фтататита *(оскаливаясь)*. Смерть собаке!

Клеопатра. Если ты не сделаешь этого, скройся с глаз моих навеки!

Фтататита *(решительно)*. Да будет так! Ты не увидишь лица моего, пока глаза его не оденет мрак.

Возвращается Цезарь с изысканно разодетым Аполлодором и Руфием.

Клеопатра *(Фтататите)*. Возвращайся скорей, скорей!

Фтататита на секунду устремляет на свою повелительницу понимающий взгляд, затем мрачно проходит мимо Ра и скрывается. Клеопатра, словно газель, стремительно бросается к Цезарю.

Так ты вернулся ко мне, Цезарь? *(Ластясь к нему.)* А я думала, ты рассердился. Добро пожаловать, Аполлодор! *(Протягивает ему руку для поцелуя, другой рукой обнимает Цезаря.)*

Аполлодор. Клеопатра изо дня в день становится все более и более женственно-прекрасной.

Клеопатра. Правда, Аполлодор?

Аполлодор. О нет! Это еще далеко от правды. Друг Руфий бросил в море жемчужину – Цезарь выудил драгоценный алмаз.

Цезарь. Цезарь выудил ревматизм, друг мой. Идемте обедать. Обедать!

Идут к столу.

Клеопатра *(прыгая, словно козочка)*. Да, да, обедать. Какой обед я заказала для тебя, Цезарь!

Цезарь. Да? Чем же ты угостишь нас?

Клеопатра. Павлиньими мозгами...

Цезарь *(делая вид, точно у него слюнки текут)*. Павлиньи мозги, Аполлодор!

Аполлодор. Это не для меня. Я предпочитаю соловьиные языки. *(Подходит к столу и занимает место за одним из приборов, которые накрыты рядом.)*

Клеопатра. Жареный вепрь, Руфий!

Руфий *(облизываясь)*. Превосходно! *(Занимает место рядом с Аполлодором, слева.)*

Цезарь *(глядя на свое место, в конце стола, по левую руку от Ра)*. А где же моя кожаная подушка?

Клеопатра *(с другого конца стола)*. Я велела сделать тебе новые.

Дворецкий. Эти подушки, Цезарь, из тончайшего мальтийского шелка, и набиты они розовыми лепестками.

Цезарь. Розовыми лепестками? Разве я гусеница? *(Сбрасывает подушки и усаживается на кожаную подстилку.)*

Клеопатра. Как не стыдно! Мои новые подушки!

Дворецкий *(склонившись у локтя Цезаря)*. Что прикажешь подать себе, Цезарь, дабы возбудить аппетит?

Цезарь. А что есть у тебя?

Дворецкий. Морские ежи, белые и черные морские желуди, морская крапива, лесные жаворонки, багрянки...

Цезарь. А устрицы?

Дворецкий. Конечно, есть и устрицы, Цезарь.

Цезарь. Британские устрицы?

Дворецкий. Британские устрицы, Цезарь.

Цезарь. Тогда — устриц.

Дворецкий, выслушав распоряжение, всякий раз делает знак рабу, и тот исчезает, чтобы привести его в исполнение.

Я был когда-то в Британии, в этой легендарной западной стране. Это последний клочок суши на краю океана, омывающего мир. Я отправился туда на поиски их прославленных жемчужин. Но британские жемчужины оказались басней. Однако, разыскивая их, я нашел британские устрицы.

Аполлодор. Потомство благословит тебя за это. *(Дворецкому.)* Мне — морских ежей!

Руфий. А нет ли чего-нибудь посолидней для начала?

Дворецкий. Дрозды со спаржей...

Клеопатра *(перебивая)*. Откормленные каплуны. Скушай каплуна, Руфий.

Руфий. Вот это дело!

Клеопатра *(жадно)*. А мне — дроздов.

Дворецкий. Какое вино соблаговолит выбрать Цезарь? Сицилийское, лесбосское, хиосское...

Руфий *(пренебрежительно)*. Всё греческие вина.

Аполлодор. Кто станет пить римское вино, когда есть греческое? Отведай лесбосского, Цезарь.

Цезарь. Подайте мне мой ячменный отвар.

Руфий *(с величайшим омерзением)*. Фу, дайте мне моего фалернского.

Ему подают фалернское.

Клеопатра *(надувшись)*. Пустая трата времени — устраивать для тебя обеды, Цезарь. Мои поварята не согласились бы сидеть на такой пище, как ты.

Цезарь *(уступая)*. Хорошо, хорошо! Попробую лесбосского.

Дворецкий наполняет кубок Цезаря, затем Клеопатры и Аполлодора.

Но когда я вернусь в Рим, я издам законы против этих излишеств и даже позабочусь, чтобы законы эти выполнялись.

Клеопатра *(умильно)*. Ну стоит ли об этом думать? Сегодня ты будешь, как и все другие: ленивым, разнеженным и добрым. *(Протягивает ему руку через стол.)*

Цезарь. Ну хорошо, один раз я готов пожертвовать своим покоем. *(Целует ее руку.)* Ну вот! *(Отпивает глоток вина.)* Теперь ты довольна?

Клеопатра. А ты больше не думаешь, что я только о том и мечтаю, чтобы ты уехал в Рим?

Цезарь. Я сейчас ни о чем не думаю. Мои мозги спят. К тому же, кто знает, вернусь ли я когда-нибудь в Рим?

Руфий *(встревоженный)*. Как? Что? Этого еще не хватало.

Цезарь. Что может показать мне Рим, чего бы я уже не видел раньше? Годы в Риме идут один за другим, ничем не отличаясь друг от друга, разве только тем, что я старею, а толпа на Аппиевой дороге остается все в том же возрасте.

Аполлодор. То же и здесь, в Египте. Старики, пресытившись жизнью, говорят: «Мы видели все, кроме истоков Нила».

Цезарь *(загораясь)*. А почему бы нам не взглянуть на эти истоки? Клеопатра, хочешь, поедем со мной и проследим этот великий поток до его колыбели — там, в недрах неведомых стран? Оставим позади Рим — Рим, который достиг величия только затем, чтобы узнать, как величие порабощает племена и народы, коим не удалось стать великими. Хочешь, я создам для тебя новое царство и построю священный город — там, в лоне Великого Неведомого?

Клеопатра *(восхищенно)*. Да, да, сделай это!

Руфий. Ну вот, теперь он завоюет всю Африку двумя легионами, пока мы доберемся до жареного вепря.

Аполлодор. Нет, не смейся. Это благородный замысел: Цезарь, мечтающий об этом, не просто солдат-завоеватель, но творец и художник. Давайте придумаем имя священному городу и освятим его лесбосским вином.

Цезарь. Пусть придумает сама Клеопатра.

Клеопатра. Он будет называться: Дар Цезаря возлюбленной.

Аполлодор. Нет, нет. Что-нибудь более величественное, такое, что обнимало бы весь мир, как звездный небосвод.

Цезарь *(прозаически)*. Почему не назвать просто: Колыбель Нила?

Клеопатра. Нет. Ведь Нил — мой предок, и он бог. Ах, что я придумала! Пусть Нил сам подскажет имя. Давайте спросим его. *(Дворецкому.)* Пошли за ним.

Трое мужчин в недоумении переглядываются, но дворецкий уходит, словно он получил самое обычное распоряжение.

(Свите.) А вы удалитесь.

Свита удаляется с почтительными поклонами. Входит жрец; в руках у него маленький сфинкс с крошечным тре-

ножником перед ним. На треножнике курится кусочек фимиама. Жрец подходит к столу и ставит сфинкса посредине. Освещение начинает меняться, принимая пурпурно-багряный оттенок египетского заката, словно бог принес с собой эту странно окрашенную мглу. Мужчины смотрят с твердой решимостью не поддаваться впечатлению, но, несмотря на это, они все же сильно заинтересованы.

Цезарь. Что это за фокусы?

Клеопатра. Ты увидишь. Это не фокусы. По-настоящему нам следовало бы убить кого-нибудь, чтобы умилостивить его, но, может быть, Цезарю он ответит и так, если мы совершим ему возлияние вином.

Аполлодор *(кивая через плечо в сторону Ра)*. А почему бы нам не обратиться вот к этому нашему сокологлавому приятелю?

Клеопатра *(тревожно)*. Ш-ш-ш!.. Смотри, он услышит и разгневается.

Руфий *(флегматично)*. Источник Нила, надо полагать,— это не в его ведении.

Клеопатра. Нет. Я не хочу, чтобы кто-нибудь, кроме моего дорогого маленького сфинксика, придумывал имя моему городу, потому что ведь это в его объятиях Цезарь нашел меня спящей. *(Томно смотрит на Цезаря, затем повелительно обращается к жрецу.)* Иди! Я — жрица. И я имею власть взять это на себя.

Жрец низко кланяется и уходит.

Ну, теперь давайте вызывать Нил все вместе. Может быть, он стукнет по столу.

Цезарь. Что? Стучащие столы? И такие суеверия существуют по сие время, на семьсот седьмом году республики?

Клеопатра. Это вовсе не суеверие. Наши жрецы многое узнают от столов. Правда ведь, Аполлодор?

Аполлодор. Да. Я объявляю себя обращенным. Когда Клеопатра — жрица, Аполлодор становится фанатиком. Твори заклинанье.

Клеопатра. Вы должны повторять за мной. Пошли нам голос твой, отец Нил!

Все четверо *(вместе, поднимая кубки перед идолом)*. Пошли нам голос твой, отец Нил!

В ответ раздается предсмертный вопль человека, полный смертельного ужаса. Потрясенные мужчины опускают

кубки и прислушиваются. Тишина. Пурпурное небо темнеет Цезарь, бросив взгляд на Клеопатру, видит, как она с горящим взором, полным благоговения и благодарности, выплескивает перед божком вино из кубка. Аполлодор вскакивает и бежит на край кровли, смотрит вниз и прислушивается.

Цезарь *(пронизывая взглядом Клеопатру)*. Что это было?

Клеопатра *(раздраженно)*. Ничего. Побили какого-нибудь раба.

Цезарь. Ничего?

Руфий. Готов поклясться, что в кого-то всадили меч.

Цезарь *(поднимаясь)*. Убийство?

Аполлодор *(машет им рукой, чтобы они замолчали)*. Ш-ш-ш! Тише! Вы слышали?

Цезарь. Опять крик?

Аполлодор *(возвращаясь к столу)*. Нет, что-то грохнулось о землю. Как будто упало на берег.

Руфий *(мрачно, поднимаясь)*. Что-то такое с костями, похоже.

Цезарь *(содрогаясь)*. Замолчи, замолчи, Руфий. *(Выходит из-за стола и идет к колоннаде.)*

Руфий следует за ним слева, Аполлодор справа.

Клеопатра *(по-прежнему за столом)*. Ты покидаешь меня, Цезарь? Аполлодор, ты уходишь?

Аполлодор. Поистине, возлюбленная царица, у меня пропал всякий аппетит.

Цезарь. Сойди вниз, Аполлодор, и узнай, что случилось?

Аполлодор кивает и уходит, направляясь к лестнице, по которой пришел Руфий.

Клеопатра. Должно быть, твои солдаты убили кого-нибудь. Что нам до этого?

Ропот толпы долетает до них снизу. Цезарь и Руфий переглядываются.

Цезарь. Нужно выяснить.

Он собирается последовать за Аполлодором, но Руфий останавливает его, положив ему руку на плечо, и они видят, как с противоположного конца кровли шатающейся походкой идет Фтататита; на лице ее, в глазах, в уголках кровожадного рта тупое, пресыщенное выражение опьянения и довольства. У Цезаря мелькает мысль, что она пьяна, но Руфий хорошо понимает, какая красная влага опьянила ее.

Руфий *(понижая голос)*. Здесь какие-то козни между этими двумя.

Фтататита. Царица да не отвратит очей от лица рабыни своей.

Клеопатра секунду смотрит на нее, упиваясь этой лютой радостью, затем открывает ей объятия, осыпает ее неистовыми поцелуями, срывает с себя драгоценности и сует ей. Мужчины смотрят на эту сцену и переглядываются. Фтататита — сонная, осовелая — тащится, волоча ноги, к алтарю, падает на колени перед Ра и застывает в молитве. Цезарь подходит к Клеопатре, оставив Руфия у колонн.

Цезарь *(испытующе и настойчиво)*. Клеопатра, что случилось?

Клеопатра *(в смертельном страхе перед ним, но с необыкновенной умильностью)*. Ничего, возлюбленный Цезарь мой. *(С болезненной нежностью, почти замирающим голосом.)* Ничего... Я ни в чем перед тобой не виновата. *(Ласково подвигается к нему.)* Милый Цезарь, ты сердишься на меня? Почему ты так смотришь на меня? Ведь я все время была здесь, с тобой. Как я могу знать, что случилось?

Цезарь *(в раздумье)*. Это верно.

Клеопатра *(с великим облегчением, стараясь подластиться к нему)*. Ну конечно верно!

Он не отвечает на ее ласку.

Ведь правда, Руфий?

Ропот внизу внезапно переходит в угрожающий рев, потом затихает.

Руфий. А вот я сейчас узнаю. *(Крупными шагами стремительно подходит к алтарю и хватает Фтататиту за плечо.)* Ну-ка, ты, госпожа моя, идем за мной. *(Жестом приказывает ей идти впереди него.)*

Фтататита *(поднимаясь и оглядывая его злобным взглядом)*. Мое место возле царицы.

Клеопатра. Она не сделала ничего дурного, Руфий.

Цезарь *(Руфию)*. Оставь ее.

Руфий *(садясь на алтарь)*. Отлично. Тогда мое место тоже тут, а ты сам потрудись узнать, что там такое творится. Похоже, что в городе настоящий бунт.

Цезарь *(с серьезным неудовольствием)*. Руфий, не мешает иногда и повиноваться.

Руфий. А иногда не мешает и поупрямиться. *(Прочно усаживается, упрямо скрестив руки.)*

Цезарь *(Клеопатре)*. Отошли ее.

Клеопатра *(жалобным голосом, стараясь задобрить его)* Хорошо, сейчас. Я сделаю все, что бы ты ни попросил, все, что хочешь, Цезарь, все, что угодно, потому что я люблю тебя! Фтататита, уйди!

Фтататита. Слово царицы – моя воля. Я буду рядом, если царице будет угодно позвать меня. *(Уходит мимо Ра, тем же путем, каким пришла.)*

Руфий *(следует за ней)*. Помни, Цезарь, твой телохранитель тоже будет рядом. *(Уходит за ней.)*

Клеопатра, полагаясь на то, что Цезарь послушается Руфия, выходит из-за стола и садится на скамью у колоннады.

Клеопатра. Почему ты позволяешь Руфию так обращаться с тобой? Ты должен проучить его, чтобы он знал свое место.

Цезарь. Научить его быть моим врагом? И скрывать от меня свои мысли так, как ты их сейчас скрываешь?

Клеопатра *(снова охваченная страхом)*. Почему ты так говоришь, Цезарь? Ну правда, правда же, я ничего не скрываю от тебя. И ты напрасно так говоришь со мной. *(Подавляет рыдание.)* Я дитя по сравнению с тобой, а ты делаешься какой-то каменный только потому, что кто-то кого-то убил. Я не могу этого вынести. *(Нарочно дает волю слезам. Он смотрит на нее с глубокой грустью и невозмутимой холодностью; она украдкой поднимает на него глаза, чтобы узнать, какое впечатление производят на него ее слезы; видя, что это его не трогает, она притворяется, будто делает над собой усилие и мужественно овладевает собой.)* Ну, хорошо, я знаю, ты ненавидишь слезы. Я не буду плакать, чтобы не раздражать тебя. Я знаю, ты не сердишься, ты просто огорчен. Но только я такая глупенькая, я не могу ничего с собой поделать – мне больно, когда ты говоришь со мной так холодно. Конечно, ты совершенно прав: это ужасно – подумать, что кого-то убили или хотя бы ранили. И я надеюсь, что ничего такого не... *(голос ее прерывается от его презрительного, испытующего взгляда.)*

Цезарь. Почему ты в таком страхе? Что ты сделала?

Снизу на берегу раздается рев трубы.

Ага, это похоже на ответ!

Клеопатра *(дрожа, опускается на скамейку и закрывает лицо руками)*. Я не предавала тебя, Цезарь, клянусь!

Цезарь. Я знаю. Я никогда и не полагался на тебя. *(Отворачивается от нее и собирается уйти.)*

В это время появляются Аполлодор с Британом, которые тащат к нему Луция Септимия. За ними идет Руфий.

(Вздрагивает.) Опять этот убийца Помпея!

Руфий. Город обезумел. Они готовы разнести дворец и швырнуть нас всех в море. Мы захватили этого предателя, когда разгоняли толпу на дворе.

Цезарь. Отпустите его.

Они отпускают.

Что оскорбило горожан, Луций Септимий?

Луций. А чего мог ты ожидать другого, Цезарь? Потин был их любимец.

Цезарь. Что случилось с Потином? Я даровал ему свободу, вот здесь, еще не прошло и получаса. Разве его не выпустили из дворца?.

Луций. Его выпустили... из арки, с галереи, с высоты шестидесяти локтей, всадив ему пол-локтя стали между ребер. Он мертв, как Помпей. Мы поквитались в убийствах — ты и я!

Цезарь *(потрясенный)*. Убит? Наш пленник? Наш гость? *(С горьким упреком к Руфию.)* Руфий!

Руфий *(с жаром, предваряя его вопрос)*. Кто бы это ни сделал, это был умный человек и друг тебе.

Клеопатра явно смелеет.

Но никто из нас не причастен к этому. Так что тебе нечего хмуриться на меня.

Цезарь поворачивается и смотрит на Клеопатру.

Клеопатра *(бурно, поднявшись)*. Он был убит по повелению царицы Египта. Я не Юлий Цезарь — мечтатель, который позволяет всякому рабу оскорблять себя. Руфий сказал, что я поступила хорошо. Пусть также и другие судят меня. *(Поворачивается к остальным.)* Этот Потин домогался от меня, чтобы я вступила с ним в заговор, дабы предать Цезаря Ахиллу и Птолемею. Я отказалась. Он проклял меня и тайком пришел к Цезарю, чтобы обвинить меня в своем собственном предательстве. Я застигла его

на месте. И он оскорбил меня — меня, царицу! — в лицо Цезарь не захотел отомстить за меня. Он снял с него вину и отпустил его на свободу. Разве я не вправе была отомстить за себя? Говори, Луций!

Луций. Я не оспариваю. Но Цезарь не поблагодарит тебя за это.

Клеопатра. Говори, Аполлодор. Разве я не права?

Аполлодор. У меня только одно возражение, прекраснейшая. Ты должна была обратиться ко мне, твоему рыцарю, и в честном поединке я поразил бы клеветника.

Клеопатра *(пламенно)*. Пусть даже раб твой судит меня, Цезарь. Британ, говори. Разве я не права?

Британ. Там, где предательство, ложь и бесчестие остаются безнаказанными, общество уподобляется арене, полной диких зверей, разрывающих друг друга на части. Цезарь не прав.

Цезарь *(со спокойной горечью)*. Итак, по-видимому, приговор против меня.

Клеопатра *(в исступлении)*. Слушай меня, Цезарь. Если во всей Александрии найдется хоть один человек, который скажет, что я не права, клянусь тебе — я прикажу моим собственным рабам распять меня на двери дворца.

Цезарь. Если в целом мире, ныне или когда-либо, найдется хоть один человек, который поймет, что ты была не права, этому человеку придется или завоевать мир, как это сделал я, или этот мир распнет его.

Снизу снова доносится рев толпы.

Ты слышишь? Те, что ломятся сейчас в ворота твоего дворца, тоже верят в отмщение и убийство. Ты убила их вождя, и они будут правы, если убьют тебя. Если ты не веришь, спроси этих твоих четырех советчиков. А тогда, во имя того же права *(с величайшим презрением подчеркивает это слово)*, разве я не должен буду убить их за то, что они убили свою царицу, и быть убитым в свою очередь их соотечественниками за то, что я вторгся в отчизну их? И что же тогда останется Риму, как не убить этих убийц, чтобы мир увидал, как Рим мстит за сынов своих и за честь свою? И так до скончания века — убийство будет порождать убийство, и всегда во имя права и чести и мира, пока боги не устанут от крови и не создадут породу людей, которые научатся понимать.

Неистовый рев, Клеопатра белеет от ужаса.

Слушай же, ты, которую не должно оскорблять! Поди, приблизься к ним, послушай их слова. Ты узнаешь, что они горше, чем язык Потина. *(Торжественно, облекаясь в непроницаемое величие.)* Так пусть же царица Египта приступит ныне к отмщению, и да защитит она ныне сама себя, ибо она отреклась от Цезаря. *(Поворачивается, чтобы уйти.)*

Клеопатра *(в ужасе бежит за ним, падает перед ним на колени)*. Цезарь, ты не покинешь меня! Цезарь, ты будешь защищать дворец!

Цезарь. Ты взяла на себя власть над жизнью и смертью. А я всего лишь мечтатель.

Клеопатра. Но ведь они убьют меня!

Цезарь. А почему бы им не убить тебя?

Клеопатра. Сжалься!

Цезарь. Сжалиться? Как же это вдруг случилось, что ничто не может спасти тебя ныне, кроме жалости? Разве она спасла Потина?

Клеопатра вскакивает, ломая руки, и в отчаянии снова опускается на скамью. Аполлодор, в знак сочувствия, безмолвно становится позади нее. Небо теперь уже пышет ярким багрянцем и, постепенно угасая, затягивается бледно-оранжевой мглой, на фоне которой колоннада и священный истукан кажутся все темнее и темнее.

Руфий. Цезарь, довольно ораторствовать. Враг у ворот.

Цезарь *(набрасывается на него, давая волю своему гневу)*. Да? А что удерживало его у этих ворот все эти месяцы? Мое безумие, как ты говоришь, или ваша мудрость? В этом Красном египетском море крови чья рука удерживала головы ваши над волнами? *(Обращаясь к Клеопатре.)* И вот, когда Цезарь говорит одному из них: «Друг, иди и будь свободен!», ты, которая теперь цепляешься за мой меч ради спасения своей маленькой жизни, ты осмеливаешься тайком нанести ему удар в спину. А вы, воины и благороднорожденные честные слуги, вы забываете о благородстве и чести и восхваляете убийство и говорите: «Цезарь не прав». Клянусь богами, меня искушает желание разжать руку и предоставить всем вам погибнуть в этой пучине!

Клеопатра *(с коварной надеждой)*. Но, Цезарь, если ты это сделаешь, ты же сам погибнешь!

Глаза Цезаря вспыхивают.

Руфий *(в сильном смятении)*. Ах, клянусь Юпитером, она подзадоривает его, эта гнусная маленькая египетская крыса! Ему ничего не стоит ринуться одному в город, и тогда всех нас здесь изрубят на куски. *(С отчаянием, Цезарю.)* Неужели ты бросишь нас, оттого что мы кучка глупцов? Ведь я убиваю без зла, я делаю это по инстинкту, как собака душит кошку. Все мы псы, что бегут по следам твоим; но мы служили тебе верно.

Цезарь *(смягчаясь)*. Увы, сын мой, сын мой Руфий! Вот мы и погибнем на улицах, как псы.

Аполлодор *(на своем посту, позади Клеопатры)*. Цезарь, я слышу в твоих словах глас олимпийца. И в словах твоих истина, ибо в них – высокое искусство. Но я не покину Клеопатру. Если нам суждено умереть, да не лишится она в последнюю минуту преданного сердца мужского и крепкой мужской руки.

Клеопатра *(всхлипывая)*. Но я не хочу умирать!

Цезарь *(грустно)*. О недостойная, недостойная!

Луций *(становится между Цезарем и Клеопатрой)*. Слушай меня, Цезарь. Может быть, это и правда недостойно, но я тоже хочу прожить как можно дольше.

Цезарь. Ну что же, друг, наверно, ты переживешь Цезаря. Уж не думаешь ли ты, что я с помощью каких-то волшебных чар так долго держал армию вашу и целый город в страхе? Был ли я столь ненавистен им еще вчера, чтобы они, рискуя жизнью, поднялись против меня? Но сегодня мы убили их героя и швырнули им его труп. И теперь каждый из них готов разнести это гнездо убийц – ибо таковы мы, и не более того. Мужайтесь же и приготовьте ваши мечи. Голова Помпея упала, и голова Цезаря ныне готова упасть.

Аполлодор. Цезарь отчаивается?

Цезарь *(с бесконечной гордостью)*. Тот, кто никогда не знал надежды, не может отчаиваться. В худой или в добрый час – Цезарь всегда глядит в лицо своей судьбе.

Луций. Гляди же ей в лицо и сейчас, и она улыбнется, как всегда улыбалась Цезарю.

Цезарь *(с невольным высокомерием)*. Ты осмеливаешься ободрять меня?

Луций. Я предлагаю тебе мои услуги. Я готов перейти на твою сторону, если ты примешь меня.

Цезарь *(внезапно снова спускаясь на землю, смотрит на него испытующим взглядом, стараясь угадать, что скрывается за этим предложением)*. Ты? В эту минуту?

Луций *(твердо)*. В эту минуту.

Руфий. Ты думаешь, что Цезарь лишился рассудка и поверит тебе?

Луций. Я не прошу его верить мне, пока он не одержит победы. Я прошу даровать мне жизнь и службу в войсках Цезаря. И так как Цезарь верен своему слову, я заплачу ему вперед.

Цезарь. Заплатишь? Как?

Луций. Доброй вестью, Цезарь.

Цезарь угадывает на лету.

Руфий. Какой вестью?

Цезарь *(с торжествующей, кипучей энергией, которая заставляет Клеопатру выпрямиться; она не сводит с него глаз)*. Какая весть, спрашиваешь ты, сын мой Руфий? Пришло подкрепление, какая еще может быть для нас добрая весть! Не так ли, Луций Септимий? Сюда идет Митридат Пергамский.

Луций. Он взял Пелузий.

Цезарь *(в восхищении)*. Луций Септимий! Отныне ты у меня на службе. Руфий, египтяне увели из города всех солдат до последнего, чтобы не дать Митридату переправиться через Нил. На улицах только чернь, чернь!

Луций. Это так. Митридат идет большой дорогой к Мемфису, он переправится через воды Нила выше Дельты. Ахилл даст ему бой у переправы.

Цезарь *(весь дерзновенье)*. Ахилл встретит там Цезаря! Смотри, Руфий. *(Подбегает к столу, хватает салфетку, окунает палец в вино и начинает чертить план.)*

Руфий и Луций Септимий стоят рядом, низко нагнувшись над чертежом, ибо дневной свет уже почти угас.

Вот дворец *(показывает на план)*, вот театр. Ты *(Руфию)* возьмешь двадцать человек и выйдешь здесь, чтобы они подумали, что ты хочешь идти этой улицей *(показывает)*, а в то время пока они будут осыпать вас камнями, вот здесь *(показывает)* и здесь пройдут наши когорты. Правильно ли я начертил улицы, Луций?

Луций. Да, здесь финиковый базар...

Цезарь *(в возбуждении, не слушая его)*. Я видал их в тот день, когда мы пришли. Прекрасно! *(Бросает салфетку на стол и снова идет к колоннам.)* Спеши, Британ! Скажи Петронию, что в течение часа половина наших сил должна отправиться на кораблях к Западному озеру. С ос-

тальными я обогну озеро и выйду к Нилу, навстречу Митридату. Приготовь моего коня и вооружение. Иди, Луций, и передай приказ.

Луций поспешно идет за Британом.

Аполлодор, одолжи мне твой меч и твою правую руку на этот поход.

Аполлодор. Охотно. И сердце мое и жизнь в придачу.

Цезарь *(стискивая его руку)*. Принимаю и то и другое. *(Крепкое рукопожатие.)* Готов ты на дело?

Аполлодор. Готов служить искусству – искусству войны. *(Бросается вслед за Луцием, совершенно забыв о Клеопатре.)*

Руфий. Да, это похоже на дело.

Цезарь *(воодушевленно)*. Не правда ли, сын мой единственный? *(Хлопает в ладоши.)*

Рабы появляются и бегут к столу.

Довольно этого отвратительного обжорства. Уберите всю эту гадость с глаз долой и убирайтесь вон.

Рабы начинают убирать стол. Занавеси сдвигаются, закрывая колоннаду.

Понял ты насчет улиц?

Руфий. Думаю, что да. Во всяком случае, я пройду.

Во дворе внизу оживленный призыв буцины.

Цезарь. Идем же. Мы должны сказать слово воинам и воодушевить их. Ты – на берег. Я – во двор. *(Поворачивается к лестнице.)*

Клеопатра *(поднимаясь со своего кресла, где она сидела, забытая всеми, робко протягивает к нему руки)*. Цезарь!

Цезарь *(оборачивается)*. Что?

Клеопатра. Ты забыл обо мне?

Цезарь *(снисходительно)*. Мне сейчас некогда, дитя мое, очень некогда. Когда я вернусь, мы уладим все твои дела. Прощай! Будь умницей и потерпи. *(Уходит, очень озабоченный и совершенно равнодушный.)*

Клеопатра стоит, сжимая кулаки в немой ярости и унижении.

Руфий. Игра кончена, Клеопатра, и ты проиграла ее. Женщина всегда проигрывает.

Клеопатра *(надменно)*. Иди! Ступай за своим господином!

Руфий *(на ухо ей, с грубоватой фамильярностью)*. Одно словечко сперва: скажи твоему палачу, что если бы Потин был убит половчее – в глотку, он бы не крикнул. Твой раб сплоховал.

Клеопатра *(загадочно)*. Откуда ты знаешь, что это был раб?

Руфий *(озадачен и сбит с толку)*. Но ты этого сделать не могла, ты была с нами. *(Она презрительно поворачивается к нему спиной. Он качает головой и отдергивает занавеси, чтобы уйти.)*

Прекрасная лунная ночь. Стола уже нет. В лунном и звездном свете вырисовывается Фтататита, которая снова стоит коленопреклоненная перед белым алтарем Ра.

(Отшатывается, бесшумно задергивает занавеси и тихо говорит Клеопатре.) Неужели она? Собственной рукой?

Клеопатра *(угрожающе)*. Кто бы это ни был, пусть враги мои остерегаются ее. Берегись и ты, Руфий, осмеявший меня, царицу Египта, перед Цезарем.

Руфий *(угрюмо смотрит на нее)*. Поберегусь, Клеопатра *(Кивает ей в подкрепление своих слов и скрывается за занавесями, вытаскивая на ходу меч из ножен.)*

Римские воины *(во дворе, внизу)*. Слава Цезарю! Слава Слава!

Клеопатра прислушивается. Слышен снова рев буцины и трубные фанфары.

Клеопатра *(кричит, ломая руки)*. Фтататита, Фтататита! Здесь темно, я одна! Иди ко мне!

Молчание.

Фтататита! *(Громче.)* Фтататита!

Безмолвие. Клеопатра в панике дергает шнур, и занавеси раздвигаются. Фтататита лежит мертвая на алтаре Ра, с пронзенным горлом. Белый камень залит ее кровью.

Полдень. Празднество и военный парад на эспланаде перед дворцом. В Восточной гавани у набережной, почти вплотную к тем ступеням, откуда Аполлодор спускался со своим ковром в лодку, стоит пышно убранная, словно вся оснащенная цветами, галера Цезаря. Римская стража охраняет выход на сходни, откуда до середины эспланады, затем заворачивая на север, к главному входу во дворец, тянется красный ковер. На широких ступенях у входа толпятся приближенные женщины Клеопатры в своих самых ярких нарядах — это похоже на цветущий сад. Перед фасадом стоит дворцовая стража под началом все тех же щеголей, которым полгода назад в старом дворце на сирийской границе Бел-Африс возвестил о прибытии Цезаря. Вдоль северной стороны выстроились римские солдаты; позади них теснятся горожане и, поднимаясь на цыпочки, глядят через их головы на эспланаду, по которой, болтая, разгуливают начальники стражи. Среди них Бельзенор и перс, а также центурион с виноградным жезлом в руке. Центурион помят в бою, на нем тяжелые походные сапоги, и его совершенно затмевают египетские офицеры как своими непринужденными манерами, так и нарядной одеждой. Аполлодор прокладывает себе дорогу через толпу горожан и, дойдя до римской стражи, окликает центуриона.

Аполлодор. Эй! Могу я пройти?

Центурион. Пропустите Аполлодора, сицилийца.

Стража расступается.

Бельзенор. Близко ли Цезарь?

Аполлодор. Нет. Он все еще на рыночной площади. Я больше не в состоянии был выносить этот солдатский рев. Когда полчаса подряд подышишь этим энтузиазмом, чувствуешь потребность глотнуть свежего морского воздуха.

Перс. Расскажи нам, что там было? Он предал казни жрецов?

Аполлодор. Это не в его обычае. Они вышли к нему на-

встречу на рыночной площади, посыпав главы свои пеплом, неся в руках своих идолов, и сложили богов своих к его ногам. Единственный, на кого стоило поглядеть, это был Апис: чудесной работы, из золота и слоновой кости. По моему совету Цезарь предложил за него главному жрецу два таланта.

Бельзенор *(в ужасе перед святотатством)*. Апис всеведущий!.. Два таланта!.. Что же сказал главный жрец?

Аполлодор. Он взывал к милосердию Аписа и просил пять.

Бельзенор. Апис не оставит это безнаказанным – голод и буря разразятся над страной.

Перс. Фью! Почему же Апис не помог Ахиллу победить Цезаря? А что слышно о войне, Аполлодор?

Аполлодор. Маленький царь Птолемей утонул.

Бельзенор. Утонул? Как так?

Аполлодор. Да, во время боя. Цезарь ринулся на них с трех сторон сразу и загнал их в волны Нила. Барка Птолемея потонула.

Бельзенор. Поистине удивительный муж, этот Цезарь! Скоро он будет здесь, как ты думаешь?

Аполлодор. Когда я уходил, он только что взялся улаживать еврейский вопрос.

Гром труб с северной стороны и волнение среди горожан возвещают о приближении Цезаря.

Перс. Скоро же он с ним расправился. Вот он приближается *(Поспешно идет к своему посту впереди египетской стражи.)*

Бельзенор *(следуя за ним)*. Эй, стража! Цезарь идет!

Воины выравнивают ряды и становятся навытяжку. Аполлодор подходит к рядам египтян.

Центурион *(поспешно направляется к страже у сходней)*. Смирно! Цезарь идет!

Цезарь, в полном параде, появляется с Руфием, за ними следует Британ. Солдаты встречают Цезаря восторженными криками.

Цезарь. Я вижу, мой корабль ждет меня. Час прощания Цезаря с Египтом настал. Ну, Руфий, что мне еще осталось сделать перед отъездом?

Руфий *(по левую руку от Цезаря)*. Ты еще не назначил римского губернатора в эту провинцию.

Цезарь *(лукаво косится на него, но говорит совершенно серь-*

езно). Что ты скажешь о моем избавителе и спасителе, великом сыне Евпатора, Митридате Пергамском?

Руфий. Что сказать, кроме того, что он тебе еще понадобится? Разве ты забыл, что тебе придется на обратном пути сразить еще три или четыре армии?

Цезарь. Да, это верно. А что бы ты сказал о себе?

Руфий *(недоверчиво)*. Меня губернатором? Ты бредишь! Ты же знаешь, что я сын вольноотпущенника.

Цезарь *(ласково)*. Разве Цезарь не нарек тебя своим сыном? *(Обращаясь к толпе.)* Внимание! Слушайте меня!

Римские воины. Слушайте Цезаря!

Цезарь. Слушайте, я сообщу вам о службе, звании и чине римского губернатора Египта. Служба — щит Цезаря. Звание — друг Цезаря. Чин — римский воин.

Римские воины оглашают площадь торжествующими криками.

Имя — Руфий.

Снова крики.

Руфий *(целуя руку Цезаря)*. Да, я — щит Цезаря! Но что пользы от щита, если он не на руке Цезаря? Ну, не важно... *(Голос у него прерывается, он отворачивается, чтобы овладеть собой.)*

Цезарь. Где островитянин мой, бритт?

Британ *(выступает из-за правого плеча Цезаря)*. Я здесь, Цезарь.

Цезарь. Кто повелел тебе, отвечай мне, броситься в бой у Дельты, издавая варварские крики твоей отчизны, лезть врукопашную один на четверых и непристойно поносить твоих противников египтян?

Британ. Цезарь, я прошу простить меня за грубые слова, они вырвались у меня в пылу боя.

Цезарь. А как же ты, не умея плавать, переплыл канал, когда мы ринулись на врага?

Британ. Цезарь, я ухватился за хвост твоего коня.

Цезарь. Это деяния не раба, Британник, а свободного человека.

Британ. Цезарь, я рожден свободным.

Цезарь. Но тебя зовут рабом Цезаря.

Британ. Только будучи рабом Цезаря, обрел я истинную свободу.

Цезарь *(растроганный)*. Добрая речь! А я, неблагодарный, хотел даровать тебе свободу. Но теперь я не расстанусь

с тобой и за миллион талантов. *(Дружески похлопывает его по плечу.)*

Британ, обрадованный, но несколько пристыженный, берет руку Цезаря и целует ее.

Бельзенор *(персу)*. Этот римлянин знает, как заставить людей служить себе.

Перс. Да. Смиренных людей, которые не могут стать ему соперниками.

Бельзенор. О хитроумный! О циник!

Цезарь *(заметив Аполлодора возле египетской стражи)*. Аполлодор, я поручаю тебе искусство Египта. Не забудь, Рим любит искусство и будет щедро покровительствовать ему.

Аполлодор. Понимаю, Цезарь. Рим сам не создает искусства, но он покупает и берет его себе всюду в тех странах, где его создают.

Цезарь. Что? Рим не создает искусства? А мир – разве не искусство? Война – не искусство? Государство – не искусство? Цивилизация – не искусство? Все это мы даем вам в обмен на несколько безделушек. Ты заключаешь на редкость выгодную сделку. *(Руфию.)* Ну, что же еще должен я сделать перед отплытием? *(С усилием старается припомнить.)* Что-то еще осталось... что бы это такое могло быть? Ну что ж, видно, так уж придется оставить. Попутный ветер нельзя упускать. Прощай, Руфий!

Руфий. Цезарь, тягостно мне отпускать тебя в Рим без твоего щита. Слишком там много мечей.

Цезарь. Не все ли равно, друг. На обратном пути я закончу труд моей жизни; я уж достаточно пожил на свете. А потом, мне всегда как-то претила мысль умереть. Я предпочитаю быть убитым. Прощай!

Руфий *(вздыхая, потрясает руками, как бы беря небо в свидетели тому, что Цезарь неисправим)*. Прощай.

Они жмут руки друг другу.

Цезарь *(машет рукой Аполлодору)*. Прощай, Аполлодор! И вы, друзья мои, прощайте все! На борт!

С набережной на корабль перекинуты сходни. Когда Цезарь направляется к ним, Клеопатра, холодная и трагическая, выходит из дворца, проходит сквозь расступающуюся толпу своих приближенных и останавливается на

ступенях лестницы. Она умышленно одета во все черное, без всяких украшений и драгоценностей, и производит разительное впечатление среди своей роскошно одетой свиты. Цезарь не замечает ее, пока она не начинает говорить.

Клеопатра. А о Клеопатре не вспомнят при расставании?

Цезарь *(просияв)*. Ах, я же знал, что-то еще осталось. *(Руфию.)* Как же ты мог допустить, чтобы я забыл про нее, Руфий? *(Спешит к ней.)* Я бы никогда не простил себе, если бы уехал, не повидавшись с тобой. *(Берет ее за руки и выводит на середину эспланады; она с каменным безучастием подчиняется этому.)* Этот траур — по мне?

Клеопатра. Нет.

Цезарь *(сокрушенно)*. А, какой же я недогадливый! Это по твоему брату?

Клеопатра. Нет.

Цезарь. По ком же?

Клеопатра. Спроси римского губернатора, которого ты оставляешь нам.

Цезарь. Руфия?

Клеопатра. Да. Руфия. *(С презрением показывает на него пальцем.)* Того, кто будет править здесь именем Цезаря, по обычаю Цезаря, по тем законам жизни, которыми здесь похвалялся Цезарь.

Цезарь *(с некоторым сомнением в голосе)*. Он будет править как сумеет, Клеопатра. Он взял это дело на себя и будет его делать по своему разумению.

Клеопатра. Значит, не по твоему разумению?

Цезарь *(озадаченно)*. Что ты понимаешь под моим разумением?

Клеопатра. Без кары, без мести, без суда.

Цезарь *(одобрительно)*. А, это правильный путь! Единственно возможный путь в конце концов! *(Руфию.)* Держись его, Руфий, если сумеешь.

Руфий. Да, я держусь его, Цезарь. Ты уже давно убедил меня. Но послушай меня. Ты сегодня отплываешь в Нумидию. Скажи мне, если ты повстречаешься там с голодным львом, ты не накажешь его, если он захочет тебя пожрать?

Цезарь *(недоумевая, к чему все это)*. Нет.

Руфий. И ты не отомстишь ему за кровь тех, кого он уже успел пожрать?

Цезарь. Нет.

Руфий. Не будешь судить его за его преступления?

Цезарь. Нет.

Руфий. А что же ты сделаешь, чтобы уберечь свою жизнь от него?

Цезарь *(живо)*. Убью его, дружище! Безо всякой злобы, точь-в-точь так же, как и он убил бы меня. Но что это за притча о льве?

Руфий. А вот. У Клеопатры была тигрица, которая убивала людей по ее повелению. Я опасался, как бы она не приказала ей в один прекрасный день убить и тебя. Так вот, не будь я учеником Цезаря, на какие благочестивые муки не обрек бы я эту тигрицу, каких только кар не придумал бы я для нее, чтобы отомстить ей за смерть Потина...

Цезарь *(восклицает)*. Потина?!

Руфий *(продолжает)*. И уж, конечно, я предал бы ее суду Но я махнул рукой на все эти глупости... И безо всякой злобы просто перерезал ей горло. Вот почему Клеопатра явилась сегодня в трауре.

Клеопатра *(гневно)*. Он пролил кровь слуги моей Фтататиты. Да падет ее кровь на голову твою, Цезарь, если ты оставишь это безнаказанным.

Цезарь *(убежденно)*. Пусть она падет на мою голову. Ибо ты поступил правильно, Руфий. Если бы ты облекся в мантию судьи и со всякими гнусными церемониями, взывая к богам, отдал бы эту женщину в руки наемного палача, чтобы тот казнил ее на глазах народа во имя справедливости, я бы теперь не мог без содрогания коснуться твоей руки. Но ты поступил естественно, ты просто заколол ее; и это не внушает мне отвращения.

Руфий удовлетворенно кивает Клеопатре, безмолвно предлагая ей иметь это в виду на будущее.

Клеопатра *(по-детски негодуя в своем бессилии)*. Нет? Ну разумеется, ведь это римлянин убил египтянку. Весь мир узнает теперь, как несправедлив и порочен Цезарь.

Цезарь *(ласково берет ее за руку)*. Полно. Не сердись на меня. Мне очень жаль эту бедную Тотатиту...

Клеопатра невольно смеется.

Ага, ты смеешься! Значит – мир?

Клеопатра *(сердясь на себя за невольный смех)*. Нет! Нет! Нет! Мне просто смешно слышать, как ты ее называешь Тотатитой.

Цезарь. Как? Ты все такое же дитя, Клеопатра! Или я так и не сделал тебя женщиной?

Клеопатра. Нет, это ты сам большой ребенок. Ты заставляешь меня казаться дурочкой, потому что ты относишься ко мне несерьезно. Но ты поступил со мной дурно. И я тебе этого не прощу.

Цезарь. Пожелай мне счастливого пути.

Клеопатра. Не пожелаю.

Цезарь *(вкрадчиво)*. А какой прекрасный подарок я пришлю тебе из Рима.

Клеопатра *(гордо)*. Прекрасный! Какой же красотой может Рим удивить Египет? Что может дать мне Рим такого, чего не мог бы мне дать Египет?

Аполлодор. Это правда, Цезарь. Если ты хочешь сделать действительно прекрасный подарок, мне придется купить его для тебя в Александрии.

Цезарь. Друг, ты забываешь о тех сокровищах, которыми больше всего славится Рим. Их ты не купишь в Александрии.

Аполлодор. Что же это за сокровища, Цезарь?

Цезарь. Сыны Рима! Ну, Клеопатра, прости меня и пожелай мне доброго пути. И я пришлю тебе воина — римлянина с ног до головы и одного из самых благородных римлян; не старого, не такого, которого пора уже скосить долой; не с тощими руками и холодным сердцем, не прячущего плешивую голову под лаврами победителя, не согбенного под бременем мира, которое он взвалил себе на плечи,— но бодрого, свежего, сильного, юного, который утром просыпается с надеждой, дни проводит в бою, а вечером пирует. Возьмешь ли ты такого в обмен на Цезаря?

Клеопатра *(замирая)*. А как зовут его?

Цезарь. Может быть, Марк Антоний?

Клеопатра бросается в его объятия.

Руфий. Плохая мена. Продешевила ты, повелительница моя, променяв Цезаря на Антония.

Цезарь. Итак, значит, ты довольна?

Клеопатра. Ты не забудешь?

Цезарь. Не забуду. Прощай! Вряд ли мы еще встретимся. *(Целует ее в лоб; она очень растрогана и начинает всхлипывать. Он идет к кораблю.)*

Римские воины *(когда он вступает на сходни)*. Слава Цезарю! Добрый путь!

Цезарь всходит на корабль и машет рукой Руфию, который отвечает ему тем же.

Аполлодор *(Клеопатре)*. Не надо слез, возлюбленная царица моя. Они пронзают сердце слуги твоего. Он еще вернется.

Клеопатра. Надеюсь, что нет. Но все-таки я не могу не плакать. *(Машет Цезарю платком.)*

Корабль отчаливает.

Римские солдаты *(обнажая мечи и потрясая ими в воздухе)*. Слава Цезарю!

ОБРАЩЕНИЕ КАПИТАНА БРАСБАУНДА

Мелодраматическая комедия

1899

CAPTAIN BRASSBOUND'S CONVERSION

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Холмы, окружающие гавань Магадора, порта на западном побережье Марокко. Прохладный вечер. Миссионер, следуя совету Вольтера, возделывает свой сад. Это пожилой шотландец, духовно несколько потрепанный житейскими бурями: ему пришлось направить ладью своей веры в иноземные воды, кишащие чужими кораблями; тем не менее он все тот же убежденный сын свободной церкви и ее североафриканской миссии, человек с честными карими глазами и безмятежной душой. Физически это невысокий крепкий мужчина, загорелый и чисто выбритый; черты лица у него тонкие и решительные, улыбка мягкая и чуточку насмешливая. На нем пробковый шлем с сеткой, очки с дымчатыми стеклами и белые парусиновые испанские сандалии — словом, все, что полагается современному шотландскому миссионеру. Но одет он не в дешевый туристский костюм из Глазго — серую фланелевую рубашку, белый воротничок и зеленый галстук с дешевой булавкой, а в чистую белую полотняную пару, приемлемую для марокканцев если уж не по покрою, то хотя бы по цвету.

Из сада открывается вид на Атлантический океан и песчаное побережье, уходящее на юг длинной полосой, по которой гуляет северо-восточный пассат. На побережье прозябают редкие и чахлые перцовые деревья, манговые пальмы и тамариски. Со стороны суши ландшафт ограничен невысокими холмами, спускающимися почти к самому морю. Это отроги Атласских гор. В течение двадцати пяти лет миссионер имел возможность ежедневно любоваться этим морским пейзажем; поэтому он не обращает на него никакого внимания и целиком поглощен подрезыванием неестественно большого, на взгляд англичанина, куста красной герани. Этот куст да еще несколько запыленных растений — единственное украшение его любимой цветочной клумбы. Он работает, сидя на низеньком мавританском табурете. Посередине сада, в тени тамариска, стоит удобное садовое кресло; дом расположен в юго-западном углу сада, куст герани — в северо-восточном.

В дверях дома появляется человек. Это явно не варвар, а куда менее приятное существо — характерный пред-

ставитель современной коммерческой цивилизации. У него сложение семнадцатилетнего юнца, который с детства недоедал; возраст его определению не поддается. Только полное отсутствие седины в его грязного цвета волосах позволяет предполагать, что ему, вероятно, еще нет сорока; впрочем, не исключена возможность, что ему нет и двадцати. Лондонец сразу узнал бы в нем яркий и необычайно живучий тип выкормыша столичных трущоб. Голос его, от природы гнусавый и вульгарный, звучит сейчас выспренне и сердечно. Говорит он свободно и красноречиво: склад характера, приходская школа и улица сделали из него нечто вроде оратора. Если отбросить гнусавость, его речь весьма напоминает диалект фешенебельного лондонского общества с его тенденцией (иногда довольно приятной) заменять дифтонги чистыми гласными, а последние превращать в нечто совершенно отличное от традиционного произношения. Он произносит «ау», как долгое «а», «ай» — как краткое «а» и употребляет вместо долгого «о» обычное «оу», вместо долгого «а» краткое «и», вместо краткого «а» краткое «э», вместо краткого открытого «э» просто краткое «э», с одним исключением: когда за гласной следует «р», он обозначает присутствие этой гласной не тем, что произносит ее,— этого он никогда не делает,— а тем, что растягивает и смягчает гласную, порой даже так сильно, что она звучит у него совершенно правильно. Провинциальное «эл» превращается в его краткой передаче в «эй». Все эти столичные ухищрения, повергающие в ужас любого англичанина, кроме кокни, невозможно передать без помощи фонетической транскрипции, разве что вышеупомянутым крайне несовершенным способом. На человеке мундир береговой охраны, явно с чужого плеча и весьма потрепанный. Держится он этаким театральным морским волком, и это удается ему настолько успешно, что его можно принять за разносчика рыбы самого низкого пошиба, которому посчастливилось найти работу на Биллингсгейте в разгар сезона. Вся повадка его свидетельствует о серьезном намерении втереться в доверие к миссионеру — вероятно, с какой-нибудь корыстной целью.

Человек. День добрый, мистер Рэнкин.

Миссионер быстро приподнимается и поворачивается, по

долгу своему сразу примирившись с тем, что ему не дадут спокойно работать.

Вы здоровы, ваша честь?

Рэнкин *(сдержанно)*. Добрый день, мистер Дринкуотер.

Дринкуотер. Не очень-то вам, наверно, по душе прерывать работу в саду из-за такого, как я, хозяин?

Рэнкин. Миссионер не имеет права считаться с тем, что ему по душе, а что нет, мистер Дринкуотер. Чем могу служить?

Дринкуотер *(сердечно)*. А ничем, хозяин. Просто пришел рассказать вам новости.

Рэнкин. Что ж, присаживайтесь.

Дринкуотер. Благодарствую, ваша честь. *(Садится на скамью под деревом и настраивается на долгий разговор.)* Слыхали вы когда о судье Хэллеме?

Рэнкин. О сэре Хауарде Хэллеме?

Дринкуотер. Вот именно, о нем. Это самый что ни на есть дотошный судья во всей Англии. Уж он-то, благослови его бог, никому не спустит, как дойдет до кражи со взломом. Ничего против него не скажешь — я ведь и сам за закон стою.

Рэнкин. Ну?

Дринкуотер. А об его невестке, леди Сесили Уайнфлит, слышали?

Рэнкин. Вы имеете в виду знаменитую путешественницу?

Дринкуотер. Вот, вот, я о ней и говорю. Та самая, что протопала через всю Африку с одной только собачонкой и расписала про это в «Дейли Мейл».

Рэнкин. Разве она невестка сэра Хауарда Хэллема?

Дринкуотер. Уж будьте уверены — родная сестрица ихней покойной супруги, вот она кто.

Рэнкин. Так что же вы хотите сказать о них?

Дринкуотер. Что я скажу? Господи, да ведь они здесь. Минут двадцать, как сошли с паровой яхты в Магадоре. Отправились к британскому консулу. А он их пошлет к вам: ему-то ведь поместить их негде. Они наняли араба да двух негритят вещички нести. Вот я и подумал, не сбегать ли мне предупредить вас.

Рэнкин. Благодарю, мистер Дринкуотер. Очень любезно с вашей стороны.

Дринкуотер. Не стоит благодарности, хозяин, благослови вас бог. Разве не вы обратили меня на путь истинный? Кем я был, когда приехал сюда? Жалким грешником.

Разве не вы сделали меня другим человеком? К тому же, хозяин, эта самая леди Сесили Уайнфлит наверняка захочет прокатиться по Марокко – в горы прогуляться и всякое такое. А вы же сами понимаете, хозяин: тут без конвоя не обойдешься.

Рэнкин. Но это невозможно! Их убьют. Марокко совсем не то, что остальная Африка.

Дринкуотер. Именно, хозяин. У этих марокканцев своя собственная религия, потому они и опасны. Довелось вам когда-нибудь обратить марокканца, хозяин?

Рэнкин *(с печальной улыбкой)*. Нет.

Дринкуотер *(торжественно)*. И никогда не удастся, хозяин.

Рэнкин. Я тружусь здесь уже двадцать пять лет, мистер Дринкуотер, но мой первый и единственный обращенный – вы.

Дринкуотер. Выходит, игра не стоит свеч, а, хозяин?

Рэнкин. Я этого не сказал. Надеюсь, что принес все же известную пользу. Туземцы приходят ко мне за лекарствами, когда болеют, и называют меня христианином, который не ворует. А это уже кое-что.

Дринкуотер. Их разум не может подняться до христианства, как наш, хозяин, вот оно в чем дело. Так вот, если приезжим, как я вам уже толковал, понадобится конвой, мой друг и начальник капитан Брасбаунд со шхуны «Благодарение» и вся его команда, включая меня, готовы сопровождать эту леди и судью Хэллема во всякой такой поездке. Ваша честь могли бы замолвить за нас словечко.

Рэнкин. Я, безусловно, не посоветую им такого безрассудства, как поездка.

Дринкуотер *(добродетельным тоном)*. Верно, хозяин, я и сам на вашем месте не посоветовал бы. *(Покачивая головой.)* Да, поездки здесь дело опасное. Но уж если им втемяшится в башку поехать, так конвой тем более понадобится.

Рэнкин. Надеюсь, они не поедут.

Дринкуотер. Я и сам надеюсь, хозяин.

Рэнкин *(задумчиво)*. Странно! С какой стати им вздумалось приехать в Магадор, да еще ко мне? Правда, много лет назад я встречался однажды с сэром Хэллемом.

Дринкуотер *(изумленно)*. Быть не может! Вы? Ну кто бы подумал, хозяин! Я ведь с ним тоже встречался. Но это было недоразумение, право слово, чистое недоразумение.

Из суда я ушел без единого пятнышка, право слово, без единого.

Рэнкин *(негодующе)*. Надеюсь, вы не думаете, что я встречался с сэром Хауардом в качестве подсудимого?

Дринкуотер. Поверьте, хозяин, такое со всяким может случиться, даже с самым честным, самым благонамеренным человеком.

Рэнкин. Примите к сведению, мистер Дринкуотер, что я встречался с сэром Хэллемом в частной обстановке. Его брат был моим близким другом. Это было очень давно. Он уехал в Вест-Индию.

Дринкуотер. В Вест-Индию? Прямиком через весь океан? *(Указывая на море.)* Боже ты мой! Мы приходим в гордыне, а уходим во мраке. Верно, хозяин?

Рэнкин *(настораживаясь)*. Что? Вы заглянули в книжечку, которую я вам дал?

Дринкуотер. Ага. Время от времени почитываю. Очень утешительная книжечка, хозяин. *(Встает, опасаясь, что дальнейшие вопросы обнаружат его неосведомленность.)* Ну, всего вам хорошего, хозяин! Надо же вам приготовиться к встрече с сэром Хауардом и леди Сесили, верно? *(Хочет идти.)*

Рэнкин *(останавливая его)*. Нет, погодите. Мы здесь всегда готовы принять путешественников. Я хочу сказать вам еще кое-что, вернее, задать вопрос.

Дринкуотер *(с опасением, которое он маскирует, утрируя сердечность моряка)*. Прошу, прошу, ваша честь.

Рэнкин. Кто такой этот капитан Брасбаунд?

Дринкуотер *(виновато)*. Кептен Брасбаунд? Гм... Гм... Это мой начальник, хозяин.

Рэнкин. Ясно. А дальше?

Дринкуотер *(смущенно)*. Командир шхуны «Благодарение», хозяин.

Рэнкин *(испытующе)*. А вы когда-нибудь слыхали о подозрительной личности по прозвищу Черный Пакито? Этот человек плавает в здешних водах.

Дринкуотер *(внезапно расплываясь в улыбке — на него снизошло озарение)*. Ну вот, теперь я все понял, ваша честь. Вам, наверно, кто-нибудь сказал, что кептен Брасбаунд и Черный Пакито вроде как один и тот же человек. Так ведь?

Рэнкин. Да, именно так.

Дринкуотер торжествующе хлопает себя по колену.

(Миссионер решительно продолжает.) И тот, кто мне это сказал, был, насколько я могу судить, человек честный и прямой.

Дринкуотер *(схватывая подтекст)*. Ясное дело, хозяин! Разве я про него хоть слово худое сказал, а?

Рэнкин. Но в таком случае капитан Брасбаунд и есть Черный Пакито?

Дринкуотер. Да ведь он еще ребенком получил это имя от своей блаженной памяти матушки, упокой, господи, ее душу! И ничего в этом такого нет. Родом она была из Вест-Индии, в общем откуда-то из тех краев. *(Указывая в направлении моря.)* По-моему, из этой чертовой Бразилии, прошу прощения за такое слово, а Пакито по-бразильски означает попугайчик. *(Сентиментально.)* Все равно, как если бы английская леди назвала своего парнишку птенчиком.

Рэнкин *(не совсем убежденный)*. Но почему Черный Пакито?

Дринкуотер *(простодушно)*. Так ведь попугай-то в натуральном виде зеленый, а у капитана волосы, видите ли, черные...

Рэнкин *(обрывая его)*. Понятно. А теперь я задам другой вопрос. Кто такой капитан Брасбаунд, или Пакито, или как там он себя называет?

Дринкуотер *(угодливо)*. Брасбаунд. Он всегда называет себя Брасбаунд.

Рэнкин. Ну, пусть Брасбаунд. Кто он такой?

Дринкуотер *(пылко)*. Вы спрашиваете меня, кто он такой, хозяин?

Рэнкин *(твердо)*. Да, спрашиваю.

Дринкуотер *(все более пылко)*. Сказать вам, кто он такой, ваша честь?

Рэнкин *(на которого тон Дринкуотера не производит никакого впечатления)*. Если будете так любезны, мистер Дринкуотер.

Дринкуотер *(горячо и убежденно)*. Извольте, я скажу вам, хозяин, кто он такой. Он совершенный джентльмен, вот кто он такой.

Рэнкин *(серьезно)*. Мистер Дринкуотер, совершенство — качество, свойственное не капитанам с Западного побережья, а творцу. Кроме того, джентльмены бывают разные, особенно в здешних широтах. Итак, что он за джентльмен?

Дринкуотер. Английский джентльмен, хозяин. Говорит по-

английски; отец – англичанин, плантатор в Вест-Индии; чистокровный англичанин, голубая кровь. *(Раздумывая.)* Разве что чуть смугловат – в мать пошел: она-то у него бразильянка.

Рэнкин. Ну, а теперь, Феликс Дринкуотер, скажите по совести, как христианин, работорговец капитан Брасбаунд или нет?

Дринкуотер *(растерявшись, несмотря на все свое нахальство)*. Что вы, что вы!

Рэнкин. Вы уверены?

Дринкуотер. Еще бы! Он хоть вроде и джентльмен удачи, но только не работорговец.

Рэнкин. Мне уже доводилось слышать выражение «джентльмен удачи», мистер Дринкуотер. Оно означает – пират. Вам это известно?

Дринкуотер. Бог с вами! Какие там еще пираты в наше время? На море теперь порядок почище, чем на Пикадилли. Да если бы я вздумал проделывать в Атлантическом океане такие штучки, какие выкидывал мальчишкой на Ватерлоо-роуд, мне бы уж давно головы не сносить. Какие же тут, к чертям, пираты, простите за выражение, хозяин! Хотите, я вам сейчас докажу, как мало честности и порядочности у того человека, о котором вы поминали, и как мало он знал, о чем говорит? Хотите? Тогда ответьте только на один вопрос: как вы думаете, у кого служил кептен Брасбаунд вроде как учеником?

Рэнкин. Не знаю.

Дринкуотер. У Гордона, хозяин, у Гордона Хартумского, того самого Гордона, чей памятник теперь стоит на Трафальгар-сквер. Он самолично учил Черного Пакито, как расправляться с работорговцами. Капитан дал Гордону слово никогда не заниматься контрабандной торговлей рабами или джином. *(С плохо скрытым огорчением.)* И он не будет ею заниматься, хозяин, не будет, черт побери, даже если бы мы его на коленях молили.

Рэнкин *(сухо)*. А вы его умоляете об этом на коленях?

Дринкуотер *(несколько смешавшись)*. Среди нас есть люди и необращенные, хозяин. Вот они и говорят: «Одно вы возите контрабандой, кептен; почему бы не возить и другое?»

Рэнкин. Наконец-то мы добрались до сути. Так я и думал. Капитан Брасбаунд – контрабандист.

Дринкуотер. А почему бы и нет? Почему бы и нет, хозяин? Мы – нация свободных торговцев. Нам, англичанам, давно поперек горла стоят эти чертовы иностранцы,

которые по всей Африке заводят свои таможни, устанавливают сферы влияния и всякое такое. Разве Африка не принадлежит и нам тоже? Чем мы хуже их? Вот как мы считаем. Во всяком случае от нашего ремесла никому вреда нет. У нас одно дело – конвоировать туристов или коммерсантов. А это все равно что экскурсии Кука в Атласские горы. Мы цивилизацию насаждаем – вот оно как. Что, разве не верно?

Рэнкин. И вы полагаете, что команда Брасбаунда достаточно оснащена для этого?

Дринкуотер. Оснащена? Еще бы не достаточно! У нас двенадцатизарядные винтовки! Кому охота с нами связываться?

Рэнкин. У самого опасного вождя в здешних местах шейха Сиди эль Ассифа новый американский автоматический пистолет, выпускающий десять пуль без перезарядки, а винтовка у него шестнадцатизарядная.

Дринкуотер *(возмущенно)*. И люди, продающие такие штуки чернокожим язычникам, еще называют себя христианами! Срамота, вот что это такое!

Рэнкин. Если человек способен спустить курок, то цвет его пальцев уже не имеет значения, мистер Дринкуотер. Хотите вы сообщить мне еще что-нибудь?

Дринкуотер *(вставая)*. Ничего, хозяин. Пожелаю вам только доброго здоровья и побольше обращенных. Всего хорошего, хозяин.

В ту минуту, когда Дринкуотер собирается уйти из дома, появляются носильщик-марокканец с двумя мальчишками неграми.

Носильщик *(в дверях, обращаясь к Рэнкину)*. Бикурос *(это марокканское произношение слова «эпикуреец» — так марокканцы обычно называют миссионеров, избравших, по их мнению, свое призвание из любви к роскоши и безделью)*, я привел в твой дом собаку-христианина и его женщину.

Дринкуотер. Вот вам языческие манеры! Обозвать сэра Хауарда Хэллема собакой-христианином, а леди Уайнфлит его женщиной! Эх, стоял бы ты сейчас в дверях Центральной уголовной, ты быстренько понял бы, кто собака, а кто хозяин, очень быстренько, будь покоен.

Рэнкин. Ты принес их вещи?

Носильщик. Клянусь аллахом, их хватило бы на двух верблюдов!

Рэнкин. Тебе заплатили?

Посильщик. Всего один несчастный доллар, бикурос. Я привел их в твой дом. Они заплатят тебе. Дай мне что-нибудь за то, что я принес золото к твоему порогу.

Дринкуотер. Ого! Тебе следовало родиться христианином. Здорово разбираешься!

Фонкин. Ты принес к моему порогу хлопоты и расходы, Хассан. И ты это знаешь. Разве я когда-нибудь брал с тебя и твоей жены деньги за лекарства?

Хассан *(философски)*. Пророк не запрещает человеку просить лишнего, бикурос. *(Весело входит в дом вместе с мальчишками.)*

Дринкуотер. Решил все-таки попробовать. Человеческая природа всюду одинакова. Эти язычники точь-в-точь такие же, как мы с вами, хозяин.

В сад входят мужчина и женщина. Оба англичане. Джентльмен — человек весьма пожилой, но видно, что он борется с возрастом, не желая поддаваться старости. Он чисто выбрит, лоб у него умный и выпуклый, нос решительный, ноздри энергичные и подвижные, губы плотно сжаты, словно в свое время он навсегда стиснул их в порыве сильного гнева и досады. Держится он подчеркнуто достойно и властно, но сейчас он турист, о чем свидетельствуют его белая шляпа и летний костюм, и потому старается смотреть на жизнь добродушнее и легче.

Леди — женщина в возрасте между тридцатью и сорока, высокая, очень красивая, симпатичная, умная, нежная и насмешливая. Одета она с элегантной простотой и выглядит не как вечно озабоченная, затянутая в английский костюм туристка, а так, словно живет в соседнем коттедже и по-домашнему, в блузе и соломенной шляпке с цветами, зашла выпить чаю. Наделенная большой жизненной силой и человечностью, она начинает любое случайное знакомство с той точки, которой англичане обычно достигают лишь после тридцатилетнего знакомства, если они вообще способны достичь ее. Она весело обращается к Дринкуотеру, который со шляпой в руках улыбается ей с самым сердечным и приветливым видом. Джентльмен, напротив, проходит в сад, поближе к дому, инстинктивно сохраняя дистанцию между собой и остальными.

Леди *(Дринкуотеру)*. Здравствуйте! Это вы миссионер?

Дринкуотер *(скромно)*. Нет, леди, не хочу вас обманывать, хотя ваша ошибка вполне понятна. Я лишь один из тех, кого облагодетельствовал миссионер, — первый его обра-

щенный, скромный английский моряк и ваш соотечественник, леди, а также его милости. Вот и мистер Рэнкин, лучший труженик нашего виноградника. *(Представляет его судье.)* Мистер Рэнкин – его милость сэр Хауард Хэллем. *(Деликатно удаляется в дом.)*

Сэр Хауард *(Рэнкину)*. Очень сожалею, что нам пришлось вторгнуться к вам, мистер Рэнкин, но у нас, видимо, не остается выбора – здесь нет отелей.

Леди Сесили *(сияя улыбкой)*. Кроме того, нам куда приятнее пожить у вас, чем в отеле, если вы, конечно, не возражаете, мистер Рэнкин.

Сэр Хауард *(представляя ее)*. Леди Сесили Уайнфлит, моя невестка, – мистер Рэнкин.

Рэнкин. Рад быть полезен вашей милости. Я думаю, вы не откажетесь от чаю после дороги?

Леди Сесили. Ах, как вы внимательны, мистер Рэнкин! Но мы уже пили чай на яхте. Кроме того, я уже обо всем договорилась с вашими слугами, и вы можете продолжать работать в саду, словно нас здесь и нет.

Сэр Хауард. К сожалению, должен предупредить вас, мистер Рэнкин, что леди Сесили, путешествуя по Африке, приобрела привычку бесцеремонно входить в чужие дома и вести себя в них, как в своем собственном.

Леди Сесили. Но, дорогой мой Хауард, уверяю вас, что туземцам это нравится.

Рэнкин *(галантно)*. И мне тоже.

Леди Сесили *(в восторге)*. Ах, как это мило с вашей стороны, мистер Рэнкин! Восхитительная страна! И люди здесь такие славные! У них страшно милые лица. Марокканец, который нес наши вещи, просто красавец. А двое негритят – совершенная прелесть. Вы обратили внимание на их лица, Хауард?

Сэр Хауард. Обратил. И могу с уверенностью сказать, – а у меня на это есть основания: я изучал лица самого худшего разбора, смотревшие на меня со скамьи подсудимых, – что мне никогда не доводилось видеть более мерзкого трио, чем этот марокканец и двое негритят, которым вы дали пять долларов, хотя они вполне удовлетворились бы и одним.

Рэнкин *(всплеснув руками)*. Пять долларов! Сразу видно, что вы не шотландка, миледи.

Леди Сесили. Полно! Они, бедняжки, нуждаются в них больше, чем мы. К тому же, вы знаете, Хауард, что магометане не пропивают деньги.

Рэнкин. Извините, миледи, одну минутку. Я должен сказать словечко этому марокканцу. *(Уходит в дом.)*

Леди Сесили *(прохаживаясь по саду и любуясь видом и цветами)*. По-моему, место совершенно божественное!

Дринкуотер выносит из дома стул.

Дринкуотер *(подавая стул сэру Хауарду)*. Извините, что беру на себя смелость, сэр Хауард.

Сэр Хауард *(глядя на него)*. Я вас уже где-то видел.

Дринкуотер. Видели, сэр Хауард. Но, уверяю вас, все это было чистое недоразумение.

Сэр Хауард. Как обычно. *(Садится.)* Разумеется, несправедливо осужден.

Дринкуотер *(с затаенным наслаждением)*. Нет, хозяин. *(Полушепотом, с неописуемой усмешкой.)* Несправедливо оправдан!

Сэр Хауард. В самом деле? Первый случай в моей практике.

Дринкуотер. Боже мой, сэр Хауард, ну и дураки же были присяжные! Мы-то с вами это понимали, верно?

Сэр Хауард. Вероятно, да. К сожалению, должен признаться, что забыл, в каком именно затруднении вы находились. Не напомните ли?

Дринкуотер. Всего-навсего юношеский задор, ваша милость. Проказы на Ватерлоо-роуд. Так называемое хулиганство.

Сэр Хауард. Значит, вы были хулиганом?

Леди Сесили *(в замешательстве)*. Хулиганом?

Дринкуотер *(протестующе)*. Эту кличку, миледи, дал нам, бедным, безобидным юнцам, один джентльмен из «Дейли Кроникл».

Возвращается Рэнкин.

(Тотчас же ретируется, но успевает остановить миссионера на пороге и сказать ему, приглаживая вихор на лбу.) Я буду болтаться поблизости, хозяин, на случай, если понадоблюсь. *(На цыпочках уходит в дом.)*

Леди Сесили садится на скамью под тамариском. Рэнкин берет свой табурет, стоящий у цветочной клумбы, и садится слева от леди Сесили. Сэр Хауард сидит справа.

Леди Сесили. Какое приятное лицо у вашего друга моряка, мистер Рэнкин! Он был так откровенен и правдив с нами. Знаете, самый лучший комплимент, который можно мне

сделать, – это с первой же встречи отнестись ко мне с абсолютной искренностью. По-моему, это высшее проявление прирожденного такта.

Сэр Хауард. Вам не следует думать, мистер Рэнкин, что моя невестка нарочно говорит глупости. Она будет верить вашему другу, пока он не украдет у нее часы, но даже и тогда найдет для него оправдание.

Рэнкин *(сухо, меняя тему разговора)*. А как поживали вы, сэр Хауард, со времени нашей последней встречи в лондонских доках в одно прекрасное утро лет сорок тому назад?

Сэр Хауард *(крайне уоивленный и стараясь собраться с мыслями)*. Наша последняя встреча! Мистер Рэнкин, неужели я имел несчастье позабыть старого знакомого?

Рэнкин. Едва ли это можно назвать знакомством, сэр Хауард. Но я был близким другом вашего брата Майлза и в числе еще нескольких человек провожал его в Бразилию. Вы, если не ошибаюсь, тоже там были. Я обратил на вас особенное внимание, потому что вы были братом Майлза, а прежде мне не доводилось вас видеть. Но вы могли и не заметить меня.

Сэр Хауард *(припоминая)*. Да, там был какой-то юный друг моего брата, и вполне возможно, что это были вы. Но звали его, насколько мне помнится, Лесли.

Рэнкин. Это я, сэр. Меня зовут Лесли Рэнкин, а мы с вашим братом всегда звали друг друга по имени.

Сэр Хауард *(приосаниваясь)*. Вот теперь все ясно. Я могу еще полагаться на свою память, мистер Рэнкин, хотя кое-кто и жалуется, что я становлюсь стар.

Рэнкин. Интересно, где сейчас Майлз, сэр Хауард?

Сэр Хауард *(отрывисто)*. Разве вы не знаете, что он умер?

Рэнкин *(потрясенный)*. Никогда не слыхал! Боже мой, боже мой, значит, я больше не увижу его, а ведь я с трудом припоминаю даже его лицо – столько лет прошло! *(На глазах его появляются слезы, что немедленно вызывает симпа́тию леди Сесили.)* Мне очень, очень горько...

Сэр Хауард *(театрально понижая голос)*. Да, он жил недолго, а в Англию так и не возвратился. С тех пор как он умер в своем вест-индском поместье, прошло уже почти тридцать лет.

Рэнкин *(удивленно)*. В своем поместье? У Майлза поместье?

Сэр Хауард. Да, он там сделался плантатором и разбогател, мистер Рэнкин. История с этим поместьем полу-

чилась очень интересная и любопытная, — во всяком случае, для юриста вроде меня.

Рэнкин. Хоть я и не юрист, я хотел бы услышать ее, сэр Хауард, — меня интересует судьба Майлза.

Леди Сесили. Никогда не знала, Хауард, что у вас был брат.

Сэр Хауард *(раздраженный этим замечанием)*. Вероятно, потому, что никогда не спрашивали меня об этом. *(Более дружелюбным тоном, Рэнкину.)* Извольте, я расскажу вам эту историю, мистер Рэнкин. Майлз после смерти оставил поместье на одном из вест-индских островов. Оно находилось на попечении некоего управляющего, продувной бестии и человека себе на уме. Так вот, сэр, этот парень выкинул штуку, которая едва ли безнаказанно сошла бы ему с рук даже здесь, в Марокко, самой варварской из существующих ныне цивилизованных стран. Он попросту присвоил себе это имение.

Рэнкин. А как же закон?

Сэр Хауард. Закон, сэр, на этом острове фактически воплощался в лице генерального прокурора и правительственного комиссара, а оба эти джентльмена были подкуплены управляющим. В результате на острове не нашлось ни одного адвоката, который согласился бы возбудить против него дело.

Рэнкин. Неужели сегодня в Британской империи возможно что-нибудь подобное?

Сэр Хауард *(невозмутимо)*. О, вполне, вполне.

Леди Сесили. Но разве нельзя было послать туда первоклассного адвоката из Лондона?

Сэр Хауард. Несомненно, можно. Для этого нужно было только уплатить ему компенсацию за прерванную в Лондоне практику, иными словами, куда больше, чем могло бы стоить поместье.

Рэнкин. Значит, поместье было потеряно?

Сэр Хауард. Не окончательно. В настоящее время оно находится в моих руках.

Рэнкин. Каким же образом вы вернули его?

Сэр Хауард *(от души наслаждаясь собственной ловкостью)*. Побив мошенника его же собственным оружием. Мне пришлось отложить это дело на много лет: я должен был раньше создать себе положение в свете. В конце концов я этого положения добился. Однажды во время увеселительной поездки в Вест-Индию я узнал, что негодяй управляющий покинул остров, перепоручив присмотр за поместьем своему агенту, которому имел глупость очень

плохо платить. Я столковался с этим агентом, и он согласился считать поместье моей собственностью. Вор оказался теперь точно в таком же положении, в какое прежде поставил меня. Выступать против меня на острове не желал никто и меньше всего генеральный прокурор и правительственный комиссар, которые отдавали себе отчет в том, каково мое влияние в министерстве колоний. Таким образом я и заполучил поместье обратно. Божья мельница мелет медленно, да на редкость тонко, мистер Рэнкин.

Леди Сесили. Я полагаю, что если бы я проделала такую же ловкую штуку в Англии, вы упрятали бы меня в тюрьму.

Сэр Хауард. Вероятно, да, если бы только вы не сумели обойти закон о тайном сговоре. Когда вам захочется совершить какое-либо беззаконие, Сесили, обязательно посоветуйтесь сначала с хорошим адвокатом.

Леди Сесили. Так я и сделаю. Ну, а вдруг ваш агент вздумает вернуть это поместье своему бесчестному старому хозяину?

Сэр Хауард. Я желал бы этого от всей души.

Рэнкин *(широко раскрыв глаза)*. Вы желали бы этого?

Сэр Хауард. Да. Несколько лет тому назад крах вест-индской сахарной промышленности превратил доход от этого имения в ежегодный убыток на сумму около ста пятидесяти фунтов. Если мне не удастся продать его, я просто откажусь от него, разве что вы, мистер Рэнкин, согласитесь принять его в дар.

Рэнкин *(смеясь)*. Благодарю, ваша милость, у нас в Шотландии достаточно такого рода поместий. Вы сидите спиной к солнцу, леди Сесили, и пропускаете интересное зрелище. Взгляните. *(Встает и указывает на море, где быстро, как всегда в этих широтах, сгущаются сумерки.)*

Леди Сесили *(встает, бросает взгляд на горизонт и вскрикивает от восторга)*. Какая красота!

Сэр Хауард *(тоже встает)*. Что это за холмы на юго-востоке?

Рэнкин. Это, так сказать, аванпосты Атласских гор.

Леди Сесили. Атласские горы! Те самые, где жила волшебница из поэмы Шелли! Завтра мы отправимся туда на экскурсию, Хауард.

Рэнкин. Это невозможно, миледи. Туземцы — очень опасный народ.

Леди Сесили. Почему? Кто-нибудь из путешественников стрелял в них?

Рэнкин. Нет. Просто каждый из них уверен, что попадет в рай, если убьет неверного.

Леди Сесили. Полно, мистер Рэнкин! Мы, англичане, тоже верим, что попадем в рай, если раздадим все свое состояние бедным. Однако мы не делаем этого. Я ни капельки не боюсь.

Рэнкин. Но туземцы не привыкли смотреть на женщину, лицо которой открыто.

Леди Сесили. Мне всегда легче ладить с людьми, когда они видят мое лицо.

Сэр Хауард. Сесили, вы мелете вздор и сами понимаете это. У здешних жителей не существует никаких законов, которые сдерживали бы их, а это на обычном английском языке означает, что все они просто-напросто воры и убийцы.

Рэнкин. Нет, нет, не совсем так, сэр Хауард.

Леди Сесили *(возмущенно)*. Конечно нет! Вы всегда воображаете, Хауард, что люди не убивают друг друга только из страха, как бы вы их за это не повесили. Какая чушь! И какая злобная чушь! Разве господь сотворил бы этих людей, если бы не хотел послать их в мир с какой-то благой целью? Не так ли, мистер Рэнкин?

Рэнкин. Это, несомненно, убедительный довод, леди Сесили.

Сэр Хауард. Ну, если вы собираетесь углубиться в богословие...

Леди Сесили. А почему бы и нет? Богословие, по-моему, занятие не менее достойное, чем юриспруденция. Впрочем, оно здесь ни при чем — я рассуждаю только с точки зрения здравого смысла. Почему дикари убивают белых? Да потому, что белые ведут себя по отношению к ним невежливо, не говорят им «здравствуйте», как это делаю я, а наводят на них пистолет. Я бывала среди туземцев — и каннибалов, и других. Все мои знакомые уверяли, что дикари убьют меня. Но когда я с ними встречалась, я говорила им «здравствуйте», и они очень мило относились ко мне. Их царьки неизменно хотели жениться на мне.

Сэр Хауард. Все это не прибавляет мне уверенности, что вы будете здесь в безопасности, Сесили. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы без надежного конвоя вы не ступили и шагу за пределы, в которых находитесь под защитой консула.

Леди Сесили. Мне не нужен конвой.

Сэр Хауард. А мне нужен. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я буду сопровождать вас?

Рэнкин. Тут небезопасно, леди Сесили. По чести и совести говорю вам: тут небезопасно. Здешние племена очень свирепы. Есть селения, куда еще не ступала нога христианина. Если вы поедете без надлежащей охраны, первый же вождь схватит вас и отправит обратно, чтобы его подданные не убили вас.

Леди Сесили. Это будет очень мило с его стороны, мистер Рэнкин!

Рэнкин. Он сделает это не ради вас, леди Сесили, а ради себя. Если вас убьют, у султана возникнут неприятности с Англией, и ему придется казнить этого вождя, чтобы умиротворить английское правительство.

Леди Сесили. Но я всюду езжу одна. Я уверена, что туземцы не тронут меня. Здесь такие красивые пейзажи и у всех такие славные лица.

Сэр Хауард *(с безнадежным видом снова садится и обращается к Рэнкину)*. Вы понимаете, мистер Рэнкин, что нет никакого смысла продолжать разговор с женщиной, если она восторгается лицами негодяев, которыми кишат здешние гавани? А можно получить здесь конвой?

Рэнкин. У нас тут есть некий капитан Брасбаунд, который ведет торговлю на побережье и время от времени конвоирует караваны купцов в глубь страны. Насколько я понимаю, он служил под началом Гордона в Судане.

Сэр Хауард. Обнадеживающее обстоятельство. Но прежде чем довериться этому человеку, я хотел бы познакомиться с ним поближе.

Рэнкин. Совершенно согласен с вами, сэр Хауард. Я пошлю за ним Феликса Дринкуотера. *(Хлопает в ладоши.)*

На пороге дома появляется арапчонок.

Мулей, моряк еще здесь?

Мулей кивает.

Скажи моряку, чтобы привел капитана.

Мулей кивает и уходит.

Сэр Хауард. Кто этот Дринкуотер?

Рэнкин. Его агент или помощник, точно не знаю.

Леди Сесили. Ну, если уж его помощника зовут Феликс Дринкуотер, то и команда у него должна быть вполне приличная. Очень славное имя.

Рэнкин. Вы только что видели его помощника. Это мой обращенный.

Леди Сесили *(в восторге)*. Этот славный, честный моряк?

Сэр Хауард *(в ужасе)*. Что? Этот хулиган!

Рэнкин *(озадаченный)*. Хулиган? Нет, милорд, он просто англичанин.

Сэр Хауард. Мой дорогой мистер Рэнкин, я судил этого человека за хулиганство на улицах.

Рэнкин. Он говорил мне. Боюсь, что он получил дурное воспитание. Но теперь это совсем другой человек.

Леди Сесили. Разумеется, другой. Это видно хотя бы по тому, что он так откровенно рассказал вам обо всем. Право, Хауард, все те несчастные, которых вы судите, гораздо менее виновны перед обществом, нежели общество перед ними. Если бы вы только дружески поговорили с ними, вместо того чтобы выносить им жестокие приговоры, вы убедились бы, что они могут вести себя очень мило. *(Возмущенно.)* Я не допущу, чтобы этого беднягу попирали только за то, что мать воспитала его хулиганом. Во время разговора с нами он держался в высшей степени мило.

Сэр Хауард. Короче говоря, у нас будет конвой из хулиганов под командой пирата. Прекрасно! Прекрасно! Вы, конечно, будете восторгаться их лицами, и я нисколько не сомневаюсь, что они, в свою очередь, будут восхищаться вашим.

Из дома выходит Дринкуотер в сопровождении итальянца в очень потрепанном синем шерстяном костюме, ветхой альпийской шляпе и ботинках, зашнурованных обрывками шпагата. Итальянец остается стоять у дверей, а Дринкуотер проходит вперед и останавливается между сэром Хауардом и леди Сесили.

Дринкуотер. К услугам вашей милости. *(К итальянцу.)* Марцо – его милость сэр Хауард Хэллем.

Марцо приподнимает шляпу.

Ее милость леди Сесили Уайнфлит.

Марцо приподнимает шляпу.

Это итальянец, мой товарищ по службе. Он у нас поваром.

Леди Сесили *(приветливо кивая Марцо)*. Здравствуйте. Я люблю Италию. Из какой местности вы родом?

Дринкуотер. Он родился совсем не в Италии, леди. Он

родился в Хэттон-гардене. Его отец был итальянцем, уличным шарманщиком. Вот кто он такой. Кептен Брасбаунд свидетельствует вам свое почтение и ждет ваших приказаний.

Рэнкин. Не зайти ли нам в дом и поговорить с ним там?

Сэр Хауард. Предпочел бы взглянуть на него при дневном свете.

Рэнкин. В таком случае не следует терять времени: в этих широтах темнеет очень быстро. *(Дринкуотеру.)* Не попросите ли его выйти к нам сюда, мистер Дринкуотер?

Дринкуотер. Как прикажете, хозяин. *(Услужливо спешит в дом.)*

Леди Сесили и Рэнкин усаживаются на прежние места, чтобы принять капитана. Свет тем временем быстро меркнет, и оранжевый закат постепенно сменяется тьмой, надвигающейся с востока.

Леди Сесили *(шепотом)*. Вам, наверно, тоже немного жутко, мистер Рэнкин? Интересно, каким он окажется.

Рэнкин. Не думаю, что он понравится вашей милости.

В доме раздается звук ударов, и Дринкуотер пулей вылетает из двери в сад: совершенно очевидно, что он получил здоровенный пинок. Марцо тотчас же устремляется в сад и становится справа от сэра Хауарда, но подальше от двери.

Дринкуотер *(напуская на себя веселый вид, чтобы скрыть свое унижение и физическую боль)*. Проклятый порог!.. Чуть не упал, право! *(Возвышая голос и с трудом удерживаясь, чтобы не вскрикнуть от боли.)* Кептен Брасбаунд. *(Отходит как можно дальше от дома и становится слева от Рэнкина.)*

Рэнкин встает навстречу гостю.
Из дома выходит человек со смуглым оливковым лицом и по-южному темными глазами и шевелюрой. Ему лет тридцать шесть. Черты лица красивые, но безрадостные: черные нахмуренные брови, сурово сжатый рот, крупные раздувающиеся ноздри. Видно, что обладатель их всегда сосредоточен на одной и той же трагической мысли. Он скуп на слова, еще более скуп на жесты, поэтому каждый из них многозначителен. В целом, это человек интересный, даже привлекательный, но неприветливый. На мгновение он останавливается,— мрачная фигура в багровом свете,— чтобы посмотреть на присутствующих.

Сперва он устремляет странно тяжелый взгляд на сэра Хауарда, затем с удивлением и неловкостью смотрит на леди Сесили. Наконец, спускается в сад и идет навстречу Рэнкину, который с самого момента его появления изумленно уставился на пришельца и рассматривает его настолько откровенно, что глаза Брасбаунда вспыхивают, и он, видимо, начинает сердиться.

Брасбаунд. Вы уже насмотрелись на меня, сэр?

Рэнкин *(разом спохватываясь)*. Прошу прощения за дурные манеры, капитан Брасбаунд, но вы поразительно похожи на одного моего однокашника по колледжу. Всего десять минут тому назад я сказал, что с трудом припоминаю его лицо. А когда я увидел вас, мне показалось, что он встал из могилы, чтобы напомнить о себе.

Брасбаунд. Зачем вы посылали за мной?

Рэнкин. У нас к вам дело, капитан.

Брасбаунд. У кого это «у нас»?

Рэнкин. Вот сэр Хауард Хэллем, о котором вы, вероятно, слышали. Он один из судей ее величества королевы.

Брасбаунд *(вновь устремляя на Хэллема странный взгляд)*. Друг вдов! Покровитель сирот!

Сэр Хауард *(изумленно)*. Вот уж не предполагал, капитан Брасбаунд, что в здешних краях обо мне отзываются столь лестно! Нам нужен конвой для поездки в горы.

Брасбаунд *(оставив его заявление без внимания)*. Кто эта леди?

Рэнкин. Леди Сесили Уайнфлит, невестка его милости.

Леди Сесили. Здравствуйте, капитан Брасбаунд.

Он сдержанно кланяется.

Сэр Хауард *(слегка раздраженный расспросами, которые кажутся ему дерзкими)*. Если не возражаете, перейдем к делу. Мы собираемся совершить небольшую экскурсию — хотим немного познакомиться со страной. Можете вы обеспечить нас конвоем из порядочных, надежных людей?

Брасбаунд. Нет.

Дринкуотер *(протестующе)*. Ну, ну, ну! Уж вы скажете, кептен...

Брасбаунд *(сквозь зубы)*. Придержи язык.

Дринкуотер *(приниженно)*. Слушаюсь, кептен.

Рэнкин. Я полагал, что вы занимаетесь эскортированием, капитан Брасбаунд.

Брасбаунд. Вы не ошиблись. Я этим занимаюсь.

Леди Сесили. Почему же вы отказываете нам?

Брасбаунд. Вы не довольствуетесь просто конвоем. Вам нужны порядочные, надежные люди. Вам следовало захватить с собой отряд лондонских полисменов. У меня люди непорядочные и ненадежные.

Дринкуотер *(не в состоянии дольше сдерживаться)*. Ну, знаете, кептен, если уж хотите скромничать, скромничайте за свой счет, а не за мой.

Брасбаунд. Вы видите, что собой представляют мои люди. Вот этот мерзавец *(указывает на Марцо)* способен за доллар перерезать человеку глотку. К счастью, он слишком труслив.

Марцо. Я не понимай. Я не говорить английски.

Брасбаунд. А вот этот субъект *(указывает на Дринкуотера)* — величайший лжец, вор, пьяница и негодяй на всем Западном побережье.

Дринкуотер *(с притворно ироническим безразличием)*. Валяйте, валяйте. Сэр Хауард все равно вам не поверит: он давно знает, что я за человек.

Леди Сесили. Капитан Брасбаунд, все это мне и раньше доводилось слышать о темнокожих. Тем не менее я убедилась, что они очень славные люди, если с ними хорошо обращаются.

Дринкуотер *(хихикает, итальянец тоже ухмыляется)*. Ну, как, кептен? Что вы теперь скажете?

Брасбаунд. Я отлично знаю, как обращаться с ним, миледи. Если он еще раз раскроет рот без моего разрешения, я переломаю ему кости.

Леди Сесили *(с самым сияющим видом, на какой она только способна)*. Неужели капитан Брасбаунд всегда обращается с вами так, мистер Дринкуотер?

Дринкуотер колеблется, с опаской поглядывая на капитана.

Брасбаунд. Отвечай, собака, раз леди приказывает. *(К леди Сесили.)* Не называйте его мистером Дринкуотером, миледи: он привык, чтобы его называли Джек Пьяная рожа.

Дринкуотер *(возмущенно)*. Ну, знаете! Нет уж, извините, кептен! Мое имя Дринкуотер. Можете справиться на кладбище святого Иоанна на Ватерлоо-роуд. Имя это написано на могильной плите моего деда.

Брасбаунд. Если не придержишь язык, оно скоро будет написано на твоей могильной плите. *(Поворачиваясь к присутствующим.)* С вашего позволения, объяснимся начистоту. В этих местах, да и в любых других, где отсутствуют регулярные, дисциплинированные войска, конвой таков, каков его командир. Если я возьмусь за это дело, конвоем вашим буду я сам. Мне может понадобиться десяток людей или, скажем, десяток лошадей. Некоторые из этих лошадей и поголовно все люди окажутся с норовом. Если человек или лошадь попробуют свой норов на мне, тем хуже для них. Вас это касаться не будет. Я прикажу своим людям пристойно вести себя в присутствии леди, и они выполнят мой приказ. Но леди соблаговолит принять к сведению, что с людьми я обращаюсь по-своему и никакого вмешательства не потерплю.

Леди Сесили. Капитан Брасбаунд, мне лично совсем не нужен конвой. Он только вовлечет нас в какую-нибудь опасность, и мне же придется потом выпутываться из нее. Так уж всегда получается, когда берешь конвой. Но поскольку сэр Хауард предпочитает, чтобы нас эскортировали, вам, по-моему, лучше всего остаться дома и передать командование мне. Я уверена, что отлично полажу с вашими людьми — для этого нужно только обращаться с ними по-человечески.

Дринкуотер *(в восторге)*. И еще как поладите, леди, ручаюсь вам!

Брасбаунд *(с иронической уступчивостью)*. Хорошо. Я согласен. *(Дринкуотеру.)* Поедете без меня.

Дринкуотер *(в ужасе)*. Что? Что вы такое говорите? Мы без вас не можем. *(К леди Сесили.)* Нет уж, леди, так не годится. Да разве мы, несчастные, необразованные бродяги, можем идти на опасное дело без кептена? А кто нами будет командовать? Нет, леди, нет! Вместе мы стоим, поодиночке падаем.

Леди Сесили. Если вы предпочитаете своего капитана, пожалуйста, пусть едет. Вам, наверно, нравится, когда с вами обращаются так, как он?

Дринкуотер *(с тщеславной улыбкой)*. Ну, леди, вы же не станете отрицать, что он настоящий джентльмен. Любит малость самоуправничать, но так уж положено джентльмену. Да ведь вправить мозги таким нехристям, как мы, только самоуправством и можно, уверяю вас.

Брасбаунд. Довольно. Ступай.

Дринкуотер. Я только хотел растолковать леди, что...

Капитан угрожающим жестом прерывает его. Он со всех ног удирает в дом, за ним следует итальянец.

Брасбаунд. Видите, миледи? Эти люди служат мне по доброй воле. Если они недовольны, мы расстаемся. Если недоволен я, мы тоже расстаемся. Они стараются не вызывать моего недовольства.

Сэр Хауард *(с одобрением и растущим доверием слушая его)*. Капитан Брасбаунд, вы именно тот человек, который мне нужен. Если мы решим совершить экскурсию и ваши условия окажутся приемлемыми, я воспользуюсь вашими услугами. Надеюсь, вы не возражаете, Сесили?

Леди Сесили. О, нет. К тому же эти люди, видимо, по-настоящему любят вас, капитан Брасбаунд. Я уверена, что у вас доброе сердце. У вас такие славные глаза.

Сэр Хауард *(шокирован)*. Право, дорогая Сесили, вам следовало бы воздержаться от слишком доверительных замечаний по поводу глаз и лиц. *(К Брасбаунду.)* Итак, ваши условия, капитан?

Брасбаунд. Куда вы собираетесь ехать?

Сэр Хауард. Право, не знаю. Куда мы можем поехать, мистер Рэнкин?

Рэнкин. Послушайтесь моего совета, сэр Хауард, не забирайтесь далеко.

Брасбаунд. Я могу проводить вас в Мескалу, откуда вы увидите Атласские горы. Из Мескалы я могу отвезти вас в старинный замок в горах, где вам никто не помешает пробыть столько, сколько вы захотите. Обычная плата полдоллара в день за каждого человека. Питание тоже за ваш счет. Я получаю вдвойне.

Сэр Хауард. Я полагаю, вы ручаетесь за то, что у вас достаточно крепкие парни, которые, в случае надобности, не побоятся взяться за винтовки?

Брасбаунд. Я ручаюсь за то, что меня они боятся больше, чем марокканцев.

Леди Сесили. Все это не имеет ровно никакого значения, Хауард. Важно другое, капитан Брасбаунд: во-первых, возьмите с собой как можно меньше людей — во время путешествия мужчины всегда доставляют массу хлопот; во-вторых, отберите людей со здоровыми легкими, не подверженных простуде. И самое главное, присмотрите, чтобы одежда у них была из хорошего прочного материала. В противном случае, мне всю поездку придется

стирать, шить и чинить, а у меня, поверьте, и без того будет достаточно забот – мне ведь придется следить, чтобы они были хорошо вымыты и накормлены.

Брасбаунд *(надменно)*. Мои люди не дети, миледи.

Леди Сесили *(с неколебимой убежденностью)*. Все мужчины – дети, капитан. Я вижу, вы многого не замечаете. У этого несчастного итальянца только один ботинок зашнурован как следует; на другом шнурок совершенно изорван. А мистер Дринкуотер, судя по цвету его лица, нуждается в лечении.

Брасбаунд *(внутренне озадаченный и обескураженный, несмотря на всю свою решимость не позволять шутить над собой)*. Сударыня, если вам нужен конвой, я могу обеспечить вас конвоем. Если же вам угодно совершить прогулку с учениками воскресной школы, это я вам предоставить не в силах.

Леди Сесили *(с грустной нежностью)*. А разве вам не хотелось бы этого, капитан? Ах, если бы я только могла показать вам своих ребятишек из Уайнфлитской воскресной школы! Как бы им понравились все эти места, верблюды, негры! Я уверена, что вы с большим удовольствием провели бы с ними время. А какое воспитательное значение имело бы это для ваших людей!

Брасбаунд с пересохшими губами уставился на нее.

Сэр Хауард. Сесили, перестаньте рассказывать глупости капитану Брасбаунду. Пора окончательно договориться с ним об условиях.

Леди Сесили. Но мы уже обо всем договорились. Выезжаем завтра в восемь утра, если вы ничего не имеете против, капитан. Об итальянце не беспокойтесь: у меня с собой большой сундук с одеждой для моего брата, который живет в Риме; я найду там пару шнурков. А теперь идите домой, ложитесь спать и не хлопочите попусту. Вам надо только привести утром своих людей, обо всем остальном я позабочусь сама. Мужчины всегда так нервничают перед поездкой! Спокойной ночи. *(Протягивает ему руку.)*

Пораженный, он в первый раз снимает шляпу. Угрызения совести мешают ему сразу пожать ей руку. Он колеблется, затем оборачивается к сэру Хауарду и серьезно, почти угрожающе, обращается к нему.

Брасбаунд. Сэр Хауард Хэллем, советую вам не предпринимать эту экспедицию.

Сэр Хауард. Вот как? Почему?

Брасбаунд. Тут вы в безопасности. Предупреждаю вас, здешнее правосудие не похоже на ваше английское. Здесь нет судов. Если вы обидели мужчину, вы можете встретить его в горах. Если вы обидели женщину, вы можете встретить в горах ее сына. Правосудие здешних гор — правосудие мести.

Сэр Хауард *(слова и тон капитана слегка его забавляют)*. Я вижу, вы суеверны, капитан. Все моряки обычно суеверны. Однако я полностью полагаюсь на ваш конвой.

Брасбаунд *(почти угрожающе)*. Берегитесь! Мстителем может оказаться кто-нибудь из конвоя.

Сэр Хауард. Я уже встретился с единственным человеком из вашего конвоя, который мог бы таить злобу против меня, но и тот был мною оправдан.

Брасбаунд. Значит, вам суждено ехать?

Сэр Хауард *(улыбаясь)*. Видимо, так.

Брасбаунд. Пеняйте на себя! *(К леди Сесили, пожимая ей наконец руку.)* Спокойной ночи. *(Уходит.)*

Уже наступила звездная ночь.

Полдень. Комната в марокканском замке. Вдоль обветшалых глинобитных стен, частично крашеных, частично облицованных белой плиткой с зелеными и желтыми узорами, тянется диван. Потолок выложен небольшими яркими разноцветными квадратиками с золочеными краями и золотыми шишечками. На цементном полу разложены циновки, овчины и кожаные подушки с геометрическим рисунком. В середине маленький мавританский столик, возле него громоздкое седло, покрытое пестрым чепраком: это говорит о том, что в комнате живут иностранцы, привыкшие к стульям. Присев за столик на это сиденье, вы оказываетесь справа от главного входа — большой подковообразной арки, а между вами и аркой лежит второе седло. Если вы к тому же чувствительны к сквознякам, вы, вероятно, схватите простуду, так как справа, позади вас, в стене проделана маленькая дверь в мавританском стиле.

Несколько человек из отряда Брасбаунда, истомленные полуденным зноем, лениво растянулись на полу, подложив куртки под голову и поудобней задрав ноги на диван. Те, кто в рубашках, расстегнули ворот, чтобы легче дышать. Остальные сделать этого не могут — на них свитеры. Все в сапогах и кожаных поясах, у каждого под рукой винтовка. Один из конвоиров, тот, чья голова покоится на втором седле, одет в английский костюм яхтсмена, некогда белый и модный. Это, по-видимому, милый бездельник из хорошей английской семьи, сбившийся с пути, но еще сохранивший некоторые остатки собственного достоинства: он каждый день бреется и причесывает свои редеющие волосы, которые, впрочем, не были густыми даже в лучшие времена его жизни.

Тишину нарушает лишь храп молодого джентльмена, спящего с раскрытым ртом. Наконец, его будят отдаленные выстрелы. Он конвульсивно сжимает рот и с трудом открывает глаза. За сценой раздается яростный удар ногой в дверь и слышится голос Дринкуотера, поднимающего тревогу.

Дринкуотер. Эй вы, подъем! Слышите? Подъем! *(Врывается в комнату через арку, разгоряченный бегом и вол-*

нением, и мечется по комнате, расталкивая спящих.) Да поднимайтесь вы! Эй, Редбрук! Вставай, Малыш! *(Грубо толкает молодого джентльмена.)*

Редбрук *(садясь)*. Проваливай! Кому я говорю? Что стряслось?

Дринкуотер *(негодующе)*. Что стряслось? Стрельбы вы не слышали, что ли?

Редбрук. Нет.

Дринкуотер *(фыркая)*. Нет? Решили, что так оно спокойнее будет, а?

Редбрук *(с неожиданным проблеском сообразительности)*. Вот оно что! Ты сам сбежал. Эй, черти, подъем! Тревога! Джек Пьяная рожа задал деру!

Люди поспешно вскакивают и хватаются за винтовки.

Дринкуотер. Вот именно что тревога! Еще бы не тревога! Но пока вы тут дрыхли, все уже кончилось.

Они снова устало опускаются на пол.

Почему вы спокойненько валялись тут, вместо того, чтобы прийти нам на помощь: Бени Сера напал на нас, вот что, а нам, будьте уверены, до дому было еще порядочно. Марцо досталось: эти черти влепили ему таки пулю прямо в плечо. Брасбаунд с шестисот пятидесяти ярдов убил под шейхом коня. *(Расталкивая их.)* А ну, поднимайтесь, готовьте место для английской аристократии — лорда Хэллема и леди Уайнфлит.

Редбрук. Леди, наверно, упала в обморок, а?

Дринкуотер. В обморок? Держи карман шире! Она все порывалась пойти и поговорить с Бени Сера, провалиться мне на этом месте, если вру! И еще спрашивала, чего мы испугались. А рану Марцо перевязала, как заправская медицинская сестра.

Через арку входит сэр Хауард с большой тропической сеткой на своей белой шляпе; следом за ним люди Брасбаунда под руки вводят раненого Марцо, хнычущего и перепуганного мыслью о смерти, а следовательно, и об ожидающих его загробных муках, которые, как он отлично понимает, вполне им заслужены. Он без куртки, грудь его забинтована. Один из тех, кто поддерживает его, — чернобородый, коренастый, медлительный немолодой человек, который — это чувствуется — когда-то принадлежал к порядочному обществу. Зовут его, как выяснится впоследствии, Джонсон. Леди Сесили идет рядом

с Марцо. Редбрук, несколько сконфуженный, отходит к противоположной стене, стараясь держаться подальше от вновь прибывших.

Дринкуотер *(оборачивается к ним и приветствует их с насмешливой церемонностью)*. Добро пожаловать в замок Брасбаунда, сэр Хауард и леди. Вот ваша гостиная. Здесь можно пить кофе и принимать посетителей.

Сэр Хауард, изрядно утомленный, подходит к столику и опускается на седло. Леди Сесили подходит к Дринкуотеру.

Леди Сесили. Где постель Марцо?

Дринкуотер. Постель, леди? Ну, он у нас не привереда. Положим его на пол у стены, с него и довольно.

Они укладывают Марцо у стены, близ маленькой дверцы. Марцо стонет. Джонсон флегматично отходит от него и направляется к Редбруку.

Леди Сесили. Но ведь нельзя же оставить его здесь в таком состоянии.

Дринкуотер. Да ему тут совсем не плохо. *(Грубо, к Марцо.)* Тебе хорошо, Марцо, верно?

Марцо хнычет.

Словом, порядок.

Леди Сесили *(сэру Хауарду)*. Видели вы когда-нибудь такую беспомощность! *(Направляется к маленькой дверце.)*

Дринкуотер. Эй! *(Бежит к двери и загораживает вход.)* Вы куда это, ваша милость?

Леди Сесили. Я хочу осмотреть все комнаты в замке и найти место, где можно уложить этого человека. А сейчас я скажу вам, куда пойдете вы. Вы пойдете и принесете Марцо воды: он хочет пить. Затем, когда я выберу для него комнату, вы приготовите там ему постель.

Дринкуотер *(саркастически)*. А еще что изволите приказать? Не стесняйтесь, леди, будьте как дома.

Леди Сесили *(деликатно)*. Если не хотите, можете не ходить, мистер Дринкуотер. Вы, вероятно, переутомились. *(Направляется к арке.)* Я попрошу капитана Брасбаунда, он не откажет.

Дринкуотер *(перепуганный, бежит за ней и загораживает дорогу)*. Нет, нет! Что вы, леди! Зачем беспокоить кептена? Я все сделаю.

Леди Сесили *(серьезно)*. Я в этом не сомневалась, мистер Дринкуотер. У вас такое доброе лицо. *(Поворачивается и скрывается за маленькой дверцей.)*

Дринкуотер *(глядя ей вслед)*. Ну и катись!

Сэр Хауард *(Дринкуотеру)*. Велите кому-нибудь из своих приятелей показать мне мою комнату, пока вы ходите за водой.

Дринкуотер *(нагло)*. Вашу комнату? А эта для вас недостаточно хороша, что ли? *(Яростно.)* Уж не собираетесь ли вы здесь распоряжаться, а?

Сэр Хауард *(спокойно встает и отступает под защиту Редбрука и Джонсона, к которым и обращается)*. Можете вы указать мне более уединенную комнату, чем эта?

Джонсон *(отрицательно качая головой)*. Я не получил приказаний на этот счет, сэр. Вам придется подождать, пока придет капитан.

Дринкуотер *(следуя за сэром Хауардом)*. А пока вы ждете, приказывать вам буду я, понятно?

Джонсон *(медлительно и сурово к Дринкуотеру)*. Эй, ты, полегче! Разве не видишь, что три джентльмена вежливо разговаривают о своих делах?

Дринкуотер *(струхнув)*. Не стоит сердиться, мистер Джонсон...

Джонсон *(угрожающе)*. Нет, стоит. Ты как ведешь себя, ублюдок? *(К сэру Хауарду.)* Вот в чем проклятье нашей жизни, сэр; приходится общаться со всякой мразью. Мой отец, сэр, был капитан Джонсон из Гулля, имел собственную шхуну. Большинство из нас здесь – джентльмены, сэр, как вы убедитесь, за исключением вон того жалкого иностранца да этого грязного мерзавца. *(Презрительно указывает на Дринкуотера.)* Он ведь незаконнорожденный, мальчишка с улицы.

Дринкуотер *(разражаясь слезами)*. Классовые предрассудки, вечно эти классовые предрассудки! А вы-то сами кто такие? Проклятый сброд из ночлежек, только и всего.

Джонсон шокирован, остальные тоже кипят негодованием.

Лучше уж совсем не иметь семьи, как я, чем позорить почтенных родителей, как вы.

Джонсон. Джек Пьяная рожа, я обвиняю тебя в непристойном поведении и выражениях, недостойных джентльмена. Те, кто согласны со мной, выразят свое мнение обычным способом.

Все *(горячо)*. Да, да!

Дринкуотер *(исступленно)*. Нет!

Джонсон. Феликс Дринкуотер, ты удалишься сам или будешь ждать, пока тебя выставят? Реветь можешь в коридоре. Вздумаешь скандалить — у тебя будет о чем поплакать.

Все угрожающе надвигаются на Дринкуотера.

Дринкуотер *(хнычет)*. Оставьте меня в покое, я ухожу. Истинно демократического духа здесь не больше, чем в ньюингтонском полицейском участке, будь он проклят. *(В слезах направляется к арке.)*

В это время входит Брасбаунд. Дринкуотер поспешно ретируется влево от капитана, остальные, по мере того как Брасбаунд приближается к середине комнаты, отступают вправо. Сэр Хауард устало опускается на диван позади них.

Брасбаунд *(к Дринкуотеру)*. Почему хнычешь?

Дринкуотер. Спросите ваших аристократов. Они нашли, что мое поведение недостойно джентльмена.

Брасбаунд уже собирается потребовать у Джонсона объяснений, но в эту минуту из маленькой дверцы выходит леди Сесили и становится между Брасбаундом и Дринкуотером.

Леди Сесили *(Дринкуотеру)*. Вы принесли воду?

Дринкуотер. Теперь еще вы станете помыкать мною! *(Снова начинает плакать.)*

Леди Сесили *(удивленно)*. Так не годится, мистер Дринкуотер. Пока вы в слезах, я не могу позволить вам ухаживать за вашим другом.

Дринкуотер *(исступленно)*. Думаете, это разобьет мне сердце, да? *(Горько рыдая, бросается на диван в припадке по-детски бессильной злобы.)*

Леди Сесили *(удивленно глянув на него)*. Капитан Брасбаунд, существуют ли в Атласских горах поденщицы?

Брасбаунд. Здесь, как и всюду, существуют люди, которые готовы работать, если им платят.

Леди Сесили. Замок этот очень романтичен, капитан, но основательная уборка не производилась в нем, видимо, с тех самых пор, как здесь жил пророк. Я нашла только одну комнату, где можно поместить больного. Это вторая справа по коридору. Только в ней есть постель.

Брасбаунд *(надменно)*. Это моя комната, сударыня.

Леди Сесили *(с облегчением)*. Ну, тогда все в порядке! Мне было бы очень неловко просить кого-либо из ваших людей освободить ее. А вы, я знаю, не будете возражать.

Все остолбенело смотрят на нее. Даже Дринкуотер позабыл от изумления свои горести.

Брасбаунд. Простите, сударыня, а о моих удобствах вы тоже позаботились?

Леди Сесили *(успокоительно)*. Разумеется. Вы займете мою комнату, где бы она ни находилась. Уверена, что плохую вы для меня не выбрали. Я должна быть возле раненого и согласна устроиться кое-как. А теперь нужно со всей осторожностью перенести Марцо. Где мой верный рыцарь мистер Джонсон? А, вот и вы, мистер Джонсон.

(Бежит к Джонсону мимо Брасбаунда.)

Брасбаунд поспешно уступает ей дорогу. На его лице не отражается ничего, если не считать крайнего недоумения и негодования.

Попросите, пожалуйста, вашего могучего друга помочь нам перенести Марцо. Сильные люди всегда такие нежные.

Джонсон. Разрешите представить вам мистера Редбрука. Ваша милость, возможно, знает его отца, достопочтенного декана Редбрука. *(Направляется к Марцо.)*

Редбрук. Рад служить вам, леди Сесили.

Леди Сесили *(пожимая ему руку)*. Здравствуйте. Разумеется, я знала вашего отца. Это было в Данеме, не правда ли? А вас, по-моему, называли...

Редбрук. Малыш. Именно так.

Леди Сесили. Но почему...

Редбрук *(предвосхищая вопрос)*. Карты и вино, леди Сесили. *(Подходит к Джонсону и раненому.)*

Леди Сесили следует за ним.

А ну-ка, граф Марцо!

Джонсон и Редбрук поднимают Марцо, он стонет.

Леди Сесили. Спокойнее, Марцо. Вам никто не делает больно. Осторожнее, чем они, быть просто невозможно.

Марцо. Пить!

Леди Сесили. Я сама принесу вам воды: ваш друг мистер

Дринкуотер слишком расстроен... Осторожнее, здесь угол. Сюда, сюда, вторая дверь направо. *(Уходит вслед за Джонсоном и Редбруком, уносящими Марцо в маленькую дверь.)*

Брасбаунд *(все еще пребывая в изумлении)*. Ну и ну, черт меня побери!

Дринкуотер *(вскакивая)*. Чтоб мне провалиться!

Брасбаунд *(раздраженно оборачиваясь)*. Что ты сказал?

Дринкуотер. А сами вы что сказали, кептен? Первый раз вижу, что вы кого-то испугались.

Остальные смеются.

Брасбаунд. Испугался?

Дринкуотер *(ехидно)*. Она, можно сказать, вытащила из-под вас постель и отдала ее нищему бродяге. Поговорите-ка с ней, когда она вернется, если не боитесь ее.

Брасбаунд *(к сэру Хауарду)*. Я хотел бы, сэр Хауард, чтобы вы уяснили себе одно: в этом замке распоряжаюсь я и только я. Будьте так любезны передать это леди Сесили Уайнфлит.

Сэр Хауард *(приподымаясь и взяв себя в руки)*. Вам представится неограниченная возможность самому переговорить с леди Сесили, когда она вернется.

Дринкуотер хихикает, остальные ухмыляются.

Брасбаунд. У меня грубые манеры, сэр Хауард. Я не хочу пугать даму.

Сэр Хауард. Если вам удастся напугать леди Сесили, вы окажете великую услугу всей ее семье, капитан Брасбаунд. Если бы она поняла, что такое опасность, она научилась бы избегать ее.

Брасбаунд. Вот что, сэр, пусть она будет хоть десять раз леди Сесили, ей все равно придется считаться со мной, пока она находится здесь.

Дринкуотер. Что верно, то верно, кептен. Поддержите-ка свой авторитет.

Брасбаунд раздраженно оборачивается.

(Дринкуотер отступает с протестующим жестом.) Ну, ну, ну!

Сэр Хауард. Если вас это нервирует, капитан, я с удовольствием передам ей ваши слова.

Брасбаунд. Нервирует, сэр? Нет, нервы не по моей части.

Вы убедитесь, что я вполне способен сам сказать все, что хочу, и, если понадобится, сказать достаточно веско.

Сэр Хауард с вежливым, но недоверчивым видом кивает головой.

Дринкуотер. Гм-гм...

Леди Сесили возвращается с Джонсоном и Редбруком. В руках у нее кувшин.

Леди Сесили *(останавливаясь между дверью и аркой)*. А теперь за водой. Где она?

Редбрук. Во дворе есть колодец. Я достану для вас ведро воды.

Леди Сесили. Вы очень любезны, мистер Редбрук. *(Направляется к арке.)*

Редбрук идет за ней.

Дринкуотер. Что же вы, кептен Брасбаунд? Разве вам нечего сказать леди, а?

Леди Сесили *(останавливаясь)*. Я сейчас вернусь и выслушаю вас, капитан. Ах да, пока не забыла! *(Выходит вперед и останавливается между капитаном и Дринкуотером.)* Пожалуйста, скажите мне, капитан, если я хоть в чем-то нарушаю ваши распоряжения. Если я даже самую чуточку мешаю вам, немедленно останавливайте меня. Вы здесь отвечаете за все, поэтому ваши приказы и ваш авторитет всегда должны быть на первом месте. Вы скажете мне, да?

Брасбаунд *(неловко — он окончательно побит)*. Прошу вас поступать, как вам заблагорассудится, сударыня.

Леди Сесили. Благодарю. Вы верны себе, капитан. Благодарю. А теперь, мистер Редбрук, покажите мне, как пройти к колодцу. *(Уходит вслед за Редбруком через арку.)*

Дринкуотер. Ну и срам! Перед женщиной спасовал.

Джонсон *(подходя к Брасбаунду справа)*. Что еще случилось?

Дринкуотер *(с разочарованным видом)*. Не спрашивайте меня, мистер Джонсон. Кептен-то наш оказался вроде нас грешных.

Брасбаунд *(слегка пристыженный)*. Что она там еще затеяла, Джонсон?

Джонсон. А вот что. Марцо лежит в вашей постели. Леди хочет устроить в приемной шейха кухню, а меня с Малышом поместить в его спальне, чтобы мы были под рукой

на тот случай, если у Марцо начнется рожа и он станет буйствовать. Насколько я понимаю, она намерена стать сестрой-хозяйкой этого заведения. Полагаю, в этом нет ничего худого, а?

Дринкуотер. И начнет она теперь командовать нами, как малыми ребятами. А кептен боится ей даже слово сказать!

Леди Сесили возвращается вместе с Редбруком, несущим полный кувшин воды.

Леди Сесили *(опускает кувшин на пол и, как прежде, становится между Брасбаундом и Дринкуотером)*. А теперь, капитан, прежде чем я уйду к бедному Марцо, скажите, о чем вы хотели побеседовать со мной.

Брасбаунд. Я? Ни о чем.

Дринкуотер. Не отступайте, хозяин! Будьте мужчиной!

Леди Сесили *(недоуменно глядя на Дринкуотера)*. Мистер Дринкуотер утверждал, что вы хотите поговорить со мной.

Брасбаунд *(приходя в себя)*. Я хотел вам только сказать, что у этого вот парня *(указывает на Дринкуотера)* бывают припадки наглости. Если он будет дерзить вам или ослушается вас, я даю вам право приказать моим людям бить его столько, сколько вы сочтете нужным. А уж я присмотрю за тем, чтобы он получил все сполна.

Дринкуотер *(протестующе возвышая голос)*. Ну, ну...

Леди Сесили. Что вы, что вы, капитан Брасбаунд! Ведь это обидело бы мистера Дринкуотера.

Дринкуотер *(плаксиво)*. Леди не способна на такое варварское обращение.

Леди Сесили. Но я тоже хотела бы кое о чем вас попросить, если, конечно, мистер Дринкуотер ничего не имеет против. Это очень важно, особенно если за Марцо будет ухаживать именно он.

Брасбаунд. Что такое?

Леди Сесили. Вы не будете возражать, мистер Дринкуотер, правда?

Дринкуотер *(подозрительно)*. Чего еще?

Леди Сесили. Опасность рожи у раненого была бы куда меньше, если бы вы были настолько любезны и приняли ванну.

Дринкуотер *(в ужасе)*. Ванну?

Брасбаунд *(тоном приказа)*. Смирно!

Все становятся по команде «смирно».

Взять этого человека и вымыть его.

Люди Брасбаунда, давясь от хохота, хватают Дринкуотера.

Дринкуотер *(протестуя изо всех сил)*. Нет! Нет! Да послушайте...

Брасбаунд *(неумолимо)*. Холодной водой!

Дринкуотер *(вопит)*. Не...е...т!.. Не могу, говорю вам, не могу. Нет! Послушайте! Нет, нет, нет!

Его утаскивают через арку под раскаты хохота, вопли протеста и всхлипывания.

Леди Сесили. Боюсь, что бедняга не привык к таким вещам, капитан Брасбаунд, но это, право же, пойдет ему на пользу. Ну, а теперь мне пора к моему больному. *(Берет кувшин и уходит с ним в маленькую дверцу, оставив Брасбаунда наедине с сэром Хауардом.)*

Сэр Хауард *(вставая)*. А теперь, капитан Брас...

Брасбаунд *(с гневным презрением прерывая сэра Хауарда, чем тот немало удивлен)*. Сейчас я займусь вами. *(Зовет.)* Джонсон! Эй, вы там, Джонсона и Османа ко мне. *(Снимает куртку и бросает ее на стол, оставшись налегке в синем шерстяном свитере.)*

Сэр Хауард *(подавив мгновенную вспышку гнева, говорит со сдержанной силой, невольно привлекающей внимание Брасбаунда.)* Вы, видимо, полновластный хозяин по отношению к вашим людям.

Брасбаунд. Я полновластный хозяин по отношению ко всем, кто находится в этом замке.

Сэр Хауард *(вежливо, но угрожающе)*. Я уже заметил, что вы так полагаете. Но я не согласен с вами. У правительства ее величества сильные и длинные руки. Если со мной или моей невесткой случится что-либо неприятное, эти руки дотянутся даже сюда. А уж если это произойдет, вы вряд ли сохраните здесь положение полновластного хозяина. Простите, что напоминаю вам об этом.

Брасбаунд *(угрюмо)*. Очень вам это поможет!

Через арку входит Джонсон.

Где Осман, гонец шейха? Он мне тоже нужен.

Джонсон. Идет, капитан. Он как раз кончал молитву.

Под аркой появляется Осман, высокий, тощий, пожилой марокканец.

Брасбаунд. Осман Али!

Осман выходит вперед и становится между Брасбаундом и Джонсоном.

Ты видел, что сюда с нами прибыл этот неверный? *(Указывает на сэра Хауарда.)*

Осман. Да, и с ним бесстыдница с открытым лицом. Она похвалила мою внешность и подала мне руку.

Джонсон. А ты взял ее руку, старина, не правда ли?

Брасбаунд. Бери коня и скачи, да побыстрее, к своему господину шейху Сиди эль Ассифу.

Осман *(гордо)*. Потомку пророка.

Брасбаунд. Расскажи ему, что ты здесь видел. Вот и все. Джонсон, дай ему доллар и заметь время его отъезда. Пусть господин его знает, как быстро он умеет гнать коня.

Осман. Слово правоверного да пребудет с аллахом и его слугой Сиди эль Ассифом!

Брасбаунд. Убирайся!

Осман. Исполни волю своего господина, о Джонсон эль Гулль, прежде чем я скроюсь от взоров его.

Джонсон. Он хочет получить доллар.

Брасбаунд дает Осману монету.

Осман *(кланяясь)*. Аллах да облегчит муки ада другу Сиди эль Ассифа и его слуге. *(Уходит через арку.)*

Брасбаунд *(Джонсону)*. Не пускай сюда никого до прибытия шейха. Мне нужно обсудить одно дело. Когда шейх появится, нам придется держаться всем вместе: Сиди эль Ассиф, естественно, захочет первым делом перерезать всем нам глотки.

Джонсон. Мы надеемся, капитан, что вы сумеете поладить с ним, коль скоро сами пригласили его сюда.

Брасбаунд. Вы можете положиться на меня. Я думаю, вам это известно.

Джонсон *(флегматично)*. Да, нам это известно. *(Направляется к выходу, но в этот момент сэр Хауард обращается к нему.)*

Сэр Хауард. Надеюсь, мистер Джонсон, вам известно, что вы можете положиться и на меня.

Джонсон *(оборачиваясь)*. На вас, сэр?

Сэр Хауард. Да, на меня. Если мне перережут глотку, марокканскому султану придется послать в министерство колоний голову Сиди и сто тысяч долларов возмещения. Но даже этой ценой он не спасет свое государство, равно

как не спасете свою жизнь и вы, если ваш капитан вздумает проделать со мной то же самое.

Джонсон *(пораженный)*. Это так, капитан?

Брасбаунд. Я знаю цену этому джентльмену, быть может, лучше, чем он сам. Постараюсь принять его слова к сведению.

Джонсон с серьезным видом кивает и направляется к выходу, но в эту минуту леди Сесили на цыпочках появляется из маленькой дверцы и шепотом окликает его. Она сняла свой дорожный костюм и надела передник. На поясе у нее висит корзиночка со швейными принадлежностями.

Леди Сесили. Мистер Джонсон!

Он оборачивается.

Марцо заснул. Не будете ли так любезны попросить джентльменов не шуметь во дворе под его окном.

Джонсон. Слушаюсь, сударыня. *(Уходит.)*

Леди Сесили садится за столик и принимается шить повязку для раненой руки Марцо. Брасбаунд расхаживает взад и вперед справа от нее, бормоча себе под нос нечто столь зловещее, что сэр Хауард считает за благо убраться с его дороги, перейдя на другую сторону и усевшись на второе седло.

Сэр Хауард. Вы еще способны уделить мне минуту внимания, капитан Брасбаунд?

Брасбаунд *(не останавливаясь)*. Что вы хотите?

Сэр Хауард. Боюсь, что покажусь вам слишком настойчивым, но я хотел бы двух вещей — возможности уединиться и, если позволите так выразиться, некоторой вежливости. Я премного обязан вам за то, что вы выручили нас сегодня во время нападения. До сих пор вы выполняли свои обязательства. Но как только мы оказались здесь на положении ваших гостей, вы, а равно и худшие из ваших людей изменили тон по отношению к нам. Я сказал бы даже — намеренно изменили.

Брасбаунд *(круто останавливается и в упор бросает)*. Вы здесь не гость, а пленник.

Сэр Хауард. Пленник!

Леди Сесили, бросив на них беглый взгляд, продолжает шить, как будто это ее не касается.

Брасбаунд. Я вас предупреждал. Вам следовало прислушаться к моему предупреждению.

Сэр Хауард *(немедленно меняя тон, в котором звучит теперь холодное презрение к непорядочному человеку)*. Из этого я, очевидно, должен заключить, что вы разбойник? Речь идет о выкупе?

Брасбаунд *(с необъяснимым пафосом)*. Всех богатств Англии не хватит, чтобы выкупить вас.

Сэр Хауард. Чего же вы тогда хотите?

Брасбаунд. Воздать по справедливости вору и убийце.

Леди Сесили опускает шитье и с беспокойством смотрит на них.

Сэр Хауард *(глубоко задетый, с достоинством поднимается)*. Вы относите эти слова ко мне, сэр?

Брасбаунд. Да. *(Поворачивается к леди Сесили и добавляет, презрительно указывая на сэра Хауарда.)* Взгляните на него. Можете вы предположить, что этот джентльмен, исполненный добродетельного негодования, приходится дядей разбойнику?

Сэр Хауард вскакивает, но удар слишком силен для него, и он, внезапно постарев, снова садится. Руки его дрожат, но глаза и рот по-прежнему выражают бесстрашие, решительность и злость.

Леди Сесили. Дядя? Что вы имеете в виду?

Брасбаунд. Разве этот человек, облаченный в красную мантию и называющий себя судьей, никогда не рассказывал вам о моей матери?

Сэр Хауард *(почти беззвучно)*. Вы сын этой женщины?

Брасбаунд *(яростно)*. Этой женщины? *(Хочет броситься на сэра Хауарда.)*

Леди Сесили *(поспешно встает и кладет руку на плечо Брасбаунда)*. Успокойтесь. Вы же не ударите старика.

Брасбаунд *(вне себя от гнева)*. Он не пощадил мою мать, «эту женщину», как он ее называет только за то, что она женщина. Я тоже не пощажу его только за то, что он старик. *(Понизив голос, глухо и мстительно.)* Но я не ударю его.

Леди Сесили отпускает его и садится. Она в полном недоумении.

(Брасбаунд, бросив злобный взгляд на сэра Хауарда, продолжает.) Я только свершу над ним правый суд.

Сэр Хауард *(вновь обретая голос и энергию)*. Суд! Я полагаю, что это месть, которую вы, ослепленный своими страстями, выдаете за правосудие.

Брасбаунд. Сколько несчастных на скамье подсудимых испытали вашу месть, прикрытую той же личиной, месть общества, которую оно, ослепленное своими страстями, выдает за правосудие! А теперь правосудие, осквернённое вами, настигнет вас под личиной мести. Что вы на это скажете?

Сэр Хауард. Надеюсь, что встречу свою участь как подобает ни в чем не виновному человеку и неподкупному судье. В чем вы обвиняете меня?

Брасбаунд. Я обвиняю вас в смерти моей матери и краже моего наследства.

Сэр Хауард. Что касается вашего наследства, то вы могли получить его в любой момент – вам стоило лишь предъявить свои права на него. Три минуты назад я даже не знал о вашем существовании. Утверждаю это совершенно категорически. Я никогда не знал, никогда не подозревал, что у моего брата Майлза остался сын. Что до вашей матушки, то дело ее было сложное, пожалуй, самое сложное, с каким мне приходилось сталкиваться. Именно в этом смысле я и упомянул о нем в разговоре с миссионером мистером Рэнкином в тот вечер, когда мы встретились с вами. Что же касается ее смерти, то вы знаете, должны знать, что она скончалась у себя на родине много лет спустя после нашей последней встречи. Возможно, вы были тогда слишком малы и просто не понимали, что дни ее уже сочтены.

Брасбаунд. Вы хотите сказать, что она пила?

Сэр Хауард. Я этого не сказал. Но я действительно думаю, что она не всегда могла отвечать за свои поступки.

Брасбаунд. Да, она была к тому же невменяема. Пьянство ли довело ее до помешательства или помешательство до пьянства – это не важно. Вопрос стоит иначе: кто довел ее и до того и до другого?

Сэр Хауард. Полагаю, что бесчестный управляющий, присвоивший себе ее поместье. Повторяю, это был сложный случай. Совершилась страшная несправедливость, но ничего нельзя было сделать.

Брасбаунд. Да, вы так ей сказали. А когда она не удовлетворилась этим лживым ответом, вы выгнали ее. Когда же она заклеймила вас на улице и пригрозила,

что своими руками добьется удовлетворения, в котором ей отказал закон, вы арестовали ее, вынудили письменно извиниться перед вами и покинуть Англию, чтобы не лишиться свободы и не угодить в сумасшедший дом. А когда она уехала, умерла и все о ней забыли, вы нашли для себя способ вернуть имение, способ, которого не нашли для нее. Себе-то, вор и негодяй, вы вернули его без труда. Об этом он тоже рассказал миссионеру, леди Сесили, а?

Леди Сесили *(сочувственно)*. Бедная женщина! *(Сэру Хуарду.)* Неужели вы не могли помочь ей, Хауард?

Сэр Хауард. Нет. Этот человек по невежеству своему вправе предполагать, будто, делая первые шаги в адвокатуре, я уже был в состоянии добиться того же, чего добился, когда стал генеральным прокурором. Но вы-то должны все это понимать. Мать его тоже можно извинить: она — необразованная бразилианка, не имевшая представления об английских порядках и обезумевшая от несправедливости.

Брасбаунд. Ваша защита...

Сэр Хауард *(решительно перебивая его)*. Я не защищаю себя. Я призываю вас повиноваться закону.

Брасбаунд. Это я и намерен сделать. Закон в Атласских горах осуществляется шейхом Сиди эль Ассифом. Через час он будет здесь. Он — судья, как и вы. С ним вы можете поговорить о законе. Он растолкует вам и закон, и волю пророков.

Сэр Хауард. Известно ли ему, насколько могущественна Англия?

Брасбаунд. Ему известно, что Махди убил моего начальника Гордона, но тем не менее умер в собственной постели и попал в рай.

Сэр Хауард. В таком случае ему известно и то, что по пятам Махди шло мщение Англии.

Брасбаунд. Нет, не по пятам Махди, а по шпалам железной дороги Капштадт — Каир. Кто вы такой, чтобы целая нация затевала из-за вас войну? Что скажут о вас газеты, если вы исчезнете? Что погиб еще один неосторожный турист. Что скажут ваши ученые друзья в суде? Что вам давно пора было уступить место тем, кто лучше и моложе вас. Вы — национальный герой? Нет уж, попробуйте лучше найти в Атласских горах золотые россыпи. Вот тогда все европейские державы поспешат вам на выручку. А до тех пор заботьтесь о своей участи

сами. Сегодня вы впервые увидите перед собой не бледного и отчаявшегося беднягу, которого вы вручаете милосердию вашего бога, а лицемера судью, медоточиво выносящего вам свой ханжеский приговор.

Сэр Хауард, глубоко задетый пренебрежением к своей профессии, впервые сбрасывает с себя маску напускного достоинства и, сжав кулаки, бросается к Брасбаунду Леди Сесили поднимает глаза от шитья, чтобы убедиться, что противников разделяет стол.

Сэр Хауард. Мне больше нечего сказать вам, сэр. Я не боюсь ни вас, ни любого другого бандита, с которым у вас сговор. Что же касается вашей собственности, можете получить ее, как только опомнитесь и предъявите свои права на отцовское наследство. Совершив же преступление, вы поставите себя вне закона и не только потеряете свое достояние, но навсегда закроете перед собой двери цивилизованного общества.

Брасбаунд. Я не променяю возможность отомстить за мать даже на десять поместий.

Леди Сесили *(спокойно)*. Кроме того, Хауард, я, право, не думаю, что ему так уж выгодно вступить во владение этой недвижимостью; она ведь приносит не доход, а сто пятьдесят фунтов убытка ежегодно.

Брасбаунд поражен этим откровением.

Сэр Хауард *(смутившись)*. Должен заметить, Сесили, что вы могли бы выбрать более удачный момент для того, чтобы сообщить этот факт.

Брасбаунд *(с отвращением)*. Обманщик! Крючкотвор! Даже цену, которую вы предлагаете за свою жизнь, вы хотите уплатить фальшивой монетой. *(Зовет.)* Эй, Джонсон! Редбрук! Кто там есть! *(Сэру Хауарду.)* Вы хотели уединения, вы его получите. Я не желаю оставаться в обществе подобного человека.

Сэр Хауард *(страшно обозленный и поэтому неустрашимый)*. Вы оскорбляете меня, сэр. Вы – негодяй! Да, негодяй!

Через арку входят Джонсон, Редбрук и еще несколько человек.

Брасбаунд. Уведите этого человека.

Джонсон. Куда его поместить?

Брасбаунд. Куда угодно, лишь бы он оказался на месте, когда понадобится.

Сэр Хауард. Вы еще угодите в тюрьму, друг мой.

Редбрук *(весело и тактично)*. Полно, полно, сэр Хауард, какой смысл говорить дерзости? Идемте, мы устроим вас поудобнее.

Сэр Хауард, гневно ворча на ходу, скрывается под аркой. Джонсон и Редбрук конвоируют его, остальные, за исключением Брасбаунда и леди Сесили, следуют за ними. Брасбаунд расхаживает взад и вперед по комнате, подогревая в себе негодование и тем самым невольно вступая в неравное состязание с леди Сесили, которая продолжает спокойно сидеть и шить. Вскоре становится ясно, что хладнокровная женщина может заниматься шитьем дольше, чем разъяренный мужчина — бушевать. Затем до помраченного гневом сознания капитана Брасбаунда доходит, что на какой-то не замеченной им стадии леди Сесили закончила повязку для Марцо и теперь чинит куртку. Он останавливается, смотрит на свой свитер и, наконец, отдает себе отчет в ситуации.

Брасбаунд. Что вы там делаете, сударыня?

Леди Сесили. Чиню вашу куртку, капитан Брасбаунд.

Брасбаунд. Не припоминаю, чтобы я просил вас о таком одолжении.

Леди Сесили. Вы не просили. Я думаю, вы даже не знали, что она порвана. Некоторые мужчины неряшливы от природы. Не можете же вы принять Сиди эль... — как бишь его? — с наполовину оторванным рукавом.

Брасбаунд *(сконфуженно)*. Я... Я не знаю, каким образом он оторвался.

Леди Сесили. Когда имеешь дело с людьми, не следует давать волю благородному негодованию. Это особенно болезненно отражается на одежде, мистер Хэллем.

Брасбаунд *(взрываясь)*. Прошу не называть меня мистер Хэллем. Ненавижу это имя.

Леди Сесили. Ваше уменьшительное прозвище Черный Пакито, не правда ли?

Брасбаунд *(надменно)*. В лицо меня обычно так никто не называет.

Леди Сесили *(поворачивая куртку)*. Простите. *(Берет новую нитку и вдевает ее в иголку, спокойно и задумчиво поглядывая на него.)* Знаете, вы поразительно похожи на своего дядю.

Брасбаунд. Проклятье!

Леди Сесили. Что?

Брасбаунд. Если бы я знал, что в моих жилах течет хоть капля его черной крови, я вскрыл бы их своим собственным ножом. У меня нет родственников. У меня была мать и больше никого.

Леди Сесили *(отнюдь не убежденная)*. Да, цветом лица вы, по-моему, в мать. Но разве вы не заметили, как вспыльчив, упрям и горяч сэр Хауард? И главное, он, как и вы, убежден, что людьми можно управлять лишь с помощью силы, убежден в необходимости мстить и наказывать, точно так же, как вы хотите отомстить за свою мать Разве вы не узнали в нем себя?

Брасбаунд *(потрясенный)*. Себя? В нем?

Леди Сесили *(возвращаясь к вопросам шитья с таким видом, словно ее последнее замечание не имеет ровно никакого значения)*. Рукав не жал вам под мышкой? Может быть, лучше сделать его посвободнее.

Брасбаунд *(раздраженно)*. Оставьте мою куртку. Сойдет и так, как есть. Положите ее.

Леди Сесили. Пожалуйста, не заставляйте меня сидеть сложа руки. Я так скучаю, когда бездельничаю!

Брасбаунд. Да делайте вы, что хотите, только, бога ради, не приставайте ко мне!

Леди Сесили. Простите. Все Хэллемы раздражительны.

Брасбаунд *(с трудом сдерживая бешенство)*. Как я уже сказал, это замечание не относится ко мне.

Леди Сесили *(снова принимаясь за шитье)*. Как забавно! Они все до одного не выносят, когда им говорят, что между ними есть сходство.

Брасбаунд *(с отчаянием в голосе)*. Зачем вы приехали сюда? Я поставил капкан на него, а не на вас. Понимаете ли вы, в какой вы опасности?

Леди Сесили. В жизни нам всегда грозит та или иная опасность. Вы думаете, что из-за этого стоит волноваться?

Брасбаунд *(набрасываясь на нее)*. Думаю ли я? А вы думаете, что мою куртку стоит чинить?

Леди Сесили *(прозаично)*. О да, она еще вполне приличная.

Брасбаунд. Неужели вы совершенно бесчувственны? Или просто глупы?

Леди Сесили. Боюсь, что я ужасная дура. Но тут я ни при чем. Наверно, такой уж родилась.

Брасбаунд. Быть может, вы не понимаете, что вашему другу и моему любезному дяде чертовски повезет, если он проживет остаток дней своих закованным в цепи рабом?

Леди Сесили. Не берусь ничего предугадывать, мистер

Хэл... Я хотела сказать, капитан Брасбаунд. Мужчины всегда думают, что будут безжалостны к своим врагам, но когда доходит до дела, оказывается, что истинно дурные люди так же редки, как истинно хорошие.

Брасбаунд. Вы забываете свои же слова. Я похож на дядю. Неужели вы сомневаетесь в том, что он истинно дурной человек?

Леди Сесили. Боже мой, да ведь ваш дядя Хауард человек на редкость безобидный! Он куда лучше, чем большинство людей его профессии. Конечно, как судья, он делает страшные вещи, но чего еще ждать от человека, которому платят пять тысяч фунтов в год за то, что он творит зло, которого хвалят за это и толкают на это полисмены, суды, своды законов и присяжные, так что ему не остается другого выхода? Сэр Хауард очень хороший человек, когда предоставлен самому себе. Однажды ночью в Уайнфлите, когда он гостил у нас, мы поймали вора; я настояла, чтобы до прихода полиции мы заперли беднягу в комнате, окно которой выходило на газон. На другой день этот человек пришел опять и заявил, что вынужден будет вернуться к преступной жизни, если я не дам ему работы в саду. И я дала ему работу. Хауард признал, что это куда разумнее, чем осудить его на десять лет каторжных работ. Сами видите: Хауард, в сущности, совсем не такой уж плохой.

Брасбаунд. Он посочувствовал вору, зная, что он и сам вор. Вы забываете, что он отправил в тюрьму мою мать.

Леди Сесили *(мягко)*. Вы очень любили вашу бедную мать и всегда очень хорошо относились к ней?

Брасбаунд *(захваченный врасплох)*. Вероятно, я был не хуже других сыновей.

Леди Сесили *(широко раскрывая глаза)*. О! И это все?

Брасбаунд *(полный мрачных воспоминаний, извиняющимся тоном)*. Ну, как вам объяснить? С моей матерью не всегда удавалось быть нежным. Характер у нее был, к несчастью, совершенно неистовый, и она... она...

Леди Сесили. Да, вы говорили Хауарду. *(С искренней жалостью.)* У вас, наверно, было очень несчастливое детство.

Брасбаунд *(мрачно)*. Ад. Вот что такое мое детство. Ад.

Леди Сесили. Вы думаете, ваша матушка в самом деле убила бы Хауарда, как угрожала, если бы он не отправил ее в тюрьму?

Брасбаунд *(снова взрываясь, но все отчетливее сознавая,*

что попался в ловушку). А если бы и убила? Зачем он обокрал ее? Почему не помог ей вернуть себе поместье тем же способом, каким впоследствии заполучил его для себя?

Леди Сесили. Как вы слышали, он уверяет, что не мог. Но допускаю, что подлинная причина заключалась в другом — в том, что ваша матушка просто не нравилась ему. Вы же знаете: когда человек нам не нравится, мы найдем любые поводы отказать ему в помощи, а если он нам нравится, мы всегда убедим себя, что ему необходимо помочь.

Брасбаунд. А его братний долг?

Леди Сесили. Разве вы выполняете свой долг, как племянник?

Брасбаунд. Не играйте словами. Я выполняю свой сыновний долг, и вы это знаете.

Леди Сесили. Мне кажется, это следовало делать, пока была жива ваша мать. Вот тогда вы и должны были быть добры и терпеливы с ней. Повредив дяде, вы ей пользы не принесете.

Брасбаунд. Это научит других негодяев уважать вдов и сирот. Вы, кажется, забываете, что существует такая вещь, как правосудие?

Леди Сесили *(весело встряхивая куртку, которую кончила чинить).* Ну, если вы собираетесь стать судьей и щеголять в мантии, я сдаюсь. Вы просто вылитый дядя, только он получает за свои труды пять тысяч в год, а вы делаете это даром. *(Поднимает куртку на свет и смотрит, не нужно ли починить ее еще где-нибудь.)*

Брасбаунд *(угрюмо).* Вы ловко поворачиваете мои слова. Но переубедить меня не удавалось еще никому — ни мужчине, ни женщине.

Леди Сесили. Боже мой! Как это приятно людям, с которыми вы имеете дело: они всегда могут положиться на вас. Зато это, наверно, не очень удобно для вас самого: вдруг вы сами перемените решение.

Брасбаунд. Я никогда не меняю решений.

Леди Сесили *(встает с курткой в руках).* Полно! Никогда не поверю, что вы настолько тупоумны.

Брасбаунд *(задетый).* Тупоумен?

Леди Сесили *(поспешно и ласково извиняясь).* Нет, нет! Я хотела сказать совсем не это. Вы тверды! Неколебимы! Решительны! Железная воля! Джексон Каменная стена! Я правильно поняла?

Брасбаунд *(беспомощно)*. Вы смеетесь надо мной.

Леди Сесили. Нет, я дрожу перед вами, уверяю вас, дрожу. Ну, а теперь примерьте куртку. Боюсь, что я чересчур обузила ее под мышкой. *(Подает ему куртку.)*

Брасбаунд *(машинально повинуясь)*. По-моему, вы считаете меня дураком. *(Не может попасть в рукав.)*

Леди Сесили. Вовсе нет. Все мужчины выглядят глупо, когда не могут попасть в рукава...

Брасбаунд. Ах! *(Поворачивается, вырывает у нее куртку, надевает ее сам и застегивает нижнюю пуговицу.)*

Леди Сесили *(в ужасе)*. Стойте! Не так! Никогда не тяните куртку за полы, капитан Брасбаунд – она будет плохо сидеть. Разрешите мне. *(Энергично берется за отвороты.)* Распрямите плечи.

Он хмурится, но подчиняется.

Вот так лучше. *(Застегивает верхнюю пуговицу.)* Теперь застегните остальные – сверху вниз. Жмет под мышкой?

Брасбаунд *(с несчастным видом и уже не сопротивляясь)*. Нет.

Леди Сесили. Вот и хорошо. Сейчас я вернусь к бедному Марцо, но прежде, как и полагается славному вежливому моряку, вы поблагодарите меня за то, что я починила вашу куртку.

Брасбаунд *(в крайнем возбуждении садится за столик)*. Будьте вы прокляты! Из-за вас жизнь для меня потеряла всякую ценность. *(Вздрагивает и опускает голову на руки.)*

Леди Сесили *(отлично понимая его состояние, ласково кладет руку ему на плечо)*. О, нет! Я уверена, что вы совершили множество добрых и смелых поступков. Вам нужно только вспомнить их. Например, когда вы служили у Гордона. Этого никто не обесценит.

Брасбаунд с минуту смотрит на нее, затем целует ей руку. Она пожимает ему руку и отворачивается. Глаза ее полны слез, поэтому, когда через арку входит Дринкуотер, ей кажется, что он окружен неким радужным ореолом. Но даже когда пелена перед ее глазами рассеивается, леди Сесили с трудом узнает его: он до смешного чист и сладко причесан, а волосы его, прежде неопределенно грязного цвета, теперь ярко-рыжие.

Дринкуотер. Послушайте, кептен.

Брасбаунд вскакивает и быстро приходит в себя.

На горизонте появился этот чертов шейх и с ним еще

человек пятьдесят. Они будут здесь минут через десять, право слово.

Леди Сесили. Шейх!

Брасбаунд. Сиди эль Ассиф и с ним пятьдесят человек! *(К леди Сесили.)* Вы опоздали: я уступил вам свою месть, когда она была уже не в моих руках. *(Дринкуотеру.)* Созови всех. Пусть будут наготове и запрут ворота, а затем явятся ко мне за распоряжениями и приведут пленника.

Дринкуотер. Слушаюсь, кептен. *(Убегает.)*

Леди Сесили. Хауарду действительно грозит опасность?

Брасбаунд. Да. Всем нам грозит опасность, если я нарушу свой уговор с этим фанатиком.

Леди Сесили. Какой уговор?

Брасбаунд. Я плачу ему определенную сумму с каждого каравана, который сопровождаю в глубь страны. За это он охраняет меня и не трогает тех, кого я эскортирую. Но я дал ему клятву брать под защиту только евреев и правоверных — не христиан, понимаете?

Леди Сесили. Зачем же вы тогда взяли нас?

Брасбаунд. Я взял своего дядю нарочно и велел сообщить шейху, что он здесь.

Леди Сесили. И заварилась каша?

Брасбаунд. Я сделаю все, что могу, чтобы спасти его и вас! Но боюсь, раскаяние мое пришло, как всегда, слишком поздно.

Леди Сесили *(весело)*. Как бы там ни было, а я должна пойти присмотреть за Марцо. *(Уходит в маленькую дверцу.)*

Джонсон, Редбрук и остальные входят через арку, с ними сэр Хауард, все еще очень раздраженный и полный решимости. Он держится рядом с Джонсоном, который приближается к Брасбаунду справа; Редбрук подходит к капитану с другой стороны.

Брасбаунд. Где Дринкуотер?

Джонсон. На посту. Послушайте, капитан, нам это дело не по душе. Этот джентльмен кое-что порассказал нам, и мы считаем, что он в самом деле джентльмен и рассуждает здраво.

Редбрук. Верно, братец Джонсон. *(К Брасбаунду.)* Так не пойдет, начальник. Не дело.

Брасбаунд *(свирепо)*. Это бунт?

Редбрук. Ничего подобного, начальник. Сейчас не время молоть вздор — через пять минут сюда прискачет братец

Сиди. Мы не можем выдать англичанина черномазому чтобы тот перерезал ему глотку.

Брасбаунд *(неожиданно соглашаясь)*. Отлично. Вы, надеюсь, знаете, что, если я нарушу свой уговор с Сиди, вам через пять минут придется защищать этот замок и драться за свою жизнь. Без дисциплины тут ничего не сделаешь, это вам тоже известно. Я готов драться плечом к плечу с остальными под командой любого, кого бы вы ни выбрали. Выбирайте же себе капитана, да поживей.

Ропот удивления и недовольства.

Голоса. Нет, нет! Командовать должен Брасбаунд.

Брасбаунд. Вы зря тратите оставшиеся пять минут. Попробуйте Джонсона.

Джонсон. Нет. У меня ума не хватит.

Брасбаунд. Тогда Редбрука.

Редбрук. Нет уж, увольте. Не тот у меня характер.

Брасбаунд. Есть еще сэр Хауард Хэллем. У него характер именно тот.

Голос. Он слишком стар.

Все. Нет, нет! Брасбаунд, Брасбаунд!

Джонсон. Никто кроме вас не годится, капитан.

Редбрук. Бунт окончен, начальник. Вы победили.

Брасбаунд *(поворачиваясь к ним)*. А теперь слушайте все. Если здесь командую я, значит, и делать я буду то, что захочу я, а не то, что захотите вы. Я выдам этого джентльмена Сиди или самому дьяволу, если мне вздумается Я не позволю запугивать себя и не потерплю возражений. Понятно?

Редбрук *(дипломатично)*. Он предлагает пятьсот монет, если благополучно вернется в Магадор, начальник. Простите, что заговорил об этом.

Сэр Хауард. Не только я, но и леди Сесили.

Брасбаунд. Что? Судья идет на сделку с преступниками? Молокососы, да он наверняка закатает вас на каторгу, если вы будете такими дураками, что предоставите ему возможность спастись.

Голоса. Так и будет! Фью! *(Одобрительный ропот.)*

Редбрук. И то верно, начальник. Вы пошли с козырного туза.

Брасбаунд *(сэру Хауарду)*. Ну, есть у вас другая карта? Другая ставка? Другая угроза? Живо, выкладывайте. Время не терпит.

Сэр Хауард. Жизнь моя в руках провидения. Творите зло.

Брасбаунд Или добро. Выбор все еще в моих руках.

Дринкуотер *(вбегая)*. Послушайте, кептен! Подходит еще какой-то отряд, арабов уже сотни. Пустыня похожа на чертов Гайд-парк во время демонстрации. По-моему, это кади из Кинтафи.

Все встревоженно смотрят на Брасбаунда.

Брасбаунд *(радостно)*. Кади! Далеко он?

Дринкуотер. Милях в двух.

Брасбаунд. Мы спасены. Открывайте ворота шейху.

Все уставились на него.

А ну, шевелитесь! Живо!

Дринкуотер *(в ужасе, чуть не плача)*. Нет, нет. Слушайте, кептен *(указывая на сэра Хауарда)*, он дает нам пятьдесят золотых. *(К остальным.)* Ведь вы уже сговорились с ним, мистер Джонсон, мистер Редбрук...

Брасбаунд *(обрывая его)*. Вы что, не понимаете по-английски? Джонсон и Редбрук, берите сколько нужно людей и открывайте ворота шейху. Проведете его прямо ко мне. Живее, говорят вам!

Джонсон. Есть, сэр.

Редбрук. Слушаюсь, начальник.

Поспешно уходят, за ними еще несколько человек. Дринкуотер смотрит им вслед, сраженный их покорностью.

Брасбаунд *(вынимая пистолет)*. Сознавайся, собака, ты хотел продать меня моему пленнику?

Дринкуотер *(с воплем падая на колени)*. Нет!

Брасбаунд делает движение, намереваясь пнуть его. Дринкуотер отползает и прячется за сэра Хауарда.

Брасбаунд. Сэр Хауард Хэллем, у вас еще остается шанс на спасение. Кади из Кинтафи занимает более высокое положение, чем шейх: он правитель всей здешней провинции. Если Англия потребует удовлетворения за вас, султан принесет в жертву именно кади. Если мы сумеем затянуть переговоры с шейхом до прибытия кади, вы сможете припугнуть его, и он заставит шейха освободить вас. Прибытие кади – выход для вас.

Сэр Хауард. Если бы это действительно был выход, вы не указали бы мне его. Не пытайтесь играть со мной в кошки-мышки.

Дринкуотер *(тихо сэру Хауарду, в то время как Брасбаунд презрительно отходит на другой конец комнаты)*.

Шанс, конечно, невелик, сэр Хауард. Вот если бы в магадорской гавани стояла канонерка да немножко поднажала, тогда другое дело.

Джонсон, Редбрук и остальные возвращаются, несколько опасливо вводя Сиди эль Ассифа, которого сопровождают Осман и отряд арабов. Люди Брасбаунда группируются около арки, позади капитана. Спутники Сиди, обходя столик, пересекают комнату и собираются вокруг сэра Хауарда, который не двигается с места. Дринкуотер перебегает к Брасбаунду и становится рядом с ним. Брасбаунд поворачивается к Сиди. Сиди эль Ассиф – знатный араб в безупречно белой одежде, тридцатилетний красавец с великолепными глазами, бронзовым лицом и величественной от природы осанкой. Он становится между обеими группами. По правую руку от него Осман.

Осман *(указывая на сэра Хауарда)*. Вот неверный кади.

Сэр Хауард кланяется Сиди, но тот отвечает неверному лишь надменным взглядом.

А это *(указывает на Брасбаунда)* Брасбаунд, франкский капитан, слуга шейха.

Дринкуотер *(не желая допустить, чтобы кто-нибудь опередил его, указывает Брасбаунду на шейха и Османа)*. Вот повелитель правоверных и его визирь Осман.

Сиди. Где женщина?

Осман. Бесстыдницы здесь нет.

Брасбаунд. Сиди эль Ассиф, потомок пророка, добро пожаловать!

Редбрук *(с несокрушимым апломбом)*. Нет власти и силы, кроме как в деснице аллаха, всемогущего и великого!

Дринкуотер. Именно, именно.

Осман *(к Сиди)*. Слуга капитана выражает свою преданность, как истинный правоверный.

Сиди. Хвалю.

Брасбаунд *(тихо, Редбруку)*. Где ты этого набрался?

Редбрук *(тихо, Брасбаунду)*. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» в переводе капитана Бертона. Экземпляр из библиотеки Национального либерального клуба.

Леди Сесили *(за сценой)*. Мистер Дринкуотер! Подите сюда и помогите мне поддержать Марцо.

Шейх настораживается. Глаза его и ноздри расширяются.

Осман. Бесстыдница!

Брасбаунд *(к Дринкуотеру, хватая его за шиворот и подталкивая к двери)*. Пошел!

Дринкуотер скрывается за маленькой дверцей.

Осман. Закрыть ей лицо, прежде чем она войдет?

Сиди. Нет.

Через маленькую дверцу, поддерживая Марцо, входит леди Сесили. Она опять в дорожном костюме, на руке висит шляпа. Марцо очень бледен, но уже в состоянии двигаться. Дринкуотер поддерживает его с другой стороны. Редбрук спешит навстречу, сменяет леди Сесили и отводит Марцо к группе, стоящей позади капитана. Леди Сесили проходит вперед, останавливается между Брасбаундом и шейхом и приветливо обращается к нему.

Леди Сесили *(протягивая руку)*. Сиди эль Ассиф, не правда ли? Здравствуйте.

Он краснеет и отступает.

Осман *(шокирован)*. Женщина, не прикасайся к потомку пророка!

Леди Сесили. Понимаю. Это представление ко двору. Отлично. *(Делает придворный реверанс.)*

Редбрук. Сиди эль Ассиф, это одна из могущественных женщин — шейхов Франкистана. Она с открытым лицом предстает перед королями, и лишь принцы имеют право касаться ее руки.

Леди Сесили. Аллах да пребудет с тобою, Сиди эль Ассиф! Будь хорошим, милым шейхом и пожми мне руку.

Сиди *(робко прикасаясь к ее руке)*. Великое событие, достойное быть занесенным в летопись рядом с историей Соломона и царицы Савской. Не правда ли, Осман Али?

Осман. Сущая правда, господин, да пребудет с тобой аллах!

Сиди. Брасбаунд Али, праведный человек исполняет клятву без лишних слов. Неверный кади, твой пленник, переходит в мои руки.

Брасбаунд *(твердо)*. Это невозможно, Сиди эль Ассиф.

Брови Сиди грозно сдвигаются.

Цена его крови будет взыскана с нашего повелителя султана. Я отвезу его в Маракеш и выдам там.

Сиди *(внушительно)*. Брасбаунд, я в собственном замке, и вокруг меня мои люди. Султан здесь я. Подумай, что говоришь. Когда я произношу слово, дарующее жизнь или смерть, я не беру его обратно.

Брасбаунд. Сиди эль Ассиф, я выкуплю у тебя этого человека за любую цену, которую ты назовешь. И если я честно не уплачу ее, можешь взять взамен мою голову

Сиди. Хорошо. Оставь себе мужчину, а в уплату отдай мне женщину.

Сэр Хауард и Брасбаунд *(в едином порыве)*. Нет, нет

Леди Сесили *(оживленно)*. Да, да. Разумеется, мистер Сиди, разумеется.

Сиди важно улыбается.

Сэр Хауард. Это невозможно!

Брасбаунд. Вы не понимаете, что делаете.

Леди Сесили. Неужели? Разве я напрасно исколесила всю Африку и побывала в гостях у шести вождей людоедов? *(К шейху.)* Все в порядке, мистер Сиди. Я просто в восторге.

Сэр Хауард. Вы сошли с ума! Неужели вы полагаете, что этот человек поведет себя с вами, как джентльмен-европеец?

Леди Сесили. Нет, он будет вести себя со мной, как джентльмен по натуре. Посмотрите, какое у него великолепное лицо! *(Обращается к Осману с таким видом, словно он ее старейший и преданнейший слуга.)* Осман, выберите мне надежную лошадь и достаньте хорошего, выносливого верблюда для моей поклажи.

Осман на мгновение цепенеет, затем спешно уходит Леди Сесили надевает шляпу и прикалывает ее к волосам, шейх смотрит на нее с робким восхищением.

Дринкуотер *(хихикая)*. Вот увидите, в следующее воскресенье она их всех поведет в церковь, как ораву приходских ребятишек.

Леди Сесили *(деловито)*. До свидания, Хауард. Не беспокойтесь обо мне и, главное, не приводите мне на выручку толпу людей с винтовками. Теперь, когда я избавилась от конвоя, все будет в полном порядке. Капитан Брасбаунд, я полагаюсь на вас. Присмотрите, чтобы Хауард прибыл в Магадор целым и невредимым. *(Шепчет.)* Снимите руку с пистолета.

Он неохотно вынимает руку из кармана.

До свидания.

За сценой шум. Все в тревоге поворачиваются к арке. Вбегает Осман.

Осман. Кади! Кади! Он разгневан. Его люди напали на нас. Защищайтесь!..

Кади, крепкий, желчный старик с жирным лицом, седыми волосами и бородой, врывается в комнату в сопровождении большой свиты и оглушительным ударом дубинки, которую держит в руке, заставляет Османа умолкнуть. Его спутники мгновенно заполняют все глубину комнаты. Шейх отступает к своим людям, кади стремительно бросается вперед и становится между ним и леди Сесили.

Кади. Горе тебе, Сиди эль Ассиф, дитя зла!

Сиди *(мрачно)*. Разве я собака, Мулей Осман, что ты говоришь мне такие слова?

Кади. Ты, видно, решил погубить свою страну и предать нас в руки тех, чьи военные корабли еще вчера превратили все море в пламя? Где пленники-франки?

Леди Сесили. Мы здесь, кади. Здравствуйте.

Кади. Аллах да пребудет с тобой, полная луна. Где твой родственник, франкский кади? Я его друг, его слуга. Я пришел от имени моего повелителя султана, чтобы воздать ему почести и повергнуть его врагов.

Сэр Хауард. Поверьте, вы очень любезны...

Сиди *(еще мрачнее, чем раньше)*. Мулей Осман...

Кади *(шаря за пазухой)*. Умолкни, о неразумный! *(Вынимает письмо.)*

Брасбаунд. Кади...

Кади. А, собака, проклятый Брасбаунд, сын распутницы! Это ты подбил Сиди эль Ассифа на злое дело. Читай послание, которое прислал мне по твоей милости начальник военного корабля.

Брасбаунд. Военный корабль! *(Берет письмо и развертывает, люди его перешептываются с подавленным видом.)*

Редбрук. Военный корабль! Ого!

Джонсон. Вероятно, канонерка.

Дринкуотер. Они тут шныряют вдоль побережья, как чертовы автобусы на Ватерлоо-роуд.

Брасбаунд мрачно складывает письмо.

Сэр Хауард *(резко)*. Не поделитесь ли с нами содержанием письма, сэр? Я полагаю, ваши люди жаждут его услышать.

Брасбаунд. Это не английский корабль.

Лицо сэра Хауарда вытягивается.

Леди Сесили. А какой же?

Брасбаунд. Американский крейсер «Сант-Яго».

Кади *(рвет на себе бороду)*. Горе! Беда! Они превращают море в пламя!

Сиди. Успокойся, Мулей Осман. Аллах хранит нас.

Джонсон. Не прочтете ли нам письмо, капитан?

Брасбаунд *(мрачно)*. Прочту, прочту. «Магадорская гавань. 26 сентября 1899 года. Капитан крейсера «Сант-Яго» Хэмлин Керни от имени Соединенных Штатов шлет привет кади Мулею Осману эль Кинтафи и уведомляет, что прибыл на розыски английских путешественников сэра Хауарда Хэллема и леди Сесили Уайнфлит, которые исчезли на территории, находящейся под юрисдикцией кади. Так как розыски будут вестись командой, снабженной пулеметами, немедленное возвращение путешественников в Магадорскую гавань избавит от неприятностей все заинтересованные стороны».

Кади. Клянусь жизнью, о кади, и ты, прекрасная луна, вас с почестями доставят обратно в Магадор. А ты, проклятый Брасбаунд, и все твои люди отправитесь туда закованными в цепи, как пленники.

Брасбаунд и его отряд намерены защищаться.

Взять их!

Леди Сесили. Ах, пожалуйста, только не надо драться!

Видя численное превосходство противника и безнадежность своего положения, Брасбаунд не сопротивляется. Спутники кади берут его отряд в плен.

Сиди *(пытаясь выхватить ятаган)*. Женщина принадлежит мне. Я не отдам ее.

Его хватают и, после поистине героической борьбы, скручивают ему руки.

Сэр Хауард *(сухо)*. Я предупреждал вас, капитан Брасбаунд, что ваше положение ненадежно. *(Бросает на него неумолимый взгляд.)* Как я и предсказывал, вы угодите в тюрьму.

Леди Сесили. Но уверяю вас...

Брасбаунд *(перебивая ее)*. В чем вы хотите его уверить? Вы убедили меня пощадить его. Взгляните на его лицо. Убедите ли вы его пощадить меня?

Палящие лучи утреннего солнца проникают сквозь узкие мавританские окна, пробитые почти под потолком самой большой комнаты в доме Лесли Рэнкина. Это чистое прохладное помещение, меблированное на христианский лад: посередине стол, у стола председательское кресло с подлокотниками, на столе чернильница и бумага. По бокам стола два дешевых американских стула, повернутых, как и председательское кресло, к публике, отчего комната напоминает зал суда. Рэнкин ставит рядом с чернильницей небольшой поднос, графин воды и стаканы. В этот момент за дверью, расположенной в правом углу, слышится голос леди Сесили.

Леди Сесили. Доброе утро. Можно войти?

Рэнкин. Конечно.

Она входит и останавливается у ближнего конца стола. Костюм на ней уже не дорожный, а такой, какой она могла бы носить в очень жаркий день где-нибудь в графстве Серрэй.

Присаживайтесь, леди Сесили.

Леди Сесили *(садясь)*. Как мило вы обставили комнату для следствия!

Рэнкин *(с сомнением)*. Жаль только, стульев маловато. Американский капитан займет кресло, значит, один стул останется для сэра Хауарда, другой для вашей милости. Как тут, прости меня, боже, не радоваться, что ваш друг, владелец яхты, вывихнул ногу и не может прийти! Меня беспокоит, не повредит ли торжественности судебного заседания, если офицеры капитана Керни расположатся на полу.

Леди Сесили. О, они не будут возражать. А как наши пленники?

Рэнкин. Их сейчас приведут сюда из городской тюрьмы.

Леди Сесили. А где этот глупый старый кади и мой красавец шейх Сиди? Я должна повидаться с ними до следствия, иначе они создадут у капитана Керни совершенно ложное представление о случившемся.

Рэнкин. Вам не удастся повидать их. Они удрали ночью в свои замки в Атласских горах.

Леди Сесили *(в восторге)*. Быть не может!

Рэнкин. Именно удрали. Рассказы о гибели испанского флота привели бедного кади в такой ужас, что он не решился отдать себя в руки американского капитана. *(С упреком глядя на нее.)* На обратном пути сюда вы, леди Сесили, сами запугали несчастного разговорами о фанатизме христиан-американцев. За то, что он удрал, благодарите главным образом себя самое.

Леди Сесили. Слава аллаху! У меня просто камень с души свалился, мистер Рэнкин.

Рэнкин *(в недоумении)*. А почему? Разве вы не понимаете, как необходимы их показания?

Леди Сесили. Их показания! Да они бы только все испортили. Из ненависти к несчастному капитану Брасбаунду они готовы на все – даже на ложь под присягой.

Рэнкин *(изумленно)*. Вы называете капитана Брасбаунда несчастным? Неужели ваша милость не знает, что этот Брасбаунд – да простит меня бог за то, что я осуждаю его! – настоящий негодяй? Разве вы не слышали, что вчера вечером рассказывал мне на яхте сэр Хауард?

Леди Сесили. Все это недоразумение, мистер Рэнкин, сплошное недоразумение, уверяю вас. Вы только что сказали: «Да простит меня бог за то, что я осуждаю его!» К этому-то и сводится вся их ссора. Капитан Брасбаунд точно такой же, как вы: он считает, что мы не имеем права судить друг друга. А так как сэр Хауард получает пять тысяч фунтов в год только за то, что судит людей, он считает бедного капитана Брасбаунда настоящим анархистом. Они страшно ссорились в замке. Вам не следует обращать внимания на слова сэра Хауарда, право, не следует.

Рэнкин. Но его поведение...

Леди Сесили. Он вел себя поистине, как святой, мистер Рэнкин. Его поведение сделало бы честь даже вам в лучшие моменты вашей жизни. Капитан простил сэра Хауарда и сделал все, что мог, чтобы спасти его.

Рэнкин. Вы поражаете меня, леди Сесили.

Леди Сесили. Подумайте, какой соблазн он преодолел! Кто мог помешать ему вести себя дурно, когда мы все были в его власти и совершенно беспомощны?

Рэнкин. Соблазн? Да, конечно. Не очень-то легко жить наедине с целой толпой низких, безнравственных людей.

Леди Сесили *(простодушно)*. Честное слово, мистер Рэнкин, вы правы. А вот я об этом даже не подумала. Ну уж

теперь вы просто обязаны сделать все, что в ваших силах, чтобы помочь капитану Брасбаунду.

Рэнкин *(сдержанно)*. Не думаю, леди Сесили. Я полагаю, что он злоупотребил вашей добротой и доверчивостью. Я потолковал не только с сэром Хауардом, но и с кади, и у меня нет сомнения, что капитан Брасбаунд сущий разбойник.

Леди Сесили *(делая вид, что его слова произвели на нее глубокое впечатление)*. Хотела бы я знать, так ли это, мистер Рэнкин. Если вы так думаете, я готова согласиться с вами: вы изучили человеческую природу лучше, чем кто бы то ни было. Возможно, я и в самом деле ошибаюсь. Я только думала, что вы захотите помочь сыну своего старого друга.

Рэнкин *(пораженный)*. Сыну моего старого друга? Что вы имеете в виду?

Леди Сесили. А разве сэр Хауард вам не сказал? Да ведь капитан Брасбаунд оказался племянником сэра Хауарда, сыном его брата, которого вы знали.

Рэнкин *(ошеломленный)*. Я заметил сходство еще в тот вечер, когда он явился сюда. Так и есть, так и есть! Дядя и племянник!

Леди Сесили. Да. Поэтому они и ссорились так отчаянно.

Рэнкин *(внезапно сообразив, что с ним поступили нечестно)*. Я думаю, что сэр Хауард мог бы рассказать мне об этом.

Леди Сесили. Конечно, он должен был вам рассказать. Как видите, он осветил дело очень односторонне. Всему виной его адвокатская привычка. Только не думайте, что он обманщик по природе. Если бы его воспитали, как священника, он, разумеется, сказал бы вам всю правду.

Рэнкин *(слишком взволнованный, чтобы думать о личных обидах)*. Леди Сесили, я должен пойти в тюрьму и повидать молодого человека. Он был несколько несдержан, не спорю, но я не могу отказать в дружеской помощи сыну бедного Майлза, да еще когда он сидит в чужеземной тюрьме.

Леди Сесили *(встает с сияющим лицом)*. Ах, какой вы добрый человек, мистер Рэнкин! У вас поистине золотое сердце. А не посовещаться ли нам с вами до того, как вы уйдете, не обдумать ли, каким образом предоставить сыну Майлза все возможности... Конечно, лишь те возможности, какие у него должны быть.

Рэнкин *(растерянно)*. Я так ошеломлен этой поразительной новостью...

Леди Сесили. Конечно, конечно, я понимаю. Кстати, не находите ли вы, что он произведет более выгодное впечатление на американского капитана, если будет одет немножко пристойнее?

Рэнкин. Вполне вероятно. Но что можем мы сделать здесь, в Магадоре?

Леди Сесили. О, я уже обо всем подумала, мистер Рэнкин. Как вы знаете, на обратном пути в Англию я собираюсь заехать в Рим и везу полный сундук одежды для своего брата. Видите ли, он посол и поэтому вынужден тщательно следить за своим туалетом. Еще утром я распорядилась доставить этот сундук сюда. Не будете ли вы любезны захватить его с собой в тюрьму и немного приодеть капитана Брасбаунда? Скажите ему, что он должен сделать это из уважения ко мне, и он послушается. Устроить все очень легко. Два негра-носильщика уже ожидают вас. Они понесут сундук. Вы это сделаете, я знаю, сделаете. *(Подталкивает его к двери.)* Как вы думаете, он успеет побриться?

Рэнкин *(в полной растерянности подчиняясь ей)*. Я сделаю все, что от меня зависит.

Леди Сесили. Верю, верю.

Он подходит к дверям.

Еще два слова, мистер Рэнкин!

Он возвращается.

Кади ведь не знал, что капитан Брасбаунд племянник сэра Хауарда, не так ли?

Рэнкин. Нет, не знал.

Леди Сесили. В таком случае у него должно было создаться совершенно ложное представление обо всей этой истории. Мне кажется, мистер Рэнкин, – хотя вам, конечно, виднее, – что на следствии нам лучше не повторять того, что говорил кади. Он ведь ничего толком не знал, правда?

Рэнкин *(лукаво)*. Понимаю, леди Сесили. Это меняет все дело. И я, конечно, ни о чем подобном не упомяну.

Леди Сесили *(великодушно)*. В таком случае и я не стану упоминать. Вот так! *(Пожимают друг другу руки.)*

Входит сэр Хауард.

Сэр Хауард. Доброе утро, мистер Рэнкин. Надеюсь, вы вчера благополучно добрались домой с яхты?

Рэнкин. Благодарю вас, сэр Хауард, совершенно благополучно.

Леди Сесили. Хауард, он спешит. Не задерживайте его разговорами.

Сэр Хауард. Пожалуйста, пожалуйста. *(Подходит к столу и берет стул леди Сесили.)*

Рэнкин. Au revoir,[1] леди Сесили.

Леди Сесили. Да благословит вас бог, мистер Рэнкин

Рэнкин уходит. Леди Сесили подходит к другому концу стола и смотрит на сэра Хауарда с тревожным, грустным и сочувственным видом, но ее правая рука машинально постукивает по столу, выдавая внутреннее напряжение что немедленно насторожило бы сэра Хауарда, будь он настроен подозрительно, чего в данный момент нет.

Мне так жаль вас, Хауард. Все это следствие – какая неприятная история!..

Сэр Хауард *(удивленно поворачиваясь на стуле)*. Жаль меня? Почему?

Леди Сесили. Дело принимает такой ужасный оборот. Это все-таки ваш родной племянник.

Сэр Хауард. Сесили, когда английский судья обязан соблюсти закон, для него не существует ни племянника, ни даже сына.

Леди Сесили. Но в таком случае у него не должно быть и собственности. Люди никогда не поймут истории с вест-индским поместьем. Они увидят в вас только злого дядю из сказки «Дети в лесу». *(Еще более сочувственно.)* Мне так жаль вас.

Сэр Хауард *(довольно сухо)*. Право не понимаю, чем я заслужил вашу жалость, Сесили. Эта женщина была совершенно невыносимая особа, полупомешанная-полупьяница. Вы, надеюсь, отдаете себе отчет в том, как ведет себя подобное существо, когда попадает в беду и считает причиной ее ни в чем не повинного человека.

Леди Сесили *(несколько нетерпеливо)*. О, вполне отдаю Скоро это станет достаточно ясно и публике. Я уже вижу, что о нас напишут в газетах. Наша полусумасшедшая, полупьяная невестка, которая устраивает на улицах сцены, вызов полиции, тюрьма и так далее. Наша семья будет в бешенстве.

Сэр Хауард явственно трусит. Она немедленно использует свое преимущество.

Подумайте о папе!

[1] До свидания *(франц.)*.

Сэр Хауард. Я надеюсь, что лорд Уайнфлит отнесется к делу, как разумный человек.

Леди Сесили. Неужели вы полагаете, Хауард, что он так сильно изменился?

Сэр Хауард *(снова впадая в поучительный тон безликого государственного деятеля)*. Нет смысла спорить об этом, дорогая Сесили. Мне очень жаль, но тут уж ничего не поделаешь.

Леди Сесили. Конечно, ничего. В этом-то весь ужас. Вы думаете, люди поймут вас?

Сэр Хауард. Право, не знаю. Поймут они меня или нет, я тут ничего не могу поделать.

Леди Сесили. Будь вы кем угодно, только не судьей, все это не имело бы такого значения. Но судья не может допустить, чтоб его поняли превратно. *(В отчаянии.)* Ах, это ужасно, Хауард! Это страшно! Что сказала бы бедная Мэри, будь она еще жива!

Сэр Хауард *(с чувством)*. Не думаю, Сесили, что моя дорогая жена поняла бы меня превратно.

Леди Сесили. Нет, она бы знала, что у вас благие намерения. И если бы вы пришли домой и сказали: «Мэри, я только что во всеуслышание объявил, что твоя невестка преступница, а твой племянник — бандит, и я отправил их в тюрьму», она решила бы, что раз это сделали вы, так и должно быть. Но неужели вы думаете, что это понравилось бы ей больше, чем папе и всем нам?

Сэр Хауард *(испуганно)*. Но что же мне делать? Вы требуете, чтобы я пошел на сделку с совестью?

Леди Сесили *(строго)*. Конечно, нет. Я не допущу ничего подобного, если даже вы, проявив слабость, сами попытаетесь это сделать. Нет, я только считаю, что вам не следует рассказывать эту историю самому.

Сэр Хауард. Почему?

Леди Сесили. Да потому, что всякий скажет, что такой хороший юрист, как вы, всегда убедит в чем угодно бедного, бесхитростного моряка, вроде мистера Керни. Самое лучшее для вас, Хауард, поручить мне рассказать всю правду. В этом случае вы всегда сможете сказать, что вынуждены подтвердить мои слова, и никто не станет порицать вас за это.

Сэр Хауард *(подозрительно глядя на нее)*. Сесили, вы строите какие-то козни.

Леди Сесили *(немедленно умывая руки)*. Ах, так? Очень хорошо. Излагайте с присущим вам искусством всю ис-

торию сами. Я ведь только предложила поручить мне рассказать всю правду. Вы это называете кознями. Вероятно, с точки зрения юриста, так оно и есть.

Сэр Хауард. Надеюсь, вы не обиделись.

Леди Сесили *(самым дружелюбным тоном)*. Нисколько, дорогой мой Хауард. Вы, разумеется, правы: вы лучше знаете, как это делается. Я исполню решительно все, что вы скажете, и подтвержу все ваши слова.

Сэр Хауард *(встревоженный чрезмерной полнотой своей победы)*. Нет, дорогая моя, вы не должны действовать в моих интересах. Ваш долг дать свидетельские показания с полным беспристрастием.

Она кивает, делая вид, будто совершенно убеждена и пристыжена, и смотрит на него с непоколебимой искренностью, свойственной лжецам, которые начитались романов.

(Опускает глаза, лоб его озабоченно хмурится. Затем он встает, нервно трет подбородок указательным пальцем и добавляет). Здраво поразмыслив, я нахожу, что в вашем предложении есть известный резон. Оно избавит меня от весьма тяжкой обязанности рассказывать обо всем происшедшем.

Леди Сесили *(не сдаваясь)*. Но вы сделаете это бесконечно лучше, чем я.

Сэр Хауард. Именно поэтому, быть может, и предпочтительней, чтобы все рассказали вы.

Леди Сесили *(неохотно)*. Ну что ж, раз вы так считаете...

Сэр Хауард. Но помните, Сесили: говорить всю правду.

Леди Сесили *(убежденно)*. Всю правду. *(Жмут друг другу руки.)*

Сэр Хауард *(задерживая ее руку)*. Fiat justitia: ruat coelum![1]

Леди Сесили. Пусть свершится правосудие, даже если обвалится потолок.

В дверях появляется американский матрос.

Матрос. Капитан Керни кланяется леди Уайнфлит и спрашивает, можно ли ему войти?

Леди Сесили. Да, безусловно. А где же арестованные?

Матрос. За ними уже отправлен наряд в тюрьму, мэм.

Леди Сесили. Благодарю вас. Если можно, предупредите меня, когда их приведут.

[1] Пусть свершится правосудие, даже если обрушится небо *(лат.)*.

Матрос. Будет сделано. *(Отступает в сторону, чтобы пропустить своего капитана, отдает честь и уходит.)*

Капитан Хэмлин Керни, американец с Запада,— коренастый мужчина с зоркими прищуренными глазами, обветренным лицом и упрямо сжатым ртом, характерным для людей его профессии. Это любопытный этнический тип, в жилах которого смешана кровь всех наций Старого Света. Такое сдерживающее начало, как всепоглощающий страх перед критиканством европейцев, искусственно развивает в нем стремление к лоску и внешней культуре, однако природные условия давно уже сделали его подлинным североамериканцем, что явственно доказывают его волосы и скулы, а также мужественные инстинкты, которые море уберегло от цивилизации. Весь мир, задумываясь над своим будущим, которое, в основном, находится в руках людей подобного типа, с удивлением взирает на него и думает: что же, черт возьми, получится из него через одно-два столетия. Пока что капитан выглядит в глазах леди Сесили грубоватым моряком, который имеет кое-что сказать ей касательно ее поведения и хочет, с одной стороны, выразить свою мысль вежливо, как полагается офицеру, обращающемуся к леди, а с другой стороны, подчеркнуть свое неудовольствие, как подобает американцу, обращающемуся к англичанке, позволившей себе вольность.

Леди Сесили *(навстречу ему)*. Страшно рада вас видеть, капитан Керни.

Керни *(становясь между сэром Хауардом и леди Сесили)*. Вчера, когда мы расстались, леди Сесили, я и не подозревал, что за время вашего пребывания на моем корабле вы успели совершенно изменить расположение спальных коек. Благодарю вас. Обычно, прежде чем выполнять распоряжение английских посетителей, офицеры советуются со мной, как с капитаном корабля, но поскольку ваши указания, по-видимому, обеспечивают команде большее удобство, я не стал вмешиваться в них.

Леди Сесили. И когда только вы успеваете все заметить! Мне кажется, вы знаете на своем корабле каждый винтик.

Керни заметно смягчается.

Сэр Хауард. Я, право, чрезвычайно огорчен, что моя невестка позволила себе такую неслыханную вольность, капитан Керни. У нее это просто мания, форменная мания. И как только ваши люди послушались ее?

Керни *(с напускной серьезностью)*. Именно этот вопрос я и задал им. Я спросил: «Почему вы послушались распоряжений этой леди, а не дождались моих?» Они ответили, что совершенно не представляют себе, как ей можно отказать. Я спросил, что же они тогда считают дисциплиной. Они ответили: «Знаете, сэр, говорите-ка в следующий раз с этой леди сами».

Леди Сесили. Очень сожалею. Но знаете, капитан, на борту военного корабля так ощущается отсутствие женщины.

Керни. Иногда мы тоже очень остро это чувствуем, леди Уайнфлит.

Леди Сесили. Мой дядя — первый лорд адмиралтейства, и я вечно твержу ему, что это просто безобразие запрещать английскому капитану брать на борт жену, а ей — присматривать за кораблем.

Керни. Еще более странно, леди Уайнфлит, что брать на борт любую другую женщину ему отнюдь не возбраняется. Нас, американцев, ваша страна всегда удивляет.

Леди Сесили. Но это очень серьезный вопрос, капитан. Вдали от женщин бедные матросы впадают в меланхолию, бесятся, таранят встречные корабли и делают бог знает что еще.

Сэр Хауард. Сесили, прошу вас, перестаньте говорить глупости капитану Керни. Об иных вещах у вас такие представления, которые трудно назвать пристойными.

Леди Сесили *(к Керни)*. Вот таковы все англичане, мистер Керни. Как только речь заходит о бедных моряках, они не желают слушать ничего, кроме рассказов о Нелсоне и Трафальгаре. Но вы-то меня понимаете, не правда ли?

Керни *(галантно)*. Я считаю, леди Уайнфлит, что в вашем мизинце больше здравого смысла, чем во всем британском адмиралтействе.

Леди Сесили. Разумеется, больше. Вы же моряк, а моряки всегда все понимают.

Снова появляется матрос.

Матрос *(к леди Сесили)*. Арестованные поднимаются на холм, мэм.

Керни *(круто поворачиваясь к нему)*. Кто прислал вас сюда с этим сообщением?

Матрос *(спокойно)*. Так приказала английская леди, сэр. *(Невозмутимо уходит.)*

Керни ошеломлен.

Сэр Хауард *(встревоженно глядя Керни в лицо)*. Ради бога

простите, капитан Керни. Я отлично понимаю, что леди Сесили не имеет никакого права отдавать вашим людям приказы.

Леди Сесили. Я не отдавала приказов, я просто попросила его. У него такое славное лицо, не правда ли, капитан Керни?

Капитан теряет дар речи.

А теперь извините меня. Я хочу поговорить кое с кем до начала следствия. *(Поспешно уходит.)*

Керни. В английских аристократках безусловно есть какое-то особое обаяние, сэр Хауард Хэллем. Они у вас все такие? *(Занимает председательское место.)*

Сэр Хауард *(усаживаясь справа от Керни)*. К счастью, нет, капитан Керни. Полдюжины подобных женщин за полгода уничтожили бы в Англии всякую законность.

В дверях снова появляется матрос.

Матрос. Все готово, сэр.

Керни. Прекрасно. Я жду.

Матрос оборачивается и передает слова капитана тем, кто собрался за дверью. Входят офицеры «Сант-Яго».

Сэр Хауард *(вставая и по-судейски приветствуя их наклоном головы)*. Доброе утро, джентльмены.

Одни несколько смущенно кланяются, другие отдают честь. Затем все офицеры становятся позади капитана.

Керни *(сэру Хауарду)*. Вам будет приятно узнать, что я получил очень хороший отзыв об одном из арестованных; наш священник посетил их в тюрьме. Этот арестованный выразил желание перейти в лоно епископальной церкви.

Сэр Хауард *(сухо)*. Я, кажется, знаю его.

Керни. Введите арестованных.

Матрос *(в дверях)*. Они заняты с английской леди, сэр. Спросить у нее?..

Керни *(вскакивает и взрывается раскатом грома)*. Введите арестованных. Передайте леди, что так приказал я. Слышите? Так и скажите.

Матрос уходит, всем своим видом выражая сомнение. Офицеры смотрят друг на друга в безмолвном недоумении — их озадачила необъяснимая резкость капитана.

Сэр Хауард *(учтиво)*. Мистер Рэнкин, надеюсь, тоже будет присутствовать?

Керни *(сердито)*. Рэнкин? Что еще за Рэнкин?

Сэр Хауард. Наш хозяин, миссионер.

Керни *(неохотно уступая)*. А, это и есть Рэнкин? Пусть поторопится, а то опоздает. *(Снова взрываясь.)* Что они там возятся с арестованными?

Поспешно входит Рэнкин и устраивается подле сэра Хауарда.

Сэр Хауард. Мистер Рэнкин – капитан Керни.

Рэнкин. Простите за задержку, капитан Керни. Леди дала мне одно поручение.

Керни ворчит.

Я уже думал, что опоздаю. Но не успел я вернуться, как услышал, что ваш офицер передает леди Сесили ваш привет и спрашивает, не будет ли она любезна разрешить арестованным войти, так как вы хотите видеть ее. Тогда я понял, что пришел вовремя.

Керни. Ах, вот как? Могу я узнать, сэр, не заметили ли вы каких-либо признаков, позволяющих надеяться, что леди Уайнфлит согласна выполнить эту весьма скромную просьбу?

Леди Сесили *(за сценой)*. Иду, иду!

Отряд вооруженных матросов вводит арестованных. Первым появляется по-прежнему безукоризненно чистый Дринкуотер, вселяя непоколебимо добродетельной улыбкой радостную уверенность в своей невиновности. У Джонсона вид солидный и невозмутимый, Редбрук держится с добродушием человека, непричастного к делу, Марцо встревожен. Эти четверо становятся кучкой слева от капитана Керни. Остальные, с тупым равнодушием положившись на волю провидения, выстраиваются под охраной матросов вдоль стены. Первый моряк, унтер-офицер, встает справа от капитана, позади Рэнкина и сэра Хауарда. Наконец появляется Брасбаунд под руку с леди Сесили. На нем модный сюртук и брюки, безупречно белый воротничок и манжеты, элегантные ботинки. В руке он держит блестящий цилиндр. Перемена, происшедшая с ним, настолько поразительна, что может ошеломить неподготовленного человека, да и на самого Брасбаунда она оказала самое размагничивающее действие: он совершенно выбит из колеи, словно остриженный Самсон. Тем не менее леди Сесили чрезвычайно всем этим довольна, да и все остальные взирают на Брасбаунда с нескрываемым одобрением. Офицеры

галантно уступают даме дорогу, Керни встает ей навстречу и, когда она останавливается у стола слева, с некоторым удивлением смотрит на Брасбаунда. Сэр Хауард, точно имитируя движения Керни, поднимается и садится одновременно с ним.

Керни. Это еще один джентльмен из вашей компании, леди Уайнфлит? Если не ошибаюсь, сэр, я видел вас вчера на борту яхты?

Брасбаунд. Нет. Я ваш пленник. Моя фамилия Брасбаунд.

Дринкуотер *(услужливо)*. Капитан Брасбаунд со шхуны «Благода...»

Редбрук *(поспешно)*. Заткнись, дурак! *(Локтем отталкивает Дринкуотера назад.)*

Керни *(удивленно и несколько подозрительно)*. Я не совсем понимаю, что происходит. Но как бы там ни было, раз вы капитан Брасбаунд, займите место рядом с остальными.

Брасбаунд присоединяется к Джонсону и Редбруку. Керни церемонным жестом приглашает леди Сесили занять свободный стул и снова садится.

Итак, приступим. Вы человек опытный в подобных делах, сэр Хауард Хэллем. С чего бы вы начали, если бы вести это дело пришлось вам?

Леди Сесили. Он бы предоставил слово представителю обвинения. Не так ли, Хауард?

Сэр Хауард. Но здесь нет представителя обвинения, Сесили.

Леди Сесили. Почему же нет? Представитель обвинения – я. Не разрешайте сэру Хауарду держать речь, капитан Керни. Врачи решительно запретили ему подобные выступления. Не угодно ли вам начать с меня?

Керни. С вашего позволения, леди Уайнфлит, я, пожалуй, начну с себя. Наши морские порядки вполне сойдут здесь за судейские.

Леди Сесили. Так будет даже гораздо лучше, дорогой капитан Керни.

Молчание. Керни собирается с мыслями. Она снова прерывает его.

Вы так прелестно выглядите в роли судьи.

Все улыбаются. Дринкуотер невольно прыскает со смеху.

Редбрук *(свирепым шепотом)*. Заткнись, болван, слышишь? *(Опять отталкивает его назад пинком.)*

Сэр Хауард *(укоризненно)*. Сесили!

Керни *(мрачно, силясь сохранить свое достоинство)*. Комплименты вашей милости покамест несколько преждевременны. Капитан Брасбаунд, положение таково. Мой корабль, крейсер Соединенных Штатов «Сант-Яго», в прошлый четверг был вызван на помощь яхтой «Редгонтлет» из Магадора. Владелец вышеназванной яхты, отсутствующий здесь,— он вывихнул ногу,— сообщил мне некоторые сведения. Сведения эти были такого рода, что «Сант-Яго», развив скорость в двадцать узлов, за пятьдесят семь минут достиг Магадорской гавани. На другой день, еще до полудня, мой нарочный кое-что сообщил местному кади. Сообщение это было такого рода, что кади пустился в путь, делая примерно десять узлов в час, доставил вас и ваших людей в магадорскую тюрьму и передал в мои руки. Затем кади возвратился в свою горную крепость, вследствие чего мы и лишены удовольствия видеть его сегодня здесь. Вы следите за моей мыслью?

Брасбаунд. Да. Я знаю, что сделали вы и что сделал кади. Вопрос в другом — почему вы это сделали.

Керни. Наберитесь терпения, мы доберемся и до этого вопроса. Мистер Рэнкин, предоставляю вам слово.

Рэнкин. В тот день, когда сэр Хауард и леди Сесили отправились на экскурсию, ко мне обратился за лекарством человек из свиты шейха Сиди эль Ассифа. Он сказал, что я не увижу больше сэра Хауарда: его повелитель узнал, что сэр Хауард христианин, и решил вырвать его из рук капитана Брасбаунда. Я поспешил на яхту и попросил ее владельца поискать на побережье канонерку или крейсер с целью воздействовать на здешние власти.

Сэр Хауард, внезапно усомнившись в достоверности свидетельских показаний Рэнкина, поворачивается и смотрит на него.

Керни. Но из слов нашего судового священника я понял, что вы сообщили о сговоре капитана Брасбаунда с шейхом, которому Брасбаунд обещал выдать сэра Хауарда.

Рэнкин. Таково было мое первое поспешное заключение. Однако вскоре выяснилось, что сговор между ними заключался в другом: капитан Брасбаунд конвоировал путешественников, а шейх оказывал ему свое покровительство за определенную плату с каждого человека при условии, что путешественники эти не христиане. Насколько я понимаю, Брасбаунд пытался провезти сэра Хауарда контрабандой, но шейх узнал об этом.

Дринкуотер. Верно, хозяин. Так все оно и было. Кеп...

Редбрук *(снова отталкивая его)*. Заткнись, болван! Кому я говорю?

Сэр Хауард *(Рэнкину)*. Разрешите спросить, вы беседовали на эту тему с леди Сесили?

Рэнкин *(простодушно)*. Да.

Сэр Хауард выразительно хмыкает, как будто хочет сказать: «Так я и думал».

(Продолжает, обращаясь к суду.) Надеюсь, капитан и джентльмены не рассердятся на меня за то, что здесь оказалось так мало стульев, о чем я искренне сожалею?

Керни *(с подлинно американской сердечностью)*. Пустяки, мистер Рэнкин. Ну что ж, я пока не вижу злого умысла: налицо необдуманный поступок, но не преступление. А теперь пусть представитель обвинения приступит к обвинительной речи. Слово принадлежит вам, леди Уайнфлит.

Леди Сесили *(вставая)*. Я могу рассказать только чистую правду...

Дринкуотер *(невольно)*. Нет, нет, леди, не надо!

Редбрук *(как прежде)*. Заткнись, дурак! Слышишь?

Леди Сесили. Мы совершили восхитительную прогулку в горы, и люди капитана Брасбаунда были сама любезность, — не могу не признать этого, — пока мы не наткнулись на какое-то арабское племя — ах, какие красавцы! Тут бедняжки перепугались.

Керни. Арабы?

Леди Сесили. Нет, арабы никого не боятся. Испугался, разумеется, конвой. Конвой всегда всего боится. Я хотела поговорить с вождем арабов, но капитан Брасбаунд зверски застрелил под ним лошадь, а вождь выстрелил в графа, а потом...

Керни. В графа? В какого графа?

Леди Сесили. В графа Марцо. Вот он. *(Указывает на Марцо.)*

Марцо ухмыляется и выразительно касается пальцем своего лба.

Керни *(слегка ошеломленный неожиданным обилием событий и действующих лиц в ее рассказе)*. Хорошо. А что произошло потом?

Леди Сесили. А потом конвой разбежался — конвой всегда разбегается, а меня притащили в замок, который вы, право, должны обязать их хорошенько вычистить и побе-

лить, капитан Керни. А затем выяснилось, что капитан Брасбаунд и сэр Хауард родственники...

Сенсация.

И, разумеется, последовала ссора. Хэллемы всегда ссорятся.

Сэр Хауард *(протестующе поднимаясь)*. Сесили!.. Капитан Керни, этот человек сказал мне...

Леди Сесили *(поспешно перебивая его)*. Вы не имеете права упоминать то, что вам говорили: это не может быть свидетельским показанием.

Сэр Хауард задыхается от возмущения.

Керни *(спокойно)*. Разрешите даме продолжать, сэр Хауард Хэллем.

Сэр Хауард *(берет себя в руки и садится на место)*. Прошу прощения, капитан Керни.

Леди Сесили. А затем явился Сиди.

Керни. Сидни? Какой Сидни?

Леди Сесили. Не Сидни, а Сиди, шейх Сиди эль Ассиф. Благородный араб с изумительным лицом. Он влюбился в меня с первого взгляда и...

Сэр Хауард *(протестующе)*. Сесили!

Леди Сесили. Да, влюбился. Вы знаете, что влюбился. Вы сами велели мне говорить всю правду.

Керни. Охотно этому верю, сударыня. Продолжайте.

Леди Сесили. Это поставило беднягу в жестокое затруднение. Видите ли, он мог требовать, чтобы ему выдали сэра Хауарда, потому что сэр Хауард христианин. Но он не мог требовать, чтобы ему выдали меня — я ведь всего лишь женщина.

Керни *(с некоторой суровостью — он заподозрил леди Сесили в аристократическом атеизме)*. Но вы, надеюсь, тоже христианка?

Леди Сесили. Да, но арабы не считают женщин людьми. Они не верят, что у нас есть душа.

Рэнкин. Это верно, капитан. Несчастные слепые язычники!

Леди Сесили. Что же ему оставалось делать? Он не был влюблен в сэра Хауарда, но был влюблен в меня. Поэтому он, естественно, предложил обменять сэра Хауарда на меня. Не правда ли, очень мило с его стороны, капитан Керни?

Керни. Я сам поступил бы точно так же, леди Уайнфлит. Продолжайте.

Леди Сесили. Должна признаться, что, несмотря на свою

ссору с сэром Хауардом, капитан Брасбаунд был само благородство. Он отказался выдать кого бы то ни было из нас и уже собирался вступить в бой, но тут появился кади с вашим прелестным забавным письмом, капитан, обозвал моего бедного Сиди самыми ужасными словами, взвалил всю вину на капитана Брасбаунда и спровадил нас всех обратно в Магадор. И вот мы здесь. Ну что, Хауард, разве каждое мое слово не чистая правда?

Сэр Хауард. Правда, Сесили, и только правда. Но английский закон требует, чтобы свидетель рассказал всю правду.

Леди Сесили. Какой вздор! Разве кто-нибудь когда-нибудь знает всю правду? *(Садится с обиженным и обескураженным видом.)* Не понимаю, зачем вы хотите создать у капитана Керни впечатление, будто я лжесвидетельница.

Сэр Хауард. Я не хочу этого, но...

Леди Сесили. Очень хорошо. В таком случае не надо говорить вещей, которые могут создать подобное впечатление.

Керни. Но сэр Хауард рассказал мне вчера, что капитан Брасбаунд угрожал продать его в рабство.

Леди Сесили *(снова вскакивая)*. А сэр Хауард рассказал вам, что он говорил о матери капитана Брасбаунда?

Снова общее волнение.

Я же сказала вам, что они ссорились, капитан Керни. Правда, сказала?

Редбрук *(живо)*. И вполне ясно сказали.

Дринкуотер открывает рот, чтобы подтвердить его слова.

Заткнись, болван.

Леди Сесили. Конечно, сказала. А теперь, капитан Керни, ответьте, неужели вы, сэр Хауард или кто-нибудь другой хочет вникать в подробности этой постыдной семейной ссоры? Неужели здесь, где нет больше ни одной женщины, я должна повторять выражения двух обозленных мужчин?

Керни *(внушительно поднимаясь)*. Флот Соединенных Штатов не позволит себе оскорбить достоинство женщины. Леди Уайнфлит, благодарю вас за деликатность, с которой вы дали свои показания.

Леди Сесили благодарно улыбается ему и торжествующе садится.

Капитан Брасбаунд, я не вправе считать вас ответственным за все, что вы могли наговорить представителю

английского суда, обратившемуся к вам на языке английского кубрика.

Сэр Хауард пытается протестовать.

Нет уж, сэр Хауард, извините. Мне и самому случалось в приступе гнева обзывать людей. Все мы рады узнать, что под судейской мантией скрывается живой человек из плоти и крови. Итак, мы покончили с вопросами, которых не следовало даже касаться в присутствии дамы. *(Вновь садится и деловито добавляет.)* Не следует ли нам обсудить еще что-нибудь, прежде чем мы отпустим этих людей?

Унтер-офицер. Вот тут еще какие-то документы, переданные нам кади, сэр. Он счел, что это нечто вроде магических заклинаний. Священник приказал показать их вам и, с вашего разрешения, сжечь.

Керни. Что за документы?

Унтер-офицер *(читая по списку)*. Четыре книжки, порванные и грязные, состоящие из отдельных выпусков стоимостью в один пенс и озаглавленные «Суинни Тод», «Лондонский демон-цирюльник», «Наездник-скелет»...

Дринкуотер *(в отчаянной тревоге рванувшись вперед)*. Это моя библиотека, начальник. Не жгите их.

Керни. Тебе лучше не читать книжки такого сорта, голубчик.

Дринкуотер *(в совершенной панике взывая к леди Сесили)*. Не позволяйте им жечь книги, леди. Они их не тронут, если вы запретите. *(С красноречием отчаяния.)* Вы не понимаете, что значат для меня эти книги. Они уносили меня от гнусной действительности Ватерлоо-роуд. Они сформировали мой ум, они открыли мне нечто более высокое, чем убогая жизнь бездомного бродяги!

Редбрук *(хватая его за шиворот)*. Да заткнись же, болван! Вон отсюда! Придержи язык...

Дринкуотер *(яростно вырываясь у него из рук)*. Леди, леди, замолвите за меня словечко. Вы ведь такая добрая! *(Слезы душат его, он с немой мольбой складывает руки.)*

Леди Сесили *(растроганно)*. Не жгите его книги, капитан. Разрешите, я верну их ему.

Керни. Книги будут переданы леди.

Дринкуотер *(вполголоса)*. Спасибо вам, леди. *(Тихонько всхлипывая, отступает к своим товарищам.)*

Редбрук *(шепотом ему вдогонку)*. Экий ты осел!

Дринкуотер фыркает и не отвечает.

Керни. Надеюсь, капитан Брасбаунд, вы и ваши люди подтверждаете показания леди о том, что произошло.

Брасбаунд *(мрачно)*. Да, пока все верно.

Керни *(нетерпеливо)*. Желаете что-нибудь добавить?

Марцо. Она кое-что пропускал. Араб стрелил меня. Она ухаживал. Она меня вылечил.

Керни. А вы, собственно, кто такой?

Марцо *(охваченный непреодолимым желанием продемонстрировать лучшие свойства своей натуры)*. Только проклятый вор. Проклятый врун. Проклятый негодяй. Она не леди.

Джонсон *(возмущенный явным оскорблением в адрес английской аристократии со стороны жалкого итальянца)*. Что? Что ты сказал?

Марцо. Леди не ухаживать за проклятый негодяй. Ухаживать только святой. Она – святой. Она поднимай меня на небо, она всех нас поднимай на небо. Теперь мы делай все, что хочешь.

Леди Сесили. Нет, Марцо, вы не сделаете ничего подобного и будете вести себя очень хорошо. В котором часу, вы сказали, будет завтрак, капитан Керни?

Керни. Вы напоминаете мне о моих обязанностях, леди Уайнфлит. В час дня мой катер доставит вас и сэра Хауарда на борт «Сант-Яго». *(Встает.)* Капитан Брасбаунд, следствие не дало мне никаких оснований задерживать вас и ваших людей. Советую вам в дальнейшем конвоировать исключительно язычников. Мистер Рэнкин, от имени Соединенных Штатов благодарю вас за оказанное нам сегодня гостеприимство. Приглашаю вас сопровождать меня обратно на корабль и разделить с нами завтрак, который будет дан в половине второго. Джентльмены, начальника тюрьмы мы посетим по пути в гавань. *(Уходит вместе с офицерами.)*

За ними следуют матросы и унтер-офицеры.

Сэр Хауард *(к леди Сесили)*. Сесили, на протяжении моей карьеры мне часто приходилось сталкиваться как с недобросовестными свидетелями, так, к сожалению, и с недобросовестными адвокатами. Но сочетание в одном лице недобросовестного свидетеля с недобросовестным представителем обвинения, которое я наблюдал сегодня, лишило меня дара речи. Вы попрали правосудие сами и вдобавок сделали меня своим сообщником.

Леди Сесили. Да, да. Но разве вы не рады, что правосудие хоть раз потерпело поражение? *(Берет его под руку и*

направляется с ним к выходу.) Капитан Брасбаунд, я вернусь попрощаться с вами перед отъездом.

Брасбаунд мрачно кивает. Она уходит с сэром Хауардом вслед за капитаном Керни и его людьми.

Рэнкин *(подбегает к Брасбаунду и берет его за руки)*. Как я рад, что вы оправданы! После завтрака я вернусь, и мы потолкуем. Благослови вас бог! *(Быстро уходит.) Оставшись в комнате одни, на свободе и без свидетелей, люди Брасбаунда положительно сходят с ума. Они хохочут, пляшут, обнимаются и неуклюже вальсируют парами, беспрерывно и сентиментально пожимая друг другу руки. Только трое из них сохраняют какую-то видимость самообладания. Марцо, гордый тем, что успешно сыграл ведущую роль в недавнем событии и произнес драматическую речь, выпячивает грудь, покручивает жидкие усики и принимает чванливую позу: он задирает подбородок и выставляет вперед правую ногу в знак презрения к окружающим его сентиментальным английским варварам. Глаза Брасбаунда и его подергивающиеся губы показывают, что и он заражен общим возбуждением; но он делает отчаянное усилие над собой и сдерживается. Редбрук, приученный к личине равнодушия, цинично улыбается, подмигивает Брасбаунду и, наконец, дает выход своим чувствам, беря на себя роль инспектора манежа: он размахивает воображаемым бичом и подстрекает остальных к еще более диким выходкам. Кульминационная точка ликования наступает в тот момент, когда Дринкуотер, второй раз без ущерба для собственной репутации выйдя сухим из воды и уверовав в свою счастливую звезду, приходит в экстаз, забывает об остальных и начинает, как дервиш, кружиться в таком сверхъестественно сложном танце, что все постепенно прекращают свои упражнения и только смотрят на него.*

Брасбаунд *(срывая с себя цилиндр и выбегая вперед, в то время как Дринкуотер в изнеможении падает на руки Редбрука)*. А теперь я избавлюсь от этого почтенного головного убора и вновь почувствую себя человеком. Ну-ка, валяйте все сюда и попрыгайте на цилиндре капитана. *(Ставит цилиндр на пол и собирается прыгнуть на него.) Результат получается совершенно неожиданный и производит на Брасбаунда ошеломляющее впечатление. Его товарищи не только не оценили подобного акта, но, напротив, скандализованы и отрезвлены, за исключением Ред-*

брука, которого крайне забавляет чрезмерная их щепетильность.

Принкуотер. Нет уж, кептен, так не годится. Знаете, всему есть предел.

Джонсон. Я не прочь позабавиться, капитан, но останемся все-таки джентльменами.

Редбрук. Напомню вам, Брасбаунд, что цилиндр принадлежит леди Сесили. Разве вы не вернете его?

Брасбаунд *(поднимая цилиндр и тщательно обтирая с него пыль)*. Верно. Я дурак. Но все равно, в таком виде она меня больше не увидит. *(Стаскивает с себя сюртук вместе с жилетом.)* Кто-нибудь из вас умеет как следует складывать эти штуки?

Редбрук. Позвольте мне, начальник. *(Относит сюртук и жилетку на стол и складывает их.)*

Брасбаунд *(расстегивая воротничок и рубашку)*. Ты, кажется, уставился на запонки, Джек Пьяная рожа? Я знаю, что у тебя на уме.

Принкуотер *(возмущенно)*. Нет, не знаете. А вот и ничего подобного. У меня теперь только одна мысль — о самопожертвовании.

Брасбаунд. Если из вещей леди пропадет хоть одна медная булавка, я собственными руками повешу тебя на ноках шхуны «Благодарение», повешу даже под пушками всех европейских флотов. *(Стаскивает с себя рубашку и остается в синем свитере. Волосы его взъерошены. Он проводит по ним рукой и восклицает.)* Теперь я, по крайней мере, наполовину человек.

Редбрук. Ужасное сочетание, начальник: ниже талии вы церковный староста, выше — пират. Леди Сесили не станет разговаривать с вами, пока вы в таком виде.

Брасбаунд. Я переоденусь целиком. *(Уходит из комнаты на поиски своих брюк.)*

Редбрук *(тихо)*. Послушайте-ка, Джонсон, и все остальные!

Они собираются вокруг него.

А что если она увезет его обратно в Англию?

Марцо *(пытаясь повторить свое столь успешное выступление)*. Я — проклятый пират! Она — святой. Говорю вам, никого никуда не увозить.

Джонсон *(строго)*. Молчи, невежественный и безнравственный иностранец!

Отповедь встречена всеобщим одобрением. Марцо, отодвинутый на задний план, тушуется.

Она не увезет его из дурных побуждений, но может увезти из хороших. Что тогда будет с нами?

Дринкуотер. На Брасбаунде свет клином не сошелся. Есть голова на плечах, знаешь жизнь — вот ты сам и капитан. Такой человек найдется, только вы не знаете, где его искать.

Намек на то, что сам Дринкуотер и есть такой человек, кажется остальным нестерпимо наглым, и его встречают долгим всеобщим свистом.

Брасбаунд *(возвращается в своей одежде, надевая на ходу куртку)*. А ну, смирно!

Команда с виноватым видом вытягивается и ждет его приказаний.

Редбрук, уложить вещи леди в сундук и переправить к ней на яхту. Джонсон, погрузить всех людей на борт «Благодарения», проверить запасы, выбрать якорь и приготовиться к выходу в море. Потом выслать к причалам Джека со шлюпкой — пусть ждет меня. Сигнал подать выстрелом из пушки. Не терять времени!

Джонсон. Слушаюсь, сэр. Команда, на борт!

Все. Идем, идем. *(Шумно уходят.)*

Дождавшись, когда они уйдут, Брасбаунд садится к столу, опирается на него локтями, подпирает голову кулаками и погружается в мрачное раздумье. Затем вынимает из бокового кармана куртки кожаный бумажник, вытаскивает оттуда истрепанный грязный пакет писем и газетных вырезок и бросает их на стол. За ними следует фотография в дешевой рамке — ее он тоже грубо швыряет на стол рядом с бумагами и, скрестив руки на груди, с мрачным отвращением смотрит на нее. В эту минуту входит леди Сесили. Брасбаунд сидит к ней спиной и не слышит, как она входит. Заметив это, она хлопает дверью достаточно громко, чтобы привлечь его внимание. Он вздрагивает.

Леди Сесили *(подходя к противоположному концу стола)*. Значит, вы сняли всю мою элегантную одежду.

Брасбаунд. Вы хотите сказать — одежду вашего брата? Человек должен носить свою собственную одежду и лгать сам за себя. Очень сожалею, что сегодня вам пришлось лгать за меня.

Леди Сесили. Женщины тратят половину жизни на то, чтобы

говорить за мужчин маленькую неправду, а иногда и большую. Мы к этому привыкли. Но имейте в виду: я не признаю, что делала это и сегодня.

Брасбаунд. Как вам удалось обвести моего дядю?

Леди Сесили. Не понимаю этого выражения.

Брасбаунд. Я хотел сказать...

Леди Сесили. Скоро завтрак, и, боюсь, мы уже не успеем выяснить, что вы хотели сказать. Я собиралась поговорить с вами о вашем будущем. Можно?

Брасбаунд *(несколько помрачнев, но вежливо)*. Садитесь, пожалуйста.

Она садится, он тоже.

Леди Сесили. Каковы ваши планы?

Брасбаунд. У меня нет планов. Вскоре вы услышите пушечный выстрел в гавани. Это будет означать, что шхуна «Благодарение» подняла якорь и ждет только своего капитана, чтобы выйти в море. А капитан ее не знает, куда ему взять теперь курс — на север или на юг.

Леди Сесили. Почему не на север, в Англию?

Брасбаунд. Почему не на юг, к полюсу?

Леди Сесили. Но вам же надо как-то устроить свою судьбу.

Брасбаунд *(тяжело опустив локти и кулаки на стол, властно смотрит ей в глаза)*. Послушайте, когда мы впервые встретились с вами, у меня была цель в жизни. Я был одинок и не заводил себе друга — ни женщины, ни мужчины, потому что цель моя шла вразрез с законом, с религией, с моей собственной репутацией и безопасностью. Но я верил в нее и отстаивал ее, в одиночку, как и полагается человеку отстаивать свои убеждения против закона и религии, против зла и эгоизма. Чем бы я ни был, я не из числа ваших липовых морячков, которые пальцем не шевельнут ради своих убеждений, разве что вознесутся на небо. Я же за свои убеждения готов был спуститься в ад. Вам, вероятно, этого не понять.

Леди Сесили. Напротив! Я прекрасно понимаю. Это так характерно для людей определенного типа.

Брасбаунд. Пожалуй, хотя я редко встречал таких людей. Тем не менее я был одним из них. Не скажу, что я был счастлив, но и несчастен я тоже не был, потому что не колебался, а неуклонно шел своим путем. Если человек здоров и у него есть цель, он не задумывается над тем, счастлив он или нет.

Леди Сесили. Иногда он не задумывается даже над тем, счастливы или нет другие.

Брасбаунд. Не отрицаю. Труд — первое, что делает человека эгоистом. Но я стремился не к собственному благополучию: мне казалось, что я поставил справедливость выше своего я. Повторяю, тогда жизнь кое-что для меня значила. Видите вы эту пачку грязных бумажек?

Леди Сесили. Что это такое?

Брасбаунд. Вырезки из газет. Речи, произнесенные моим дядей на благотворительных обедах или тогда, когда он осуждал людей на смерть. Благочестивые, высокопарные речи человека, которого я считал вором и убийцей! Они доказывали мне, что закон и приличия несправедливы, доказывали более веско, ярко, убедительно, чем книга пророка Амоса. А чем они стали теперь? *(Не спуская с нее глаз, хладнокровно рвет газетные вырезки на мелкие клочки и отбрасывает их.)*

Леди Сесили. От этого вам, во всяком случае, стало легче.

Брасбаунд. Согласен. Но с ними ушла часть моей жизни. И помните: это дело ваших рук. Теперь смотрите, что я сохранил. *(Показывает письма.)* Письма моего дяди к моей матери с ее приписками, где она сетует на его холодную наглость, вероломство и жестокость. А вот жалобные письма, которые она писала ему потом. Они возвращены нераспечатанными. Их тоже выбросить?

Леди Сесили *(сконфуженно)*. Я не вправе просить вас уничтожить письма матери.

Брасбаунд. А почему бы и нет, раз вы лишили их всякого смысла? *(Рвет письма.)* Это тоже облегчение?

Леди Сесили. Это немного печально, но, вероятно, так все же лучше.

Брасбаунд. Остается последняя реликвия — ее портрет. *(Вынимает фотографию из дешевой рамки.)*

Леди Сесили *(с живостью и любопытством)*. Ах, дайте взглянуть!

Он подает ей фотографию. Прежде чем она успевает овладеть собой, на лице ее явственно отражаются разочарование и отвращение.

Брасбаунд *(с саркастическим смешком)*. Вы, кажется, ожидали лучшего? Что ж, вы правы. Рядом с вашим ее лицо не назовешь красивым.

Леди Сесили *(расстроенная)*. Я же ничего не сказала.

Брасбаунд. Что вы могли сказать? *(Берет обратно фотографию, которую она отдала без единого слова. Он смотрит на фотографию, покачивает головой и собирается разорвать ее.)*

Леди Сесили *(удерживая его руку)*. Нет, нет, только не портрет матери!

Брасбаунд. Представьте себе, что это ваш портрет. Вы бы хотели, чтобы ваш сын хранил его и показывал более молодым и красивым женщинам?

Леди Сесили *(отпустив его руку)*. Вы ужасный человек! Порвите ее, порвите! *(На мгновение закрывает глаза рукой, чтобы не видеть этого зрелища.)*

Брасбаунд *(хладнокровно рвет фотографию)*. Она мертва для меня еще с того дня в замке. Вы убили ее. Мне лучше без нее. *(Бросает обрывки.)* Теперь со всем покончено. Вы лишили мою жизнь прежнего смысла, но не вложили в нее нового. Я вижу, вы обладаете каким-то ключом к жизни, который помогает вам преодолевать ее трудности, но я недостаточно умен, чтобы понять, что это за ключ. Вы парализовали меня, показав, что я неверно воспринимаю жизнь, когда предоставлен самому себе.

Леди Сесили. Да нет же! Почему вы так говорите?

Брасбаунд. А что мне еще сказать? Видите, что я наделал! Мой дядя оказался не хуже меня, вероятно, даже лучше: голова у него светлее и положение он занимает более высокое. А я принял его за злодея из сказки. Любой человек понял бы, что такое моя мать, а я остался слеп. Я даже глупее, чем Джек Пьяная рожа: он нахватался романтического вздора из грошовых книжонок и прочей дешевки, а я набрался того же вздора из жизни и опыта. *(Качая головой.)* Это было пóшло, да, пóшло. Теперь я это вижу: вы открыли мне глаза на прошлое. Но какая от этого польза для будущего? Что мне делать? Куда идти?

Леди Сесили. Все очень просто. Делайте то, что вам нравится. Так, например, поступаю я.

Брасбаунд. Такой совет меня не устраивает. Мне нужно что-то делать в жизни, а делать мне нечего. С таким же успехом вы могли бы обратиться ко мне, как миссионер, и призвать меня исполнить мой долг.

Леди Сесили *(быстро)*. О нет, благодарю! С меня вполне достаточно вашего долга и долга Хауарда. Где бы вы оба теперь были, если бы я позволила вам выполнить ваш долг?

Брасбаунд. Где-нибудь да были бы. А теперь мне кажется, что я — нигде.

Леди Сесили. Разве вы не вернетесь в Англию вместе с нами?

Брасбаунд. Зачем?

Леди Сесили. Да затем, чтобы наилучшим образом использовать свои возможности.

Брасбаунд. Какие возможности?

Леди Сесили. Неужели вы не понимаете, что, если вы племянник важной особы, если у вас влиятельные знакомые и верные друзья, для вас можно сделать много такого, что никогда не делается для обыкновенного капитана корабля?

Брасбаунд. А! Но я, видите ли, не аристократ. К тому же, как большинство бедняков, я горд. Я не желаю, чтобы мне покровительствовали.

Леди Сесили. Какой смысл во всех этих разговорах? В моем мире, который теперь стал и вашим миром, в нашем мире искусство жить и сводится к умению заручиться покровительством. Без этого человек не может сделать в нем карьеру.

Брасбаунд. В моем мире человек может управлять кораблем и зарабатывать этим на жизнь.

Леди Сесили. Я вижу, вы идеалист — вы верите в невозможное. Иногда идеалисты встречаются даже в нашем мире. Спасти их можно только одним способом.

Брасбаунд. Каким?

Леди Сесили. Женя на девушках с чувствительным сердцем и достаточно крупным приданым. Такова их судьба.

Брасбаунд. Вы лишили меня даже этой возможности. Неужели вы думаете, что после вас я в силах смотреть на обыкновенную женщину? Вы заставляете меня делать все, что вы хотите. Но вы не заставите меня жениться ни на ком, кроме вас.

Леди Сесили. А известно ли вам, капитан Пакито, что я составила счастье не менее чем семнадцати мужчин...

Брасбаунд остолбенело уставился на нее.

женив их на других женщинах. И все они начинали с уверений, что не женятся ни на ком, кроме меня.

Брасбаунд. В таком случае я буду первым мужчиной, сдержавшим свое слово.

Леди Сесили *(отчасти удовлетворенно, отчасти насмеш-*

ливо, отчасти сочувственно). А вам в самом деле нужна жена?

Брасбаунд. Мне нужен командир. Не следует недооценивать меня: я хороший человек, когда у меня есть хороший руководитель. Я смел, я решителен, я не пьяница. Я могу командовать, если уж не военным кораблем или армией, то, по крайней мере, шхуной или отрядом береговой стражи. Когда мне поручают дело, я не дрожу за свою жизнь и не набиваю свой карман. Гордон доверял мне и не пожалел об этом. Если вы доверитесь мне, вы тоже не пожалеете. И все-таки мне чего-то не хватает. Наверно, я глуп.

Леди Сесили. Вовсе вы не глупы.

Брасбаунд. Нет, я глуп. Вы не услышали от меня ни одного умного слова с той самой минуты, как впервые увидели меня в саду. А все, что говорили вы, вызывало у меня смех или дружеское чувство к вам. Вы все время подсказывали мне, как надо думать и как поступать. Это я и называю настоящим умом. Так вот, у меня его нет. Я умею приказывать, если знаю, что нужно приказать. Я умею заставить людей исполнять мои приказы, хотят они того или нет. Но я глуп, говорю вам, глуп. Когда нет распоряжений Гордона, я не могу сообразить, что надо делать. Предоставленный самому себе, я превратился в полуразбойника. Я могу пинать ногами этого мелкого жулика Дринкуотера, но постоянно ловлю себя на том, что следую его советам, так как не могу придумать ничего другого. Когда появились вы, я начал исполнять ваши приказы так же естественно, как выполнял приказы Гордона, хотя никогда не предполагал, что следующим моим командиром будет женщина. Я хочу стать под вашу команду. А сделать это можно только одним способом — женившись на вас. Вы позволите мне это сделать?

Леди Сесили. Боюсь, вы не совсем понимаете, насколько необычным кажется мне этот брак с точки зрения представлений английского общества.

Брасбаунд. Мне наплевать на английское общество. Пусть оно занимается своими делами.

Леди Сесили *(немного встревоженная, встает).* Капитан Пакито, я не влюблена в вас.

Брасбаунд *(тоже встает, по-прежнему пристально глядя на нее).* Я этого и не предполагал. Командир обычно не влюблен в своего подчиненного.

Леди Сесили. Ни подчиненный в командира.

Брасбаунд *(твердо)*. Ни подчиненный в командира.

Леди Сесили *(впервые в жизни познав, что такое ужас: она чувствует, что он бессознательно гипнотизирует ее)*. О, вы опасный человек!

Брасбаунд. Любите ли вы кого-нибудь другого? Вот в чем весь вопрос.

Леди Сесили *(отрицательно качая головой)*. Я никогда никого не любила в отдельности и никогда не полюблю. Разве я могла бы управлять людьми, если бы во мне жила хоть крупинка этого безумия? Вот мой секрет.

Брасбаунд. Откажитесь окончательно от своего я. Выходите за меня замуж.

Леди Сесили *(тщетно пытаясь собрать остатки воли)*. Я должна?

Брасбаунд. Слово «должна» тут ни при чем. Вы можете это сделать, и я прошу вас это сделать. Моя судьба в ваших руках.

Леди Сесили. Это ужасно. Я не думала... Я не хочу...

Брасбаунд. Но вы это сделаете.

Леди Сесили *(совсем растерявшись, медленно протягивает ему руку)*. Я...

Выстрел пушки с «Благодарения».

(Глаза ее расширяются. Она выходит из транса.) Что это?

Брасбаунд. Прощание. И выход для вас — безопасность, свобода. Вы созданы для лучшей участи, чем стать женой Черного Пакито. *(Опускается на колени и берет ее руку.)* Больше вы не в силах ничего для меня сделать: я, наконец, чудом обрел секрет власти над людьми. *(Целует ей руку.)* Благодарю за это и за то, что вы вернули мне силы жить и цель жизни, обновили и направили меня. А теперь прощайте, прощайте!

Леди Сесили *(в странном экстазе, держа его за руки, пока он встает)*. Да, прощайте! С самым глубоким, сердечным чувством говорю вам — прощайте!

Брасбаунд. Всем, что есть во мне благородного, всем своим душевным торжеством отвечаю вам — прощайте! *(Поворачивается и убегает.)*

Леди Сесили. Как чудесно! Как чудесно! И как вовремя пришло избавление!

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЭШВИЛ, ИЛИ НЕВОЗНАГРАЖДЕННОЕ ПОСТОЯНСТВО

Стихотворное переложение романа Профессия Кэшела Байрона

1901

THE ADMIRABLE BASHVILLE; OR, CONSTANCY UNREWARDED

Поляна в Уилтстокенском парке.
Входит Лидия.

Лидия.

О вы, деревья, в чьей густой тени
Невольно мы смягчаемся душою
И влагою из кладезя природы
Растапливаем панцирь ледяной,
В который свет заковывает сердце,
Внемлите, как я, Лидия Кэру́,
Свою печаль безлюдью поверяю.
Я образованна, умна, богата,
Но одинока. Да, тяжка судьба
Тех богачей, в ком разума довольно,
Чтобы понять: за деньги жизнь не купишь.
Ученье учит одному — сомненью,
А от сомнений меньше всех страдает
Тот, кто умеет одиноким быть.
О хлопотуньи-птицы, о деревья,
Без ложного стесненья и стыда
Объятья открывающие солнцу,
Одно стремленье движет вами — жить.
Поэтому вы бесконечно выше
Нас, ползающих по земле.

Порыв ветра качает ветви. Громко каркает грач, оживленно щебечут другие птицы. Лидия указывает на свою одежду.

И это
Мне служит опереньем и листвой!
Так смейтесь же над Лидией бедной.
Пусть беззаботный щебет ваш звучит
Издевкой над заемным одеяньем,
Над духом, что пропитан книжной пылью.
Цивилизация! Искусство! Книги!
Нет, пусть судьба мне в спутники пошлет
Того, кто никогда о них не слышал,
Кто свеж, могуч и чист, как бог лесной,
Иль девушкой я век окончу свой.

Снова порыв ветра и щебет птиц. Лидия опускается на

замшелый корень дуба и закрывает лицо руками. Из лесу появляется Кэшел Байрон в белой фуфайке и брюках.

Кэшел.

Кого я вижу? Женщина?

Лидия.

Да.

Кэшел.

Прочь!
Вы на прогулке тут, а я по делу.
Мне женщины мешают. Уходите.

Лидия.

Вы это мне? Но здесь я у себя,
Здесь мой приют. Его со мною делят
Деревья, птицы, божества лесные,
Веселые насельники и стражи
Безлюдных этих мест. Кто вы такой?
Я приняла вас за лесного бога.

Кэшел.

Что? За лесного бога? Да неужто
Я сходен с козлоногим изваяньем?
Неужто может статуя ходить,
Дышать или, как перышко,— вот так!—
(Ставит ее на ноги.)
Вас приподнять с земли?

Лидия *(тяжело дыша)*.

Я задохнулась.
Вы сильный... Отпустите же. Прощайте.

Кэшел.

Когда мы с вами встретимся опять?

Лидия.

Зачем?

Кэшел.

Не знаю, но инстинктом чую:
Мы встретиться должны. Как вас зовут?

Лидия.

Мисс Лидия Кэру́.

Кэшел.

Звучит приятно.
Где вы живете?

Лидия.

В замке.

Кэшел *(ошеломленный)*.

Неужели
Поместье это вам принадлежит?

Лидия.

Да.

Кэшел.

Вот так незадача! Я вас принял
За фермерскую дочку. Извините.
Я слишком близко подошел и слишком
Глубоко заглянул. Теперь прощайте.

Лидия.

Я извиняю вас. Но кто же вы?

Кэшел.

Не спрашивайте, кто я и откуда.
Вы – леди и хозяйка замка, я же
За счет вот этих крепких рук живу.

Лидия.

Я крепость их изведала. Она
В меня вселяет зависть. Ваше имя?
Я вам свое сказала.

Кэшел.

Кэшел Байрон.

Лидия.

Я вас не знаю, хоть себя назвали
Вы так, как будто очень знамениты.
Прошу простить невежество мое.

Кэшел.

Напротив, я его благословляю,
Мисс Лидия... э... э...

Лидия.

Кэру. Приятно
Звучит и ваше имя.

Мелдиш *(из лесу)*.

Где ты, Байрон!

Кэшел.

Проклятье! Я прошу вас, уходите.
Вы не должны встречаться с ним.

Мелдиш *(удаляясь)*.

Ау!

Лидия.

Прошел... Зачем здесь этот человек?

Кэшел.

Он – часть меня, а кто я – знать не надо,
Не то все будет кончено меж нами,
Хоть быть со мной знакомой не зазорно.
Поверенный ваш, сдавший коттедж мне,
Порукой в том, что человек я честный.

Но стыдно мне сейчас сказать вам, кто я...
Потом, быть может, и скажу.

Меллиш *(приближаясь)*.

Ау!

Лидия.

Он тут. Мой арендатор, до свиданья!
В день платежа ступайте прямо в замок
И деньги уплатите лично мне.
(Приседает и уходит.)

Кэшел.

Свой замок, парк... Нет, стать не может леди
Женой боксера-профессионала,
И все ж на ней жениться должен он.

Входит Меллиш.

Отродье суки, тупорылый боров,
Твой это парк, что голосом похабным
Ты нагло нарушаешь тишину,
Меня на всю округу окликая,
Чтоб знали все, что Кэшел Байрон занят
Здесь тренировкой перед матчем?

Меллиш.

Что?
Я – тупорылый боров? Ты попался!
Ты женщину себе завел. Пусть только
Появится – спущу со сворки пса.
Торжественно тебе клянется в этом
Боб Меллиш.

Кэшел.

Лучше б, адское исчадье,
Сменив инициал, ты звался Хеллиш.[1]
А пес тебе не нужен – сам ты лаешь
Почище пса. Уйди!

Меллиш.

Не я уйду,
А ты со мной вернешься, чтоб исполнить
Свой долг перед болельщиками, понял?
Сегодня не работал ты с мешком.

Кэшел.

Молчи, гнилушка, иль в мешок с костями
Тебя я превращу!

---

[1] Hellish *(англ.)* – адский.

Меллиш.

Неблагодарный!
О, жребий тренера! О, Меллиш, Меллиш!
Героев тренер, мускулов податель,
Побед залог, растишь ты чемпионов,
Чтобы тебя тиранили они.
Ослушник, знай: ты без меня – ничто.
Порвав со мной, своей хваленой силы
Лишишься ты: одрябнешь, ожиреешь,
Дыханье сдаст, и я еще увижу,
Как упадешь на ринг ты от удара
Противника, блюдущего режим,
И проклянешь тот день и час, когда
Тренироваться бросил.

Кэшел.

Трус занудный,
Не смеющий себе на мерзкой роже
Прыщ выдавить, кровь чистую мою
Присутствием своим ты отравляешь.
Учи-ка воздержанию таких же,
Как сам, прохвостов, сгнивших от обжорства,
Меня ж оставь – не место тут тебе.
Не оскверняй священной этой рощи.
Здесь у меня дела.

Меллиш.

С твоей бабенкой?
Ты проиграешь матч, изменишь долгу
Пред теми, кто болеет за тебя,
А долг – святая вещь. Великий Нелсон
Не зря сказал: «Ждет Англия, что каждый...»

Кэшел.

Болтать о долге будет. Вот что, Меллиш,
Мне на тебя и так глядеть противно;
Когда ж ты мне еще мораль читаешь,
Моя душа вселяется в кулак,
И он, сильней, чем по доспехам Марса
Циклопы молотами... Но довольно,
Иль вспомнится мне мать моя.

Меллиш.

Да, да,
О ней всегда ты должен помнить, Байрон.
Слыхал когда-то песню я...
(Прочищает горло.)
Гм, гм.

(Поет.)

Я не устану повторять:
Никто нам не заменит мать.
Не в голосе я, извини. Но знай,
Что мать твоя — и та тебе сказала б,
Будь с нами эта женщина святая:
«Сын, повинуйся тренеру».

Кэшел.

Клянусь,
Рок приговор тебе выносит. Разве
Не слышишь ты, как с грохотом лавины
Песок струится из часов песочных
Твоей судьбы? Запомни: ненавижу
Всем сердцем я свой долг и мать свою.
Зачем о них со мной ты речь заводишь?
Уйди, старик, иль ни твое уродство,
Ни возраст твой тебя не защитят.
Прочь!

Меллиш.

Нет, я не пущу тебя скитаться
В одежде легкой по росе весенней.
Вернись, мой сын, со мною в коттедж наш.

Кэшел.

В моей груди горит пожар, чье пламя,
Как солнце, высушит росу; в чьем блеске
Мрак станет взору так же незаметен,
Как в полнолунье светлячок.

Меллиш.

Но где же
Ночь проведешь ты?

Кэшел.

Буду я бродить
Под окнами твоими, Уилтстокен,
Твоим святым колоколам внимая,
Твою хозяйку трепетно любя.

Меллиш.

Хозяйку замка? Ты ума решился!

Кэшел.

Ты сам его решился, коль дерзаешь
Мне под ноги соваться. Прочь отсюда!
Не раздражай меня.

Меллиш.

Мой сын, мой мальчик,
Я для тебя по капле кровь отдам.
Не раздражайся. Я пойду с тобою,
Презрев и сон желанный, и росу.
Пусть Меллиш стар, но про него не скажут,
Что бросил он тебя.

Кэшел.

Вы сами, боги,
Его возмездью обрекли. Не ставьте ж
В укор мне нашу разницу в годах.
По вашей воле я, боксер, судьею
Сегодня стал. Свидетелями будьте,
Что здесь не бой, а казнь.
(Торжественным жестом выбрасывает вперед руку и с колоссальной силой бьет Меллиша под жилетку. Тот складывается пополам, наподобие полотенца, и, теряя сознание, валится наземь, как сноп.)
Теперь опять
Прекрасна ночь.
На башне замка бьют часы.
Чу! Раз. Два. Три. Четыре...
Как поэтичны эти звуки!.. Десять.
О Лидия, иду к тебе.
(Крадется к замку. Меллиш шевелится и стонет.)

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Лондон. Комната в доме Лидии.
Входят Лидия и Лу́сьен.

Лидия.
Кузен, я в доме лондонском своем
Вас видеть рада. Редким гостем стали
Вы с некоторых пор.
Лусьен.
Я очень занят.
Министр, при коем я на Даунинг-стрит
Секретарем назначен,— бирмингемец.
Он, как все государственные люди,
Что из рядов промышленников вышли,
Не признает глагольного спряженья,
И я, наемник бедный, согласую
Его инфинитивы, хоть мечтой
Всегда стремлюсь к моей кузине милой.
Лидия.
Не лгите, Лусьен, дело тут не в этом.
Грамматикой английские министры
Пренебрегают испокон веков,
Вы ж мною начали пренебрегать
Лишь за последний месяц.
Лусьен.
В вашем доме
Бывает человек, мне неприятный.
Лидия.
И кто же это? Кэшел Байрон?
Лусьен.
Да.
Вы не забыли, как у миссис Хоскин
В тот вечер достопамятный, когда
Там лекцию читал герр Абендгассе,
Лишь пальцем в грудь мне Байрон ткнул, и я,
Как околдованный, повергся б навзничь,
Не стой, на счастье, кресло позади?

Лидия.

Он просто жестом мысль свою хотел
Проиллюстрировать.

Лусьен.

Какое право
Ее он иллюстрировать имеет
На личности моей? Ведь он не Симпсон,
А я не ассистент, на коем ставил
Великий этот врач эксперименты,
И то под хлороформом. Я клянусь
Параболой ядра по Галилею,
Во мне убил он мужество и силу.
Когда мой шеф сегодня дружелюбно
Меня по пуговице щелкнул пальцем,
Я тут же рухнул на пол министерства
Колоний, как грозой сраженный вяз.

Лидия.

Самовнушенье!

Лусьен.

А вот мой начальник
Припадком это счел. Delirium tremens,[1]
Святого Витта пляска — как иначе
Мое паденье люди объяснят?
Ваш друг-головорез меня сгубил:
Увижу палец — и дрожу от страха.
Налейте выпить мне.

Лидия.

Эй, кто там! Бэшвил!

Бэшвил *(за сценой)*.

Иду, миледи.

(Входит.)

Лидия.

Болен мой кузен.
Ему залить за галстук, Бэшвил, надо.

Бэшвил уходит.

Лусьен.

Залить за галстук? Где вы научились
Жаргону уличных цветочниц?

Лидия.

Ах,
Ужасный оборот! Как вместо «выпить»
Я вымолвить могла «залить за галстук»?

---

[1] Белая горячка *(лат.)*.

Ужели околдована и я?
Фи! У меня такое ощущенье,
Как будто я испачкалась в грязи.
О Лусьен, почему я так сказала?

Лусьен.

Да потому, что этот тип, который
К вам втерся в дом, язык ваш безупречный
Своим жаргоном варварским испортил.

Лидия.

Но речь его вполне литературна —
Он походя цитирует Шекспира.

Лусьен.

И все ж кабацкий привкус слышен в ней.

Входит Бэшвил.

Бэшвил.

Вот вам лекарство, сэр.

Лусьен.

Благодарю.
(Пьет.)
Мне лучше.

Газетчик *(за сценой)*.

Специальный выпуск «Стар»!
Итоги исторического матча!

Лидия.

Кто там кричит?

Бэшвил.

Газетчики, миледи.

Лидия.

Какое-нибудь важное известье?

Бэшвил.

О да.
(Достает из кармана газету.)
Вся Англия уже неделю,
Дыханье затаив, его ждала.

Лидия.

Прочтите.

Бэшвил *(читает)*.

«Нынче в полдень состоялся
Без ведома полиции и в месте,
Весьма далеком от Уормвуд-скрабз,
Матч между австралийским чемпионом
И тем, кто подвизается на ринге
Под именем Летучего Голландца, —

В торговом флоте раньше он служил.
За час до боя лорд Уортингтон,
Известный пэр-спортсмен, туда явился».

Лидия.

Сам лорд Уортингтон?

Бэшвил.

«Нед Скин отважный,
Вновь стариной тряхнул: на ринг он вышел
Как секундант ученика былого.
В углу, где ждал моряк, стояли двое:
Челсийский Сноб, профессор бокса Палмер;
А с австралийцем, как всегда, был Меллиш,
Хотя ходили слухи, что себе
Он повредил подчревенную область
Случайно в уилтстокенском лесу.
Моряк был в майке синей с красным, словно
Британский флаг, и на его цвета
Толпа охотно ставила, но Кэшел
В столь всем знакомой синей с белым майке...»

Лидия.

Какое имя вы назвали?

Бэшвил.

Кэшел,
Миледи.

Лидия.

Лусьен, вашу руку... Стул...

Бэшвил.

Сударыня, вам дурно?

Лидия.

Непонятно
Мне то, что вы прочли, но до конца
Желаю я дослушать. Продолжайте.

Лусьен.

Да, продолжайте.

Бэшвил.

«...синей с белым майке
Предметом наивысших ставок был.
В двенадцать ровно, по команде «Время!»,
С уверенной улыбкой на дубленом
Ветрами океанскими мурле...»

Лидия.

На чем?

Лусьен *(поясняет)*.

Лицо подчас так называют.

Бэшвил *(продолжает)*.

«Моряк на середину ринга вышел,
Но чемпион уже был там. Они
Рукопожатьем крепким обменялись,
Чем привели болельщиков в восторг.
Теперь за несравненного мельбурнца
Два к одному давали, но Голландец
В такой был форме, что и на него
Иные все же продолжали ставить.
Противники терять не стали время.
Провел Голландец серию ударов,
Направленных, казалось, прямо в челюсть,
Но не достигших цели: дальний бой
Не для него – короткорук он слишком,
И в первой схватке Байрон победил».

Лидия.

Что делают они? Не понимаю.

Лусьен.

На кулаках дерутся без перчаток.

Лидия.

О, ужас! Не желаю больше слушать...
Нет, продолжайте. Я узнать должна
Все до конца. Не пострадал ли Кэшел?

Лусьен.

Читайте сразу про последний раунд.

Бэшвил.

«Сначала в третьем раунде казалось,
Что оправдались слухи, будто Байрон
Нарушил тренировочный режим.
При слове «Время!» чемпион поднялся,
Но с мрачным видом, явно через силу
И тяжко, как кузнечный мех, дыша.
Шесть к одному давали за Голландца,
Но лорд Уортингтон не спасовал
И даже эти ставки принял, ибо
Ему осталось только рисковать:
И без того уж на бойца из Пэнли
Он целое поставил состоянье.
Моряк, хоть он в бою всегда свиреп,
На этот раз был сущим тигром. Кэшел,
Шатаясь, уклонялся от ударов,
Голландец же его под вопль толпы
Теснил и вынуждал обороняться».

Лидия.

Довольно... Впрочем, нет. Предпочитаю
Я разом все узнать. Я отомщу.
Полицию скорей зовите, Бэшвил.
Пусть убедится этот зверь Голландец,
Что есть законы в Англии.

Лусьен.

Не надо
Его перебивать. От любопытства
Сгораю я. Читайте же, милейший.

Бэшвил.

«Раздались крики: «Сорок к одному!» —
И лорд Уортингтон друзьям Голландца,
Как истинный спортсмен, сказал: «Идет».
Едва они успели сделать ставки,
Как справа свинг моряк направил в челюсть
Уже качнувшегося чемпиона.
Казалось, что тому сейчас конец,
Но вдруг, искусно уклонившись влево,
Ударом встречным и исполинской силой...»

Лусьен.

Смерть и проклятье!

Лидия.

Что все это значит?

Бэшвил.

«В нокаут Кэшел моряка послал».

Лидия.

Ура! Ура! Ах, молодчина Кэшел!

Бэшвил.

«Не описать, как бурно зал на это
Прореагировал. Всем стало ясно,
Что Байрон лишь прикидывался слабым,
Чтоб ставки этой хитростью взвинтить.
Надеемся, что в Англии не станут
Копировать такие образцы
Колониальной ловкости. Держались
Все те, кто проиграл, как джентльмены,
Но Байрон проявил, по мненью многих,
Свой вкус дурной, когда он на закорки
Взял Неда Скина, Меллиша под мышку
И с этим грузом пробежал сто ярдов,
Чтоб показать, насколько свеж он».

За сценой стучат.

Лидия *(бледнея)*.

Бэшвил,
Вы слышите?

Бэшвил.

Стучится так лишь Байрон.
Впустить?

Лусьен.

Сейчас, когда он пахнет рингом?..
Ответьте, что вас дома нет, кузина.

Лидия.

Вы правы. Я мерзавца не приму.
Как смел иметь он от меня секреты?
Он кару понесет. Прошу сказать,
Что дома нет меня.

Бэшвил направляется к двери.

Хотя постойте.
А вдруг он не вернется?

Лусьен.

Быть должно
Приятно это настоящей леди.
Ужель хотите вы, чтоб он вернулся?

Лидия.

Нет, Лусьен, нет. Он скрытничал со мной.
Я не прощу его. Меня нет дома.
Так и скажите.

Бэшвил.

Хорошо, миледи.

(Уходит.)

Лидия.

Нет, погодите.

Лусьен *(останавливая ее)*.

Лидия, назад!
Не отменяйте свой приказ разумный.
Ужели все сокровища души,
Текущий счет на сотни тысяч в банке
И положенье в обществе швырнете
Вы под ноги звероподобной груде
Костей и мышц?

Лидия.

Вы судите превратно
О нем, кузен.

Кошел *(за сценой)*.

С дороги, лжец и раб!

Что ты сказал?

Гусьен.

Он опьянел от крови!

Вбегает Бэшвил, захлопывает дверь и запирает ее.

Бэшвил.

Спасайтесь! Чемпиона уложил
Подножкой я у лестничных ступеней,
Но встанет он, и горе нам тогда!

Лидия.

Кто вам позволил руку поднимать
На гостя моего?

Бэшвил.

Он не поверил
Моим словам, дверь распахнул ногой,
Назвал меня лжецом и объявил,
Что чувствует нутром: вы нынче дома.
Ответил я, что отобью за дерзость
Ему нутро, свалил его внезапно
И побежал сюда, чтоб дверь закрыть.

Лидия.

О, как любовь инстинкты изощряет!
Он чувствует присутствие мое!
Что ж, мы не убоимся и боксера.
Откройте дверь.

Гусьен.

Одумайтесь, кузина.
Вы – женщина и неприкосновенны:
Свой кодекс чести есть и у него,
И этот кодекс бить вас запрещает.
Но он покажет мастерство свое
На мне, а также на лакее вашем.

Бэшвил.

Сэр, не тревожьтесь обо мне. О, если б
Я роковое превосходство в весе
Мог уравнять отвагой, бой вторично
Сегодня бы пришлось ему принять.
Но пусть хозяйка только скажет слово,
И с ним, хоть он намного тяжелей,
В борьбу вступлю я. Лучше, как мужчина,
Паду я на ковер, чем стану трусом.

Лусьен.
Достойные слова! Я кочергою
Вам помогу.
Лидия.
Не трогайте его.
Откройте дверь.
Бэшвил.
Сюда стучится смерть,
Но я ее с улыбкою впускаю.

Отпирает дверь. Мертвая тишина. Входит Кэшел в слезах. Долгая пауза.

Кэшел.
Вы мой секрет узнали?
Лидия.
Да, узнала.
Кэшел.
И вышвырнуть меня слуге велели?
Лидия.
Велела я сказать, что нет меня.
Кэшел *(Бэшвилу)*.
Благодарю тебя. На благо мне
Ты полномочия свои превысил.
Когда бы ты промолвил лишь: «Велели
Вам уходить»,— от горя б умер я.
Лидия.
И вы сказали, Лусьен, что от крови
Он опьянел! Как можно удержаться
От слез при виде столь глубокой скорби?
Кэшел *(Лусьену)*.
О, трус и очернитель беззащитных
Бойцов кулачных, к счастью для тебя
Неписаный закон наш охраняет
Любителя от профессионала.
Вот в чем твое спасение.
Лусьен.
Итак,
Ты признаешь, что ты боец кулачный,
Дерущийся за деньги?
Кэшел.
Да, и этим
Был горд в надежде, что к ногам любимой
Сложу победы, званье чемпиона
И ставки, сделанные на меня,

Хоть знал, что некой ненавистной тайны
Я лаврами не скрою.

Лидия.

Снова тайна?

Лусьен.

Еще похуже первой?

Кэшел.

Вам известно,
Что мать моя актриса? Да, актриса!

Лусьен.

О, как ужасно!

Лидия.

Ах, как интересно!

Кэшел.

Не вытравят бессчетные победы
Клеймо происхожденья. Мой язык —
И тот меня всечасно обличает.
Мне букварем служила речь актера
Из «Гамлета», и мысли выражаю
Я до сих пор не как живые люди,
А как на сцене жалкая царица.
Легко кузену вашему трунить!
Что он Гекубе, что ему Гекуба?

Лусьен.

Нахальный выскочка, коль под Гекубой
Мою кузину разумеешь ты,
Знай: друг для друга с ней всегда мы будем
Тем, чем тебе не стать. С тобой готов
Я биться, как ты ни искусен в боксе.
Идем на улицу.

Лидия.

Я запрещаю
Вам драться. Бэшвил, разыщите кэб
И мистера Уэббера отправьте
На Даунинг-стрит. Прошу не возражать.
Я так хочу.

Лусьен и Бэшвил уходят.

Теперь простимся с вами.
Сюда не возвратитесь вы, пока
Не сможете, в лицо мне глядя смело,
Сказать: «Я ремесло переменил».

Кэшел.

Но разве даже этим вас заставлю
Я мать свою злосчастную забыть?
Да и какое ремесло мне выбрать?
Чем быть еще могу я?

Лидия.

Джентльменом.

Кэшел.

Что? Кэшел Байрон станет равен тем,
Кому за плату он дает уроки,
Опустится до тех, кто на него,
Толпясь вкруг ринга, с воплями глазеет,
Кто в жизни сам гроша не заработал,
А покупает кровь бойца за деньги,
Держа со всякой сволочью пари?
Нет, лучше смерть!

Лидия.

Но я хочу, чтоб были
Не джентльменом-шалопаем вы,
А джентльменом по натуре.

Кэшел.

Это
Удел того, кто побежден, а я
Брать верх привык. Когда знакомым вашим
На выборах наносят пораженье,
Они своею нравственной победой
Считают неудачу, заявляя,
Что им довольно чувствовать себя
Парламентариями по натуре.
Нет, не дошел еще я до того,
Чтоб столь дешевой ложью утешаться.

Лидия.

Вы оскорбились?

Кэшел.

Да, я оскорбился.
Пускай меня считают кем угодно,
Но джентльменом по натуре — нет уж,
Лионская красавица, увольте.

Лидия.

И все ж увечить бедных моряков
В боях кулачных вам не подобает.

Кэшел.

С успехом равным можешь упрекать
Ты парок, нить моей судьбы прядущих,

В том, что она грубее получилась,
Чем те, из коих сотканы салфетки
В твоей гостиной, иль меня бранить
За то, что в жизнь вступил я бессловесным
И безволосым ползунком-ребенком,
Тиранившим кормилицу свою,
Иль сожалеть о том, что постепенно
Я стану желтозубым, лысым, дряхлым
И, наконец, в сыром гробу сгнию.
Что может быть таких речей глупее?
Одно: на свет родиться не мужчиной,
А женщиною слабой. Совершила
Ты эту глупость. Так не попрекай
Меня моею.

Лидия.

Пол не выбирают.

Кошел.

А разве я в удел себе избрал
Неутомимость мускулов и сердца,
Молниеносность взора и удара
Иль сам англосаксонской нашей расе
Привил инстинкт, который ей велел
Найти моим талантам примененье
И мне сказать: «Дерись и славен будь!»?

Лидия.

Ужель на свете нет других профессий?

Кошел.

Сперва заставь своих друзей-поэтов
Склониться над конторкой и в гроссбухи
Приход с расходом прозой заносить;
Художников — пойти играть на биржу;
Епископов — религию презреть;
Тех, кто коней в пампасах укрощает, —
Приказчиками стать; профессоров —
Порвать со лжеученым педантизмом
И в жизни делать то, чему дерзают
Они учить других. Потом приди
И мне скажи: «Они повиновались»,
И лишь тогда я пояс чемпиона
Швырну на общий жертвенный костер.

Лидия.

Но бокс жесток.

Кэшел.

Как ремесло любое.
И все ж рукою этой, наносящей
На ринге столько тяжких повреждений,
Которые проходят через день,
Я не ввергал людей в тюрьму на годы,
Не убивал животных для забавы.
Противен мне ваш вылощенный свет,
Стеною виселиц и эшафотов
Надежно отгороженный от мира,
Где бедняка торгаш бесстыдно грабит.
О эти люди в перьях и мехах,
Кривляки, лгуньи, пасквиль на природу,
Которых в дрожь бросает, если им
Шепнуть: «А что подумает прислуга?»
О эти джентльмены-визитеры,
Рабы портного, палачи пернатых,
Чей щебет будит в них одно желанье —
Стрелять! О эти модные врачи,
Кромсающие из любви к науке
Нам преданных собак! Ты их просила
Избрать себе другое ремесло?
Ужели у меня оно жесточе?
Увы, там, где им дышится привольно,
Я задыхаюсь.

Лидия.

Но зато у них
Манеры безупречные.

Кэшел.

Еще бы!
Их снисходительность так элегантна!
Иной на всех смотрящий сверху герцог
И может показаться человеком,
Пока не очутился рядом с принцем,
В присутствии которого лакеем
Он делается сам, а герцогиня,
Его жена, — угодливой служанкой.
О, как на это глядя, я хочу,
Чтоб стал весь двор одним огромным брюхом,
Из коего тщеславие пустое
Я кулаками выбил бы! Прощай!
Профессию я выбирать не властен,
Но джентльменом все ж не стать могу.

Лидия.

Тебе не больно бросить мне: «Прощай»?

Кэшел.

Я ремеслом своим приучен к боли.
Стерплю и эту. Жребий чемпиона —
Быть одиноким.

Лидия.

Тот же самый жребий
У женщины.

Кэшел.

Так исполняй его.
Пусть о тебе не скажут, что вступила
Ты в брак неравный с темным хулиганом,
Его тугими мышцами прельстясь.
Иди своим путем, а если тянет
Тебя назад в болото, обвенчайся
С каким-нибудь пустопорожним снобом,
Который, как борзая, ventre à terre,[1]
Пойдет по следу светского успеха
И бриллиантами тебя увесит.
Богат и я, но золото свое
Своими заработал я руками.

Лидия.

Что подразумеваешь ты под словом
«Богат»?

Кэшел.

Сказал мне некто Пэредайс,
Слывущий у толпы непобедимым,
Что рад он был бы встретиться со мною.
Ответил я, что встречусь только с тем,
Кто заключит на десять тысяч фунтов
Со мной пари. Его друзья тайком
Собрали эту сумму, но моею
Она еще до листопада станет,
И десять тысяч будет у меня.
Я мнил, что капиталом столь огромным
Ты соблазнишься.

Лидия.

Ах, глупышка Кэшел,
Да это ж мой доход еженедельный.
Мне мужем став, имел бы втрое больше
Ты денег на карманные расходы.

---

[1] Во весь опор *(франц.)*.

Кэшел.

Нельзя мне оставаться здесь. Клянусь
Тем, кто евреям древним дал законы,
Я думал, получать такой доход
Прилично лишь в Америке. Довольно!
Конец мечтам... Не по дороге нам.
Прощайте. Ваше золото, как глыба,
На грудь мне давит.

Лидия.

Эта глыба станет
Твоею в день, когда ты переменишь
Ужасную профессию свою.

Кэшел.

О женщина, не искушай того,
К кому взывает честь. У ринга в рабстве
Пребуду я, покуда с Пэредайса
Спесь не собью.

Входит Бэшвил.

Бэшвил.

Карета ждет, миледи.
Вы к двум ее велели заложить.
С тех пор прошло уж полчаса.

Кэшел.

Проклятье!
Король! Король!

Лидия.

Какой? При чем он здесь?

Кэшел.

Один монарх мне встречу в Излингтоне
На три часа назначил.

Лидия.

В Излингтоне?
С ума сошли вы!

Кэшел.

Кэб! Зовите кэб!
Пусть ваш лакей скорей бежит за кэбом.

Лидия.

Я не оставлю вас: вы не в себе.
Поедем вместе мы в моей карете.
Иду за шляпой.
(Уходит.)

Кэшел.

Словно Парацельс
На поиски души.

(Бэшвилу.)

Теперь ответьте
Мне, юноша, как вы при вашем росте,
Отваге и умении бороться
Могли лакеем стать. Ко мне зайдите,
Когда свободны будете. Из вас
Я человека сделаю. Надеюсь,
Что вы честолюбивы и стремитесь...

Бэшвил.

Лакеем быть и дом держать в порядке,
В который приведу и вас.
(Разбивает Кэшелу нос и убегает.)

Кэшел *(проводит по носу пальцем и задумчиво рассматривает кровь на нем).*

Мальчишка
Меня проворней. Из него грешно
Не сделать деньги.

Возвращается Лидия в шляпе и перчатках.

Лидия.

Боже, вы в крови!

Кэшел.

Мне нужен ключ иль что-то в этом роде,
Чтоб, к носу приложив металл холодный,
Я влагу жизни мог остановить.

Лидия *(протягивает ключ).*

Что с вами?

Кэшел.

Въехал левой по сопатке
Мне ваш лакей.

Лидия.

Я вас не понимаю.

Кэшел.

Простите. Я хотел сказать, что боксом
Мы развлекались с Бэшвилом, и он
Мне по носу попал. Но я хотел бы
Умыться, чтоб не заалело слишком
Мое лицо.
(Поспешно уходит.)

Лидия.

Как речь его красива!
Серебряной трубы она звучнее.
Я вся дрожу, внимая ей. А кровь
Так у него чиста и так багряна,

Что я свою смешать с ней жажду.

Входит Бэшвил.

Что вам?

Бэшвил.

Сударыня, боится кучер ждать –
Простынут лошади.

Лидия.

Пускай потерпит
Еще минутку. Вот она, изнанка
Богатства! Волен пассажир-бедняк
Куда угодно ехать в третьем классе.
К его услугам юркие трамваи,
Его через весь город мчит подземка,
Тогда как богачи, рабы гуигнгнмов,
Страшатся простудить случайно их
И чахнут взаперти в домах своих.

Бэшвил.

Миледи, омнибус до Юстен-роуд.
Затем до Эйнджел...

Входит Кэшел.

Лидия.

Поспешим, любимый.
Заждался кучер.

Кэшел.

Если бы он знал,
Что ждать его заставил Кэшел Байрон,
Он был бы счастлив дольше ждать меня,
Чем смены – часовой в Помпеях. Едем.
День начался, и вскоре Излингтон
Увидит, чем он будет завершен.

Лидия и Кэшел уходят.

Бэшвил.

О боги, как она к нему прижалась!..
Но я один и маску снять могу.
Так вот чем награждается смиренье!
Как часто думал я: «Лакей несчастный,
Умри, и все ж она не снизойдет
Хотя бы до того, чтобы нагнуться
И прах развеять твой». А ныне пала
Она гораздо ниже, чем я сам,
Себя отдав трактирному герою,

Чьи подвиги, когда бы я свершил их,
А прежний мой хозяин написал
О них в рекомендации моей,
Меня и места конюха лишили б.
Но нет, судьбой казним я справедливо.
Настолько ж выше этот хулиган,
Чем я, насколько негр-невольник ниже
Индейца непокорного. Проклятье!
Ich diene — я служу. Уж лучше б выбрал
Своим девизом я: «Снимаю скальпы».
Но не за деньги я влачил ярмо.
Любя ее, я ваксил ей ботинки,
Любя ее, ножи и вилки чистил
И мальчиком на побегушках стал.
Хотя по дому черную работу,
Как Золушка, я делал, у меня
В душе кипели страсти Клеопатры.
Я горд был тем, что вознести стараюсь
Любимую свою как можно выше,
Себя как можно глубже унижая.
Ревниво о достоинстве ее
Я пекся, и меня бросало в краску
При мысли, что такой, как я, дерзает
Любить такую, как она. А ныне —
О, горькая ирония судьбы! —
Кулачного бойца она избрала,
И путь ему ты, Бэшвил, сам расчистил,
Боясь поведать о любви своей.
Так будь что будет! Я признаюсь в ней.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Сельскохозяйственный выставочный зал в Излингтоне, битком набитый зрителями. На арене трон, перед ним устроен ринг для бокса. Справа балкон, заполненный светской публикой; среди нее Лидия и лорд Уортингтон.

Фанфары. Входят Лусьен, Кетчвайо и его свита — зулусские вожди.

Кетчвайо.

Здесь Дом мужчин?

Лусьен.

Да, здесь.

Кетчвайо.

А эта свора
Псов худосочных — ваш народ английский?

Лусьен.

О нас по нашим лицам не суди.
Их бледность — тень, которую бросает
На нас, британцев, дым из мощных труб
Огромных фабрик, из мильонов кухонь
В домах счастливых наших.

Кетчвайо.

К вам приехав,
Я мнил, что эти трубы — алтари
Богов подземных; но теперь я вижу,
Что англичане, как кроты и совы,
Боятся солнца и отгородились
Завесой сажи от него.

Лусьен.

Кетчвайо,
Ты не поймешь, сколь наш народ велик:
Ведь ты дикарь и мыслишь, как ребенок.
Под бледным лбом у каждого британца
Скрыт мозг, чья мощь подтверждена трудами
Ньютона и твореньями Шекспира.
Любой из этой тысячной толпы,
Забрось его нагим в пустыню случай,
Построит там машину паровую
Или проложит кабель к антиподам.

Кетчвайо.

Затем ли я за сотни тысяч миль
Приплыл сюда, чтоб эти басни слушать?
Уэббер, знай, отец мой: человека
Цивилизуют лишь две злые силы —
Страх и корысть, ужасная чета,
Чье детище прогрессом величают.
Ужель трусливый белый человек,
Который, истощая мозг и мышцы,
Льет пушки, смерть несущие на милю,
Сравниться может с воином зулусским,
Встречающим врага лицом к лицу?
Умеем мы минутой наслаждаться,
Жить настоящим в настоящем мире;
Поэтому жизнь кажется нам долгой,
А смерть мгновенной. Вы же, англичане,
Живете, как огарок дотлевает,

Считая остающиеся миги,
И из любого темного угла
Два призрака грозят вам – смерть и бедность.
Страх перед ними изощрил безмерно
Запуганный ваш ум, и начал он
Изобретать все новые уловки,
Как золото чужое отнимать
И поражать врага, его не видя,
Покуда самое судьбу не сделал
Невольницей своею, и тогда –
О, всегубительное достиженье! –
Вы, наглецы, заставили природу
Вас в тайны разрушенья посвятить.
Вот почему снарядные разрывы
Уничтожают храбрых чернокожих,
А белые прислужники убийства
Заполонили землю и твердят
Дрожащими от трусости губами:
«Естественный отбор!» Но слов довольно.
Я тут не для речей. Ты обещал
Мне показать двух белых, что согласны
Без ружей и без копий драться на смерть.
Пусть их введут.

Лусьен.

Не на смерть будет бой,
А с соблюдением строжайших правил:
Упавшего не бить, не наносить
Ударов ниже пояса и ноги
В ход не пускать. Соперникам дается
Возможность между схваток отдыхать
И подкреплять себя.

Кетчвайо.

О боги, боги!
Какие трусы! Ах, мой край зулусский,
Ты олицетворенным малодушьем
Отобран у храбрейшего из храбрых!

Лусьен.

Непросвещенный разум дикаря,
Который очевидного не видит,
Уразуметь бессилен, что слова
«Смельчак» и «англичанин» – равнозначны.

Кетчвайо.

Ну что ж, зови сюда своих героев,
А заодно их нянек, чтоб они

Собаки иль пчелы не испугались.
(Садится на трон. Входит Пэредайс.)

Лидия.

Кто этот негодяй, чьи мышцы-горы
Грозят его противнику бедою?

Лорд Уортингтон.

Пред вами Пэредайс.

Лидия.

А, тот, о ком
Мне Кэшел говорил. Как леденеет
От страха сердце! Ах, зачем со мной
У входа он расстался!

Входит Кэшел.

Лорд Уортингтон.

Посмотрите!
Вон чемпион.

Лидия.

С каким восторгом я
Его сейчас при всех расцеловала б!
Наряд боксера так ему идет.
Однако я боюсь, что изувечит
Его злодей.

Лорд Уортингтон.

Напрасный страх. Но тише!
Кетчвайо говорит.

Кетчвайо.

Мне перед боем
Откройте, дети белой королевы,
Кто вы и чем прославились.

Пэредайс.

Король,
Я – честный малый и кормлю себя
Своими кулаками. Я, конечно,
Попроще буду разных там пижонов,
Но до сих пор меня не удавалось
Свалить с копыт. Годов мне двадцать три,
Мой вес – двенадцать стоунов, и если
Зайдете вы в пивную «Синий якорь»,
Которую Билл Ричардсон содержит,
Любой болельщик вам мои слова
Охотно подтвердит. А больше, право,
Мне нечего прибавить.

Кетчвайо.

Ты получишь
Шесть жен и тридцать молодых быков,
Коль мертвым на песок врага положишь.
Гляди, с каким презрением взирает
Он на тебя.
(Кэшелу.)
Не так ли?

Кэшел.

Государь,
Прошу сказать, в какое точно место
Мне поразить его.

Кетчвайо.

Есть благородство
В твоих чертах, но я боюсь, что их
Обезобразит нынче твой противник.

Кэшел.

Предполагает человек, а бог
Располагает. Где мои перчатки?

Рефери.

Профессор бокса Пэредайс и Байрон,
Профессор бокса. Время!

Кэшел и Пэредайс начинают бой.

Лидия.

Бесконечным
Сегодня мне покажется оно.

Кэшел.

Король, вот это апперкот, а это
Особый хук, изобретенный мною.
Ту впадину, куда сейчас я бью,
Подвздохом в просторечье именуют.
Рукою левой наношу я свинги
Иль боковые длинные удары,
А правою, ее нацелив в челюсть
И угол ей придав необходимый,
Соперника легко в нокдаун шлю.
Глядите, как ничком он наземь рухнул.
По правилам ему дается десять
Секунд, чтоб встать, и он, конечно, встанет.
Упрямца доконать нетрудно мне,
Но помня, государь, что вам угодно
Увидеть, далеко ли англичане

Ушли в искусстве самообороны,
Я расправляться с ним повременю.

Пэредайс.

Коль драться, так уж драться без подушек
На лапах.
(Срывает перчатки и бросается на Кэшела с голыми кулаками.)

Толпа.

Не по правилам! Нечестно!

Кетчвайо.

Как радость боя кровь мне горячит!
Не в силах я сдержаться. Исандлвана!
Победа!
(Бросается на зрителей.)

Зулусские вожди.

Исандлвана и победа!
(Нападают на окружающих. Публика разбегается, сметая на своем пути колья и канаты, окружающие ринг.)

Лусьен.

Сюда, полиция! Пресечь бесчинство!
Полиция!
(Поднимает зонтик и наступает на Кетчвайо. Балкон с треском обрушивается. Вопли, неописуемая толчея.)

Кэшел *(вытаскивая Лидию из свалки).*

Любимая моя,
Ты не ушиблась?

Лидия.

Нет, но умоляю,
Спасите моего кузена.

Полисмен.

Сэр,
Ведите нас. Спасайте флаг английский.
В пыль втаптывает Африка его.

Кэшел.

Не быть тому! Все континенты вместе,
Пока на их плечах могучих блещут
Алмазные соцветья океанов,
Не втопчут в пыль наш синий с белым стяг.
Смотри же, Лидия, на что способен
Тот, кто любим тобой.
(Нападает на Кетчвайо и его свиту.)

Лидия.

Сам Геркулес
Не устоит пред ним. Король повержен.

Тот из вождей, что выше остальных,
Вверх пятками с земли взлетел, как пробка.
Другой уже лежит и воздух ртом
Хватает. Остальные удирают,
Но тщетно: как язык хамелеона,
Цель настигает Кэшелов кулак
С немыслимых дистанций. На колени
Уже упал последний африканец
И молит о пощаде.
(Бросается в объятия Кэшела.)
Мой герой,
Ты всех нас нынче спас.

Кэшел.

Тебя спасал я.

Кетчвайо *(пытаясь приподняться).*

Не молнией ли я сражен?

Лусьен.

Позвольте
Вам, государь, заметить, что держались
Вы в высшей мере не по-джентльменски.

Полисмен.

Один из тех, кто рухнул наземь,— белый.

Кэшел.

Да. Это Пэредайс.

Полисмен.

Сказать ни слова
Не может он: рот у него набит.

Лидия *(Кэшелу).*

О, боже мой, бедро в крови... Ты ранен?

Кэшел.

Кусок, во рту торчащий у мерзавца,
Откушен от меня.

Сенсация. Лидия взвизгивает и, теряя сознание, падает на руки Кэшелу.

Комната в уилтстокенском коттедже.

Лидия *(за письменным столом).*

Пишу я биографию отца,
Но с прошлым настоящее не ладит.
Осенний лес шуршанием листвы
Зовет меня на свежий воздух выйти
И перестать былое ворошить.
Отец мой был весьма учен, и я,
Пожалуй, старой девой стану раньше,
Чем жизнь меня отучит от того,
Чему я научилась у него.

Входит полисмен.

Полисмен.

Прошу простить, миледи, за вторженье,
Но я по долгу службы принужден
Порасспросить вас о прислуге вашей.
Кто с вами здесь?

Лидия.

Почти что никого —
Лишь горничная да лакей ливрейный,
Которых на какой-то местный праздник
Я отпустила. Но, судя по каске,
Вы из полиции столичной?

Полисмен.

Да,
И сообщить, сударыня, вам должен,
Что этот, как вы выразились, праздник
Собою представляет бой кулачный,
Деяние, противное закону,
Которое мы присланы пресечь.
Я к вам явился, чтоб осведомиться,
Не видела ль сегодня ваша милость
Субъектов подозрительных.

Лидия.

Нет, нет.
Я горничную, сэр, не отпустила б,
Когда бы знала, что опасно тут.

Полисмен.

Сударыня, не бойтесь ничего:
Того, кто честен, власть не даст в обиду.

Я здесь, и будет правонарушенье
Наказано. Счастливо оставаться!

Лидия.

Счастливого пути!

Полисмен уходит.

Кулачный бой!
Ужели, вопреки моим моленьям,
За ремесло ужасное свое
Вновь Кэшел взялся? Ах, зачем бежала
Ты, ветреная девушка, сюда
И о своем отце здесь книгу пишешь?
Ведь, в Лондоне оставшись, ты могла бы
Присматривать за тем, кто мил тебе.
Но что это? Шаги!

Входит Кэшел.

Кэшел.

Меня укройте.
Полицией преследуем я... Боже!
Ты, Лидия?

Лидия.

Конечно, это я.
А ты свершил, наверное, убийство,
Коль принужден переодеться в платье
Столь мерзкое?

Кэшел.

Нет, не свершил, а жаль.
Из каннибала этого я выбил
Не жизнь, а тридцать девять тысяч жизней,
Но у него их, видно, сорок тысяч.
По той непроницаемой коробке,
Где мозг его зачаточный сокрыт,
Лупил я безуспешно кулаками
В теченье часа с лишним по часам
На башне в Шрузбери. Трава и глина,
Которыми облеплен я, пристали
Ко мне, когда катались по земле
Мы с ним вдвоем. Костюм убогий этот
У Меллиша, чтоб наготу прикрыть,
Я занял, от полиции спасаясь.
Он не по росту мне. Вот почему
Живот мой не прикрыт и руки голы.
Не думай, что тебе я подмигнуть
Пытаюсь: Пэредайс мне в глаз заехал,

И я не в силах приоткрыть его.
О, сжалься надо мною! Все пропало.
Напрасно я тренировался, бился,
И заключал пари, и ждал победы.
Как от обиды хочется заплакать!

Лидия.

Вон, негодяй!

Кэшел.

Что?

Лидия.

Я сказала: вон!
О, тигр в обличье юноши, ужели
Не можешь ты с природой и людьми
Жить в мире и любви? Ужели руки
Даны тебе лишь для того, чтоб ты,
Калеча образ и подобье божье,
Носы и зубы ближним сокрушал?
Ты мне противен. Удались отсюда
И вновь не возвращайся.

Кэшел.

Удаляюсь,
Хоть самый бедный твой батрак — и тот
Меня б не предал. Что ж, прощай!
(Распахивает дверь.)
Ага!
Вот и полиция.
(Захлопывает дверь.)
Пусть я погибну,
Но ты увидишь мой последний бой.
Как я ни обессилел, фараонам
Недешево достанется победа.
Эй, вы, сюда!

Лидия.

Нет, я смотреть не в силах,
Как за тобой охотятся. Идем!
Укройся в комнате моей. Живее.
Я так хочу.

Кэшел уходит в соседнюю комнату.

Я с ужасом предвижу,
Что для него пойду на ложь сейчас,
Хоть лгать и буду в жизни первый раз.

Полисмен вводит арестованных Пэредайса и Мелиша; за ними Бэшвил, констебли и прочие.

Полисмен.
Того из арестантов, что избит,
Не подпускайте близко, чтобы леди
Не испугать. Сударыня, простите,
С преступниками вместе третий был.
Сюда случайно он не заходил?
Лидия.
Здесь появлялся человек, чьи руки
Покрыты кровью были, чье обличье
В меня вселило ужас.
Полисмен.
Да, он самый.
Что он сказал?
Лидия.
Убежища просил.
Я прогнала его.
Полисмен.
Поступок мудрый.
Куда же он направился?
Лидия.
Не знаю.
Пэредайс.
Он смылся, увидав меня.
Полисмен.
Заткнись!
Миледи, это Пэредайс. Простите
Его за непотребный вид. А это
Боб Меллиш, тренер Байрона.
Меллиш.
Ты лжешь,
Проклятая ищейка, я не тренер.
Родитель мой, миссионер почтенный,
Привил мне в детстве склонность к стихотворству,
И в этот лес пришел я, чтоб побыть
Наедине с природою. Внезапно
Ударов звук в мои мечтанья вторгся.
Родительские наставленья помня,
Я бросился к бойцам, чтобы сыграть
Роль миротворца, но меня, увы,
Блюстители порядка задержали.
Бушвил.
Сюда с безумным воплем на устах
Красивая разряженная дама,
Подобно серне раненой, бежит.
Входит Аделаида Гизборн.

Аделаида.
Где Кэшел мой? Его арестовали?
Полисмен.
Я был бы счастлив, если бы ваш Кэшел
Мне в руки угодил, но он удрал.
Аделаида.
Хвала творцу!
Лидия.
А почему зовете
Вы беглеца «мой Кэшел»?
Аделаида.
Потому,
Что он мой сын единственный.
Все.
Ваш сын?
Аделаида.
Да, сын.
Лидия.
В бою он так обезображен,
Что даже мать едва ль его узнает.
Аделаида.
Сегодня утром лорд Уортингтон,
Распутный пэр, коварными речами
Склонил меня с ним за город поехать
В его коляске, чтобы посмотреть
На истинно английский спорт. Поскольку
Доверчива я, как ребенок малый,
Лорд преуспел в намеренье своем,
Но лишь наполовину: одевалась
Так долго я, что мы сюда поспели,
Когда уж начался последний раунд...
Молчите! Леденящий мой рассказ
К ужасной кульминации подходит.
Лишь сына даровал мне бог, лишь сына,
Любившего всем сердцем мать свою...
Полисмен.
Тсс! Брань я слышу в комнате соседней.
Аделаида.
Имейте жалость к скорби материнской
И монолог не прерывайте мой.
Исчез мой мальчик десять лет назад.
(О вы, сто двадцать месяцев печали
И слез, меня состаривших до срока,—
Ведь я моложе, чем на вид кажусь!)

Судите ж сами, как я взволновалась,
Когда, по пояс гол, свиреп, как демон,
Моим глазам сегодня он предстал,
Сражаясь с этим юношей, который,
Быть может, человек весьма достойный,
Но все ж на джентльмена не похож.

Кс

О, странный жребий! О, рассказ прискорбный!

Аделаида.

Благодарю за то, что оказали
Вы повести моей прием столь теплый.
Но где, ответьте, мой беспутный сын?
Домой со мною должен он уехать
И свой порочный образ жизни бросить.

Входит Кэшел.

Кэшел.

Я в руки власти отдаюсь.

Лидия.

Нет, нет!

Аделаида.

Сын!

Кэшел.

Матушка, не надо поцелуев:
Все у меня болит.

Полисмен.

Хозяйка дома
Виновна в укрывательстве злодея.
Ей не поможет пол ее.
(Кэшелу.)
Идем!

Лидия.

Не бойся, Кэшел: под залог ты мой
Взят на поруки будешь.

Кэшел.

Не желаю.
И наказанье с радостью приму.
Пусть с Пэредайсом в Пентонвил иль Портлэнд
Меня швырнут – мне там спокойней будет:
Туда не допускают матерей.

Аделаида.

Злой мальчик!..

Кэшел.

Уведите же, констебль,
Меня отсюда.

Меллиш.

О, позволь тебе
Напомнить звуки старой нежной песни —
Она мне вас поможет примирить.
(Поет.)
Я не устану повторять...

Кэшел.

Молчи. Коль ты возьмешь еще хоть ноту,
Оглохнут уши у тебя сильнее,
Чем от трубы в день страшного суда.

Аделаида.

Стыдись столь добродетельному старцу
Бросать угрозы.

Лидия.

Как же ты, о Кэшел,
С женой своею будешь обращаться,
Коль мать не чтишь?

Кэшел.

Я знал: ты это скажешь.
Сам рок тебе слова твои внушил.
О матери, как жизнь была б прекрасна,
Когда б своих несчастных сыновей
В покое вы оставили! Увы,
Нерасторжимы родственные узы,
И все ж, пока над сиротливым миром
Не вспыхнет солнце золотого века
И человек не перестанет в ближнем
Усматривать заклятого врага,
Не уживусь я с матерью своею
В одном и том же полушарье.

Аделаида.

Кэшел,
Ты речь неджентльменскую ведешь.

Кэшел.

А я не джентльмен. Нет, я преступник,
Покрытый кровью и низкорожденный...

Аделаида.

Низкорожденный? Это клевета.
Твоим отцом законным, чье наследство
Достанется тебе, был Бингли Бампкин
Фицэлджернон де Курси Кэшел Байрон,

Сьёр Парк-Лейн и верховный лорд дорсетский.
Три месяца прожив в счастливом браке,
Синильной кислотой он отравился,
Но в миг последний на клочке бумаги,
Слезами орошенном, написал,
Что, проведя со мной медовый месяц,
Кончины больше не страшится он.

Полисмен.

Сэр, будь известен мне ваш сан, не взял бы
Я вас под стражу, но теперь уж поздно.
Закон превыше нас.

Входит Лусьен с королевским декретом.

Лусьен.

Нет, полисмен.
Со мной декрет, которым королева
Все прегрешенья Байрону прощает.
В помощники назначен, сверх того,
Он лорду-лейтенанту графства Дорсет,
И в честь его блистательной победы
Над нашими врагами в Излингтоне
Английский флаг носить отныне будет —
На синем поле дюжину полосок,
Как лебедь, белоснежных. Наконец,
В согласье с древним феодальным правом,
Забытым в анархический наш век,
Монархине угодно выдать замуж
За Байрона мисс Лидию Кэру,
Наследницу поместья Уилтстокен.

Всеобщий одобрительный шум.

Полисмен.

Сэр, про меня не сказано в декрете?

Лусьен.

Трон не забыл о вашей верной службе:
Отныне вас зовут инспектор Смит.

Новые возгласы одобрения.

Полисмен.

Спасибо, сэр. Спасибо, джентльмены.

Лусьен.

Противился, отважный чемпион,
Я браку вашему с моей кузиной
Лишь потому, что Лидии ровнею
Вас не считал. Вот вам моя рука.

Бэшвил.

Я тоже оставляю притязанья
На благосклонность госпожи моей.

Сенсация.

Лидия.

Как, Бэшвил! Вы меня любили?

Бэшвил.

Да.
Я все сказал, миледи, и уволить
Прошу меня сейчас же.

Лидия.

Поступили
По-джентльменски вы, приняв такое
Тактичное и твердое решенье.
Не отрицаю я за вами права
Признаться в чувствах, лестных для меня
И делающих честь вам, как мужчине.
Но те же чувства, коими полна
К другому я, велят мне вас уверить,
Что до тех пор, пока мой Кэшел жив,
А многомужество несовместимо
С британским социальным механизмом,
Для вас надежды на взаимность нет,
Хоть ваша преданность и ваше рвенье,
Внушенные любовью бескорыстной,
Могли б украсить мой очаг домашний.
И если...

Кэшел.

Извините. У меня
Другие планы. В этом человеке
Заложено способностей так много
К искусству боя и самозащиты,
Что в будущем славнее станет он,
Чем был я в прошлом. Чтобы сделать полным
Нежданно привалившее мне счастье,
Я юношей займусь и обещаю,
Что в весе десять стоунов шесть фунтов
Предстанет вскоре перед миром всем
Мой ученик Великолепный Бэшвил.

Все.

Да здравствует грядущий чемпион,
Преемник Байрона!

Кошвил.

Ужели брошу
Я службу у своей хозяйки милой,
Чтобы увечить ближних?

Кошел.

Таково
Веление судеб. Ведь в этом мире
Мы раскрываем данный нам талант
И славу своего народа множим
Не там, где мы хотим, а там, где можем.

Полисмен.

Чу! Звук рожка почтового.

Кошел.

И топот.
Что это значит?

На сцену съезжает запряженная четверкой коляска, из которой вылезает лорд Уортингтон.

Аделаида.

Вероломный пэр!

Лорд Уортингтон.

Аделаида, дорогая...

Аделаида.

Дерзкий!
Для вас я миссис Байрон.

Лорд Уортингтон.

Это имя
Я вас прошу сменить на титул леди
Уортингтон.

Кошел.

Несчастный человек,
Вы знаете, на что пошли?

Лидия.

На брак,
Блаженство обещающий обоим.
Вы, лорд Уортингтон, свекровь и мать
Намерены отнять у нас...

Кошел.

Вот горе!

Лидия.

Но мы готовы жертву принести.
Смотрите, как краснеет миссис Байрон.
В умении играть ей не откажешь.

Аделаида.

Милорд, я ваша.

Лорд Уортингтон и Аделаида обнимаются. ликование.

Кэшел *(в сторону)*. Больно мне смотреть,
Как будущность свою бездумно губит
Болельщик благородный! Этот мир
С доской для шахмат схож, и все мы — пешки
В руках судьбы.
(Громко.)
Итак, друзья мои,
К концу подходит наше представленье.
Как лорда-лейтенанта графства Дорсет
Законный заместитель, я прощаю
Всех, кто прикосновение имел
К сегодняшнему состязанью в грубом
И запрещенном спорте.

Лидия *(бросаясь к нему в объятия)*.
Наконец-то,
Мой Кэшел, корабли свои ты сжег.

Кэшел.
Твое лицо таким сияет светом,
Что он сто тысяч кораблей сожжет.
Тобой, у ринга отнят Кэшел Байрон.
Но к делу. Пусть Уильям Пэредайс,
Изучит для самообразованья
Речь первого актера в пьесе «Гамлет»,
Чем речь свою существенно улучшит.
Отправься в «Синий якорь», Роберт Меллиш,
И уврачуй там раны Пэредайса,
А Биллу Ричардсону накажи,
Чтоб тот его пореже подпускал
К бочонку роковому. Мы же сядем
В коляску, и сиятельный болельщик
Направит бег своей четверки к церкви
Георгия Святого, портик коей
Встал меж Ганновер-сквер и Кондит-стрит.
Пусть грянут звуки свадебного марша,
В которые, как только мы отъедем,
Мелодию свою вплетешь ты, Меллиш.
Рожок почтовый, кучер, мне вручи
И в Лондон нас без остановки мчи.

Уходят.

ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК

Комедия
с философией

1901 – 1903

MAN AND SUPERMAN

ПОСВЯТИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРТУРУ БИНГЭМУ УОКЛИ

Мой дорогой Уокли!

Вы как-то спросили, отчего я не написал пьесы о Дон Жуане. Эту тяжкую ответственность Вы взяли на себя с таким легкомыслием, что, наверное, успели уже позабыть о своем вопросе; настал, однако, час расплаты: вот Вам Ваша пьеса! Говорю «Ваша» потому, что qui facit per alium facit per se.[1] *Прибыль от нее досталась мне, и труд в нее вкладывать пришлось тоже мне; а вот оправдывать ее нравственность, ее манеры, ее философию и ее воздействие на молодежь придется Вам. Вы были уже в зрелом возрасте, когда подали мне эту идею; Вы знали, с кем имеете дело. Прошло почти пятнадцать лет с того дня, когда мы, близнецы-первооткрыватели Нового Журнализма того времени, спеленутые в новенькие листы одной и той же газеты, начали новую эпоху в театральной и оперной критике: превратили ее в повод для пропаганды своих собственных взглядов на жизнь. Посему Вы не можете сослаться на незнание силы, пущенной Вами в ход. Вы желали, чтобы я матировал буржуа, и недовольного мною буржуа я отныне буду направлять к Вам как к ответственному лицу.*

Предупреждаю: ежели Вы вздумаете отречься от ответственности, я заподозрю, что Вы сочли мою пьесу чересчур пристойной. Эти пятнадцать лет сделали меня старше и серьезнее. В Вас я не замечаю той же уместной перемены. Ваши легкомыслие и отвага очень похожи на любовь и радость, о которых Дездемона молит небо; они все растут и растут — с каждым днем Вашей жизни. Какой-нибудь журнальчик-первооткрыватель теперь не решается связываться с Вами; лишь одна газета — величавая «Таймс» — сейчас настолько выше подозрений, что может себе позволить выступать Вашей дуэньей; и даже «Таймс» должна благодарить судьбу за то, что новые пьесы ставятся не каждый день, ибо после театральных премьер серьезность «Таймс» оказывается скомпрометированной, пошлость ее сменяется блеском эпиграмм, напыщенность — остроумием, чопорность — изяществом и даже благовоспитанность — озорством, и все это из-за рецензий, которые традиции газеты не позволяют Вам подписать и в экстравагантнейшем стиле которых подпись Ваша все же явно читается между строк.

[1] Кто делает чужими руками — делает сам *(лат.)*.

Не исключаю, что это предзнаменование революции. Во Франции XVIII века конец стал виден, когда, покупая Энциклопедию, читатель находил в ней Дидро. Когда я покупаю «Таймс» и нахожу там Вас, мой пророческий слух слышит, как плотники сколачивают эшафоты XX века.

Впрочем, теперь я озабочен не этим. Вопрос сейчас в том, не будете ли Вы разочарованы пьесой о Дон Жуане, в которой ни одно из тысячи трех приключений этого героя не выносится на сцену? Прошу Вас, не гневайтесь — позвольте мне объясниться. Вы возразите, что я только этим и занимаюсь и что мои так называемые пьесы — это одни сплошные объяснения. Но ведь не можете Вы рассчитывать, что я стану подражать Вам — Вашим необъяснимым, эксцентричным, вздорным причудам. Вам придется принимать меня таким, каков я есть,— разумным, терпеливым, последовательным, трудолюбивым, всегда готовым извиниться — человеком с темпераментом школьного учителя и интересами члена приходского совета. Свойственная мне ловкость литератора, забавляющая британскую публику, маскирует мой характер; тем не менее характер у меня имеется, и крепкий, как кирпичная кладка. Имеется и совесть, а совести всегда очень хочется объясниться. Вы же, напротив, считаете, что мужчина, говорящий о своей совести, подобен женщине, говорящей о своей скромности. Единственная моральная сила, которую Вы изволите демонстрировать, это сила Вашего остроумия; единственное требование, которое публично выдвигает Ваш артистический темперамент, жаждущий симметрии, это требование изящества, стиля, грации, благородства и чистоты, которую Вы ставите рядом с благочестием, а может быть и выше оного. А моя совесть сродни совести проповедника: мне неприятно видеть, что люди уютно устроились, когда, по-моему, они должны чувствовать себя неуютно, и я настойчиво заставляю их думать, чтобы они осознали свою греховность. Нравятся Вам мои проповеди или нет, извольте их выслушать. Право же, я тут не властен что-либо изменить.

В предисловии к своим «Пьесам для пуритан» я объяснял затруднительное положение, в которое попала современная английская драматургия. Она вынуждена иметь дело с историями, основанными почти исключительно на влечении полов, и при этом не имеет права демонстрировать проявления этого влечения или хотя бы говорить о его природе. Подав мне идею написать пьесу о Дон Жуане, Вы бросили мне как драматургу вызов. Вызов Ваш я принял, потому что он достаточно серьезен,— ведь если поразмыслить, у нас сколько угодно драм с героями и героинями, которые влюблены и, следовательно, к концу

пьесы должны пожениться или погибнуть, а также драм о подчх, чьи отношения осложнены законами о браке, да есть еще и более рискованные пьесы, торгующие традиционным представлением, что незаконные связи одновременно и порочны, и восхитительны. Но мы так и не имеем современных английских пьес, в которых взаимное влечение полов было бы главной пружиной сюжета. Вот почему мы упорно требуем красивых актеров и актрис, и этим отличаемся от других стран, которые наш друг Уильям Арчер, укоряющий нас в ребячливости, ставит нам в пример: вот, мол, серьезный театр. Тамошняя Джульетта или Изольда нам в матери годится, а Ромео или Тристан годится нам в отцы. Английская актриса — дело совсем другое. Героине, которую она играет, не разрешается говорить о самой основе отношений между мужчиной и женщиной; вся ее романтическая болтовня о книжной любви, все ее чисто юридические дилеммы — женится или «бросит»? — проходят мимо наших сердец и волнуют лишь наши умы. Чтобы утешиться, зрителю надо только поглядеть на актрису, что мы и делаем, и красота актрисы утоляет наши голодные эмоции. Бывает, мы невежливо ворчим, что игра сей дамы куда менее совершенна, чем ее внешность. Но когда драматургия только с виду занята проблемами секса, а на деле лишена сексуального начала, внешняя красота нужнее, чем сценическое мастерство.

Позволю себе развить эту идею подробнее, поскольку Вы достаточно умны и не поднимете шутовских воплей, не обвините меня в парадоксальности, оттого что я беру трость за рукоять, вместо того чтобы ухватиться по ошибке за ее пятку. Отчего наши редкие попытки вынести на сцену проблемы земной любви рождают отвратительные, убогие пьесы, и даже те, кто твердо убежден в необходимости открытого обсуждения вопросов секса, не в состоянии притворяться, будто эти безрадостные попытки оздоровить общество доставляют им удовольствие? Не оттого ли, что по существу эти пьесы начисто лишены сексуального элемента?

Какова обычная схема таких пьес? Некая женщина когда-то в прошлом вынуждена была преступить закон, управляющий взаимоотношениями полов. Впоследствии некий мужчина влюбляется в нее или на ней женится и тем самым преступает обычай относиться к такой женщине с неодобрением. Разумеется, конфликт между личностью и законом или обычаем можно положить в основу пьесы с таким же успехом, как и любой другой конфликт; но это конфликты чисто юридические; а между тем скрытые взаимоотношения между мужчиной и женщиной интересуют нас гораздо больше, чем их

взаимоотношения с официальным судом и неофициальным судилищем кумушек; и оттого у нас появляется ощущение, что все это фальшиво, узко, несерьезно, поверхностно, неприятно, пусто, ничему не учит и не очень-то развлекает,— ощущение, которое Вы так же часто испытываете в театрах, как испытывал его я, когда тоже посещал эти неуютные помещения и обнаруживал, что наши модные драматурги настроены — как им кажется — помериться силами с Ибсеном.

По-видимому, когда Вы просили у меня пьесу о Дон Жуане, Вы хотели вовсе не такого. Такого никто не хочет: успех, который подобные пьесы иногда имеют, объясняется наличием в них элемента традиционной мелодрамы, к которой инстинктивно прибегает популярный автор, спасаясь от провала. Но чего Вы хотели? Из-за Вашей несчастной привычки (теперь, надеюсь, Вы чувствуете проистекающие от нее неудобства) избегать разъяснений, мне пришлось докапываться до этого самому. Прежде всего мне пришлось задать себе вопрос: что такое Дон Жуан? В вульгарном представлении — распутник. Но Ваша неприязнь к вульгарному столь велика, что граничит с недостатком (многосторонность личности невозможна без некоторой доли грубости); к тому же, если даже Вам и захотелось бы чего-нибудь вульгарного, то этой пищи Вы предостаточно добудете из обычных источников, не беспокоя меня. Так что, по-видимому, Вы требовали Дон Жуана в философском смысле.

В философском представлении Дон Жуан — это человек, который превосходно умеет различать добро и зло и тем не менее подчиняется своим инстинктам, пренебрегая и писаными, и неписаными законами, и светскими, и церковными; вот он и вызывает горячую симпатию наших непокорных инстинктов (им лестен блеск, которым Дон Жуан их наделяет), хотя и вступает в роковой конфликт с существующими в обществе установлениями; ему приходится защищаться при помощи мошенничества и физической силы — столь же беззастенчиво, сколь фермер защищает свой урожай от грызунов. Первый Дон Жуан, изобретенный в начале XVI века испанским монахом, был — в соответствии со взглядами того времени — представлен врагом господа бога; приближение гнева господа чувствуется на протяжении всей драмы, с каждой минутой становясь все более грозным. Мы не волнуемся за Дон Жуана при появлении его мелких противников: он легко ускользает от властей, и мирских, и духовных; а когда возмущенный отец пытается своими силами — при помощи меча — добиться удовлетворения, Дон Жуан без труда его убивает. И только когда убиенный отец возвращается с небес в роли посланника божьего, приняв облик своей соб-

ственной статуи, ему удается взять верх над убийцей и ввергнуть его в ад. Мораль тут монашеская: раскайся и исправься ныне, ибо завтра может быть слишком поздно. Только в этом последнем вопросе Дон Жуан и проявляет скептицизм: в конечную неизбежность адских мук он искренне верит, а идет на риск лишь потому, что ему, человеку молодому, кажется, что времени в запасе предостаточно и раскаяние можно отложить, а пока — позабавиться вдосталь.

Но урок, который вознамерился преподать миру автор, редко совпадает с уроком, который миру угодно извлечь из его труда. Привлекает и восхищает нас в El Burlador de Sevilla[1] *вовсе не призыв немедленно раскаяться, а героизм смельчака, отважившегося бросить вызов господу богу. От Прометея до моего собственного Ученика дьявола такие смельчаки всегда становились любимцами публики. Дон Жуан стал всеобщим любимцем, и мир уже не мог допустить, чтобы он подвергся адским мукам. Во втором варианте пьесы мир сентиментально примирил его с господом и целое столетие требовал его канонизации, то есть обращался с Дон Жуаном, как английские журналисты обращались с Панчем, этим комическим противником богов. Дон Жуан Мольера — такой же нераскаявшийся грешник, как и исходный Дон Жуан, но по части набожности ему далеко до оригинала. Правда, он тоже предполагает раскаяться; но как он об этом говорит! «Oui, ma foi! il faut s amender. Encore vingt ou trente ans de cette vie-ci, et puis nous songerons à nous».*[2]

Следующий после Мольера — маэстро-чародей, гений и любимец гениев Моцарт, раскрывший дух героя в волшебных гармониях, сказочных звучаниях и в ликовании скачущих ритмов, похожих на летние молнии. Тут свобода в любви и морали изысканно насмешничает над рабским подчинением и интригует нас, привлекает, искушает, и непонятно каким образом поднимает героя вместе с враждебной ему статуей в сферы возвышенного, а жеманную дочь и ее чванливого возлюбленного оставляет на посудной полке — пусть живут себе праведно до скончания века.

После этих вполне законченных произведений байроновский фрагмент не представляет интереса с точки зрения философской интерпретации. В этом смысле путешествующие распутники ничем не интереснее, чем матрос, у которого жена в каждом порту, а герой Байрона — это, в конце концов, всего лишь

---

[1] Севильский озорник *(исп.)*.

[2] Ей-богу, надо исправиться. Еще лет двадцать-тридцать поживем так, а потом и о душе подумаем *(франц.)*.

путешествующий распутник. К тому же он глуп: он не говорит о себе со Сганарелем-Лепорелло или с отцами и братьями своих любовниц; в отличие от Казановы, он даже не рассказывает своей биографии. По сути дела, он не настоящий Дон Жуан, ибо враг господа бога из него такой же, как из любого романтического повесы и искателя приключений. Будь мы с Вами на его месте — и в его возрасте,— мы тоже, может быть, пошли бы его путем; разве что Ваша разборчивость спасла бы Вас от императрицы Екатерины. К философии Байрон был склонен так же мало, как Петр Великий. Оба они принадлежали к редкому и полезному, но малоинтересному типу энергичного гения, лишенного предрассудков и суеверий, свойственных его современникам. Происходящая от этого свобода мысли, не контролируемой совестью, сделала Байрона поэтом более смелым, чем Вордсворт, а Петра — царем более смелым, чем Георг III. Но, поскольку их исключительность объяснялась не наличием, а отсутствием определенных качеств, она не помешала Петру оказаться чудовищным негодяем и сущим трусом и не помогла Байрону стать религиозной силой, подобной Шелли. Так что байроновский Дон Жуан не в счет. Последний настоящий Дон Жуан — моцартовский, ибо к тому времени, когда он достиг совершеннолетия, из-под пера Гете вышел кузен Дон Жуана — Фауст, который занял его место и продолжил его борьбу и его примирение с богами, но уже не в любовных играх, а в таких вопросах, как политика, искусство, проекты поднятия континентов со дна морского и признание принципа вечной женственности во вселенной. Фауст Гете и Дон Жуан Моцарта — вот последнее слово XVIII века о нашем предмете. И к тому времени, когда учтивые критики XIX века, игнорируя Уильяма Блейка с тем же легкомыслием, с каким в XVIII веке игнорировали Хогарта, а в XVII — Беньяна, миновали период Диккенса — Маколея, Дюма — Гизо и Стендаля — Мередита — Тургенева и добрались до философских сочинений таких авторов, как Ибсен и Толстой, Дон Жуан сменил пол и превратился в Донну Хуану, которая вырвалась из Кукольного дома и, не довольствуясь ролью статистки в моралите, решительно превратилась в личность.

И вот в начале XX века Вы, как ни в чем не бывало, просите у меня пьесы о Дон Жуане. Однако из приведенного выше обзора Вы видите, что для нас с Вами Дон Жуан устарел по меньшей мере сто лет назад; а что касается менее начитанной широкой публики, пребывающей все еще в XVIII веке, то ведь к ее услугам Мольер и Моцарт, превзойти которых нам, смертным, не дано. Вы подняли бы меня на смех, если бы

и принялся описывать — в наше-то время — привидения, дуэли и «женственных» женщин. Что касается обыкновенного распутства, то Вы же первый мне напомните, что Мольеров «Каменный гость» — пьеса не для искателей любовных приключений и что даже один такт томной сентиментальности Гуно и не Бизе показался бы отвратительной распущенностью на фоне моцартовского «Дон Жуана». Даже более или менее отвлеченные пассажи пьесы о Дон Жуане настолько обветшали, что непригодны к употреблению: к примеру, сверхъестественный противник Дон Жуана швырял отказывающихся раскаяться грешников в озера пылающей серы, где их подвергали мучениям рогатые и хвостатые дьяволы. От этого противника — и от этой идеи раскаяния — много ли осталось такого, что я мог бы употребить в посвященной Вам пьесе? С другой стороны, мещанское общественное мнение, которое едва ли замечал испанский аристократ во времена первого Дон Жуана, сейчас торжествует повсеместно. Цивилизованное общество — это огромная армия буржуа; аристократ теперь просто не решится шокировать челенцика. Женщины — «marchesane, principesse, cameriere, cittadine»[1] *и прочие — стали также опасны: слабый пол теперь силен и агрессивен. Когда женщин обижают, они уже не собираются в жалкие группки и не поют «Protegga il giusto cielo»*[2]*: они хватают грозное оружие, юридическое и социальное, и наносят ответный удар. Одного неосторожного поступка достаточно, чтобы погубить политическую партию или служебную карьеру. Если к Вашему столу явятся все статуи Лондона, то при всем их уродстве это не так страшно, как если Донна Эльвира притянет Вас к суду Нонконформистской Совести. Быть преданным анафеме сейчас стало почти так же страшно, как в X веке.*

И вот мужчина, в отличие от Дон Жуана, уже не выходит победителем из дуэли со слабым полом. Да и неизвестно, удавалось ли это ему когда-нибудь; во всяком случае, становится все более очевидно, что по замыслу природы главенствующее положение тут занимает женщина. Что касается того, чтобы оттаскать Нонконформистскую Совесть за бороду, как Дон Жуан дергал за бороду статую Командора в обители Св. Франциска, то это теперь совершенно невозможно: осмотрительность или воспитание остановят героя, будь он даже последний идиот. К тому же за бороду теперь скорее оттаскали бы Дон Жуана. Вопреки опасениям Сганареля, он не

---

[1] Маркграфини, княгини, горничные, горожанки *(итал.)*.

[2] Защити нас, праведное небо *(итал.)*.

только не впал в лицемерие, но неожиданно извлек некую мораль из своей безнравственности. И чем яснее он сознает эту новую точку зрения, тем лучше понимает свою ответственность. Прежде к своим остротам он относился так же серьезно, как я отношусь к иным остротам господина У. С. Гилберта. Скептицизм Дон Жуана, который и раньше был невыносим, теперь так окреп, что Дон Жуан уже не может самоутверждаться при помощи остроумного нигилизма: дабы не превратиться в полное ничтожество, ему приходится добиваться признания позитивным путем. Одержанные им тысяча три любовные победы сперва превратились в две недопеченные интрижки, связанные с долгими дрязгами и унижениями, а затем были и вовсе отброшены как недостойные его философского достоинства и компрометирующие его недавно признанное положение основателя школы. Он уже не притворяется, что читает Овидия, а действительно читает Шопенгауэра и Ницше, изучает Вестермарка и беспокоится теперь не за свободу своих инстинктов, а за будущее человечества. Так бесшабашное беспутство Дон Жуана вслед за его мечом и мандолиной отправилось в лавку старьевщика — отошло в разряд анахронизмов и суеверий. В нем теперь больше от Гамлета, нежели от Дон Жуана; пусть строчки, вложенные в уста актера с целью указать партеру, что Гамлет — философ, по большей части представляют собой всего лишь благозвучные банальности и, будучи лишены словесной музыки, скорее подошли бы Пекснифу, все же стоит только отделить подлинного героя (косноязычного тугодума, которого иногда осеняет вдохновение) от исполнителя (которому любой ценой приходится говорить на протяжении пяти актов пьесы),— стоит только произвести то, что всегда приходится производить с шекспировскими трагедиями, то есть из ткани подлинного шекспировского текста удалить заимствования (нелепые события и сцены насилия), и мы получим настоящего, страстного противника богов, с таким же отношением к женщине, до какого теперь довели Дон Жуана. С этой точки зрения Гамлет — это усовершенствованный Дон Жуан, которого Шекспир выдает за порядочного человека, как беднягу Макбета он выдает за убийцу. Сегодня уже нет необходимости подтасовывать героев (по крайней мере на нашем с Вами уровне), ибо теперь понятно, что донжуанство как явление куда сложнее казановизма. Сам Дон Жуан в своем старании продемонстрировать эту разницу дошел почти до аскетизма, и потому моя попытка осовременить его, превратив в современного англичанина и пустив в современное английское общество, породила персонаж, внешне весьма мало напоминающий героя Моцарта.

И все же у меня не хватает духу разочаровать Вас и совсем не показать Вам моцартовского dissoluto punito[1] *и его противника — статую. Чувствую уверенность, что Вы хотели бы узнать больше об этой статуе, порасспросить ее, когда она, так сказать, сменится с караула. Чтобы доставить Вам это удовольствие, я прибегнул к трюку, известному антрепренерам бродячих трупп, которые объявляют пантомиму «Синбад-Мореход» при помощи пачки купленных по случаю афиш для «Али Бабы»: во время представления надо среди алмазных россыпей расставить кувшины из-под масла, и обещание, данное публике в афишах, будет исполнено. Этот несложный прием я приспособил для нашего случая и вставил в свою вполне современную трехактную пьесу еще один, совершенно посторонний акт; в нем мой герой, околдованный воздухом Сьерры, видит сон: его моцартовский предок ведет нескончаемые философские беседы (в духе сократовских диалогов или диалогов Бернарда Шоу) с дамой, со статуей и с дьяволом.*

Однако не эта шутка составляет суть пьесы. Суть ее мне неподвластна. Вы предлагаете некое общественное явление, а именно сексуальное влечение, для драматической переработки, и я его для Вас перерабатываю. Я не разбавляю свою продукцию любовными напитками, не развожу ее романтикой или водой, ибо я просто-напросто исполняю Ваш заказ, а не поставляю публике общедоступную пьесу. И потому Вы должны приготовиться (впрочем, Вы, может быть, подобно большинству умных людей, читаете сначала пьесу, а уж потом предисловие) увидеть дешевенькую историю из современной лондонской жизни — жизни, в которой, как Вам известно, главная задача обыкновенного мужчины — обеспечить себя средствами для сохранения привычек и образа жизни джентльмена, а задача обыкновенной женщины — выйти замуж. Можете быть уверены, что на десять тысяч ситуаций едва ли в одной будет совершен поступок, благородный или низменный, который бы противоречил этим задачам. На это мы и полагаемся, как на религию мужчин и женщин, на их мораль, принципы, патриотизм, репутацию, честь и тому подобное.

В целом это разумное и вполне удовлетворительное основание общества. Деньги — это пища, а брак — потомство, и если мужчина превыше всего ставит пищу, а женщина — потомство, то сие есть, в широком смысле, закон природы, а не честолюбивые устремления отдельной личности. Секрет успеха прозаической натуры, в чем бы ни заключался этот успех, таится

---

[1] Наказанного распутника *(итал.)*.

в незамысловатой прямоте, с которой человек стремится к своей цели; секрет провала артистической натуры, в чем бы ни заключался этот провал, таится в непостоянстве, с которым человек бросается в погоню то за одним, то за другим второстепенным идеалом. Артистическая натура — это или поэт, или бездельник; поэт, в отличие от натуры прозаической, не понимает, что рыцарство, в сущности, сводится к романтическому самоубийству; бездельник не понимает, что паразитизм, попрошайничество, ложь, хвастовство и неряшливость себя не оправдывают. Поэтому будет ошибкой, если мой несложный тезис о принципиальных основах лондонского общества Вы истолкуете как упрек ирландца в адрес Вашей нации.

С того дня, когда я впервые ступил на эту чужую мне землю, я умею ценить прозаизм, которого ирландцы учат англичан стыдиться, и не переоцениваю поэтичность, которой англичане учат ирландцев гордиться. Ведь ирландцу инстинктивно хочется порочить то качество, которое делает англичанина опасным, а англичанину инстинктивно хочется восхвалять тот недостаток, который делает ирландца безвредным и забавным. Недостаток у прозаического англичанина тот же, что у прозаического человека любой другой нации,— его глупость. Витальность, которая ставит пищу и потомство на первое место, рай и ад отодвигает на второе, а здоровье общества как органического целого вообще ни во что не ставит, может кое-как тащиться через период стадности с более или менее выраженными признаками родового строя; однако в странах девятнадцатого века и империях двадцатого решимость каждого мужчины во что бы то ни стало разбогатеть и каждой женщины — во что бы то ни стало выйти замуж должна, при отсутствии научно обоснованной общественной структуры, привести к катастрофическому росту нищеты, безбрачия, проституции, смертности детей, вырождения взрослых и всего прочего, чего так боятся умные люди. Короче говоря, как бы ни переполняли нас грубые жизненные силы, мы погибнем, если из-за недостатка ума или политической грамотности не станем социалистами. Так что не сделайте и противоположной ошибки — поймите, что я высоко ценю жизнеспособность англичанина (как высоко ценю жизнеспособность, например, пчелы) и все же допускаю, что англичанин может (подобно пчеле или Ханаанину) быть выкурен или лишен своего меда существами, уступающими ему в простом умении драться, приобретать и размножаться, но зато превосходящими его воображением и хитростью.

Впрочем, пьеса о Дон Жуане должна трактовать влечение полов, а вовсе не их питание, и трактовать его в таком об-

ществе, где столь важную проблему, как сексуальные отношения, мужчины предоставили решать женщинам, а столь важную проблему, как питание, женщины предоставили решать мужчинам. Правда, мужчины, дабы защититься от чересчур агрессивных преследовательниц, выдумали романтический обычай, согласно которому инициатива при решении сексуальных отношений должна исходить от мужчины. Но выдумка эта так несерьезна, что даже в театре, этом последнем прибежище нереального, ее удается навязать только самым неопытным. У Шекспира инициативу всегда принимают на себя женщины.

Как в проблемных, так и в популярных пьесах Шекспира любовная линия строится на том, что мужчина становится добычей женщины. Иногда она его очаровывает, как Розалинда, а иногда прибегает к уловке, как Марианна; но роли между мужчиной и женщиной распределяются всегда одинаково: она преследует и интригует, он становится объектом преследования и интриг. Иногда она терпит неудачу и, как Офелия, сходит с ума и кончает с собой, а мужчина прямо с ее похорон отправляется фехтовать. Разумеется, когда в руках природы существа очень юные, она может избавить женщину от необходимости интриговать. Просперо знает, что ему достаточно только столкнуть Фердинанда и Миранду, и они тотчас сойдутся, точно голубь с голубкой; и Утрате вовсе нет нужды пленять Флоризеля подобно тому, как докторша из «Все хорошо, что хорошо кончается» (ранний пример героини ибсеновского типа) пленяет Бертрама.

Но персонажи в зрелом возрасте все как один демонстрируют нам шекспировский закон. Единственное явное исключение — Петруччо,— в сущности, не исключение: нам недвусмысленно дают понять, что цели у сего авантюриста-жениха исключительно коммерческие. Получив заверение, что Катарина богата, он решает жениться на ней, хотя в глаза ее не видел. В реальной жизни мы находим не одних только Петруччо, но еще и Манталини, и Доббинзов, которые преследуют женщин, взывая к их жалости, ревности или тщеславию, или льнут к ним, плененные романтической страстью. В общей схеме мироздания эти женоподобные мужчины заметной роли не играют; в сравнении с ними даже Банзби, точно загипнотизированная пташка свалившийся в пасть миссис Мак-Стинджер, вызывает жалость и содрогание. Я обнаружил, что женщина, вышедшая из-под моего пера (процессом этим, уверяю Вас, я так же мало способен управлять, как своей женой), ведет себя в точности как женщина в пьесах Шекспира.

И вот поэтому предлагаемый Вам Дон Жуан появился как сценический вариант героя, ставшего объектом трагикомической погони; мой Дон Жуан — не охотник, а дичь. И все же он — настоящий Дон Жуан, опрокидывающий условности и до последней минуты не покоряющийся судьбе, хотя она в конце концов все же берет над ним верх. Моей героине он необходим для исполнения важнейшей задачи, возложенной на нее природой; однако Дон Жуан сопротивляется, и наконец его сопротивление так вдохновляет героиню, что она решается отбросить обычную позу покорной и нежной подруги и заявить свои естественные права на Дон Жуана, без которого она не может достигнуть цели куда более важной, чем личные задачи обоих персонажей.

Среди друзей, которым я читал эту пьесу в рукописи, были люди и нашего с Вами пола, которых шокировала «неразборчивость» (то есть полное пренебрежение к разборчивости мужчины), с которой женщина преследует свою цель. Им не пришло в голову, что, если бы в моральном или физическом отношении женщины были так же разборчивы, как мужчины, человеческой расе пришел бы конец. Есть ли что-нибудь более отвратительное, чем заставлять других выполнять необходимую работу, а потом с презрением объявлять ее низменной и недостойной? Мы смеемся над кичливыми американцами потому, что они вынуждают негров чистить белым сапоги, а потом доказывают моральную и физическую неполноценность негра, ссылаясь на его профессию чистильщика сапог; но сами мы заставляем слабый пол выполнять всю черную работу по продолжению рода, а потом утверждаем, что ни одна тактичная, тонкая женщина не станет первой заводить отношения, ведущие к этой цели. Лицемерие мужчин в этом вопросе беспредельно. Бывают, конечно, минуты, когда дарованные сильному полу привилегии оборачиваются для него мучительным унижением. Настает для женщины тяжкое, значительное, дьявольски трудное и опасное время рожать ребенка, и мужчина, которому ничто в этот момент не угрожает, спешит убраться с дороги смиреннейшей служанки, а если будущий отец — бедняк и его выставляют из дома, он с облегчением спешит изжить свой позор в пьяном разгуле. Но вот критический момент позади, и мужчина берет реванш: чванится своей ролью кормильца и о женских заботах отзывается снисходительно, даже покровительственно, как будто кухня и детская в доме менее важны, чем контора в деловом квартале. Когда чванливость его проходит, он опускается до эротической поэзии или сентиментально поклоняется жене, и Теннисонов король

Артур, красующийся перед Джиневрой, становится Дон Кихотом, пресмыкающимся перед Дульсинеей. Нельзя не признать, что тут жизнь даст театру сто очков вперед: самый разухабистый фарс — высмеивает ли он феминистов или сторонников господства мужчин — кажется пресным по сравнению с самым заурядным «куском жизни». Выдумка, будто женщина предоставляет мужчине инициативу в любви,— это выдумка из того же фарса. Да ведь мир наш усеян силками, западнями, капканами и ловушками, расставленными женщинами для поимки мужчин. Дайте право голоса женщинам, и через пять лет они введут убийственный налог на холостяков. А мужчины облагают податью брак: лишают женщину собственности, права голоса, права распоряжаться своим телом, права снимать в церкви головной убор — а ведь этот жест приближает верующих к богу и издревле символизирует бессмертие,— заставляют женщину обходиться без всего этого, но сами вовсе не хотят обойтись без женщины. Напрасны их запреты. Женщина будет вступать в брак, потому что без ее мучений род человеческий погибнет; если риск смерти, неминуемая боль, опасность и неописуемые страдания ее не остановили, то не остановят ее ни рабство, ни путы. И все-таки мы думаем, что сила, заставляющая женщину проходить через эти опасности и лишения, смущенно отступает перед строгими правилами поведения, которые мы навязываем девице, полагая, что женщина должна пассивно ждать, пока мужчина ее добивается. Да, зачастую она действительно пассивно ждет. Так паук ждет муху. Но сперва паук сплетает паутину. И если муха, подобно моему герою, выказывает силу, способную порвать паутину, паук мгновенно сбрасывает маску пассивности и не таясь окручивает жертву своими нитями — и вот герой уже надежно и навечно связан!

Если бы по-настоящему значительные книги и другие произведения искусства создавались обыкновенными мужчинами, в них было бы больше страха перед женщиной-преследовательницей, чем любви к ее иллюзорной красоте. Но обыкновенные мужчины не способны создать по-настоящему значительное произведение искусства. Способны на это только гении, то есть мужчины, избранные природой для осмысления ее инстинктивного пути. В мужчине-гении мы видим и неразборчивость, и готовность «жертвовать собой» (а это всегда одно и то же), свойственные женщине. Он готов рисковать всем, что имеет; если потребуется, всю жизнь голодать на чердаке; изучать женщин и жить за счет их трудов и забот, как Дарвин изучал червей и жил за счет овец; безвозмездно работать, не щадя своих измученных нервов, проявляя высший альтруизм

в пренебрежении своими нуждами и чудовищный эгоизм в пренебрежении нуждами других. В таком человеке женщина встречает столь же всепоглощающую целеустремленность, как и ее собственная, и встреча эта может кончиться трагически. Когда дело осложняется тем, что гений — женщина, игра идет королевская: Жорж Санд становится матерью, чтобы обогатиться опытом и получить новый материал для своих романов, и небрежно глотает гениев — Шопенов, Мюссе и прочих.

Я, конечно, привожу крайний случай, но то, что справедливо для титана, в котором воплощается философское осмысление жизни, и для женщины, в которой воплощается ее плодородие, справедливо в известной степени и по отношению ко всем гениям и ко всем женщинам. А посему люди, которые сочиняют книги, пишут картины, лепят статуи, создают симфонии,— это люди, свободные от тирании пола, владеющей всем остальным человечеством. Так мы приходим к заключению, удивляющему простаков: в искусстве важнее всего не изображение отношений мужчины и женщины; искусство — это единственная область, в которой секс — сила оттесненная и второстепенная, и процесс осмысления этой силы в искусстве так сложен, а назначение ее так извращается, что обыкновенному человеку изображение секса в искусстве кажется нелепым и фантастическим. Поэтом ли становится художник или философом, моралистом или основателем религии, его личная программа в смысле секса более чем проста: пока он молод, его теория секса не что иное, как предвзятая и всесторонняя аргументация в пользу удовольствий, волнений и знаний, а когда старость приносит пресыщение, ему хочется покоя и созерцания. Романтика и аскетизм, любовные приключения и пуританство одинаково нереальны в безбрежном мире филистеров. Мир, показанный нам в книгах (будь то знаменитые эпопеи или освященные евангелия), в сводах законов, в политических выступлениях, в философских системах,— это мир вторичный, отраженный и осмысленный необычными людьми, наделенными особым творческим талантом и темпераментом. Для нас с Вами сие небезопасно — ведь человек, осмысляющий жизнь не так, как большинство, это помешанный, а старинный обычай поклоняться помешанным уступает место другому обычаю — сажать их под замок. И поскольку то, что мы называем образованием и культурой, сводится к замене личного опыта чтением, жизни — литературой, а реальной современности — устаревшим вымыслом, то образование, как Вы, конечно, убедились в Оксфорде, вытесняет всякий ум, недостаточно проницательный для того, чтобы разгадать самозванцев и понять, что классики мирового

искусства — это всего лишь держатели патентов на сомнительные методы мышления и что изготовляют они весьма сомнительные и для большинства людей верные лишь наполовину отображения жизни. Школьник, который употребляет том Гомера в качестве снаряда и запускает им в товарища, возможно, употребляет этого автора наиболее безопасным и разумным способом, и я с радостью замечаю, что теперь, в зрелую пору, Вы временами поступаете так же с Аристотелем.

К счастью для нас, чьи умы литература развила и культивировала, все эти трактаты, поэмы и прочие писания отчасти создаются все-таки самой жизнью, которая старается осмыслить свой путь и избежать слепых поисков направлений наименьшего сопротивления. Поэтому в иных книгах мы обнаруживаем стремление к правде, точнее, во всех книгах, написанных о таких вещах, в которых автор, будь он даже семи пядей во лбу, руководствуется обыкновенным здравым смыслом и не имеет никакой корысти. У Коперника не было причин вводить своих современников в заблуждение насчет местоположения солнца в нашей планетной системе; он искал его с той же искренностью, с какой пастух ищет дорогу в тумане. Но если бы Коперник принялся сочинять роман о любви, то тут бы он на научных позициях не устоял. В отношениях с женщиной гениальному мужчине не грозит капкан, подстерегающий обыкновенного мужчину, а гениальной женщине не грозит оказаться в плену узких задач обыкновенной женщины. Вот почему наши священные писания и прочие произведения искусства, когда они доходят до любви, отступаются от честных попыток подойти к проблеме научно и несут романтический вздор, впадают в эротический экстаз или строгий аскетизм, к которому приходит пресыщение («Дорога излишеств приводит к дворцу мудрости», — сказал Уильям Блейк, считавший, что «не узнаешь меры, пока не узнал излишеств»).

У проблемы секса есть и политический аспект, слишком серьезный для моей комедии, но и слишком важный, чтобы я мог умолчать о нем, не впадая в преступное легкомыслие. Показывая, что инициатива в любовных сделках по сию пору принадлежит женщине и закрепляется за ней все более благодаря подавлению мужского своеволия и осуждению домогательств со стороны мужчин, поневоле начинаешь размышлять о том, какое огромное политическое значение имеет эта инициатива: ведь наш политический эксперимент с демократией, этим последним прибежищем мелочного и неумелого правительства, погубит нас, если окажется, что наших граждан выращивают из рук вон плохо.

Когда мы с Вами родились, этой страной еще управлял избранный класс, размножавшийся путем политических браков. Коммерческий класс тогда еще и четверти века не пробыл у власти и, в свою очередь, подвергался отбору по денежному цензу, а размножался путем если не политических, то во всяком случае исключительно классовых браков. Аристократия и плутократия и сейчас еще поставляют номинальных политических деятелей, но эти последние теперь зависят от голосов беспорядочно размножающихся масс. И происходит это, позволю себе заметить, как раз в такой момент, когда политическая деятельность меняет свой характер. Если прежде она сводилась к случайному и ограниченному вмешательству в жизнь общества (путем беспринципного назначения на государственные должности и прочих перемещений внутри перенаселенного островка, время от времени сотрясаемого бессмысленными династическими войнами), то теперь она сосредоточивается на промышленном переустройстве Британии, создании международного, по сути дела, государства и дележе всей Африки, а возможно и всей Азии, между цивилизованными державами. Верите ли Вы, что люди, чьи представления об обществе и поведении, чье умение думать и сфера интересов отражаются в нынешнем состоянии британского театра, действительно могут справиться с этой колоссальной задачей? Могут понять и поддержать такие умы и характеры, которые в будущем окажутся способны с нею справиться — хотя бы кое-как? Не забывайте: в кабинки для голосования приходят те самые зрители, которых мы видим в партере и на галерке. Мы все сейчас под властью того, что Берк называл «копыта свиных стад». Выражение Берка было чрезвычайно обидно, потому что оно хотя и относилось ко всему человечеству, но делало исключение для избранных и таким образом становилось классовым оскорблением; к тому же, прежде чем говорить такое, Берку следовало бы на себя поглядеть. Несмотря на политические браки, оберегавшие породу, аристократия, которую он защищал, ум свой порастеряла из-за глупых учителей и гувернанток, характер погубила незаслуженной роскошью, а чувство собственного достоинства безнадежно подорвала лестью и лакейством. За последнее время она не стала лучше и никогда уже не станет; в нашем крестьянстве и то больше моральной стойкости, и оно время от времени дает миру Беньянов, Бернсов и Карлейлей. Заметьте, что эта аристократия, которую в 1832—1885 годах на время подавила буржуазия, вернулась к власти волею избирателей, то есть волею «свиных стад». Том Пэйн победил Эдмунда Берка, а стада свиней теперь называются уважаемыми избирателями. Много ли

эти избиратели послали в парламент своих собственных собратьев? На 670 членов парламента их наберется не больше дюжины, да и те выдвинулись только благодаря личным качествам и ораторским способностям. Таков приговор, который «стада» вынесли самим себе: они признали, что не в состоянии управлять, и голосуют за людей, преображенных — и генетически и типологически — жизнью во дворцах, ездой в каретах, одеждой от искуснейших портных, великолепием аристократической семьи. Что ж, мы с Вами знаем этих героев, этих посредственных студентов, холеных Элджи и Бобби с моноклями, этих игроков в крикет, которые с возрастом обретают не мудрость, а искусство игры в гольф; они — плутократическое порождение «гвоздильного и кастрюльного дела, от которого все денежки пошли». Не знаешь, смеяться или плакать при мысли, что они — бедняги! — станут управлять шестеркой континентов, как управляют шестеркой лошадей; что это им надлежит превратить беспорядочную суету случайной торговли и спекуляции в упорядоченное производство и сплотить наши колонии в мировую державу первой величины. Дай этим людям самую совершенную политическую конституцию и самую надежную политическую программу, какую может за них придумать Благосклонный и Вездесущий, и они превратят ее в очередную причуду моды или лицемерную благотворительность; так дикарь превращает теологическую философию шотландского миссионера в примитивное африканское идолопоклонство.

Не знаю, остались ли у Вас какие-то иллюзии по части образования, прогресса и тому подобного. У меня их не осталось. Памфлетисты разъясняют, как нам улучшить нашу жизнь; но когда нет воли к улучшениям, никакие памфлеты не помогут. Моя няня любила говорить, что из свиного уха не сошьешь шелкового кошелька, и, чем больше я вижу, как наши церкви, университеты и мудрецы от литературы пытаются поднять массы над их уровнем, тем более я убеждаюсь, что моя няня была права. Прогресс может только постараться лучше использовать нас такими, какие мы есть, и пользы от этого будет, разумеется, не много, даже если те, кто уже поднялся из пропасти, позволят и остальным попытать свое счастье. Лопнули надежды на наследственность: оказалось, что новоприобретенные черты практически не передаются по наследству, и растаяли иллюзии педагогов, а вместе с ними и страхи перед вырождением рода человеческого; мы теперь знаем, что идея наследственного «правящего класса» так же нелепа, как идея наследственного хулиганства. Либо мы научимся выращивать и воспитывать искусных политиков, либо погибнем под

властью демократии, которая была навязана нам, когда прежние порядки потерпели поражение. Но если деспотизм потерпел поражение оттого, что не нашлось искусного и благожелательного деспота, то какое же будущее ждет демократию, требующую миллионов искусных избирателей, то есть политических судий, которые, может быть, сами не в состоянии управлять, потому что им не хватает сил или административного таланта, но по крайней мере в состоянии заметить и оценить искусность и благожелательность других и таким образом могут управлять посредством искусных и благожелательных представителей? Где нам взять сейчас таких избирателей? Их нет. Кровосмесительные плутократические браки породили слабохарактерность, и мы теперь слишком робки, чтобы вести жестокую борьбу за существование, и слишком ленивы и мелочны, чтобы основать государство на принципах объединения. Будучи трусами, мы уничтожаем естественный отбор и называем это благотворительностью. Будучи лентяями, мы уклоняемся от искусственного отбора и называем это соблюдением моральных и этических принципов.

И все же нам необходимо обзавестись избирателями, способными судить о политике, или мы падем, как пали Рим и Египет. Сейчас на наших глазах распад переходит в фазу panet et circenses.[1] *Наши газеты и мелодрамы шумно похваляются величием империи; но глаза наши, а с ними и наши сердца с живейшим интересом обращены к американскому миллионеру, и, когда рука его опускается в карман, наши пальцы инстинктивно взлетают к полям шляпы. Мы не хотим процветать на манер промышленного Севера, мы хотим процветать на манер острова Уайт, Фолкстона, Рэмсгейта, Ниццы и Монте-Карло. Только такое процветание и видишь сейчас на сцене, где трудящиеся представлены посыльными, горничными, комичными домовладельцами и людьми модных профессий, а герои и героини непонятно каким образом получают неограниченные доходы и питаются совершенно бесплатно, как рыцари в книгах, которые читал Дон Кихот. Газеты болтают о конкуренции между Бомбеем и Манчестером и тому подобном. Настоящая конкуренция — это конкуренция Риджент-стрит и Рю де Риволи, Брайтона, южных пляжей — и Ривьеры, то есть борьба за деньги американских трестов. Откуда вдруг эта пылкая страсть к пышным зрелищам, эти безудержные заверения в верности? Отчего это мы так услужливо вскакиваем на ноги и обнажаем головы по знаку флага или духового оркестра?*

[1] Хлеба и зрелищ *(лат.)*.

Преданность империи? Вовсе нет. Подобострастие, раболепие, алчность, рожденные всеподавляющим запахом денег. Когда мистер Карнеги побренчал миллионами в своих карманах, вся Англия пустилась попрошайничать и раболепствовать. Только когда Родс (начитавшись, вероятно, моего «Социализма для миллионеров») написал в завещании, что ни один бездельник не должен унаследовать его состояние, согбенные спины на минуту недоверчиво выпрямились: неужели король брильянтов все-таки не был джентльменом? Впрочем, оказалось, что промах этого богача нетрудно игнорировать. Неподобающий джентльмену пункт завещания был забыт, и спины снова согнулись, вернувшись в свое естественное положение.

Слышу, однако, как Вы в тревоге спрашиваете, уж не вписал ли я все эти разглагольствования в свою комедию о Дон Жуане? Нет, я просто сделал своего Дон Жуана автором политического памфлета и полный текст этого памфлета предлагаю Вам в виде приложения к пьесе. Вы найдете его в конце книги. К сожалению, у сочинителей вошло в привычку объявлять своего героя человеком необычайного таланта, а потом предоставлять читателю самому воображать проявления этого таланта; и, закрывая книгу, читатель, горестно вздохнув, бормочет, что, если бы не торжественное заявление автора в начале книги, он не назвал бы героя даже и просто здравомыслящим человеком. Меня Вы не можете обвинить в подобной скаредности, в подобном бессилии или обмане. Я не только сообщаю Вам, что мой герой написал учебник для революционеров; я предлагаю Вам полный текст этого учебника; прочтите его, и он послужит Вашему образованию. В нем Вы найдете и политические аспекты взаимоотношений полов, в том виде, в каком — в соответствии с моим замыслом — их понимают потомки Дон Жуана. Не подумайте, что я отказываюсь нести ответственность за его мнение и за мнения других моих персонажей, приятных и неприятных. Все они правы — каждый со своей точки зрения, и я (на время жизни моей пьесы) их точки зрения разделяю. Это может озадачить людей, считающих, что существует абсолютно правильная точка зрения — обычно их собственная. Они, вероятно, считают, что сомневаться в этом — значит обнаружить свою нечестивость. Так это или не так, но соглашаться с ними — значит отказаться от карьеры драматурга и вообще сочинителя, строящего свои сочинения на понимании природы человека. Вот почему не раз уже мы слышали, что Шекспир был человеком без стыда и без совести. В этом смысле я тоже человек без стыда и без совести.

Вы, однако, можете напомнить мне, что моим отступлениям в политику была предпослана весьма убедительная демонстрация того, что художник не понимает точки зрения обыкновенного человека на проблемы секса, так как ему неведомы затруднения обыкновенного человека в этой сфере. Сначала я доказываю, что все мои писания об отношениях полов непременно введут читателя в заблуждение, а затем преспокойно сочиняю пьесу о Дон Жуане. Что ж, если Вы станете спрашивать меня, отчего я веду себя столь нелепым образом, я отвечу, что Вы сами меня об этом просите, а кроме того, художнику моя интерпретация сей темы может показаться верной, любителю — забавной, а филистеру — более или менее понятной и потому, возможно, интересной. Всякий человек, записывающий свои иллюзии, поставляет информацию для подлинно научного психологического исследования, которого все еще ждет мир. Свой взгляд на отношения, существующие в нашем весьма цивилизованном обществе между мужчиной и женщиной, я излагаю без всяких претензий: он ничем не лучше любого другого — ни верен, ни фальшив, но, надеюсь, расставляет в знакомом логическом порядке немалое количество фактов и переживаний, небезынтересных для Вас, а может быть и для театральных зрителей Лондона. Сочиняя эту пьесу, я, конечно, не слишком считался со зрителями, но я знаю, что зрители весьма дружески относятся к нам с Вами — во всяком случае те, кто знает о нашем существовании,— и прекрасно понимают, что написанное для Вас окажется, разумеется, слишком сложным для романтического простака в театральном зале. Книги мои публика читает, талант мой признает безусловно и верит, что все мои произведения заслуживают похвалы. Так что мы с Вами можем преспокойно оставаться на своих недосягаемых высотах и развлекаться, сколько нашей душе угодно, и если какой-нибудь господин заявит, что ни сие посвятительное послание, ни сон Дон Жуана в третьем акте данной комедии не пригодны для немедленной постановки в театре, мы не обязаны ему возражать. Наполеон созвал для Тальма полный партер королей, но какой эффект это произвело на игру Тальма, нам неизвестно. Что до меня, то мне всегда хотелось наполнить мой партер философами, и данная пьеса написана как раз для такого партера.

Надо бы мне выразить благодарность авторам, которых я ограбил ради написания этих страниц. Не знаю только, сумею ли я их всех вспомнить. Разбойника-рифмоплета я преднамеренно украл у сэра Артура Конан Дойла, а Лепорелло сознательно превратил в Генри Стрейкера (механика и Нового Человека), чтобы создать драматический вариант современной личности,

от которой, если сбудутся когда-нибудь мечты Герберта Уэллса, пойдут энергичные инженеры, способные смести болтунов с пути цивилизованного мира. Пока я правил гранки, г-н Барри тоже привел Лондон в восторг, показав слугу, который знает больше своих господ. Идея Мендосы Лимитед восходит к некоему министру по делам Вест-Индских колоний, который в тот период, когда мы с ним и с г-ном Сиднеем Уэббом предавались политическому беспутству, разыгрывая этаких фабианских трех мушкетеров и никак не ожидая, что от этого произойдут весьма достойные последствия, рекомендовал Уэббу, неистощимому энциклопедисту, представить себя в виде корпорации и продавать единомышленникам прибыльные акции. Октавиуса я целиком заимствовал у Моцарта, и настоящим документом уполномочиваю актера, которому случится его играть, петь Dalla sua pace (если он это умеет) в любой подходящий момент во время спектакля. Идея создать характер Энн пришла мне в голову под влиянием голландского моралите XV века под названием «Каждый», которое г-н Уильям Пол недавно с таким успехом воскресил. Надеюсь, что он и дальше станет разрабатывать эту жилу, и признаюсь, что после средневековой поэзии напыщенность елизаветинского ренессанса так же невыносима, как после Ибсена — Скриб. Сидя в Чартерхаузе на представлении «Каждого», я подумал: «А почему не «Каждая»?» Так возникла Энн; не каждая женщина — Энн, но Энн — это Каждая.

Для Вас не будет новостью, что автор «Каждого» — не просто художник, но художник-философ и что художники-философы — это единственная порода художников, которую я принимаю всерьез. Даже Платон и Босвелл, в качестве драматургов, которые изобрели Сократа и д-ра Джонсона, производят на меня более глубокое впечатление, чем авторы романтических пьес. С тех самых пор, как я мальчишкой впервые вдохнул воздух высших сфер на представлении моцартовской Zauberflöte,[1] *на меня совершенно не действуют безвкусные красоты и пьяный экстаз обыкновенных сценических комбинаций таппертитовской романтики с полицейским интеллектом. Беньян, Блейк, Хогарт и Тернер (четверка, стоящая в стороне от прочих английских классиков и выше их), Гете, Шелли, Шопенгауэр, Вагнер, Ибсен, Моррис, Толстой и Ницше — вот авторы, чье странное ощущение мира мне кажется более или менее подобным моему собственному. Обратите внимание на слово «странное». Я читаю Диккенса или Шекспира без ус-*

[1] Волшебная флейта *(нем.)*.

тали — и без стеснения; но их глубокие наблюдения не составляют цельной философии или религии; наоборот, сентиментальные заявления Диккенса оказываются в противоречии с его наблюдениями, а пессимизм Шекспира — это всего лишь уязвленность его гуманной души. Оба они владеют талантом сочинительства, и оба щедро наделены умением сочувствовать мыслям и переживаниям других. Часто они проявляют больше здравого смысла и проницательности, чем философы; так Санчо Панса — человек более здравый и более проницательный, чем Дон Кихот. Рассеивать тучи занудства помогает им чувство нелепого, а это, в сущности, соединение здоровой морали и легкого юмора. Но их больше интересует разнообразие нашего мира, чем его единство.

Они настолько иррелигиозны, что всеобщую религиозность и суеверие используют в профессиональных целях, не стесняясь нарушать законы совести и вкуса (возьмите, например, Сиднея Картона и призрака в «Гамлете»!); они анархисты, и изобличениям Анджело и Догбери, сэра Лестера Дэдлока и г-на Тайта Барнакла не могут противопоставить ни одного портрета пророка или достойного лидера; они не породили ни одной конструктивной идеи; тех, кто имеет такие идеи, они рассматривают как опасных фанатиков; в их сочинениях мы не найдем ни одной сколько-нибудь важной идеи или главенствующего переживания, ради которых человек стал бы рисковать своей шляпой, выскакивая под дождь, а уж тем более рисковать своей жизнью. Мотивы для ключевых поворотов сюжета обоим приходится черпать из общего котла мелодраматических историй, — так, поступки Гамлета приходится мотивировать предубеждениями, свойственными скорее полисмену, а поступки Макбета — алчностью беглого каторжника. Диккенс, которого нельзя оправдать тем, что ему пришлось изобретать мотивы для своих Гамлетов и Макбетов, подталкивает свою ладью по течению ежемесячных выпусков при помощи механизмов, описывать которые я предоставляю Вам, потому что моя память приходит в затруднение от простейших вопросов — о Монксе из «Оливера Твиста», об утраченной родословной Смайка или об отношениях между семействами Дорритов и Кленнэмов, столь неуместно разоблаченных мсье Риго Бландуа. Правду сказать, мир казался Шекспиру огромной «сценой, полной дураков», и мир этот приводил его в полное замешательство. Жизнь представлялась ему совершенно бессмысленной. Что касается Диккенса, то он спасся от страшного сна в «Колоколах» тем, что в целом принял мир как он есть и интересовался только подробностями его устройства. Ни Шекспир, ни Диккенс не

умели работать с серьезным, положительным персонажем. Оба умели очень правдоподобно представить человека, но, если созданному ими персонажу не удавалось рассмешить создателей, он оставался пассивной куклой, и, чтобы ее оживить, чтобы заставить ее совершать поступки, они прибегали к внешним мотивировкам. В этом вся беда Гамлета: у него нет воли, характер его проявляется только во вспышках гнева. Шекспироманы со свойственной им глупостью превращают это в достоинство пьесы: объявляют, что «Гамлет» — трагедия нерешительности; однако каждый раз, когда Шекспир пытается изобразить сложную личность, герои его страдают одним и тем же недостатком: их характеры и поведение жизненны, но поступки навязаны им какой-то посторонней силой, и эта внешняя сила чудовищно не соответствует характеру, разве что она чисто традиционная, как в «Генрихе V». Фальстаф живее, чем любой из этих серьезных, рефлектирующих персонажей, потому что он действует самостоятельно: им движут его собственные желания, инстинкты и настроения. Ричард III тоже восхитителен, пока он остается эксцентричным комиком, который откладывает похороны, чтобы соблазнить вдову сына покойника, но когда в следующем акте он появляется в виде театрального злодея — детоубийцы и палача, мы восстаем против этого самозванства, отвергаем этого оборотня. Образы Фолконбриджа, Кориолана, Леонта дивно воссоздают порывистый темперамент; в сущности, пьеса о Кориолане — величайшая из всех шекспировских комедий; но воссоздание характера — это еще не философия, а по комедии нельзя судить об авторе: в ней он не может ни выдать себя, ни проявить. Судить о нем надо по тем персонажам, в которых он вкладывает самого себя, то есть свое понимание самого себя,— по его Гамлетам и Макбетам, Лирам и Просперо. Если эти персонажи агонизируют в пустоте и страсти их разгораются вокруг надуманных, мелодраматических убийств, мести и тому подобного, а комические персонажи ступают по твердой почве, живые и забавные, будьте уверены: автору есть что показать, но нечему учить. Сравнение Фальстафа и Просперо подобно сравнению Микобера и Дэвида Копперфилда. К концу книги Вы уже знаете Микобера, а что касается Дэвида, то Вам известны лишь факты его жизни и совершенно неинтересно, каковы были бы его политические или религиозные взгляды, если бы ему пришло в голову обзавестись такой грандиозной штукой, как религиозная или политическая идея — или вообще какая-нибудь идея. Ребенком он вполне сносен, но взрослым мужчиной так и не становится, и его жизнеописание вполне могло бы обойтись

без героя, разве что он иногда полезен в качестве наперсника, этакого Горацио или «Чарлза, его друга»; такую фигуру на сцене называют «подыгрывающим».

Зато о произведении художника-философа этого не скажешь. Не скажешь этого, например, о «Пути паломника». Поставьте шекспировского героя и труса — Генриха V и Пистоля или Пароля — рядом с г-ном Доблестным и г-ном Пугливым, и сразу поймете, какая пропасть лежит между модным автором, который не видит в мире ничего, кроме своих личных целей и трагедии своего разочарования в них или комедии их несообразности, — и бродячим проповедником, который достиг доблести и добродетели, по-своему осмыслив назначение нашего мира и целиком отдавшись служению ему. Разница огромна; трус Беньяна больше волнует нас, чем герой Шекспира, к которому мы ведь питаем безразличие, а то и тайную враждебность. Мы вдруг сознаем, что даже в самые вдохновенные минуты прозрения Шекспир не понимал ни доблести, ни добродетели и не представлял себе, как человек — если он не дурак — может, подобно герою Беньяна, достигнуть берега реки смерти, оглянуться на перипетии и трудности своего пути и сказать: «И все же — не раскаиваюсь», или с легкостью миллионера завещать «меч тому, кто идет следом за мной, а мужество и искусность тому, кто сумеет этот меч добыть». Вот подлинная радость жизни — отдать себя цели, грандиозность которой ты сознаешь; израсходовать все силы прежде, чем тебя выбросят на свалку; стать одной из движущих сил природы, а не трусливым и эгоистичным клубком болезней и неудач, обиженным на мир за то, что он мало радел о твоем счастье. Ну а единственная настоящая трагедия в жизни — это когда кто-то эгоистично отдает тебя на службу целям, низменность которых ты сознаешь. Все остальное — это, в худшем случае, не более чем следствие злой судьбы или человеческой хрупкости; а такая трагедия порождает страдания, рабство, ад на земле, и мятеж против нее — вот единственная достойная тема для бедняги художника, которого наши эгоистичные богачи охотно наняли бы сводником, шутом, торговцем красотой или сентиментальными переживаниями.

От Беньяна до Ницше, может быть, и далеко, но разница между их умозаключениями чисто внешняя. Убеждение Беньяна, что праведность — это грязные лохмотья, его презрение к г-ну Законнику из деревни Нравственность, его ненависть к церкви, заменившей собой религию, его твердая уверенность, что высшая из всех добродетелей — это мужество, его утверждение, что карьера г-на Житейского Мудреца — добропорядочного, уважае-

мого и разумного с точки зрения общепринятой морали — на самом деле ничуть не лучше, чем жизнь и смерть г-на Неудачника,— то есть все, что Беньян выразил, в самом примитивном виде, в терминах философии лудильщика, все это выразили позднее и Ницше — в терминах постдарвиновской и постшопенгауэровской философии, и Вагнер — в терминах политеистической мифологии, и Ибсен — в терминах парижской драматургии середины XIX века. Ничего принципиально нового в этой области не появилось, только несколько новых штрихов; например, в новинку было назвать «оправдание верой» — «Wille»,[1] а «оправдание деяниями» — «Vorstellung».[2] Единственное назначение этих штрихов — заставить нас с Вами купить и прочитать, скажем, трактат Шопенгауэра о «воле» и «представлении», при том что нам и в голову бы не пришло купить сборник проповедей о «вере» в ее противопоставлении «деяниям». В обеих книгах одна и та же полемика, один и тот же драматизм. Беньян не пытается представить своих паломников существами более разумными или более послушными, чем г-н Житейский Мудрец. Заклятые враги г-на Ж. М.— г-н Воришка, г-н По-Воскресеньям-В-Церковь-Не-Ходок, г-н Дурной Тон, г-н Убийца, г-н Взломщик, г-н Со-Ответчик, г-н Шантажист, г-н Мерзавец, г-н Пьяница, г-н Подстрекатель и прочие — в «Пути паломника» не найдут ни одного дурного слова о себе, но зато уважаемые граждане, которые их оскорбляют и сажают в тюрьму, такие граждане, как сам г-н Ж. М. и его юный друг Учтивость; Формалист и Лицемер; Скандалист, Равнодушный и Прагматик (последние трое, конечно, молодые студенты из хороших семей с полными кладовыми), проворный юнец Невежда, Болтун, Прекраснореченивый и его теща леди Притворщица — все эти и другие добропорядочные господа и граждане наказаны в книге жестоко. Даже крошке Верующему, хоть он и попадает в конце концов в рай, дано понять, что поделом избили его братья Слабое Сердце, Недоверие и Вина — троица уважаемых членов общества и подлинных столпов закона.

Эта аллегорическая книга Беньяна последовательно нападает на мораль и респектабельность и ни единым словом не осуждает порок и преступление. А ведь именно этим недовольны критики Ницше и Ибсена, не правда ли? И ведь именно этим были бы недовольны критики литературы почтенной и признанной (официально или неофициально), да только, признавая книги почтенными, у нас сознательно игнорируют их идеи, так

---

[1] Воля *(нем.)*.

[2] Представление *(нем.)*.

что в результате его преподобие пастор может согласиться с пророком Михеем во всем, что касается его вдохновенного стиля, но при этом вовсе не чувствует себя обязанным разделять крайне радикальные воззрения Михея. Если уж на то пошло, то даже я, с пером в руке сражаясь за признание и учтивое обхождение, часто обнаруживаю, что моя атака пропала впустую, сведенная к нулю при помощи несложной политики непротивления. Тщетно удваиваю я ярость выражений, провозглашая свою ересь: поношу теистическое легковерие Вольтера, любовные предрассудки Шелли, возрождение родовых предсказаний и идолопоклоннических ритуалов, которые Хаксли назвал Наукой и ошибочно принял за наступление на Пятикнижие, поношу лицемерный вздор клерикалов и промышленников, защищающих репутацию безмозглой системы насилия и грабежа, которую мы называем Законом и Промышленностью. Даже атеисты упрекают меня в нечестивости, а анархисты в нигилизме, потому что я не в состоянии вынести их нравоучительных речей.

И все же, вместо того чтобы воскликнуть «На костер этого ужасного дьяволопоклонника!», почтенные газеты наповал убивают меня своими объявлениями: «очередная книга этого блестящего и глубокого писателя». И рядовой читатель, зная, что автор, о котором хорошо отзывается почтенная газета, не подведет, читает меня, как читает Михея, простодушно извлекая из моей книги поучения, которые соответствуют его собственной точке зрения. Рассказывают, что в семидесятых годах XIX века некая дама, истовая методистка, переехала из Колчестера в район Сити Роуд в Лондоне и, приняв Храм Науки за часовню, много лет приходила и садилась у ног Чарлза Брэдло, покоренная его красноречием, и ни разу не усомнилась в его ортодоксальности и ничуть не пошатнулась в вере. Боюсь, что и меня так же обманут — лишат принадлежащего мне по праву титула мученика.

Но я отвлекся, как и полагается человеку обиженному. В конце концов, когда определяешь художественную ценность книги, главное — это не мнения, которые она пропагандирует, а тот факт, что у автора вообще имеются мнения. Пожилая дама из Колчестера правильно делала, что грела свою наивную душу под горячими лучами искренних убеждений Брэдло, вместо того чтобы стынуть под холодным душем искусного и банального краснобайства. Мое презрение к belles lettres[1] *и дилетантам, репутация которых целиком основана на виртуозности слога,*

[1] Беллетристика *(франц.)*.

вовсе не питается иллюзией, что формы, в которые я отливаю свою мысль (зовите их мнениями) и при помощи которых я пытаюсь поведать современникам о своих симпатиях и антипатиях, переживут века. Для молодых людей они уже устарели, ибо, хотя своей логической основы они не теряют, как пастель XVIII века не теряет ни своего рисунка, ни цвета, однако, подобно пастели, они как-то неопределенно ветшают и будут и дальше ветшать, пока вообще не перестанут что-нибудь значить, и тогда мои книги либо исчезнут, либо — если мир будет так беден, что они ему еще понадобятся,— их жизнь, как жизнь книг Беньяна, будет зависеть от весьма аморфных качеств: от их темперамента, их энергичности. С такими убеждениями я не могу быть беллетристом.

Разумеется, я вынужден признать — даже Старый Моряк это признавал,— что рассказывать надо увлекательно, если хочешь, чтобы свадебный гость зачарованно слушал тебя, не обращая внимания на призывный вой фагота. Но если бы я вздумал писать только «ради искусства», мне не удалось бы выжать из себя ни одной фразы. Знаю, что есть люди, которым нечего сказать, нечего написать, и тем не менее они так влюблены в ораторствование и литературу, что с восторгом повторяют доступные им пассажи из чужих речей или книг. Я знаю, что досужие фокусы, которые они проделывают со своими неверно понятыми, разбавленными идеями (благо отсутствие убеждений позволяет им этим заниматься), превращаются у них в приятную салонную игру под названием стиль. Я сочувствую их увлечению и даже понимаю их забавы, однако подлинно оригинальный стиль не создается «ради стиля»; люди платят от шиллинга до гинеи, смотря по средствам, чтобы увидеть, услышать или прочитать гениальные произведения других, но никто не согласится отдать всю свою жизнь и душу за то, чтобы сделаться всего лишь виртуозным литератором и демонстрировать достижения, которыми даже капитала не наживешь,— что-то вроде пиликанья на скрипке. Убедительность — вот альфа и омега стиля.

Тот, кому не в чем убеждать, не имеет стиля и никогда его не обретет; тот, кому есть что утверждать, достигнет стилистических высот, соответствующих твердости и глубине его убеждений. Убеждения можно опровергнуть, а стиль все равно сохранит свою силу. Дарвин не уничтожил стиля Иова или Генделя, а Мартин Лютер не уничтожил стиля Джотто. Рано или поздно все убеждения опровергаются, мир полон великолепных руин окаменевшего искусства, начисто утратившего жизненную достоверность, но сохранившего пленительные

формы. Вот почему старые художники так действуют на наше восприятие. Какой-нибудь член Королевской Академии думает, что он может достичь стиля Джотто, не разделяя его верований, а заодно и улучшить его перспективу. Какой-нибудь литератор думает, что он может достичь стиля Беньяна или Шекспира, не имея убежденности Беньяна или восприимчивости Шекспира,— главное, правильно употреблять инфинитив. Точно так же какие-нибудь профессора музыки, насочинявши побольше диссонансов, надлежащим образом приготовленных и разрешенных, с задержанием или с предъемом в стиле великих композиторов, думают, что они могут выучиться искусству Палестрины, читая трактат Керубини. Все это академическое искусство гораздо хуже, чем торговля поддельной старинной мебелью, ибо человек, продающий мне дубовый сундук, который, по его уверениям, был сделан в XIII веке (хотя на самом деле он сколочен только вчера), по крайней мере не притворяется, что сундук этот полон современных идей, а вот какой-нибудь академик, копирующий окаменелости, предлагает их публике в качестве последних откровений человеческого духа и, самое страшное, похищает молодых людей, превращает их в своих учеников и убеждает в том, что его ограниченность — это правило, его традиционность — это проявление особой изощренности, его трусость — проявление хорошего вкуса, а его пустота — проявление чистоты. И когда он провозглашает, что искусство не должно быть дидактично, с ним энергично соглашаются и те, кому нечему учить других, и те, кто не желает ничему учиться.

Я горжусь тем, что не принадлежу к людям, обладающим такой предрасположенностью. Посмотрите, как идет к Вам электрический свет (а ведь и я в качестве общественного деятеля снабжаю Вас светом, выступая в роли Бамбла и служа объектом насмешек), и Вы обнаружите, что дом Ваш полон медной проволоки, которая насыщена электричеством и при этом не дает никакого света. Однако на пути электрического тока там и сям встречаются отрезки плохо проводящей упрямой материи, и эти упрямцы вступают в единоборство с током и заставляют его уплатить Вам дань света и тепла; а свет и тепло — важнейшие качества литературы. И поскольку я хочу быть не дилетантом и проводником чужих идей, а светоносным и самостоятельным автором, мне приходится упрямиться и упираться, выходить из строя в самый неподходящий момент, а временами создавать угрозу пожара.

Таковы недостатки моего характера; поверьте мне: порой я проникаюсь глубочайшим отвращением к себе, и если в та-

кой момент на меня набрасывается какой-нибудь раздраженный рецензент, я ему невыразимо благодарен. Но мне и в голову не приходит попытаться исправиться; я знаю, что должен принимать себя таким, каков я есть, и употребить себя с максимальной пользой для дела. Все это Вы поймете, ибо мы с Вами выпечены из одного теста; оба мы критики жизни и искусства, и когда я прохожу под Вашим окном, Вы, наверное, говорите себе: «Бог меня миловал — а ведь этим человеком мог бы оказаться я сам». Этой пугающей, отрезвляющей мыслью, этой заключительной каденцией я и завершу сие непомерно затянувшееся письмо. Преданный Вам

Бернард Шоу.
Уокинг, 1903

P. S. После беспрецедентного шума, который подняли критики по поводу нашей книги — увы! Ваш голос в ней не слышен,— от меня потребовали подготовить новое издание. Пользуюсь случаем исправить свою оплошность: Вы, может быть, заметили (все остальные, между прочим, проглядели), что я подкинул Вам цитату из «Отелло», а потом, сам того не сознавая, связал ее с «Зимней сказкой». Исправляю ошибку с сожалением, ибо цитата эта прекрасно подходит к Флоризелю и Утрате; и все же с Шекспиром шутки плохи, так что верну-ка я Дездемоне ее собственность.

В целом книга прошла весьма неплохо. Критики посильнее довольны, послабее — запуганы; знатоков позабавил мой литературный балаган (устроенный для Вашего удовольствия), и только юмористы, как ни странно, читают мне нотации — со страху они позабыли о своей профессии и самыми странными голосами заговорили вдруг о велениях совести. Не все рецензенты меня поняли; как англичане во Франции с уверенностью произносят свои островные дифтонги, думая, что это и есть добрые французские гласные, так и многие из рецензентов предлагают в качестве образцов философии Шоу что-нибудь подходящее из своих собственных запасов. Другие стали жертвой подобия идей: они называют меня пессимистом, потому что мои замечания задевают их самодовольство, и ренегатом, потому что в компании у меня все Цезари, а не простые и славные ребята. Хуже того — меня обвинили в проповеди «этического» Сверхчеловека, то есть нашего старого друга Справедливого, превращенного в Совершенного! Это последнее недоразумение так неприятно, что лучше я воздержусь от комментариев и отложу перо, пока мой постскриптум не стал длиннее самого письма.

Роубэк Рэмсден в своем кабинете просматривает утреннюю почту. Обстановка кабинета, красивая и солидная, говорит о том, что хозяин — человек со средствами. Нигде ни пылинки; очевидно, в доме по меньшей мере две служанки, не считая чистой горничной, и есть экономка, которая не дает им прохлаждаться. Даже макушка Роубэка блестит; в солнечный день он кивками головы мог бы гелиографировать приказы расположенным в отдалении войсковым частям. Впрочем, больше ничто в нем не наводит на военные ассоциации. Только в гражданской деятельности приобретается это прочное ощущение покоя, превосходства, силы, эта величавая и внушительная осанка, эта решительная складка губ, которую, впрочем, теперь, в пору успеха, смягчает и облагораживает сознание, что препятствия устранены. Он не просто почтеннейший человек; он выделяется среди почтеннейших людей, как их естественный глава, как председатель среди членов правления, олдермен среди советников, мэр среди олдерменов. Четыре пучка серо-стальных волос,— скоро они станут белыми, как рыбий клей, который напоминают и в других отношениях,— растут двумя симметричными парами над его ушами и в углах широкой челюсти. На нем черный сюртук, белый жилет (дело происходит в прекрасный весенний день) и брюки не черные, но и не то чтобы синие, а скорей одного из тех неопределенных промежуточных оттенков, которые изобретены современными фабрикантами для полной гармонии с религиозными убеждениями почтенных людей. Он еще не выходил сегодня из дому, поэтому на ногах у него домашние туфли, а ботинки стоят наготове у камина. Догадываясь, что у него нет камердинера, и видя, что у него нет секретарши с пишущей машинкой и блокнотом для стенограмм, думаешь о том, как мало, в сущности, повлияли на домашний уклад наших парламентариев всякие современные новшества, равно как и предприимчивость владельцев железных дорог и гостиниц, готовых отпустить вам полтора дня (с субботы до понедельника) истинно джентльменской жизни в Фолкстоне за две гинеи, включая проезд первым классом в оба конца.

Сколько лет Роубэку? Это вопрос весьма существенный для интеллектуальной пьесы, ибо здесь все зависит от того, когда протекала его юность — в шестидесятых годах или в восьмидесятых. Так вот, Роубэк родился в 1839 году, был унитарием и фритредером с мальчишеских лет и эволюционистом со дня выхода в свет «Происхождения видов»; вследствие этого всегда причислял себя к передовым мыслителям и к неустрашимым реформаторам.

Когда он сидит за своим письменным столом, справа от него окна, выходящие на Портлэнд-Плэйс. Оттуда, если бы не спущенные шторы, любопытный зритель мог бы, словно с просцениума, созерцать его профиль. Налево, у внутренней стены, величественный книжный шкаф и ближе к углу дверь. У третьей стены два бюста на цоколях: слева Джон Брайт, справа Герберт Спенсер. В простенке между ними гравированный портрет Ричарда Кобдена, увеличенные фотографии Мартино, Хаксли и Джордж Элиот, автотипии аллегорий Дж. Ф. Уоттса (Роубэк предан искусству со всем пылом человека, который его не понимает) и гравюра Дюпона с Деларошева «Полукружия» в Школе изящных искусств, где изображены великие художники всех веков. За спиной Роубэка, над камином, фамильный портрет в таких темных тонах, что на нем почти ничего нельзя разглядеть. Рядом с письменным столом кресло для деловых посетителей. Еще два кресла в простенке между бюстами. Входит горничная и подает карточку. Роубэк, взглянув, кивает с довольным видом. По-видимому, гость желанный.

Рэмсден. Просите.

Горничная выходит и возвращается с посетителем.

Горничная. Мистер Робинсон.

Мистер Робинсон — молодой человек на редкость приятной внешности. Невольно возникает мысль, что это и есть первый любовник, так как трудно предположить, что в одной пьесе могут оказаться два столь привлекательных персонажа мужского пола. Стройная, элегантная фигура в трауре, как видно, недавно надетом; маленькая голова и правильные черты лица, приятные небольшие усики, открытый ясный взгляд, здоровый румянец на

юношески свежем лице; тщательно причесанные волосы красивого темно-каштанового оттенка, не кудрявые, но шелковистые и блестящие, нежный изгиб бровей, высокий лоб и слегка заостренный подбородок — все в нем обличает человека, которому предназначено любить и страдать. А что при этом он не будет испытывать недостатка в сочувствии, тому порукой его подкупающая искренность и стремительная, но не назойливая услужливость — знак природной доброты. При его появлении лицо Рэмсдена расцветает приветливой, отечески-ласковой улыбкой, которую, однако, тут же сменяет приличествующая случаю скорбная мина, так как на лице у молодого человека написана печаль, вполне гармонирующая с черным цветом его костюма. Рэмсдену, по-видимому, известна причина этой печали. Когда гость молча подходит к столу, старик встает и через стол пожимает ему руку, не произнося ни слова: долгое сердечное рукопожатие, которое повествует о недавней утрате, одинаково тяжко для обоих.

Рэмсден *(покончив с рукопожатием и приободрившись)*. Ну, ну, Октавиус, такова общая участь. Всех нас рано или поздно ожидает то же. Садитесь.

Октавиус садится в кресло для посетителей. Рэмсден снова опускается в свое.

Октавиус. Да, всех нас это ожидает, мистер Рэмсден. Но я стольким был ему обязан. Родной отец, будь он жив, не сделал бы для меня больше.

Рэмсден. У него ведь никогда не было сына.

Октавиус. Но у него были дочери; и тем не менее он относился к моей сестре не хуже, чем ко мне. И такая неожиданная смерть! Мне все хотелось выразить ему свою признательность, чтобы он не думал, что я все его заботы принимаю как должное, как сын принимает заботы отца. Но я ждал подходящего случая; а теперь вот он умер — в один миг его не стало, и он никогда не узнает о моих чувствах. *(Достает платок и непритворно плачет.)*

Рэмсден. Как знать, Октавиус. Быть может, он все отлично знает; нам об этом ничего не известно. Ну полно! Успокойтесь.

Октавиус, овладев собой, прячет платок в карман.

Вот так. А теперь я хочу рассказать вам кое-что в утешение. При последнем нашем свидании – здесь, в этой самой комнате, – он сказал мне: «Тави славный мальчик, у него благородная душа. Когда я вижу, как мало уважения оказывают иные сыновья своим отцам, я чувствую, что он для меня лучше родного сына». Вот видите! Теперь вам легче?

Октавиус. Мистер Рэмсден! Я часто слыхал от него, что за всю свою жизнь он знал только одного человека с истинно благородной душой – Роубэка Рэмсдена.

Рэмсдэн. Ну, тут он был пристрастен: ведь наша с ним дружба длилась много лет. Но он мне еще кое-что о вас говорил. Не знаю, рассказывать ли вам.

Октавиус. Судите сами.

Рэмсден. Это касается его дочери.

Октавиус *(порывисто)*. Энн! О, расскажите, мистер Рэмсден, расскажите!

Рэмсден. Он говорил, что в сущности даже лучше, что вы не его сын; потому что, быть может, когда-нибудь вы с Энни...

Октавиус густо краснеет.

Пожалуй, напрасно я вам рассказал. Но он всерьез задумывался об этом.

Октавиус. Ах, если б я только смел надеяться! Вы знаете, мистер Рэмсден, я не стремлюсь ни к богатству, ни к так называемому положению, и борьба за это меня нисколько не увлекает. Но Энн, видите ли, при всей утонченности своей натуры так свыклась с подобными стремлениями, что мужчина, лишенный честолюбия, ей кажется неполноценным. Если она станет моей женой, ей придется убеждать себя не стыдиться того, что я ни в чем особенно не преуспел; и она это знает.

Рэмсден *(встав, подходит к камину и поворачивается спиной к огню)*. Глупости, мой мальчик, глупости! Вы слишком скромны. Что в ее годы можно знать об истинных достоинствах мужчины? *(Более серьезным тоном.)* И потом она на редкость почтительная дочь. Воля отца будет для нее священна. С тех пор как она вышла из детского возраста, не было, кажется, случая, чтобы она, собираясь или же отказываясь что-нибудь сделать, сослалась на собственное желание. Только и слышишь, что «папа так хочет» или «мама будет недовольна». Это уж даже не достоинство, а скорей недостаток. Я не раз

говорил ей, что пора научиться самой отвечать за свои поступки.

Октавиус *(качая головой)*. Мистер Рэмсден, я не могу просить ее стать моей женой только потому, что этого хотел ее отец.

Рэмсден. Гм! Пожалуй, вы правы. Да, в самом деле вы правы. Согласен, так не годится. Но если вам удастся расположить ее к себе, для нее будет счастьем, следуя собственному желанию, в то же время исполнить желание отца. Нет, правда, сделайте вы ей предложение, а?

Октавиус *(невесело улыбаясь)*. Во всяком случае я вам обещаю, что никогда не сделаю предложения другой женщине.

Рэмсден. А вам и не придется. Она согласится, мой мальчик! Хотя *(со всей подобающей случаю важностью)* у вас есть один существенный недостаток.

Октавиус *(тревожно)*. Какой недостаток, мистер Рэмсден? Вернее — который из моих многочисленных недостатков?

Рэмсден. Я вам это скажу, Октавиус. *(Берет со стола книгу в красном переплете.)* То, что я сейчас держу в руках,— самая гнусная, самая позорная, самая злонамеренная, самая непристойная книга, какой когда-либо удавалось избежать публичного сожжения на костре. Я не читал ее,— не желаю засорять себе мозги подобной дрянью; но я читал, что пишут о ней газеты. Достаточно одного заглавия *(читает)*: «Спутник революционера. Карманный справочник и краткое руководство. Джон Тэннер, Ч.П.К.Б.— Член Праздного Класса Богатых».

Октавиус *(улыбаясь)*. Но Джек...

Рэмсден *(запальчиво)*. Прошу вас у меня в доме не называть его Джеком! *(С яростью швыряет книгу на стол; потом, несколько поостыв, обходит вокруг стола, останавливается перед Октавиусом и говорит торжественно и внушительно.)* Вот что, Октавиус: я знаю, что мой покойный друг был прав, называя вас благородной душой. Я знаю, что этот человек — ваш школьный товарищ и что в силу дружбы, связывавшей вас в детстве, вы считаете своим долгом заступаться за него. Но обстоятельства изменились, и я прошу вас учесть это. В доме моего друга на вас всегда смотрели, как на сына. Вы в этом доме жили, и никто не мог закрыть его двери для ваших друзей. Благодаря вам этот человек, Тэннер, постоянно бывает там, чуть ли не с детских лет. Он без

всякого стеснения зовет Энни просто по имени, так же как и вы. Покуда был жив ее отец, меня это не касалось. В его глазах этот человек, Тэннер, был только мальчишкой; он попросту смеялся над его взглядами, как смеются над карапузом, напялившим отцовскую шляпу. Однако теперь Тэннер стал взрослым мужчиной, а Энни — взрослой девушкой. И кроме того, отец ее умер. Его завещание еще не оглашено; но мы неоднократно обсуждали его вместе, и у меня нет ни малейших сомнений, что я назначен опекуном и попечителем Энни. *(Подчеркивая слова.)* Так вот, заявляю вам раз и навсегда: я не хочу и не могу допустить, чтобы Энни ради вас постоянно терпела присутствие этой личности, Тэннера. Это несправедливо, это недостойно, это невозможно. Как вы намерены поступить?

Октавиус. Но Энн сама сказала Джеку, что, независимо от своих взглядов, он всегда будет у нее желанным гостем, потому что он знал ее дорогого отца.

Рэмсден *(выйдя из себя)*. Эта девушка просто помешалась на дочернем долге. *(Бросается, точно разъяренный бык, к Джону Брайту, но, не усмотрев на его лице сочувствия, поворачивает к Герберту Спенсеру, который его встречает еще более холодно.)* Простите меня, Октавиус, но есть предел терпимости общества. Вы знаете, что я чужд ханжества, предрассудков. Вы знаете, что я был и остался просто Роубэком Рэмсденом, в то время как люди со значительно меньшими заслугами прибавили титул к своему имени; и это лишь потому, что я отстаивал равенство и свободу совести, вместо того чтобы заискивать перед церковью и аристократией. Мы с Уайтфилдом очень многое упустили в жизни благодаря своим передовым взглядам. Но анархизм, свободная любовь и тому подобное — это уже слишком даже для меня. Если я буду опекуном Энни, ей придется считаться с моим мнением. Я этого не позволю; я этого не потерплю. Джон Тэннер не должен бывать у нас, и у вас тоже.

Входит горничная.

Октавиус. Но...

Рэмсден *(останавливая его взглядом)*. Тс! *(Горничной.)* Ну, что там?

Горничная. Сэр, вас желает видеть мистер Тэннер.

Рэмсден. Мистер Тэннер?!

Октавиус. Джек!

Рэмсден. Как смеет мистер Тэннер являться сюда? Скажите, что я не могу его принять!

Октавиус *(огорченный)*. Мне очень грустно, что вы хотите захлопнуть двери вашего дома перед моим другом.

Горничная *(невозмутимо)*. Он не у дверей, сэр. Он наверху, в гостиной у мисс Рэмсден. Он приехал вместе с миссис Уайтфилд, и мисс Энн, и мисс Робинсон, сэр.

Слова бессильны выразить, что при этом чувствует Рэмсден.

Октавиус *(весело улыбаясь)*. Это очень похоже на Джека, мистер Рэмсден. Вам придется принять его, хотя бы для того, чтобы выгнать.

Рэмсден *(отчеканивает слова, стараясь сдержать свою ярость)*. Ступайте наверх и передайте мистеру Тэннеру, что я жду его у себя в кабинете.

Горничная выходит.

(В поисках укрепления позиции снова становится у камина.) Ну, признаюсь, подобной неслыханной дерзости... но если таковы анархистские нравы, вам они, как видно, по душе. И Энни в его обществе! Энни! Э... *(Задохнулся.)*

Октавиус. Да, это и меня удивляет. Он отчаянно боится Энн. Что-нибудь, вероятно, случилось.

Мистер Джон Тэннер рывком отворяет дверь и входит в комнату. Не будь он так молод, о нем можно было бы сказать кратко: высокий мужчина с бородой. Во всяком случае, ясно, что, достигнув средних лет, он будет относиться именно к этой категории. Сейчас его фигуре еще свойственна юношеская стройность,— но он меньше всего стремится производить впечатление юноши; его сюртук сделал бы честь премьер-министру, а внушительный разворот его широких плеч, надменная посадка головы и олимпийская величественность гривы, или, скорее, копны каштановых волос, откинутых с высокого лба, больше напоминают Юпитера, чем Аполлона. Он необыкновенно многоречив, непоседлив, легко увлекается (отметьте вздрагивающие ноздри и беспокойный взгляд голубых глаз, раскрытых на одну тридцать вторую дюйма шире, чем нужно), быть может, слегка безумен. Одет с большой тщательностью — не из тщеславной слабости к внешнему лоску, но из чувства значительности всего,

что он делает. И это чувство заставляет его относиться к простому визиту, как другие относятся к женитьбе или к закладке общественного здания. Впечатлительная, восприимчивая, склонная к преувеличениям, пылкая натура; одержим манией величия, и только чувство юмора спасает его.

В данную минуту это чувство юмора ему изменило. Сказать, что он взволнован — мало; он всегда находится в той или иной фазе взволнованности. Сейчас он в фазе панического ужаса; он идет прямо на Рэмсдена, как бы с твердым намерением пристрелить его тут же, у его собственного камина. Однако из внутреннего кармана он выхватывает не револьвер, а свернутый в трубку документ и, потрясая им перед носом возмущенного Рэмсдена, восклицает:

Тэннер. Рэмсден! Вы знаете, что это такое?

Рэмсден *(высокомерно)*. Нет, сэр.

Тэннер. Это копия завещания Уайтфилда. Энн получила его сегодня утром.

Рэмсден. Под «Энн» вы, я полагаю, подразумеваете мисс Уайтфилд?

Тэннер. Я подразумеваю нашу Энн, вашу Энн, его Энн, а теперь — да поможет мне небо! — и мою Энн!

Октавиус *(встает, сильно побледнев)*. Что ты хочешь сказать?

Тэннер. Что я хочу сказать? *(Взмахивает документом.)* Знаете, кто назначен опекуном Энн по этому завещанию?

Рэмсден *(холодно)*. Полагаю, что я.

Тэннер. Вы! Вы и я, сударь. Я! Я!! Я!!! Мы оба! *(Швыряет завещание на письменный стол.)*

Рэмсден. Вы? Этого не может быть.

Тэннер. Это ужасно, но это так. *(Бросается в кресло, с которого встал Октавиус.)* Рэмсден! Делайте, что хотите, но избавьте меня от этого. Вы не знаете Энн так, как я ее знаю. Она совершит все преступления, на которые способна порядочная женщина, — и во всех оправдается, утверждая, что исполняла волю своих опекунов. Она все будет сваливать на нас, а слушаться нас будет не больше, чем кошка пары мышат.

Октавиус. Джек! Я прошу тебя не говорить так об Энн!

Тэннер. А этот голубчик влюблен в нее! Вот еще осложнение. Теперь она или насмеется над ним и скажет, что я его не одобрил, или выйдет за него замуж и скажет,

что вы ее заставили. Честное слово, это самый тяжелый удар, какой только мог обрушиться на человека моего возраста и склада!

Рэмсден. Позвольте взглянуть на завещание, сэр. *(Подходит к письменному столу и берет документ в руки.)* Не могу себе представить, чтобы мой друг Уайтфилд проявил такое отсутствие доверия ко мне, поставив меня рядом с... *(По мере чтения лицо у него вытягивается.)*

Тэннер. Я сам виноват во всем — вот жестокая ирония судьбы! Он мне как-то сказал, что наметил вас в опекуны Энн; и нелегкая меня дернула ему доказывать, что глупо оставлять молодую девушку на попечении старика с допотопными взглядами.

Рэмсден *(остолбенев)*. Это у меня допотопные взгляды!!!

Тэннер. Безусловно. Я тогда только что закончил статью под названием «Долой правление седовласых» и весь был набит примерами и доказательствами. Я говорил, что самое правильное — сочетать житейский опыт старости с энергией молодости. Теперь ясно: он меня поймал на слове и изменил завещание — оно подписано примерно через две недели после нашего разговора, — назначив меня вторым опекуном!

Рэмсден *(бледный и исполненный решимости)*. Я откажусь от опекунства.

Тэннер. Не поможет. Я всю дорогу от самого Ричмонда отказывался, но Энн твердит одно: конечно, она теперь сирота, и с какой стати люди, которые охотно бывали в доме при жизни ее отца, станут утруждать себя заботами о ней. Последнее изобретение! Сирота! Это все равно, как если бы броненосец стал вдруг жаловаться, что некому защитить его от волн и ветра!

Октавиус. Нехорошо, Джек. Она действительно сирота. И ты должен быть ей опорой.

Тэннер. Опорой! Разве ей угрожает что-нибудь? На ее стороне закон, на ее стороне всеобщее сочувствие, у нее много денег и ни капли совести. Я нужен ей только для того, чтобы она могла взвалить на меня моральную ответственность за свои поступки и делать все, что ей хочется, прикрываясь моим именем. Я не смогу ее контролировать; зато она сможет меня компрометировать сколько ей вздумается. Это не лучше, чем быть ее мужем.

Рэмсден. Вы вправе отказаться от опекунства. Я во всяком случае откажусь, если мне придется делить опекунские обязанности с вами.

Тэннер. Да! А что она скажет? Что она уже говорит? Что воля отца для нее священна и что все равно, соглашусь я или нет, она всегда будет смотреть на меня как на своего опекуна. Отказаться! Попробуйте отказаться от объятий боа-констриктора, когда он уже обвился вокруг вашего тела?

Октавиус. Ты совершенно не щадишь моих чувств, Джек.

Тэннер *(встает и подходит к Октавиусу, чтобы его успокоить, но говорит прежним жалобным тоном)*. Если ему понадобился молодой опекун, почему он не назначил Тави?

Рэмсден. А в самом деле, почему?

Октавиус. Я вам скажу. Он заговаривал со мной об этом; но я отказался, потому что люблю Энн. Я не считал для себя возможным навязываться ей в качестве опекуна. Он и с ней говорил об этом; и она сказала, что я прав. Вы знаете, что я люблю Энн, мистер Рэмсден; и Джек тоже знает. Будь у Джека любимая женщина, я не стал бы в его присутствии называть ее боа-констриктором, даже если бы она мне очень не нравилась. *(Садится между бюстами и отворачивается к стене.)*

Рэмсден. Я считаю, что Уайтфилд был невменяем, когда писал это завещание. Вы сами признали, что он сделал это под вашим влиянием.

Тэннер. Можете мне спасибо сказать за мое влияние. Он оставил вам две с половиной тысячи в вознаграждение за хлопоты. Тави он оставил приданое для сестры и пять тысяч лично ему.

Октавиус *(снова заливаясь слезами)*. О, я не могу принять этих денег. Он был слишком добр к нам.

Тэннер. А ты их и не получишь, если Рэмсден будет оспаривать завещание.

Рэмсден. Ах, вот оно что! Вы мне, значит, устроили ловушку.

Тэннер. Мне он не оставил ничего, кроме заботы о нравственности Энн, на том основании, что у меня и так больше денег, чем нужно. Разве это не доказательство, что он был в здравом уме и твердой памяти?

Рэмсден *(мрачно)*. Пожалуй.

Октавиус *(встает и выходит из своего убежища у стены)*. Мистер Рэмсден, вы, я вижу, предубеждены против Джека. Он честный человек и не способен злоупотребить...

Тэннер. Замолчи, Тави! Ты меня с ума сведешь. При чем тут честность! Я просто живой человек, которого мерт-

вый хватает за горло. Нет, Тави! Придется тебе жениться на ней и избавить меня от нее. А я-то всей душой стремился тебя от этого спасти!

Октавиус. Что ты говоришь, Джек? Спасти от величайшего счастья!

Тэннер. Да, от счастья на всю жизнь. Если б речь шла о счастье на полчаса, я отдал бы свой последний пенни, чтобы купить его для себя. Но счастье на всю жизнь! Нет такого человека, который мог бы это вынести; это был бы ад на земле.

Рэмсден *(гневно)*. Чушь, сэр! Говорите серьезно или ищите себе других собеседников. Я слишком занят, чтобы слушать вздор, который вы мелете. *(Стремглав бросается к столу и садится в кресло.)*

Тэннер. Вот, слышишь, Тави? Самая свежая идея у него в голове относится к шестидесятым годам. Нет, нельзя оставить Энн только на его попечении.

Рэмсден. Я горжусь тем, что вы столь пренебрежительно относитесь к моим взглядам, сэр. Ваши, я полагаю, изложены в этой книжке?

Тэннер *(бросаясь к столу)*. Что? У вас есть моя книга? Ну, как она вам понравилась?

Рэмсден. Вы воображаете, что я стану читать такую книгу, сэр?

Тэннер. А зачем же вы ее купили?

Рэмсден. Я не покупал ее, сэр. Мне ее прислала одна неразумная дама, которая, по-видимому, в восторге от ваших воззрений. Я собирался поступить с этой книгой так, как она заслуживает, но мне помешал Октавиус. Если разрешите, я это сделаю сейчас. *(Швыряет книгу в корзину для бумаг с такой силой, что Тэннер невольно отшатывается, как будто книга полетела ему в голову.)*

Тэннер. Вы не более благовоспитанны, чем я. Но тем лучше; теперь мы можем разговаривать без особых церемоний. *(Садится снова.)* Что вы намерены предпринять по поводу этого завещания?

Октавиус. Можно мне сказать?

Рэмсден. Разумеется, Октавиус.

Октавиус. Мне кажется, мы забываем, что у самой Энн могут быть какие-нибудь пожелания на этот счет.

Рэмсден. Я вполне готов в разумной мере сообразоваться с желаниями Энн. Но ведь она только женщина, и притом женщина молодая и неопытная.

Тэннер. Рэмсден! Я начинаю жалеть вас.

Рэмсден *(раздраженно)*. Меня не интересуют ваши чувства по отношению ко мне, мистер Тэннер.

Тэннер. Энн поступит, как ей хочется. Мало того, она заставит нас посоветовать ей поступить именно так; и если дело обернется неудачно, она свалит вину на нас. Но раз Тави не терпится ее увидеть...

Октавиус *(смущенно)*. Вовсе нет, Джек.

Тэннер. Лжешь, Тави: конечно, не терпится. Так пригласим ее сюда и спросим, как она намерена заставить нас поступить. Ну, живо, Тави, иди за ней.

Октавиус направляется к двери.

И не задерживайся, а то при наших с Рэмсденом натянутых отношениях ожидание может показаться томительным.

Рэмсден поджимает губы, но молчит.

Октавиус. Не обращайте на него внимания, мистер Рэмсден. Он шутит. *(Выходит.)*

Рэмсден *(раздельно и веско)*. Мистер Тэннер, вы самый бесстыдный человек из всех, кого я знаю.

Тэннер *(серьезно)*. Да, Рэмсден. И все-таки даже я не могу полностью победить в себе стыд. Мы живем в атмосфере стыда. Мы стыдимся всего, что в нас есть подлинного; стыдимся самих себя, своих родственников, своих доходов, своего произношения, своих взглядов, своего жизненного опыта точно так же, как мы стыдимся своего обнаженного тела. Помилуй бог, дорогой мой Рэмсден! Нам стыдно ходить пешком, стыдно ездить в омнибусе, стыдно нанимать экипаж, вместо того чтобы держать карету, стыдно держать одну лошадь вместо двух и грума, который в то же время и садовник, — вместо кучера и ливрейного лакея. Чем больше есть вещей, которых человек стыдится, тем он почтеннее. Взять хотя бы вас: вам стыдно купить мою книгу, стыдно ее прочесть; не стыдно только осуждать меня за нее, не прочтя; но и это означает лишь, что вам стыдно разделять еретические воззрения. А вот меня моя фея-крестная не наделила даром стыда — и что же? Я обладаю всеми достоинствами, которыми может обладать человек, за исключением...

Рэмсден. Очень рад, что вы о себе такого хорошего мнения.

Тэннер. Этим вы только хотите сказать, что мне бы нужно постыдиться говорить о своих достоинствах. Вы не хотите

сказать, что у меня их нет; вы отлично знаете, что я такой же разумный и честный гражданин, как и вы, такой же принципиальный в личной жизни и гораздо более принципиальный в политических и моральных воззрениях.

Рэмсден *(задетый за самую чувствительную струнку)*. Я протестую. Я ни вам, ни кому другому не позволю рассматривать меня как рядового представителя английского общества. Я ненавижу его предрассудки, я презираю его ограниченность; я настаиваю на своем праве мыслить самостоятельно. Вы разыгрываете передового человека. Позвольте вам сказать, что я был передовым человеком до того, как вы родились на свет.

Тэннер. Я так и думал, что это было очень давно.

Рэмсден. Я сейчас не менее передовой человек, чем прежде. Если вы считаете, что я хоть в чем-нибудь сдал позиции, — докажите. Я сейчас даже более передовой человек, чем прежде. Я с каждым днем становлюсь все...

Тэннер. Все старше, Полоний.

Рэмсден. Полоний! А вы, по-видимому, Гамлет?

Тэннер. Нет. Я только самый бесстыдный человек из всех, кого вы знаете. В вашем понимании — насквозь отрицательный тип. Вы захотели сказать мне правду в лицо и спросили себя с присущей вам прямотой и справедливостью: что можно, по чести, сказать о нем скверного? Вор, лгун, мошенник, прелюбодей, клятвопреступник, пьяница, обжора? Ни одно из этих определений ко мне не подходит. Пришлось ухватиться за тот факт, что я лишен стыда. Ну что ж, согласен. Я даже рад этому: потому что если бы я стыдился своего настоящего «я», то имел бы такой же глупый вид, как вы все. Развейте в себе немного бесстыдства, Рэмсден, и вы станете поистине выдающейся личностью.

Рэмсден. Меня не...

Тэннер. Вас не привлекает такого рода слава? Черт возьми, я ждал этого ответа, как ждешь коробки спичек из автомата, в который опустил пенни: вы постыдились бы сказать что-нибудь другое.

Уничтожающей отповеди, к которой явно готовился Рэмсден, не суждено прозвучать, так как в эту самую минуту возвращается Октавиус, а с ним мисс Энн Уайтфилд и ее мать; и Рэмсден, вскочив, спешит им навстречу. Красива ли Энн? Ответ зависит от ва-

шего вкуса, а кроме того — или, верней, главным образом,— от вашего возраста и пола. Для Октавиуса эта женщина обворожительно прекрасна, в ее присутствии преображается весь мир и тесные рамки индивидуального сознания раздвигаются вдруг до бесконечности силой мистической памяти о всей жизни человечества, начиная от первых шагов на Востоке или даже от изгнания из рая. В ней для него — реальность мечты, внутренний смысл бессмыслицы, прозрение истины, освобождение души, уничтожение границ места, времени и обстоятельств, превращение крови, текущей по жилам, в сладостные потоки драгоценной влаги жизни, разгадка всех тайн и освящение всех догм. Разумеется, мать Энн, мягко говоря, не видит в ней ничего подобного. Не то чтобы восторги Октавиуса были в какой-либо мере смешны или преувеличены. Энн — если на то пошло — вполне гармоничное создание; она очень женственна, изящна и миловидна, у нее пленительные глаза и волосы. Кроме того, траур отнюдь не придает ей унылого вида, как ее матери: она остроумно сочетала в своем костюме черный и лиловый шелк, сумев таким образом почтить память отца и в то же время отдать должное семейной традиции отважного неподчинения условностям, которой так кичится Рэмсден. Но не в этом сущность обаяния Энн. Вздерните ее нос, скосите глаза, замените черно-лиловый туалет передником и шалью уличной цветочницы, уснастите ее речь вульгаризмами — и мужчины все-таки будут мечтать о ней. Жизненный импульс так же прост, как и человеческая природа, но, подобно человеческой природе, он иногда возвышается до гениальности, и Энн — один из гениев жизненного импульса. Не подумайте, однако, что в ней преувеличено сексуальное начало: это говорило бы скорей о недостатке, а не об избытке жизненного импульса. Она вполне порядочная, вполне владеющая своими чувствами женщина, что сразу и видно, несмотря на некоторую наигранную экспансивность и непосредственность в духе времени. Она внушает доверие, как человек, который не сделает того, чего не захочет, и некоторое опасение, как женщина, которая, вероятно, сделает все, что захочет, и при этом посчитается с другими не больше, чем потребуют обстоятельства и чем она сама найдет нужным. Короче говоря, она из тех женщин, о которых более слабые представительницы ее пола иногда говорят: это штучка! Трудно представить себе зрелище более трога-

тельное, чем ее появление и поцелуй, которым она, здороваясь, награждает Рэмсдена. Покойный мистер Уайтфилд был бы удовлетворен — а может быть, и выведен из терпения — вытянувшимися лицами мужчин (за исключением неугомонного Тэннера), безмолвными рукопожатиями, сочувственным пододвиганием стульев, сопением вдовы и влажными глазами дочери, которая явно не может справиться со своим сердечным волнением. Рэмсден и Октавиус берут кресла, стоящие в простенке, и предлагают их дамам; но Энн подходит к Тэннеру и садится в его кресло, которое он подставляет ей резким толчком, после чего дает выход своему раздражению, усевшись на край письменного стола в нарочито небрежной позе. Октавиус уступает миссис Уайтфилд место рядом с Энн, а сам садится на свободное кресло, которое Рэмсден поставил под самым носом у изваяния мистера Герберта Спенсера. Миссис Уайтфилд, кстати сказать,— маленькая женщина с блеклыми льняными волосами, напоминающими солому, приставшую к яйцу. У нее растерянно-хитрое выражение лица, в голосе слышится писклявая нотка протеста, и она словно постоянно старается оттеснить локтями кого-то более рослого, затолкавшего ее в угол. В ней легко угадать одну из тех женщин которые сознают, что их считают глупыми и незначительными, и хотя не имеют достаточно силы, чтобы отстоять себя, тем не менее упорно не подчиняются своей участи. Есть нечто рыцарское в безупречном внимании, с которым относится к ней Октавиус, хотя вся душа его заполнена Энн.

Рэмсден торжественно возвращается в свое судейское кресло за письменным столом и открывает заседание

Рэмсден. Мне очень неприятно, Энни, в такую тяжелую минуту заставлять вас заниматься делами. Но в завещании вашего незабвенного отца есть один весьма серьезный пункт. Вы, вероятно, уже читали завещание?

Энн, слишком взволнованная, чтобы говорить, подтверждает его предположение кивком и судорожным вздохом.

Признаюсь, я весьма удивлен, что опекуном и попечителем вашим и Роды назначен совместно со мной мистер Тэннер.

Пауза. Вид у слушателей глубокомысленный, но сказать им нечего.

(Слегка озадаченный отсутствием какого-либо отклика на его слова, продолжает.) Едва ли я сочту возможным принять полномочия опекуна на таких условиях. Насколько мне известно, у мистера Тэннера также имеются возражения; я не хочу и не могу вникать в их смысл, он, несомненно, выскажется на эту тему сам. Однако мы оба сошлись на том, что не можем ничего решать, пока не выясним вашу точку зрения. Боюсь, что мне придется просить вас выбрать в опекуны кого-либо одного, меня или мистера Тэннера, потому что действовать совместно нам как будто не представляется возможным.

Энн *(тихим певучим голосом)*. Мама...

Миссис Уайтфилд *(поспешно)*. Нет уж, Энн, пожалуйста не сваливай все на меня. У меня на этот счет нет никакого мнения; а если б и было, вряд ли с ним стали бы считаться. Как вы втроем решите, так пусть и будет.

Тэннер поворачивает голову и пристально смотрит на Рэмсдена, но тот сердито отворачивается, не желая понимать его немую реплику.

Энн *(продолжает тем же нежным голосом, как бы не замечая бестактности матери)*. Мама знает, что ей не по силам нести всю ответственность за меня и Роду, не получая ни от кого совета и помощи. Роде необходим опекун; а я хоть и старше, но мне кажется, что незамужняя молодая женщина не должна быть целиком предоставлена самой себе. Вы, я думаю, согласны со мной, дединька?

Тэннер *(подскочив)*. Дединька! Вы намерены называть своих опекунов дединьками, Энн?

Энн. Джек, не говорите глупостей. Мистер Рэмсден всегда был для меня дедушкой Роубэком. Я – дединькина Энн-инька, а он – Энниньки дединька. Я назвала его так, едва научилась говорить.

Рэмсден *(саркастически)*. Полагаю, вы удовлетворены, мистер Тэннер? Продолжайте, Энни; я вполне согласен с вами.

Энн. А раз мне нужен опекун, как я могу отводить тех, кого мне выбрал мой дорогой папочка?

Рэмсден *(кусая губы)*. Значит, вы одобряете выбор вашего отца?

Энн. Я не могу одобрять или не одобрять. Я принимаю его. Папочка любил меня и лучше меня знал, что мне нужно.

Рэмсден. Я вполне понимаю ваши чувства, Энни. Они вам делают честь; ничего иного, впрочем, я от вас и не ожидал. Но вопрос сложнее, чем вам кажется. Позвольте, я поясню на примере. Предположим, вы бы узнали, что я совершил бесчестный поступок,— что я не тот, за кого принимал меня наш дорогой покойник. Вы все-таки считали бы правильным, чтобы я стал опекуном Роды?

Энн. Вы — и бесчестный поступок, дединька? Не могу себе этого даже представить!

Тэннер *(Рэмсдену)*. Неужели вы в самом деле что-нибудь такое сделали?

Рэмсден *(с негодованием)*. Конечно нет, сэр.

Миссис Уайтфилд *(миролюбиво)*. Ну так зачем же это предполагать?

Энн. Вот видите, дединька, мама не хочет, чтобы я предполагала.

Рэмсден *(в полном замешательстве)*. Вы обе, естественно, вкладываете столько чувства в разрешение этих семейных вопросов, что мне очень трудно изложить вам дело, как оно есть.

Тэннер. Тем более, друг мой, что вы не излагаете дело, как оно есть.

Рэмсден *(сердито)*. В таком случае излагайте сами.

Тэннер. Сейчас. Энн, Рэмсден считает, что я не гожусь вам в опекуны; и я с ним вполне согласен. Он думает, что если бы ваш отец читал мою книгу, он бы меня не назначил. Эта книга и есть бесчестный поступок, о котором шла речь. Он считает, что ваш долг перед Родой — просить, чтобы он единолично взял на себя обязанности опекуна, а я бы от них отказался. Скажите свое слово, и я откажусь.

Энн. Но я не читала вашей книги, Джек.

Тэннер *(ныряя в корзину для бумаг, чтобы выудить оттуда книгу)*. Так прочтите ее сейчас же и решайте.

Рэмсден *(в неистовстве)*. Как ваш будущий опекун, Энни, я категорически запрещаю вам читать эту книгу! *(Встает, стукнув кулаком по столу.)*

Энн. Раз вы не хотите, я, конечно, не стану. *(Кладет книгу на стол.)*

Тэннер. Как же быть, если один опекун запрещает вам читать книгу, написанную другим опекуном? А если я вам прикажу ее прочесть? Ведь вы и меня должны слушаться.

Энн *(кротко)*. Я уверена, Джек, что вы никогда не поставите меня намеренно в такое затруднительное положение.

Рэмсден *(раздраженно)*. Да, да, Энни, все это очень хорошо, и, как я уже сказал, вполне естественно и понятно. Но вы должны выбрать что-нибудь одно. Это положение в равной мере затруднительно и для нас.

Энн. Я, право, слишком молода, слишком неопытна, чтобы решать. Воля моего отца для меня священна.

Миссис Уайтфилд. Если уж вы, мужчины, не хотите с этой волей считаться, нехорошо с вашей стороны перекладывать всю ответственность на Энн. Почему это люди всегда все стараются свалить на других?

Рэмсден. Мне очень жаль, если вы представляете себе дело таким образом.

Энн *(умильно)*. Неужели вы откажетесь взять меня под свою опеку, дединька?

Рэмсден. Нет. Я этого не говорил. Я только очень не хотел бы делить свои полномочия с мистером Тэннером, вот и все.

Миссис Уайтфилд. А почему? Что вам сделал бедный Джек?

Тэннер. У меня для него слишком передовые взгляды.

Рэмсден *(возмущенно)*. Неправда. Я решительно протестую против этого.

Энн. Ну конечно, неправда. Что за глупости! Самые передовые взгляды всегда были у дединьки! Я уверена, что это Джек во всем виноват. Полно, Джек! Будьте великодушны ко мне в моем горе. Вы ведь не откажетесь взять меня под свою опеку, правда?

Тэннер *(мрачно)*. Нет. Я сам впутался в эту историю; так что, видимо, придется мне расплачиваться. *(Отходит к книжному шкафу и, повернувшись спиной, угрюмо изучает заглавия на корешках книг.)*

Энн *(встает, сияя сдерживаемой, но бурной радостью)*. Ну, вот мы и сговорились; и воля дорогого папочки будет исполнена. Если б вы знали, какая это радость для меня и для мамы! *(Подходит к Рэмсдену и берет его за обе руки со словами.)* И мой милый дединька будет наставлять меня и поддерживать. *(Оглядывается через плечо на Тэннера.)* И Джек Победитель Великанов тоже. *(Идет мимо кресла матери к Октавиусу.)* И его неразлучный дружок Рикки-Тикки-Тави!

Октавиус краснеет; вид у него до крайности глупый.

Миссис Уайтфилд *(встает и расправляет свой вдовий креп)*. Раз уж вы теперь опекун Энн, мистер Рэмсден, хоть бы вы ее отучили от этой несносной привычки давать людям прозвища. Вряд ли это кому-нибудь может нравиться. *(Идет к двери.)*

Энн. Ах, мама, что вы говорите! *(Покраснев от искреннего раскаяния.)* Неужели это правда? Я как-то никогда не думала... *(Поворачивается к Октавиусу, который сидит на стуле верхом, облокотившись на спинку, кладет ему руку на лоб и запрокидывает его голову.)* Вы хотите, чтоб с вами обращались, как со взрослым? Может быть, мне впредь называть вас мистер Робинсон?

Октавиус *(серьезно)*. О нет, пожалуйста, зовите меня Рикки-Тикки-Тави. Я просто не перенесу «мистера Робинсона».

Энн *(смеется и треплет его по щеке, потом возвращается к Рэмсдену)*. А ведь, пожалуй, дединька и в самом деле звучит дерзко. Но только мне и в голову не приходило, что это может вас обидеть.

Рэмсден *(растаяв, треплет ее по плечу)*. Глупости, дорогая Энни, глупости. Я настаиваю на «дединьке». Я Энниньки дединька — и на другое имя просто откликаться не буду.

Энн *(с признательностью)*. Все вы меня балуете, — все, кроме Джека.

Тэннер *(у шкафа, говорит через плечо)*. Да, я считаю, что вы должны называть меня мистер Тэннер.

Энн *(кротко)*. Вовсе вы этого не считаете, Джек. Это вы только так говорите, назло. Обычная ваша манера; тот, кто вас знает, не станет обращать на это внимания. Но если хотите, в честь вашего прославленного предка я могу называть вас Дон Жуаном.

Рэмсден. Дон Жуаном?

Энн *(невинно)*. А разве это нехорошо? Я не знала. Ну тогда я, конечно, не буду. Можно мне называть вас Джек, пока я не придумаю что-нибудь другое?

Тэннер. Нет, уж ради всего святого больше ничего не придумывайте. Я сдаюсь. Я согласен на Джека. Я в восторге от Джека. На том кончается моя первая и последняя попытка утвердить свой авторитет.

Энн. Вот видите, мама, всем нравится, когда их зовут ласкательными именами.

Миссис Уайтфилд. А все-таки ты бы могла бросить эту привычку хотя бы на время траура.

Энн *(пораженная в самое сердце, с упреком)*. О мама, зачем вы мне напомнили? *(Поспешно выходит из комнаты, чтобы скрыть свое волнение.)*

Миссис Уайтфилд. Ну конечно, опять я виновата. *(Идет вслед за Энн.)*

Тэннер *(отходя от шкафа)*. Что ж, Рэмсден, мы разбиты, уничтожены, обращены в ничто, не лучше мамаши.

Рэмсден. Глупости, сэр! *(Выходит из комнаты вслед за миссис Уайтфилд.)*

Тэннер *(оставшись наедине с Октавиусом, смотрит на него лукавым, испытующим взглядом)*. Тави! Хотел бы ты чего-нибудь достигнуть в жизни?

Октавиус. Я хотел бы стать великим поэтом. Я хотел бы написать драму.

Тэннер. С Энн в качестве героини?

Октавиус. Да. Ты угадал.

Тэннер. Берегись, Тави. Энн в качестве героини драмы — это еще ничего. Но если ты не будешь остерегаться — даю голову на отсечение, она за тебя выйдет замуж.

Октавиус *(вздыхая)*. Ах, Джек, если бы я мог на это надеяться!

Тэннер. Голубчик мой, да ведь твоя голова в пасти у тигрицы! Ты уже почти проглочен, в три приема: раз — Рикки; два — Тикки; три — Тави, — и поминай как звали!

Октавиус. Она со всеми такая, Джек; ты ведь ее знаешь

Тэннер. Да. Она каждому перешибает лапой спину; но весь вопрос в том, кого из нас она съест? Мне лично кажется, что она думает съесть тебя.

Октавиус *(встает, сердито)*. Возмутительно — говорить в таком тоне о девушке, которая в соседней комнате оплакивает своего отца. Но я так хочу, чтоб она меня съела, что готов терпеть твои грубости, ибо ты мне подаешь надежду.

Тэннер. Вот видишь, Тави, это и есть сатанинское в женщине: она заставляет человека стремиться к собственной гибели.

Октавиус. Какая же это гибель? Это достижение заветной цели.

Тэннер. Да, *ее* цели; но эта цель не в том, чтобы дать счастье тебе или себе, а лишь в том, чтобы удовлетворить природу. Женщина одержима слепою страстью созидания. Этой страсти она приносит в жертву себя; что же, ты думаешь, она остановится перед тем, чтобы и тебя принести в жертву?

Октавиус. Но именно потому, что ей свойственно самопожертвование, она не станет приносить в жертву тех, кого любит.

Тэннер. Глубочайшее заблуждение, Тави. Женщины, склонные к самопожертвованию, особенно легко приносят в жертву других. Они чужды эгоизма и потому добры в мелочах. Они служат цели, которая продиктована не их личными интересами, а интересами вселенной, и поэтому мужчина для них — лишь средство к достижению этой цели.

Октавиус. Ты несправедлив, Джек. Разве они не окружают нас самой нежной заботой?

Тэннер. Да, как солдат свою винтовку или музыкант свою скрипку. Но разве мы смеем стремиться к собственной цели или проявлять собственную волю? Разве бывает, чтобы одна женщина уступила мужчину другой? И как бы ни был силен мужчина, разве он может спастись, если уж он стал собственностью? Женщины дрожат, когда мы в опасности, и плачут, когда мы умираем,— но это не о нас слезы, а о возможном отце, о понапрасну вскормленном сыне. Они обвиняют нас в том, что мы видим в них лишь орудие наслаждения; но может ли такой слабый, мимолетный каприз, как наслаждение одного мужчины, настолько поработить женщину, насколько цель всей природы, воплощенная в женщине, порабощает мужчину?

Октавиус. Но ведь это рабство делает нас счастливыми? Так не все ли равно?

Тэннер. Все равно, если не имеешь собственной цели в жизни и, подобно большинству мужчин, являешься просто кормильцем семьи. Но ведь ты — художник; а это значит, что у тебя есть своя цель, такая же всепоглощающая и корыстная, как цель женщины.

Октавиус. Как это корыстная?

Тэннер. А очень просто. Истинный художник скорее допустит, чтобы его жена голодала, дети ходили босыми, семидесятилетняя мать гнула спину ради его пропитания, чем станет заниматься чем-нибудь, кроме своего искусства. С женщинами он наполовину вивисектор, наполовину вампир. Он вступает с ними в интимные отношения для того, чтобы изучить их, чтобы сорвать с них маску условностей, чтобы проникнуть в самые сокровенные их тайны, зная, что они способны вызвать к жизни заложенную в нем творческую энергию, спасти его от холод-

ной рассудочности, заставить его грезить и видеть сны, вдохновлять его, как он это называет. Он убеждает женщин, что все это приближает их к цели, тогда как на самом деле он думает только о своей. Он похищает молоко матери и превращает его в черную типографскую краску, чтобы, насмеявшись над своей жертвой, прославлять некий отвлеченный идеал женщины. Под предлогом избавления ее от мук материнства он стремится сохранить для себя одного заботу и нежность, которые по праву принадлежат ее детям. С тех пор, как существует институт брака, великие художники всегда были известны как дурные мужья. Хуже того: каждый из них — вор, обкрадывающий детей, кровопийца, лицемер и плут. Пусть выродится человечество, пусть тысячи женщин иссохнут в бесплодии, если только это поможет ему лучше сыграть Гамлета, написать более талантливую картину, создать проникновенную поэму, замечательную пьесу, глубокую философскую систему! Помни, Тави, художник творит затем, чтобы показать нас самим себе такими, какие мы есть. Наш разум — не что иное, как самопознание; и тот, кто хоть ничтожную каплю может прибавить к этому познанию, обновляет разум, — подобно тому как женщина обновляет человеческий род. В своем неистовстве созидания он так же безжалостен, как и женщина, так же опасен для нее, как она для него, и так же грозно пленителен. Человечество не знает борьбы более коварной и беспощадной, чем борьба мужчины-художника с женщиной-матерью. Кто кого? Иного исхода нет. И борьба смертельна именно потому, что, выражаясь вашим романтическим языком, они любят друг друга.

Октавиус. Будь это даже так — чего я ни на минуту не допускаю, — ведь именно в смертельной борьбе выковываются благородные характеры.

Тэннер. Советую тебе вспомнить об этом при ближайшей встрече с медведем гризли или с бенгальским тигром.

Октавиус. Я хотел сказать: там, где есть любовь, Джек.

Тэннер. О, тигр будет любить тебя! Нет любви более искренней, чем любовь к тому, что можно употребить в пищу. По-моему, именно так тебя любит Энн; она похлопала тебя по щеке, словно это была в меру поджаренная баранья котлетка.

Октавиус. Знаешь ли, Джек, мне бы давно следовало убежать от тебя без оглядки, если б я не взял себе за

правило не обращать внимания на твои слова. Ты иногда говоришь такое, что просто слушать невыносимо.

Возвращается Рэмсден, и за ним Энн. Они входят быстрым шагом, прежний досужий и торжественно-скорбный вид сменился у них выражением неподдельной озабоченности, а у Рэмсдена, кроме того, и тревоги. Он останавливается, собираясь обратиться к Октавиусу, но при виде Тэннера сразу спохватывается.

Рэмсден. Никак не думал застать вас еще здесь, мистер Тэннер.

Тэннер. Я мешаю? Всего наилучшего, коллега опекун. *(Идет к двери.)*

Энн. Джек, погодите. Ведь все равно, дединька, рано или поздно он узнает.

Рэмсден. Октавиус! Я должен сообщить вам нечто в высшей степени серьезное. Речь идет о весьма интимном и щекотливом обстоятельстве – и весьма неприятном, как ни грустно мне в этом признаться. Вы желаете, чтобы я говорил в присутствии мистера Тэннера?

Октавиус *(побледнев)*. У меня нет секретов от Джека.

Рэмсден. Прежде чем вы примете окончательное решение, я должен вас предупредить, что дело касается вашей сестры и что произошло нечто ужасное.

Октавиус. Вайолет?! Что случилось? Она... она умерла?

Рэмсден. Это было бы не самое худшее.

Октавиус. Ранена? Несчастный случай?

Рэмсден. Да нет же. Совсем другое.

Тэннер. Энн, может быть, у вас хватит элементарной человечности толком сказать нам, в чем дело?

Энн *(шепотом)*. Не могу. Вайолет совершила нечто ужасное. Придется увезти ее куда-нибудь. *(Порхнув к письменному столу, усаживается в кресло Рэмсдена, предоставив мужчинам самим выпутываться из затруднения.)*

Октавиус *(озаренный догадкой)*. Мистер Рэмсден, вы хотите сказать...

Рэмсден. Да.

Октавиус, уничтоженный, падает в кресло.

Боюсь, нам придется признать установленным факт, что три недели тому назад, когда все мы считали, что Вайолет гостит у Парри Уайтфилдов, она находилась вовсе не в Истборне. А не далее как вчера миссис Парри Уайт-

филд встретила ее с обручальным кольцом на пальце в приемной у некоего врача; таким образом все и раскрылось.

Октавиус *(вскакивает, сжимая кулаки)*. Кто этот негодяй?

Энн. Она не говорит.

Октавиус *(снова рухнув в кресло)*. Какой ужас!

Тэннер *(с едким сарказмом)*. Ужасно! Потрясающе! Хуже смерти, как считает Рэмсден. *(Подходит к Октавиусу.)* Ты бы, наверно, предпочел услышать, что она попала под поезд и осталась без ног или еще что-нибудь столь же благопристойное и заслуживающее сочувствия.

Октавиус. Как ты жесток, Джек!

Тэннер. Жесток? Но послушай, милый мой, чего ты, собственно, убиваешься? Вот женщина, о которой все мы до сих пор знали только то, что она рисует скверные акварели, разыгрывает на рояле Грига и Брамса, бегает по концертам и по гостям, тратя впустую жизнь и деньги. И вдруг мы узнаем, что она бросила всю эту дребедень и обратилась к своей величайшей цели и самому высокому назначению — увеличивать, умножать и пополнять население земли. И вместо того, чтобы восхититься ее мужеством и возрадоваться проявлению великого инстинкта, вместо того, чтоб увенчать торжество женской сущности и возгласить в победном гимне «Младенец родился нам; сын дан нам», — вы, весело чирикавшие под траурным крепом, строите постные мины, и вид у вас такой жалкий и пристыженный, словно девушка совершила самое отвратительное преступление.

Рэмсден *(рыча от бешенства)*. Я не потерплю, чтобы подобные гнусности произносились в моем доме! *(Ударяет кулаком по столу.)*

Тэннер. Слушайте, если вы еще раз оскорбите меня, я поймаю вас на слове и уйду из вашего дома. Где сейчас Вайолет, Энн?

Энн. А что? Вы к ней пойдете?

Тэннер. Конечно, я к ней пойду. Ей нужна помощь; ей нужны деньги; ей нужно знать, что ее уважают, радуются за нее; нужна уверенность, что ее ребенок ни в чем не будет нуждаться. От вас она вряд ли получит все это; пусть же получит от меня. Где она?

Энн. До чего вы своенравны, Джек. Она наверху.

Тэннер. Как? Под священным кровом Рэмсдена? Скорей, Рэмсден, идите и свершите свой жалкий долг. Выбросьте ее на улицу. Отмойте свой порог от прикосновения за-

разы. Восстановите чистоту английского домашнего очага. Я иду за кэбом.

Энн *(встревоженно)*. Нет, нет, дединька, не надо!

Октавиус *(встает, убитый горем)*. Я увезу ее, мистер Рэмсден. Она не смела являться в ваш дом.

Рэмсден *(возмущенно)*. Но я только и думаю о том, как помочь ей. *(Повернувшись к Тэннеру.)* Кто дал вам право, сэр, приписывать мне столь чудовищные намерения? Я протестую. Я готов отдать свой последний пенни, чтобы избавить ее от необходимости искать защиты у вас.

Тэннер *(сразу унимаясь)*. Ну вот и отлично. Он не собирается поступать согласно своим принципам. Значит, решено: мы все окажем Вайолет поддержку.

Октавиус. Но кто виновник? Он может исправить зло, женившись на ней; и он сделает это — или будет иметь дело со мной!

Рэмсден. Правильно, Октавиус. Вот это слова мужчины!

Тэннер. Значит, он, по-твоему, не такой уж негодяй?

Октавиус. Что? Да он величайший негодяй!

Рэмсден. Отъявленный негодяй, черт его побери! Простите меня, Энни, я не мог сдержаться.

Тэннер. Так, значит, чтобы возвратить твою сестру на путь добродетели, мы должны выдать ее замуж за отъявленного негодяя? Честное слово, вы все с ума сошли.

Энн. Джек, не говорите глупостей. Конечно, вы совершенно правы, Тави; но только мы ведь не знаем, кто он. Вайолет не говорит.

Тэннер. А зачем нам это знать, спрашивается? Он свое сделал; остальное — дело Вайолет.

Рэмсден *(вне себя)*. Вздор! Бред! В нашу среду проник мерзавец, распутник, злодей, который хуже убийцы, — и мы не должны знать его имени? Мы останемся в неведении и будем пожимать ему руку, принимать его у себя в доме, доверять ему своих дочерей! Мы... Мы....

Энн *(умиротворяюще)*. Ну, ну, дединька, зачем так громко? Все это ужасно, никто не спорит. Но раз Вайолет не говорит, что же мы можем сделать? Ничего. Решительно ничего.

Рэмсден. Пфф! Я в этом не уверен. Если есть такой человек, который когда-нибудь оказывал Вайолет особое внимание, это нетрудно установить. Если есть среди нас человек, отличающийся распущенностью взглядов...

Тэннер. Гм!

Рэмсден *(повышая голос)*. Да, сэр, я повторяю: если есть

среди нас человек, отличающийся распущенностью взглядов...

Тэннер. Или человек, отличающийся неумением владеть собой...

Рэмсден *(потрясенный)*. Вы смеете намекать, что я способен на такое дело?

Тэннер. Дорогой мой Рэмсден, на такое дело способен каждый мужчина. Нельзя безнаказанно прекословить природе. Подозрение, которое вы только что бросили мне, приложимо к любому из нас. Оно — точно комок грязи, который одинаково пристает и к лохмотьям бродяги, и к судейской мантии, и к облачению кардинала. Ну, ну, Тави! Не смотри на меня с таким ужасом. Это мог быть я, мог быть Рэмсден, мог быть кто угодно. И любому из нас в этом случае оставалось бы только одно: запираться и протестовать — как сейчас запротестует Рэмсден.

Рэмсден *(задыхаясь)*. Я... я... я...

Тэннер. Самое тяжкое сознание вины не могло бы так парализовать человеческую речь. А ведь он ни в чем не повинен, Тави, и ты это знаешь.

Рэмсден *(обессиленный)*. Очень рад, что вы признаете это, сэр. Я, со своей стороны, готов признать, что в ваших словах есть некоторая доля истины, хоть и искаженная самым грубым образом в угоду вашему злобному юмору. Октавиус, я надеюсь, вы не допускаете мысли о том, чтобы подозревать меня?

Октавиус. Вас? О нет, ни на минуту!

Тэннер *(сухо)*. Кажется, он чуть-чуть подозревает меня.

Октавиус. Джек! Это не... ты не...

Тэннер. А почему бы и нет?!

Октавиус *(в ужасе)*. Почему бы и нет?!

Тэннер. Ладно, ладно, я скажу тебе, почему нет. Во-первых, ты бы тогда счел своим долгом поссориться со мной. Во-вторых, Вайолет я не нравлюсь. В-третьих, если бы мне принадлежала честь быть отцом ребенка Вайолет, я бы гордился этим, а не прятался. Так что будь покоен: наша дружба вне опасности.

Октавиус. Я бы сразу с отвращением отогнал эту мысль, если б ты относился к таким вещам, как все люди. Прости меня.

Тэннер. Простить? Что за чушь! Давай лучше сядем и откроем семейный совет. *(Садится, Остальные, с большей или меньшей неохотой, следуют его примеру.)* Итак, Вайолет готовится оказать услугу государству, а поэтому ее нужно

на время отправить в ссылку, как преступника. Что там происходит, наверху?

Энн. Вайолет у экономки в комнате; одна, конечно.

Тэннер. А почему не в гостиной?

Энн. Не говорите глупостей, Джек. В гостиной мисс Рэмсден и мама, они обдумывают, как быть.

Тэннер. Ага, понимаю! Комната экономки служит камерой предварительного заключения, и обвиняемая дожидается вызова, чтобы предстать перед судом. Ах, старые кошки!

Энн. Джек!

Рэмсден. Вы находитесь в доме у одной из «старых кошек», сэр. Моя сестра – хозяйка здесь.

Тэннер. Она бы и меня посадила в комнату экономки, если б только посмела. Впрочем, я готов взять «кошек» обратно. Кошки проявили бы больше здравого смысла. Энн! На правах опекуна приказываю вам сейчас же отправиться к Вайолет и обходиться с ней как можно ласковее.

Энн. Я уже была у нее, Джек. И, как это ни грустно, боюсь, что она будет упрямиться насчет отъезда за границу. Пусть лучше Тави поговорит с ней.

Октавиус. Как я могу говорить с ней о таких вещах? *(Он в отчаянии.)*

Энн. Не отчаивайтесь, Рикки. Ради всех нас постарайтесь перенести это с достоинством.

Рэмсден. Жизнь состоит не из одних лишь поэм и пьес, Октавиус. Полно! Будьте мужчиной.

Тэннер *(снова вскипая)*. Бедный, несчастный брат! Бедные, несчастные друзья дома! Бедные, несчастные тетушки и кумушки! Все, все бедные и несчастные, кроме женщины, которая рискует своей жизнью, чтобы сотворить новую жизнь! Тави, не будь эгоистичным ослом! Сейчас же ступай к Вайолет! Поговори с ней и потом приведи ее сюда, если только она захочет прийти.

Октавиус встает.

Скажи ей, что мы все готовы поддержать ее.

Рэмсден *(встает)*. Однако, сэр...

Тэннер *(тоже встает и перебивает его)*. Да, да, все понятно. Это против вашей совести; но вы все-таки пойдете на это.

Октавиус. Даю вам всем честное слово, я меньше всего думаю о себе. Так трудно решить, как поступить, если искренне хочешь поступить справедливо.

Тэннер. Дорогой мой Тави, ты, как всякий благочестивый англичанин, привык смотреть на мир, как на гимнастиче-

ский зал для нравственных тренировок, выстроенный специально, чтобы ты мог упражняться в силе характера. Вот что подчас заставляет тебя думать о своих дурацких принципах там, где следовало бы думать о чужой нужде. В настоящую минуту самое существенное – счастливая мать и здоровый ребенок. Устреми на это всю свою энергию, и тебе сразу станет ясно, что делать.

Октавиус, растерянный, выходит из комнаты.

Рэмсден *(внушительно смотрит на Тэннера)*. Ну, а нравственность, сэр? Что будет с нравственностью?

Тэннер. Вы хотите видеть кающуюся Магдалину и невинное дитя, заклейменное позором? Нет, благодарю вас. Нравственность – к черту, ее прародителю.

Рэмсден. Я так и думал, сэр. В угоду распутникам обоего пола нравственность должна быть послана к черту. И это – будущее Англии?

Тэннер. Ну, Англия переживет как-нибудь ваше неодобрение. А пока что разрешите считать, что вы согласны со мной относительно практических мер, которые нам следует принять.

Рэмсден. Да, но в ином смысле, сэр; и из иных побуждений.

Тэннер. Это все вы можете объяснить, если от вас потребуют отчета на этом свете или на том. *(Отходит к стене и мрачно созерцает мистера Герберта Спенсера.)*

Энн *(встает и подходит к Рэмсдену)*. Дединька! Мне кажется, вы должны пойти в гостиную и сказать им, что мы решили.

Рэмсден *(искоса глядя на Тэннера)*. Не хотелось бы мне оставлять вас наедине с этим господином. Может быть, вы тоже пойдете в гостиную?

Энн. Мисс Рэмсден не захочет вести этот разговор при мне, дединька. Лучше мне не ходить.

Рэмсден. Вы правы; как это я сам не подумал! Вы умница, Энни. *(Треплет ее по плечу. Она поднимает на него сияющие глаза, и он выходит из комнаты, окончательно растроганный.)*

Спровадив его, Энн поворачивается к Тэннеру. Так как он стоит к ней спиной, она быстрым движением поправляет прическу, затем бесшумно подходит к Тэннеру и почти над самым его ухом произносит:

Энн. Джек!

Он вздрагивает и оглядывается.

Вы довольны, что будете моим опекуном? Или, может быть, вам неприятно, что пришлось взять на себя такую ответственность?

Тэннер. Ценное приобретение для вашей коллекции козлов отпущения, не правда ли?

Энн. Опять эта глупая старая шутка! Пожалуйста, не повторяйте ее. Зачем вы говорите то, что заведомо должно меня огорчить? Я так стараюсь угодить вам, Джек; раз вы мой опекун, я теперь могу вам сказать об этом. Мне будет так грустно, если вы не захотите, чтоб мы были друзьями.

Тэннер *(разглядывая ее так же мрачно, как до того разглядывал бюст Спенсера)*. Вам нет никакой надобности улещать меня. Многого стоят наши моральные суждения! Вот я, например, знаю, что у вас нет и тени совести, одно лицемерие, — впрочем, для вас это одно и то же, — и все-таки чем-то вы для меня привлекательны. Как-то всегда выходит, что я исполняю ваши капризы. Если б вы вдруг исчезли из моей жизни, мне бы вас недоставало.

Энн *(спокойно берет его под руку и вместе с ним идет по комнате)*. Что же тут удивительного, Джек? Мы знаем друг друга с детства. Вы помните...

Тэннер *(резким движением высвобождая руку)*. Молчите! Я все помню.

Энн. Ах, правду сказать, мы часто делали глупости, но...

Тэннер. Довольно, Энн. Я уже вышел из школьного возраста и еще не превратился в слабоумного старикашку — что неизбежно, если я доживу лет до девяноста. Дело прошлое; дайте мне забыть об этом.

Энн. А разве не хорошо было тогда? *(Делает попытку снова завладеть его рукой.)*

Тэннер. Сядьте и ведите себя как следует. *(Силой усаживает ее в кресло у письменного стола.)* Конечно, вам тогда было хорошо. Вы были примерной девочкой и ни разу себя не скомпрометировали. И тем не менее вы веселились больше, чем самые отъявленные шалуньи, которым то и дело достается за проказы. Я отлично понимаю, каким образом вам удалось держать в подчинении других девочек: вы их подавляли своей добродетелью. Но скажите мне вот что: встречали вы когда-нибудь примерного мальчика?

Энн. Конечно. Правда, каждому мальчику случается делать глупости; но возьмите Тави — он всегда был примерным.

Тэннер *(пораженный)*. Да! Это совершенно верно! Почему-то вы никогда не пытались искушать Тави!

Энн. Искушать? Джек!

Тэннер. Да, леди Мефистофель, искушать! Мальчики всегда внушали вам неистребимое любопытство, и вы чертовски ловко умели обмануть их осторожность и проникнуть в самые сокровенные их тайны.

Энн. Какой вздор! Вы сами постоянно рассказывали мне бесконечные истории о разных своих «злодеяниях» — глупых мальчишеских проделках. И это вы называете сокровенными тайнами! У мальчишек тайны такие же, как у взрослых мужчин; а что такое тайна мужчины, вы знаете.

Тэннер *(упрямо)*. Нет, не знаю. Может быть, вы мне скажете?

Энн. Пожалуйста: это то, о чем он рассказывает всем и каждому.

Тэннер. А я могу поклясться, что ни одной душе не рассказывал того, что рассказывал вам. У нас был уговор не иметь секретов друг от друга. Это придумали вы и уверили меня, что мы будем рассказывать друг другу решительно все. А я и не замечал, что вы мне никогда ничего не рассказываете.

Энн. Вас не интересовали мои дела, Джек. Вам всегда хотелось говорить только о себе.

Тэннер. Да, это так; к сожалению, это так. Но какой дьявольской проницательностью должна была обладать маленькая девочка, чтобы подметить слабую струнку и так мастерски играть на ней ради удовлетворения собственного любопытства! Да, мне хотелось порисоваться перед вами, придать себе в ваших глазах больше интереса. И вот я пускался на всякие рискованные проделки, просто для того, чтоб было о чем вам потом рассказать. Я дрался с мальчишками, к которым не чувствовал злобы, лгал там, где совершенно спокойно мог бы сказать правду, крал вещи, которые не были мне нужны, целовал девочек, которые мне не нравились. Все это была лишь бравада; в этом не было страсти, а потому не было и смысла.

Энн. Я ни разу не выдала вас, Джек.

Тэннер. Верно; но вы не задумались бы меня выдать, если б захотели прекратить это. Просто вам это нравилось.

Энн *(вспыхнув)*. Неправда! Вот уж неправда, Джек! Никогда мне не нравились ваши скучные, грубые, глупые, мелочные, вульгарные выходки. Я всегда надеялась, что вы наконец совершите что-нибудь по-настоящему героическое. *(Овладев собой.)* Вы не обижайтесь, Джек; но все то, что вы делали, так мало походило на то, чего я от вас ждала.

Часто мне становилось не по себе от ваших проделок; но выдать вас и подвести под наказание я не могла. И потом ведь вы были еще мальчиком. Я верила, что когда-нибудь вы перерастете все эти мальчишества. Может быть, я ошиблась.

Тэннер *(насмешливо)*. Пусть совесть вас не мучает, Энн. Из двадцати рассказов о моих подвигах не меньше девятнадцати было чистым враньем. Я очень скоро заметил, что вы не любите правды.

Энн. Конечно, многое вы просто выдумывали, и я это отлично понимала. Но...

Тэннер. Вы хотите напомнить мне, что самое постыдное было не выдумано?

Энн *(ласково — к его величайшему ужасу)*. Я ни о чем вам не хочу напоминать. Но я знала тех, кого это касалось, и кое-что слышала не только от вас.

Тэннер. И все-таки даже то, что на самом деле было, я всячески приукрашивал в рассказе. Взрослые настолько толстокожи, что унижения впечатлительного от природы мальчика им кажутся забавными; но сам он так остро, так мучительно чувствует эти унижения, что не может в них признаться, — ему остается лишь страстно отрицать их. Впрочем, оно, пожалуй, и лучше, что я немного фантазировал, — потому что единственный раз, когда я сказал вам чистую правду, вы пригрозили меня выдать.

Энн. Неправда. Никогда этого не было.

Тэннер. Было. Помните черноглазую девочку по имени Рэчел Розтри?

Энн невольно хмурит на мгновение брови.

Я затеял с ней роман; однажды вечером мы встретились в саду, долго гуляли обнявшись — хоть это было очень неудобно, на прощанье поцеловались и вообще старались, чтобы все было как можно романтичнее. Затянись этот роман, он бы мне надоел до смерти; но он кончился очень быстро. Вскоре после этого вечера Рэчел со мной поссорилась, потому что узнала, что я все рассказал вам. Кто ей сказал об этом? Вы сами. Вы подвесили над ее головой дамоклов меч и держали ее в постоянном страхе и унижении, угрожая выдать эту преступную тайну.

Энн. И правильно сделала. Я считала своим долгом помешать ее недостойному поведению; она мне по сию пору благодарна.

Тэннер. Неужели?

Энн. Во всяком случае, должна быть благодарна.

Тэннер. Но моему недостойному поведению вы не считали своим долгом мешать?

Энн. Помешав ей, я тем самым помешала и вам.

Тэннер. Вы уверены? Вы помешали мне рассказывать вам о своих похождениях; но откуда вы знаете, что они прекратились?

Энн. Вы хотите сказать, что у вас потом были такие же отношения с другими девочками?

Тэннер. Нет. С романтическими бреднями я после Рэчел покончил.

Энн *(не вполне убежденная)*. Почему же вы перестали поверять мне ваши секреты и так отдалились от меня?

Тэннер *(загадочным тоном)*. Видите ли, именно в эту пору у меня появилось нечто такое, что я хотел сохранить для себя одного и не намерен был делить с вами.

Энн. Уж, наверно, я не стала бы просить у вас то, что вам было жалко отдать.

Тэннер. Это была не коробка конфет, Энн. Это было нечто такое, что вы никогда не позволили бы мне считать своим.

Энн *(недоверчиво)*. Что же это было?

Тэннер. Моя душа.

Энн. Ах, давайте говорить серьезно, Джек. Ну кому нужны эти глупости?

Тэннер. Я как нельзя более серьезен, Энн. Вы тогда не заметили, что и у вас появилась душа. А между тем это так и было. Не случайно вы вдруг почувствовали, что карать и перевоспитывать Рэчел — ваш нравственный долг. Раньше вы успешно строили из себя пай-девочку, но мысль о долге по отношению к другим пришла вам в голову впервые. Вот и со мной случилось то же. До той поры я вел жизнь юного пирата и был не совестливее лисы в курятнике. Но тут я начал кое в чем сомневаться, я почувствовал, что у меня есть обязанности, я вдруг обнаружил, что и честь и правдивость — не только красивые слова, которыми любят перекидываться взрослые, а принципы, заложенные во мне самом.

Энн *(спокойно)*. Да, по-видимому, вы правы. Это было начало зрелости. Вы становились мужчиной, я — женщиной.

Тэннер. А вы не думаете, что это было начало еще чего-то? Что, собственно, в устах большинства означает стать мужчиной или стать женщиной? Вы знаете: это означает полюбить. Но любовь для меня началась гораздо раньше.

Любовь играла свою роль в самых ранних мечтах, фантазиях, снах, которые я могу припомнить, — разрешите мне сказать: которые *мы* можем припомнить, — хотя в то время мы этого не понимали. Нет. Та перемена, что совершилась во мне, означала рождение духовной страсти; и я утверждаю, на основании своего личного опыта, что духовная страсть — единственная подлинная, чистая страсть.

Энн. Нечистых страстей вообще не должно быть, Джек.

Джек. Что значит — не должно быть? Какая сила может заставить страсть следовать требованиям долга? Разве только другая, еще более сильная страсть.

Энн. Наше духовное начало должно обуздывать страсти, Джек. Вы говорите вздор.

Тэннер. Духовное начало! А разве оно не есть страсть? Или все страсти — от дьявола, как и все прекрасные мелодии? Если б оно не было страстью, самой могущественной из всех страстей, — другие страсти смели бы его на своем пути, как листок, подхваченный ураганом. Именно эта страсть, рождаясь, делает из мальчика мужчину.

Энн. Есть другие страсти, Джек. И очень сильные.

Тэннер. Все другие страсти я знал и раньше, но они были мелки и бесплодны — детская жадность и детская злоба, любопытство и своенравие, привычки и суеверия, нелепые и смешные для зрелого разума. Когда они вдруг запылали, точно зажженный факел, — это был не собственный их огонь, а лишь отсвет просыпающейся духовной страсти. Эта страсть возвеличила их, придала им направленность и смысл; она встретила толпу слепых вожделений и превратила ее в организованную армию стремлений и принципов. Из этой страсти и родилась моя душа.

Энн. Я замечала, что вы становитесь разумнее. До этого вы были настоящим разрушителем.

Тэннер. Разрушителем? Ерунда! Я просто был скверным мальчишкой.

Энн. Ах нет, Джек, именно разрушителем! Вы перепортили все молодые ели, отсекая ветки деревянным мечом; вы перебили своей рогаткой стекла в парниках; вы подожгли траву на выгоне, — а полиция арестовала Тави, который пустился наутек, видя, что ему не отговорить вас; вы...

Тэннер. Та-та-та! Это же были битвы, бомбардировки, военные хитрости, предпринятые, чтобы спасти свой скальп от краснокожих. Вы лишены всякого воображения, Энн. Я теперь в десять раз больший разрушитель, чем был тогда. Духовная страсть обуздала мою разрушительную силу

и заставила ее служить возвышенным целям. Я стал реформатором и, как все реформаторы, иконоборцем. Я больше не бью парниковые стекла и не поджигаю кусты терновника, — я сокрушаю религии и разбиваю идолов.

Энн *(явно скучая)*. К сожалению, я, кажется, слишком женщина, чтобы видеть какой-либо смысл в разрушении. Разрушение только к разрухе и ведет.

Тэннер. Да. И в этом его польза. Строительство загромождает землю бездарными выдумками. Разрушение расчищает почву и дает нам простор и возможность вольно дышать.

Энн. Зря тратите слова, Джек. Ни одна женщина тут с вами не согласится.

Тэннер. Потому что вы путаете разрушение с убийством и строительство с созиданием. Это совершенно разные вещи. Я ненавижу убийство и преклоняюсь перед созидательной силой. Да, преклоняюсь, где бы я ни прозревал ее — в дереве и в цветке, в птице и в животном, даже в вас.

Выражение интереса и удовольствия сразу сгоняет с лица Энн появившуюся было тень недоумения и скуки.

Ведь вы повиновались созидательному инстинкту, когда привязали меня к себе узами, след от которых не изгладился до сих пор. Да, Энн. Наша детская интимность была неосознанной интимностью любви.

Энн. Джек!

Тэннер. О, не пугайтесь...

Энн. Я не испугалась.

Тэннер *(лукаво)*. Как же так? А ваши принципы?

Энн. Джек, вы шутите или говорите серьезно?

Тэннер. О чем? О духовной страсти?

Энн. Да нет же! О другой. *(Смутившись.)* Господи, вы такой глупый... Никогда не знаешь, как к вам относиться!

Тэннер. Вы должны относиться ко мне совершенно серьезно. Я ваш опекун, и развивать ваш ум — моя обязанность.

Энн. Значит, интимность любви прошла? Должно быть, я вам просто надоела.

Тэннер. Нет. Но духовная страсть сделала невозможными наши ребяческие отношения. Я ревниво оберегал свою вновь обретенную индивидуальность и...

Энн. Вы уже не могли допустить, чтобы на вас смотрели, как на мальчика. Бедный Джек!

Тэннер. Да, потому что смотреть на меня, как на мальчика,

значило видеть меня в прежнем свете. Я стал другим, новым человеком; а те, для кого существовал только прежний «я», смеялись надо мной. Единственный разумный человек был мой портной: он каждый раз наново снимал с меня мерку, тогда как все остальные подходили ко мне со старой и воображали, что она все еще соответствует моим действительным размерам.

Энн. Вы все время думали только о себе.

Тэннер. Когда вы попадете в рай, Энн, первый год или два вы все время будете думать о своих крыльях. А когда вы там встретите родственников и они упорно будут обращаться с вами так, словно вы обыкновенная смертная,— вы их просто возненавидите. Вам захочется иметь дело только с теми, кто вас узнал уже ангелом.

Энн. Значит, одно тщеславие заставило вас в конце концов от нас убежать?

Тэннер. Да, одно тщеславие, выражаясь вашим языком.

Энн. Но меня-то вам нечего было сторониться, если так.

Тэннер. Вас больше, чем кого-бы то ни было: вы сильнее всех противились моему самоутверждению.

Энн *(серьезно)*. Какая несправедливость! Я для вас на все была готова.

Тэннер. На все, кроме того, чтобы дать мне свободу. Инстинкт уже тогда подсказал вам дьявольскую уловку женщины — придавить мужчину бременем долга, покорно и безоговорочно отдаться на его волю, так чтобы в конце концов он шагу не смел ступить, не спросившись у нее. Есть у меня один знакомый; бедняга только об одном мечтает в жизни: как бы удрать от жены. Но он никогда на это не решится, потому что она пригрозила ему броситься под тот самый поезд, в котором он уедет. Так поступают все женщины. Нет такого закона, который запрещал бы нам идти куда-либо против вашего желания; но стоит нам сделать шаг — и нога наступит на вашу грудь; стоит тронуться с места — и ваше тело окажется под колесами. Нет! Еще не родилась та женщина, которая сумеет так поработить меня.

Энн. Но нельзя же прожить свою жизнь, совершенно не считаясь с другими, Джек.

Тэннер. А кто эти другие, хотел бы я знать? Вот это стремление считаться с другими — или, вернее, жалкая трусость, которую мы выдаем за стремление считаться с другими,— превращает нас в сентиментальных рабов. Считаться с вами, как вы это понимаете, значит подменить свою волю

вашей. А если ваша воля менее благородна, чем моя? У кого знаний больше, у женщины или у мужчины? Конечно, у мужчины. У толпы избирателей или у государственного деятеля? Конечно, у государственного деятеля. К чему же мы придем, если государственные деятели начнут считаться со своими избирателями, а в частной жизни — мужчины со своими женами? Что такое Церковь и Государство в наше время? Женщина и Налогоплательщик!

Энн *(мирным тоном)*. Я так рада, что вы разбираетесь в политике, Джек. Это вам очень пригодится, если вы попадете в парламент.

Он съеживается, точно проколотый воздушный шар.

Но мне очень грустно, что вы считаете мое влияние таким дурным.

Тэннер. Я этого не сказал. Дело не в том, дурное это влияние или хорошее, а в том, что я не хочу быть сшитым по вашей выкройке. И не бывать этому.

Энн. Никто этого и не добивается, Джек, уверяю вас; право же, я решительно ничего не имею против ваших странных взглядов. Вы ведь знаете, мы все воспитаны в духе передовых идей. Почему вы так упорно хотите считать меня ограниченной?

Тэннер. А, вот это и есть самое опасное! Конечно, вы ничего не имеете против, — вы убедились, что это не так важно. Когда боа-констриктор уже обвил своими кольцами тело лани, он ничего не имеет против ее взглядов.

Энн *(встает, осененная внезапной догадкой)*. А-а-а! Теперь я поняла, почему вы сказали Тави, что я — боа-констриктор. Мне дединька рассказывал! *(Со смехом накидывает ему на шею свое боа.)* А как тепло и приятно! Разве нет, Джек?

Тэннер *(барахтается в сетях)*. Бессовестная женщина, перестанете вы когда-нибудь лицемерить?

Энн. С вами я никогда не лицемерю, Джек. Вы сердитесь? *(Снимает с него боа и бросает на кресло.)* Не надо было мне этого делать.

Тэннер *(презрительно)*. Подумаешь, преступление! А почему бы и нет, раз это вам доставляет удовольствие?

Энн *(застенчиво)*. Потому что... потому что мне кажется, когда вы говорили о боа-констрикторе, вы имели в виду вот что. *(Закидывает ему руки на шею.)*

Тэннер *(пристально глядя на нее)*. Какая смелость!

Она смеется и гладит его по щеке.

Любопытно: вот вздумай я рассказать об этом, мне бы попросту не поверили, а кто и поверил бы, тут же осудил бы меня за мой рассказ; но если бы вы меня в этом обвинили, то ни одна душа не поверила бы моим запирательствам!

Энн *(с достоинством, снимая руки)*. Вы неисправимы, Джек. Зачем вы шутите над нашей привязанностью друг к другу? Никому не пришло бы в голову неправильно истолковать это. Вам ведь не приходит в голову, я надеюсь?

Тэннер. Моя кровь говорит за меня, Энн. Бедный Рикки-Тикки-Тави!

Энн *(метнув на него быстрый взгляд, словно озаренная неожиданной мыслью)*. Не так уж вы глупы, чтобы ревновать к Тави.

Тэннер. Ревновать! С какой стати? Но я не удивляюсь вашей власти над ним. Со мной вы только шутите, и то я уже чувствую, как вокруг меня стягиваются убийственные кольца.

Энн. Вы думаете, я имею виды на Тави?

Тэннер. Не думаю, а знаю.

Энн *(серьезно)*. Берегитесь, Джек. Вы причините Тави много горя, если наведете его на ложный след.

Тэннер. Не бойтесь. Он от вас не уйдет.

Энн. Хотелось бы мне знать: вы действительно умный человек?

Тэннер. Откуда это внезапное сомнение?

Энн. Вы как будто понимаете все, чего не понимаю я; и в то же время вы совершенный ребенок в таких вещах, которые я отлично понимаю.

Тэннер. Как Тави к вам относится, я понимаю, Энн; уж в этом-то можете быть уверены.

Энн. Но кроме того, вам кажется, что вы понимаете, как я отношусь к Тави.

Тэннер. Я слишком хорошо знаю, что ждет беднягу.

Энн. Если бы не покойный папочка, я бы сейчас от души посмеялась, Джек. Смотрите же! Тави будет очень несчастен.

Тэннер. Вероятно. Но он этого не заметит, бедняга. Он слишком хороший. Потому-то он и совершит из-за вас роковую ошибку своей жизни.

Энн. По-моему, слишком умные люди гораздо чаще совершают

ошибки, чем слишком хорошие. *(Садится, и презрение ко всему мужскому полу ясно выражено в грациозном изгибе ее плеч.)*

Тэннер. О, я знаю, что судьба Тави вас не особенно беспокоит. Но в любви всегда один целует, а другой лишь позволяет себя целовать. Так вот: целовать будет Тави, а вы лишь будете подставлять щеку; и бросите его, как только подвернется что-нибудь получше.

Энн *(обиженно)*. Вы не имете права так говорить, Джек. Это несправедливо и невежливо. Не моя вина, если вам и Тави угодно делать глупости из-за меня.

Тэннер *(тоном раскаяния)*. Простите мои грубые выпады, Энн. Они направлены не против вас, а против всего испорченного мира. *(Она бросает на него довольный, прощающий взгляд; он тотчас настораживается.)* А все-таки скорей бы вернулся Рэмсден. С вами я никогда не чувствую себя в безопасности; какое-то наваждение... или нет, не наваждение, а какое-то утонченное любопытство влечет меня к вам.

Она смеется.

Да, да, именно. Вы это знаете и наслаждаетесь этим. Открыто и бессовестно наслаждаетесь этим!

Энн. Ну и кокетка же вы, Джек!

Тэннер. Кокетка?! Я?!!

Энн. Да, вы. Вы всегда готовы осудить и оскорбить человека, но в то же время ни за что не выпустите его из рук.

Тэннер. Я позвоню. Наш разговор и так уже зашел дальше, чем я предполагал.

Возвращаются Рэмсден и Октавиус, с ними миссс Рэмсден — деловитая, почтенного вида старая дева; на ней простое коричневое шелковое платье и ровно столько колец, цепочек и брошей, сколько нужно, чтобы показать, что она одета скромно не по бедности, а из принципа. Она входит в комнату весьма решительным шагом; мужчины, растерянные и удрученные, следуют за ней. Энн встает и порывисто бросается ей навстречу. Тэннер отступает к простенку между бюстами и делает вид, что занят рассматриванием картин. Рэмсден, как обычно, подходит к своему столу; Октавиус старается держаться поближе к Тэннеру.

Миссс Рэмсден *(почти оттолкнув Энн, решительным движением усаживается в кресло, где прежде сидела миссис Уайтфилд)*. Я умываю руки.

Октавиус *(окончательно пришибленный)*. Я знаю, мисс Рэмсден, вы желаете, чтоб я увез Вайолет домой. Я сейчас. *(Нерешительно поворачивается к двери.)*

Рэмсден. Нет, нет...

Мисс Рэмсден. К чему говорить «нет», Роубэк? Октавиус знает, что я никогда не закрыла бы дверь твоего дома перед женщиной, искренне раскаивающейся и огорченной. Но если женщина не только безнравственна, но еще упорствует в своей безнравственности – нам с ней не по пути.

Энн. Ах, мисс Рэмсден, что вы хотите сказать? Вайолет что-нибудь говорила вам?

Рэмсден. Вайолет действительно очень упряма. Она не хочет уезжать из Лондона. Я отказываюсь понять ее.

Мисс Рэмсден. А я ее отлично понимаю. Ясно как божий день: она не хочет уезжать потому, что не желает разлучаться с этим мужчиной, кто бы он ни был.

Энн. Ну конечно, конечно! А вы, Октавиус, говорили с ней?

Октавиус. Она отказывается от объяснений. Она сказала, что ничего не станет решать, пока не посоветуется с кем-то. По-видимому, с тем самым негодяем, который обманул ее.

Тэннер *(Октавиусу)*. Ну и пусть она советуется. Он только рад будет ее отъезду. Не вижу, в чем тут трудность!

Мисс Рэмсден *(не дав Октавиусу раскрыть рот для ответа)*. Трудность, мистер Джек, в том, что предлагая свою помощь, я вовсе не предлагаю своего соучастия в безнравственных поступках. Или она даст слово никогда больше не видеть этого человека, или пусть находит себе других друзей; и чем скорее, тем лучше.

В дверях показывается горничная. Энн поспешно садится на свое место и делает вид, что ее все это нисколько не касается. Октавиус инстинктивно подражает ей.

Горничная. Кэб у подъезда, мэм.

Мисс Рэмсден. Какой кэб?

Горничная. Для мисс Робинсон.

Мисс Рэмсден. О! *(Овладев собой.)* Хорошо.

Горничная уходит.

Она послала за кэбом.

Тэннер. *Я* хотел послать за этим кэбом еще полчаса назад.

Мисс Рэмсден. Очень рада, что она понимает, в какое положение поставила себя.

Рэмсден. Мне очень неприятно, что она так уезжает отсюда, Сьюзен. Нам следовало быть помягче.

Октавиус. Нет. Я еще и еще раз благодарю вас, но мисс Рэмсден совершенно права: Вайолет больше не может здесь оставаться.

Энн. По-моему, вы должны поехать вместе с ней, Тави.

Октавиус. Она не захочет.

Мисс Рэмсден. Конечно, не захочет. Она прямехонько отправится к этому мужчине.

Тэннер. Что вполне естественно после достойного приема, который ей здесь оказали.

Рэмсден *(вконец расстроенный)*. Вот, Сьюзен, слышишь? А ведь в этом есть доля правды. Неужели ты не могла, не нарушая своих принципов, быть немного терпеливее с этой бедной девушкой? Она так еще молода; в этом возрасте свойственно заблуждаться.

Мисс Рэмсден. Ничего, если ей так нужно сочувствие, она в избытке встретит его у мужчин. Я просто удивлена твоим поведением, Роубэк.

Тэннер. Я тоже удивлен; и, надо сказать, приятно.

В дверях появляется Вайолет. Ее выдержке и отнюдь не покаянному виду могли бы позавидовать самые добродетельные представительницы ее пола. Небольшая головка, упрямый маленький рот и подбородок, горделивая осанка и надменная чеканность речи, безупречное изящество костюма, дополненного очень нарядной шляпой с чучелом птицы,— все вместе создает облик прелестный, но в то же время и несколько отпугивающий. Это не сирена, как Энн,— она вызывает восхищение без всякого усилия или хотя бы желания со своей стороны; кроме того, Энн присущ некоторый юмор, а Вайолет он совершенно незнаком, как незнакома ей, вероятно, и жалость; если что-нибудь и служит ей сдерживающим началом, то это ум и гордость, а никак не милосердие. Голосом учительницы, обращающейся к группе провинциальных школьниц, она с полным самообладанием и некоторым отвращением заговаривает о том, ради чего пришла.

Вайолет. Я хотела предупредить мисс Рэмсден, что браслет, который она подарила мне в день рождения, лежит на столе в комнате экономки.

Тэннер. Вайолет, войдите, сядьте, и давайте поговорим серьезно.

Вайолет. Благодарю вас. На мой взгляд, сегодня уже доста-

точно было семейных разговоров. Твоя мать тоже так считает, Энн; она уехала домой вся в слезах. Во всяком случае, я теперь точно знаю цену некоторым из моих так называемых друзей. Всего хорошего.

Тэннер. Нет, нет! Погодите минуту. Я хочу сказать два слова и очень прошу вас их выслушать.

Она смотрит на него без малейшего любопытства, но медлит, по-видимому, не столько ради того, чтобы выслушать его, сколько чтобы натянуть перчатку.

Во всем этом деле я полностью на вашей стороне. Я с искренним уважением приветствую вашу смелость и решительность. Вы кругом правы, а все ваши близкие кругом виноваты перед вами.

Сенсация. Энн и мисс Рэмсден встают и поворачиваются лицом к ним обоим. Вайолет, которая изумлена больше других, забывает про свою перчатку и выходит на середину комнаты, недоумевающая и рассерженная. Только Октавиус не трогается с места и не поднимает головы; он сгорает со стыда.

Энн *(взывая к благоразумию Тэннера)*. Джек!

Мисс Рэмсден *(оскорбленно)*. Ну, знаете ли!

Вайолет *(Тэннеру, резко)*. Кто вам сказал?

Тэннер. Как кто? Рэмсден и Тави, конечно. Почему им было не сказать?

Вайолет. Но ведь они не знают.

Тэннер. Не знают — чего?

Вайолет. Я хочу сказать: они же не знают, что я права.

Тэннер. О, сердцем они, конечно, знают это, хотя в силу глупых предрассудков насчет нравственности, приличий и прочего считают своим долгом осуждать вас. Но я твердо знаю — как знает весь мир, хотя не смеет открыто признать это, — что вы были правы, следуя своему инстинкту; что нет большего достоинства в женщине, чем смелость и верность своему жизненному призванию, а материнство торжественно возводит ее на высшую ступень женственности; и, хотя вы формально не замужем, это ни на йоту не уменьшает вашей добродетели и вашего права на наше уважение.

Вайолет *(вне себя от негодования)*. Так, значит, вы, как и все, считаете меня безнравственной женщиной! Мало того, вы еще воображаете, будто я разделяю ваши гнусные взгляды! Мисс Рэмсден, я терпела ваши жестокие слова, зная, что вы

о них пожалеете, когда узнаете истину. Но выслушивать похвалы Джека, будто я одна из тех тварей, которых он превозносит, — это уже слишком! Ради моего мужа я держала до сих пор свой брак в тайне. Но сейчас я, как замужняя женщина, требую, чтобы меня перестали оскорблять.

Октавиус *(поднимая голову с чувством неописуемого облегчения)*. Ты замужем?

Вайолет. Да; и мне кажется, можно было догадаться об этом. Почему вы все решили, что я надела обручальное кольцо, не имея на то права? Никому даже в голову не пришло спросить меня. Этого я никогда не забуду.

Тэннер *(уничтоженный)*. Я разбит в пух и прах. Но, право же, я не думал ничего дурного. Прошу прощения. Смиренно прошу прощения.

Вайолет. Надеюсь, впредь вы будете внимательнее к своим словам. Конечно, их никто не принимает всерьез, но все же приятного в них мало, а бестактности достаточно.

Тэннер *(склоняясь перед бурей)*. Мне нечего возразить. Впредь буду умнее и никогда больше не встану на защиту женщины. Боюсь, что все мы уронили себя в ваших глазах, за исключением разве Энн. Она-то отнеслась к вам по-дружески. Ради Энн простите нас всех.

Вайолет. Да, Энн была очень добра ко мне; впрочем, она все знала.

Тэннер *(с жестом отчаяния)*. О!!! Какой чудовищный обман! Какое коварство!

Мисс Рэмсден *(чопорно)*. А кто же, позвольте спросить, этот джентльмен, который не признает свою жену?

Вайолет *(живо)*. Уж это мое дело, мисс Рэмсден. У меня есть особые причины до поры до времени держать свой брак в тайне.

Рэмсден. Я могу сказать только одно: мы все чрезвычайно сожалеем, Вайолет. Мне стыдно думать о том, как мы к вам отнеслись.

Октавиус *(неловко)*. Прости меня, Вайолет. Больше мне нечего сказать.

Мисс Рэмсден *(все еще не желая сдаваться)*. То, что вы нам сообщили, придает, разумеется, делу иной вид. Но все же, я должна...

Вайолет *(перебивая ее)*. Вы должны принести мне свои извинения, мисс Рэмсден: вот что вы в первую очередь должны сделать. Будь вы замужней женщиной, вряд ли вам было бы приятно сидеть в комнате экономки, точно

напроказившая школьница, и слушать выговоры молодых девиц и пожилых дам, не обремененных серьезными заботами и обязанностями.

Тэннер. Лежачего не бьют, Вайолет. Может оказаться, что мы сваляли дурака, — но на самом деле это вы нас одурачили.

Вайолет. Уж вы, Джек, здесь во всяком случае ни при чем.

Тэннер. Ни при чем? Да Рэмсден чуть не обвинил меня в том, что я и есть этот неведомый джентльмен!

Рэмсден бурно выражает свой протест, но утихает под напором холодного бешенства Вайолет.

Вайолет. Вы! Какая низость! Какая гнусность! Какие гадости вы обо мне тут говорили! Если б это узнал мой муж, он бы мне и разговаривать ни с кем из вас не позволил. *(Рэмсдену.)* Хоть от этого-то вы могли бы меня избавить!

Рэмсден. Уверяю вас, я и не думал... во всяком случае, это чудовищное искажение моих слов, я только...

Мисс Рэмсден. Не к чему извиняться, Роубэк. Она сама виновата. Это она должна просить прощения за то, что обманула нас.

Вайолет. Для вас, мисс Рэмсден, я готова сделать исключение: вам трудно понять меня в данном вопросе; но от людей с большим опытом я вправе была ожидать большего такта. Одним словом, для меня ясно, что все вы поставили себя в крайне неловкое положение, и я думаю, что разумнее всего мне уехать. До свидания. *(Уходит, не дав никому опомниться.)*

Мисс Рэмсден. Ну, знаете ли!

Рэмсден *(жалобно)*. Мне кажется, она не совсем к нам справедлива.

Тэннер. Придется вам, как и всем нам, склониться перед обручальным кольцом, Рэмсден. Чаша нашего позора переполнилась.

В парке загородной виллы близ Ричмонда, на подъездной аллее застрял из-за поломки автомобиль. Он успел доехать до поворота аллеи, откуда сквозь листву деревьев виднеется фасад дома; Тэннер, который стоит слева от автомобиля, мог бы беспрепятственно обозревать со своего места западное крыло этого дома, не будь его внимание поглощено парой ног в синих брюках, торчащих из-под машины. Он с интересом следит за ними, пригнувшись и упираясь руками в колени. Кожаное пальто и фуражка изобличают в нем одного из участников прерванного путешествия.

Ноги. Ага! Есть!

Тэннер. Ну как, теперь в порядке?

Ноги. В порядке.

Тэннер наклоняется и, ухватясь за ноги, точно за рукоятки тачки, вытаскивает наружу их обладателя, который переступает руками, держа в зубах молоток. Это молодой человек в аккуратном костюме из синей материи, чисто выбритый, с темными глазами, квадратными пальцами, короткими, тщательно причесанными черными волосами и скептически приподнятыми бровями не совсем правильной формы. Когда он возится с машиной, движения его быстры и неожиданны, хотя в то же время обдуманны и точны. К Тэннеру и его друзьям он относится без малейшей почтительности, но благодаря своему хладнокровию и такту ему удается удерживать их на расстоянии, не давая при этом поводов к недовольству. Тем не менее он всегда зорко следит за ними,— слегка, впрочем, иронически, как человек, хорошо знающий изнанку жизни. Говорит он медленно, с оттенком сарказма; и поскольку в своей речи он совершенно не стремится подражать джентльмену, можно заключить, что его опрятная внешность является данью уважения тому классу, к которому он принадлежит, а не тому, которому служит. Сейчас он садится на свое место за рулем, чтобы спрятать инструменты и снять свой комбинезон. Тэннер снимает кожаное пальто и со вздохом облегчения кидает его в машину, очень довольный, что наконец от него избавился. Шофер, заметив это, презри-

тельно встряхивает головой и с насмешкой поглядывает на своего хозяина.

Шофер. Что, надоело?

Тэннер. Дойду пешком; не мешает размять ноги и немного успокоить нервы. *(Смотрит на часы.)* Вам известно, что мы проехали расстояние от Гайд-парка до Ричмонда за двадцать одну минуту!

Шофер. Я и за пятнадцать проехал бы, был бы путь свободен.

Тэннер. Скажите, зачем вы это делаете — из любви к спорту или ради устрашения вашего злополучного хозяина?

Шофер. А вы чего боитесь-то?

Тэннер. Во-первых, налететь на штраф; во-вторых — сломать себе шею.

Шофер. Так если вам медленная езда по душе, ездили бы в омнибусе. Дешевле. Вы мне платите деньги, чтобы экономить время и оправдать тысячу фунтов, которую вам стоила машина. *(Спокойно усаживается.)*

Тэннер. Я раб этой машины и ваш тоже. Мне эта проклятая штука по ночам снится.

Шофер. Это пройдет. Скажите, пожалуйста, вы там у них долго пробудете? Может, вы все утро собираетесь с дамами разговоры разговаривать, так я поставлю машину в гараж и пойду погляжу, как тут насчет завтрака. А если нет, буду ждать вас с машиной здесь.

Тэннер. Лучше ждите. Мы не задержимся. Сейчас должен приехать мистер Робинсон, он едет с одним молодым американцем, мистером Мэлоуном, в его новой американской машине.

Шофер *(выскакивает и подбегает к Тэннеру)*. Американская машина?! Следом за нами из Лондона?!

Тэннер. Может быть, они уже здесь.

Шофер. Если б я только знал! *(Тоном глубокого упрека.)* Почему вы не сказали мне, мистер Тэннер?

Тэннер. Потому что мне говорили, будто эта машина может делать восемьдесят четыре мили в час; а что можете делать вы, когда вас нагоняет другая машина, я и сам знаю. Нет, Генри, бывают обстоятельства, о которых вам вредно знать,— и это как раз одно из таких обстоятельств. Но вы не огорчайтесь: нам предстоит прогулка вполне в вашем вкусе. Американец повезет мистера Робинсона, его сестру и мисс Уайтфилд. С нами поедет мисс Рода.

Шофер *(успокоившись и думая уже о другом)*. Это ведь сестра мисс Уайтфилд?

Тэннер. Да.

Шофер. А сама мисс Уайтфилд поедет в другой машине? Не с вами?

Тэннер. А почему, черт возьми, она должна ехать со мной? Ведь мистер Робинсон будет в той машине.

Шофер, взглянув на Тэннера с хладнокровным недоверием, принимается насвистывать вполголоса популярную песенку и отходит к машине. Тэннер, несколько раздосадованный, хочет продолжить разговор, но останавливается, услышав шаги Октавиуса. Октавиус идет от дома, одетый по-дорожному, но без пальто.

Слава богу, мы проиграли гонку: вот и мистер Робинсон. Ну, Тави, хорош американский паровичок?

Октавиус. Пожалуй. Мы ехали сюда от Гайд-парка ровно семнадцать минут.

Шофер, рыча от злости, дает машине яростного пинка.

А вы?

Тэннер. Что-то около трех четвертей часа.

Шофер *(задетый)*. Но-но, мистер Тэннер, будет вам! Мы и за пятнадцать минут могли бы доехать.

Тэннер. Кстати, позвольте вас познакомить: мистер Октавиус Робинсон – мой друг; мистер Генри Стрэйкер – мой шóфер.

Стрэйкер. Очень приятно, сэр. Мистер Тэннер нарочно так сказал: «шóфер». По-вашему, надо говорить «шофёр». Но я не в обиде, пусть его.

Тэннер. Ты, верно, думаешь, Тави, что с моей стороны бестактно передразнивать его? Ошибаешься. Этот молодой человек переставляет ударения не случайно, а обдуманно. Для него это – знак касты. Я в жизни не встречал человека, до такой степени надутого классовой гордостью, как Генри.

Стрэйкер. Тише, тише! Не увлекайтесь, мистер Тэннер.

Тэннер. Замечаешь, Тави? «Не увлекайтесь». Ты бы мне сказал: «Полегче, Джек». Но этот молодой человек получил настоящее образование. Больше того, он знает, что мы с тобой его не получили. Как эта школа называлась, где вы учились, Стрэйкер?

Стрэйкер. Шербрук-Роуд.

Тэннер. Шербрук-Роуд! Ну кто из нас произнес бы Рэгби, Харроу, Итон этаким тоном интеллектуального сноба! Шербрук-Роуд — школа, в которой учат делу. А Итон — просто питомник, куда нас отправляют, потому что дома с нами нет сладу, и еще для того, чтобы потом, когда при тебе упомянут имя какого-нибудь герцога, можно было сказать: «А, это мой школьный товарищ».

Стрэйкер. Все-то вы путаете, мистер Тэннер. Делу вовсе не в школе учат, а в политехникуме.

Тэннер. Его университет, Октавиус. Не Оксфорд или Кембридж, не Дарэм, Дублин или Глазго и не какое-нибудь из нонконформистских заведений Уэльса. Нет, Тави. Риджент-стрит, Челси, Боро... — я и половины их названий не знаю, — вот его университеты. И в отличие от наших, это не просто лавки, где торгуют сословными привилегиями. Ведь правда, вы презираете Оксфорд, Генри?

Стрэйкер. Отчего же. Оксфорд, я бы сказал, отличное заведение — для тех, кому вообще такие заведения по нраву. Там учат быть джентльменом. А в политехникуме учат быть механиком или чем другим в таком же роде. Понятно?

Тэннер. Сарказм, Тави! Чувствуешь сарказм? О, если б ты мог заглянуть в душу Генри, тебя ужаснуло бы, как глубоко его презрение к джентльмену, как непомерна его гордость механика. Ему положительно доставляет удовольствие каждая поломка машины, потому что при этом выявляется моя джентльменская беспомощность и его рабочая сноровка и находчивость.

Стрэйкер. Вы не обращайте внимания, мистер Робинсон. Он любит поговорить. Уж мы его, слава богу, знаем.

Октавиус *(серьезно)*. Но в существе его слов заключена глубокая истина. Я горячо верю в величие труда.

Стрэйкер *(нимало не тронутый)*. Это потому, что вы никогда не трудились, мистер Робинсон. Я вот, например, занимаюсь уничтожением труда. От меня одного с моей машиной больше проку, чем от двадцати работников, да и чаевых меньше.

Тэннер. Ради бога, Тави, не ударяйся ты в политическую экономию. Он в этих делах дока, а мы с тобой неучи. У него ведь социализм научный, а не поэтический, как у тебя.

Стрэйкер *(невозмутимо)*. Именно. Ну, как ни поучительно с вами беседовать, а надо мне заняться машиной; да и вам, верно, охота поговорить о ваших барышнях. Я уж знаю.

(Отходит к машине и некоторое время притворяется, что занят делом, потом закуривает и не спеша идет к дому.)

Тэннер. Знаменательный социальный феномен.

Октавиус. Ты о чем?

Тэннер. О Стрэйкере. Уже много лет, стоит где-нибудь появиться особенно старомодному существу женского пола, как мы, литераторы и просвещенные умы, спешим громогласно возвестить рождение Новой Женщины; а вот рождения Нового Человека никто и не заметил. Стрэйкер – это Новый Человек.

Октавиус. Я тут не вижу ничего нового, кроме разве твоей манеры дразнить его. Но мне сейчас не до него. Я решил поговорить с тобой об Энн.

Тэннер. Стрэйкер и это знал. Должно быть, проходил в политехникуме. Ну, так что же Энн? Ты сделал предложение?

Октавиус *(как бы с упреком самому себе)*. Да, сделал. Вчера вечером у меня хватило грубости.

Тэннер. Что ты хочешь сказать?

Октавиус *(настраиваясь на дифирамбический лад)*. Джек! Все мы, мужчины, толстокожи; нам никогда не понять тонкой, чувствительной женской натуры. Как я мог это сделать!

Тэннер. Что «это», идиот плаксивый?

Октавиус. Да, я действительно идиот. Ах, Джек! Если б ты слышал ее голос, если б ты видел ее слезы! Я не спал всю ночь, размышляя о ней. Мне было бы легче, если б она меня упрекнула.

Тэннер. Слезы? Это опасно. А что она ответила?

Октавиус. Она сказала, что не может сейчас ни о чем думать, кроме своего незабвенного отца. Она подавила рыдания... *(Он не в силах продолжать.)*

Тэннер *(хлопая его по спине)*. Будь мужчиной, Тави, даже если ты себя чувствуешь ослом. Старая история: ей еще не надоело играть с тобой.

Октавиус *(раздраженно)*. Брось глупости, Джек. Этот твой вечный дешевый цинизм совершенно неуместен по отношению к такой натуре, как Энн.

Тэннер. Гм... А она еще что-нибудь говорила?

Октавиус. Да. Именно поэтому я и вынужден подвергать ее и себя твоим насмешкам, рассказывая тебе обо всем.

Тэннер *(с раскаянием)*. Нет, милый Тави, клянусь честью, я не смеюсь над тобой. Впрочем, не в этом дело. Дальше?

Октавиус. Чувство долга в ней так велико, так возвышенно, так...

Тэннер. Да, да, знаю. Дальше?

Октавиус. Видишь ли, ведь по завещанию вы с Рэмсденом являетесь ее опекунами, и она считает своим долгом подчиняться вашей воле, как прежде подчинялась отцовской. Она сказала, что, по ее мнению, мне прежде всего следует переговорить с вами обоими. Конечно, она права; но все-таки как-то нелепо, что я должен явиться к тебе и официально просить у тебя руки твоей подопечной.

Тэннер. Я рад, что любовь не окончательно убила в тебе чувство юмора, Тави.

Октавиус. Такой ответ едва ли ее удовлетворит.

Тэннер. Видимо, я должен ответить так: благословляю вас, дети мои, и будьте счастливы!

Октавиус. Я тебя очень прошу, перестань дурачиться. Это достаточно серьезный вопрос, — если не для тебя, то для нас с ней во всяком случае.

Тэннер. Ты отлично знаешь, что она так же свободна в своем выборе, как и ты.

Октавиус. Она думает иначе.

Тэннер. В самом деле? Интересно. А все-таки, чего ж ты от меня хочешь?

Октавиус. Я хочу, чтоб ты со всей искренностью и серьезностью сказал ей свое мнение обо мне. Я хочу, чтоб ты сказал ей, что вполне можешь доверить ее мне, — конечно, если ты действительно так думаешь.

Тэннер. То, что я могу доверить ее тебе, явно не внушает сомнений. Меня гораздо больше беспокоит вопрос, могу ли я тебя ей доверить. Ты читал книгу Метерлинка о пчелах?

Октавиус *(с трудом сдерживаясь)*. Я не собираюсь сейчас беседовать на литературные темы.

Тэннер. Немножко терпения, Тави. Я тоже не беседую на литературные темы: книга о пчелах относится к естествознанию. Это назидательный урок для человечества. Ты воображаешь, что ты — поклонник Энн; что ты — охотник, а она — дичь; что тебе надлежит ухаживать, добиваться, побеждать. Глупец! Это ты — дичь, обреченная жертва. Не к чему тебе сидеть у западни и облизываться, глядя на приманку: вход свободен, и дверца останется открытой, пока не захлопнется за тобой навсегда.

Октавиус. Как ни циничны твои слова, я хотел бы, чтоб это было правдой.

Тэннер. Да ты сам подумай: что ей еще делать в жизни, как не искать себе мужа? Всякая женщина должна стремиться как можно скорее выйти замуж, а мужчина как можно дольше оставаться холостым. У тебя есть занятие — твои стихи и драмы. У Энн нет ничего.

Октавиус. Я не могу писать без вдохновения. А вдохновлять меня может только Энн.

Тэннер. Так не безопаснее ли вдохновляться издали? Ни Петрарка с Лаурой, ни Данте с Беатриче не виделись так часто, как ты с Энн, и тем не менее они писали отличные стихи, — так по крайней мере говорят. Свою верность кумиру они никогда не подвергали испытанию семейной жизнью и были верны до гроба. Женись на Энн — и через неделю она будет вдохновлять тебя не больше, чем тарелка блинчиков.

Октавиус. Ты думаешь, что я разлюблю ее?

Тэннер. Вовсе нет; разве ты не любишь блинчики? Но они тебя не вдохновляют; и точно так же не будет вдохновлять она, когда из мечты поэта превратится во вполне реальную жену весом фунтов на полтораста. Придется тебе мечтать о ком-нибудь другом; и тогда пойдут ссоры.

Октавиус. Это бесполезный разговор, Джек. Ты не понимаешь. Ты никогда не любил.

Тэннер. Я? Да я никогда не переставал любить! Я даже Энн люблю. Но я не раб любви и не жертва. Ступай к пчелам, поэт, познай их закон и проникнись их мудростью. Ей-богу, Тави, если б мы не работали на женщин и ели хлеб их детей, вместо того чтоб добывать его, они убивали бы нас, как паучиха убивает самца или пчелы — трутней. И они были бы правы — в том случае, если б мы умели только любить и ничего больше.

Октавиус. Ах, если бы мы умели по-настоящему любить! Ничто не может сравниться с Любовью, ничто не может заменить Любовь! Не будь ее, мир превратился бы в отвратительный кошмар.

Тэннер. И это человек, который претендует на руку моей подопечной! Знаешь, Тави, я начинаю думать, что нас перепутали в детстве и что не я, а ты — настоящий потомок Дон Жуана.

Октавиус. Только, пожалуйста, не говори ничего такого Энн.

Тэннер. Не бойся. Она тебя облюбовала, и теперь ничто ее не остановит. Ты обречен.

Возвращается Стрэйкер с газетой в руках.

Вот, полюбуйся: Новый Человек, по обыкновению, деморализует себя грошовой прессой.

Стрэйкер. Вы только послушайте, мистер Робинсон: каждый раз, как мы с ним выезжаем на машине, я покупаю две газеты — «Таймс» для него и «Лидер» или «Эхо» для себя. И что же вы думаете? Я даже не вижу своей газеты. Он сейчас же хватает «Лидера», а я должен давиться его «Таймсом».

Октавиус. А разве «Таймс» не печатает списков победителей на скачках?

Тэннер. Генри не интересуется скачками, Тави. Его слабость — автомобильные рекорды. Что, кстати, нового?

Стрэйкер. Париж — Бискра, средняя скорость — сорок в час, исключая переправу через Средиземное море.

Тэннер. Сколько убитых?

Стрэйкер. Две дурацкие овцы. Подумаешь, важность! Овцы не бог весть в какой цене; хозяева радехоньки будут получить что следует, не таскаясь к мяснику. А все-таки, увидите, шуму не оберешься. Кончится тем, что французское правительство запретит всякие гонки, — и тогда уже крышка. Понимаете? Ну просто с ума сойти! Еще есть время сделать хороший пробег, а мистер Тэннер не хочет.

Тэннер Тави, ты помнишь моего дядю Джеймса?

Октавиус. Да. А что?

Тэннер. У дяди Джеймса была первоклассная кухарка; его желудок переваривал только ту пищу, которую стряпала она. Бедняга от природы был застенчив и терпеть не мог общества. Но кухарка гордилась своим искусством и желала кормить обедами принцев и послов. Так вот, из страха, что она от него уйдет, несчастный старик вынужден был два раза в месяц устраивать званые обеды и претерпевать пытки смущения. Взять теперь меня и вот этого малого, Генри Стрэйкера, Нового Человека. Мне ненавистны путешествия; но мне симпатичен Генри. А для него нет в жизни ничего лучшего, чем в кожаном пальто и очках-консервах, под слоем пыли в два дюйма толщиной нестись со скоростью шестьдесят миль в час, рискуя сломать свою и мою шею. Не считая, конечно, тех минут, когда он лежит в грязи под машиной, стараясь отыскать, где там что застопорило. Так вот, если я не буду хотя бы раз в две недели предоставлять ему возможность тысячемильной прогулки, я его потеряю. Он возьмет расчет и уйдет

к какому-нибудь американскому миллионеру, а мне придется удовольствоваться вежливым грумом-садовником-любителем, который умеет вовремя приподнимать шляпу и знает свое место. Я просто раб Генри, точно так же, как дядя Джеймс был рабом своей кухарки.

Стрэйкер *(рассердившись)*. Тьфу, пропасть! Вот бы мне машину с таким мотором, как ваш язык, мистер Тэннер! Я ведь что говорю? Иметь автомобиль и не ездить на нем, значит попросту зря деньги терять. Что вам толку от машины и шофера, если вы из них пользу извлечь не умеете? Завели б себе колясочку и няньку, чтоб вас катала.

Тэннер *(примирительно)*. Ну-ну, ладно, Генри. Сейчас поедем на полчасика.

Стрэйкер *(с отвращением)*. Полчасика! *(Возвращается к машине, усаживается на свое место и листает газету в поисках очередных новостей.)*

Октавиус. Ах да, я совсем забыл. Тебе записка от Роды. *(Передает Тэннеру записку.)*

Тэннер *(вскрывая конверт)*. Боюсь, что Рода собирается поскандалить с Энн. Как правило, английская девушка только одного человека ненавидит еще сильнее, чем свою старшую сестру, — это свою мать. Но Рода, несомненно, лучше уживается с матерью. Энн она... *(возмущенно)* ну, уж это слишком!

Октавиус. Что такое?

Тэннер. Мы с Родой сговорились покататься на машине. Теперь она пишет, что Энн не разрешает ей со мной ехать.

Внезапно Стрэйкер с нарочитой небрежностью принимается насвистывать свою любимую мелодию. Пораженные этой неожиданной соловьиной руладой и смущенные ехидной ноткой, которая слышна в ее веселых переливах, оба друга вопросительно оглядываются на него. Но он поглощен газетой и движение их остается без ответа.

Октавиус *(приходя в себя)*. Без всяких объяснений?

Тэннер. Объяснений! Оскорбление не есть объяснение. Энн запретила ей при каких бы то ни было обстоятельствах оставаться со мной наедине. Я, видите ли, неподходящее общество для молодой девушки. Что ты теперь скажешь о своем кумире?

Октавиус. Ты все-таки не забывай, что после смерти отца на Энн легла очень серьезная ответственность. Миссис

Уайтфилд слишком слабохарактерна, чтобы руководить Родой.

Тэннер *(глядя на него в упор)*. Короче говоря, ты разделяешь мнение Энн?

Октавиус. Нет, но я готов понять ее. Ты же сам знаешь, что твои взгляды едва ли могут благотворно влиять на формирование ума и характера молодой девушки.

Тэннер. Нет, я совсем этого не знаю. Я знаю, что формирование ума и характера молодой девушки состоит обычно в том, что ей лгут везде и во всем; но я не желаю, чтобы ей лгали обо мне,— будто мне свойственно злоупотреблять доверием девушек.

Октавиус. Энн этого не говорила, Джек.

Тэннер. А что ж еще означают ее слова?

Стрэйкер *(заметив приближающуюся Энн)*. Мисс Уайтфилд, джентльмены. *(Вылезает из машины и идет по аллее с видом человека, который знает, что в его присутствии больше не нуждаются.)*

Энн *(останавливаясь между Октавиусом и Тэннером)*. Доброе утро, Джек. Я пришла сказать вам, что у Роды очень сильно разболелась голова и она не сможет сегодня ехать с вами кататься. Она страшно огорчена, бедняжка.

Тэннер. Ну, Тави, что ты теперь скажешь?

Октавиус. Мне кажется, все совершенно ясно, Джек. Щадя твои чувства, Энн не остановилась даже перед обманом.

Энн. О чем это вы говорите?

Тэннер. Хотите вылечить Роду от головной боли, Энн?

Энн. Конечно, хочу.

Тэннер. Так повторите ей все, что вы только что сказали; и прибавьте, что вы пришли сюда через две минуты после того, как я получил и прочел ее записку.

Энн. Рода вам писала?

Тэннер. И очень подробно.

Октавиус. Не слушайте его, Энн. Вы правы, вы совершенно правы. Энн только исполнила свой долг, Джек; ты сам это знаешь. И с такой деликатностью!

Энн *(подходит к Октавиусу)*. Какой вы добрый, Тави! Какой чуткий! Как вы все хорошо понимаете!

Октавиус сияет.

Тэннер. Так, так, потуже кольца! Ведь ты ее любишь, Тави, правда?

Октавиус. Она это знает.

Энн. Тсс, Тави! Как вам не стыдно!

Тэннер. Ничего, я разрешаю. Я же ваш опекун, если не ошибаюсь. Ну вот, я вас на часок оставляю на попечении Тави. Я еду прокатиться на машине.

Энн. Нет, Джек. Мне нужно поговорить с вами относительно Роды. Рикки, милый, ступайте в дом и займите своего американского приятеля. Маме некогда возиться с ним так рано; она еще занята по хозяйству.

Октавиус. Лечу, Энн, дорогая. *(Целует ей руку.)*

Энн *(нежно)*. Рикки-Тикки-Тави!

Он смотрит на нее, выразительно краснея, потом убегает.

Тэннер *(резко)*. Вот что, Энн. На этот раз вы попались. И не будь Тави влюблен в вас без всякой надежды на спасение, он бы сразу увидел, какая вы неисправимая лгунья.

Энн. Вы не так поняли, Джек. У меня просто не хватило смелости сказать Тави правду.

Тэннер. Ну конечно. Вот когда нужно солгать — у вас смелости хоть отбавляй. Что вы там наговорили Роде о моей безнравственности и о том, будто ей опасно со мной встречаться? Как она теперь может ко мне по-человечески относиться после того, что вы отравили ее душу всякими гнусностями?

Энн. Джек, я знаю, вы не способны на что-нибудь дурное...

Тэннер. Зачем же вы ей налгали?

Энн. Пришлось.

Тэннер. Пришлось?

Энн. Мама меня заставила.

Тэннер *(сверкнув глазами)*. Ха! Как это я сразу не догадался? Мама! Всегда мама!

Энн. Все дело в вашей ужасной книге. Вы ведь знаете, какая мама робкая. А робкие женщины очень считаются с условностями; если нам не считаться с условностями, Джек, мы всегда будем наталкиваться на самое жестокое, самое грубое непонимание. Даже вы, мужчины, не можете прямо говорить все, что вы думаете, без риска, что вас не так поймут и очернят. Да, я признаю; я вынуждена была очернить вас. А вы хотите, чтоб и бедную Роду точно так же не понимали и чернили? Разве может мама допустить, чтоб она подвергала себя этой опасности сейчас, когда она еще слишком молода и неопытна?

Тэннер. Короче говоря, единственный способ избегнуть непонимания — это лгать, клеветать, злословить и лицемерить что есть силы. Вот что значит слушаться матери.

Энн. Я люблю маму, Джек.

Тэннер *(постепенно взбираясь на вершины социологического пафоса)*. Разве это причина для того, чтоб полностью отказаться от своего «я»? Нет, я протестую против этого гнусного порабощения молодости старостью. Взгляните на наше светское общество. Чем оно хочет казаться? Прелестным хороводом нимф. А на самом деле что это? Отвратительная процессия несчастных девушек, каждая из которых зажата в когтях циничной, хитрой, жадной, лишенной иллюзий, нравственно-испорченной, невежественной, но многоопытной старухой, именуемой матерью и почитающей своей обязанностью растлить ее душу и продать ее тому, кто больше даст. Почему эти жалкие рабыни предпочитают выйти замуж за старика или подлеца, чем совсем не выходить? Потому что замужество для них единственный путь спасения от дряхлых мегер, скрывающих под маской материнского долга и родственной любви свое эгоистическое честолюбие, свою ревнивую ненависть к вытесняющим их молодым соперницам. Какая мерзость! Голос природы требует отцовских забот для дочери, материнских – для сына. Закон, который управляет взаимными чувствами отца и сына, матери и дочери – не закон любви: это закон борьбы, революции, вытеснения старых и немощных молодыми и сильными. Первым актом самоутверждения мужчины и женщины должна быть Декларация Независимости; мужчина, который признает авторитет отца,– не мужчина; женщина, которая признает авторитет матери, не способна рожать граждан свободного народа.

Энн *(наблюдая за ним с безмятежным любопытством)*. Когда-нибудь вы, наверно, всерьез займетесь политикой, Джек.

Тэннер *(падая с высоты)*. А? Что? Как?... *(Кое-как собрав рассыпавшиеся мысли.)* При чем тут это?

Энн. Вы так хорошо говорите.

Тэннер. Говорите! Говорите! Для вас это только разговоры. Ну что ж, возвращайтесь к своей матушке и помогайте ей отравлять воображение Роды, как она уже отравила ваше. Ручные слоны всегда охотно участвуют в ловле диких.

Энн. Прогресс! Вчера я была боа-констриктор; сегодня я уже слон.

Тэннер. Именно. Сворачивайте же свой хобот – и до свидания. Больше мне не о чем с вами говорить.

Энн. Какой вы все-таки сумасброд и упрямец, Джек. Ну что я могу сделать?

Тэннер. Что? Разбейте оковы. Идите своим путем, подсказанным вашей совестью, а не совестью вашей матери. Очистите и укрепите свой дух. Научитесь находить удовольствие в быстрой автомобильной езде, а не смотреть на нее только как на повод к пошлой интриге. Поедемте со мной в Марсель, в Алжир, в Бискру со скоростью шестьдесят миль в час. Поедемте хоть до самого мыса Доброй Надежды. Вот это будет настоящая Декларация Независимости. Потом вы можете написать об этом книгу. Это доконает вашу мать и сделает из вас женщину.

Энн *(задумчиво)*. Пожалуй, тут не будет ничего дурного, Джек. Вы мой опекун; вы заменяете мне отца по его собственной воле. Никто нас не осудит, если мы вместе отправимся путешествовать. Чудесно! Большое спасибо, Джек! Я еду.

Тэннер *(потрясенный)*. Вы едете?!!

Энн. Конечно.

Тэннер. Но... *(Осекся, растерявшись; потом продолжает в беспомощной попытке протестовать.)* Послушайте, Энн, если тут нет ничего дурного, это же теряет всякий смысл!

Энн. Какой вы чудак! Можно подумать, что вы хотите меня скомпрометировать.

Тэннер. Да, хочу. В этом весь смысл моего предложения.

Энн. Вы говорите совершенный вздор и сами это знаете. Вы никогда не сделаете ничего мне во вред.

Теннер. Что ж, если не хотите быть скомпрометированной, оставайтесь дома.

Энн *(скромно и серьезно)*. Нет, раз вы этого хотите, Джек, я поеду. Вы мой опекун; и, мне кажется, нам нужно почаще видеться и получше узнать друг друга. *(С признательностью.)* Так мило, так заботливо с вашей стороны, Джек, что вы предложили мне эту замечательную прогулку, особенно после того, что я говорила насчет Роды. Право же, вы очень хороший, гораздо лучше, чем вы сами думаете. Когда мы выезжаем?

Тэннер. Но...

Разговор прерывается появлением миссис Уайтфилд. Рядом с ней идет американский гость; сзади следуют Рэмсден и Октавиус. Гектор Мэлоун — американец из восточных штатов, но он нисколько не стыдится своей национальности. Этим он

снискал себе благосклонность английского светского общества, где на него смотрят, как на молодого человека, у которого хватает мужества сознаваться в явно невыгодном для него обстоятельстве, не пытаясь скрыть его или смягчить. Все решили, что он не должен страдать за то, в чем он явно не виноват, и считают своим долгом быть с ним особенно любезными. Его рыцарское обращение с женщинами и высокоразвитое нравственное чувство — черты необычные и необъяснимые — вызывают в них легкую досаду; и хотя, попривыкнув, они стали находить забавным его непринужденный юмор (который на первых порах немало их озадачивал), им все же пришлось дать ему понять, что не следует рассказывать в обществе анекдоты, если только они не носят характера личной сплетни, а также, что красноречие принадлежит к разряду достоинств, уместных на более низкой ступени цивилизации, чем та, с которой он теперь соприкоснулся. В этом Гектор пока не совсем убежден: он все еще находит, что англичане склонны ставить себе в заслугу нелепые предрассудки и выдавать различные свои природные несовершенства за признаки хорошего воспитания. Английский характер, на его взгляд, страдает отсутствием облагораживающего пафоса (который он называет высокими чувствами), английские нравы свидетельствуют о недостатке уважения к женщине, английская речь допускает вольности, которые порой переходят в непозволительную грубость выражений, а светское времяпровождение не мешало бы оживить играми, рассказами или иными развлечениями. И он отнюдь не склонен перенимать чужие слабости после того, как столько трудов положил на овладение высотами изысканной культуры, прежде чем отправиться за океан. Ему пришлось убедиться, что англичане либо совершенно равнодушны к этой культуре — как и ко всякой культуре вообще, — либо вежливо обходят ее. По сути же дела культура Гектора представляет не что иное, как некий экстракт из нашего литературного экспорта примерно тридцатилетней давности, который он теперь реимпортировал к нам и готов при первом удобном случае распаковать и обрушить на голову английской литературы, науки и искусства. Смятение, в которое подобные атаки повергают англичан, поддерживает его уверенность в том, что он помогает культурному воспитанию этой отсталой нации. Застав несколько человек за мирной беседой

об Анатоле Франсе и Ницше, он сокрушает их Мэтью Арнольдом, «Автократом за обеденным столом» и даже Маколеем; и будучи глубоко религиозным в душе, он при споре о моральных проблемах сначала своей шумливой нечестивостью заставляет опрометчивого собеседника отказаться от аргументов популярного богословия, а потом ошарашивает его неожиданным вопросом: не ясно ли, что именно эти жизненные идеалы имел в виду всемогущий творец, создавая честных мужчин и целомудренных женщин? Оттого, что подкупающая свежесть натуры сочетается в нем с невообразимой ветхостью культурного багажа, очень трудно решить: стоит ли с ним знаться,— общество его, без всякого сомнения, приятно, но в разговоре с ним ничего нового не почерпнешь, тем более что ко всему прочему он еще презирает политику и тщательно избегает коммерческих тем — сферы, где он, вероятно, значительно более сведущ, чем его друзья из английских капиталистических кругов. Лучше всего он уживается с романтически настроенными христианами секты амористов: отсюда его дружба с Октавиусом. Что касается наружности Гектора, то это статный молодой человек лет двадцати четырех, с короткой, элегантно подстриженной черной бородкой, большими ясными глазами и живым выражением лица. Одет он с точки зрения моды безукоризненно. Гуляя по парку с миссис Уайтфилд, он усердно занимает ее разговорами, которые требуют непосильного напряжения ее хрупкого ума. Англичанин оставил бы ее в покое, примирившись со скукой, как с общим для них обоих уделом, а она, бедняжка, охотно согласилась бы поскучать, если уж нельзя разговаривать о вещах, которые ее интересуют. Рэмсден останавливается, заинтересовавшись автомобилем. Октавиус подходит к Гектору.

Энн *(радостно бросаясь к матери)*. Ах, мама, мама, подумайте! Джек берет меня с собой на машине в Ниццу. Ну разве это не замечательно? Я самая счастливая девушка в Лондоне!

Тэннер *(в отчаянии)*. Миссис Уайтфилд против. Она безусловно против. Ведь правда, Рэмсден?

Рэмсден. Я бы считал это вполне естественным с ее стороны.

Энн. Вы не против этой поездки, мама?

Миссис Уайтфилд. Я? Против? А почему? Я уверена, что

тебе полезно будет проехаться, Энн. *(Семенит к Тэннеру.)* Я только хотела вас попросить, чтоб вы иногда брали с собой Роду: она слишком много сидит дома; но это можно и потом, когда вы вернетесь.

Тэннер. Из одной бездны коварства в другую!

Энн *(торопясь отвлечь внимание от его вспышки)*. Ах, я совсем забыла! Вы ведь еще не знакомы с мистером Мэлоуном. Мистер Гектор Мэлоун — мистер Тэннер, мой опекун.

Гектор. Очень приятно, мистер Тэннер. Если позволите, я предложил бы увеличить число участников прогулки в Ниццу.

Энн. Конечно, конечно, мы все поедем. Решено, не так ли?

Гектор. Я тоже скромный обладатель автомобиля. Если мисс Робинсон захочет оказать мне честь, моя машина к ее услугам.

Октавиус. Вайолет!

Общее смущение.

Энн *(негромко)*. Идемте, мама. Пусть они тут обо всем сговорятся. Мне нужно уложить вещи.

Миссис Уайтфилд явно сбита с толку; но Энн благоразумно увлекает ее к дому, и обе скрываются за поворотом аллеи.

Гектор. Надеюсь, с моей стороны не будет слишком смело рассчитывать на согласие мисс Робинсон?

Замешательство усиливается.

Октавиус. К сожалению, Вайолет, очевидно, придется остаться дома. Есть обстоятельства, в силу которых участие в такой поездке для нее невозможно.

Гектор *(которому это кажется забавным и ничуть не убедительным)*. Слишком по-американски, да? Нужно, чтобы молодую леди кто-нибудь сопровождал?

Октавиус. Нет, не то, Мэлоун... то есть не совсем то...

Гектор. Вот как? А можно узнать, какие еще есть возражения?

Тэннер *(нетерпеливо)*. Да скажите вы ему, и дело с концом. Все равно нам не удастся держать это в секрете. В тайне можно сохранить только то, что известно всем. Мистер Мэлоун, если вы поедете в Ниццу с Вайолет — вы поедете с чужой женой. Она замужем.

Гектор *(ошеломленный)*. Вы шутите!

Тэннер. Я совершенно серьезен. Но это — между нами.

Рэмсден *(с многозначительным видом, чтобы Гектор не заподозрил мезальянса)*. Ее брак покуда сохраняется в тайне, она желает, чтобы до поры до времени о нем не говорили.

Гектор. Желание дамы – для меня закон. Позволено ли будет узнать имя ее супруга – на случай, если представится возможность переговорить с ним об этой поездке?

Тэннер. Мы его сами не знаем.

Гектор *(с подчеркнутой сдержанностью, словно прячась в свою раковину)*. В таком случае больше не о чем говорить.

Общее смущение достигает апогея.

Октавиус. Вам это, вероятно, кажется очень странным?

Гектор. Несколько необычным. Простите за откровенность.

Рэмсден *(полуизвиняющимся, полуобиженным тоном)*. Молодая леди обвенчалась тайно; и муж, насколько нам известно, запретил ей открывать его имя. Вам мы должны были сказать, поскольку вы так внимательны к мисс... э-э-э... к Вайолет...

Октавиус *(участливо)*. Надеюсь, это не явилось для вас разочарованием?

Гектор *(смягчившись и снова выползая из своей раковины)*. Это для меня просто удар! Я не понимаю, как муж может поставить жену в такое положение? Как хотите, это ненормально. Это нетактично. Это недостойно мужчины.

Октавиус. Вы сами понимаете, что нам это достаточно неприятно.

Рэмсден *(запальчиво)*. Какой-нибудь молодой глупец, который слишком неопытен, чтобы понять, к чему приводят подобные мистификации.

Гектор *(с оттенком нравственной брезгливости)*. Надеюсь, что вы правы. Только очень молодому и очень глупому мужчине простительно подобное поведение. Вы весьма снисходительно к этому относитесь, мистер Рэмсден. Чересчур снисходительно, на мой взгляд. Как хотите, женитьба должна облагораживать мужчину.

Тэннер *(язвительно)*. Ха!

Гектор. Означает ли это междометие, что вы со мной не согласны, мистер Тэннер?

Тэннер *(сухо)*. Женитесь и попробуйте. Удовольствие вы, возможно, в этом найдете... первое время, но уж облагораживающего не найдете ничего. Сумма достоинств

мужчины и женщины не обязательно выше числа достоинств одного мужчины.

Гектор. А мы, американцы, считаем, что нравственно женщина маркой выше мужчины и что чистота женской натуры возвышает мужчину и заставляет его становиться лучше.

Октавиус *(убежденно)*. Это так и есть.

Тэннер. Не мудрено, что американки предпочитают жить в Европе. Это гораздо приятнее, чем всю жизнь стоять на пьедестале и принимать поклонение. Но так или иначе, муж Вайолет от женитьбы не стал благороднее. Что ж поделаешь!

Гектор *(качая головой)*. Я не могу так легко примириться с поведением этого человека, мистер Тэннер. Впрочем, я больше ничего не скажу. Кто бы он ни был — он муж мисс Робинсон, и ради нее я хочу быть о нем лучшего мнения.

Октавиус *(тронутый скрытой грустью, которую он угадывает в этих словах)*. Мне очень жаль, Мэлоун. Очень жаль.

Гектор *(с благодарностью)*. Вы славный малый, Робинсон. Спасибо.

Тэннер. Перемените тему. Вайолет идет сюда.

Гектор. Я был бы вам чрезвычайно признателен, господа, если бы вы предоставили мне возможность сказать молодой леди несколько слов наедине. Я должен взять обратно свое предложение относительно этой поездки; и это довольно щекотливое...

Рэмсден *(радуясь случаю улизнуть)*. Ни слова больше. Идем, Тэннер. Идем, Тави. *(Уходит вместе с Октавиусом и Тэннером в глубину парка.)*

В аллее показывается Вайолет и подходит к Гектору.

Вайолет. Все ушли?

Гектор. Да.

Она целует его.

Вайолет. Пришлось тебе лгать из-за меня?

Гектор. Лгать! Лгать — это слишком слабо сказано. Я превзошел самого себя. Я был в каком-то экстазе измышлений. Ах, Вайолет! Если б ты мне позволила сказать правду.

Вайолет *(сразу став серьезной и решительной)*. Нет, нет, Гектор. Ты ведь обещал.

Гектор. И буду верен своему обещанию, пока ты не освободишь меня от него. Но мне так противно лгать этим людям и отрекаться от своей жены. Просто невыносимо.

Вайолет. Если б твой отец не был таким упрямым...

Гектор. Он не упрямый. Он прав со своей точки зрения. Он очень предубежден против английской буржуазии.

Вайолет. Это просто смешно. Гектор, ты знаешь, как мне неприятно говорить тебе такие вещи, но если б я вздумала... Ну ладно, не стоит.

Гектор. Знаю. Если б ты вздумала выйти за сына английского фабриканта конторской мебели, твои друзья сочли бы это мезальянсом. А вот мой глупый старый папаша, будучи крупнейшим мебельщиком в мире, не задумается выставить меня из дому за женитьбу на самой достойной девушке Англии только потому, что ее имя не украшено титулом. Конечно, нелепо! Но, право же, Вайолет, мне страшно неприятно его обманывать. У меня такое чувство, словно я краду его деньги. Почему ты не позволяешь мне сказать правду?

Вайолет. Это слишком дорого будет стоить. Можно быть каким угодно романтиком в любви, Гектор, но в денежных делах романтиком быть не годится.

Гектор *(колеблясь между двумя противоречивыми чувствами: супружеской любовью и свойственным ему чувством моральной ответственности)*. Как это по-английски! *(Невольно взывая к ней.)* Вайолет, но ведь рано или поздно отец должен узнать.

Вайолет. О да, когда-нибудь, конечно. Только не нужно каждый раз снова начинать этот разговор, милый. Ты обещал...

Гектор. Ну, хорошо, хорошо...

Вайолет *(не собираясь сдаваться)*. Ведь от этого страдаю я, а не ты. А насчет того, чтоб смело встретить бедность, и борьбу, и тому подобное, так я просто не согласна. Это слишком глупо.

Гектор. Тебе и не придется. Я как бы возьму у отца взаймы до той поры, когда сам стану на ноги; а тогда я смогу сразу открыть ему правду и вернуть долг.

Вайолет *(с тревогой и негодованием)*. Ты хочешь работать? Ты хочешь испортить нашу семейную жизнь?

Гектор. Во всяком случае, я не хочу, чтоб наша семейная жизнь испортила меня. И так уже твой друг мистер Тэннер прохаживался на этот счет.

Вайолет. Животное! Ненавижу Джека Тэннера.

Гектор *(великодушно)*. Нет, отчего? Он славный малый. Нужно только, чтобы его полюбила достойная женщина, это облагородит его душу. К тому же он предложил автомобильную поездку в Ниццу, и ты поедешь со мной.

Вайолет. Чудесно.

Гектор. Да, но как это устроить? Понимаешь, они меня, так сказать, отговаривали ехать с тобой. Они мне сказали по секрету, что ты замужем. Более любопытного секрета мне еще никогда не доверяли.

Возвращается Тэннер и с ним Стрэйкер, который идет прямо к машине.

Тэннер. У вас прекрасная машина, мистер Мэлоун. Ваш механик там демонстрирует ее мистеру Рэмсдену.

Гектор *(забывшись)*. Идем скорее, Вай!

Вайолет *(холодно, предостерегая его взглядом)*. Простите, мистер Мэлоун, я не расслышала...

Гектор *(спохватившись)*. Мисс Робинсон, мне было бы чрезвычайно приятно, если бы вы разрешили показать вам мой маленький американский паровичок.

Вайолет. С удовольствием.

Уходят влево по аллее.

Тэннер. Слушайте, Стрэйкер, вот какое дело...

Стрэйкер *(возится с машиной)*. Да?

Тэннер. По-видимому, мисс Уайтфилд едет со мной.

Стрэйкер. Я так и понял.

Тэннер. Мистер Робинсон тоже едет.

Стрэйкер. Да.

Тэннер. Так вот, если вы сможете устроить так, чтобы я побольше был с вами, а мистер Робинсон побольше был с мисс Уайтфилд, он будет вам очень благодарен.

Стрэйкер *(оглядываясь на него)*. Наверно.

Тэннер. Наверно! Вот ваш дедушка, тот бы просто кивнул — и все.

Стрэйкер. Мой дедушка приподнял бы шляпу.

Тэннер. И я дал бы вашему милому, доброму, почтительному дедушке соверен.

Стрэйкер. А то и пять шиллингов. *(Оставляет машину и подходит к Тэннеру.)* А как на этот счет сама молодая леди?

Тэннер. Она так же рада обществу мистера Робинсона, как мистер Робинсон рад ее обществу.

Стрэйкер с холодным недоверием смотрит на своего

патрона, потом снова поворачивается к машине, насвистывая свою любимую мелодию.

Перестаньте издавать эти нестерпимые звуки. Что они должны обозначать?

Стрэйкер хладнокровно возобновляет прерванную песенку и досвистывает ее до конца; Тэннер вежливо выслушивает его и только потом обращается к нему снова, на этот раз с подчеркнутой серьезностью.

Генри, я всегда был горячим сторонником распространения музыки в массах, но я возражаю против того, что вы принимаетесь услаждать слух публики при каждом упоминании имени мисс Уайтфилд. Так было утром, теперь опять.

Стрэйкер *(угрюмо)*. Ничего из этого дела не выйдет. Пусть мистер Робинсон и не старается.

Тэннер. Почему?

Стрэйкер. Ха! Вы сами знаете, почему. Конечно, это меня не касается, но только зря вы мне очки втираете.

Тэннер. Ничего я вам не втираю. Я и в самом деле не знаю, почему.

Стрэйкер *(с зловещей веселостью)*. Ну-ну, ладно. Пусть. Дело не мое.

Тэннер *(внушительно)*. Полагаю, Генри, что я умею держать себя в границах, уместных между шофером и хозяином машины, и не навязываю вам своих личных обстоятельств. Даже наши деловые взаимоотношения регулируются вашим профсоюзом. Но не злоупотребляйте своими преимуществами. Позвольте вам напомнить, что еще Вольтер сказал: глупость, которую нельзя сказать, можно пропеть.

Стрэйкер. Это не Во́льтер сказал, а Боу Мар Шей.

Тэннер. Благодарю за поправку: конечно, Бомарше. Так вот, по-вашему, очевидно, то, что неудобно сказать, можно просвистеть. К сожалению, ваш свист, при всей его мелодичности, недостаточно вразумителен. Вот что: нас никто не слышит, ни мои достопочтенные родичи, ни секретарь вашего распроклятого союза. Скажите мне, Генри, как мужчина мужчине: почему вы считаете, что моему другу нельзя надеяться на успех у мисс Уайтфилд?

Стрэйкер. А потому, что у ней другой на уме.

Тэннер. Ах черт! Кто же это?

Стрэйкер. Вы.

Тэннер. Я?!!

Стрэйкер. Ну да, будто вы сами не знаете. Бросьте, мистер Тэннер!

Тэннер *(со свирепой серьезностью)*. Вы что это, всерьез или дурака валяете?

Стрэйкер *(вспылив)*. С какой стати мне валять дурака? *(Более спокойным тоном.)* Да это же ясно как божий день. Если вы этого до сих пор не разглядели, мало же вы смыслите в таких вещах. *(С обычной невозмутимостью.)* Прошу извинить, мистер Тэннер, но вы меня спрашивали как мужчина мужчину, я вам и сказал как мужчина мужчине.

Тэннер *(в неистовстве взывая к небесам)*. Так значит... значит, это я трутень, паук, намеченная добыча, обреченная жертва?

Стрэйкер. Насчет трутня и паука не скажу. Но что вы и есть намеченная добыча, это можете не сомневаться! И не так уж это плохо, верьте моему слову.

Тэннер *(торжественно)*. Генри Стрэйкер, великий час вашей жизни пробил!

Стрэйкер. Что еще такое?

Тэннер. Этот Бискринский рекорд...

Стрэйкер *(встрепенувшись)*. Ну?!

Тэннер. Побейте его.

Стрэйкер *(возносясь на вершину своей судьбы)*. Это вы серьезно?

Тэннер. Вполне.

Стрэйкер. Когда?

Тэннер. Сейчас. Машина готова?

Стрэйкер *(колеблясь)*. Но нельзя же...

Тэннер *(влезая в машину и тем обрывая разговор)*. Поехали! Сначала в банк за деньгами; потом ко мне за чемоданом; потом к вам за чемоданом; потом вы побьете рекорд Лондон – Дувр или Лондон – Фолкстон; потом через Ламанш и что есть мочи в Марсель, в Гибралтар, в Геную – в любой порт, откуда можно отплыть в магометанскую страну, где мужчины защищены от женщин.

Стрэйкер. Шутите!

Тэннер *(решительно)*. Не верите? Оставайтесь дома. Я поеду один. *(Включает мотор.)*

Стрэйкер *(бежит за ним)*. Эй! мистер! минутку! стойте! *(На ходу прыгает в машину.)*

Вечер в горах Сьерра-Невады. Отлогие бурые склоны; на клочках обработанной земли вместо яблонь — масличные деревья, на невозделанной почве вместо дрока и папоротника — редкие кактусы. Дальше живописная и величественная цепь крутых каменистых вершин, порой обрывающихся в пропасть. Отнюдь не дикая природа, скорее изысканный горный ландшафт, созданный рукой эстета. Нет вульгарного изобилия растительности: каменные кручи даже рождают невольно мысль о бесплодии. Испанское великолепие и испанская скудость во всем.

Немного севернее того места, где шоссе на одном из перевалов пересекает туннель железной дороги Гренада — Малага, находится один из горных амфитеатров Сьерры. Если встать у открытого конца подковы, то чуть правей, под обрывом, видна романтическая на вид пещера — на самом деле заброшенная каменоломня; слева невысокая скала, откуда хорошо просматривается дорога, огибающая амфитеатр; ее профиль выровнен с помощью насыпей и кое-где каменных мостиков. Со скалы наблюдает за дорогой человек, не то испанец, не то шотландец с виду. Вероятно, это испанец, потому что на нем плащ испанского горного пастуха, и, по-видимому, он чувствует себя в Сьерра-Неваде, как дома; но все же он очень похож и на шотландца. В лощине, неподалеку от входа в пещеру-каменоломню, вокруг тлеющей кучи валежника и сухих листьев непринужденно расположилась группа людей, как бы позируя в роли живописных бандитов, удостоивших Сьерру чести служить им красочным фоном. На самом деле в них нет ничего живописного, и горы только терпят их присутствие, как лев терпит блох. Английский полисмен или инспектор попечительства о бедных счел бы их шайкой бродяг или трудоспособных нищих.

Такое определение не столь уж уничижительно. Всякий, кому приходилось наблюдать жизнь бродяг или посещать отделение для трудоспособных в работном доме, согласится, что далеко не все социальные отщепенцы — пьяницы и нравственные уроды. Кое-кто из них попросту оказался неподходящим для того класса, в котором родился. Одни и те же свойства характера из образован-

ного джентльмена делают художника, а необразованного чернорабочего могут привести к положению трудоспособного нищего. Среди обитателей работных домов многие просто бездельники по натуре; но некоторые попали туда потому, что у них хватило силы воли пренебречь социальными условностями (несомненно, отражающими интересы налогоплательщиков), которые требуют, чтобы человек жил тяжелым и мизерно оплачиваемым трудом, и, объявив себя неимущими, отправиться в работный дом, где на законном основании получать от государства кров, одежду и пищу, гораздо лучшие, чем он мог бы добыть для себя сам, и притом с гораздо меньшей затратой усилий. Когда человек, родившийся поэтом, отказывается от места в маклерской конторе и голодное существование на чердаке за счет бедной квартирной хозяйки, друзей или родственников предпочитает работе, которая ему не по нутру; или когда дама из общества, потому лишь, что она дама из общества, любую форму паразитической зависимости готова принять охотнее, чем место кухарки или горничной,— мы относимся к ним весьма снисходительно. Такого же снисходительного отношения вправе требовать трудоспособный нищий и его кочевая разновидность — бродяга.

Далее: чтобы сделать свою жизнь сносной, человек, одаренный воображением, должен располагать досугом для рассказывания самому себе сказок и, кроме того, находиться в таких условиях, которые поддавались бы прикрасам воображения. Положение неквалифицированного рабочего таких возможностей не дает. Мы безобразно эксплуатируем рабочих; и если человек отказывается терпеть эксплуатацию, никто не вправе утверждать, будто бы он отказывается от честного труда. Необходимо достигнуть полной ясности в этом вопросе, прежде чем продолжать пьесу; только тогда можно будет наслаждаться ею не лицемеря. Будь мы людьми разумными и дальновидными, четыре пятых из нас предъявили бы государству требование о призрении и разнесли бы в щепы весь общественный строй, что привело бы к самым благодатным и оздоровляющим результатам. Если мы этого не делаем, то лишь потому, что все мы, подобно муравьям или пчелам, трудимся не рассуждая, в силу инстинкта или привычки. Поэтому, когда вдруг является среди нас человек, который умеет и хочет рассуждать и который вправе сказать нам по кантовской формуле:

«Если бы все поступали, как я, мир был бы вынужден перестроиться заново и уничтожить рабство и нищету, существующие лишь потому, что все поступают, как вы», — отнесемся к этому человеку с уважением и серьезно призадумаемся, не последовать ли его примеру. Таким человеком является трудо-способный, мысле-способный нищий. Будь это джентльмен, всяческими усилиями добивающийся пенсии или синекуры, никому бы и в голову не пришло осудить его за то, что при альтернативе — жить ли за счет общества или позволить обществу жить за твой счет — он решил, что глупо выбирать из двух зол то, которое для тебя лично является большим.

Поэтому мы можем без всякого предубеждения отнестись к бродягам Сьерры, чистосердечно признав, что у нас и у них одна цель: быть рыцарем удачи, и что разница в положении и методах лишь дело случая. Быть может, одного или двух из этих бродяг было бы целесообразно умертвить — без всякой злобы, самым мягким и гуманным способом, — потому что среди двуногих, как и среди четвероногих, встречаются такие, которых опасно оставлять на свободе без цепи и намордника, и несправедливо заставлять других людей тратить свою жизнь на то, чтобы сторожить их. Но так как у общества не хватает духу для этой разумной меры и после поимки оно лишь суеверно подвергает их искупительному ритуалу пыток и унижений, а затем отпускает готовыми нарушать закон с удвоенной энергией, то нет ничего дурного в том, что они свободно бродят и в ущельях Сьерры, под началом предводителя, который, судя по его внешнему виду, вполне способен, в случае надобности, приказать, чтобы их пристрелили. Предводитель этот сидит сейчас в самом центре группы, на обтесанной каменной глыбе; это высокий крепкий человек с характерным крючковатым носом, черными блестящими волосами, остроконечной бородкой, закрученными кверху усами. Его сходство с Мефистофелем, несомненно, искусственно подчеркнуто, но тем не менее производит известное впечатление, — быть может оттого, что сама природа здесь оправдывает рисовку, неуместную где-нибудь на Пикадилли; быть может, благодаря налету сентиментальности, характерному для этого человека и придающему ему то особое изящество, при котором только и простительна нарочитая живописность. В его взгляде и усмешке нет ничего жу-

ликоватого; у него звучный голос и находчивый ум; и он кажется самым сильным из всей компании — даже если в действительности это и не так. Во всяком случае, он лучше всех упитан, лучше всех одет и лучше всех умеет себя держать. Его английская речь не вызывает удивления, несмотря на испанский ландшафт, так как за исключением одного несомненного француза и одного человека, в котором можно угадать спившегося матадора, все здесь американцы или выходцы из лондонского простонародья; поэтому в стране плащей и сомбреро они расхаживают в поношенных макинтошах, шерстяных кашне, котелках и грязных желтых перчатках. Лишь немногие подражают в одежде начальнику, в чьем сомбреро с петушиным пером и пышном плаще, ниспадающем до высоких сапог, нет решительно ничего английского. Все безоружны; те, у кого нет перчаток, держат руки в карманах,— в силу национального убеждения, что ночью под открытым небом легко схватить простуду. (Вечер такой теплый, что лучшего трудно и пожелать.)

Большинству из членов этой компании на вид лет тридцать с небольшим. Старше только пьяница-матадор и еще низенький близорукий человек с рыжими бакенбардами и испуганным взглядом мелкого коммерсанта, запутавшегося в делах. У него одного на голове цилиндр, отсвечивающий в закатных лучах сальным блеском какого-то грошового патентованного средства для обновления шляп, которое, по-видимому, часто применяется, но всякий раз лишь приводит объект в еще более плачевное состояние; долгополое коричневое пальто с бархатным воротником имеет довольно сносный вид; костюм дополняют целлулоидный воротничок и манжеты. Очевидно, в этом сообществе ему принадлежит роль почтенного лица; лет ему, должно быть, за сорок, даже за пятьдесят. Он занимает крайнее место справа от предводителя, напротив троих мужчин в ярко-красных галстуках, расположившихся слева. Из этих троих один — француз. Двое других — англичане: один завзятый спорщик, мрачный и упрямый; другой сварливый и шумный субъект.

Предводитель великолепным жестом закидывает конец плаща на левое плечо и встает, готовясь произнести речь. Его встречают аплодисментами, что, несомненно, доказывает его популярность как оратора.

Предводитель. Друзья и коллеги бандиты! Я хочу сделать

заявление настоящему собранию. Вот уже три вечера мы занимаемся обсуждением вопроса о том, кому в большей мере свойственна личная храбрость – анархистам или социал-демократам. Мы весьма детально разобрали принципы анархизма и социал-демократии. Интересы анархизма умело защищал наш единственный анархист, который, кстати, не знает, что такое анархизм...

Общий смех.

Анархист *(вставая)*. Предложение к порядку, Мендоса...

Мендоса *(твердо)*. Нет уж, дудки! Ваше последнее предложение к порядку заняло полчаса. И потом – ведь анархисты отрицают порядок.

Анархист *(кротко, вежливо, но настойчиво; это и есть почтенного вида пожилой человек в целлулоидном воротничке и манжетах)*. Это грубое заблуждение. Я могу доказать...

Мендоса. К порядку, к порядку!

Прочие *(кричат)*. К порядку, к порядку! Садитесь! Слово председателю! Долой!

Анархиста принуждают замолчать.

Мендоса. С другой стороны, в нашей среде имеются три социал-демократа. Они не в ладах между собой, и нам здесь были предложены три различные и несовместимые социал-демократические теории.

Трое в ярко-красных галстуках. 1-й. Господин председатель, я протестую. Пристрастное освещение. 2-й. Ложь! Я этого никогда не говорил. Будьте честны, Мендоса. 3-й. Je demande la parole. C'est absolument faux! C'est faux! faux!! faux!!! Assas-s-s-s-sin!!![1]

Мендоса. К порядку, к порядку!

Прочие. К порядку, к порядку, к порядку! Слово председателю.

Социал-демократов принуждают замолчать.

Мендоса. Мы здесь, конечно, относимся терпимо к любым взглядам. Но в конце концов, друзья, большинство из нас не анархисты и не социалисты, а джентльмены и христиане.

Большинство. Слушайте, слушайте! Верно. Правильно.

---

[1] Я требую слова. Это чистейшая ложь! Ложь! Ложь! Караул! *(франц.)*

Шумный социал-демократ *(отбиваясь от попыток заставить его замолчать)*. Никакой вы не христианин. Вы жид, вот вы кто!

Мендоса *(с уничтожающим великодушием)*. Друг мой, я — исключение из всех правил. Совершенно верно: я имею честь принадлежать к еврейской нации; и когда сионистам понадобится глава, чтобы вновь объединить наш народ на его исторической родине в Палестине, Мендоса не последним предложит свои услуги.

Сочувственные аплодисменты, крики: «Слушайте, слушайте»! и т. д.

Но я не раб предрассудков. Я проглотил все формулы, вплоть до формулы социализма; хотя, в известном смысле, кто раз стал социалистом, тот остается им навсегда.

Социал-демократы. Слушайте, слушайте!

Мендоса. Тем не менее я твердо знаю, что обыкновенный человек — даже обыкновенный бандит, которого едва ли можно назвать обыкновенным человеком...

Крики: «Слушайте, слушайте!»

...не философ. С него достаточно здравого смысла; а в нашем деле я и сам готов удовольствоваться здравым смыслом. Но скажите, для какого дела мы собрались здесь, в Сьерра-Неваде, которую мавры считали красивейшим уголком Испании? Чтобы вести туманные дискуссии на темы политической экономии? Нет. Чтобы задерживать автомобили и способствовать более справедливому распределению материальных благ.

Мрачный социал-демократ. Являющихся продуктом труда — не забывайте этого.

Мендоса *(с изысканной вежливостью)*. Без всякого сомнения. И этот продукт труда богатые бездельники готовятся растранжирить в притонах разврата, обезображивающих солнечные берега Средиземного моря. Мы перехватываем у них эти материальные блага. Мы вновь пускаем их в обращение среди того класса, который их произвел и больше всех в них нуждается,— рабочего класса. Мы совершаем это, рискуя свободой и жизнью, путем упражнения таких добродетелей, как мужество, выносливость, предусмотрительность и воздержание,— особенно воздержание. Я сам вот уже три дня не ел ничего, кроме кактусов и рагу из дикого кролика.

Мрачный социал-демократ *(упрямо)*. Мы тоже.

Мендоса *(возмущенно)*. Я, кажется, не брал себе больше, чем мне полагается.

Мрачный социал-демократ *(нисколько не тронутый)*. Еще чего!

Анархист. А если бы и брал? Каждому по потребностям, от каждого по способностям.

Француз *(потрясая кулаком перед анархистом)*. Fumiste![1]

Мендоса *(дипломатично)*. Я согласен с вами обоими.

Чистокровные английские бандиты. Слушайте, слушайте! Браво, Мендоса.

Мендоса. Моя мысль вот в чем; будем относиться друг к другу как джентльмены и состязаться в доблести только на поле битвы.

Шумный социал-демократ *(язвительно)*. Чем не Шекспир?!

Со скалы доносится свист. Пастух вскочил на ноги и возбужденно тычет пальцем в сторону дороги.

Пастух. Машина! Машина! *(Бежит вниз и смешивается с толпой бандитов, которые тоже повскакали со своих мест.)*

Мендоса *(звонко)*. К оружию! У кого винтовка?

Мрачный социал-демократ *(передает ему винтовку)*. Вот она.

Мендоса. Гвозди рассыпаны на шоссе?

Мрачный социал-демократ. Целых две унции.

Мендоса. Хорошо! *(Французу.)* Дюваль, за мной! Если гвозди не помогут, вы продырявите шины пулей. *(Передает винтовку Дювалю, который следом за ним взбирается на скалу. Мендоса вынимает театральный бинокль.)*

Остальные бегут к дороге и скрываются в северном направлении.

(Мендоса на скале, приставив бинокль к глазам.) Только двое, капиталист и его шофер. Судя по виду, англичане.

Дюваль. Англишан! Вот как! Cochons![2] *(Щелкает затвором.)* Faut tirer, n'est ce pas?[3]

Мендоса. Нет! Гвозди сделали свое дело: камера лопнула; они останавливаются.

Дюваль *(кричит остальным)*. Fondez sur eux, nom de Dieu![4]

---

[1] Шарлатан! *(франц.)*

[2] Свиньи! *(франц.)*

[3] Стрелять, да? *(франц.)*

[4] Бросайтесь же на них, черт возьми! *(франц.)*

Мендоса *(тоном упрека)*. Du calme,[1] Дюваль. Держите себя в руках. Они не сопротивляются. Спустимся и пойдем им навстречу.

Мендоса спускается со скалы и, обойдя костер, выходит на авансцену, куда в это же время со стороны дороги бандиты приводят Тэннера и Стрэйкера; оба в кожаных пальто и шлемах и в автомобильных очках.

Тэннер. Этот джентльмен и есть ваш предводитель? Он говорит по-английски?

Шумный социал-демократ. А то нет! Неужели вы воображаете, что мы, англичане, станем подчиняться какому-то испанцу?

Мендоса *(с достоинством)*. Разрешите представиться: Мендоса, президент Лиги Сьерры! *(С нарочитой надменностью.)* Я — бандит: живу тем, что граблю богатых.

Тэннер *(живо)*. А я — джентльмен: живу тем, что граблю бедных. Вашу руку!

Социал-демократы англичане. Слушайте, слушайте!

Общий смех и веселье. Тэннер и Мендоса обмениваются рукопожатиями. Бандиты возвращаются на свои места.

Стрэйкер. Эй, вы! А про меня-то забыли?

Тэннер *(представляя)*. Мой друг и шофер.

Мрачный социал-демократ *(подозрительно)*. Что же все-таки, друг или шофер? Это, знаете ли, существенно.

Мендоса *(поясняя)*. За друга мы будем требовать выкуп. Профессиональный шофер пользуется в горах полной свободой; ему даже предоставляется известный скромный процент из выкупа хозяина, если он окажет нам честь принять его.

Стрэйкер. Ага! Это чтоб я и в другой раз поехал той же дорогой. Что ж, тут стоит подумать.

Дюваль *(порывисто кидаясь к Стрэйкеру)*. Mon frère![2] *(Восторженно обнимает его и целует в обе щеки.)*

Стрэйкер *(с отвращением)*. Слушайте, как вас? Не валяйте дурака. Кто вы вообще такой?

Дюваль. Дюваль, социал-демократ.

Стрэйкер. Ах вот как, вы социал-демократ?

Анархист. Иначе говоря, он продался парламентскому сброду и буржуазии. Компромисс — вот его символ веры.

---

[1] Спокойнее *(франц.)*

[2] Брат мой! *(франц.)*

Дюваль *(в ярости)*. Я понимай, что он говориль. Он говорнль — буржуази. Он говориль — компромисс. Jamais de la vie! Misérable menteur![1]

Стрэйкер. Послушайте, капитан Мендоса! Что это у вас тут за порядки? Выходит, мы ехали на увеселительную прогулку, а попали на митинг социалистов.

Большинство. Слушайте, слушайте! Долой! Долой! Лишить слова! На место! и т. п. и т. п.

Социал-демократов и анархиста оттирают на задний план, после чего Стрэйкер, не без удовольствия наблюдавший за этой процедурой, устраивается слева от Мендосы, Тэннер — справа.

Мендоса. Чем вас можно угостить? Кактус, рагу из кролика?..

Тэннер. Благодарю вас, мы уже обедали.

Мендоса *(своим приспешникам)*. Господа! Рабочий день окончен. До утра все свободны.

Бандиты лениво разбредаются в разные стороны. Одни уходят в пещеру, другие усаживаются или укладываются спать под открытым небом. Несколько человек, запасшись колодой карт, идут на дорогу; на небе теперь светят только звезды, а у автомобиля, как известно, есть фары, при свете которых вполне можно сыграть партию в карты.

Стрэйкер *(окликая их)*. Вы там не вздумайте только баловать с машиной, слышите?

Мендоса. Будьте спокойны, monsieur le chauffeur! Первый автомобиль, который мы тут захватили, навсегда отбил у нас охоту.

Стрэйкер *(с интересом)*. А что он вам сделал?

Мендоса. Свез в Гренаду троих наших товарищей, которые не знали, как его остановить, и вывалил их у самой двери полицейского участка. С тех пор мы никогда не прикасаемся к машине в отсутствие шофера. Что ж, побеседуем по душам?

Тэннер. С удовольствием.

Тэннер, Мендоса и Стрэйкер рассаживаются вокруг костра. Мендоса любезно пренебрегает своим положением президента, одной из привилегий которого является право сидеть на обтесанной каменной глыбе, и устраивается, как и его гости, прямо на земле, лишь прислонившись к камню спиной.

---

[1] Никогда в жизни! Низкий лжец! *(франц.)*

Мендоса. В Испании принято всегда откладывать дело на завтра. К тому же вы приехали в неслужебные часы. Но тем не менее, если вы предпочитаете немедля заняться вопросом о выкупе,— я к вашим услугам.

Тэннер. Можно подождать и до завтра. Я достаточно богат и думаю, что в цене мы сойдемся.

Мендоса *(пораженный этим признанием, почтительно)*. Вы необыкновенный человек, сэр! Обычно наши гости уверяют нас, что они почти нищие.

Тэннер. Чушь! Нищие не разъезжают в собственных автомобилях.

Мендоса. Вот и мы им говорим то же самое.

Тэннер. Обращайтесь с нами хорошо, и мы не останемся в долгу.

Стрэйкер. И, пожалуйста, без кактусов и рагу из кролика. Я отлично знаю: стоит вам только захотеть, так найдется что-нибудь и получше.

Мендоса. За наличные можете получить вино, баранину, молоко, сыр и хлеб.

Стрэйкер *(милостиво)*. Вот это другой разговор.

Тэннер. Скажите, вы все — социалисты?

Мендоса *(спеша рассеять это унизительное заблуждение)*. О нет, нет, нет! Уверяю вас, ничего подобного. Разумеется, мы придерживаемся современных взглядов относительно несправедливости существующей системы распределения материальных благ; иначе мы бы себя не уважали. Но вы ни от кого здесь не услышите неприемлемых для себя суждений — если исключить двух-трех чудаков.

Тэннер. Я не имел в виду вас обидеть. Собственно говоря, я сам до известной степени социалист.

Стрэйкер *(сухо)*. Все богачи — социалисты, как я погляжу.

Мендоса. Вы совершенно правы. И нужно сознаться, нас это тоже не миновало. Таков дух времени.

Стрэйкер. Да, должно быть, у социализма дела недурны, раз уж и ваши молодцы в социалисты записались.

Мендоса. Ни одно движение не может существенно влиять на политику страны, если в нем принимают участие только философы и честные люди: их слишком мало. До тех пор, пока движение не станет популярным среди бандитов, ему нечего рассчитывать на политическое большинство.

Тэннер. Но разве ваши бандиты менее честны, чем обыкновенные граждане?

Мендоса. Сэр, я буду с вами откровенен. Бандитизм — вне норм. Такого рода профессии привлекают две категории людей; тех, кто не дорос до обыкновенного буржуазного уклада, и тех, кто его перерос. Мы — и самый нижний и самый верхний слой, сэр. Подонки и пенки, так сказать.

Стрэйкер. Тсс! Смотрите, как бы вас не услышал кто-нибудь из подонков.

Мендоса. Это неважно. Каждый бандит думает, что он принадлежит к пенкам, и любит, когда других называют подонками.

Тэннер. О, да вы остроумны!

Мендоса, польщенный, наклоняет голову.

Можно задать вам откровенный вопрос?

Мендоса. Спрашивайте все, что хотите.

Тэннер. Какой смысл человеку ваших способностей пасти такое стадо, питаясь кактусами и рагу из кролика? Я видел людей менее одаренных и — готов поклясться — менее честных в отеле «Савой» за ужином с pâté de fois gras[1] и шампанским.

Мендоса. Пустое! В жизни каждого из них была пора кактусов и рагу из кролика, так же как в моей жизни когда-нибудь настанет пора отеля «Савой». Да, собственно говоря, в ней уже была такая пора, — я там служил официантом.

Тэннер. Официантом! Вы шутите!

Мендоса *(задумчиво)*. Да. Я, Мендоса де Сьерра, был официантом в отеле «Савой». Быть может, именно это сделало из меня космополита. *(В неожиданном порыве.)* Хотите, я расскажу вам свою историю?

Стрэйкер *(с опаской)*. Если только она не очень длинная.

Тэннер *(живо)*. Замолчите, Генри! Вы филистер. В вас нет ни капли романтики. *(Мендосе.)* Господин президент, вы меня страшно заинтересовали. Не обращайте внимания на Генри, пусть его ложится спать.

Мендоса. Женщина, которую я любил...

Стрэйкер. Ах, так это любовная история? Ну, тогда ничего, давайте. А то я боялся, что вы будете рассказывать о себе.

Мендоса. О себе? Ради нее я давно уже отрекся от себя. Вот почему я оказался здесь. Но все равно: без нее мир

---

[1] Паштет из гусиной печенки *(франц.)*.

для меня не существует. У нее, пóверьте моему слову, были самые прекрасные волосы, какие только можно себе представить; она была умна, обладала природным юмором, в совершенстве умела стряпать, была капризна, непостоянна, изменчива, прихотлива, жестока — одним словом, очаровательна.

Стрэйкер. Ну прямо героиня шестишиллингового романа, если б только не стряпня. А звали ее как? Наверно, леди Глэдис Плантагенет?

Мендоса. Нет, сэр; она родилась не в графской семье. По фотографиям в газетах и журналах я хорошо знаком с внешностью дочерей английских пэров и могу сказать, не кривя душой, что все они вместе взятые, с их ужимками, тряпками, приданым и титулами, не стоят одной ее улыбки. А между тем это была женщина из народа, труженица; иначе — откровенность за откровенность — я бы и не взглянул на нее.

Тэннер. Совершенно справедливо. И что ж, она вам отвечала взаимностью?

Мендоса. Разве тогда я был бы здесь? Она не хотела выйти замуж за еврея.

Тэннер. Из религиозных соображений?

Мендоса. Нет, она была свободомыслящая. Но она говорила, что каждый еврей в глубине души считает англичан нечистоплотными.

Тэннер. Нечистоплотными?

Мендоса. Это лишь показывает ее глубокое знание света; потому что это совершенная правда. Наш сложный гигиенический кодекс внушает нам преувеличенно презрительное отношение к христианам.

Тэннер. Вы когда-нибудь слышали подобное, Генри?

Стрэйкер. Да, моя сестра тоже так говорила. Она одно время служила кухаркой в еврейской семье.

Мендоса. Я не смел с ней спорить и не мог бороться с представлением, которое в ней так укоренилось. Всякое другое препятствие я сумел бы преодолеть. Но ни одна женщина не простит мужчине сомнения в деликатности ее привычек. Все мольбы мои были напрасны; она постоянно возражала, что она для меня недостаточно хороша, и советовала мне жениться на одной трактирной служанке по имени Ребекка Лейзерус, которую я терпеть не мог! Я грозил покончить с собой, — она предложила мне пакетик персидского порошка для этой цели. Я намекнул, что способен на убийство, — с ней сделалась истери-

ка; и провалиться мне на этом месте — я уехал в Америку только для того, чтобы ей не мерещилось во сне, будто я пробираюсь к ней в комнату с ножом в руках. В Западных штатах я столкнулся с одним человеком, которого разыскивала полиция за ограбление поездов. Это он подал мне мысль уехать на юг Европы и заняться ограблением автомобилей: спасительная мысль для разочарованного и отчаявшегося человека. Он снабдил меня рекомендательными письмами к людям, которые могли финансировать это предприятие. Я организовал концерн. И вот я здесь. Как всякий еврей, благодаря своему уму и воображению я оказался во главе дела. Но хоть я и не чужд расовой гордости, я бы все отдал, чтоб быть англичанином. Я веду себя, как мальчишка, — вырезаю на деревьях ее инициалы и черчу на песке ее имя. Оставшись один, я бросаюсь на землю, рву на себе волосы и кричу: «Луиза!..»

Стрэйкер *(пораженный)*. Луиза?

Мендоса. Да, так ее зовут: Луиза Стрэйкер.

Тэннер. Стрэйкер?

Стрэйкер *(вне себя от негодования, привстает на колени)*. Слушайте, вы! Луиза Стрэйкер — это моя сестра. Поняли? Что вы там за вздор про нее несете? Какое вам дело до нее?

Мендоса. О, драматическое совпадение! Вы — Генри, ее любимый брат?

Стрэйкер. Какой я вам Генри? Что это еще за фамильярности со мной и с моей сестрой? Скажите еще слово, и я из вас дух вышибу.

Мендоса *(с величайшим спокойствием)*. Можете, только обещайте мне, что вы ей об этом расскажете. Она вспомнит о своем Мендосе; а мне ничего больше не нужно.

Тэннер. Вот истинное чувство, Генри. Вы должны отнестись к нему с уважением.

Стрэйкер *(злобно)*. Просто трусит.

Мендоса *(вскакивая)*. Трусит?.. Молодой человек! Я происхожу из семьи знаменитых боксеров, и вашей сестре хорошо известно, что вы против меня — все равно что детская колясочка против вашего автомобиля.

Стрэйкер *(втайне струхнув, поднимается все же с колен с видом бесшабашного забияки)*. Подумаешь, испугали! Я вам покажу Луизу! Луиза! Для вас и «мисс Стрэйкер» достаточно хороша!

Мендоса. Я хотел бы, чтоб вы ее в этом убедили.

Стрэйкер *(задохнувшись от злости)*. Слуш...

Тэннер *(быстро встает и становится между ними)*. Перестаньте, Генри. Ну, положим, вы побьете президента, но вы же не можете перебить всю Лигу Сьерры? Сядьте на свое место и успокойтесь. Даже кошка смеет смотреть на короля; и даже президент бандитов смеет смотреть на вашу сестру. Вообще эта семейная спесь – пережиток прошлого.

Стрэйкер *(повинуясь, но все еще ворча)*. Пусть его смотрит на нее. Но с чего ему взбрело в голову, будто она когда-нибудь смотрела на него? *(Неохотно укладывается снова на земле у костра.)* Послушать его, так и правда подумаешь, что она с ним водилась. *(Поворачивается спиной и устраивается поудобнее, собираясь спать.)*

Мендоса *(Тэннеру; кругом все уже спят, и он делается откровеннее, видя, что остался наедине с сочувственно настроенным слушателем, под усыпанным звездами небом)*. Да, вот так это и было, сэр. Разумом она опередила свою эпоху, но социальные предрассудки и семейные привязанности тянули ее назад, в глубь темных веков. Ах, сэр, поистине любому порыву наших чувств можно найти выражение у Шекспира;

Ее любил я. Сорок тысяч братьев
Всем множеством своей любви со мною
Не уравнялись бы...

Дальше я забыл. Конечно, вы можете назвать это безумием, наваждением. Я способный человек, сильный человек; еще десять лет, и я был бы владельцем первоклассного отеля. Но я встретил ее – и вот перед вами бандит, отщепенец. Нет, даже Шекспир не в силах передать мои чувства к Луизе. Позвольте прочесть вам несколько строк, которые я ей посвятил. Их литературное достоинство, может быть, и невысоко, но они лучше всего передают мои чувства. *(Вынимает из кармана пачку ресторанных счетов, исписанных неразборчивым почерком, и, встав на колени, помешивает палочкой в костре, чтобы он разгорелся ярче.)*

Тэннер *(резко хлопнув его по плечу)*. Послушайте, президент, бросьте это в огонь.

Мендоса *(изумленно)*. Что?

Тэннер. Вы губите свою жизнь ради жалкой мании.

Мендоса. Я знаю.

Тэннер. Нет, вы не знаете. Не может человек сознательно

совершать над собой такое преступление. Как вам не стыдно среди этих царственных гор, под этим божественным небом, вдыхая этот чудесный теплый воздух — говорить языком третьеразрядного писаки из Блумсбери!

Мендоса *(качая головой)*. Когда утрачена прелесть новизны, Сьерра ничуть не лучше Блумсбери. К тому же эти горы навевают сны о женщинах — о женщинах с прекрасными волосами.

Тэннер. Короче говоря — о Луизе. Ну, мне они не навевают снов о женщинах, друг мой. Я застрахован от любви.

Мендоса. Не хвалитесь раньше времени, сэр. В этих краях иногда снятся странные сны.

Тэннер. Что ж, посмотрим. Спокойной ночи. *(Ложится и устраивается поудобнее, готовясь заснуть.)*

Мендоса, вздохнув, следует его примеру; и на несколько мгновений в горах Сьерры воцаряется тишина. Потом Мендоса садится и умоляюще говорит Тэннеру:

Мендоса. Ну хоть несколько строчек, пока вы еще не заснули. Мне, право, очень хочется услышать ваше мнение.

Тэннер *(сонным голосом)*. Валяйте. Я слушаю.

Мендоса. Тебя я встретил в Духов день,
Луиза, Луиза...

Тэннер *(приподнимаясь)*. Послушайте, дорогой мой президент, Луиза бесспорно очень красивое имя, но оно же не рифмуется с Духовым днем.

Мендоса. Конечно, нет. Оно и не должно рифмоваться, Луиза — это здесь рефрен.

Тэннер *(укладывается вновь)*. Ах, рефрен. Ну, тогда простите. Читайте дальше.

Мендоса. Если эти вам не нравятся, я прочту другие,— они, пожалуй, лучше. *(Декламирует звучным бархатным голосом, медленно и раздельно.)*

Луиза, люблю вас.
Люблю вас, Луиза.
Луиза, Луиза, Луиза, люблю вас.
Вся музыка мира лишь в слове: «Луиза»...
Луиза, Луиза, Луиза, люблю вас.

Мендоса влюбленный,
Влюбленный Мендоса,
Мендоса живет лишь для милой Луизы;
Другого на свете не знает он счастья.
Луиза, Луиза, Мендоса вас любит.

(Растроганно.) Не так уж трудно составлять красивые строчки вокруг такого имени. Прелестное имя – Луиза; правда, сэр?

Тэннер, почти уснувший, отвечает невнятным мычаньем.

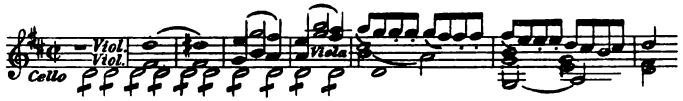
Ах, будь же, Луиза,
Женою Мендосы,
Мендосы Луизой, Луизой Мендоса.
Как сладко жилось бы Луизе Мендосы,
Как нежил бы лаской свою он Луизу.

Да, это истинная поэзия – от самого сердца, от самой сердцевины сердца. Как вы думаете, неужели и это ее не тронет?

Молчание.

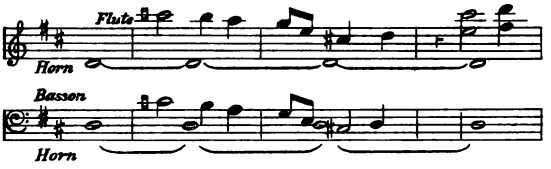
(Уныло.) Заснул. Вот и всегда так. Для всего мира это лишь скверные вирши, а для меня – небесная музыка. Эх, дурень я, дурень, душа нараспашку! *(Укладывается спать, бормоча.)* Луиза, люблю вас. Люблю вас, Луиза. Луиза... Луиза, Луиза, лю...

Стрэйкер всхрапывает, переворачивается на бок, снова засыпает. В горах Сьерры наступает тишина, сумрак сгущается. Огонь зарылся в пепел и едва тлеет. Непроницаемо черны вершины гор на фоне звездного неба; но вот и звезды тускнеют и гаснут, и небо словно выскользнуло из мира. На месте Сьерры теперь – ничто, вездесущее ничто. Ни неба, ни гор, ни света, ни звука, ни времени, ни пространства: беспредельная пустота. Но вот вдали возникает бледная туманность, и в то же время слышится слабое гудение, точно на призрачной виолончели без конца вибрирует одна и та же струна; две призрачные скрипки вступают под этот аккомпанемент



и тотчас же в туманности вырисовывается человек – бесплотный, но все же видимый, сидящий, как это ни странно, в пустоте. На мгновение, когда звуки музыки проносятся мимо него, он поднимает голову, потом с тяжелым вздохом никнет в безысходной тоске. Скрипки, приуныв, безнадежно тянут свою мелодию, пока она

не теряется в стенаниях каких-то таинственных духовых:



Все это очень странно. Но можно узнать моцартовскую тему; это наводит на догадку, и догадка подтверждается, когда при свете вспыхнувших в туманности фиолетовых искр становится видно, что человек одет в костюм испанского гранда XV—XVI веков. Дон Жуан, конечно. Но где? почему? как? Кроме того, когда он приподнимал голову, его лицо, сейчас скрытое полями шляпы, чем-то неожиданно напоминало Тэннера. Правда, это лицо бледнее; в холодных правильных чертах не прочтешь стремительного легковерия и экспансивности Тэннера и не увидишь налета вульгарности, свойственной современному плутократу, но все же сходство значительное, почти полное. Даже в имени: Дон Жуан Тенорио — Джон Тэннер. Куда, на какой край земли — а может быть, и не земли? — занесло нас из XX века и Сьерры?

Возникает новая туманность, на этот раз не фиолетовая, а с неприятной дымчатой желтизной. Тотчас же тихий напев призрачного кларнета придает музыке оттенок беспредельной скорби.

Желтоватая туманность движется; бредет в пустоте древняя старуха, сгорбленная и беззубая, закутанная, насколько можно разглядеть, в грубое темное монашеское одеяние. Она бредет и бредет, медленной, расслабленной поступью, слепо кружит, как оса в своем стремительном и деловитом полете, пока не натыкается на то единственное, чего она ищет: другое живое существо. Со вздохом облегчения, обрадовавшись присутствию человека, бедная старушка обращается к сидящему сухим и неприятным

голосом, который еще не утратил способности выражать и высокомерие, и решительность, и страдание.

Старуха. Простите, но я так одинока, а здесь так страшно.

Дон Жуан. Новенькая?

Старуха. Да. Я умерла, кажется, сегодня утром. Я исповедалась, причастилась святых тайн; я лежала в постели, окруженная родными, не сводя глаз с креста. Потом стало темно. И когда опять появился свет — вот этот свет,— я побрела, ничего не видя кругом. Уже много часов я скитаюсь в мучительном одиночестве.

Дон Жуан *(со вздохом)*. Ах! Вы еще не утратили чувства времени. Это скоро проходит перед лицом вечности.

Старуха. Где мы?

Дон Жуан. В аду.

Старуха *(высокомерно)*. В аду? Я — в аду? Как вы смеете?

Дон Жуан *(нимало не тронутый)*. Что же тут невозможного, сеньора?

Старуха. Вы не знаете, с кем говорите. Я дворянка и верная дочь церкви.

Дон Жуан. Охотно верю.

Старуха. Как же я могла попасть в ад? Может быть, это чистилище? У меня были недостатки — у кого их нет?— но ад! Вы просто лжете.

Дон Жуан. Ад, сеньора, уверяю вас, ад; и притом лучший его уголок — самый уединенный. Хотя вы, может быть, предпочитаете общество?

Старуха. Но ведь я же исповедовалась, я искренне каялась в своих грехах...

Дон Жуан. Во многих?

Старуха. Я каялась больше, чем грешила; я любила ходить к исповеди.

Дон Жуан. О, это, пожалуй, не лучше, чем каяться не во всем. Но так или иначе, сеньора, ясно одно: намеренно или по недосмотру — вы осуждены наравне со мной; и теперь вам остается только примириться с этим.

Старуха *(негодующе)*. О! Но если так, я ведь могла грешить гораздо больше! Выходит, все мои добрые дела пропали зря? Ведь это же несправедливо!

Дон Жуан. Вовсе нет! Вас совершенно точно и ясно предупреждали: за дурные дела — искупление через муки спасителя, милосердие без справедливости; за добрые дела — справедливость без милосердия. У нас здесь немало честных людей.

Старуха. И вы тоже были честным человеком?

Дон Жуан. Я был убийцей.

Старуха. Убийцей! Как же меня посмели свалить в одну кучу с убийцами? Я не такая уж грешница, я была честной женщиной. Тут, верно, ошибка; как ее исправить?

Дон Жуан. Не знаю, можно ли здесь исправлять ошибки. Скорее всего, если даже и была ошибка, ее не захотят признать!

Старуха. Но к кому же мне обратиться?

Дон Жуан. На вашем месте, я обратился бы к дьяволу, сеньора. Он неплохо разбирается в здешних порядках, что мне никогда не удавалось.

Старуха. Дьявол? Мне говорить с дьяволом?

Дон Жуан. В аду, сеньора, дьявол возглавляет лучшее общество.

Старуха. Я же вам говорю, несчастный: я знаю, что я не в аду.

Дон Жуан. Откуда же вы это знаете?

Старуха. Я не испытываю страданий.

Дон Жуан. О, в таком случае никакой ошибки нет: вы попали по адресу.

Старуха. Почему вы так решили?

Дон Жуан. Потому, сеньора, что ад — это место для грешников. Грешники себя в нем отлично чувствуют: на них он и рассчитан. Вы сказали, что не испытываете страданий. Из этого я заключаю, что вы одна из тех, для кого существует ад.

Старуха. А вы испытываете страдания?

Дон Жуан. Я не грешник, сеньора; поэтому мне здесь скучно, нестерпимо, невероятно скучно.

Старуха. Не грешник? Да ведь вы сказали, что вы убийца.

Дон Жуан. Так то был поединок. Я проткнул шпагой одного старика, который меня хотел проткнуть шпагой.

Старуха. Если вы дворянин, то это не называется убийством.

Дон Жуан. Старик считал это убийством, потому что он, по его словам, защищал честь своей дочери. Это надо понимать так: когда я имел глупость влюбиться в нее и сказал ей об этом, она подняла крик; а он едва не убил меня, предварительно изругав самым оскорбительным образом.

Старуха. Вы такой же, как и все мужчины. Все они распутники и убийцы, все, все, все!

Дон Жуан. И тем не менее мы здесь встретились с вами, сударыня.

Старуха. Слушайте, что я вам скажу. Мой отец был убит таким же бездельником, на таком же поединке, по такому же поводу. Я закричала, — этого требовал мой долг. Мой отец бросил вызов оскорбителю, — это был вопрос чести. Отец пал: вот награда за защиту чести. Я здесь — в аду, как вы сами сказали: вот награда за исполненный долг. Так есть ли справедливость в небесах?

Дон Жуан. Нет. А вот в аду есть. Небеса слишком далеки от ничтожной человеческой личности. Вам хорошо будет в аду, сеньора. Ад — истинная обитель чести, долга, справедливости, — одним словом, всех семи смертных добродетелей. Ведь во имя их совершаются все прегрешения на земле; где же, как не в аду, искать за них награды? Я уже сказал вам: кто проклят по заслугам, тот вполне счастлив в аду.

Старуха. А вы сами счастливы здесь?

Дон Жуан *(вскакивая на ноги)*. Нет! Над этой-то загадкой я и размышляю во мраке ада. Зачем я здесь? Я, который отрекся от долга, попирал честь и смеялся над справедливостью!

Старуха. Ах, что мне до того, зачем вы здесь! Вот зачем я здесь? Я, которая все свои склонности принесла в жертву женской чистоте и добродетели!

Дон Жуан. Терпение, сударыня! Вы скоро здесь освоитесь и будете вполне счастливы. Как сказал поэт: «Ад — это город, с Севильей очень схожий».

Старуха. Счастлива! Здесь! Где я никто! Где я ничто!

Дон Жуан. Ничуть не бывало! Вы дама, а где дамы — там всегда ад. Не удивляйтесь и не пугайтесь; вы здесь найдете все, чего может пожелать дама, вплоть до дьяволов, которые станут служить вам из одной лишь страсти прислуживаться и превозносить ваши достоинства, чтобы возвеличить свои заслуги.

Старуха. Мои слуги будут дьяволы?

Дон Жуан. А разве на земле ваши слуги не были дьяволы?

Старуха. Верно! Все они были сущие дьяволы, все до одного! Но это так только говорится. А я поняла из ваших слов, что моими слугами будут настоящие дьяволы.

Дон Жуан. Они в такой же мере настоящие дьяволы, в какой вы — настоящая дама. Здесь нет ничего настоящего. В этом ужас вечного проклятия.

Старуха. С ума сойти! Да это хуже геенны огненной.

Дон Жуан. Но кой в чем вы все-таки можете найти утеше-

ние. Вот, например: сколько лет вам было, когда вы отошли в вечность?

Старуха. Почему вы говорите – было, словно я уже вся в прошлом? Мне сейчас семьдесят семь.

Дон Жуан. Возраст почтенный, сеньора. Но здесь, в аду, не терпят старости. Старость слишком реальна. Здесь мы поклоняемся Любви и Красоте. Так как на душах наших лежит проклятие, мы изощряем свои сердца. Семидесятисемилетней старухой вы рискуете не завязать в аду ни одного знакомства.

Старуха. Но не могу же я изменить свой возраст?

Дон Жуан. Вы забываете, что ваш возраст остался позади, в царстве времени. Вам точно так же не семьдесят семь лет теперь, как не семь, не семнадцать и не двадцать семь.

Старуха. Вздор!

Дон Жуан. Подумайте сами, сеньора; разве́ это не было так, даже когда вы еще жили на земле? Разве в семьдесят лет, под своими морщинами и сединами, вы действительно были старше, чем в тридцать?

Старуха. Нет, моложе. В тридцать я была дурочкой. Но что толку чувствовать себя молодой, если выглядишь старой?

Дон Жуан. Вот видите, сеньора, ваш внешний вид был только иллюзией. Ваши морщины были так же обманчивы, как свежая гладкая кожа глупой семнадцатилетней девчонки, немощной духом и дряхлой мыслями. Здесь мы бесплотны; мы видим себя в телесном образе лишь потому, что еще при жизни научились думать о себе как о существах из плоти и крови и не умеем думать иначе. Но мы можем являться друг другу в любом возрасте, по нашему желанию. Вам стоит только пожелать, и к вам возвратится любой из ваших прежних обликов.

Старуха. Не может быть!

Дон Жуан. Попробуйте.

Старуха. Семнадцать лет!

Дон Жуан. Стойте! Прежде чем вы решите, я должен предупредить вас, что это в значительной степени вопрос моды. Иногда нам кажется, что нет ничего лучше семнадцати лет; но это преходящее заблуждение. Сейчас самый модный возраст – сорок или, скажем, тридцать семь; однако, судя по некоторым признакам, эта мода скоро пройдет. Если в двадцать семь вы были недурны собой, советую вам выбрать именно этот возраст и завести новую моду.

Старуха. Я не верю ни одному вашему слову. Но пусть будет так: двадцать семь!

Бац! И старуха превращается в молодую женщину, богато разодетую и такую прекрасную, что в сиянии, внезапно разлившемся на месте ее прежнего тускло-желтого ореола, ее легко можно принять за Энн Уайтфилд.

Дон Жуан. Донна Анна де Уллоа!

Донна Анна. Как! Вы меня знаете?

Дон Жуан. А вы меня забыли?

Донна Анна. Я не вижу вашего лица.

Он приподнимает шляпу.

Дон Жуан Тенорио! Чудовище! Вы убийца моего отца! Даже здесь вы меня преследуете!

Дон Жуан. Я и не думал преследовать вас. Позвольте мне удалиться. *(Хочет идти.)*

Донна Анна *(хватая его за рукав)*. Нет, вы не оставите меня одну в этом ужасном месте.

Дон Жуан. Хорошо, но с условием, что мое присутствие не будет истолковано как преследование.

Донна Анна. Вы вправе удивляться, что я вообще способна терпеть ваше присутствие. О мой отец! Мой дорогой отец!

Дон Жуан. Может быть, вы хотите его увидеть?

Донна Анна. Мой отец *здесь?!!*

Дон Жуан. Нет, он на небесах.

Донна Анна. Я в этом не сомневалась. Мой благородный отец! Он взирает на нас с высоты. Каково ему видеть свою дочь в таком месте и в обществе его убийцы!

Дон Жуан. Кстати, на случай если бы мы его встретили...

Донна Анна. Как же мы можем его встретить? Ведь он на небесах?

Дон Жуан. Время от времени он нисходит сюда, к нам. Ему скучно в раю. Так вот, я хотел вас предупредить на случай встречи с ним: если не хотите его смертельно обидеть, не вздумайте называть меня его убийцей. Он утверждает, что владел шпагой гораздо лучше, чем я, и непременно заколол бы меня, если б не поскользнулся. Вероятно, он прав; я не был искусным фехтовальщиком. Я никогда не спорю с ним по этому поводу, и мы большие друзья.

Донна Анна. Солдату не зазорно гордиться своим боевым искусством.

Дон Жуан. Вам, очевидно, не очень хочется встречаться с ним?

Донна Анна. Как вы смеете так говорить?

Дон Жуан. О, здесь это очень часто бывает. Вспомните, ведь даже на земле,— хотя, конечно, никто из нас не признался бы в этом,— скорбя о смерти знакомого человека, пусть даже очень близкого нам, мы всегда испытывали некоторое чувство удовлетворения при мысли, что наконец избавились от него.

Донна Анна. Чудовище! Никогда, никогда!

Дон Жуан *(невозмутимо)*. Я вижу, вам это чувство все же знакомо. Да, похороны всегда были для нас празднеством в черных тонах, в особенности похороны родича. Во всяком случае здесь семейные связи редко поддерживаются. Ваш отец привык к этому; он не ожидает от вас изъявлений преданности.

Донна Анна. Несчастный! Я всю жизнь носила траур по нему.

Дон Жуан. Вполне понятно: траур вам был к лицу. Но одно дело пожизненный траур, другое — вечный. К тому же здесь вы так же мертвы, как и ваш отец. Что может быть нелепее, чем покойник в трауре по другому покойнику? Не смотрите на меня с таким возмущением, дорогая Анна, и не огорчайтесь. В аду много бессмыслицы, пожалуй, больше, нежели чего другого; но вот эту бессмыслицу — насчет смерти, возраста и всяких перемен — вам придется забыть, потому что здесь все мы мертвы и все мы вечны. Вы скоро привыкнете к этому.

Донна Анна. И все мужчины будут называть меня «дорогая Анна»?

Дон Жуан. Нет. Я оговорился. Прошу меня простить.

Донна Анна *(почти с нежностью)*. Жуан! Скажите, когда вы посягали на мою честь, вы в самом деле меня любили?

Дон Жуан *(раздраженно)*. Ах, пожалуйста, не заводите разговоров о любви. Здесь только и говорят что о любви: какое это прекрасное, святое, возвышенное чувство, черт его... Простите, но если б вы знали, как это мне надоело. Ведь те, кто это говорит, понятия не имеют о предмете — в отличие от меня. Оттого что они бестелесны, они воображают, что достигли совершенства в любви. Разврат воображения и ничего больше! Тьфу!

Донна Анна. Даже смерть не очистила вашу душу, Жуан. Даже страшный суд, вестником которого явилась статуя моего отца, не научил вас почтению.

Дон Жуан. Кстати, как поживает эта отменно любезная статуя? Что, она все еще приходит ужинать с нечестивцами и утаскивает их в преисподню?

Донна Анна. Она меня ввела в огромные расходы. Мальчишки из монастырской школы просто покою ей не давали: шалуны увечили ее, примерные ученики писали на ней свои имена. За два года три новых носа, а уж пальцев — без счету. В конце концов мне пришлось махнуть на нее рукой; и воображаю, на что она теперь стала похожа! Бедный мой отец!

Дон Жуан. Шш! Слушайте!

На волнах синкоп гремят два мощных аккорда: ре-минор и его доминанта; звучание, в каждого музыканта вселяющее священный трепет.

Ага! Моцартовская сцена появления статуи. Это ваш отец. Вы лучше спрячьтесь, пока я его подготовлю.

Донна Анна исчезает.

В пустоте появляется живая статуя из белого мрамора, изображающая величавого старика; впрочем, он с изящной непринужденностью пренебрегает своей величавой осанкой, шагает легчайшей поступью, и каждая морщинка его огрубевшего в боях лица дышит праздничной веселостью. Своему ваятелю он обязан стройной фигурой и превосходной военной выправкой; концы его усов упруго, как пружины, загибаются кверху, придавая ему выражение, которое можно было бы назвать игривым, если бы не чисто испанская гордость взгляда. С Дон Жуаном он в наилучших отношениях. Его голос, несмотря на значительно более изысканные интонации, живо напоминает голос... Роубэка Рэмсдена, и под этим впечатлением невольно замечаешь, что и в наружности обоих стариков есть некоторое сходство, хотя один носит эспаньолку, а другой — бакенбарды.

Дон Жуан. Ах, вот и вы, мой друг! Что это вы никак не выучите превосходную партию, которую для вас написал Моцарт?

Статуя. К сожалению, он ее написал для баса. А у меня тенор-альтино. Ну, как вы? Раскаялись?

Дон Жуан. Мое хорошее отношение к вам, дон Гонсало, мешает мне раскаяться. Ведь если б я это сделал, вы лишились бы повода спускаться с неба и спорить со мной.

Статуя. Верно. Продолжайте упорствовать, мой мальчик.

Жаль, что из-за пустяковой случайности вы убили меня, а не я вас. Тогда я попал бы сюда, а вам в удел досталась бы статуя и репутация праведника, которая обязывает. Что новенького?

Дон Жуан. Дочь ваша умерла.

Статуя *(в недоумении)*. Моя дочь? *(Припоминая.)* Ах да! Та самая, за которой вы волочились?! Постойте, как бишь ее звали?

Дон Жуан. Анна.

Статуя. Вот-вот — Анна. Хорошенькая, помнится, была девочка. А вы известили этого, как его? Ну, мужа ее.

Дон Жуан. Моего друга Оттавио? Нет, я еще его не видел после прибытия Анны.

Донна Анна, вне себя от возмущения, вступает в освещенный круг.

Донна Анна. Что я слышу? Оттавио здесь и в дружбе с вами! А вы, отец, позабыли мое имя! Должно быть, вы действительно обратились в камень.

Статуя. Дорогая моя, в этом мраморном воплощении я пользуюсь настолько бóльшим успехом, чем в прежнем своем виде, что предпочел сохранить облик, данный мне скульптором. Это был один из величайших мастеров своего времени, не правда ли?

Донна Анна. Тщеславие! Отец! Вы — и тщеславие!

Статуя. Ах, дочь моя, ты успела изжить эту слабость; ведь тебе сейчас лет восемьдесят. Моя жизнь благодаря пустой случайности оборвалась в шестьдесят четыре года, и, следовательно, я гораздо моложе тебя. К тому же, дитя мое, здесь неуместно то, что наш беспутный приятель назвал бы комедией родительской мудрости. Прошу тебя видеть во мне не отца, а собрата по человечеству.

Донна Анна. Ваши речи похожи на речи этого злодея.

Статуя. Жуан здраво рассуждает, Анна. Плохо фехтует, но рассуждает здраво.

Донна Анна *(объятая ужасом)*. Я начинаю понимать. Это дьяволы искушают меня. Стану молиться.

Статуя *(утешая ее)*. Что ты, что ты, дитя мое! Только не молись. Ты сама хочешь отказаться от главного преимущества этих мест. Здесь над входом начертаны слова: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Подумай только, какое это облегчение! Ведь что такое надежда? Одна из форм моральной ответственности. Здесь нет надежды — и, следовательно, нет долга, нет труда; здесь ничего не при-

обретаешь молитвой и ничего не теряешь, поступая так, как хочется. Короче говоря, ад — это место, где можно только и делать, что развлекаться.

Дон Жуан издает глубокий вздох.

Вы вздыхаете, друг Жуан; но, сиди вы на небесах, как я, вы оценили бы преимущества своего нынешнего положения.

Дон Жуан. Вы сегодня хорошо настроены, командор. Ваше остроумие так и сверкает. Что случилось?

Статуя. Я принял одно очень важное решение, мой мальчик. Но где же наш приятель Дьявол? Мне нужно посоветоваться с ним об этом деле. К тому же Анне, вероятно, интересно будет с ним познакомиться.

Донна Анна. Вы мне готовите какую-то пытку?

Дон Жуан. Это все только суеверие, Анна. Успокойтесь. Вспомните сами: не так страшен черт, как его малюют.

Статуя. Давайте вызовем его.

По мановению руки статуи снова гремят торжественные аккорды; но на этот раз моцартовскую музыку портит примешивающаяся к ней музыка Гуно. Разгорается пурпурный ореол, и в нем возникает Дьявол в традиционном облике Мефистофеля. Он немного похож на Мендосу, но не так эффектен. Он выглядит старше, преждевременно облысел и, несмотря на избыток добродушия и приветливости, легко впадает в обидчивый и сварливый тон, когда его заигрывания остаются без ответа. Судя по виду, он не из тех, кто способен усердно трудиться или сносить лишения, и, должно быть, охотно дает себе любые поблажки — черта не слишком приятная; но он умен и умеет внушить доверие, хоть явно уступает своим собеседникам в изысканности манер и собеседнице — в живости.

Дьявол *(приветливо)*. Итак, я снова имею удовольствие видеть у себя в гостях славного командора Калатравы? *(Холодно.)* Дон Жуан, здравствуйте. *(Вежливо.)* И незнакомая дама? Мое почтение, сеньора!

Донна Анна. Вы...

Дьявол *(с поклоном)*. Люцифер, к вашим услугам.

Донна Анна. Я сойду с ума.

Дьявол *(галантно)*. Ах, сеньора, не стоит волноваться. Вы к нам явились с земли и еще не свободны от ее предрассудков и страхов, навеянных клерикальным засильем. Вы

привыкли слышать обо мне дурное; но поверьте, у меня на земле немало и друзей.

Донна Анна. Это верно; еще есть сердца, в которых вы царите.

Дьявол *(качая головой)*. Вы мне льстите, сеньора; но это ошибка. Правда, мир не может обойтись без меня; однако я все же не пользуюсь там заслуженным уважением. В глубине души меня побаиваются и ненавидят. Сочувствие мира на стороне нищеты, скорби, немощи телесной и духовной. Я же призываю к веселью, к любви, к красоте, к счастью...

Дон Жуан *(чувствуя приступ тошноты)*. Простите, я ухожу. Вы знаете, что я совершенно не переношу этого.

Дьявол *(сердито)*. Да, я знаю, что вы не принадлежите к числу моих друзей.

Статуя. Чем вы недовольны, Жуан? По-моему, то, что он говорил, когда вы его перебили, было исполнено самого здравого смысла.

Дьявол *(горячо пожимая руку статуи)*. Благодарю, друг мой, благодарю. Вы всегда меня понимали; он же всегда сторонился меня и выказывал мне пренебрежение.

Дон Жуан. Я всегда относился к вам вполне корректно.

Дьявол. Корректно! Что такое «корректно»? Мне мало одной корректности. Мне подавайте сердечную теплоту, неподдельную искренность, нежные узы радости и любви...

Дон Жуан. Перестаньте, меня тошнит.

Дьявол. Вот! *(Взывая к статуе.)* Вы слышите, сэр? Какая ирония судьбы: этот холодный, самоуверенный себялюбец попал в мое царство, а вы взяты в ледяные чертоги неба.

Статуя. Я не смею жаловаться. Я был лицемером; и если попал на небеса, то и поделом мне.

Дьявол. Ах, сударь, почему бы вам не перейти к нам, покинув сферы, для которых ваш темперамент чересчур непосредствен, ваше сердце чересчур пылко, а ваша способность к наслаждениям чересчур велика.

Статуя. Не далее как сегодня я решился на это. Отныне, любезнейший Сын Зари, я ваш. Я навсегда покинул рай.

Дьявол *(снова прикасаясь к мраморной руке)*. О, какая честь! Какое торжество для нас! Спасибо, спасибо. А теперь, мой друг,— наконец-то я по праву могу вас назвать так,— может быть, вы уговорите Дон Жуана занять пустующее место наверху?

Статуя *(качая головой)*. Совесть не позволяет мне советовать человеку, с которым я в дружбе, сознательно обречь себя на неудобства и скуку.

Дьявол. Конечно, конечно. Но уверены ли вы, что ему там будет скучно? Разумеется, вам лучше знать; он попал сюда благодаря вам, и первое время мы возлагали на него большие надежды. Все его чувства были вполне во вкусе наших лучших сторонников. Помните, как он пел? *(Затягивает гнусавым оперным баритоном, дрожащим от неизжитой за целую вечность привычки форсировать звук на французский манер.)*

Vivan le femine!

Vivan il buon vino![1]

Статуя *(подхватывает октавой выше)*.

Sostegno e gloria

D'umanita![2]

Дьявол. Вот-вот, это самое. Но теперь он нам никогда не поет.

Дон Жуан. Вы недовольны? Ад кишит музыкантами-любителями; музыка — это алкоголь осужденных грешников. Так неужели одна заблудшая душа не имеет права на воздержание?

Дьявол. Вы осмеливаетесь кощунствовать против величайшего из искусств!

Дон Жуан *(с холодным отвращением)*. Вы похожи на истеричку, млеющую перед знаменитым скрипачом.

Дьявол. Я не сержусь. Мне только жаль вас. В вас нет души, и вы сами не понимаете, чего вы лишились. Зато вы, сеньор командор,— прирожденный музыкант. Как вы прекрасно поете! Будь Моцарт еще здесь, он пришел бы в восторг; к сожалению, он захандрил и был взят на небо. Удивительное дело, почему это самые умные люди, казалось бы, рожденные блистать в здешних местах, оказываются на поверку непригодными для светского общества — вот как Дон Жуан.

Дон Жуан. Мне, право, очень жаль, что я непригоден для светского общества.

Дьявол. Не подумайте, будто мы не отдаем должное вашему уму. Ни в коем случае. Но я исхожу из ваших же интересов. Вы с нами не ладите, вам здесь не по себе. Все дело в том, что у вас нет — я не скажу «сердца», все мы

---

[1] Да здравствуют женщины! Да здравствует доброе вино! *(итал.)*

[2] Опора и слава человечества! *(итал.)*

знаем, что под вашим напускным цинизмом скрывается очень пылкое...

Дон Жуан *(содрогнувшись)*. Не надо, умоляю вас, не надо!

Дьявол *(обиженно)*. Хорошо, скажем так: у вас нет способности наслаждаться. Устраивает это вас?

Дон Жуан. Что ж, формулировка столь же ханжеская, но несколько менее нестерпимая. Только лучше уж позвольте мне, как всегда, искать спасения в одиночестве.

Дьявол. А почему же не в раю? Ведь это самое для вас подходящее место. *(Донне Анне.)* Послушайте, сеньора, может быть, вы его уговорите попробовать переменить климат – ведь это для его же пользы.

Донна Анна. Но разве он может отправиться в рай, если захочет?

Дьявол. А что же ему мешает?

Донна Анна. Значит, каждый... значит, и я могу?

Дьявол *(с оттенком презрения)*. Безусловно, если это соответствует вашим склонностям.

Донна Анна. Так почему же тогда все не уходят в рай?

Статуя *(хихикнув)*. Об этом ты меня спроси, дорогая моя. Причина в том, что рай – самое ангельски-скучное место во всей вселенной.

Дьявол. Его превосходительство сеньор командор выразился с прямолинейностью воина; но жить в раю действительно невыносимо тяжко. Молва гласит, что я был оттуда изгнан; на самом же деле я ни за какие блага не остался бы там. Я попросту ушел и основал вот это заведение.

Статуя. И не удивительно! Кому ж под силу выдержать вечность на небесах!

Дьявол. Не скажите, некоторых это устраивает. Будем справедливы, командор: это дело темперамента. Мне лично райский темперамент не по вкусу, я его не понимаю, пожалуй, я вовсе и не стремлюсь его понимать; но во вселенной всему найдется место. О вкусах не спорят; есть люди, которым там нравится. Мне кажется, что Дон Жуану понравилось бы.

Дон Жуан. Но – простите за откровенность – вы действительно могли бы по желанию вернуться туда или же – зелен виноград?

Дьявол. Вернуться туда! Да я не раз возвращался туда. Разве вы не читали книгу Иова? На какой церковный авторитет вы можете сослаться, утверждая, что между нашим кругом и небесным существует непроходимая граница?

Донна Анна. Как же так? А бездна?

Дьявол. Уважаемая сеньора! Притчу никогда не следует понимать буквально. Бездна в данном случае означает лишь различие между ангельским темпераментом и дьявольским. Можно ли себе представить бездну более глубокую! Вспомните, как обстоит дело на земле. Между аудиторией философа и ареной для боя быков не зияет видимая глазу пропасть, — однако на лекции философа вы никогда не встретите матадора. Случалось ли вам бывать в стране, где у меня больше всего последователей, — в Англии? Там находятся знаменитые ипподромы, и там же есть концертные залы, где исполняются классические творения друга его превосходительства — Моцарта. Завсегдатаи скачек, если им заблагорассудится, могут посещать и концерты классической музыки, закон не запрещает им этого; никогда англичанин не будет рабом, он волен делать все то, что ему разрешает правительство и общественное мнение. А концерт классической музыки считается более возвышенным, поэтическим, интеллектуальным и облагораживающим душу развлечением, нежели скачки. Что ж, разве любители скачек спешат покинуть ипподром ради концертного зала? Ничего подобного. Они томились бы там так же мучительно, как командор томился на небе. Вот это и есть бездна, о которой говорит притча. Через настоящую бездну они могли бы перекинуть мост, или в крайнем случае я бы сделал это для них (на земле полно чертовых мостов), — но бездна отвращения непреодолима и вечна. И это единственная бездна, отделяющая моих друзей от тех, кого так неосмотрительно называют блаженными.

Донна Анна. Сейчас же ухожу в рай!

Статуя. Дитя мое! Одно слово предостережения. Позволь мне дополнить аналогию, проведенную моим другом Люцифером. В любом из концертных залов Англии можно встретить жестоко скучающих людей, которые пришли туда не потому, что действительно любят классическую музыку, а потому, что считают своим долгом любить ее. То же самое и в раю. Многие пребывают там во славе не потому, что им это приятно, а потому, что пребывание на небесах они считают приличествующим своему положению. Это чаще всего англичане.

Дьявол. Вы правы. Уроженцам юга там скоро надоедает, и они переходят к нам, как вы. Но англичане как будто сами не замечают, когда им скверно. Англичанин убеж-

ден, что он исполняет нравственный долг, когда он всего лишь терпит неудобства.

Статуя. Короче говоря, дочь моя, если ты отправишься в рай, не будучи к тому предназначена от природы, тебе там едва ли понравится.

Донна Анна. А кто смеет утверждать, будто я не предназначена к этому от природы? Самые выдающиеся князья церкви никогда в этом не сомневались. Из уважения к себе я должна немедленно отсюда удалиться.

Дьявол *(обиженно)*. Как вам будет угодно, сеньора. Я, признаться, думал, что у вас более утонченный вкус.

Донна Анна. Отец! Вы, конечно, идете со мной? Вы не можете здесь оставаться. Что скажут люди?

Статуя. Люди! Да ведь все лучшие люди здесь — и князья церкви и прочие. На небо идут немногие, большая часть попадает сюда; то, что прежде называлось небесным сонмом, составляет теперь незначительное меньшинство. Когда-то это были святые, отцы церкви, избранники; сейчас — это чудаки, сумасброды, отщепенцы.

Дьявол. Совершенно правильно. Я с самого начала знал, что в конечном счете, несмотря на поднятую против меня кампанию лжи и клеветы, общественное мнение окажется на моей стороне. Вселенная, в сущности, организована на конституционных началах; и при том большинстве, которым я располагаю, меня не удастся постоянно оттирать от командных постов.

Дон Жуан. Мне кажется, Анна, что и вам лучше остаться здесь.

Донна Анна *(ревниво)*. Вы не хотите, чтоб я шла вместе с вами?

Дон Жуан. Неужели вы согласились бы явиться в рай в обществе такого закоснелого грешника?

Донна Анна. Все души одинаково драгоценны. Ведь вы же раскаялись, правда?

Дон Жуан. Дорогая Анна, вы просто глупы. Вы думаете, небо — это все равно что земля, где люди убедили себя, что содеянное можно уничтожить раскаянием; что сказанное можно вернуть, отказавшись от своих слов; что истину можно опровергнуть, постановив считать ее ложью. Нет! Небо — обитель властелинов действительности, вот почему я и отправляюсь туда.

Донна Анна. Благодарю покорно! А я так иду туда ради блаженства. Действительность мне достаточно надоела на земле.

Дон Жуан. Тогда оставайтесь здесь, ибо ад — обитель тех, кто бежит от действительности и ищет блаженства. Только здесь они могут укрыться, потому что небо, как я уже говорил, есть обитель властелинов действительности, а земля — обитель ее рабов. Земля — это детская, где люди играют в героев и героинь, святых и грешников; но из этого бутафорского рая их изгоняет плоть, которой они наделены. Голод, холод и жажда, болезни, старость и одряхление, а главное смерть — все это делает их рабами действительности: трижды в день должно поглощать и переваривать пищу, трижды в столетие должно зачинать новое поколение; вековой опыт веры, науки, поэзии свелся в конце концов к одной лишь молитве: «Сделай из меня здоровое животное». Но здесь, в аду, вы свободны от тирании плоти, ибо здесь в вас нет ничего от животного; вы — тень, призрак, иллюзия, условность, безвозрастная, бессмертная, — одним словом, бесплотная. Здесь нет ни социальных проблем, ни религиозных, ни политических, и — что, пожалуй, ценней всего, — нет проблемы здоровья. Здесь вы точно так же, как и на земле, называете свою наружность красотой, свои эмоции — любовью, свои побуждения — героизмом, свои желания — добродетелью; но здесь вам не противоречат беспощадные факты, здесь нет иронического контраста между природными потребностями и выдуманными идеалами; вместо человеческой комедии здесь разыгрывается нескончаемая всесветная мелодрама в романтическом вкусе. Как сказал наш немецкий друг: «Поэтическая бессмыслица здесь здравый смысл, и Вечно Женственное влечет нас ввысь», ни на шаг не сдвигая нас с места. И этот рай вы хотите покинуть!

Донна Анна. Но если ад так прекрасен, как великолепны должны быть небеса!

Дьявол, статуя и Дон Жуан, все разом, пытаются с жаром протестовать, потом в замешательстве останавливаются.

Дон Жуан. Простите!

Дьявол. Нет, нет, пожалуйста. Это я вас перебил.

Статуя. Вы, кажется, хотели что-то сказать?

Дон Жуан. Прошу вас, господа. Я потом.

Дьявол *(Дон Жуану)*. Вы так красноречиво описывали преимущества моих владений, что я предоставлю вам столь

же беспристрастно изобразить все недостатки конкурирующего предприятия.

Дон Жуан. В раю, как я себе представляю, дорогая сеньора, не играют и не притворяются, но живут и работают. Там вы смотрите правде в лицо; вы свободны от наваждения; ваша твердость и бесстрашие — вот в чем ваша слава. Если здесь, как и на земле, разыгрывается комедия, если весь мир — театр, то рай хотя бы находится за кулисами. Впрочем, рай трудно описать с помощью метафор. И вот туда я теперь направляюсь, в надежде уйти наконец от лжи и от вульгарной, скучной погони за счастьем и предаться вечному созерцанию...

Статуя. Брр!

Дон Жуан. Сеньор командор, ваше отвращение мне понятно: картинная галерея не место для слепца. Но как вы наслаждаетесь созерцанием романтических миражей вроде красоты и радости, точно так же я наслаждался бы созерцанием того, что для меня самое интересное,— Жизни — силы, которая постоянно стремится совершенствовать свою способность к самосозерцанию. Чему, как вы думаете, я обязан своим развитым мозгом? Потребности двигаться, перемещать свое тело? Ничуть! Крыса, у которой мозг развит вдвое меньше моего, двигается так же, как и я. Главное здесь не потребность что-то делать, но потребность знать, что делаешь, чтобы не уничтожить самого себя в слепом стремлении жить.

Статуя. Друг мой, не поскользнись я в тот день, вы бы наверняка уничтожили самого себя в слепом стремлении фехтовать.

Дон Жуан. Дерзкий балагур! Прежде чем забрезжит утро, ваше веселье сменится чудовищной скукой.

Статуя. Ха-ха-ха! А помните, как вы испугались, когда я вам сказал что-то в этом роде со своего пьедестала в Севилье? Без моих тромбонов это звучит довольно жидко.

Дон Жуан. Говорят, и с ними это довольно жидко звучит, командор.

Донна Анна. Ах, отец, вы своими легкомысленными шутками только мешаете ему говорить. Скажите, Жуан, но разве в раю нет ничего, кроме созерцания?

Дон Жуан. В том раю, куда я хотел бы попасть, иных радостей нет. Но зато там есть цель: помогать Жизни в ее извечном стремлении ввысь. Подумайте только о том, как она тратит и распыляет свои силы, как сама

себе создает препятствия и в своей слепоте и неведении губит самое себя. Чтобы помешать этому самосокрушению, нужна сила мозга. «Что за мастерское творение – человек!» – сказал поэт. Да, но в то же время что за путаник! Вот вам величайшее чудо, созданное жизнью, самое живое из всех живых существ, самый сознательный из всех организмов – и все же как жалок его мозг! Глупость, которая под влиянием действительности, познанной в труде и лишениях, становится отвратительной и жестокой! Воображение, которое скорей иссякнет, чем решится взглянуть этой действительности в лицо, и, нагромождая иллюзии, чтобы от нее заслониться, именует себя талантом, гением! А при этом они еще приписывают друг другу собственные пороки: Глупость обвиняет Воображение в безрассудстве, а Воображение обвиняет Глупость в невежестве, тогда как на самом деле, увы, все знание – удел Глупости, а рассудительность – удел Воображения.

Дьявол. Да, а в результате получается невесть что. Ведь еще при заключении сделки с Фаустом я сказал: единственное, что разум сумел дать человеку, это сделать его еще бóльшим скотом, чем любая скотина. Одно прекрасное тело стоит мозгов сотни философов, страдающих газами и несварением желудка.

Дон Жуан. Вы забываете, что идея о великолепии безмозглого тела тоже не нова. Уже существовали и погибли создания, во много раз превосходившие человека всем, кроме размеров мозга. Мегатерий и ихтиозавр мерили землю семимильными шагами и своими тучеподобными крыльями заслоняли дневной свет. Что осталось от них? Музейные окаменелости, и то такие мелкие и редкие, что одна какая-нибудь косточка или зуб ценится дороже жизни тысячи солдат. Эти существа жили и хотели жить; но, не обладая мозгом, они не знали, как достигнуть цели, и сами истребили себя.

Дьявол. А разве человек, несмотря на свой хваленый мозг, не занимается самоистреблением? Бывали вы за последнее время на земле? Я вот бывал и видел удивительные изобретения человека. И могу вам сказать: в искусстве жизни человек не изобрел ничего нового, зато в искусстве смерти он превзошел даже природу. Его химия и техника смертоноснее чумы, моровой язвы и голода. Крестьянин, которого мне приходится искушать сегодня, ест и пьет то же, что ели и пили крестьяне десять

тысяч лет тому назад; и дом, в котором он живет, за тысячу веков претерпел меньше изменений, чем мода на дамские шляпки за какие-нибудь полгода. Но когда он идет убивать, в руках у него хитроумная машинка, которая при одном прикосновении пальца выпускает на свободу всю скрытую энергию молекул и рядом с которой смешны и беспомощны копье, стрела и праща его предков. В мирном производстве человек — бездарный пачкун. Я видел его текстильные фабрики: собака, если б голод влек ее не к мясу, а к деньгам, сумела бы изобрести станки не хуже этих. Я знаю его неуклюжие пишущие машинки, неповоротливые локомотивы и скучные велосипеды — все это игрушки в сравнении с пулеметом «максим», с подводной лодкой. В промышленное оборудование человек вкладывает только свою жадность и лень; всю душу он отдает оружию. Ваша хваленая Сила Жизни — не что иное, как Сила Смерти. Могущество человека измеряется его способностью к разрушению. Что такое его религия? Предлог ненавидеть меня. Что такое его правосудие? Предлог повесить вас. Что такое его мораль? Жеманство! Предлог потреблять, не производя. Что такое его искусство? Предлог упиваться изображениями бойни. Что такое его политика? Либо поклонение деспоту, потому что деспот властен в жизни и смерти, либо парламентские свары. Недавно я провел вечер в одном прославленном законодательном учреждении, где слушал ответы министров на запросы и любовался на то, как хромой учил безногого прыгать. Уходя, я начертал на двери старую поговорку: «Не задавай вопросов, и ты не услышишь лжи». Я купил иллюстрированный журнал для семейного чтения; почти на каждой картинке кто-то в кого-то стрелял или закалывал кого-то кинжалом. Я видел, как умер один лондонский рабочий, каменщик, у которого было семеро детей. Он оставил семнадцать фунтов стерлингов сбережений; жена все истратила на похороны, а назавтра вместе с детьми отправилась в работный дом. Она не потратила бы и семи пенсов на обучение своих детей, — понадобилась власть закона, чтобы заставить ее отдать их в бесплатную школу; но ради смерти она не пожалела последнего. Таковы люди: одна лишь мысль о смерти подстегивает их воображение, удесятеряет энергию; они любят смерть, и чем она ужаснее, тем больше нравится им. Сущность ада выше их понимания; они знают о нем только то,

что слышали от двух величайших дураков, каких когда-либо носила земля,— одного итальянца и одного англичанина. Итальянец уверял, что у нас тут грязь, стужа, вонь, языки пламени, ядовитые змеи,— одним словом, сплошные пытки. Вперемежку с клеветой на меня этот осел нес всякую чушь о женщине, которую он как-то раз повстречал на улице. Англичанин утверждал, что меня пушками и порохом изгнали из небесных сфер, и его соотечественники по сей день верят, что эти глупые россказни взяты из библии. Что он там дальше писал, я не знаю, так как все это изложено в длиннейшей поэме, которую еще никто — и я в том числе — не мог дочитать до конца. И так у них во всем. Самым возвышенным литературным жанром считается трагедия — пьеса, оканчивающаяся убийством всех действующих лиц. Старинные хроники повествуют о землетрясениях и эпидемиях чумы, усматривая в них знак могущества и величия бога и ничтожества человека. В современных хрониках описываются бои. В бою два скопища людей осыпают друг друга пулями и снарядами до тех пор, покуда одни не побегут; а тогда другие на лошадях мчатся в погоню за ними и, настигнув, изрубают в куски. И это, говорится в заключении хроники, доказывает мощь и величие победивших держав и ничтожество побежденных. А после таких боев народ с криками ликования толпится на улицах и требует, чтобы правительство ассигновало новые сотни миллионов на бойню,— в то время как даже влиятельнейшие министры не могут истратить лишний пенни на борьбу с болезнями и нищетой, от которых страдает этот самый народ. Я мог бы привести еще тысячу примеров, но смысл тут везде один: сила, которая правит миром,— Сила Смерти, а не Жизни; и движущим импульсом, который привел Жизнь к созданию человека, явилось стремление не к высшей форме бытия, а к более совершенному орудию разрушения. Действие чумы, голода, землетрясений, ураганов было чересчур непостоянным; тигр и крокодил были недостаточно жестоки и слишком легко утоляли свой голод,— нужно было найти более устойчивое, более безжалостное, более хитроумное воплощение разрушительной силы. И таким воплощением явился Человек, изобретатель дыбы, виселицы, гильотины и электрического стула, меча, пушки и ядовитых газов, а самое главное — справедливости, долга, патриотизма и всех прочих измов, посред-

ством которых даже того, кто достаточно разумен, чтоб быть человечным, убеждают в необходимости стать неутомимейшим из всех разрушителей.

Дон Жуан. А, старые песни! Вы всегда были простаком, мой адский друг, в этом ваша беда. Вы смотрите на человека его же глазами. Ваше мнение о нем несказанно бы ему польстило. Он очень любит мнить себя существом злым и дерзким. На самом деле он не зол и не дерзок, — он просто трус. Назовите его тираном, убийцей, разбойником — он станет обожать вас и гордо задерет нос, воображая, что в жилах его течет кровь древних завоевателей. Назовите его обманщиком и вором — он в крайнем случае возбудит против вас преследование за клевету. Но попробуйте назвать его трусом — и он взбесится от ярости, он пойдет навстречу смерти, лишь бы уйти от этой жалящей истины. Человек находит любое объяснение своим поступкам, кроме одного; любое оправдание своим преступлениям, кроме одного; любой аргумент в свою защиту, кроме одного; и это одно — его трусость. А между тем вся цивилизация основана на его трусости, на его жалком малодушии, которое он прикрывает названием респектабельности. Есть граница покорности осла и мула; но человек готов терпеть унижения до тех пор, пока самим угнетателям не сделается настолько противно, что они почувствуют себя вынужденными положить этому конец.

Дьявол. Совершенно правильно. И в этой жалкой твари вы умудрились обнаружить то, что вы называете Силой Жизни!

Дон Жуан. Да. Потому что здесь-то и начинается самое замечательное.

Статуя. Что же?

Дон Жуан. А то, что любого из этих трусов можно превратить в храбреца, внушив ему некоторую идею.

Статуя. Вздор! Я как старый солдат допускаю трусость: это такое же распространенное зло, как морская болезнь, — и такое же несущественное. Но насчет того, чтобы внушать людям идеи, — это все чистейший вздор. Чтобы солдат пошел в бой, ему нужно только иметь немного горячей крови в жилах и твердо знать, что поражение опаснее победы.

Дон Жуан. Вероятно, потому-то бои столь бесполезны. Человек только тогда способен действительно превозмочь страх, когда он воображает, что дерется ради какой-то

всеобъемлющей цели, — борется за идею, как говорят в таких случаях. Почему крестоносцы были отважнее пиратов? Потому что они сражались не за себя, а за христианство. В чем была сила противника, не уступавшего им в доблести? В том, что воины его сражались не за себя, а за ислам. Они отняли у нас Испанию, хотя там мы сражались за свой кров и дом; зато когда мы в свою очередь пошли в бой, окрыленные мощной идеей всесветной религии, мы разбили их и прогнали назад в Африку.

Дьявол *(иронически)*. Так вы, оказывается, религиозны, Дон Жуан? Святоша? Поздравляю!

Статуя *(серьезным тоном)*. Полно, полно! Мне, как солдату, не подобает слушать, когда о религии говорят непочтительно.

Дон Жуан. Не тревожьтесь, командор. Идея всесветной религии переживет ислам, переживет христианство, переживет даже то сборище гладиаторов-недоучек, которое вы называете армией.

Статуя. Жуан! Я должен буду призвать вас к ответу за эти слова.

Дон Жуан. Стоит ли? Ведь я не умею фехтовать. Все идеи, за которые станут умирать люди, будут всесветного значения. Когда испанец поймет наконец, что он ничем не лучше сарацина, а его пророк ничем не лучше Магомета, он восстанет, вдохновленный всеобъемлющей идеей, перегородит баррикадой грязную трущобу, где проходила его полуголодная жизнь, и умрет на ней за всеобщее равенство и свободу.

Статуя. Вздор!

Дон Жуан. То, что вы называете вздором, — единственное, ради чего человек отваживается на смерть. Впоследствии, правда, и идея свободы покажется уже недостаточно всеобъемлющей; люди станут умирать ради совершенствования человека, в жертву которому они с радостью принесут свою свободу.

Дьявол. Да, да. Предлог для того, чтобы убивать друг друга, у них всегда найдется.

Дон Жуан. Что ж такого? Главное — не смерть, а страх смерти. Убить или умереть — не стыдно. Стыдно жить пресмыкаясь, получая за свой позор жалованье и проценты с прибылей. Лучше десять мертвецов, чем один живой раб или его хозяин. Придет время — и люди восстанут, и сын пойдет на отца, а брат на брата, и будут

убивать друг друга за великую всесветную идею уничтожения рабства.

Дьявол. Да, но не раньше, чем ваши хваленые Свобода и Равенство сделают труд свободных белых христиан дешевле, чем труд черного язычника, продаваемого на невольничьем рынке.

Дон Жуан. Не беспокойтесь! Дойдет черед и до белого труженика. Но я не собираюсь защищать здесь те иллюзорные формы, которые принимает великая идея. Я только хочу доказать вам на примере, что тот, кого мы именуем Человеком и кто в личных своих делах труслив, как заяц, — становится героем, когда борется за идею. Как гражданин он может быть жалок; как фанатик — опасен. Поработить его можно, только если он достаточно слаб духом, чтобы внять увещаниям рассудка. Уверяю вас, господа: стоит лишь поманить человека тем, что сейчас он называет служением святому делу — и что потом будет называть множеством других имен, — и вы увидите, что он даже не задумается о тех последствиях, которые для него лично могут оказаться плачевными...

Донна Анна. Конечно, он отмахнется от всякой ответственности, а бороться с последствиями предоставит своей жене.

Статуя. Хорошо сказано, дочь моя. Не давай ему сбить тебя с толку своими разговорами.

Дьявол. Горе нам, сеньор командор! Раз уж речь зашла о женщинах, остановить его не удастся. Хотя, сознаюсь, эта тема и для меня представляет чрезвычайный интерес.

Дон Жуан. В глазах женщины, сеньора, весь долг и вся ответственность мужчины начинается и кончается добыванием хлеба для ее детей. Для нее мужчина — лишь средство к достижению ее цели: родить и вырастить ребенка.

Донна Анна. Вот как вы представляете себе духовный мир женщины! Какой возмутительный, циничный материализм!

Дон Жуан. Простите, Анна. Я не говорил обо всем духовном мире женщины. Я говорил только об ее взгляде на мужчину как на существо другого пола. Он не более циничен, чем ее взгляд на самое себя прежде всего как на Мать. Женщина — в сексуальном смысле — есть орудие, созданное природой, чтобы увековечить ее величай-

шее творение. Мужчина – в сексуальном смысле – есть орудие, созданное женщиной, чтобы наиболее экономным путем осуществить этот завет природы. Инстинкт говорит ей, что это она где-то на первых ступенях эволюционного развития изобрела мужчину, дала ему самостоятельное существование, сотворила его – для того, чтобы производить потомство более совершенное, чем то, которое может дать однополый процесс. До тех пор, пока он выполняет предназначенную ему функцию, ему разрешается мечтать, безумствовать, стремиться к идеалам, совершать подвиги, лишь бы в основе всего этого лежало поклонение женщине, материнству, семейному очагу. Но как опасно и неосмотрительно было создавать самостоятельный организм, чья единственная функция заключается в оплодотворении! Смотрите, что произошло. Прежде всего мужчина стал плодиться и множиться, так что в конце концов на свете оказалось столько же мужчин, сколько и женщин; и поэтому женщина может использовать для своей цели лишь частицу того огромного запаса энергии, который она оставила в распоряжении мужчины, избавив его от изнуряющих усилий деторождения. Эта избыточная энергия обратилась на его мышцы и мозг; он стал слишком сильным физически, чтобы подчиняться ей, и слишком мощным духовно, чтобы удовлетвориться простым воспроизведением рода. И вот, не спрашивая ее, он создал цивилизацию, в основу которой положил ее домашний труд, как нечто незыблемое, данное от века.

Донна Анна. Вот что верно, то верно.

Дьявол. Да, но к чему в конце концов свелась вся его цивилизация?

Дон Жуан. В конце концов она стала отличной мишенью для ваших циничных трюизмов; но в начале начал это была попытка мужчины стать чем-то большим, нежели простое орудие женщины для свершения ее долга. До сих пор непрерывное стремление Жизни не только утверждать себя, но и достигать все более и более высокой организации, все более и более полного самосознания сводится в лучшем случае к войне между ее силами и силами Смерти и Вырождения – войне, исход которой сомнителен. Отдельные бои в ней – просто тактические ошибки, и победы, как в настоящих боях, по большей части не зависят от полководцев.

Статуя. Это в мой огород. Ну, ничего, ничего, продолжайте.

Дон Жуан. Нет, командор, это в огород значительно более высокопоставленных особ. Но и вы в своей военной практике, вероятно, замечали, что даже глупый генерал может выиграть сражение, если генерал противника еще чуть-чуть глупее.

Статуя *(вполне серьезно)*. Совершенно справедливо, Жуан, совершенно справедливо. Некоторым ослам удивительно везет.

Дон Жуан. Так вот: пусть Сила Жизни глупа; Смерть и Вырождение еще глупее. Кроме того, они ведь у нее же на службе. И поэтому, так или иначе, Жизнь побеждает. Мы обладаем всем, что плодородие может дать, а жадность — сберечь. Выживет та форма цивилизации, которая обеспечивает самые усовершенствованные винтовки и самых сытых стрелков.

Дьявол. Вот именно. Выживет потому, что создаст самые производительные орудия Смерти — а не Жизни. Вы неизбежно приходите к моим выводам, сколько бы вы ни изворачивались, ни путали и ни передергивали, — не говоря уж о том, как нестерпимо длинны ваши речи.

Дон Жуан. Ах, вот как? А кто первый стал говорить длинные речи? Впрочем, если мои рассуждения так утомительны для вашего интеллекта, вы можете оставить нас и возвратиться к любви, красоте и прочим вашим излюбленным банальностям.

Дьявол *(глубоко обиженный)*. Дон Жуан, вы несправедливы и невежливы. Я тоже сторонник интеллектуального общения. Кто еще способен так оценить его, как я? Я спорю честно и, мне кажется, достаточно убедительно опровергаю ваши положения. Если вам угодно, я готов продолжать разговор хоть целый час.

Дон Жуан. Отлично. Давайте.

Статуя. Сказать по правде, Жуан, я не вижу, чтоб вы пришли к какому-нибудь выводу. Но так как здесь нам приходится убивать не время, а вечность, — прошу вас, продолжайте.

Дон Жуан *(с некоторым раздражением)*. Мой вывод у вас перед носом, вы, каменнолобый монумент. Согласимся, что Жизнь есть Сила, постоянно стремящаяся проявить себя в организованной форме; что червь и человек, мышь и мегатерий, сверчки, светлячки и святые отцы — все это более или менее удачные попытки найти для этой первобытной силы более совершенное выражение, причем идеалом служит существо всеведущее, всемогущее, непо-

грешимое и наделенное способностью полного и безошибочного самосознания,— короче говоря: бог.

Дьявол. Я соглашаюсь ради продолжения спора.

Статуя. Я соглашаюсь во избежание спора.

Донна Анна. А я категорически возражаю в том, что касается святых отцов, и очень прошу вас не припутывать их к спору.

Дон Жуан. Я сделал это исключительно ради аллитерации, Анна, и больше не собираюсь о них говорить. А теперь, поскольку других разногласий у нас пока не возникало, согласимся далее, что Жизнь свои попытки приближения к божественному идеалу не измеряла достигнутой красотой или физическими достоинствами; ведь еще наш друг Аристофан отметил, насколько совершенны в этом отношении птицы — их свободный полет, их яркое оперение, наконец,— прибавлю от себя,— трогательная поэтичность их любви и свивания гнезд. Так можно ли предположить, что Жизнь, будь ее целью красота и любовь, могла бы, сотворив птиц, обратить свои усилия на создание неуклюжего слона и уродливой обезьяны, нашей прабабушки?

Донна Анна. Аристофан был язычник; но, кажется, вы, Жуан, немногим лучше его.

Дьявол. Значит, вы пришли к выводу, что Жизнь стремилась к неуклюжести и безобразию?

Дон Жуан. И не думал, господин дьявол; всем известно, что вы мастер искажать чужие мысли. Жизнь стремилась к созданию мозга — вот в чем была ее заветная цель. Она стремилась к созданию органа, который сделал бы возможным не только самосознание, но и самопонимание.

Статуя. Ну, уж это метафизика, Жуан. Какого дьявола... *(Дьяволу.)* Простите, друг мой...

Дьявол. Ничего, ничего, пожалуйста. Мне всегда лестно, когда мое имя употребляют для придания особой выразительности сказанному. Прошу вас не стесняться в этом смысле, командор.

Статуя. Благодарю вас, вы очень любезны. Я, знаете, даже в раю не мог отстать от военной привычки к крепким выражениям. Вот о чем я хотел спросить Жуана: зачем все-таки Жизни заботиться о создании мозга? Зачем непременно понимать себя? Почему нельзя просто наслаждаться?

Дон Жуан. Если б у вас не было мозга, командор, вы наслаждались бы, не зная, что наслаждаетесь,— и вам от этого не было бы никакой радости.

Статуя. Так-то оно так. Но мне нужно ровно столько мозга, чтобы знать, что я наслаждаюсь. Я не хочу понимать, отчего я наслаждаюсь. Право, это ни к чему. Поверьте моему опыту: думать о своих удовольствиях — значит портить их.

Дон Жуан. Вот почему интеллект не пользуется популярностью. Но для Жизни, для Силы, стоящей за человеком, интеллект необходим, потому что без него человек обречен слепо стремиться навстречу смерти. Подобно тому, как после многих веков борьбы Жизнь создала удивительный орган зрения, с помощью которого живой организм видит свой путь и все то, что ему на этом пути грозит или обещает радость, тем самым избегая тысячи прежде неотвратимых опасностей,— так она теперь создает орган зрения духовного, который позволит человеку видеть не только внешний мир, но цель и смысл самой Жизни, благодаря чему он сможет трудиться во имя этой цели, а не мешать ее достижению, близоруко преследуя свои узкие и личные цели. Ведь даже и сейчас есть только один тип человека, которому доступно истинное счастье, который всегда сохраняет всеобщее уважение среди сумятицы противоречивых интересов и иллюзий.

Статуя. Вы говорите о военном?

Дон Жуан. Командор, я говорю не о военном. Когда приближается военный, люди прячут серебряные ложки и спроваживают подальше жен и дочерей. Нет, не оружие и не героя я пою, а философа — того, кто, созерцая, хочет постигнуть выраженную в мире волю, размышляя, ищет путей претворения этой воли в жизнь и, действуя, стремится свершить ее тем путем, который подсказало размышление. Люди всех других типов мне давно уже надоели. Это просто скучные неудачники. Когда я жил на земле, вокруг меня постоянно рыскали разные ученые мужи, вынюхивая во мне слабое местечко, за которое можно было бы уцепиться. Врачи советовали мне позаботиться о своем теле и предлагали шарлатанские средства против мнимых болезней. Я отвечал, что не чувствую себя больным; они назвали меня невеждой и ушли. Врачи духовные советовали мне позаботиться о своей душе, но я чувствовал себя столь же здоровым духовно, как и телесно, и не хотел их слушать; они назвали меня безбожником и ушли. После них явился политик и сказал, что все в природе подчинено одной

цели – добиться, чтобы он попал в парламент. Я сказал, что мне все равно, попадет он в парламент или нет; он назвал меня ренегатом и ушел. Тогда явился романтик, человек Искусства; он принес мне любовные песни, стихи и картины, и с ним я был дружен много лет к большому своему удовольствию и некоторой выгоде, так как его песни научили меня лучше слышать, картины – лучше видеть, а стихи – глубже чувствовать. Но в конце концов он привел меня к поклонению Женщине.

Донна Анна. Жуан!

Дон Жуан. Да, я стал находить в ее голосе всю музыку песен, в ее лице – всю красоту картин, в ее душе – весь жар поэзии.

Донна Анна. И вероятно, потом разочаровались. Но ее ли вина, что вы наделили ее всеми этими совершенствами?

Дон Жуан. Да, отчасти это ее вина. С удивительной инстинктивной хитростью она молчала и позволяла мне превозносить ее, приписывать ей то, что я сам видел, думал и чувствовал. Мой романтический друг был слишком беден и робок и потому зачастую не смел подойти к тем женщинам, которые своей утонченностью и красотой, казалось, отвечали его идеалу; так он и сошел в могилу, не утратив веры в мечту. Но мне судьба и природа благоприятствовали. Я был знатного происхождения и к тому же богат; если моя наружность не нравилась, льстили мои слова, хотя обычно мне и в том и в другом сопутствовала удача.

Статуя. Фат!

Дон Жуан. Вы правы; но даже мое фатовство нравилось. И вот оказалось, что стоит мне только затронуть воображение женщины, она уже готова дать мне уверить себя, что я любим; но, увенчав успехом мои искания, она никогда не скажет: «Я счастлива: моя страсть удовлетворена», но всегда сначала: «Наконец-то все преграды пали», а затем: «Когда мы опять увидимся?»

Донна Анна. То же самое говорят и мужчины.

Дон Жуан. Простите, я утверждаю, что никогда этого не говорил. Но женщины все как одна произносят именно эти две фразы. И я хочу сказать, что меня они всегда чрезвычайно смущали; ведь первая из этих фраз означала, что дама была движима единственным побуждением – прорвать мою оборону и приступом взять кре-

пость; а во второй она довольно открыто заявляла, что отныне смотрит на меня как на свою собственность и намерена распоряжаться моим временем по своему усмотрению.

Дьявол. Вот тут-то и сказалось ваше бессердечие.

Статуя *(качая головой)*. Не следует повторять слова, сказанные вам женщиной, Жуан.

Донна Анна *(строго)*. Они должны для вас быть священны.

Статуя. Оно, положим, правда, что женщины всегда говорят именно эти слова. Насчет преград это бы еще ничего, но вот от второй фразы меня всегда немножечко коробило, разве только уж и вправду был влюблен по уши.

Дон Жуан. После этого дама, которая до той поры жила беспечно и вполне счастливо, вдруг теряла покой, сосредоточивала на мне все свои помыслы, принималась хитрить, преследовать, подстерегать, следить, всячески стараясь удержать свою добычу,— добычей, как вы сами понимаете, был я. Но ведь я вовсе не того искал. Быть может, это все было вполне уместно и естественно, но где же музыка, живопись, поэзия, наслаждение, воплощенные в прекрасной женщине? И я бежал прочь. Так бывало не раз. Собственно говоря, именно это меня и прославило.

Донна Анна. Вы хотите сказать — обесславило.

Дон Жуан. От вас ведь я не убежал. Что же, вы осуждаете меня за то, что я бежал от других?

Донна Анна. Вздор, сударь, вы забыли, что разговариваете с семидесятисемилетней старухой. Подвернись случай, вы бы точно так же убежали и от меня,— если бы я вас отпустила, конечно. Со мной это было бы не так легко, как с другими. Если мужчина сам не хочет соблюдать верность долгу и семейному очагу, его нужно заставить. Все вы хотели бы жениться на прелестных олицетворениях музыки, живописи и поэзии. Но это невозможно, потому что их не существует. Если обыкновенная плоть и кровь вам не подходит — останетесь вовсе ни при чем, только и всего. Ведь мирятся женщины с мужьями из плоти и крови, да еще и этого-то подчас маловато! Придется и вам примириться с женами из плоти и крови.

Дьявол недоверчиво хмурится. Статуя делает гримасу.

Я вижу, никому из вас это не нравится, но тем не менее это так; и, как говорится, хоть оно и не по вкусу, а придется проглотить.

Дон Жуан. Дорогая сеньора, вы в нескольких фразах изложили всю сущность моих возражений против романтики. Вот именно потому я и отвернулся от моего романтического приятеля с художественной натурой — как он сам называл свое ослепление. Я поблагодарил его за то, что он научил меня пользоваться ушами и глазами, но сказал, что поклонение красоте, погоня за счастьем и идеализация женщины — все это в качестве жизненной философии гроша ломаного не стоит; он назвал меня филистером и ушел.

Донна Анна. По-видимому, Женщина, несмотря на свои многочисленные недостатки, тоже кой-чему вас научила.

Дон Жуан. Она сделала больше; она дала мне ключ ко всему, чему меня учили другие. Ах, друзья мои, когда преграды пали в первый раз — какое это было ошеломляющее открытие! Я ждал безумства, опьянения, всего того, что в юношеских грезах связывается с любовью; и что же — голова моя оставалась совершенно ясной и мысль работала с безжалостной четкостью. Самая завистливая соперница не разглядела бы в моей подруге столько изъянов, сколько видел я. Я не был обманут; я взял ее, не одурманивая себя наркозом.

Донна Анна. Но вы ее взяли.

Дон Жуан. В этом и заключалось откровение. До той минуты я никогда не терял господства над самим собой, никогда сознательно не делал шага, пока мой разум не обсудит и не одобрит его. Я мнил себя существом сугубо рационалистического склада, мыслителем. Вместе с глупым философом я восклицал: «Я мыслю, следовательно я существую». Но Женщина научила меня говорить: «Я существую, следовательно я мыслю». И еще: «Я хотел бы мыслить еще глубже, следовательно я должен существовать еще интенсивнее».

Статуя. Все это ужасно абстрактно и метафизично, Жуан. Если б вы были более конкретны и излагали свои мысли в виде занимательных анекдотов о своих любовных похождениях, вас было бы куда легче слушать.

Дон Жуан. Ах, ну что тут еще говорить! Разве вы не понимаете, что, когда я оказался лицом к лицу с Женщиной, каждый фибр моего незатуманенного, мыслящего мозга советовал мне пощадить ее и спасти себя. Моя

нравственность говорила: нет. Моя совесть говорила: нет. Мое рыцарское чувство и жалость к ней говорили: нет. Моя осторожность и опасение за себя говорили: нет. Мое ухо, искушенное тысячью песен и симфоний, мой глаз, изощренный в созерцании тысячи картин, не знали пощады, по косточкам разбирая ее голос, ее черты, ее краски. Я улавливал в ней предательское сходство с ее папашей и мамашей, по которому можно было угадать, чем она станет через тридцать лет. Я отмечал блеск золотого зуба в ее смеющемся ротике; вдыхая ее аромат, размышлял об отправлениях ее нервной системы. Романтические грезы, в которых я шествовал по райским долинам руку об руку с бессмертным, вечно юным созданием из кораллов и слоновой кости, покинули меня в этот великий час. Я вспоминал их, тщетно стараясь вернуть их обманчивую красоту; но они теперь казались мне пустой выдумкой; мое суждение оставалось неподкупным; на каждую попытку мозг мой сурово отвечал: нет. И вот, в ту самую минуту, когда я готовился принести даме свои извинения, Жизнь схватила меня и швырнула в ее объятия, как моряк швыряет объедки рыбы в клюв чайки или альбатроса.

Статуя. Могли бы и не раздумывать столько. У вас та же беда, Жуан, что и у всех умных людей: мозгов слишком много.

Дьявол. Но скажите, сеньор Дон Жуан, разве после этого вы не почувствовали себя счастливее?

Дон Жуан. Счастливее — нет; умнее — да. В это мгновение я впервые познал самого себя, и через себя — мир. Я понял, как бесполезны всякие попытки ограничить условиями ту неотразимую силу, которая зовется Жизнью; проповедовать осторожность, тщательный выбор, добродетель, честь и целомудрие...

Донна Анна. Дон Жуан! Критикуя целомудрие, вы оскорбляете меня.

Дон Жуан. Ваше целомудрие я не критикую, сеньора, поскольку оно привело к появлению мужа и двенадцати детей. Будь вы даже распутницей из распутниц, вы не могли бы сделать больше.

Донна Анна. Я могла бы иметь двенадцать мужей и ни одного ребенка; об этом вы не подумали, Жуан. И позвольте вам заметить, что человеческий род, ныне пополненный моими усилиями, потерпел бы от этого значительный ущерб.

Статуя. Браво, Анна! Жуан, вы побеждены, разбиты, уничтожены.

Дон Жуан. Вовсе нет, хотя это действительно был бы существенный ущерб. Я согласен, что донна Анна коснулась сути дела. Но тут ни при чем любовь, целомудрие или даже постоянство, потому что двенадцать детей от двенадцати разных отцов, быть может, еще лучше способствовали бы пополнению человеческого рода. Предположим, мой друг Оттавио умер бы, когда вам было тридцать лет; вы бы, конечно, недолго вдовели – для этого вы были слишком красивы. Предположим далее, что его преемник умер, когда вам было сорок; вы бы все еще были неотразимы, а женщина, которая дважды была замужем, выйдет и в третий раз, если ей представится к тому возможность. Во всяком случае, нет ничего невозможного или предосудительного в том, чтобы одна почтенная дама родила в течение своей жизни двенадцать детей от трех разных мужей. По всей вероятности, такая дама меньше оскорбляет закон, чем бедная девушка, родившая одного незаконного ребенка, которую мы обливаем грязью за это. Но осмелитесь ли вы утверждать, что она более строга к себе?

Донна Анна. Она более добродетельна; для меня этого достаточно.

Дон Жуан. В таком случае добродетель, очевидно, профессиональный признак женатых и замужних. Давайте смотреть на вещи просто, дорогая Анна. Сила Жизни уважает институт брака лишь потому, что она сама изобрела его, чтобы увеличить рождаемость и улучшить заботу о детях. Честь, целомудрие и прочие ваши нравственные фикции ни в малой степени ее не интересуют. Брак – самое непотребное из всех человеческих установлений...

Донна Анна. Жуан!

Статуя *(протестующе)*. Ну, знаете ли...

Дон Жуан *(твердо)*. Да, самое непотребное; потому-то он так и популярен. А женщина, охотящаяся за мужем, – самое неразборчивое из всех хищных животных. Нет другого заблуждения, которое бы нанесло столько вреда человеческой совести, как привычка смешивать понятие брака с понятием нравственности. Бросьте, Анна! Не притворяйтесь шокированной: вы лучше нас знаете, что брак – это западня для мужчины, где приманкой служат обманчивые совершенства и показные добродетели. Когда ваша почтенная матушка угрозами и наказаниями

принуждала вас заучить с полдюжины пьесок для спинета – что доставляло ей не больше удовольствия, чем вам, – разве она не думала только об одном: внушить каждому из ваших поклонников, что, женившись на вас, он заполучит ангела, чья музыка наполнит дом райскими мелодиями или, во всяком случае, будет убаюкивать его после обеда. Вы стали женой моего друга Оттавио; что ж, раскрывали вы хоть раз спинет с того дня, как церковь соединила вас?

Донна Анна. Какой вы глупый, Жуан. У молодой замужней женщины есть дела поважнее, чем сидеть навытяжку за спинетом; вот и отвыкаешь постепенно от музыки.

Дон Жуан. Если ее не любишь. Нет уж, поверьте мне: просто когда птичка в клетке – приманка больше не нужна.

Донна Анна *(язвительно)*. Зато уж мужчина никогда не снимает маски, даже после того, как в *его* клетку попалась птичка! Чтобы муж был груб, невнимателен, себялюбив – да разве это возможно!

Дон Жуан. Что доказывают эти ответные упреки, Анна? Только то, что герой – такая же грубая подделка, как и героиня.

Донна Анна. Все это глупости. Есть много вполне счастливых браков.

Дон Жуан. «Вполне» – это слишком сильно сказано, Анна. Вы просто имеете в виду, что разумные люди стараются ладить между собой. Отправьте меня на галеры, скуйте одной цепью с каторжником, у которого случайно окажется следующий номер, – и я должен буду принять этого невольного сотоварища и постараюсь ладить с ним. Говорят, общение между такими сотоварищами по большей части носит дружеский характер и нередко переходит в трогательную привязанность. Но от этого цепи еще не становятся желанным украшением, а галеры – обителью вечного блаженства. Люди, больше всего рассуждающие о радостях брака и нерушимости его обетов, – обычно те самые, которые заявляют, что если разбить цепи и дать узникам свободу, все общественное здание немедленно развалится. Нужно быть последовательным. Если узник счастлив, зачем сажать его под замок? Если нет – зачем делать вид, что он счастлив?

Донна Анна. Во всяком случае, позвольте мне, старухе, сказать вам без обиняков: браки увеличивают население мира, а разврат – нет.

Дон Жуан. А что, если наступит такая пора, когда это перестанет быть истиной? Ведь недаром говорят, что на всякое хотенье найдется уменье, — и если Человек действительно хочет чего-нибудь, он в конце концов откроет способ добиться своего. Надо признать, вы, добродетельные дамы, и ваши единомышленники, — вы сделали все возможное для того, чтобы склонить Мужчину к убеждению, что величайшим благом в мире является добропорядочная любовь, под которой следует понимать поэзию, красоту и счастье обладания прекрасными, утонченными, нежными и любящими женщинами. Вы научили женщин ставить превыше всего собственную молодость, здоровье, изящество и утонченность. Так найдется ли в этом раю тонких чувств и переживаний место для детского визга и домашних забот? Не скажет ли в конце концов человеческая воля человеческому разуму: придумай, как мне узнать любовь, красоту, романтику, страсть без их оборотной стороны, без вечной обузы расходов, забот, тревог, болезней, страха смерти, без свиты нянек, слуг, докторов и учителей?

Дьявол. Но все это, Дон Жуан, вы можете найти в моем царстве.

Дон Жуан. Да, ценою смерти. Так дорого человек не склонен платить, он хочет, чтобы романтические наслаждения ада были доступны ему еще на земле. И способ достигнуть этого найдется; если воля тверда, мозг не спасует. Близок день, когда численность великих народов станет уменьшаться от переписи к переписи, когда коттедж в пять-шесть комнат будет стоить дороже фамильного замка, когда лишь преступная бесшабашность бедняков и тупое ханжество богачей будут мешать угасанию человеческого рода, отнюдь, впрочем, не способствуя его облагораживанию, — в то время как благоразумные смельчаки, бережливые эгоисты и корыстолюбцы, мечтатели и поэты, любители денег и солидного комфорта, поклонники успеха, искусства и любви поднимут против Силы Жизни оружие противозачаточных средств.

Статуя. Все это очень громкие слова, мой юный друг; но если б вы дожили до возраста Анны или хотя бы до моего, вы бы узнали, что тот, кто сумел избавиться от страха перед нуждой, многодетностью и другими семейными заботами и намерен лишь наслаждаться радостями жизни, — только освободил в своем сознании

место для страха перед старостью, уродством, немощью и смертью. Когда жена ничем не занята, она своими вечными требованиями забав и развлечений допекает бездетного труженика, как его не допекли бы и двадцать штук детей, и сама при этом терзается еще больше. И я не чужд суетности: молодым человеком я пользовался успехом у женщин, статуей – вызываю восторги критиков. Однако признаюсь: если бы у меня не было других занятий, как только утопать в наслаждениях, я давно удавился бы с тоски. Когда я женился на матери Анны – или, чтоб быть точным, когда я наконец сдался и позволил матери Анны женить меня на себе, – я знал, что утыкаю свою подушку шипами и что для меня, до той поры непобедимого щеголя-офицера, женитьба означает поражение и плен.

Донна Анна *(шокированная)*. Отец!

Статуя. Очень сожалею, если я тебя огорчил, душенька; но уж раз Жуан сорвал последние лоскутки приличия с нашего разговора, не вижу, почему бы и мне не говорить прямо то, что я думаю.

Донна Анна. Гм! Как видно, одним из шипов была я.

Статуя. Нисколько; ты подчас даже бывала розой. Видишь ли, большая часть неприятностей, связанных с твоим воспитанием, доставалась на долю твоей матери.

Дон Жуан. Позвольте задать вам один вопрос, командор: почему вы покинули небеса и явились сюда утопать, пользуясь вашим выражением, в том самом сентиментальном блаженстве, которое некогда могло заставить вас удавиться с тоски?

Статуя *(пораженная этими словами)*. А ведь он прав!

Дьявол *(встревоженный)*. Как! Вы хотите отступиться от своего слова? *(Дон Жуану.)* Все ваши философствования – не что иное, как скрытая пропаганда! *(Статуе.)* Вы уже забыли мертвящую скуку, от которой я предлагал вам укрыться здесь? *(Дон Жуану.)* А ваши предсказания насчет грядущего бесплодия и вымирания человеческой породы разве не побуждают нас еще сильнее отдаться тем радостям искусства и любви, которые, по вашему же признанию, воспитали вас, возвысили и облагородили?

Дон Жуан. Я и не думал предсказывать неизбежность вымирания человеческой породы. Жизнь – будь то в ее слепом, аморфном проявлении или в любой из форм, которые она для себя создала, – не может стремиться

к угасанию. Его превосходительство перебил меня, не дав мне кончить.

Статуя. Я начинаю сомневаться, что вы вообще когда-нибудь кончите, друг мой. Вы страшно любите слушать собственные речи.

Дон Жуан. Это верно; но вы уже столько терпели, что вам ничего не стоит дотерпеть до конца. Итак, задолго до того как бесплодие, о котором я говорил, станет чем-то более реальным, нежели простая вероятность,— начнется реакция. Великая основная цель совершенствования рода, вознесения его до таких высот, которые сейчас кажутся сверхчеловеческими,— цель, пока еще скрытая ядовитым туманом любви, романтики, притворной стыдливости и утонченности чувств,— прорвет этот туман и засияет в солнечных лучах; и тогда никому больше не придет в голову путать ее с удовлетворением личных прихотей, с осуществлением несбыточных юношеских грез или житейских расчетов, свойственных более зрелому возрасту. В церковных наставлениях брачующимся будут полностью восстановлены самые откровенные места, которые сейчас частью сокращают, частью вовсе пропускают, из боязни оскорбить стыдливость жениха и невесты. Их будут почтительно выслушивать и принимать, потому что в них с трезвым целомудрием, серьезностью и ответственностью говорится об истинной цели брака; а все романтические клятвы и обеты, всякие «покуда смерть нас не разлучит» и тому подобное исключат из текста, как легкомысленную болтовню. Будьте справедливы к нашему полу, сеньора, и признайте: мы всегда утверждали, что отношения между полами не принадлежат к числу интимных или дружеских отношений.

Донна Анна. Не принадлежат к числу интимных или дружеских отношений? Да есть ли отношения более глубоко интимные? более священные? более возвышенные?

Дон Жуан. Да, если хотите, священные и возвышенные, Анна, но не интимные и не дружеские. Ваше отношение к богу священно и возвышенно, но осмелитесь ли вы назвать его интимным и дружеским? В отношениях между полами обе стороны являются безвольными проводниками всесветной созидательной энергии, которая пересиливает и отметает прочь все личные мотивы, уничтожая самую потребность в интимных отношениях. Он и она могут быть совершенно чужими, говорить на различных языках, принадлежать к разным расам, иметь

разный цвет кожи, возраст и нрав, но для их союза достаточно той возможности оплодотворения, ради которой Сила Жизни заставляет их с одного взгляда броситься в объятия друг к другу. Разве мы сами не доказываем справедливость этого, допуская заключение браков по сговору между родителями, без предварительного согласия женщины? Разве вам не случалось возмущаться безнравственностью англичан, у которых женщины и мужчины благородного сословия знакомятся и общаются между собой, точно простые крестьяне? А много ли даже крестьянин знает о своей невесте — или она о нем — до обручения? Да вы никогда не согласитесь выбрать себе адвоката или домашнего врача на основании такого поверхностного знакомства, которое оказывается достаточным, чтобы влюбиться и выйти замуж.

Донна Анна. Да, да, Жуан! Всем известна философия распутника: не думай о последствиях, грозящих женщине.

Дон Жуан. Последствия — да, это верно: именно они оправдывают то упорство, с которым женщина цепляется за мужчину. Но вряд ли вы решитесь утверждать, что эта привязанность основана на чувстве. С таким же успехом можно объяснить любовным влечением привязанность тюремщика к арестанту.

Донна Анна. Вот видите, вы сами пришли к выводу, что брак необходим, хотя любовь, по-вашему, самое незначительное из всех чувств.

Дон Жуан. Кто вам это сказал? Да она, быть может, величайшее из всех чувств! Слишком великое, чтоб быть только личным, интимным делом каждого! Мог ли ваш отец быть верным слугой родины, если б он отказывался убивать тех врагов Испании, к которым не питал личной ненависти? Может ли женщина быть верной слугой родины, если она отказывается выйти замуж за человека, к которому не питает личного расположения? Женщина знатного рода выходит замуж так же, как мужчина знатного рода идет в бой: не по личным склонностям, а по семейным или политическим соображениям.

Статуя *(с удивлением)*. Очень остроумное замечание, Дон Жуан. Нужно будет подумать об этом на досуге. У вас прямо непочатый край всяких мыслей. Откуда вы почерпнули вот эту, последнюю?

Дон Жуан. Из собственного опыта. Когда я был еще на земле и делал те самые предложения дамам, которые

всеми осуждались и в то же время стяжали мне мою романтическую славу, — мне не раз случалось получать от дамы такой ответ: она готова пойти навстречу моим намерениям, если только они честны. Справившись о том, что означает эта оговорка, я узнавал, что она означает следующее: дама желает знать, намерен ли я завладеть ее имуществом, если у нее таковое имеется, или содержать ее всю жизнь, если такового у нее нет; желаю ли до конца своих дней постоянно наслаждаться ее обществом, советами и беседами и готов ли торжественно поклясться, что буду вечно почитать это за величайшее счастье; главное же — может ли она быть уверена, что ради нее я на веки вечные перестану замечать всех других женщин. Я восставал против этих требований не потому, что они непомерны и бесчеловечны, — они ошеломляли меня своей необычайной нелепостью. И во всех таких случаях я с полной искренностью отвечал, что мне и в голову не приходили подобные мысли; что если дама по уму или характеру не равна мне и не выше меня, ее беседа может меня только унизить, а совет — сбить с толку; что, по всей вероятности, ее общество рано или поздно мне невыносимо надоест; что за свои чувства я не могу поручиться даже на неделю вперед, а тем более на всю жизнь; что, подчинившись ее желанию лишить меня естественного и непринужденного общения с половиной человечества, я обрекаю себя на уродливое и неполноценное существование, а в противном случае — на вечную необходимость скрываться и прятаться; что, наконец, предложение, которое я ей сделал, не имеет ничего общего со всем этим и обусловлено лишь простейшим стремлением моего мужского естества к ее женскому.

Донна Анна. Значит, это безнравственное стремление!

Дон Жуан. Да, дорогая сеньора, природа, выражаясь вашим языком, безнравственна. Я краснею от стыда за нее; но я не властен ее изменить. Природа — сводня, Время — разрушитель, а Смерть — убийца. Я всегда склонен был признавать эти истины и на них основывать свои жизненные принципы. Вы предпочитаете умиротворять трех демонов, превознося их целомудрие, заботливость и милосердие, и основывать свои принципы на этой подобострастной лжи. Что ж удивительного, если ваши принципы не всегда себя оправдывают?

Статуя. А что вам отвечали дамы, Жуан?

Дон Жуан. Э, нет! Доверие за доверие! Сначала скажите мне, что говорили дамам вы.

Статуя. Я? Ну, клялся, что буду верен до гроба, что умру, если получу отказ, что ни одна женщина в мире мне не сможет заменить ее...

Донна Анна. Ее! Кого?

Статуя. Ту, которой это в данный момент говорилось, моя дорогая. Некоторые вещи я повторял во всех подобных случаях. Вот, например: даже в восемьдесят лет один седой волос любимой женщины сильнее заставит меня трепетать, чем самые толстые золотые косы самой прекрасной юной головки. Или вот еще: мысль, что другая может стать матерью моих детей, для меня нестерпима.

Дон Жуан *(с негодованием)*. Ах, старый плут!

Статуя *(не смущаясь)*. Ничуть! В ту минуту я сам всей душой верил в то, что говорил. Я был человек сердца, не то что вы. Залогом моего успеха служила искренность.

Дон Жуан. Искренность? Быть настолько глупым, чтобы верить явной, наглой, грубой лжи,— вот что вы зовете искренностью! Так жадно желать женщину, чтобы в своем стремлении обмануть ее, обманывать самого себя,— и это искренность, по-вашему!

Статуя. Да ну вас с вашими софизмами! Я был влюбленным, а не адвокатом. И женщины — благослови их бог! — любили меня за это.

Дон Жуан. Или внушали вам, что любят вас. А что, если я вам скажу, что даже мне, несмотря на мое адвокатское хладнокровие, они внушали подобные же мысли? Бывали и у меня минуты ослепления, когда я нес всякую чушь и сам в нее верил. Иногда, в порыве страсти, мне так хотелось радовать прекрасными словами, что я забывал обо всем и говорил эти слова. Порой же я опровергал самого себя и делал это с дьявольским хладнокровием, которое доводило до слез. Но и в тех и в других случаях мне было одинаково трудно спастись. Если инстинкт женщины влек ее ко мне, оставалось одно из двух: или пожизненная кабала, или бегство.

Донна Анна. Вы смеете передо мной и моим отцом похваляться, что ни одна женщина не могла против вас устоять?

Дон Жуан. Разве я похваляюсь? Мне кажется, моя роль здесь довольно жалка. К тому же ведь я сказал: «Если

инстинкт женщины влек ее ко мне». А это не всегда бывало так; и если нет – бог мой! что за взрывы благородного негодования! что за уничтожающее презрение к подлому соблазнителю! что за сцены, достойные Имогены и Иакимо!

Донна Анна. Я не устраивала никаких сцен. Я просто позвала отца.

Дон Жуан. И он явился с обнаженным мечом, чтобы моею жизнью заплатить за оскорбление нравственности и чести.

Статуя. Вашей жизнью? Что вы хотите сказать? Кто кого убил, я вас или вы меня?

Дон Жуан. Кто из нас более искусно владел шпагой?

Статуя. Я.

Дон Жуан. Конечно, вы. И тем не менее вы, герой тех скандальных похождений, о которых вы нам только что рассказывали, вы имели бесстыдство разыграть из себя защитника оскорбленной нравственности и осудить меня на смерть! Ведь если бы не случай, вы бы убили меня.

Статуя. Это был мой долг, Жуан. Так уж водилось тогда на земле. Я не собирался переделывать общество, и я всегда поступал так, как полагалось поступать дворянину.

Дон Жуан. Это может служить оправданием тому, что вы на меня напали, но не дальнейшему вашему возмутительно лицемерному поведению в качестве статуи.

Статуя. А это все вышло оттого, что я попал в рай.

Дьявол. Мне все еще не ясно, сеньор Жуан, каким образом подобные случаи из земной жизни сеньора командора и вашей могут опровергнуть мой взгляд на вещи? Здесь, повторяю, вы встретите все, чего вы искали, и не увидите того, что вас отпугивало.

Дон Жуан. Напротив, я здесь встречаю все, в чем уже разочаровался, и не вижу того, чего мне так и не удалось найти. Я ведь уже говорил вам: пока я чувствую в себе способность создать нечто лучшее, чем я сам, мне нет покоя; я все время буду стремиться создать это лучшее или расчищать ему путь. Это закон моего бытия. Это сказывается во мне непрестанное стремление Жизни к более высоким формам организации, более широкому, глубокому и полному самосознанию, более ясному пониманию своих задач. И это стремление настолько превыше всего остального, что любовь стала для меня лишь мгновенным наслаждением, искусство – лишь

тренировкой моих способностей, религия – лишь оправданием моей лени, поскольку она провозглашает бога, который смотрит на мир и находит, что все в нем хорошо, в противовес моему внутреннему инстинкту, который смотрит на мир моими глазами и находит, что многое в нем можно улучшить. Уверяю вас, в своей погоне за наслаждением, богатством, здоровьем я никогда не знал счастья. Не любовь отдавала меня в руки Женщины, но усталость, изнеможение. Когда ребенком мне случалось расшибить голову о камень, я бежал к какой-нибудь женщине, чтобы выплакать свою боль, уткнувшись в ее передник. Когда позднее мне случалось расшибить свою душу о глупость и грубость, с которыми я боролся, я поступал точно так же. Я радовался наступлению передышки, периоду отдыха, восстановления сил, наконец просто полной неподвижности после напряжения борьбы; но я бы охотнее дал протащить себя через все круги Ада, выдуманного глупым итальянцем, чем через то, что в Европе называется развлечениями. Потому-то я и задыхаюсь в вашем царстве вечных удовольствий. Тот инстинкт, о котором я говорил, у вас отсутствует; это-то и сделало из вас странное чудовище, называемое Дьяволом. Та ловкость, с которой вы всегда умели отвлекать людей от их истинной цели, более или менее совпадающей с моей, создала вам имя Искусителя. Тот факт, что вместо своей воли они творят вашу, или, вернее, отдаются вашему безволию, и делает их такими лживыми, беспокойными, неестественными, сварливыми, жалкими созданиями.

Дьявол *(обиженно)*. Сеньор Дон Жуан! Вы довольно бесцеремонны по отношению к моим друзьям.

Дон Жуан. А с какой стати мне церемониться с ними или с вами? В этом Чертоге Лжи две-три истины никому не могут повредить. Ваши друзья – самые скучные и несносные люди на свете. Они не красивы, они только разукрашены. Они не чисты, они только выбриты и накрахмалены. Они не почтенны, они только одеты по моде. Они не образованны, они только имеют диплом. Они не религиозны, они только ходят в церковь. Они не нравственны, они только считаются с условностями. Они не добродетельны, они только трусливы. Они даже не порочны, они только подвержены слабостям. Они не темпераментны, они только похотливы. Они не счастливы, они только богаты. Они не преданны, они только

льстивы; не почтительны, только безропотны; не патриоты, только шовинисты; не оппозиционеры, только склочники; не храбры, только сварливы; не решительны, только упрямы; не настойчивы, только нахальны; не сдержанны, только тупы; не самолюбивы, только тщеславны; не добры, только сентиментальны; не общительны, только болтливы; не деликатны, только вежливы; не умны, только самоуверенны; не романтичны, только суеверны; не справедливы, только мстительны; не великодушны, только расчетливы; не дисциплинированы, только вымуштрованы; и притом не правдивы — все как один лжецы до мозга костей!

Статуя. Ваше красноречие просто удивительно, Жуан. Вот если бы я умел так разговаривать со своими солдатами.

Дьявол. Да, но это одни разговоры. Все это мы уже слышали, — а что от этого изменилось? Какое значение это имеет для мира?

Дон Жуан. Да, верно, это одни разговоры. Но почему одни разговоры? А потому, друг мой, что красота, чистота, добродетель, религия, нравственность, искусство, патриотизм, храбрость и все прочее — пустые слова, которые каждый может вывернуть наизнанку, как перчатку. Если бы в них было реальное содержание, вам пришлось бы признать мои обвинения справедливыми, а себя — виновным; но, к счастью для вашего самолюбия, мой адский друг, они этого реального содержания лишены. Как вы сами сказали, все это лишь слова, пригодные для того, чтобы внушить варварам веру в блага цивилизации, а цивилизованных нищих заставить покорно сносить грабеж и гнет рабства. Это — семейная тайна правящей касты; и если бы мы, принадлежащие к этой касте, заботились о расцвете Жизни во вселенной, а не об удобствах и могуществе своей ничтожной особы, эта тайна сделала бы нас великими. Я — дворянин, и, следовательно, посвящен в тайну; поймите же, как невыносимо нудно мне слушать ваши бесконечные разглагольствования обо всех этих нравственных фикциях и как жалко и тяжело видеть, что в жертву им вы приносите свою жизнь! Если б вы хоть настолько верили в эту игру в нравственность, чтобы играть честно, было бы интересно наблюдать за ней; но вы мошенничаете при каждом ходе, а если ваш противник перемошенничал вас, вы опрокидываете стол и хватаете его за горло.

Дьявол. На земле это, может быть, и так, потому что

люди невежественны и не могут оценить по достоинству мой культ любви и красоты; но здесь...

Дон Жуан. Да, да, я знаю. Здесь только и видишь, что любовь и красоту. Брррр!.. Это все равно, что целую вечность смотреть первый акт модной пьесы, где интрига завязывается во втором. Даже в минуты суеверного страха ад не представлялся мне таким отвратительным. Я живу в постоянном созерцании красоты, точно парикмахер среди фальшивых локонов. У меня всегда сладкий вкус во рту, как у продавца кондитерской лавки. Скажите, командор, есть в раю красивые женщины?

Статуя. Ни одной. То есть буквально ни одной. Одеты безвкусно. Драгоценностей не носят. Что женщина, что пожилой мужчина — не разберешь.

Дон Жуан. Скорей бы мне туда попасть! Упоминается ли там слово «красота»? Много ли там любителей искусства?

Статуя. Клянусь честью, никто даже не оглянется, когда мимо проходит прекрасная статуя.

Дон Жуан. Иду туда!

Дьявол. Дон Жуан! Могу ли я говорить откровенно?

Дон Жуан. А разве до сих пор вы говорили не откровенно?

Дьявол. Постольку-поскольку. Но теперь я пойду дальше и признаюсь вам, что людям все приедается — и ад и рай; вся история человечества есть не что иное, как кривая колебаний мира между этими двумя крайностями. Эпохи — лишь качания маятника, и каждому поколению кажется, что мир прогрессирует, потому что он вечно движется; но когда вы достигнете моего возраста, когда вам тысячу раз успеет надоесть рай, как он надоел мне и командору, и тысячу раз успеет опротиветь ад, как он вам уже сейчас опротивел,— вы больше не будете в каждом движении от рая к аду усматривать эмансипацию и в каждом движении от ада к раю — эволюцию. Там, где сейчас вам чудятся реформы, прогресс, стремление ввысь, непрерывное восхождение человека по лестнице отживающих форм его «я» к более совершенным воплощениям,— вы не увидите ничего, кроме бесконечной комедии иллюзий. Вы постигнете всю глубину изречения моего друга Экклезиаста: нет ничего нового под солнцем. Vanitas vanitatum...[1]

Дон Жуан *(теряя терпение)*. О небо, это еще хуже, чем

[1] Суета сует *(лат.)*.

ваши разглагольствования о любви и красоте. Пусть так, безмозглый вы умник, пусть человеку все приедается в конце концов; но следует ли из этого, что человек не лучше червя или собака – волка? Станем ли мы отказываться от пищи лишь на том основании, что, насыщаясь, мы теряем аппетит? Можно ли сказать, что поле пропадает зря, когда оно остается под паром? Разве командор, тратя здесь свою адскую энергию, не накопляет в то же время энергии небесной, которая поможет ему перенести следующий период райского блаженства? Пусть это верно, что великая Сила Жизни переняла идею часовщика и использует землю в качестве маятника; что история каждого качания, которая нам, действующим лицам, кажется новой и оригинальной, на самом деле повторяет историю предыдущего; больше того: что в непостижимой бесконечности времен солнце тысячи раз подбрасывает и снова ловит землю, как цирковой жонглер – мяч, и что вся совокупность наших эпох не более как миг между броском и подхватом,– значит ли это, что весь этот колоссальный механизм бесцелен?

Дьявол. Абсолютно, друг мой. Вы вообразили, что раз у вас есть цель, значит она должна быть и у природы. С тем же успехом вы могли бы считать, что природа наделена пальцами,– только потому, что они имеются у вас.

Дон Жуан. Но у меня бы их не было, если бы они не служили определенной цели, друг мой. И я точно так же – часть природы, как палец – часть моего тела. Если с помощью моих пальцев я могу взять меч или мандолину, то с помощью моего мозга природа стремится к самопостижению. Мозг моей собаки служит целям, интересующим только мою собаку; мой же мозг работает над истинами, знание которых мне лично не дает ничего, только заставляет меня презирать свое тело, а в его разрушении и смерти видеть бедствие. Если б меня не влекла цель, выходящая за рамки личного, лучше бы мне быть землепашцем, а не философом,– потому что землепашец живет столько же, сколько философ, ест больше, спит крепче и любит свою жену без мучительных сомнений. А все потому, что философ полностью подчинен Силе Жизни. Сила Жизни говорит ему: «Я свершала тысячи чудес бессознательно, повинуясь только жизненному инстинкту и следуя линии наименьшего сопротивления; но теперь я хочу познать себя и свое

назначение и сознательно выбирать свой путь; поэтому я создала особый мозг – мозг философа, чтобы он ради меня овладел этим знанием, точно так же, как рука землепашца ради меня берется за рукоять плуга. И ты, – говорит Сила Жизни философу, – должен стремиться к этому, пока не умрешь; а тогда я создам новый мозг и нового философа тебе на смену».

Дьявол. А для чего знать?

Дон Жуан. Для того, чтобы вместо линии наименьшего сопротивления выбирать линию наибольшей целесообразности. Разве нет разницы между кораблем, плывущим в намеченный порт, и бревном, несущимся по течению? Философ – кормчий природы. И вот вам решение нашего спора: быть в аду – значит нестись по воле волн; быть в раю – плыть, слушаясь руля.

Дьявол. Прямехонько на ближайшую мель.

Дон Жуан. Вздор! Какой корабль чаще садится на мель или идет ко дну – несущийся по воле волн или направляемый кормчим?

Дьявол. Ну-ну, ладно, сеньор Дон Жуан, ступайте своей дорогой. Я предпочитаю быть господином своей судьбы, а не орудием бредущих ощупью высших сил. Я знаю, что на красоту приятно смотреть, что музыку приятно слушать, что любовь приятно чувствовать и что обо всем этом приятно думать и говорить. Я знаю, что понимать толк во всех этих ощущениях, эмоциях и занятиях – значит быть изощренным и утонченным существом. Что бы ни говорилось обо мне с амвонов церквей, я знаю, что в высшем обществе Князя Тьмы повсюду считают джентльменом; и этого мне достаточно. Что же до вашей Силы Жизни, которая вам кажется непреодолимой, так тому, кто наделен характером, ничего не стоит ее преодолеть. Но если вы от природы вульгарны и легковерны, как все реформаторы, она сначала предаст вас во власть религии, и вы будете кропить младенцев водой, чтобы спасти от меня их души; затем от религии бросит вас к науке, и вы избавите младенцев от водных процедур, но зато станете впрыскивать им болезнь, чтобы спасти их от риска заразиться ею случайно; затем вы пуститесь в политику и сделаетесь игрушкой продажных бюрократов или приспешником честолюбивых хвастунов; в конце же концов придет старость, а с ней отчаяние, упадок воли и крах надежд, праздные сожаления о самой пагубной и глупой из жертв –

о принесенной в жертву способности наслаждаться; и это будет достойное возмездие глупцу, который гонится за лучшим, не успев захватить хорошее.

Дон Жуан. Но я, по крайней мере, не буду скучать. Это, во всяком случае, неоспоримое преимущество служения Жизненной Силе. Прощайте же, сеньор Сатана!

Дьявол *(дружелюбно)*. Прощайте, Дон Жуан. Я часто буду вспоминать наши интересные беседы на отвлеченные темы. Желаю вам счастья. Есть люди – я уже раз говорил об этом,– которым рай по душе. Но если случится, что вы измените свои взгляды, прошу не забывать, что у нас всегда открыты ворота для блудного сына. Если когда-нибудь вы почувствуете, что сердечный жар, искренняя, непринужденная симпатия, невинные наслаждения и теплая, дышащая, трепетная реальность...

Дон Жуан. Почему не сказать прямо: плоть и кровь, хотя для нас эти банальности и отошли уже в область прошлого.

Дьявол *(сердито)*. Вот как, Дон Жуан, вы меня попрекаете моим же дружеским напутствием?

Дон Жуан. О нет, ничуть. Но, видите ли, у циничного дьявола хоть есть чему поучиться, а сентиментального я просто не в силах выносить... Сеньор командор, вы знаете, где расположена граница между адом и раем. Не откажите указать мне путь.

Статуя. Так ведь эта граница – всего лишь различие между двумя точками зрения на вещи. Любая дорога приведет вас туда, если вы этого действительно хотите.

Дон Жуан. Отлично. *(Кланяется донне Анне.)* Сеньора – ваш слуга!

Донна Анна. Нет, нет, я иду вместе с вами.

Дон Жуан. Я найду свой путь в рай, Анна; но вашего мне не найти. *(Исчезает.)*

Донна Анна. Какое безобразие!

Статуя *(кричит ему вслед)*. Bon voyage,[1] Жуан! *(В виде прощального приветствия посылает ему свои громогласные аккорды. Слабый отзвук первой таинственной мелодии слышится в ответ.)* Вон он, пошел! *(Шумно переводит дух.)* Ффуу! Ну и язык! В раю этого не потерпят.

Дьявол *(мрачно)*. Его уход – политическое поражение для меня. Не могу удержать здесь ни одного из этих слу-

[1] Счастливого пути *(франц.)*.

жителей культа Жизни. Все уходят. Это самая большая потеря с тех пор, как ушел голландский художник – тот, что с одинаковым удовольствием писал семидесятилетнюю ведьму и двадцатилетнюю Венеру.

Статуя. Я помню, он потом явился в рай. Рембрандт?

Дьявол. Да, да, Рембрандт. Что-то в них во всех есть противоестественное. Не прислушивайтесь к их проповедям, сеньор командор: это опасно. Не гонитесь за сверхчеловеческим, это кончается огульным презрением ко всему Человеческому. Для человека лошадь, собака и кошка всего лишь виды, стоящие за пределами духовного мира. А для Сверхчеловека мужчина и женщина тоже всего лишь виды и тоже стоят за пределами духовного мира. Дон Жуан был добр к женщинам и любезен с мужчинами, точно так же, как ваша дочь была добра к своим собакам и кошечкам, но подобная доброта есть по сути дела отрицание того, что только человеку присуща душа.

Статуя. А что это за штука такая – Сверхчеловек?

Дьявол. О, это последний крик моды у фанатиков Силы Жизни. Вам не приходилось встречать в раю, среди недавно прибывших, одного сумасшедшего из немецких поляков... как бишь его?.. Ницше!

Статуя. Никогда не слыхал.

Дьявол. Да, он было явился сюда, но потом опомнился. Я возлагал на него кое-какие надежды; к сожалению, он оказался ярым поборником Силы Жизни. Вот он-то и выкопал этого Сверхчеловека, который, к слову сказать, ровесник Прометею. И в двадцатом веке, когда людям окончательно надоест мир, плоть и ваш покорный слуга, они уцепятся за эту новейшую из старых причуд.

Статуя. Сверхчеловек – неплохо для боевого клича! А хороший боевой клич – это, знаете ли, половина дела в сражении. Хотел бы я посмотреть на этого Ницше.

Дьявол. К сожалению, он встретил здесь Вагнера и затеял с ним свару.

Статуя. Не мудрено! Я и сам предпочитаю Моцарта.

Дьявол. Да нет, речь шла не о музыке. Вагнер одно время увлекался культом Силы Жизни и даже сочинил Сверхчеловека по имени Зигфрид. Но впоследствии он одумался. Поэтому, когда они встретились здесь, Ницше обвинил Вагнера в ренегатстве, а Вагнер написал памфлет, где доказывал, что Ницше еврей; и кончилось тем, что Ницше со злости убрался в рай. Туда ему и дорога!

А теперь, друг мой, поспешим в мой дворец и отпразднуем ваше прибытие торжественным музыкальным вечером.

Статуя. С удовольствием. Вы очень любезны.

Дьявол. Сюда, командор, прошу вас. Мы воспользуемся традиционным люком. *(Становится на крышку люка.)*

Статуя. Отлично. *(Задумчиво.)* А все-таки Сверхчеловек — это неплохо придумано. В этом есть нечто монументальное. *(Становится с ним рядом.)*

Крышка начинает медленно опускаться. Из пропасти вырывается красный огонь.

Ах, это мне напоминает доброе старое время.

Дьявол. И мне тоже.

Донна Анна. Стойте!

Крышка люка останавливается.

Дьявол. Вам, сеньора, не сюда. Вам еще предстоит апофеоз. Но вы попадете во дворец раньше нас.

Донна Анна. Я не для того вас остановила. Скажите, где мне найти Сверхчеловека?

Дьявол. Он еще не рожден, сеньора.

Статуя. И должно быть, никогда не родится. Ну, поехали, а то у меня от этого красного пламени в носу щекочет.

Проваливаются.

Донна Анна. Еще не рожден! Значит, я еще не все свершила. *(Благочестиво осеняет себя крестом.)* Я верю в Грядущую Жизнь. *(Кричит в пространство.)* Отца — отца для Сверхчеловека!

Она исчезает в пустоте; и снова вокруг — Ничто; кажется, что все сущее замерло в бесконечной паузе. Но вот откуда-то еле слышно доносится крик человека. Потом на посветлевшем фоне смутно обрисовывается контур горной вершины. Небо вернулось на свое место; и мы вдруг вспоминаем, где мы. Крик ближе, отчетливее; можно различить слова: «Автомобиль! Автомобиль!» И тогда сразу восстанавливается действительность: утро в горах Сьерры; уже совсем светло, и бандиты со всех сторон несутся к дороге, куда, сбегая со скалы, указывает пастух. Тэннер и Мендоса поднимаются в недоумении и растерянно смотрят друг на друга. Стрэйкер прежде чем встать на ноги, садится и зевает во весь рот, считая ниже своего

достоинства проявлять какой-либо интерес к взволнованной беготне бандитов. Мендоса быстрым взглядом удостоверяется, что все его люди отозвались на тревожный сигнал, потом вполголоса заговаривает с Тэннером.

Мендоса. Вам что-нибудь снилось?

Тэннер. Какая-то чушь. А вам?

Мендоса. Тоже; только я забыл, что именно. Но помню, что видел вас.

Тэннер. А я — вас. Странно!

Мендоса. Я ведь вам говорил.

На дороге раздается выстрел.

Болваны! Какого черта они балуются с ружьем?

Бандиты в панике бегут назад.

Кто стрелял? *(Дювалю.)* Вы?

Дюваль *(задыхаясь)*. Я не стреляль. Они стреляль вперед.

Анархист. Говорил я вам, что прежде всего нужно уничтожить государственную власть. Теперь мы все пропали.

Шумный социал-демократ *(сломя голову мчится через котловину)*. Спасайся кто может!

Мендоса *(схватив его за шиворот, опрокидывает на землю и замахивается кинжалом)*. Ни с места — убью! *(Загораживает дорогу.)*

Все останавливаются.

Что случилось?

Мрачный социал-демократ. Машина...

Анархист. Трое мужчин...

Дюваль. Deux femmes.[1]

Мендоса. Трое мужчин и две женщины! Что же вы не привели их сюда? Испугались?

Шумный социал-демократ *(вставая)*. Мендоса, с ними охрана. Ой, спасайся кто может!

Мрачный социал-демократ. У выхода из долины — два броневика с солдатами.

Анархист. Они стреляли в воздух. Это сигнал.

Стрэйкер насвистывает свою излюбленную песенку, которая в ушах бандитов отдается похоронным маршем.

Тэннер. Это не охрана, а экспедиция, снаряженная для

[1] Две женщины *(франц.)*.

поимки вашей банды. Нам тоже советовали подождать ее, но я торопился.

Шумный социал-демократ *(в паническом ужасе)*. Господи боже мой, а мы тут сидим и дожидаемся их! Скорей бежим в горы!

Мендоса. Дались вам эти горы, болван. Вы что, испанец? Первый же встречный пастух вас выдаст. И потом все равно они уже на расстоянии выстрела от нас.

Шумный социал-демократ. Но...

Мендоса. Довольно! Предоставьте мне действовать. *(Тэннеру.)* Ведь вы нас не предадите, друг?

Стрэйкер. К кому это вы лезете в дружбу?

Мендоса. Вчера преимущество было на моей стороне. Грабитель бедных был в руках у грабителей богатых. Вы протянули мне руку; я пожал ее.

Тэннер. Я не стану предъявлять никаких обвинений, друг. Мы приятно провели у вас вечер — вот и все.

Стрэйкер. На меня не надейтесь. Я руки не протягивал никому.

Мендоса *(обернувшись к нему, веско)*. Молодой человек, если меня будут судить, я во всем признаюсь и расскажу, что меня заставило бросить Англию, семью и честную жизнь. Вы хотите, чтобы почтенное имя Стрэйкер вывалялось в грязи испанского уголовного суда? Полиция меня обыщет. Найдут фотографию Луизы. Она будет напечатана во всех газетах. Помните: это будет дело ваших рук.

Стрэйкер *(в бессильной ярости)*. Плевать мне на суд. Самое для меня скверное — это видеть наше имя рядом с твоим. Грязный шантажист, вот ты кто!

Мендоса. Такие выражения недостойны брата Луизы. Но это не важно: вы будете молчать; а больше нам ничего не надо. *(Оборачивается к своим приспешникам, которые испуганно пятятся назад, к пещере, как бы желая спрятаться за его спиной.)*

В это время со стороны шоссе появляется оживленная группа путешественников, одетых по-дорожному. Впереди всех Энн, которая тотчас же подходит к Тэннеру; за нею Вайолет под руку с Гектором и Рэмсденом. Мендоса неторопливо усаживается на своем президентском камне, рядовые его армии выстраиваются позади, а фланги занимает штаб: справа Дюваль и Анархист, слева оба социал-демократа.

Энн. Да это Джек!

Тэннер. Пропал!

Гектор. Ну конечно, он. Я говорил, что это вы, Тэннер. У нас шина спустила от прокола; дорога усеяна гвоздями.

Вайолет. Что это за люди и что вы тут у них делаете?

Энн. Почему вы уехали, ни слова никому не сказав?

Гектор. За вами букет роз, мисс Уайтфилд. *(Тэннеру.)* Когда мы узнали о вашем отъезде, мисс Уайтфилд держала со мной пари на букет роз, что моему автомобилю не догнать ваш ближе, чем в Монте-Карло.

Тэннер. Но это дорога вовсе не на Монте-Карло.

Гектор. Неважно. Мисс Уайтфилд выслеживала вас на всем пути. Это настоящий Шерлок Холмс в юбке.

Тэннер. Сила Жизни! Я погиб!

Октавиус *(вприпрыжку вбегает со стороны дороги и останавливается между Тэннером и Стрэйкером)*. Джек, дружище, как же я рад, что ты цел и невредим. Мы боялись, что ты попал в плен к бандитам.

Рэмсден *(вглядываясь в Мендосу)*. Лицо вашего друга кажется мне знакомым.

Мендоса вежливо встает и, улыбаясь, подходит к Энн и Рэмсдену.

Гектор. Как странно: и мне тоже.

Октавиус. Я прекрасно знаю вас, сэр; не могу только вспомнить, где мы с вами встречались.

Мендоса *(к Вайолет)*. А вам мое лицо незнакомо, мэм?

Вайолет. Очень знакомо; но у меня такая скверная память на имена.

Мендоса. Это было в отеле «Савой». *(Гектору.)* Вы, сэр, часто завтракали там с этой дамой. *(Указывает на Вайолет.)* Вы, сэр *(Октавиусу)*, не раз обедали с этой дамой *(Энн)* и ее матерью перед спектаклем в Лицеум-театре. *(Рэмсдену.)* А вы, сэр, часто ужинали в обществе *(понизив голос до конфиденциального, но вполне отчетливого шепота)* разных дам.

Рэмсден *(сердито)*. А вам какое до этого дело, хотел бы я знать?

Октавиус. Как же так, Вайолет? Я считал, что вы с Мэлоуном были едва знакомы до этой поездки?

Вайолет *(раздраженно)*. Этот человек, вероятно, служил в «Савое» метрдотелем.

Мендоса. Официантом, мэм. У меня обо всех вас сохранились наилучшие воспоминания. Судя по вашей щедрости ко мне, я мог заключить, что все вы очень приятно проводили там время.

Вайолет. Какая дерзость! *(Поворачивается к нему спиной и, опираясь на руку Гектора, начинает взбираться на скалу.)*

Рэмсден. Довольно, друг мой. Надеюсь, вы не рассчитываете, что эти дамы отнесутся к вам как к знакомому на том основании, что вы им прислуживали за столом?

Мендоса. Простите, это вы первый заговорили о том, что мы знакомы, и дамы последовали вашему примеру. Но так или иначе, после этого проявления дурных манер, свойственных вашему классу, инцидент исчерпан. Впредь потрудитесь обращаться ко мне со всем уважением, как к постороннему человеку и такому же путешественнику, как вы. *(Высокомерно отворачивается и снова занимает свое президентское место.)*

Тэннер. Ну вот! За всю поездку мне впервые встретился человек, способный здраво рассуждать,— и каждый из вас инстинктивно торопится оскорбить его. Даже Новый человек и тот не лучше других. Генри! Вы вели себя, как самый последний джентльмен!

Стрэйкер. Джентльмен! Ну уж нет!

Рэмсден. В самом деле, Тэннер, этот ваш тон...

Энн. Не слушайте его, дединька. Неужели вы к нему еще не привыкли? *(Берет его под руку и ласково уводит к скале, куда уже взобрались Вайолет и Гектор.)*

Октавиус, как собачка, бежит за ними.

Вайолет *(со скалы)*. А вот и солдаты. Они соскакивают с машин.

Дюваль *(в полном ужасе)*. О, nom de Dieu![1]

Анархист. Дураки! Теперь государство раздавит вас только потому, что вы пощадили его по наущению политических прихвостней буржуазии.

Мрачный социал-демократ *(готовый спорить до последней минуты)*. Напротив, только через захват государственного аппарата...

Анархист. Пока что этот аппарат сейчас вас захватит.

Шумный социал-демократ *(ополоумев от страха)*. Да бросьте! Что мы тут делаем? Чего мы ждем?

---

[1] Черт возьми! *(франц.)*.

Мендоса *(сквозь зубы)*. Продолжайте. Спорьте о политике, болваны; почтеннее занятия не придумаешь. Продолжайте, говорят вам.

На участке дороги, господствующем над котловиной, показывается отряд солдат. Бандиты, борясь с мучительным желанием спрятаться друг за друга, стараются сохранить по возможности непринужденный вид. Мендоса встает, величественный в своей неустрашимости. Офицер, командующий отрядом, спускается в котловину; он подозрительно оглядывает бандитов; затем переводит взгляд на Тэннера.

Офицер. Что это за люди, сеньор Inglés?

Тэннер. Моя охрана.

Мендоса низко кланяется с мефистофельской улыбкой. Невольная усмешка пробегает по лицам бандитов. Все приподнимают шляпы, кроме анархиста, который, скрестив руки на груди, бросает вызов государству.

Сад перед виллой в Гренаде. Кто хочет знать, как это выглядит, пусть поедет туда и посмотрит. Для общего представления можно упомянуть цепь холмов, усеянных виллами, Альгамбру на вершине одного из них и довольно большой город в долине, куда сбегаются пыльные белые дороги, кишащие ребятишками, которые, чем бы они ни были заняты, машинально клянчат милостыню, протягивая цепкие коричневые ручонки; впрочем, это описание, если не считать Альгамбры, попрошаек и цвета дорог, так же приложимо к Испании, как и к Сэррею. Разница только в том, что сэррейские холмы невысоки и безобразны и с большим правом могли бы называться сэррейскими бородавками, тогда как испанские холмы сродни горам: мягкость контуров, скрадывающая их высоту, не уменьшает их величественности.

Сад, о котором идет речь, расположен на холме напротив Альгамбры, а вилла отделана с дорогостоящей претенциозностью,— как всякая вилла, предназначенная для помесячной сдачи внаем с полной обстановкой богатым американским и английским путешественникам. Если стать на лужайке в нижнем конце сада и посмотреть на вершину, линия горизонта совпадет с каменной балюстрадой выложенной плитняком террасы на фоне бесконечного пространства. Между нами и этой террасой будет тогда находиться цветник с фонтаном в центре, вокруг которого в строгом порядке размещены геометрически правильные клумбы, дорожки, посыпанные гравием, и аккуратно подстриженные тисовые деревья. Цветник расположен выше нашей лужайки; туда ведет несколько ступеней в середине уступа. Терраса, в свою очередь, выше цветника, и нужно подняться еще на несколько ступеней, чтобы, облокотясь на балюстраду, полюбоваться прекрасным зрелищем города в долине и холмов, уходящих вдаль, где они вырастают в горы. Вилла тогда будет слева от нас, и к ней тоже ведут ступени, расположенные в левой части цветника. Возвращаясь с террасы через цветник на нашу лужайку (причем вилла тогда оказывается уже справа от нас), мы узнаем, что обитатели виллы отличаются литературными склонностями; нигде не заметно ни сетки для тенниса, ни крокетных дужек, а небольшой

садовый стол, слева от нас, завален книгами, большей частью в желтых обложках. На стуле справа тоже лежит несколько раскрытых книг. Газеты не видно ни одной,— и это обстоятельство, наряду с отсутствием спортивного инвентаря, может привести вдумчивого наблюдателя к самым многозначительным выводам относительно обитателей виллы. Впрочем, в этот ясный весенний день подобным размышлениям помешало бы появление у боковой калитки Генри Стрэйкера в его шоферском наряде. Он пропускает в сад неизвестного пожилого джентльмена и сам проходит следом за ним.

Пожилой джентльмен, наперекор испанскому солнцу, облачен в черный сюртук и брюки весьма респектабельного оттенка, получающегося из сочетания темно-серых и фиолетовых полос; на голове у него цилиндр, черный галстук бабочкой оттеняет безукоризненную белизну манишки. Очевидно, он из тех людей, которых социальное положение обязывает к постоянному и настойчивому самоутверждению, невзирая на климат, они и в сердце Сахары и на вершине Монблана одевались бы одинаково. А поскольку в нем не чувствуется представителя класса, привыкшего видеть свое жизненное назначение в том, чтобы рекламировать и содержать первоклассных портных и модисток, его изысканный костюм придает ему вульгарный вид, тогда как в любой рабочей одежде он выглядел бы вполне пристойно. У него красное лицо, волосы, напоминающие щетину, узенькие глазки, поджатый рот и упрямый подбородок. Кожа на шее и у подбородка уже тронута старческой дряблостью, но щеки еще упруги и крепки, как яблоко; и от этого верхняя часть лица кажется моложе нижней. Он самоуверен, как человек, который сам составил себе состояние, и несколько агрессивен, как тот, кому оно досталось в звериной борьбе; за его вежливостью ясно ощущается угроза в случае необходимости пустить в ход другие методы. Но вообще это человек, способный внушить жалость тогда, когда он не внушает страха; временами в нем проглядывает нечто трогательное как будто огромная коммерческая машина, втиснувшая его в этот сюртук, оставила ему очень мало личной свободы и сурово отказывает в удовлетворении всех его склонностей и желаний. С первого же произнесенного им слова становится ясно, что он — ирландец, сохранивший свою природную интонацию, несмотря на многочисленные перемены

местожительства и общественного положения. Можно догадаться, что первоначальную основу его речи составлял грубоватый говор южных ирландцев; но этот говор так долго подвергался искажающим влияниям городского жаргона, неизбежным в Лондоне, Глазго, Дублине, да и в других больших городах, что теперь разве только заядлому кокни придет в голову назвать его ирландским; певучесть его исчезла совершенно, осталась только грубоватость. К Стрэйкеру, чья речь — ярко выраженный кокни, он относится с неудержимым презрением, как к безмозглому англичанину, который даже на своем языке не умеет говорить как следует. В свою очередь Стрэйкер склонен рассматривать его манеру говорить как шутку провидения, специально задуманную для потехи истых британцев, и проявляет к нему терпеливую снисходительность, как к представителю низшей и обделенной судьбою расы; впрочем, эта снисходительность сменяется возмущением всякий раз, когда пожилой джентльмен выказывает претензию на то, чтоб его ирландские штучки принимались всерьез.

Стрэйкер. Сейчас я позову молодую леди. Она говорила, что вы, верно, захотите подождать ее здесь. *(Поднимается по ступеням, которые ведут к цветнику.)*

Ирландец *(с живым любопытством оглядываясь по сторонам)*. Это мисс Вайолет, что ли?

Стрэйкер *(останавливается, вдруг заподозрив неладное)*. А вы разве сами не знаете?

Ирландец. Это я-то?

Стрэйкер *(начиная сердиться)*. Вы-то, вы-то. Так что же, знаете вы или нет?

Ирландец. А вам какое дело?

Стрэйкер уже вне себя от злости поворачивается назад и подходит к гостю.

Стрэйкер. Вот я вам сейчас скажу, какое мне дело. Мисс Робинсон...

Ирландец. Ага, значит ее фамилия Робинсон? Ну, спасибо, спасибо.

Стрэйкер. Вы что же, не знаете даже ее фамилии?

Ирландец. Нет, теперь знаю — когда вы мне сказали.

Стрэйкер *(на мгновение сбитый с толку быстрым ответом старика)*. Послушайте, с какой же это стати вы влезли в машину и прикатили сюда, если вы не тот, кому я вез записку?

Ирландец. А кому же вы ее везли, если не мне?

Стрэйкер. Я вез ее мистеру Гекто́ру Мэлоуну, как меня просила мисс Робинсон, понятно? Мисс Робинсон мне не хозяйка; просто я взялся за это из любезности. А мистера Мэлоуна я знаю, и это вовсе не вы, даже ничего похожего. Только почему ж мне в отеле-то сказали, что вас зовут Гекто́р Мэлоун?

Мэлоун. Ге́ктор Мэлоун.

Стрэйкер *(свысока)*. У вас там, в Ирландии или Америке, может и Ге́ктор; мало ли чего выдумают в провинции. А здесь вы Гекто́р; если до сих пор не знали, так скоро узнаете.

Разговор грозит принять напряженный оборот, но этому мешает появление Вайолет, которая вышла из дома и спустилась по ступеням цветника как раз вовремя, чтобы встать между Стрэйкером и Мэлоуном.

Вайолет *(Стрэйкеру)*. Вы отвезли мое письмо?

Стрэйкер. Да, мисс. Я его свез в отель и послал с горничной наверх, а сам стал дожидаться мистера Мэлоуна. Но тут вдруг выходит вот этот тип и говорит, что все, мол, в порядке и едем. В отеле сказали, что это и есть мистер Гекто́р Мэлоун, — ну, я его и прихватил. Так вы посмотрите на него: если это не тот, который вам нужен, можно его сейчас же отвезти обратно.

Мэлоун. Мэдэм, вы мне окажете большую честь, если согласитесь со мной побеседовать. Я — отец Гектора; вероятно, не прошло бы и часу, как этот сообразительный англичанин догадался бы о том.

Стрэйкер *(с вызывающим хладнокровием)*. Хоть бы целый год прошел, и то едва ли. Вот просидите у нас столько, сколько он сидел, пока мы его отшлифовали как следует, тогда, может, и станете чуть на него похожи. А теперь вам до него далеко. *(К Вайолет, любезно.)* Пожалуйста, мисс, если вам охота с ним разговаривать, я мешать не стану. *(Снисходительно кивает Мэлоуну и выходит в боковую калитку.)*

Вайолет *(с изысканной вежливостью)*. Мне очень жаль, мистер Мэлоун, если этот человек нагрубил вам. Но что поделаешь? Это наш водитель.

Мэлоун. Кто?

Вайолет. Шофер нашего автомобиля. Он умеет вести машину со скоростью семьдесят миль в час и чинить ее,

если бывают поломки. Мы зависим от наших машин; а наши машины зависят от него; так что в конечном счете мы зависим от него.

Мэлоун. Я заметил, мэдэм, что у англичанина каждая лишняя тысяча долларов прибавляет единицу к числу людей, от которых он зависит. Но вы напрасно извиняетесь за своего человека; я его нарочно заставил болтать. И теперь я знаю, что вы тут, в Гренаде, проездом, с целой компанией англичан, и в том числе с моим сыном Гектором.

Вайолет *(в тоне непринужденной беседы)*. Совершенно верно. Мы, собственно, собирались в Ниццу, но один из членов нашей компании, несколько эксцентричный джентльмен, выехал первым и отправился сюда, так что нам пришлось следовать за ним. Садитесь, пожалуйста. *(Освобождает от книг стоящий рядом стул.)*

Мэлоун *(тронутый этим вниманием)*. Спасибо. *(Садится и с любопытством смотрит, как она перекладывает книги на садовый стол. Когда она снова поворачивается к нему, он говорит.)* Мисс Робинсон – так, кажется?

Вайолет *(садясь)*. Совершенно верно.

Мэлоун *(вынимая из кармана письмо)*. Вы, значит, пишете Гектору.

Вайолет невольно вздрагивает.
Он не спеша достает и надевает очки в золотой оправе.

«Милый! Все наши до вечера ушли в Альгамбру. Я выдумала, что у меня болит голова, и теперь я одна в саду. Немедленно прыгай в машину Джека; Стрэйкер вмиг примчит тебя сюда. Ну, скоренько, скоренько. Любящая тебя Вайолет». *(Поворачивается к ней; но она уже успела овладеть собой и с полным спокойствием встречает его взгляд. Он продолжает с расстановкой.)* Я, конечно, не знаю, как принято относиться друг к другу у молодых людей в английском обществе, но у нас, в Америке, такая записка свидетельствовала бы о весьма значительной степени интимности между заинтересованными сторонами.

Вайолет. Да, я очень хорошо знакома с вашим сыном, мистер Мэлоун. Вам это неприятно?

Мэлоун *(захваченный несколько врасплох)*. Ну, не то чтобы неприятно. Но, я надеюсь, при этом учитывается, что мой сын полностью зависит от меня и что, если он захочет сделать какой-нибудь серьезный шаг, придется спросить моего совета.

Вайолет. Я уверена, мистер Мэлоун, что вы не захотите поступить неразумно по отношению к вашему сыну.

Мэлоун. Конечно, конечно, мисс Робинсон. Но в вашем возрасте вам могут казаться неразумными некоторые вещи, на которые я смотрю иначе.

Вайолет *(слегка пожав плечами)*. Мистер Мэлоун, я думаю, что нам с вами не стоит играть в жмурки. Ваш сын Гектор хочет на мне жениться.

Мэлоун. Да, если судить по вашей записке, похоже на то. Ну что ж, мисс Робинсон, он сам себе хозяин; но если он женится на вас, он ни пенни не увидит от меня. *(Снимает очки и вместе с письмом засовывает в карман.)*

Вайолет *(со строгой ноткой в голосе)*. Это не слишком любезно по отношению ко мне, мистер Мэлоун.

Мэлоун. Я про вас ничего не говорю, мисс Робинсон; вы, на мой взгляд, очень обходительная и достойная молодая леди. Но у меня насчет Гектора другие планы.

Вайолет. А если у Гектора насчет себя нет других планов, мистер Мэлоун?

Мэлоун. Может быть, может быть. Но уж тогда придется ему обойтись без меня. Вот и все. Да вас, наверно, это не волнует. Когда молодая девица пишет молодому человеку, чтобы он ехал к ней скоренько, скоренько, ей кажется, что деньги — ничто, а любовь — все.

Вайолет *(резко)*. Простите, мистер Мэлоун, я подобных глупостей не думаю. Гектор должен иметь деньги.

Мэлоун *(оторопев)*. Ну что ж, отлично, отлично. Он, верно, сумеет их заработать.

Вайолет. Что за радость иметь деньги, если их нужно зарабатывать? *(Нетерпеливо встает со стула.)* Все это вздор, мистер Мэлоун; вы должны дать своему сыну возможность жить так, как требует его положение. Это его право.

Мэлоун *(зловеще)*. Я бы не советовал вам, мисс Робинсон, выходить за него замуж в расчете на это право.

Вайолет большим усилием подавляет готовый прорваться гнев, разжимает пальцы и садится на прежнее место с хорошо рассчитанным спокойствием.

Вайолет. А что, собственно, вам во мне не нравится? По своему положению в обществе я не уступаю Гектору, чтобы не сказать больше. Он сам это признает.

Мэлоун *(проницательно)*. Вы ему, видно, время от времени

об этом напоминаете. В английском обществе, мисс Робинсон, Гектор будет занимать то положение, которое я захочу купить для него. Я ему предлагал по-хорошему: пусть подыщет самое историческое поместье, замок или там аббатство, какое только найдется в Англии. И как только он мне скажет, что имеет на примете жену, достойную быть там хозяйкой, — в тот самый день я его покупаю и обеспечиваю Гектору средства для его содержания.

Вайолет. Что это значит — жена, достойная быть там хозяйкой? Как будто любая хорошо воспитанная женщина не может вести такой дом!

Мэлоун. Нет. Она должна быть рождена для этого.

Вайолет. Как, например, сам Гектор, не правда ли?

Мэлоун. Бабушка Гектора была босоногая ирландская девчонка и баюкала меня у очага, в котором горел торф. Пусть он женится на такой же, и я не поскуплюсь на приданое. Я хочу, чтобы на мои деньги он или сам продвинулся в обществе, или помог продвинуться другому; если хоть кому-нибудь будет от этого дела выгода, я сочту свои расходы оправданными. Но если он женится на вас, он ничего не выиграет и не проиграет.

Вайолет. Многие из моих родственников, мистер Мэлоун, безусловно будут против того, чтоб я вышла замуж за внука простой крестьянки. Вы можете считать это предрассудком, но ведь ваше желание непременно взять сыну титулованную жену — тоже предрассудок.

Мэлоун *(встав со своего места, разглядывает ее с пытливостью, к которой примешивается невольное уважение)*. Удивительно вы, знаете ли, откровенная молодая леди.

Вайолет. Не понимаю, почему я должна жить в нищете только из-за того, что не могу принести вам выгоду. Вы просто хотите сделать Гектора несчастным.

Мэлоун. Ничего, он с этим справится. Любовные неудачи не то, что денежные, они даже на пользу идут человеку. Вам это, поди, и слушать противно, но я знаю, что говорю. Отца моего заморили голодом в Ирландии в черный восемьсот сорок седьмой год. Может, слышали про такой?

Вайолет. Это когда был недород?

Мэлоун *(с затаенным жаром)*. Какой там недород! Если страна завалена хлебом и даже вывозит его за границу, нечего толковать о недороде. А все-таки отец мой умер с голоду, и голод заставил мать с грудным ребенком

на руках уехать в Америку. Английское владычество выжило меня и моих из Ирландии. Ну что ж, пусть Ирландия остается вам. Но мы теперь возвращаемся, чтобы купить Англию; и мы покупаем все, что в ней есть лучшего. Буржуазные достатки и буржуазные невестки меня не устраивают. Вот это откровенность за откровенность, а?

Вайолет *(с ледяным спокойствием к его сентиментальности)*. Право, мистер Мэлоун, мне странно слышать такие романтические речи от здравомыслящего человека ваших лет. Что ж, вы думаете, английская знать станет по первому требованию продавать вам свои поместья?

Мэлоун. У меня имеются адреса двух древнейших родовых замков в Англии. Одному именитому владельцу не по средствам содержать все комнаты в чистоте, другой не в состоянии уплатить налог на наследство. Что вы на это скажете?

Вайолет. Конечно, это позорно; но вы отлично понимаете, что рано или поздно правительство прекратит все эти социалистические посягательства на собственность.

Мэлоун *(ухмыляясь)*. Как по-вашему — успеет оно это сделать до того, как я куплю замок, или, верней сказать, аббатство? Они оба — аббатства.

Вайолет *(нетерпеливо отмахиваясь от этой темы)*. Ах, мистер Мэлоун, давайте говорить по существу. Вы ведь сами знаете, что до сих пор мы с вами говорили не по существу.

Мэлоун. Я бы этого не сказал. Я говорю то, что думаю.

Вайолет. В таком случае вы не знаете Гектора так, как я его знаю. Он склонен к романтике и фантазиям — очевидно, это у него от вас,— и ему нужна такая жена, которая могла бы о нем заботиться. Без всяких фантазий, вы меня понимаете?

Мэлоун. Одним словом, похожая на вас.

Вайолет *(спокойно)*. Именно. Но вы же не можете требовать, чтобы я взяла это на себя, не имея средств к тому, чтобы жить сообразно его положению.

Мэлоун *(встревоженно)*. Погодите, погодите. Этак мы до чего ж договоримся? Я и не думал требовать, чтоб вы на себя брали что-нибудь в этом роде.

Вайолет. Конечно, мистер Мэлоун, если вы собираетесь сознательно искажать смысл моих слов, нам очень трудно будет сговориться.

Мэлоун *(несколько смущенный)*. Я вовсе не хотел придираться

к словам; это как-то само собой вышло, что мы свернули с прямой дорожки.

Стрэйкер с видом человека, который торопился изо всех сил, открывает боковую калитку и пропускает Гектора; тот вбегает в сад, задыхаясь от негодования, и сразу устремляется к отцу; но Вайолет, в крайней досаде вскочившая со стула, загораживает ему дорогу. Стрэйкер тем временем успел исчезнуть,— во всяком случае его уже не видно.

Вайолет. Ох, как некстати! Я вас прошу, Гектор: пожалуйста, ни слова. Уходите и дайте мне закончить разговор с вашим отцом.

Гектор *(непреклонно)*. Нет, Вайолет! Я сейчас же, не сходя с места, должен выяснить все до конца. *(Отстраняет ее, делает шаг вперед и останавливается лицом к лицу с Мэлоуном, у которого щеки постепенно багровеют, по мере того как закипает его ирландская кровь.)* Отец! Вы сделали нечестный ход!

Мэлоун. То есть как это?

Гектор. Вы вскрыли письмо, адресованное мне. Вы себя выдали за меня и хитростью проникли к этой даме. Так порядочные люди не поступают.

Мэлоун *(с угрозой)*. Эй, Гектор, думай о том, что говоришь. Думай хорошенько, слышишь?

Гектор. Я и так думаю. Я все время думаю. Я думаю о своей чести и о своем положении в английском обществе.

Мэлоун *(горячо)*. Твое положение куплено моими деньгами. Ты об этом не забывай.

Гектор. Да, но вы же его и погубили, вскрыв это письмо. Письмо от дамы, англичанки, не вам адресованное,— личное письмо! интимное письмо! чужое письмо! — и мой отец вскрыл его! В Англии таких вещей не прощают. Чем скорее мы уедем домой, тем лучше. *(Без слов обращается к небесам, как бы призывая их в свидетели позора и мук двух отверженных.)*

Вайолет *(одергивая его с инстинктивным отвращением к патетическим сценам)*. Перестаньте, Гектор. Совершенно естественно, что мистер Мэлоун распечатал письмо: ведь на конверте стояло его имя.

Мэлоун. Вот! Ни капли здравого смысла у тебя нет, Гектор. Благодарю вас, мисс Робинсон.

Гектор. И я тоже. Вы очень добры. Мой отец этих вещей не понимает.

Мэлоун *(в ярости сжимая кулаки)*. Гектор!..

Гектор *(с непоколебимым моральным убеждением)*. Можете сердиться сколько угодно. Чужое письмо, папа, есть чужое письмо; от этого не спрячешься.

Мэлоун *(возвышая голос)*. Не смей отвечать мне, слышишь?

Вайолет. Тсс! Тише, ради бога. Сюда идут.

Отец и сын, вынужденные замолчать, молча обмениваются свирепыми взглядами; в боковую калитку входят Тэннер и Рэмсден, а за ними Октавиус и Энн.

Вайолет. Вы уже вернулись?

Тэннер. Альгамбра сегодня закрыта.

Вайолет. Какая досада.

Тэннер проходит дальше и оказывается между Гектором и пожилым незнакомцем, которые, по всей видимости, недалеки от того, чтобы вцепиться друг в друга. Он переводит глаза с одного на другого, ища объяснения. Они сумрачно избегают его взгляда, внутренне кипя от гнева.

Рэмсден. Вайолет, разве можно с головной болью выходить на солнцепек?

Тэннер. А вы, видно, тоже выздоровели Мэлоун?

Вайолет. Ах, что это я! Ведь здесь не все знакомы. Мистер Мэлоун, представьте же вашего отца.

Гектор *(со стойкостью римлянина)*. Нет. Он больше не отец мне.

Мэлоун *(возмущенно)*. Ах, вот как! Ты отказываешься от родного отца перед своими английскими друзьями!

Вайолет. Ради бога, только без сцен.

Энн и Октавиус, замешкавшиеся у калитки, обмениваются удивленными взглядами и потихоньку поднимаются к цветнику, откуда они могут, оставаясь в стороне, наслаждаться скандалом. Проходя мимо, Энн молча строит сочувственную гримасу Вайолет, которая стоит спиной к садовому столу и с бессильной досадой слушает, как ее супруг уносится в заоблачные выси этики без малейшей оглядки на миллионы старика.

Гектор. Мне очень жаль, мисс Робинсон, но это для меня вопрос принципа. Я — сын, и, смею сказать, довольно почтительный сын; но прежде всего я — Человек!!! И если папе угодно обращаться с моими письмами так, как будто они адресованы ему, и потом еще заявлять, что я не посмею жениться на вас, даже если вы удостоите и

осчастливите меня согласием, – мне остается только одно: отвернуться и идти своей дорогой.

Тэннер. Жениться на Вайолет!

Рэмсден. Да в уме ли вы?

Тэннер. После того что мы вам сказали?

Гектор *(забывшись)*. Мне все равно, что бы вы мне ни сказали.

Рэмсден *(шокированный)*. Что вы, что вы, сэр! Это чудовищно! *(Бросается назад к калитке, его расставленные локти дрожат от негодования.)*

Тэннер. Еще один сумасшедший! Всех этих влюбленных нужно просто сажать под замок. *(Махнув рукой на Гектора, направляется к цветнику; но Мэлоун, неожиданно усмотрев новый повод для обиды, бежит за ним и угрожающим тоном заставляет его остановиться.)*

Мэлоун. Постойте, постойте. Вы что же, считаете, что Гектор недостаточно хорош для этой молодой леди?

Тэннер. Дорогой сэр, дело в том, что эта молодая леди уже замужем. Гектор знает, но упорствует в своем безумии. Уведите его домой и заприте.

Мэлоун *(язвительно)*. Ах, значит это и есть хороший тон, который я нарушил своими грубыми, неотесанными манерами! Амуры с замужней женщиной! *(Становится между Гектором и Вайолет и рычит чуть не в самое ухо Гектору.)* Это ты у английских аристократов набрался таких замашек?

Гектор. Ничего, ничего. Вы только не беспокойтесь. Я отвечаю за нравственность своих поступков.

Тэннер *(с горящими глазами бросается к Гектору)*. Хорошо сказано, Мэлоун! Значит, и вы понимаете, что брачный закон – это одно, а нравственность – другое. Я вполне согласен с вами! Жаль только, что Вайолет смотрит иначе.

Мэлоун. Я вот не уверен в этом, сэр. *(Обернувшись к Вайолет.)* Позвольте вам сказать, миссис Робинсон, или как вас там по-настоящему зовут, что довольно стыдно замужней женщине посылать такие записочки молодому человеку.

Гектор *(вне себя)*. Ну, это последняя капля. Отец! Вы оскорбили мою жену.

Мэлоун. Твою жену?!

Тэннер. Так исчезнувший муж – вы? Еще один мнимый преступник против нравственности! *(Хлопает себя рукой по лбу и валится на стул Мэлоуна.)*

Мэлоун. Ты женился без моего согласия!

Рэмсден. Вы нас заведомо дурачили, сэр!

Гектор. Слушайте! Довольно с меня, наконец, этой комедии. Мы с Вайолет – муж и жена, вот и все. Теперь, надеюсь, вам нечего сказать.

Мэлоун. Я-то знаю, что мне сказать. Она вышла за нищего.

Гектор. Неправда! Она вышла за труженика. *(Его американский акцент придает особую вескость этому простому и мало популярному слову.)* Я сегодня же начинаю сам зарабатывать на жизнь.

Мэлоун *(злобно усмехаясь)*. Да, да, ты очень храбр сейчас, когда только что получил от меня очередной чек. Подождем, пока ты эти деньги истратишь, тогда у тебя спеси поубавится.

Гектор *(вынимая из бумажника чек)*. Вот. *(Бросает его в лицо отцу.)* Берите свой чек, и больше вы меня не увидите. Я теперь покончил с чеками; и с вами тоже. Права оскорблять мою жену я не продам даже за тысячу долларов.

Мэлоун *(потрясенный и взволнованный)*. Смотри, Гектор! Ты не знаешь, что такое бедность.

Гектор *(пылко)*. Вот я и хочу узнать это. Я хочу стать Человеком. Вайолет, ты сейчас же переедешь ко мне, я помогу тебе собраться.

Октавиус *(одним прыжком оказывается внизу на лужайке и подбегает к Гектору)*. Но прежде чем вы уйдете, Гектор, я хочу пожать вам руку. Не могу передать, как я восхищен вами. *(Пожимает ему руку, чуть не плача от умиления.)*

Вайолет *(тоже чуть не плача, но от злости)*. Ах, не будь идиотом, Тави. Гектор так же годится в труженики, как и ты.

Тэннер *(встав и подойдя к Гектору с другой стороны)*. Не бойтесь, миссис Мэлоун, чернорабочим он не будет. *(Гектору.)* Вам потребуется кое-какой капитал для начала, но пусть это вас не беспокоит. Считайте меня своим другом и возьмите у меня в долг.

Октавиус *(поспешно)*. Или у меня.

Мэлоун *(уязвленный в самое сердце)*. Кому вы нужны с вашими деньгами? Зачем это ему брать у чужих, когда есть родной отец?

Тэннер и Октавиус отступают; Октавиус, пожалуй, даже несколько огорчен, а Тэннер успокоен таким разрешением

финансовой проблемы. Вайолет с надеждой поднимает голову.

Гектор, мой мальчик, не торопись. Я сожалею о своих словах и беру их обратно. Я не хотел оскорблять Вайолет; она именно такая жена, как тебе требуется.

Гектор *(потрепав его по плечу)*. Ну-ну, ладно, папа. Не надо больше слов: мы уже помирились. Но только денег я ни у кого брать не буду.

Мэлоун *(униженно молит)*. Не будь так суров ко мне, Гектор. Уж лучше бы ты со мной поссорился и взял деньги, чем помирился и решил голодать. Ты не знаешь жизни, а я ее хорошо знаю.

Гектор. Нет, нет и нет! Я решил и решения своего не изменю. *(С непреклонным видом отстраняет отца и подходит к Вайолет.)* Ну, миссис Мэлоун, придется вам поселиться со мной в отеле и открыто занять то место, которое вам по праву принадлежит.

Вайолет. Да, милый, но раньше я должна пойти к себе и сказать Дэвис, чтобы она уложила мои вещи. Может быть, ты пока поедешь один и закажешь для меня номер с окнами в сад? Я приеду через полчаса.

Гектор. Идет. Папа, вы обедаете с нами?

Мэлоун *(торопясь закрепить перемирие)*. Да, да.

Гектор. До скорого свидания. *(Издали машет рукой Энн и стоящим в цветнике вместе с ней Тэннеру, Рэмсдену и Октавиусу, затем выходит в боковую калитку.)*

Его отец и Вайолет вдвоем остаются на лужайке.

Мэлоун. Вы его образумите, Вайолет, я уверен, что вы его образумите.

Вайолет. Никогда не думала, что в нем столько упрямства. Если он всегда будет таким, что мне тогда делать?

Мэлоун. Не падайте духом; домашние меры действуют медленно, но зато верно. Вы его сломите; обещайте мне, что вы его сломите.

Вайолет. Буду стараться. Конечно, по-моему, это верх нелепости – сознательно обречь себя на бедность.

Мэлоун. Еще бы!

Вайолет *(после минутного размышления)*. Знаете что, отдайте тот чек мне. Чтобы расплатиться в отеле, понадобятся деньги. Попробую, может быть мне удастся уговорить Гектора принять их. Не сразу, разумеется, но постепенно.

Мэлоун *(поспешно)*. Конечно, конечно. Это самое лучшее.

(Передает ей чек на тысячу долларов и добавляет с лукавством.) Вы понимаете, что это скромное месячное содержание было рассчитано на холостяка.

Вайолет *(холодно)*. Понимаю. *(Берет чек.)* Благодарю вас. Кстати, мистер Мэлоун, эти два дома, о которых вы говорили, эти аббатства...

Мэлоун. Ну?

Вайолет. Не решайте вопроса о покупке, пока я не посмотрю. В таких старых замках можно ждать самых непредвиденных сюрпризов.

Мэлоун. Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь, я ничего не предприму, не посоветовавшись с вами.

Вайолет *(вежливо, но без тени признательности)*. Благодарю вас, так будет лучше всего. *(Спокойно направляется к вилле.)*

Мэлоун раболепно провожает ее до верхних ступеней.

Тэннер *(обращая внимание Рэмсдена на заискивающее выражение, с которым Мэлоун прощается с Вайолет)*. И это жалкое существо – миллиардер! Представитель господствующего духа эпохи! Плетется, как собачка на веревочке, за первой девчонкой, которая дала себе труд выказать ему презрение. Неужели и я когда-нибудь дойду до этого! *(Спускается на лужайку.)*

Рэмсден *(следуя за ним)*. Чем скорее, тем лучше для вас.

Мэлоун *(возвращается, потирая руки)*. Вот это жена для Гектора! Я ее на десять герцогинь не променяю. *(Спускается на лужайку и останавливается между Рэмсденом и Тэннером.)*

Рэмсден *(учтиво, миллиардеру)*. Какая приятная неожиданность, мистер Мэлоун, встретить вас в этих краях. Уж не собираетесь ли вы купить Альгамбру?

Мэлоун. А хоть бы и так? Я бы ее сумел использовать лучше, чем испанское правительство. Но я приехал не за тем. Сказать по правде, с месяц тому назад я случайно услыхал разговор между двумя людьми; дело шло о пакете акций. Они никак не могли сойтись в цене; люди были молодые и жадные и не понимали, что если акции стоят того, что за них дают, значит они и стоят того, что за них спрашивают; разница, видите ли, почти ничего не составляла. Я для смеху вмешался и купил эти акции. Но до сих пор все никак не выясню, что за предприятие такое. Правление фирмы здесь, в Гренаде; называется оно Мендоса Лимитед. А что это такое Мен-

доса — копи, или пароходная линия, или банк, или патентованное средство?

Тэннер. Это человек. Я его знаю; его деятельность основана на чисто коммерческих принципах. Если вы не возражаете, мистер Мэлоун, мы можем прокатить вас по городу на машине и кстати завернуть к нему.

Мэлоун. Охотно, если вы так любезны. А позвольте узнать, с кем...

Тэннер. Мистер Роубэк Рэмсден, старинный друг вашей невестки.

Мэлоун. Очень приятно, мистер Рэмсден.

Рэмсден. Равно как и мне. Мистер Тэннер также принадлежит к нашему кружку.

Мэлоун. Весьма рад, мистер Тэннер.

Тэннер. Я тоже.

Мэлоун и Рэмсден, дружески беседуя, выходят в боковую калитку.

(Окликает Октавиуса, который прохаживается с Энн по саду.) Тави!

Октавиус подходит к ступеням.

(Говорит ему громким шепотом.) Вайолет вышла замуж за разбойничьего банкира. *(Убегает вдогонку за Рэмсденом и Мэлоуном.)*

Энн, в бессознательном стремлении помучить Октавиуса, приближается к ступеням.

Энн. Что же вы не пошли с ними, Тави?

Октавиус *(глаза его сразу подернулись слезами)*. Вы раните мое сердце, Энн, требуя, чтобы я ушел. *(Сходит вниз, на лужайку, чтобы спрятать от нее свое лицо.)*

Она с ласковой улыбкой следует за ним.

Энн. Бедный Рикки-Тикки-Тави! Бедное сердце!

Октавиус. Оно принадлежит вам, Энн. Простите меня, но я должен высказаться. Я люблю вас. Вы знаете, что я люблю вас.

Энн. Все это напрасно, Тави. Вы ведь знаете, что мама твердо решила выдать меня замуж за Джека.

Октавиус *(остолбенев)*. За Джека?!

Энн. Трудно поверить, не правда ли?

Октавиус *(с нарастающей обидой)*. Так, значит, все это время Джек меня дурачил? Значит, он меня потому отговаривал жениться на вас, что сам хотел стать вашим мужем?

Энн *(испугавшись)*. Нет, нет! И не вздумайте затевать с ним разговор. Он еще решит, что это я вам сказала. Джек, я уверена, сам не разбирается в своих чувствах. Но из завещания моего отца ясно: он хотел, чтобы я вышла за Джека. И мама ни о чем другом слышать не хочет.

Октавиус. Но нельзя же вечно приносить себя в жертву желаниям родителей!

Энн. Отец любил меня. Мама тоже меня любит. Для меня же лучше, если я буду следовать их желаниям, а не своим эгоистическим прихотям.

Октавиус. О Энн! Вы — и эгоизм! Но поверьте мне — хоть я и не могу быть беспристрастным в этом деле, — есть еще другая сторона вопроса. Зачем вам обманывать Джека и выходить за него, если вы его не любите? Зачем вам губить мое счастье и свое собственное, если вы можете когда-нибудь полюбить меня?

Энн *(глядит на него с оттенком жалости)*. Тави, милый мой, вы очень славный, очень хороший мальчик.

Октавиус *(печально)*. И это все?

Энн *(лукаво, несмотря на жалость)*. Это очень много, уверяю вас. Ведь вы готовы всю жизнь боготворить землю, по которой я ступаю, правда?

Октавиус. Правда. Это звучит смешно, но я не преувеличиваю. Это так, и это всегда так будет.

Энн. «Всегда» — большой срок, Тави. Вот видите, я же должна показать себя достойной такого обожествления! А если бы я вышла за вас замуж, вряд ли мне бы это удалось. Зато если я выйду за Джека, вам никогда не придется испытать разочарование, — во всяком случае, пока я не состарюсь.

Октавиус. Я тоже состарюсь, Энн. Но даже в восемьдесят лет один седой волос любимой мною женщины сильнее заставит меня трепетать, чем самые толстые золотые косы самой прекрасной юной головки.

Энн *(почти растроганно)*. Вот это поэзия, Тави, истинная поэзия! Ваши слова вызывают у меня странное чувство: будто я слышу отзвук каких-то прежних существований. Разве это не лучшее доказательство бессмертия нашей души?

Октавиус. Но вы верите мне, что это правда?

Энн. Для того, чтоб это стало правдой, Тави, вам надо не только любить меня, но и потерять.

Октавиус. О! *(Быстро садится на стул у садового стола и закрывает лицо руками.)*

Энн *(убежденно)*. Тави! Ни за что на свете я не хотела бы разрушать ваши иллюзии. Я не могу ни взять вас, ни отпустить. Но я знаю, что для вас будет самое подходящее. Вы должны сохранить верность мне и остаться сентиментальным старым холостяком.

Октавиус *(в отчаянии)*. Я убью себя, Энн.

Энн. О нет, этого вы не сделаете, вы слишком добры. Вам совсем не плохо будет житься. Вы будете любезничать с женщинами, станете регулярно посещать оперу. Разбитое сердце — очень приятная болезнь для лондонца, если он имеет приличный годовой доход.

Октавиус *(значительно поостыв, но думая, что к нему просто вернулось самообладание)*. Я знаю, Энн, вы хотите мне добра. Джек внушил вам, что цинизм лучшее для меня лекарство. *(Встает, полный сдержанного достоинства.)*

Энн *(лукаво наблюдает за ним)*. Вот видите, вы уже начинаете разочаровываться во мне. Этого я и боялась.

Октавиус. Джека вы не боитесь разочаровать.

Энн *(в экстазе злорадства, освещающем ее лицо, говорит шепотом)*. Я просто не могу: он мной ничуть не очарован. Джеку я готовлю сюрприз. Рассеять отрицательное впечатление гораздо легче, чем оправдать репутацию идеала. Ах, когда-нибудь я пленю Джека!

Октавиус *(возвращаясь в стадию тихого отчаяния и начиная бессознательно испытывать удовольствие от мысли, что сердце его разбито и положение безнадежно)*. Я в этом не сомневаюсь. Вы всегда будете пленять его. А он — глупец! — думает, что вы его сделаете несчастным.

Энн. Да. Пока что в этом вся сложность.

Октавиус *(самоотверженно)*. Хотите, я скажу ему, что вы его любите?

Энн *(поспешно)*. Ой, нет! Он сейчас же опять сбежит.

Октавиус *(шокированный)*. Вы хотите выйти за человека замуж против его желания?

Энн. Какой вы все-таки чудак, Тави! Если женщина твердо решила добиться мужчины, при чем тут его желание? *(Шаловливо смеется.)* Я вижу, вы шокированы. Но вы, по-моему, уже начинаете радоваться, что сами избегли опасности.

Октавиус *(потрясенный)*. Радоваться! *(С упреком.)* И это вы мне говорите!

Энн. Но если бы в самом деле это было так тяжело для вас, разве вы стали бы искать новой пытки?

Октавиус. А разве я ищу?

Энн. Ведь вы же вызвались сказать Джеку, что я его люблю. Это, конечно, жертва, но, как видно, она дает вам некоторое удовлетворение. Может быть потому, что вы поэт? Вы точно соловей, который прижимается к шипу розы, чтоб лучше петь.

Октавиус. Все это гораздо проще. Я люблю вас и хочу, чтоб вы были счастливы. Вы меня не любите — значит, сам я не могу дать вам счастья; но я могу помочь вашему счастью с другим.

Энн. Да, казалось бы, это просто. Но когда мы что-нибудь делаем, мы едва ли знаем — почему. В сущности, самое простое — это прямо подойти и схватить то, чего хочется. Я, должно быть, не люблю вас, Тави, но иногда у меня является желание как-нибудь сделать из вас мужчину. Вы ничего не смыслите в женщинах.

Октавиус *(почти холодно)*. Предпочитаю не меняться в этом отношении.

Энн. Тогда вам нужно держаться от них подальше и только мечтать о них. Ни за что на свете я бы не согласилась быть вашей женой.

Октавиус. Мне не на что надеяться, Энн, и я примирюсь со своей судьбой. Но вы, вероятно, не представляете себе, как это больно.

Энн. У вас такое мягкое сердце! Просто удивительно, до чего вы с Вайолет непохожи. Вайолет тверда, как камень.

Октавиус. Ах, нет! Я уверен, что в душе Вайолет настоящая женщина.

Энн *(нетерпеливо)*. Почему вы так говорите? Разве если женщина рассудительна, трезва и практична — значит, она не настоящая женщина? Вы бы предпочли, чтоб Вайолет была дурочкой или чем-нибудь еще хуже, вроде меня?

Октавиус. Еще хуже... вроде вас? Что вы хотите сказать, Энн?

Энн. Ах господи, не ловите меня на слове. Но я очень уважаю Вайолет. Она всегда умеет поставить на своем.

Октавиус *(со вздохом)*. И вы тоже.

Энн. Правда, но ей это как-то проще удается, не приходится никого обольщать.

Октавиус *(с чисто братским равнодушием)*. Вайолет было бы трудно обольстить кого-нибудь. Хотя она хорошенькая.

Энн. Ничуть не трудно; стоит ей только захотеть.

Октавиус. Но какая же порядочная женщина станет сознательно играть на инстинктах мужчины?

Энн *(воздевая руки к небу)*. О Тави, Тави! Рикки-Тикки-Тави! Да поможет бог женщине, которая станет вашей женой.

Октавиус *(при звуке знакомого прозвища страсть его оживает)*. О зачем, зачем, зачем вы так говорите? Не мучайте меня! Я вас не понимаю.

Энн. Вдруг это будет лгунья, кокетка, завлекающая мужчин?

Октавиус. Неужели вы считаете меня способным жениться на такой женщине, после того что я знал и любил вас?

Энн. Гм!.. Во всяком случае, имей эта женщина голову на плечах, она этого не допустит. Ну ладно. Сейчас мне некогда больше разговаривать. Скажите, что вы меня простили, и вопрос будет исчерпан.

Октавиус. Мне не за что вас прощать, и вопрос уже исчерпан. А если не исчерпаны мои страдания, вы по крайней мере не увидите, как кровоточит рана.

Энн. Поэт верен себе. Ну, Тави, милый, до свидания. *(Треплет его по щеке; на мгновение ей захотелось его поцеловать, но тут же расхотелось; в конце концов она убегает в дом.)*

Октавиус снова приютился за столом; он уронил голову на руки и всхлипывает. В калитку входит миссис Уайтфилд, которая от нечего делать слонялась по гренадским магазинам; в руках у нее сумка, полная мелких свертков.

Миссис Уайтфилд *(увидев Октавиуса, бежит к нему и приподнимает его голову)*. Что с вами, Тави? У вас что-нибудь болит?

Октавиус. Нет, ничего, ничего.

Миссис Уайтфилд *(не выпуская его головы, с тревогой)*. Но вы плачете! Из-за Вайолет?

Октавиус. Нет, нет. А откуда вы знаете про Вайолет?

Миссис Уайтфилд *(возвращая голову ее владельцу)*. Я встретила Роубэка с этим отвратительным старым ирландцем. Так у вас, правда, ничего не болит? А отчего же вы плакали?

Октавиус *(с чувством)*. Ничего — просто одно мужское сердце разбилось. Смешно звучит, не правда ли?

Миссис Уайтфилд. Да в чем дело? Энн вас чем-нибудь обидела?

Октавиус. Энн не виновата. И прошу вас, не думайте, что я хоть сколько-нибудь осуждаю вас.

Миссис Уайтфилд *(изумленная)*. Меня? За что?

Октавиус *(примирительно пожимая ей руку)*. Ни за что. Я ведь сказал, что не осуждаю вас.

Миссис Уайтфилд. Но я ничего не сделала. О чем вы говорите?

Октавиус *(с грустной улыбкой)*. Вы не догадываетесь? Разумеется, вы вправе считать, что Джек – лучший муж для Энн, чем я; но я люблю Энн, и мне это нелегко. *(Встает и делает несколько шагов в сторону по направлению к середине лужайки.)*

Миссис Уайтфилд *(торопливо догоняя его)*. Энн говорит, что я хочу выдать ее замуж за Джека?

Октавиус. Да, она мне сейчас сказала.

Миссис Уайтфилд *(задумчиво)*. Если так, то мне вас очень жаль, Тави. Это означает просто, что она сама хочет выйти замуж за Джека. Очень она считается с тем, что я говорю и чего я хочу!

Октавиус. Но она бы не говорила этого, если бы не думала. Не станете же вы подозревать Энн в... в обмане!

Миссис Уайтфилд. Ну, хорошо, Тави, хорошо. Сама не знаю, что лучше для молодого человека: знать слишком мало, как вы, или слишком много, как Джек.

Возвращается Тэннер.

Тэннер. Ну, от старого Мэлоуна я отделался. Я познакомил его с Мендосой Лимитед и оставил бандитов вдвоем; пусть обсуждают свои дела. В чем дело, Тави? Случилось что-нибудь?

Октавиус. Пожалуй, мне нужно пойти умыть лицо. *(Миссис Уайтфилд.)* Скажите ему о своем желании. *(Тэннеру.)* Джек, я хочу, чтобы ты услышал это от меня: Энн не возражает.

Тэннер *(удивленный его тоном)*. Против чего не возражает?

Октавиус. Против того, чего хочет миссис Уайтфилд. *(С выражением благородной печали поднимается к вилле.)*

Тэннер *(к миссис Уайтфилд)*. Как таинственно! Что же это такое, чего вы хотите? Заранее обещаю, что все будет исполнено.

Миссис Уайтфилд *(слезливо, с благодарностью)*. Спасибо вам, Джек. *(Садится.)*

Тэннер придвигает другой стул, стоящий у садового стола, усаживается рядом с ней и, подперев руками подбородок, приготовляется слушать с полным вниманием.

Не знаю, почему это чужие дети всегда так милы со

мной, а мои относятся ко мне без всякого уважения? Не удивительно, что мне трудно любить Энн и Роду так, как я люблю вас, или Тави, или Вайолет. Все теперь как-то странно на свете. Раньше все было просто и естественно, а теперь люди словно и думают и чувствуют не так, как надо. С тех пор как профессор Тиндаль произнес свою речь в Белфасте, все пошло вкривь и вкось.

Тэннер. Да, жизнь сложнее, чем мы привыкли думать. Но все-таки что я должен для вас сделать?

Миссис Уайтфилд. Вот я как раз об этом и хотела поговорить. Конечно, вы все равно женитесь на Энн, независимо от моего желания...

Тэннер *(вскакивая)*. Кажется, меня сейчас женят на Энн, независимо от моего собственного желания!

Миссис Уайтфилд *(миролюбиво)*. Да, это очень возможно. Вы ведь ее знаете: уж если она заберет себе что-нибудь в голову... Но не сваливайте это на меня — вот все, о чем я прошу. Тави только что проговорился: она сказала ему, будто я заставляю ее выйти за вас замуж; бедный мальчик теперь убивается, потому что он сам в нее влюблен, хотя что он в ней нашел замечательного, одному богу известно. Бесполезно объяснять Тави, что Энн навязывает людям свои желания, уверяя их, что это я так хочу,— хоть я об этом и не помышляла. Это только настраивает Тави против меня. Но вы-то понимаете, в чем тут дело. Так что если вы на ней женитесь, не вините меня.

Тэннер *(внушительно)*. У меня нет ни малейшего намерения жениться на ней.

Миссис Уайтфилд *(лукаво)*. А ведь вам она лучше подойдет, чем Тави. Вы ей как раз под пару, Джек. Хотелось бы мне посмотреть на нее рядом с мужчиной, который ей под пару.

Тэннер. Только тот мужчина под пару женщине, у которого кочерга в руках и сапоги подбиты железом. Да и то не всегда. А я бы на нее кочергой не замахнулся. Я был бы жалким рабом.

Миссис Уайтфилд. Неправда. Вас она боится. Во всяком случае, вы сумеете говорить ей правду в лицо. С вами она не вывернется, как со мной.

Тэннер. Если я стану говорить Энн правду в лицо, исходя из ее же морального кодекса,— всякий назовет меня скотиной. Начать хотя бы с того, что слова Энн не всегда соответствуют истине.

Миссис Уайтфилд. Как приятно, что хоть кто-то не считает ее ангелом!

Тэннер. Короче говоря,— как сказал бы муж, если б его довели до того, что он бы решился рот раскрыть,— она лгунья. А если она по уши влюбила в себя Тави без всякого намерения выйти за него замуж, значит она кокетка,— следуя традиционному определению кокетки как женщины, возбуждающей страсть, которую она не намерена удовлетворить. А раз она довела вас до такого состояния, что вы готовы принести меня в жертву ради одного лишь удовольствия слышать, как я в лицо назову ее лгуньей, я могу заключить, что она еще и тиран. Мужчин она не может так открыто тиранить, как женщин; поэтому она без зазрения совести пускает в ход все свои чары, чтобы добиться того, что ей нужно. А уж это граничит с чем-то таким, чему я не подберу приличного названия.

Миссис Уайтфилд *(с кроткой укоризной)*. От кого же можно требовать совершенства, Джек?

Тэннер. Я и не требую. А вот Энн требует, и это меня возмущает. Я отлично знаю, что лживость, кокетство, тиранство и тому подобное — все это такие ходячие обвинения, которые можно предъявить любому из нас. Все мы лжем, все мы по мере сил и возможности тираним своих близких, все мы ищем поклонения, не утруждая себя старанием заслужить его, все мы стараемся извлечь наибольшую выгоду из своих чар, если они у нас имеются. Согласись Энн с этим, все было бы хорошо. Но она никогда не согласится. Если у нее будут дети, она не лишит себя удовольствия шлепать их за каждую сказанную ложь. Если она заметит, что другая женщина строит мне глазки, она откажется водить знакомство с кокеткой. Она сама всегда будет поступать так, как ей хочется, а от всех прочих требовать, чтобы они поступали так, как предписывает условный кодекс. Короче говоря, я могу простить ей все, кроме ее отвратительного лицемерия. Это выше моих сил.

Миссис Уайтфилд *(в упоении прислушиваясь к своему собственному мнению, изложенному столь красноречиво)*. Да, да, она именно лицемерка! Именно, именно!

Тэннер. Зачем же вы хотите, чтоб я на ней женился?

Миссис Уайтфилд *(ворчливо)*. Ну вот, пожалуйста! Теперь я виновата! Да мне и в голову это не приходило, пока Тави не сказал мне с ее слов, будто я этого хочу.

Но вы же знаете, я очень люблю Тави, он для меня все равно что сын родиой; и мне вовсе не хочется, чтоб его скрутили и сделали несчастным на всю жизнь.

Тэннер. Тогда как я, по-видимому, в счет не иду.

Миссис Уайтфилд. О, вы – совсем другое дело. Вы сами можете постоять за себя. Вы еще ее проучите. И потом надо же ей за кого-нибудь выйти.

Тэннер. Ага! Вот он, жизненный инстинкт! Вы ее ненавидите, но вы чувствуете себя обязанной выдать ее замуж!

Миссис Уайтфилд *(встает в возмущении)*. Что вы сказали? Я ненавижу родную дочь? Неужели вы считаете меня такой злой и бесчеловечной только потому, что я замечаю ее недостатки?

Тэннер *(цинично)*. Так, значит, вы ее любите?

Миссис Уайтфилд. Что за вопрос! Конечно, люблю. Какой вы странный, Джек. Разве можно не любить свою плоть и кровь?

Тэннер. Да, может быть, такие рассуждения избавляют от лишних неприятностей. Но я лично подозреваю, что законы против кровосмесительства основаны на естественном чувстве отвращения. *(Встает.)*

Миссис Уайтфилд. Нехорошо так говорить, Джек. Вы, надеюсь, не расскажете Энн про наш разговор? Мне просто хотелось оправдаться перед вами и Тави. Не могу же я сидеть и молча смотреть, как на меня все сваливают.

Тэннер *(вежливо)*. Вы совершенно правы.

Миссис Уайтфилд *(с огорчением)*. А вышло только хуже. Тави на меня сердится за то, что я не преклоняюсь перед Энн. А если мне вбили в голову, что Энн должна выйти замуж за вас, что же я могу сказать? Только одно: так ей и надо.

Тэннер. Благодарю вас.

Миссис Уайтфилд. Ну вот, теперь вы будете перевертывать мои слова, чтобы вышло вовсе не то, что я хотела сказать. Это нечестно и...

Сверху, из виллы, спускается Энн, а за ней Вайолет, одетая по-дорожному.

Энн *(подходит к матери и обращается к ней зловеще сладким голосом)*. Милая мамочка, как вы тут весело болтаете с Джеком. Вас по всему саду слышно.

Миссис Уайтфилд *(испуганно)*. Ты слышала...

Тэннер. Не тревожьтесь. Энн просто... одним словом, мы

ведь как раз говорили об этой ее привычке. Ничего она не слышала.

Миссис Уайтфилд *(отважно)*. А мне совершенно безразлично, слышала она или нет. Я, кажется, имею право говорить, что хочу.

Вайолет *(спускаясь на лужайку и становясь между Тэннером и миссис Уайтфилд)*. Я пришла проститься с вами. Мой медовый месяц начался, и я уезжаю.

Миссис Уайтфилд *(плачет)*. Ах, не говори так, Вайолет! И ни свадьбы, ни обеда, ни новых платьев!

Вайолет *(лаская ее)*. Ничего, это мы все наверстаем.

Миссис Уайтфилд. Только не позволяй ему увозить тебя в Америку. Обещай мне, что не позволишь.

Вайолет *(твердо)*. Ну разумеется, об этом не может быть и речи. Не плачьте, дорогая миссис Уайтфилд, я ведь только переезжаю в отель.

Миссис Уайтфилд. Но когда видишь тебя в дорожном костюме, с саквояжами, невольно думаешь... *(Слезы мешают ей, она глотает их и продолжает.)* Ах, почему ты не моя дочь!

Вайолет *(утешая ее)*. Ну, ну, я ведь почти ваша дочь. Перестаньте, а то Энн приревнует.

Миссис Уайтфилд. Энн меня ни капельки не любит.

Энн. Фи, мама! Довольно вам плакать. Вы же знаете, что Вайолет этого не переносит.

Миссис Уайтфилд вытирает глаза и утихает.

Вайолет. До свидания, Джек.

Тэннер. До свидания, Вайолет.

Вайолет. Чем скорей и вы женитесь, тем лучше. Меньше риска быть непонятым.

Тэннер *(сердито)*. Я не удивлюсь, если еще сегодня окажусь женатым. Вы все, кажется, сговорились.

Вайолет. Это для вас не так уж плохо. *(К миссис Уайтфилд, обнимая ее.)* Поедемте со мной, вам полезно будет прокатиться. Только захватим вашу накидку. *(Уводит ее к вилле.)*

Миссис Уайтфилд *(проходя вместе с ней через цветник)*. Вот теперь ты уедешь, и я во всем доме останусь одна с Энн; а ведь она вечно занята мужчинами! Мужу твоему вряд ли захочется тратить время на скучную старуху. Не спорь, пожалуйста. Вежливость вежливостью, а что люди на самом деле думают, это я хорошо знаю...

(Продолжает разговаривать с Вайолет, пока обе они не исчезают из виду.)

Энн, оставшись наедине с Тэннером, смотрит на него и ждет. Тэннер делает нерешительное движение в сторону калитки, но какая-то магическая сила влечет его к Энн; он сломлен.

Энн. Вайолет совершенно права. Вам нужно жениться.

Тэннер *(вскипев)*. Слушайте, Энн! Я на вас не женюсь! Понятно? Не женюсь, не женюсь, не же-нюсь!

Энн *(безмятежно)*. А вас никто и не просит, не просит, не про-сит! Так что и говорить не о чем.

Тэннер. Да, никто меня не просит, однако все держат себя так, словно это дело решенное. Это прямо в воздухе носится. Как только мы встречаемся, все спешат уйти под разными дурацкими предлогами, чтобы оставить нас вдвоем. Рэмсден больше не глядит на меня волком: напротив, он так и сияет, словно уже чувствует себя посаженным отцом. Тави дает мне свое благословение и советует переговорить с вашей матерью. Стрэйкер явно смотрит на вас как на будущую хозяйку,— он-то первый и сказал мне.

Энн. И поэтому вы сбежали?

Тэннер. Да, но к чему это привело? Мне помешал влюбленный бандит, а потом меня настигли и вернули, точно школьника, удравшего с урока.

Энн. Что ж, если вам так не хочется жениться, не женитесь. *(Отходит и садится в непринужденной позе.)*

Тэннер *(следуя за ней)*. Разве осужденному хочется лезть в петлю? Однако он дает себя повесить, даже не пробуя бороться, хотя мог бы по крайней мере подбить глаз священнику. Мы творим мировую волю, а не свою собственную. Меня не покидает страшное предчувствие, что я дам себя женить лишь потому, что миру угодно, чтоб вы вышли замуж.

Энн. Я и выйду, рано или поздно.

Тэннер. Но послушайте, почему же непременно за меня? Для меня женитьба — это вероотступничество, оскорбление внутренней святыни, насилие над мужским достоинством, отказ от первородства, позорная капитуляция, сдача без боя, признание своей слабости. Я засохну, как вещь, которая исполнила свое назначение и больше ни на что не нужна; из человека с будущим я превращусь в человека с прошлым; в сальных глазках всех других мужей

мне будет мерещиться радость по поводу появления нового узника, обреченного разделить их жалкую судьбу. Молодые люди будут презирать меня как перебежчика; для молодых женщин, которые всегда видели во мне загадку и возможность, я стану просто чужой собственностью, да к тому же еще и подержанной.

Энн. Что ж, ради вашего душевного спокойствия жена может надеть чепец и изуродовать себя, как делали наши бабушки.

Тэннер. Чтобы еще циничнее торжествовать на глазах у всех, отбросив приманку в тот момент, когда захлопнулась западня!

Энн. А какое в сущности это имеет значение? Красота важна только при первом взгляде; стоит пробыть три дня с ней рядом, и ее перестаешь замечать. Мне всегда страшно нравились картины, которые покупал папа; но потом я годами не смотрела на них. Что для вас моя наружность? Вы слишком привыкли к ней. Вам все равно, что я, что подставка для зонтиков!

Тэннер. Лжете, кровопийца! Лжете!

Энн. Льстец! Зачем вы стараетесь привлечь меня, Джек? Ведь вы же не хотите на мне жениться.

Тэннер. Сила Жизни! Я во власти Силы Жизни!

Энн. Это еще что такое? Никогда не слыхала.

Тэннер. Почему вам не выйти за Тави? Он сам этого хочет. Или вам непременно нужно, чтобы жертва отбивалась?

Энн *(потянувшись к нему, словно чтобы сказать что-то по секрету)*. Тави никогда не женится. Неужели вы не замечали, что такие мужчины никогда не женятся?

Тэннер. Как! Мужчина, который боготворит женщин, который в природе видит только романтическую декорацию для любовных дуэтов! Тави, верный, преданный рыцарь с нежным сердцем! Тави никогда не женится?! Да он же для того и родился, чтоб его покорила первая встреченная пара голубых глаз.

Энн. Да, да, я знаю. И все же такие мужчины обычно живут в комфортабельных холостяцких квартирах, тая рану в душе, служат предметом обожания своих хозяек и никогда не женятся. А вот такие, как вы, женятся обязательно.

Тэннер *(ударяя себя кулаком по лбу)*. Какая жестокая, неумолимая истина! Всю жизнь она была у меня перед носом, и я никогда ее не замечал.

Энн. Да ведь и с женщинами точно так же. Душа поэта — очень нежная душа, мягкая, безобидная, — одним словом, поэтичная; но это душа старой девы.

Тэннер. Она бесплодна. Сила Жизни ее минует.

Энн. Да, если вы *это* понимаете под Силой Жизни.

Тэннер. Энн, вы не любите Тави?

Энн *(оглядывается по сторонам, желая убедиться, что Тави нет поблизости)*. Нет.

Тэннер. А меня вы любите?

Энн *(неторопливо встает и грозит ему пальцем)*. Но-но, Джек! Не забывайтесь!

Тэннер. Негодная, бессовестная женщина! Дьявол!

Энн. Боа-констриктор! Слон!

Тэннер. Лицемерка!

Энн *(кротко)*. Поневоле — ради моего будущего супруга.

Тэннер. Ради меня! *(В ужасе спешит поправиться.)* То есть ради него!

Энн *(не обращая внимания на поправку)*. Да, ради вас. Вам же лучше, Джек, если ваша жена будет, как вы говорите, лицемеркой. Нелицемерки ходят в шароварах, подвергаются оскорблениям — одним словом, сами лезут в огонь. А потом они впутывают и мужей и заставляют их жить под вечным страхом новых неприятностей. Разве не лучше иметь жену, на которую можно положиться?

Тэннер. Нет, нет, тысячу раз нет! Кипяток — стихия революционера. Человек все равно что кирпич: обжигаясь, он становится твердым.

Энн. Холодная вода тоже полезна. Для здоровья, например.

Тэннер *(в отчаянии)*. О, вы остроумны. В решительный момент Сила Жизни наделяет вас всеми достоинствами. Что ж, и я ведь могу лицемерить. Ваш отец назначил меня вашим опекуном, а не женихом. Я буду верен его воле.

Энн *(сладким голосом сирены)*. Когда он писал это завещание, он спросил у меня, кого я хочу в опекуны. Я выбрала вас.

Тэннер. Так, значит, это завещание — ваша воля, а не его! Западня была поставлена с самого начала!

Энн *(собирая все свои чары)*. С самого начала... с детства... для нас обоих... Силой Жизни.

Тэннер. Я на вас не женюсь. Я на вас не женюсь.

Энн. Женитесь, женитесь.

Тэннер. Я вам говорю — нет, нет и нет.

Энн. А я вам говорю — да, да и да.

Тэннер. Нет!

Энн *(вкрадчиво, умоляюще, почти обессилев)*. Да. Еще не поздно раскаяться. Да!

Тэннер *(пораженный неожиданно прозвучавшим отголоском прошлого)*. Это все уже было со мной однажды... Что это, сон?

Энн *(теряя вдруг всю свою смелость, в волнении, которое она не пытается скрыть)*. Нет. Это явь. И вы сказали — нет. Вот и все.

Тэннер *(грубо)*. Ну и что же?

Энн. Ничего. Я ошиблась: вы меня не любите.

Тэннер *(схватив ее в объятия)*. Неправда! Я люблю вас. Сила Жизни овладела мной. Весь мир здесь, в моих объятиях, когда я обнимаю вас. Но я борюсь за свою свободу, за свою честь, за свое «я», единое и нераздельное.

Энн. Счастье дороже всего этого.

Тэннер. Вы отдали бы свое «я», и честь и свободу за счастье?

Энн. Меня ждет не только счастье. Может быть, даже смерть.

Тэннер *(со стоном)*. О, как томит и жжет это объятие! Что это так сжалось во мне? Разве существует и отцовское сердце, не только материнское?

Энн. Берегитесь, Джек. Если нас застанут в такой позе, вам придется жениться на мне.

Тэннер. Если б мы стояли так на краю пропасти, я обнял бы вас еще крепче и прыгнул.

Энн *(задыхаясь, изнемогая все больше и больше)*. Джек, пустите меня. Я слишком далеко зашла — это тянется дольше, чем я думала. Пустите, я больше не могу.

Тэннер. И я тоже. Пусть это убьет нас.

Энн. Пусть. Мне все равно. У меня нет уже сил. Мне все равно. Я, кажется, сейчас упаду в обморок.

В эту минуту из виллы выходят Вайолет и Октавиус вместе с миссис Уайтфилд, укутанной для автомобильной поездки. Одновременно в боковую калитку входят Мэлоун и Рэмсден, а за ними Стрэйкер и Мендоса.

Тэннер сконфуженно выпускает Энн, которая закрывает глаза и подносит руку ко лбу.

Мэлоун. Осторожно! Молодой леди, видно, нехорошо.

Рэмсден. Что это значит?

Вайолет *(подбегая к Энн)*. Ты больна?

Энн *(шатаясь, с невероятным усилием)*. Я обещала Джеку стать его женой. *(Падает без чувств.)*

Вайолет становится на колени и растирает ей руки. Тэннер, бросившийся к ней с другой стороны, пытается приподнять ее голову. Октавиус хочет помочь Вайолет, но не знает как. Миссис Уайтфилд убегает обратно в дом. Октавиус, Мэлоун и Рэмсден растерянно столпились вокруг Энн. Стрэйкер и Мендоса с полным спокойствием и невозмутимостью подходят и становятся один в ногах, другой в головах Энн.

Стрэйкер. А ну-ка, леди и джентльмены, посторонитесь! Нечего толпиться вокруг нее; ей нужен воздух — побольше воздуха. Позвольте, мистер...

Мэлоун и Рэмсден дают оттеснить себя к ступеням, ведущим в цветник; к ним присоединяется Октавиус, убедившийся в своей бесполезности. Стрэйкер, прежде чем последовать за ними, останавливается, чтобы дать Тэннеру последние наставления.

Не поднимайте ей голову, мистер Тэннер; голова должна быть ниже ног, тогда кровь опять прильет к ней.

Мендоса. Он прав, Тэннер. Положитесь на целительный воздух Сьерры. *(Деликатно отходит в сторонку.)*

Тэннер *(выпрямляется)*. Генри, я отдаю должное вашим познаниям в физиологии. *(Отходит на край лужайки.)*

Октавиус тотчас же подбегает к нему.

Октавиус *(тихо Тэннеру, схватив его за руку)*. Желаю счастья, Джек.

Тэннер *(тихо Октавиусу)*. Я не делал ей предложения. Это очередная ловушка. *(Идет к цветнику.)*

Октавиус стоит ошеломленный.

Мендоса *(перехватывает миссис Уайтфилд, которая идет из дома со стаканом бренди в руке)*. Что это, мэдэм? *(Берет у нее стакан.)*

Миссис Уайтфилд. Немного бренди.

Мендоса. Это ей только повредит. Разрешите. *(Одним духом проглатывает все содержимое стакана.)* Положитесь на воздух Сьерры, мэдэм.

Все мужчины на минуту забывают об Энн и недоуменно глядят на Мендосу.

Энн *(обхватив Вайолет за шею, на ухо ей)*. Вайолет! Когда я лишилась чувств, Джек что-нибудь сказал?

Вайолет. Нет.

Энн. А! *(С глубоким вздохом облегчения снова откидывается назад.)*

Миссис Уайтфилд. Ох, ей опять дурно!

Все готовы снова броситься к ней, но их удерживает предостерегающий жест Мендосы.

Энн *(не поднимая головы)*. Нет, нет. Мне хорошо.

Тэннер *(вдруг направляется к ней решительным шагом, вырывает ее руку у Вайолет и нащупывает пульс)*. Да ведь у вас пульс так и скачет. Ну-ка, вставайте. Что за глупости! Вставайте сейчас же! *(Поднимает ее на ноги.)*

Энн. Да, силы уже вернулись ко мне. Но, право, Джек, вы меня чуть не убили.

Мэлоун. Ничего, мисс Уайтфилд, буйные поклонники — самые искренние. От души поздравляю мистера Тэннера и надеюсь, что вы оба будете частыми гостями в аббатстве.

Энн. Благодарю вас. *(Подходит к Октавиусу.)* Рикки-Тикки-Тави! Поздравьте же меня. *(Тихо.)* Я хочу, чтобы вы последний раз из-за меня поплакали.

Октавиус *(твердо)*. Больше никаких слез. Я счастлив вашим счастьем. И, несмотря ни на что, по-прежнему верю в вас.

Рэмсден *(становясь между Тэннером и Мэлоуном)*. Вы счастливейший человек, Джон Тэннер. Я завидую вам.

Мендоса *(подвигаясь, чтобы стать между Тэннером и Вайолет)*. Сэр! Две трагедии возможны в человеческой жизни; одна — когда не исполняется заветное желание; другая — когда оно исполняется. Мой удел — первая, ваш — вторая.

Тэннер. Мистер Мендоса, у меня нет заветных желаний. Рэмсден, вам легко называть меня счастливейшим человеком: ведь вы только зритель, тогда как я — главное действующее лицо. Энн, перестаньте искушать Тави и идите сюда.

Энн *(повинуясь)*. Вы невозможны, Джек. *(Принимает подставленную ей руку.)*

Тэннер. Заявляю во всеуслышание, что я вовсе не счастлив. Энн кажется счастливой, но на самом деле она просто горда своим торжеством, успехом и победой. Это не есть счастье, это лишь цена, за которую сильные продают свое счастье. Своим решением мы оба только что отказа-

лись от счастья, свободы, покоя; больше того — отказались от романтических возможностей неведомого будущего ради семейных и домашних забот. Прошу, чтобы никто из вас не усмотрел в этом случая напиться и произносить дурацкие речи или отпускать непристойные шутки на мой счет. Свой дом мы намерены обставить по собственному вкусу; и я довожу до всеобщего сведения, что все семь или восемь дорожных будильников, четыре или пять несессеров, салатницы, соусники, лопаточки для рыбы, экземпляры «Ангела домашнего очага» Патмора в сафьяновом переплете и прочие предметы, которыми вы собираетесь нас завалить, будут немедленно проданы, а вырученные деньги использованы для бесплатного распространения «Карманного справочника революционера». Бракосочетание через три дня после нашего возвращения в Англию; в окружной магистратуре, свидетели — мой поверенный и его секретарь, форма одежды обыкновенная...

Вайолет *(с глубоким убеждением)*. Джек, вы дикарь.

Энн *(любовно, с горделивым взглядом, поглаживая его руку)*. Ничего, ничего, дорогой. Продолжайте говорить.

Тэннер. Говорить!

Общий смех.

ДРУГОЙ ОСТРОВ ДЖОНА БУЛЛЯ

1904

JOHN BULL'S OTHER ISLAND

Грэйт Джордж-стрит, Вестминстер — таков адрес Дойла и Бродбента, гражданских инженеров. В подъезде прибита дощечка, уведомляющая, что контора мистера Лоренса Дойла и мистера Томаса Бродбента помещается во втором этаже. Тут же их частная квартира, ибо компаньоны, будучи холостяками и закадычными друзьями, здесь же и живут; комната рядом с конторой, с надписью на двери: «Частная квартира», служит им одновременно и гостиной и кабинетом, в котором они принимают клиентов. Опишем вкратце внутренность этой комнаты — так, как она представилась бы воробью, вспорхнувшему на подоконник. Между этой дверью и левым углом комнаты вешалка и стол, состоящий из большой чертежной доски, положенной на козлы; на столе разбросаны планы, рулоны чертежной бумаги, измерительные приборы и другие чертежные принадлежности. В левой стене камин и несколько ближе к нашему воробью-наблюдателю дверь во внутренние комнаты. У правой стены этажерка для бумаг, на ней маленький шкафчик с посудой, а ближе к авансцене высокая конторка и табурет. Посредине комнаты большой двойной письменный стол и два кресла, по одному с каждой стороны, для обоих компаньонов. Всякая женщина, попав в эту комнату, непременно захотела бы навести в ней порядок: не мешало бы сменить обои, покрасить мебель, постелить новый ковер; вдобавок все в ней пропахло табаком. Но это результат холостяцкой неряшливости и равнодушия к обстановке, а не недостатка средств, ибо все вещи, купленные самими Дойлом и Бродбентом, отнюдь не из дешевых, и здесь есть все, что им может понадобиться. На стенах висят: большая карта Южной Америки, цветной плакат какой-то пароходной кампании, внушительный портрет Гладстона и несколько карикатур Фрэнсиса Каррузерса Гулда, на которых Бальфур изображен в виде кролика, а Чемберлен в виде лисицы.

Сейчас 1904 год, летний вечер, без двадцати минут пять; комната пуста. Но вот растворяется наружная дверь, входит л а к е й с большим чемоданом и портпледом и уносит их во внутренние комнаты. Это очень почтенный лакей, проживший на свете достаточно долго, чтобы не

проявлять чрезмерного усердия при исполнении своих обязанностей, и научившийся мириться с житейскими неприятностями и со своим слабым здоровьем. Багаж принадлежит Бродбенту, который вслед за лакеем входит в комнату. Он снимает пальто и вешает его на вешалку, затем подходит к письменному столу и просматривает оставленные для него письма. Бродбент — крепкий, полнокровный, энергичный мужчина в расцвете сил; иногда он бывает наивным и легковерным, иногда проницательным и себе на уме, иногда впадает в напыщенную важность, иногда веселится от души; в общем же это напористый и жизнерадостный человек, обычно привлекательный, а в те минуты, когда он особенно серьезен, непередаваемо комичный. Он разрывает конверты пальцем, просматривает письма и небрежно швыряет конверты на пол, одновременно переговариваясь с лакеем.

Бродбент. Ходсон!

Ходсон *(из спальни)*. Да, сэр.

Бродбент. Не распаковывайте чемоданы. Выньте только грязное белье и положите чистое.

Ходсон *(появляясь в дверях)*. Слушаюсь, сэр. *(Хочет уйти.)*

Бродбент. Да! Ходсон!

Ходсон останавливается.

Вы не знаете, куда я девал мой револьвер?

Ходсон. Револьвер, сэр? Знаю, сэр. Мистер Дойл употребляет его в качестве пресс-папье, когда чертит, сэр.

Бродбент. Ага. Уложите его в чемодан. И где-то валялась коробка с патронами. Отыщите и суньте ее туда же.

Ходсон. Слушаю, сэр.

Бродбент. Да, кстати. Соберите и свои вещи. На этот раз я вас беру с собой.

Ходсон *(нерешительно)*. Вы едете в какие-нибудь опасные места, сэр? Мне тоже взять револьвер?

Бродбент. Пожалуй, не помешает. Я еду в Ирландию.

Ходсон *(успокоенный)*. Ах, так, сэр.

Бродбент. Надеюсь, вы не трусите, Ходсон?

Ходсон. О нет, сэр. Я готов рискнуть, сэр.

Бродбент. Вы бывали когда-нибудь в Ирландии?

Ходсон. Нет, сэр. Но, как я слышал, там очень влажный климат, сэр. Я уложу ваше непромокаемое пальто, сэр.

Бродбент. Хорошо. Где мистер Дойл?

Ходсон. Он сказал, что придет в пять. Он ушел после завтрака.

Бродбент. Меня кто-нибудь спрашивал?

Ходсон. Сегодня два раза приходил какой-то... Хаффиган по имени.

Бродбент. Ах, как жаль! Почему он не подождал? Я ведь сказал ему — подождать, если меня не будет.

Ходсон. Я не знал, что вы его ждете, сэр. И подумал, что лучше не... гм... не приваживать его, сэр.

Бродбент. Да нет, Ходсон, он ничего. Просто он ирландец и не заботится о своей внешности.

Ходсон. Да, сэр, это заметно, что он ирландец.

Бродбент. Если он опять зайдет, проводите его сюда.

Ходсон. Он, наверно, и сейчас где-нибудь тут, возле дома. Я его видел, когда вы подъехали, сэр. Позвать его?

Бродбент. Позовите.

Ходсон. Слушаю, сэр. *(Направляется к двери.)*

Бродбент. Надо будет угостить его чаем. Приготовьте чай, Ходсон.

Ходсон *(останавливается)*. Навряд ли он станет пить чай, сэр.

Бродбент. Ну подайте что-нибудь другое. Что-нибудь по его вкусу.

Ходсон. Слушаю, сэр.

Звонит звонок.

Это он, сэр. Видел, наверно, как вы подъехали.

Бродбент. Очень хорошо. Просите его сюда.

Ходсон выходит и вскоре возвращается вместе с посетителем. Бродбент тем временем просматривает письма.

Ходсон. Мистер Хаффиган.

Хаффиган — малорослый, хилый человечек лет тридцати, рыжеволосый, с короткой шеей и маленькой головой, с красным носом и бегающими глазками. Он одет в потертый сюртук, похожий на пасторский; по внешности его можно принять за неудачливого школьного учителя, спившегося с кругу. Он спешит пожать руку Бродбенту с напускной развязностью и веселостью; манеры и говор у него как раз такие, с какими принято изображать ирландцев на сцене. Всем этим он, возможно, пытается подбодрить себя, ибо втайне его преследуют кошмары начинающейся белой горячки.

Хаффиган. Тим Хаффиган, сэр, к вашим услугам. С добрым утречком, мистер Бродбент. Добра — с утра, днем — удачи!

Бродбент *(в восторге от своего ирландского гостя)*. Добрый вечер, мистер Хаффиган.

Тим. Да неужто уж вечер? Скажи на милость! А по-моему, пока ты не пообедал, так все еще утро.

Бродбент. Вы еще не обедали, мистер Хаффиган?

Тим. Черта с два!

Бродбент. К сожалению, я слишком поздно вернулся из Брайтона и не могу вам предложить обед. Но...

Тим. Ни слова об этом, сэр, ни слова!.. Пообедаю завтра. К тому же я ирландец, сэр, — плохой едок, но зато не дурак выпить.

Бродбент. Я только что хотел распорядиться насчет чаю, когда вы пришли. Присаживайтесь, мистер Хаффиган.

Тим. Да-а, чай хороший напиток, если у кого нервы крепкие. Мне здоровье не позволяет.

Хаффиган садится возле письменного стола, спиной к этажерке. Бродбент садится напротив. Ходсон входит с пустыми руками, достает из шкафчика два стакана, сифон и графинчик, ставит их на письменный стол против Бродбента, уничтожающим взглядом окидывает Хаффигана, который не смеет взглянуть ему в лицо, и удаляется.

Бродбент. Виски с содовой, мистер Хаффиган?

Тим *(присмиревший)*. Это наша национальная слабость, мистер Бродбент. *(Благочестиво.)* Не то чтобы я сам этим грешил. Я-то видел, сколько от этого бывает горя.

Бродбент *(наливая виски)*. Скажите, когда довольно.

Тим. Не слишком крепко, сэр.

Бродбент останавливается и вопросительно смотрит на него.

Ну, скажем, половина на половину.

Бродбент, несколько изумленный этой просьбой, подливает еще виски и снова останавливается.

Еще капельку. Внизу-то ведь стакан пуже. Спасибо.

Бродбент *(смеясь)*. Да, вы, ирландцы, умеете пить, ничего не скажешь. *(Наливает немного виски в свой стакан.)* А вот как мы, жалкие англичане, представляем себе виски с содовой.

Тим. И правильно делаете. Пьянство — это проклятие моей несчастной родины. Мне-то приходится пить помаленьку, потому у меня сердце слабое и желудок плохо варит, но по убеждениям я абсолютный трезвенник.

Бродбент *(внезапно становясь торжественным и патетичным)*. Я также, разумеется. Я трезвенник до мозга костей. Вы не представляете себе, мистер Хаффиган, какие бедствия порождает в нашей стране зловредный союз трактирщиков, епископов, консерваторов и газеты «Таймс». Мы во что бы то ни стало должны закрыть питейные заведения. *(Пьет.)*

Тим. Очень даже представляю. Страшное дело, что такое. *(Пьет.)* Я вижу, что вы добрый либерал, сэр, точь-в-точь как я.

Бродбент. Я поклонник свободы, мистер Хаффиган, как всякий истинный англичанин. Меня зовут Бродбент. Если бы меня звали Брейтстайн и у меня был нос крючком и особняк на Парк-лейн, я бы носил платок национальных цветов, дул в грошовую оловянную трубу и облагал налогом хлеб и мясо, которыми питается английский народ, в пользу Лиги флота, и призывал бы к уничтожению последних остатков национальной свободы, и...

Тим. Ни слова больше. Вашу руку.

Бродбент. Но я хотел объяснить...

Тим. Да я все наперед знаю, что вы скажете, сэр, каждое ваше словечко. Так, стало быть, думаете в Ирландию съездить?

Бродбент. Куда же мне еще ехать? Я англичанин и либерал; и теперь, когда Южная Африка порабощена и повержена в прах, какой стране мне подарить свое сочувствие, если не Ирландии? Заметьте, я не говорю, что у англичанина нет других обязанностей. У него есть обязанности по отношению к Финляндии и обязанности по отношению к Македонии. Но какой же здравомыслящий человек станет отрицать, что первая обязанность англичанина — это его обязанность по отношению к Ирландии? У нас, к стыду нашему, есть политические деятели еще более беспринципные, чем Бобриков, еще более кровожадные, чем Абдул Проклятый, — и под их пятой корчится сейчас Ирландия.

Тим. Ну, с беднягой-то Бобриковым уже разделались.

Бродбент. Не подумайте, что я оправдываю убийство, боже меня сохрани! Я понимаю, конечно, что несчастный молодой патриот, отомстивший русскому тирану за обиды Финляндии, был со своей точки зрения совершенно прав. Но все же цивилизованный человек не может относиться к убийству иначе, как с омерзением. Даже в защиту Свободной Торговли я не поднял бы руку на своего политического противника, хотя бы он сто раз это заслужил!

Тим. Ну, вы-то, конечно, не подняли бы — честь вам и хвала за это! Да-а. Так вы, стало быть, из сочувствия в Ирландию едете?

Бродбент. Я еду, чтобы наладить эксплуатацию поместья, приобретенного земельным синдикатом, в котором я тоже состою акционером. Я убежден, что для того, чтобы сделать это поместье доходным, нужно только правильно его эксплуатировать, именно так, как это делается в Англии. Вы знаете, в чем состоит английский план, мистер Хаффиган?

Тим. Знаю, как не знать. Выжать все, что можно, из Ирландии и истратить это в Англии.

Бродбент *(не совсем довольный этим объяснением)*. Мой план, сэр, — это выжать немного денег из Англии и истратить их в Ирландии.

Тим. Дай вам бог здоровья, сэр! Силы вам да мóчи! И чтоб тень ваша не становилась короче. Золотое у вас сердце, сэр. А чем я вам могу служить? Я весь ваш, до последней капли крови.

Бродбент. Слыхали вы о городах-садах?

Тим *(с сомнением)*. Это в раю, что ли?

Бродбент. В раю! Нет, это возле Хитчина. Если у вас есть полчаса свободных, я вам все объясню.

Тим. Знаете что? Дайте мне проспект. Я возьму с собой и вникну на досуге.

Бродбент. Вы совершенно правы; сейчас я вам достану. *(Дает Тиму книгу Эбенезера Говарда и несколько брошюр.)* Конечно, план города — радиальное расположение улиц — это только один из возможных вариантов.

Тим. Буду помнить, сэр. *(Тупо смотрит на карту.)*

Бродбент. Так вот, я вас спрашиваю: почему бы не устроить город-сад в Ирландии?

Тим *(с энтузиазмом)*. То самое, что я хотел сказать, прямо на языке вертелось. Почему бы и нет? *(Вызывающе.)* Ну скажите-ка, почему?

Бродбент. Будут трудности. Я их преодолею. Но трудности будут. Когда я впервые появлюсь в Ирландии, меня возненавидят за то, что я англичанин. За то, что я протестант, меня станут обличать со всех амвонов. Может быть, даже моя жизнь будет в опасности. Ну что ж, к этому я готов.

Тим. Не бойтесь, сэр. Мы умеем уважать храброго врага.

Бродбент. Чего я боюсь — это что меня неправильно поймут. Мне кажется, тут вы мне поможете. Когда я услышал,

как вы говорили тогда, в Бермондсейе, на митинге Национальной лиги, я сразу понял, что вы... Вы разрешите мне быть откровенным?

Тим. Не щадите меня, сэр, укажите мне мои недостатки, как мужчина мужчине... Одного только я не терплю — это лести.

Бродбент. Позвольте мне сказать так: я сразу увидел, что вы настоящий ирландец, со всеми недостатками и достоинствами вашей расы: опрометчивый, недальновидный, но храбрый и с добрым сердцем; навряд ли хороший делец, но человек, одаренный красноречием и юмором, поклонник свободы и истинный последователь нашего великого англичанина Гладстона.

Тим. Не конфузьте меня, сэр. Совестно сидеть да слушать, как тебя в лицо хвалят. Но насчет доброго сердца — это вот верно, это я признаю; такая уж у нас слабость, у ирландцев. Последний шиллинг разделю с другом.

Бродбент. Не сомневаюсь в этом, мистер Хаффиган.

Тим *(с внезапным порывом)*. А, черт! Зовите меня Тимом. Кто так говорит об Ирландии, тот может меня как угодно называть. Дайте-ка сюда бутылочку. *(Наливает в свой стакан.)*

Бродбент *(снисходительно улыбаясь)*. Ну, Тим, поедете со мной в Ирландию, поможете растопить лед между мной и вашими славными простодушными соотечественниками?

Тим. С вами, сэр? Да хоть на Мадагаскар, хоть в Кохинхину. На Северный полюс — и то с вами поеду, только уж, конечно, дорожные расходы на ваш счет, а то у меня ни шиллинга, билет третьего класса купить не на что.

Бродбент. Я это предусмотрел, Тим. Этот маленький вопрос мы разрешим по-деловому, по-английски, а в остальном будьте ирландцем сколько вам угодно. Вы поедете в качестве моего... вот уж не знаю, как это назвать. Если назвать вас моим агентом, вас застрелят. Если назвать вас моим управляющим, вас утопят в пруду. Секретарь у меня уже есть, и...

Тим. Ну, так пускай он будет секретарь по внутренним делам, а я буду секретарь по делам Ирландии. А?

Бродбент *(старательно смеется)*. Великолепно. Ваше ирландское остроумие разрешило первую трудность. Теперь что касается жалованья...

Тим. Жалованья? Да я бы и даром для вас все на свете сделал; только одёжа у меня такая, что вам стыдно будет

со мной показаться; и пришлось бы мне брать взаймы у ваших знакомых, а это против моих правил. Но больше чем сто фунтов в год я ни за что не возьму, хоть режьте. *(Бросает на Бродбента беспокойный и хитрый взгляд, стараясь определить, не хватил ли он через край.)*

Бродбент. Если это вас удовлетворит...

Тим *(совершенно успокоенный)*. Почему же не удовлетворит? Сто в год – ведь это двенадцать в месяц?

Бродбент. Нет. Восемь фунтов шесть шиллингов и восемь пенсов.

Тим. Ах, дьявольщина! А я должен пять фунтов посылать моей старушке матери в Ирландию. Но все равно; я сказал сто – сто и будет, пусть хоть с голоду подохну!

Бродбент *(с осторожностью делового человека)*. Скажем, двенадцать фунтов за первый месяц. А дальше посмотрим.

Тим. Вы настоящий джентльмен, сэр. Когда моя матушка протянет ноги, вы мне сбавите пять фунтов, потому ваши денежки нечего зря транжирить и...

Приход компаньона Бродбента прерывает его речь. Мистеру Лоренсу Дойлу тридцать шесть лет, у него холодные серые глаза, нос с горбинкой, тонкие, нервные губы, критически сдвинутые брови — умное лицо, которое в общем можно назвать утонченным и красивым; но в нем ощущается повышенная чувствительность и ироничность, резко контрастирующая с полнокровным благодушием Бродбента.

Он входит уверенно, как к себе домой, но при виде чужого человека тотчас сжимается и готов уйти; Бродбент окликает его. Тогда он подходит ближе и останавливается между собеседниками.

Дойл *(отступая к двери)*. Вы заняты?

Бродбент. Нет, нет, нисколько. Заходите. *(Тиму.)* Этот джентльмен – мой друг и живет тут вместе со мной. Мой компаньон, мистер Дойл. *(Дойлу.)* А это мой новый ирландский друг, мистер Тим Хаффиган.

Тим *(встает ему навстречу; с жаром)*. Горжусь, горжусь честью познакомиться с другом мистера Бродбента. Доброе утречко, сэр! Добра – с утра, днем – удачи! Сердце радуется глядеть на вас обоих. Не часто встретишь два таких образчика англо-саксонской расы.

Бродбент *(посмеиваясь)*. На этот раз промахнулись, Тим. Мистер Дойл – ваш соотечественник.

Тим заметно смущен этим известием. Он тотчас умол-

кает, словно бы уходит в свою скорлупу, как улитка в раковину, и подозрительно косится на Дойла; личина разбитного парня сползает с него,— видно, что Дойл внушает ему панический страх.

Дойл *(с холодным отвращением)*. Добрый вечер. *(Отходит к камину и обращается к Бродбенту, своим тоном бесцеремонно показывая Хаффигану, что его присутствие нежелательно.)* Вы скоро освободитесь?

Тим *(его ирландский акцент исчезает словно по волшебству; теперь он говорит, как любой англичанин из низов, старающийся выражаться по-образованному; и почему-то в его речи явственно слышится глазговское произношение)*. Ну, мне пора. У меня свидание — важное свидание в Вест-Энде.

Бродбент *(встает)*. Так, значит, решено, вы едете со мной.

Тим. Буду счастлив вас сопровождать, сэр.

Бродбент. Но когда? Вы можете выехать сегодня с Паддингтонского вокзала? Мы поедем через Милфорд Хэвен.

Тим *(колеблясь)*. Я... ммм... боюсь, я...

Дойл внезапно поворачивается и уходит в спальню, с треском захлопывая за собой дверь, что окончательно деморализует Тима. Бедняга готов удариться в слезы и спасается от этого только тем, что снова прибегает к своей роли бесшабашного ирландца. Он кидается к Бродбенту, дрожащими пальцами хватает его за рукав и излагает свою просьбу, изо всех сил подделываясь под ирландский говор, но все это вполголоса — из страха, что Дойл услышит и вернется.

Мистер Бродбент! Не срамите меня перед земляком. Слушайте, видите, какая у меня одёжа — срам да и только. Одолжите мне четыре фунта, я вам в четверг отдам, как только домой приеду, либо вычтите у меня из жалованья. Я вас на вокзале буду ждать, у поезда; приедете, а я уж тут как тут, без обмана. Давайте скорее, пока он не вернулся. Вы не сердитесь, что я спросил?

Бродбент. Нисколько. Я сам хотел предложить вам аванс на дорожные расходы. *(Дает Тиму банкнот.)*

Тим *(прячет его в карман)*. Благодарю. За полчаса до отхода буду на месте.

Слышно, как Ларри открывает дверь из спальни.

Тсс! Это он! Прощайте, сэр, дай вам бог здоровья. *(Спешит вон из комнаты почти в слезах; пять фунтов*

и вся выпивка, которую они сулят, — это слишком большое потрясение для его развинченных нервов, да еще на пустой желудок.)

Дойл *(входит)*. Где вы подобрали этого оборванца? Что он тут делал? *(Подходит к столу, на котором лежат планы, и делает отметку на одном из них, сверяясь со своей записной книжкой.)*

Бродбент. Ну вот, так я и знал! Стоит вам встретить ирландца, и вы его прямо съесть готовы, особенно если он плохо одет, бедняга! Ведь может зайти к вам земляк и пожелать вам добра с утра, — что в этом плохого, даже если у него потрепанные брюки?

Дойл *(презрительно)*. Добра с утра! А он вам сказал, что у вас золотое сердце?

Бродбент *(с торжеством)*. Да.

Дойл. И пожелал вам силы да мочи?

Бродбент. Именно.

Дойл. И чтоб ваша тень не становилась короче?

Бродбент. Разумеется.

Дойл *(берет пустую бутылку из-под виски и качает головой)*. И выхлестал у вас полпинты виски.

Бродбент. Ему это не повредило. Он и глазом не моргнул.

Дойл. Сколько он у вас выпросил взаймы?

Бродбент. Это, собственно, не взаймы. Он проявил самые возвышенные чувства во всем, что касается денег. Я уверен, что он разделил бы последний шиллинг со своим другом.

Дойл. Без сомнения, он разделил бы последний шиллинг своего друга, если б тот по глупости ему позволил. Сколько он у вас выклянчил?

Бродбент. О, пустяки! Аванс в счет жалованья — на дорожные расходы.

Дойл. Жалованья! Господи помилуй, за что?

Бродбент. За то, что он будет моим секретарем по внутренним делам, как он очень остроумно пошутил.

Дойл. Не вижу, в чем тут шутка.

Бродбент. Конечно, так вы всякую шутку можете испортить, если не захотите ее понять. А я очень хорошо понял, когда он это сказал. Что-то такое... право, что-то очень забавное — насчет секретаря по внутренним делам и секретаря по делам Ирландии. Во всяком случае, это как раз такой человек, какой мне нужен, — я возьму его с собой в Ирландию, он поможет мне там поближе сойтись с людьми. Он сумеет завоевать их доверие и расположить

их в мою пользу. А? *(Садится и откидывается назад, прислонясь спиной к конторке и балансируя на двух ножках стула.)*

Дойл. Хорошенькая рекомендация, нечего сказать! Или вы считаете, что все население Ирландии состоит из пьянчужек, которые только тем и заняты, что пишут просительные письма? А хотя бы и так, вы думаете, для них будет иметь вес рекомендация такого же пройдохи, как они сами?

Бродбент. Фу, какой вздор! Просто он ирландец. Кроме того, вы ведь не думаете, Ларри, что Хаффиган может поймать меня на удочку?

Дойл. Нет, для этого он слишком ленив. Да и незачем — довольно сидеть и сосать вашу водку, пока вы сами лезете на крючок. Впрочем, не стоит нам спорить из-за Хаффигана. Не стоит по двум причинам: во-первых, с вашими деньгами в кармане он никогда не доберется до Паддингтона — слишком много трактиров по дороге; во-вторых, он вовсе не ирландец.

Бродбент. Как не ирландец?! *(Он до такой степени изумлен этим заявлением, что выпрямляется, и стул всеми четырьмя ножками становится на пол.)*

Дойл. Родился в Глазго. Никогда в жизни не был в Ирландии. Я его отлично знаю.

Бродбент. Но он разговаривал, он вел себя совсем как ирландец!

Дойл. Как ирландец! Да неужели вы не знаете, что все эти добра с утра и силы да мочи — это такая же английская продукция, как и концерты ирландской музыки в Альбертхолле? В Ирландии ни один ирландец так не говорит — никогда не говорил и не будет говорить. Но когда какой-нибудь совершенно никчемный ирландец приезжает в Англию и видит, что тут полным-полно наивных дурачков вроде вас, которые позволяют ему лодырничать, и пьянствовать, и хвастать, и попрошайничать, лишь бы он льстил их чувству морального превосходства, корча из себя шута и унижая себя и свою родину, — тогда он очень быстро выучивает все эти штучки, на которые вы так попадаетесь. Он подхватывает их в театре или мюзик-холле. А кое-чему Хаффиган научился от своего отца, — старик был родом из наших мест. Я знал обоих его дядей — Матта и Энди Хаффиганов из Роскулена.

Бродбент *(все еще недоверчиво)*. Но его говор!

Дойл. Говор! Много вы понимаете в ирландском говоре!

Вы и дублинский акцент — такой, что в нос бьет, — считаете ирландским говором. Господи! Да вы уроженца Коннемары от уроженца Ратмайнза не отличите. *(С внезапным раздражением.)* Ах, к черту этого Хаффигана. Довольно. Не стоит он, чтобы мы из-за него ссорились.

Бродбент. Что с вами сегодня, Ларри? Отчего вы так раздражены?

Дойл смотрит на него в смущении, медленно подходит к письменному столу и, раньше чем ответить, усаживается с той стороны, которая ближе к камину.

Дойл. Ваше письмо меня расстроило, вот в чем дело.

Бродбент. Почему?

Дойл. Признаться, меня огорчило ваше решение подать ко взысканию роскуленскую закладную и выгнать старика Ника Лестренджа из его дома. Я любил старого негодяя, еще когда был мальчишкой и он позволял мне играть и бегать у него в парке. Я вырос в его поместье.

Бродбент. Но ведь он не платил процентов. Я должен был подать ко взысканию в интересах синдиката. И вот теперь еду в Ирландию, хочу сам заняться этим поместьем. *(Садится к письменному столу против Ларри и прибавляет развязно, но бросив неуверенный взгляд на своего компаньона.)* Вы, конечно, едете со мной?

Дойл *(нервно подымаясь и возобновляя беспокойную ходьбу по комнате)*. Вот именно. Вот этого я и боялся. Вот это меня и расстроило.

Бродбент. Но разве вам не хочется побывать на родине после восемнадцатилетнего отсутствия? Повидать родных? Посетить дом, где вы родились?..

Дойл *(нетерпеливо перебивает его)*. Да, да, да! Я все это и сам знаю не хуже вас.

Бродбент. О, если так... *(Пожимает плечами.)* Тогда простите.

Дойл. Не обижайтесь на мою резкость — она не к вам относится, пора бы уже вам это знать. *(Снова садится, немного пристыженный; несколько секунд сидит в горькой задумчивости, потом вдруг страстно.)* Я не хочу ехать в Ирландию. У меня отвращение к этой поездке. Я бы куда угодно с вами поехал, хоть на Южный полюс, только не в Роскулен.

Бродбент. Как! Вы принадлежите к народу, который славится своим горячим патриотизмом, которому присуще такое неискоренимое чувство родины, и вы говорите,

что поедете куда угодно, только не в Ирландию! Не воображайте, что я вам поверю. В глубине сердца...

Дойл. Оставьте мое сердце в покое; сердце ирландца — это его воображение — и только. Из тех миллионов, что покинули Ирландию, многие ли вернулись назад или хотя бы стремились вернуться? Но что толку с вами говорить! Для вас три строчки слащавого стишка об ирландском эмигранте, как он «сидит, тоскуя, у плетня, о Мэри, Мэри», или три часа ирландского патриотизма в Бермондсейе убедительней, чем все факты, которые лезут вам в глаза. Да посмотрите вы на меня! Вы знаете, как я всегда брюзжу, и придираюсь, и все браню, и всех критикую, и никогда ничем не доволен, и испытываю терпенье моих лучших друзей.

Бродбент. Ну что вы, Ларри, не будьте к себе несправедливы. Вы умеете быть очень милым и любезным с чужими.

Дойл. Да, с чужими. Будь я немного пожестче с чужими и поласковей со своими, как это делают англичане, я, пожалуй, был бы для вас более приятным компаньоном.

Бродбент. Мы и так неплохо ладим. Конечно, вам свойственна меланхоличность кельтской расы...

Дойл *(вскакивая с места)*. О ч-черт!!!

Бродбент *(лукаво)*. ...а также привычка употреблять сильные выражения, когда для этого нет никакой причины.

Дойл. Никакой причины! Когда люди начинают говорить о кельтской расе, я готов весь Лондон сжечь дотла. Эта бессмыслица причинила нам больше вреда, чем десять биллей об отмене конституционных гарантий. Вы думаете, необходимо быть кельтом, чтобы испытывать меланхолию в Роскулене? Бросьте! Основное население в Ирландии было то же самое, что и в Англии, и смешивалось оно с теми же самыми завоевателями.

Бродбент. Отчасти вы правы. Все способные люди в Ирландии — англичане по происхождению. Меня часто поражал тот замечательный факт, что единственная партия в парламенте, которая обнаруживает старинный, истинно английский дух и характер, — это ирландская партия. Ее независимость, ее непоколебимость, ее протест против дурных правительств, ее сочувствие угнетенным народам всего мира! Как это по-английски!

Дойл. Не говоря уже о торжественности, с которой они декламируют всякую старомодную чепуху, сами прекрасно

понимая, что она отстала на целое столетие. Это вот по-английски, если хотите.

Бродбент. Нет, Ларри, нет. Вы говорите о современных гибридах, которые сейчас монополизировали Англию. Лицемеры, очковтиратели, немцы, евреи, янки, иностранцы, хозяева особняков на Парк-лейн, космополитическая накипь. Не зовите их англичанами. Их породил не наш добрый старый остров, а эта проклятая новая империя, и — честное слово! — они ее достойны; пусть в ней и живут. На здоровье!

Дойл *(на которого эта тирада не произвела никакого впечатления)*. Ну? Теперь вам легче стало?

Бродбент *(вызывающе)*. Да, легче. Гораздо легче.

Дойл. Милый мой Том, поживете немного в ирландском климате, и вы станете таким же дураком, как и я. Если всю мою ирландскую кровь перелить в ваши жилы, это ни на йоту не изменит ни вашего телосложения, ни вашего характера. Но женитесь вы хоть на самой англичанистой англичанке, а потом вырастите вашего сына в Роскулене, и характер вашего сына будет так похож на мой и так не похож на ваш, что все заподозрят меня в том, что я его отец. *(С внезапной тоской.)* Роскулен! О господи боже мой, Роскулен! Тупоумие! Безнадежность! Невежество! Ханжество!

Бродбент *(трезво)*. В деревне везде так, Ларри. И у нас то же самое.

Дойл *(торопливо)*. Нет, нет! Здесь другой климат. Здесь если жизнь тупа, вы тоже тупеете — и все в порядке. *(Говорит страстно и словно во сне.)* Но как чувствам притупиться в этом мягком, влажном воздухе, на этих белых, упругих под ногой дорогах, у этих темных трясин и седых от тумана камышей, на каменистых склонах, розовых от вереска! Нигде нет таких красок в небе, таких манящих далей, такой печали по вечерам. И грезы, грезы! Сжигающие сердце, мучительные, ничем не утолимые грезы, грезы! *(Яростно.)* Самый грубый, скотский разврат, какому предается англичанин, не может сделать его таким ничтожеством, как нас эти грезы. Воображение ирландца никогда не оставляет его в покое, никогда не рождает в нем решимости, никогда его не утоляет, но убивает в нем всякую способность смотреть в лицо действительности, приладиться к ней, подчинить ее, завоевать; он может только издеваться над теми, кто на это способен, и *(с горечью)* быть «любезным с чужими», как уличная

женщина. *(Глядя через стол на Бродбента, с горьким смехом.)* Только грезы, только воображение! Он не понимает религии. Вдохновенный проповедник, который учит, что жизнь священна и что надо поступать по совести, уходит от него с пустыми руками; а нищий деревенский поп, который пичкает его евангельскими чудесами и сказками о святых угодниках, строит соборы на лепту бедняков. Он не понимает трезвой политики; он бредит тем, что Шон Ван Вохт сказал в девяносто восьмом году. Если вы хотите, чтобы он задумался над судьбой Ирландии, изобразите ее в виде маленькой старушки и назовите ее Кэтлин ни Хулиэн. Он не способен мыслить. Он не способен и работать. Он ни к чему не способен — только грезить, грезить; а это такая мука, которую невозможно вынести без виски. *(С дрожью, с ожесточением, в припадке презрения к самому себе.)* Под конец всякая реальность становится совсем уже непереносимой; ты готов скорей голодать, лишь бы не стряпать обед; готов ходить в грязи и лохмотьях, лишь бы не мыться и не штопать платье; дома поедом ешь жену и колотишь ее за то, что она не ангел, а она презирает тебя за то, что ты не герой; и ненавидишь всех окружающих за то, что они такие же неряхи и бездельники, как и ты сам. *(Понизив голос, как человек, делающий постыдное признание.)* И все время смех, бессмысленный, ужасный, злобный смех. Пока ты молод, ты пьянствуешь вместе с другими молодыми парнями и сквернословишь вместе с ними; и так как сам ты беспомощен и не умеешь ни помочь им, ни подбодрить их, ты скалишь зубы, и язвишь, и издеваешься над ними — зачем они не делают того, чего ты сам не смеешь сделать. И все время — смех, смех, смех! Вечное издевательство и вечная зависть, вечное шутовство, вечная хула, и поругание, и осмеяние всего на свете; и, наконец, когда приезжаешь в страну, где люди каждый вопрос принимают всерьез и всерьез на него отвечают, тогда ты начинаешь смеяться над ними за то, что у них нет чувства юмора, и кичишься своим беспутством, как будто оно ставит тебя выше их.

Бродбент *(под влиянием красноречия Дойла настраивается на торжественный лад)*. Не отчаивайтесь, Ларри. У Ирландии большие возможности. Гомруль совершит чудеса под английским руководством.

Дойл *(останавливается с разгону, губы его против воли раздвигаются в улыбку)*. Том, почему вы мои самые тра-

гические минуты выбираете для самых неотразимых проявлений вашего юмора?

Бродбент. Юмора! Я был как нельзя более серьезен. Что вы хотите сказать? Вы думаете, что я не серьезен, когда говорю о гомруле?

Дойл. Я уверен, что вы серьезны, когда говорите об английском руководстве.

Бродбент *(совершенно успокоенный)*. Разумеется. Самое важное — это наше руководство. Мы, англичане, должны отдать все наше умение управлять на службу другим нациям, менее одаренным в этом отношении, пока они, постепенно развиваясь — в условиях полной свободы, — не дорастут до нашего уровня и не станут способны сами управлять собой. Вы меня понимаете?

Дойл. Понимаю. И Роскулен тоже вас поймет.

Бродбент *(весело)*. Конечно, поймет. Так что, видите, тут все в порядке. *(Подвигает свой стул к столу и усаживается поудобней, готовясь наставить Дойла на путь истинный.)* Вот что, Ларри. Я очень внимательно выслушал все, что вы говорили об Ирландии; и я не нахожу решительно никакой причины, почему бы вам не поехать со мной. К чему все сводится? Просто-напросто к тому, что, когда вы жили в Ирландии, вы были еще очень молоды. Все это зубоскальство, и пьянство, и неприкаянность вы найдете и в Пэкгеме, не только в Доннибруке. Вы смотрели на Ирландию глазами ребенка, поэтому и видели одно ребячество. Поедем со мной, вы увидите ее глазами взрослого мужчины и получите о ней более выгодное представление.

Дойл. В этом вы, может быть, отчасти и правы; во всяком случае, я знаю: будь я сыном простого крестьянина, а не земельного агента, я бы сейчас так не малодушествовал. К несчастью, если я поеду в Ирландию, это будет свидание не с ирландским народом, а с моим отцом, и с тетушкой Джуди, и с Норой Рейли, и с отцом Демпси, и с прочей компанией.

Бродбент. Ну так что ж? Они порадуются, когда увидят, что Англия сделала из вас настоящего человека.

Дойл *(пораженный этой мыслью)*. А! Вот тут вы попали прямо в точку, Том, с истинно британским вдохновением!

Бродбент. Вы хотите сказать — здравым смыслом?

Дойл *(поспешно)*. Нет! Здравого смысла у вас не больше, чем у гусака. Ни у одного англичанина нет ни капли здравого смысла, и не было, и не будет. Вы предприни-

маете эту сентиментальную поездку по совершенно нелепым мотивам; и голова у вас полна политической шелухи, на которую не подманишь даже осла средних умственных способностей. И при всем том вы умеете попасть мне не в бровь, а прямо в глаз этой простой истиной обо мне и о моем отце.

Бродбент *(изумленный)*. Я ни слова не сказал о вашем отце.

Дойл *(не слушая его возражений)*. Вот он сидит в Роскулене, земельный маклер, всю жизнь перебивавшийся с хлеба на воду, потому что он католик, а помещики по большей части протестанты. И сейчас, когда земельные суды снижают арендную плату и крупные владения благодаря новым земельным законам дробятся на мелкие участки, он остался бы и вовсе нищим, если бы из сборщика арендной платы не превратился в сборщика взносов по долгосрочным земельным ссудам. А потом уже и сам приобрел крохотный участок. За последние двадцать лет он вряд ли хоть раз выезжал из дому дальше, чем в Этенмюллет. И тут вот являюсь я, из которого, как вы сказали, Англия сделала настоящего человека.

Бродбент *(огорченный)*. Поверьте, я вовсе не хотел...

Дойл. О, не извиняйтесь; ведь это правда. Конечно, кое-чему я научился в Америке и еще в других захолустных и второстепенных странах; но главное я получил от вас; именно живя рядом с вами и работая с вами в одной упряжке, я научился жить в реальном мире, а не в воображаемом. Вам я обязан больше, чем всем ирландцам на свете.

Бродбент *(качая головой и хитро подмигивая)*. Очень любезно с вашей стороны, Ларри, дружище, но вы мне льстите. Приятно, когда тебе льстят, но это все-таки сплошной вздор.

Дойл. Нет, не вздор. Без вас из меня бы ничего не вышло, хоть я и не перестаю на вас дивиться, на эту вашу дубовую голову, в которой все мысли разложены по ящикам с водонепроницаемыми переборками, и ни в один нет доступа для мысли, которая вам почему-либо неудобна.

Бродбент *(не сдаваясь)*. Совершеннейший вздор, Ларри, уверяю вас.

Дойл. Вы согласитесь во всяком случае, что все мои друзья либо англичане, либо принадлежат к деловому миру — тому, где ворочают большими делами. Всю серьезную часть моей жизни я прожил в этой атмосфере; всю

серьезную часть моей работы я делал с этими людьми. А теперь представьте себе, что я — вот такой, как я есть, — возвращаюсь в Роскулен, в этот ад мелочей и однообразия! Что мне делать с мелким земельным агентом, который выколачивает свои пять процентов прибыли из крохотного клочка земли и крохотного домишка в ближнем провинциальном городке? О чем я буду с ним говорить? О чем он будет говорить со мной?

Бродбент *(скандализован)*. Но ведь это ваш отец! Вы его сын!

Дойл. Ну и что из этого? Что бы вы сказали, если бы я предложил вам навестить вашего отца?

Бродбент *(с сыновним почтением)*. Я никогда не забывал свой сыновний долг и регулярно навещал отца, пока он не повредился в уме.

Дойл *(соболезнующе)*. Он сошел с ума? Вы мне не говорили.

Бродбент. Он вступил в Лигу протекционистов. Он бы никогда этого не сделал, если бы разум его не помутился. *(Начиная декламировать.)* Он пал жертвой политических шарлатанов, которые...

Дойл *(перебивая)*. Иначе говоря, вы не видитесь с отцом потому, что у него другие взгляды, чем у вас, на свободную торговлю, а ссориться с ним вы не хотите. Ну а я и мой отец? Он националист и сторонник отделения Ирландии. Я химик-металлург, ставший гражданским инженером. Что бы ни думать о химии и металлургии, ясно одно: они не национальны. Они интернациональны. И наша с вами работа в качестве гражданских инженеров направлена к тому, чтобы соединять страны, а не разделять. Единственное политическое убеждение, которое можно почерпнуть из нашей работы, — это что государственные границы — досадная помеха, а национальные флаги — вредная чушь.

Бродбент *(все еще расстраиваясь по поводу еретических взглядов мистера Чемберлена в области экономики)*. Только при наличии покровительственных пошлин...

Дойл. Том, послушайте. Вам очень хочется произнести речь о свободной торговле; ну, так вы ее не произнесете: я вам не дам. Мой отец хочет превратить канал святого Георга в границу между Англией и Ирландией и поднять зеленый флаг на Колледж Грин, а я хочу сделать так, чтоб от Голуэя было три часа езды до Колчестера и двадцать четыре до Нью-Йорка. Я хочу, чтобы

Ирландия была мозгом и воображением великого государства, а не островом Робинзона Крузо. А религиозные разногласия! Мой католицизм – это католицизм Карла Великого и Данте, с большой долей фольклора и современных научных взглядов, которые патер Демпси назвал бы бредом атеиста. А католицизм моего отца – это католицизм патера Демпси.

Бродбент *(проницательно)*. Я не хотел вас прерывать, Ларри; но, право же, все это чистейший вздор. Такие разногласия бывают в каждой семье – и ничего, как-то ладят. *(Внезапно снова впадает в торжественность.)* Конечно, есть вопросы, которые затрагивают самые основы морали; и тут я согласен, что даже близкое родство не может служить оправданием слабости или компромисса. Например...

Дойл *(нетерпеливо вскакивает с места и начинает ходить по комнате)*. Например, гомруль, Южная Африка, свободная торговля. Ну, так по этим вопросам я, наверно, тоже буду не согласен с отцом, как и с вами не согласен.

Бродбент. Да, но вы ирландец, и они для вас не могут иметь такого значения, как для англичанина.

Дойл. Как, даже гомруль?!

Бродбент *(стойко)*. Да, даже гомруль. Идеей гомруля мы обязаны не ирландцам, а нашему англичанину Гладстону. Право же, я склонен думать, что за всем этим у вас еще что-то кроется.

Дойл *(запальчиво)*. Что еще у меня кроется? Что я, по-вашему, обманываю вас, что ли?

Бродбент. Не сердитесь, дружище. Я только подумал...

Дойл. Что вы подумали?

Бродбент. А вот несколько минут тому назад вы назвали имя, которого я до сих пор от вас никогда не слышал. Мисс Нора Рейли, если не ошибаюсь.

Дойл круто останавливается и смотрит на него почти со страхом.

Я не хочу быть нескромным, Ларри, это не в моих привычках, но скажите по совести, не в ней ли причина вашего нежелания ехать в Ирландию?

Дойл *(снова садится, побежденный)*. Томас Бродбент, я сдаюсь. Жалкий, суемудрый ирландец преклоняется перед избранником божьим – англичанином. Человек, который может без тени улыбки изрекать такие суждения, как вот

это ваше последнее — о гомруле и Гладстоне, очевидно, величайший идиот в мире. А человек, который может тут же отмести в сторону все мои оттоворки и проникнуть в самую суть моих побуждений, — совершенно очевидно, гений. Но чтобы идиот и гений совмещались в одном и том же лице! Как это возможно? *(Вскакивает.)* Ага, понимаю! Я напишу об этом статью и пошлю ее в журнал «Природа».

Бродбент *(смотрит на него во все глаза)*. Да вы о чем, собственно?

Дойл. Это очень просто. Вы знаете, что гусеница...

Бродбент. Гусеница!!!

Дойл. Да, да, гусеница. Слушайте внимательно, это новое и очень важное научное объяснение английского национального характера. Гусеница...

Бродбент. Слушайте, Ларри, не будьте идиотом!

Дойл *(настойчиво)*. Я сказал гусеница, и я именно это и хотел сказать.

Бродбент слабо пытается протестовать.

Сейчас вы поймете. Гусеница, если живет на дереве, инстинктивно старается стать похожей на лист, для того чтобы и ее враги и ее добыча подумали, что это обыкновенный листок, и больше уже не обращали на нее внимания.

Бродбент. Какая связь с английским национальным характером?

Дойл. Сейчас увидите. На свете дураков не меньше, чем на дереве листьев. Ну так вот, англичанин делает то же самое, что и гусеница. Он инстинктивно старается выглядеть дураком и беспрепятственно пожирает настоящих дураков, а враги его не трогают и еще смеются над ним за то, что он такой же дурак, как и все. О, природа хитра, хитра! *(Снова садится и погружается в созерцание вызванных им самим образов.)*

Бродбент *(с искренним восхищением)*. Вот видите, Ларри, а мне бы это никогда и в голову не пришло. У вас, ирландцев, прямо-таки блестящий ум. Конечно, все это страшный вздор, но какая остроумная мысль! Откуда вы только это берете! Вы непременно должны написать об этом статью; вам за нее заплатят. Если «Природа» не возьмет, я ее устрою в «Инженерный вестник», — я знаком с редактором.

Дойл. Вернемся к делу. Надо вам рассказать о Норе.

Бродбент. Нет, нет, это была бестактность с моей стороны. Я не должен был этого касаться.

Дойл. Я все-таки расскажу. У Норы есть состояние.

Бродбент *(с живым интересом)*. Вот как! И большое?

Дойл. Сорок в год.

Бродбент. Сорок тысяч?

Дойл. Нет. Просто сорок. Сорок фунтов.

Бродбент *(поражен)*. И это у вас в Роскулене называется состоянием?

Дойл. В Роскулене, если у девушки есть приданое в пять фунтов, она и это считает состоянием. А сорок фунтов в год – это и в самом деле состояние; и Нора пользуется большим уважением в обществе в качестве богатой наследницы. Эти сорок фунтов не раз помогали моему отцу сводить концы с концами, когда ему приходилось туго. Мой отец был земельным агентом у ее отца. Когда он умер, она приехала к нам погостить и с тех пор живет у нас.

Бродбент *(слушает внимательно; начиная подозревать, что Ларри соблазнил Нору, и решив вывести его на чистую воду)*. С каких пор? Сколько вам было лет, когда она приехала?

Дойл. Семнадцать. И ей было столько же. Будь она постарше и поумней, она не стала бы у нас жить. Мы провели вместе года полтора, пока я не уехал в Дублин учиться. Потом мы виделись, когда я приезжал домой на рождество и на пасху. Для нее это, должно быть, всякий раз было событие, хотя я тогда об этом, конечно, не думал.

Бродбент. Вы были сильно увлечены?

Дойл. По-настоящему – нет. У меня тогда было только две мысли в голове: первое – это чему-нибудь научиться; второе – удрать из Ирландии и как-нибудь применить свои знания на деле. Нора в счет не шла. Романтические чувства она во мне, пожалуй, вызывала, но такие же чувства вызывали во мне героини Байрона или старинная Круглая башня в Роскулене; и Нора значила не больше, чем они. Мне никогда не приходило в голову пересечь канал Святого Георга, чтобы повидаться с ней, или хотя бы высадиться в Куинстауне на обратном пути из Америки и вернуться в Лондон через Ирландию.

Бродбент. Вы ей не говорили ничего такого, что дало бы ей повод думать, что она должна вас ждать?

Дойл. Нет, никогда. Но она ждет меня.

Бродбент. Почему вы знаете?

Дойл. Она мне пишет письма в день своего рождения. Раньше она писала мне и в день моего рождения и посылала маленькие подарки. Но я это прекратил, уверил ее, что постоянно путешествую и посылки все равно пропадают в заграничных почтовых отделениях.

Бродбент. Вы отвечаете на ее письма?

Дойл. Не очень аккуратно. Но все-таки время от времени уведомляю, что получил их.

Бродбент. Что вы испытываете, когда видите ее почерк на конверте?

Дойл. Неловкость. Готов заплатить пятьдесят фунтов, только бы не получать этого письма.

Бродбент *(принимает строгий вид и откидывается на стуле, давая понять, что допрос окончен и заключение неблагоприятно для свидетеля)*. Гм!

Дойл. Что означает ваше «гм»?

Бродбент. Я знаю, конечно, что нравственный кодекс в Ирландии не таков, как в Англии. Но мы, англичане, считаем, что играть сердцем женщины в высшей степени непорядочно.

Дойл. Вы хотите сказать, что англичанин посватался бы к другой, а Норе вернул бы ее письма и подарки с объяснением, что он ее недостоин и желает ей всяческого счастья?

Бродбент. Даже это, может быть, лучше, чем неизвестность; бедная девушка наконец бы успокоилась.

Дойл. Успокоилась? Ну, не знаю. Одно только могу вам сказать: Нора скорей согласится ждать, пока не умрет от старости, чем когда-нибудь спросит о моих намерениях или хоть снизойдет до намека на то, что они ее интересуют. Вы не знаете, что такое ирландская гордость. Из меня ее повытрясли здесь, в Англии, но Нора никогда не была в Англии, и если бы мне предоставили на выбор — оскорбить в ней эту щепетильность или ударить ее по лицу, я бы ударил ее по лицу, ни секунды не задумываясь.

Бродбент *(сидит, поглаживая колено и предаваясь размышлениям, по-видимому приятным)*. Право, это все очень трогательно. В этом есть особое ирландское обаяние. А в вас, Ларри, знаете, что самое плохое? Вы совсем не чувствуете ирландского обаяния.

Дойл. Чувствую не хуже вас. Но это обаяние мечты. Живите

в мечтах — и на вас отпечатлеется их обаяние; живите среди фактов — и на вас отпечатлеется их грубость. Хотел бы я жить в такой стране, где факты не были бы грубы и мечты не были бы нереальны!

Бродбент *(меняя позу и на страстность Дойла отвечая тоном глубокой убежденности; локти его упираются в стол, кулаки крепко сжаты)*. Не отчаивайтесь, Ларри, дружище. Сейчас положение очень печальное, но после ближайших выборов, увидите, будет большая перемена.

Дойл *(вскакивает)*. Подите вы, идиот!

Бродбент *(тоже встает, нисколько не обиженный)*. Ха, ха! Смейтесь, смейтесь! Увидим, кто был прав. Но об этом сейчас не стоит спорить. Так вот что, Ларри: хотите, чтобы я вам дал совет относительно мисс Рейли?

Дойл *(краснея)*. Нет, не хочу. Провалитесь вы с вашими советами! *(Смягчаясь.)* Ну ладно, советуйте!

Бродбент. Видите ли, все, что вы мне о ней рассказали, производит самое благоприятное впечатление. Ее чувства сделали бы честь настоящей леди; и хотя не приходится закрывать глаза на тот факт, что в Англии при ее доходах она могла бы занять место только в самых низших слоях среднего класса...

Дойл. Послушайте, Том. Кстати, вы мне напомнили. Когда будете в Ирландии, не вздумайте распространяться насчет среднего класса и хвастать, что к нему принадлежите. В Ирландии или вы джентльмен, или вы ничто. Если вы захотите сказать Норе дерзость, назовите ее паписткой; но если вы скажете ей, что она принадлежит к среднему классу, — ну, лучше б вам не родиться!

Бродбент *(неукротимо)*. Не бойтесь. Я знаю, что вы все до одного происходите от древних королей. *(Снисходительно.)* Я не так уж бестактен, как вы думаете, дружище. *(Снова серьезным тоном.)* Я нисколько не сомневаюсь, что мисс Рейли — истинная леди; и я от всего сердца советую вам поехать со мной и взглянуть на нее еще разок, раньше чем принимать окончательное решение. Кстати, есть у вас ее карточка?

Дойл. Карточки прекратились после того, как ей исполнилось двадцать пять лет.

Бродбент *(сокрушенно)*. Ах да, понятно. *(С чувством, строго.)* Ларри, вы отвратительно поступили с бедной девушкой.

Дойл. Бог мой! Если б она только знала, что двое мужчин так о ней разговаривают!..

Бродбент. Ее бы это оскорбило? Конечно, конечно. Нам должно быть стыдно, Ларри. *(Все более и более увлекаясь новой мыслью.)* Знаете, у меня предчувствие, что в мисс Рейли я найду женщину необыкновенную.

Дойл *(бросает на него острый взгляд)*. Вот как! Предчувствие у вас?

Бродбент. Да. Есть что-то необычайно трогательное в истории этой прекрасной девушки.

Дойл. Прекрас... Ого! Да тут, пожалуй, есть выход для Норы! И для меня! *(Кричит.)* Ходсон!

Ходсон *(появляясь в дверях)*. Вы меня звали, сэр?

Дойл. Уложите мои вещи. Я еду в Ирландию вместе с мистером Бродбентом.

Ходсон. Слушаю, сэр. *(Удаляется в спальню.)*

Бродбент *(хлопает Дойла по плечу)*. Благодарю, дружище! Благодарю вас!

Роскулен. С западной стороны, частично заслоняя перспективу, поднимается каменистый склон, поросший вереском. На склоне огромный камень, расположенный так странно, как не могли его поместить никакие естественные силы; можно подумать, он заброшен на склон рукой великана. За склоном, в пустынной долине, виднеется Круглая башня. Безлюдная белая дорога тянется к западу мимо башни и теряется у подножия далеких гор. Вечер; в ирландском небе широкие полосы шелковисто-зеленого цвета. Садится солнце. Возле камня стоит человек; у него лицо юного святого, хотя волосы его белы и за плечами уже добрых пятьдесят лет жизни. Погруженный в меланхолическое созерцание, он смотрит на небо над холмами, словно надеется своим напряженным взглядом проникнуть сквозь закатное сияние и различить за ним улицы неба. Он одет в черное и по виду больше похож на духовное лицо, чем многие современные английские священники; однако он не носит пасторской одежды. Его пробуждает от задумчивости стрекотание какого-то насекомого, исходящее от кустика травы в расщелине большого камня. Лицо его проясняется; он осторожно поворачивается и, сняв шляпу, с важностью кланяется кустику и заговаривает с насекомым на местном наречии; чувствуется, однако, что это только шутливое подражание простонародному говору, а не обычный его способ выражения.

Человек. Ба, и ты тут, сударь мой кузнечик? Как живешь-можешь? Погодка больно хороша, а?

Кузнечик *(быстро и пронзительно)*. Дзз... Дзз...

Человек *(поощрительно)*. Верно, верно. И ты, стало быть, пришел сюда надрывать себе сердце, любуясь на закат?

Кузнечик *(горестно)*. Дзз... Дзз... Дзз...

Человек. Да, ты настоящий ирландский кузнечик.

Кузнечик *(громко)*. Дзз... Дзз... Дзз...

Человек. Трижды «ура» в честь старой Ирландии? И это помогает тебе выносить горе, и нищету, и муки?

Кузнечик *(жалобно)*. Дзз... Дзз...

Человек. Все это зря, дружочек. Умей ты прыгать, как кен-

гуру, от своего сердца все равно не упрыгнешь — от своего сердца и от своей тоски. Отсюда можно только глядеть на небо, а достать его нельзя. Смотри! *(Показывает палкой на закат.)* Ведь это врата небес, не правда ли?

Кузнечик *(утвердительно)*. Дзз... Дзз...

Человек. Да ты и впрямь мудрый кузнечик, раз и это знаешь! Но скажи-ка мне, мистер Мудрец не от мира сего, почему, когда мы видим небеса отверсты, ты и я, сердце в нас корчится от муки, как дьявол корчится при виде святой воды? В чем согрешил ты, что навлек на себя такое проклятье? Эй! Куда ты прыгнул? Что это за манера кувыркаться в воздухе во время исповеди? *(Грозит кузнечику палкой.)*

Кузнечик *(покаянно)*. Дзз...

Человек *(опуская палку)*. Ты раскаиваешься. Хорошо. Но больше этого не делай. А теперь скажи мне еще одно, прежде чем я отпущу тебя домой спать. Как, по-твоему, вот эта страна, где мы сейчас, что это такое — ад или чистилище?

Кузнечик. Дзз.

Человек. Ад! Ты прав, честное слово! Но какой грех совершили мы с тобой, когда были среди живых, что нас послали в ад?

Кузнечик *(пронзительно)*. Дзз... Дзз...

Человек *(кивая)*. Ты прав. Это щекотливый вопрос; и я не стану добиваться у тебя ответа. Ну, а теперь марш отсюда!

Кузнечик. Дзз... Дзз... *(Высоко прыгает и исчезает.)*

Человек *(махая палкой)*. Господь с тобой! *(Идет мимо камня к вершине холма.)*

Тотчас же из-за камня выбегает молодой крестьянский парень с искаженным от страха лицом.

Парень *(торопливо крестится несколько раз подряд)*. О господи помилуй! О господи помилуй! О матерь божия и все святые угодники! Ой, пропал! *(Вне себя от ужаса, кричит.)* Отец Киган! Отец Киган!

Человек *(оборачиваясь)*. Кто там? Что случилось? *(Возвращается.)*

Парень бросается перед ним на колени и обнимает его ноги.

Патси Фарел! Что ты тут делаешь?

Патси. Ой, ради бога, не бросайте меня тут одного с куз-

нечиком! Я слышал, как он с вами разговаривал! Ой, спасите, отец Киган, родненький!

К и г а н. Встань, глупый человек, встань! Неужели ты боишься крохотного насекомого? Ведь я же шутил, будто с ним разговариваю!

П а т с и. Ой, какие уж тут шутки, отец Киган, голубчик! Я своими ушами слышал, как он трижды кричал «ура», а потом сказал, что он дьявол прямо из ада! Ради бога, отец, проводите меня до дому; благословите меня, тогда он меня не тронет. *(Стонет от страха.)*

К и г а н. Что ты тут делал, Патси? Подслушивал? Шпионил за мной?

П а т с и. Ой, нет, отец Киган, и не думал, боже меня сохрани! Я мистера Ларри дожидался, пока он подъедет, чтоб вещи домой отнести. Да и заснул ненароком. А потом проснулся, слышу — вы с кузнечиком разговариваете. И его голосишко слышал, как он вам отвечал. Ох, что мне делать, ведь я теперь умру до нового года! Правда, отец Киган?

К и г а н. Стыдись, Патси! Неужели в этом твоя религия — дрожать перед безобидным кузнечиком! Да будь он и вправду сам сатана, чего тебе страшиться? Если б я мог его поймать, я бы наложил на тебя эпитимью — заставил тебя отнести его домой в твоей шапке!

П а т с и. Коли вы не велите ему меня трогать, тогда я не боюсь, ваше преподобие. *(Встает несколько успокоенный.)*

Патси — еще не оперившийся юнец с льняными волосами, голубыми глазами, детским лицом и первым пушком на подбородке; он уже вытянулся в полную свою мерку, но еще не успел раздаться в ширину; вид у него беспомощный и глуповатый, не свидетельствующий, однако, об истинном его характере, — ибо это не подлинное его лицо, а только маска, к которой он прибегает из хитрости: он находится в постоянном страхе перед враждебными силами и пытается обезоружить и обойти противника, притворяясь бóльшим дураком, чем есть на самом деле. Англичанин счел бы его слабоумным, и это именно и есть то, чем он хотел бы казаться. На нем холщовые штаны, расстегнутый жилет и грубая полосатая рубашка.

К и г а н *(укоризненно)*. Патси, сколько раз я тебя учил, чтобы ты не смел называть меня отцом и преподобием? А отец Демпси разве тебе этого не говорил?

П а т с и. Говорил, отец Киган.

Киган. Опять «отец»!

Патси *(в отчаянии)*. Ах ты господи! Ну как же мне вас звать? Отец Демпси говорит, что вы больше не священник. А ведь всякий знает, что вы не простой человек; попробуй, заговори с вами попросту,— а ну как бог накажет! Нет уж, кто был попом, тот навеки попом и останется.

Киган *(строго)*. Не пристало таким, как ты, Патси, оспаривать приказания своего приходского священника, и не тебе судить, права церковь или не права!

Патси. Ваша правда, сэр.

Киган. Пока церковь считала меня достойным, я носил священнический сан. А если у меня отобрали бумаги, так это для того, чтобы вы все знали, что я просто несчастный помешанный и мне нельзя вверять души других людей.

Патси. А это не потому, что вы лучше знаете латынь, чем отец Демпси, и он вам завидовал?

Киган *(удваивает строгость, чтобы скрыть улыбку)*. Как ты смеешь, Патси Фарел, свои дрянные, мелкие чувства вкладывать в сердце своего священника? Вот я ему расскажу, что ты тут говорил.

Патси *(заискивающе)*. Ой нет, вы не расскажете...

Киган. Не расскажу?.. Прости господи, Патси, ты ничем не лучше язычника.

Патси. Я-то? Вот уж нет, отец Киган. Это вы, наверно, про моего брата думаете, который в Дублине, жестянщик. Он-то, понятно, безбожник; как же иначе, коли ремеслу обучился и в городе живет.

Киган. Смотри, как бы он не вошел раньше тебя в царствие небесное. А теперь слушай, что я тебе скажу раз и навсегда: когда будешь говорить со мной или молиться за меня, называй меня Питер Киган, и больше ничего, никаких отцов. И когда ты будешь зол и захочешь ударить палкой осла или раздавить ногой кузнечика, вспомни, что осел — брат Питера Кигана и кузнечик — друг Питера Кигана. И если будет тебе искушение бросить камнем в грешника или обругать нищего, вспомни, что Питер Киган еще худший грешник и еще более нищий, и прибереги для него и камень и ругань. А теперь благослови меня на прощанье. Ну, говори: «Благослови тебя боже, Питер!» Привыкай.

Патси. Это грешно, отец. Я боюсь...

Киган. Не бойся. Ну, живо! А не то я велю тебе взять эту палку и меня ударить.

Патси *(бросается перед ним на колени в приливе восторга и обожания)*. Вы меня благословите, отец, вы! А то мне удачи не будет.

Киган *(возмущенный)*. Встань сию же минуту. Не становись передо мной на колени, я не святой.

Патси *(с глубочайшим убеждением)*. Как же не святой? А кто же тогда святой?

Раздается стрекотание кузнечика.

(В ужасе хватается за руки Кигана.) Ой! Не напускайте его на меня, отец Киган. Я все сделаю, как вы велите.

Киган *(поднимая его)*. Ах, глупый парень! Да ведь он свистнул, просто чтобы меня предупредить, что сюда идет мисс Рейли. Вот она, видишь? Ну, приди в себя, стыд какой! И марш отсюда, живо! Ступай на дорогу, а то, гляди, и дилижанс пропустишь. *(Подталкивая его в спину.)* Вон уж и пыль видна на повороте.

Патси. Господи помилуй! *(Как околдованный, идет по тропинке с холма к дороге.)*

Нора Рейли подходит, спускаясь по склону. Это хрупкая женщина небольшого роста, в хорошеньком платье из набивного муслина (лучшем, какое у нее есть); на взгляд ирландца, она представляет собой весьма обыденное явление, но она вызывает совсем другие чувства у обитателей более передовых, шумных и суетливых, гуще населенных и лучше питающихся стран. Отсутствие в ней всего грубо материального и всяких признаков здорового аппетита, относительная деликатность ее манер и тонкость ее восприятий, изящные руки и хрупкая фигура, своеобразный говор и мягкий, жалобный ирландский распев ее речи придают ей прелесть тем более непосредственную, что она, прожив всю жизнь в Ирландии, не сознает этой прелести и ей не приходит в голову подчеркивать ее или обыгрывать, как это делают ирландки в Англии. На взгляд Томаса Бродбента, это в высшей степени обаятельное существо, которое он готов назвать неземным. На взгляд Ларри Дойла, это самая заурядная женщина, которой надо бы жить в восемнадцатом столетии, беспомощная, бесполезная, почти бесполая, слабость которой не оправдана даже болезнью,— воплощение той Ирландии, от которой он бежал. Такие суждения имеют мало цены и могут еще десять раз измениться, но от них в настоящую минуту зависит ее судьба. Киган в знак приветствия притрагивается к своей шляпе, не снимая ее.

Нора. Мистер Киган, мне хотелось бы поговорить с вами. Можете вы уделить мне несколько минут?

Киган *(простонародный говор, на котором он изъяснялся с Патси, исчезает в мгновение ока)*. Пожалуйста, мисс Рейли, хоть целый час. Я к вашим услугам. Не присесть ли нам?

Нора. Благодарю вас.

Оба садятся на траву.

(Нора чем-то озабочена и робеет, но тотчас высказывает то, что у нее на уме, так как ни о чем другом не может думать.) Я слышала, что вы когда-то много путешествовали.

Киган. Видите ли, я не мэйнутец. *(Он хочет сказать, что он не учился в Мэйнутском колледже.)* В дни юности я благоговел перед старшим поколением священников, перед теми, что учились в Саламанке. Поэтому, когда я уверился в своем призвании, я тоже поехал в Саламанку. А из Саламанки пешком отправился в Рим и пробыл там год в монастыре. Мое паломничество в Рим научило меня, что пешком путешествовать лучше, чем в поезде. Поэтому из Рима я пешком перебрался в Париж, в Сорбонну, и очень жалел, что не мог тоже пешком дойти из Парижа в Оксфорд, так как на пароходе жестоко страдал от морской болезни. В Оксфорде я пробыл год, а затем пошел в Иерусалим, тоже пешком, по вольному ветерку, чтобы выветрить оксфордскую премудрость. Из Иерусалима я отправился на остров Патмос и прожил шесть месяцев в монастыре на горе Афон. А потом вернулся в Ирландию, получил приход и был приходским священником, пока не сошел с ума.

Нора *(смущенно)*. О! Не надо так говорить!

Киган. Почему нет? Разве вы не слышали этой истории? Как я исповедовал дьявола в образе негра и дал ему отпущение грехов, а он заколдовал меня и лишил рассудка.

Нора. Как вы можете говорить такой вздор о самом себе? Стыдитесь!

Киган. Это не вздор, это правда – в известном смысле. Но бог с ним, с этим негром. Теперь вы знаете, какой я бывалый путешественник; чем же я могу вам служить?

Нора колеблется и начинает нервно обрывать стебли вереска.

(Мягко удерживает ее за руку.) Дорогая мисс Нора, не рвите цветочки. Ведь когда вы видите красивого ребенка, вам не хочется оторвать ему голову и поставить на стол в вазочке, чтоб на нее любоваться.

Кузнечик стрекочет.

(Обращается к нему.) Не бойся, не бойся, сынок, она не станет ломать твою качельку. *(Норе, в прежней манере.)* Видите, я совсем сумасшедший; но это ничего — я не буйный. Ну, так в чем же дело?

Нора *(в затруднении)*. Ах, просто так, праздное любопытство. Мне хотелось знать, какой вам показалась Ирландия — ирландская деревня, конечно, — очень ли маленькой и жалкой, после того как вы повидали Рим и Оксфорд и другие большие города.

Киган. В этих великих городах я увидел чудеса, которых никогда не видел в Ирландии. Но когда я вернулся в Ирландию, я увидел, что самые большие чудеса поджидали меня здесь. И они все время были тут, но раньше мои глаза были для них закрыты. Я не знал, как выглядит мой родной дом, пока не вышел за его стены.

Нора. Вы думаете, это со всеми так?

Киган. Со всяким, у кого не только тело, но и душа зряча.

Нора. Но скажите по совести, разве люди тут у нас не показались вам скучными? Наши девушки, наверно, показались вам глупенькими простушками после принцесс и знатных дам, которых вы видели за границей? Впрочем, священник, конечно, не замечает таких вещей.

Киган. Священник обязан все замечать. Я не стану вам рассказывать о всех моих наблюдениях насчет женщин, но я вам скажу одно: чем больше мужчина видел и чем больше он путешествовал, тем больше шансов, что он в конце концов женится на девушке из своей родной деревни.

Нора *(краснея от удовольствия)*. Вы, конечно, шутите, мистер Киган.

Киган. Мои шутки заключаются в том, что я говорю людям правду. Это самая смешная шутка на свете.

Нора *(недоверчиво)*. Будет вам!

Киган *(с живостью вскакивает на ноги)*. Не хотите ли пройтись по дороге навстречу дилижансу?

Нора подает ему руку, и он помогает ей встать.

Патси Фарел сказал, что вы ждете молодого Дойла.

Нора *(тотчас же вздергивая подбородок)*. Вовсе я его не жду. Удивительно, что он вообще вздумал приехать после восемнадцати лет отсутствия. И уж конечно он не может рассчитывать, что мы умираем от нетерпения его увидеть.

Киган. Ну, хоть и не умираете, а интересно все-таки посмотреть, насколько он переменился за эти годы.

Нора *(с внезапной горечью)*. Он, наверно, только затем и приехал, чтобы посмотреть, насколько мы переменились за эти годы. Ну, так пускай подождет; увидит меня вечером, при свечах; а я вышла вовсе не для того, чтобы его встретить, – просто хотела погулять. Пойду сейчас вниз, к Круглой башне. *(Начинает спускаться по западному склону.)*

Киган. Вы правы. Что же делать, как не гулять в такой вечер. *(Значительно.)* Я скажу ему, куда вы пошли.

Нора быстро оборачивается, словно хочет ему запретить; но глубокое понимание, которое она читает в его глазах, делает притворство невозможным; она только серьезно взглядывает на него и уходит.

(Провожает ее глазами и, когда она исчезает за холмом, говорит.) Да, да. Он приехал, чтобы мучить тебя. И вот уж ты придумываешь, как бы помучить его. *(Качает головой и уходит в противоположном направлении, погруженный в свои мысли.)*

В это время дилижанс уже подъехал, и трое пассажиров высадились у подножия холма. Дилижанс представляет собой огромный уродливый рыдван, черный и расхлябанный, последний пережиток почтовых карет, известных предшествующему поколению под названием бьянкониевых дилижансов, по имени предприимчивого итальянца Бьянкони, пустившего в ход этого рода экипажи. Пассажиры: приходский священник отец Демпси, Корнелий Дойл – отец Ларри и Бродбент. Все трое, кутаясь в пальто, вышли на дорогу и разминают ноги, затекшие так, как это бывает только после путешествия в ирландском экипаже. Священник, добродушный толстяк, не имеет ничего общего с тем благородным типом деревенского пастыря, который воплощает лучшее, что есть в духовенстве; но он не имеет также ничего общего с тем низменным типом деревенского попа, в котором чувствуется настойчивый и неразборчивый в средствах мужичок, решивший использовать церковь, чтобы добыть себе при-

вилегированное положение, власть и деньги. Отец Демпси стал священником не по призванию, но и не из честолюбия, а просто потому, что такая жизнь ему подходит. Его прихожане подчиняются ему беспрекословно, и он взимает с них дань в размере, достаточном для того, чтобы жить как богатый человек. Засилье протестантов, когда-то значительное, теперь ослабело и не служит ему помехой. В общем же это человек покладистый, приветливый в обращении, даже уступчивый — до тех пор, конечно, пока ему аккуратно платят за требы и без всяких возражений признают его право на почет и власть. Корнелий Дойл — невысокий жилистый старик; его обветренное лицо имеет озабоченное выражение; подбородок гладко выбрит, оставлены только песочного цвета бакенбарды, кое-где уже выцветшие, а у корней волос и совсем белые. Одет он так, как одеваются мелкие дельцы в провинции, то есть в старый охотничий сюртук и башмаки с резинками совершенно неохотничьего вида. Он стесняется Бродбента и, стараясь быть приветливым, проявляет излишнюю суетливость.

Бродбент, по причинам, которые выяснятся позже, не имеет при себе никакого багажа, кроме путеводителя и подзорной трубы. Остальные двое нагрузили своим багажом злополучного Патси Фарела, который ковыляет вслед за прибывшими; он тащит мешок с картофелем, большую корзинку, жирного гуся, колоссальных размеров лосося и несколько бумажных свертков.

Корнелий, впереди всех, поднимается по склону, за ним Бродбент. Затем идет священник. В хвосте плетется Патси.

Корнелий. Тут крутовато, мистер Бродбент, зато короче. А по дороге пришлось бы дать крюк.

Бродбент *(останавливается и разглядывает большой камень)*. Это, должно быть, и есть Финианов камень.

Корнелий *(в совершенном недоумении)*. Чего-о?

Бродбент. Это описано у Мэррея. Один из ваших великих национальных героев — мне не выговорить его имя: Финий и как-то дальше.

Отец Демпси *(также в недоумении и несколько шокированный)*. Может быть, Фин-Мак-Кул?

Бродбент. Кажется, так. *(Заглядывает в путеводитель.)* Мэррей говорит об огромном камне, связанном, вероятно, с друидическими обрядами; его якобы забросил сюда

сам Фин во время своего знаменитого состязания с дьяволом.

Корнелий *(недоверчиво)*. Сроду не слыхивал.

Отец Демпси *(очень серьезно и даже с оттенком строгости)*. Не верьте такому вздору, сэр. Ничего этого не было. Если вам начнут плести небылицы о Фин-Мак-Куле и ему подобных, не слушайте, пожалуйста. Это все сказки и глупые суеверия.

Бродбент *(начинает горячиться; мысль, что ирландский священник корит его за суеверие, вызывает в нем негодование)*. Вы не думаете, надеюсь, что я этому верю?

Отец Демпси. Ах, так! Признаться, я подумал, что верите. Посмотрите! Видите вон там верхушку Круглой башни? Вот это исторический памятник, стоит поглядеть.

Бродбент *(чрезвычайно заинтересованный)*. Скажите, у вас есть какая-нибудь теория относительно назначения этих круглых башен?

Отец Демпси *(несколько даже оскорбленный)*. Теория? У меня? *(Теории в его представлении неразрывно связаны с профессором Тиндалем и научным критицизмом, а также, быть может, с воззрением, согласно которому круглые башни представляют собой фаллические символы.)*

Корнелий *(укоризненно)*. У меня есть знание, достоверное знание того, чем были наши круглые башни, если вы об этом спрашиваете, мистер Бродбент. Круглые башни – это персты церкви первых веков христианства, указующие на небо.

Патси, нагруженный сверх меры, споткнувшись, теряет равновесие и с размаху садится наземь. Свертки рассыпаются по склону. Корнелий и отец Демпси в гневе накидываются на Патси, в то время как Бродбент усердно созерцает камень и Круглую башню.

Корнелий. Ах, черт тебя побери! Лосось пополам переломился! Ты что это вздумал, Патси, осел ты этакий?

Отец Демпси. Ты пьян, что ли, Патси Фарел? Говорил я тебе – поосторожней неси эту корзину? Или я тебе не говорил?

Патси *(потирая затылок, которым он едва не выщербил гранитный выступ)*. Да у меня нога подвернулась! Легкое дело – все ваши пожитки одному тащить! Вас-то ведь трое!

Отец Демпси. Сказано было тебе: чего не можешь сразу захватить – оставь, потом еще раз придешь.

Патси. Да-а, а чье мне оставить? Что бы вы сказали, ваше преподобие, кабы я вашу корзину на мокрой траве бросил? А хозяин что бы сказал, кабы я и рыбу и гуся на дороге кинул — подбирай, кто хочет!

Корнелий. Да уж ты на все найдешь ответ, больно ты стал речист. Подожди, вот тетушка Джуди увидит, как ты рыбу обработал,— она с тобой поговорит! Ну, давай сюда гуся и рыбу. Отнесешь корзинку к отцу Демпси, потом приходи за остальным.

Отец Демпси. Бери корзину, Патси. И смотри опять не грохнись!

Патси. Да я...

Корнелий *(торопит его)*. Тсс! Тетушка Джуди идет!

Посрамленный Патси уходит, ворча себе под нос, с корзинкой отца Демпси за плечами.

Тетушка Джуди спускается по склону; это женщина лет пятидесяти, ничем не замечательная; в ее подвижности и хлопотливости нет настоящего проворства и энергии, в ее кротости нет спокойствия, в ее доброте нет живого интереса к людям; в ней нет даже живого интереса к самой себе; она вполне довольна собой и окружающими — типичный продукт ограниченной и ленивой жизни. Волосы у нее причесаны на прямой пробор и гладко прилизаны, а сзади собраны в плоский пучок. На ней простое коричневое платье, на плечах черная с лиловым пелерина; она принарядилась ради торжественного случая. Тетушка Джуди ищет глазами Ларри, недоумевает, затем недоверчиво останавливает взгляд на Бродбенте.

Тетушка Джуди. Неужто это ты, Ларри?

Корнелий. Где ты видишь Ларри? Что ты, опомнись! Ларри, похоже, не очень-то домой торопится. Я его еще в глаза не видел. Это его друг, мистер Бродбент. Мистер Бродбент — моя сестра Джуди.

Тетушка Джуди *(становится гостеприимной, подходит к Бродбенту и радушно пожимает ему руку)*. Мистер Бродбент! А я вас за Ларри приняла, подумайте! Мы ведь его вот уже восемнадцать лет как не видали, а уехал-то он совсем мальчишкой.

Бродбент. Ларри не виноват: он именно торопился. Он поехал вперед на нашем автомобиле, за целый час до того, как приехал мистер Дойл, и давно бы уж был здесь, если бы не несчастный случай. Он обещал встретить нас в Этенмюллете.

Тетушка Джуди. Господи помилуй! Вы думаете, с ним несчастье какое приключилось?

Бродбент. Нет, он мне телеграфировал – просто машина поломалась и он приедет, как только ее починят. Он надеется быть здесь часам к десяти.

Тетушка Джуди. Придумал, нечего сказать! На автомобиле ехать, когда мы все его ждем. Как раз на него похоже – все не как у людей. Ну да уж ладно, что сделано, того не воротишь. Пойдемте-ка домой. Мистеру Бродбенту, наверно, до смерти чаю хочется.

Бродбент *(несколько удивленный)*. Боюсь, что для чая уже слишком поздно. *(Смотрит на свой браслет с часами.)*

Тетушка Джуди. И вовсе не поздно; мы всегда в это время пьем. Надеюсь, вам хоть приличный обед подали в Этенмюллете?

Бродбент *(пытается скрыть свое разочарование, ибо ему становится ясно, что здесь он обеда не получит)*. О.. гм... да, прекрасный обед, прекрасный. Кстати, не лучше ли мне снять номер в отеле?

Все смотрят на него.

Корнелий. В оте-еле?

Отец Демпси. В каком таком отеле?

Тетушка Джуди. Ни в какой отель вы не пойдете. Вы у нас будете гостить. Я бы вас в старую Ларрину комнату положила, да только его матрасик вам, пожалуй, короток будет; ну ничего, мы вас в гостиной устроим на диванчике.

Бродбент. Вы очень добры, мисс Дойл, но, право, мне совестно причинять вам столько хлопот. Я, честное слово, ничего не имею против отеля.

Отец Демпси. Да в Роскулене нет никаких отелей.

Бродбент. Как нет отелей? А этот парень, который меня вез, сказал, что здешний отель лучший во всей Ирландии.

Все с сожалением смотрят на него.

Тетушка Джуди. А вы и слушаете всякого бездельника! Он вам что угодно расскажет, лишь бы у вас три пенса на чай выманить.

Бродбент. Может быть, здесь есть хоть трактир?

Отец Демпси *(мрачно)*. Семнадцать.

Тетушка Джуди. Да не будете же вы жить в трактире? У них и места не найдется, да вам это и неприлично

Вас, может быть, диванчик испугал? Так я вам свою кровать отдам. А я могу пока спать с Норой.

Бродбент. Нет, нет, что вы! Я вам очень благодарен, я в восторге от диванчика. Но я боюсь вас стеснить...

Корнелий *(хочет прервать этот спор, заставляющий его стыдиться своей домашней обстановки, ибо он лучше, чем сестра, понимает, что у Бродбента иное представление о комфорте)*. Ни капельки не стесните и не думайте об этом. А где Нора?

Тетушка Джуди. А я почем знаю? Ушла, никому не сказала. Я думала, она вас пошла встречать.

Корнелий *(недовольно)*. Что это ей взбрело в голову удрать в такую минуту?

Тетушка Джуди. Да ведь она у нас чудачка. Ну пойдемте уж, пойдемте.

Отец Демпси. Я попрощаюсь с вами, мистер Бродбент. Если я могу быть вам чем-нибудь полезен — пожалуйста, дайте только знать. *(Пожимает руку Бродбенту.)*

Бродбент *(горячо)*. Благодарю вас, отец Демпси. Очень рад был с вами познакомиться.

Отец Демпси *(переходя к тетушке Джуди)*. Доброй ночи, мисс Дойл.

Тетушка Джуди. А чаю с нами не выпьете?

Отец Демпси. Как-нибудь в другой раз, благодарю вас; сегодня я спешу домой, есть дело. *(Поворачивается, чтобы идти, и сталкивается с Патси, который возвращается с пустыми руками.)* Ты отнес ко мне корзину?

Патси. Да, ваше преподобие.

Отец Демпси. Ну вот и молодец! *(Готов уйти.)*

Патси *(тетушке Джуди)*. Отец Киган велел сказать...

Отец Демпси. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты называл его мистер Киган, как и я его зову! Отец Киган! Скажите пожалуйста! По-твоему, нет никакой разницы между твоим приходским священником и каким-то старым помешанным в черном сюртуке?

Патси. Я боюсь, вдруг он меня проклянет.

Отец Демпси *(гневно)*. Ты слушай, что тебе говорят, а то я тебя так прокляну, что ты у меня запрыгаешь. Будешь теперь помнить? *(Уходит.)*

Патси идет вниз по склону и подбирает гуся, рыбу и мешок с картофелем.

Тетушка Джуди. Кто тебя за язык дергал, Патси, говорить об этом при отце Демпси?

Патси. Ну, а как же мне быть? Отец Киган велел вам сказать, что мисс Нора пошла к Круглой башне.

Тетушка Джуди. А ты не мог подождать, пока отец Демпси уйдет?

Патси. Я боялся, что забуду; а он бы тогда наслал на меня кузнечика либо чертову чучелку,[1] чтоб они мне ночью напомнили.

Корнелий. Ну, понес, дуралей! С чучелками своими да с кузнечиками! Бери-ка лучше вещи, и чтоб я больше не слышал твоих дурацких россказней.

Патси повинуется.

А рыбу возьми под мышку. *(Засовывает лосося под локоть Патси.)*

Патси. Я и гуся могу захватить, хозяин. Положите его мне на спину, а голову дайте я возьму в зубы.

Корнелий впопыхах готов последовать этому предложению.

Тетушка Джуди *(чувствуя, что присутствие Бродбента обязывает ее к проявлению особой утонченности)*. Фу, Патси, как не стыдно! Брать в рот гуся, а мы потом будем его есть, после тебя! Оставь гуся, хозяин его сам захватит.

Патси. А что гусю сделается? Дохлому-то! *(Забирает свою кладь и уходит.)*

Корнелий. С чего это Норе вздумалось идти к Круглой башне?

Тетушка Джуди. А бог ее знает. Все фантазии в голове. Может, она думает, что Ларри туда за ней придет и ее домой проводит.

Бродбент. Но как же теперь быть? Нельзя, чтобы мисс Рейли там ждала, а потом возвращалась домой одна, в темноте. Может быть, мне за ней сходить?

Тетушка Джуди *(пренебрежительно)*. А что с ней может случиться? Ну идем же, Корни. Пойдемте, мистер Бродбент. Я поставила чай на огонь, чтоб он настоялся; пока соберемся пить, он как смола станет. *(Уходит вверх по склону.)*

К этому времени уже наступили сумерки. Бродбенту в конце концов не пришлось голодать за столом у тетушки

[1] Чертова чучелка — это обыкновенная серая ящерица, которая, по поверью, может забраться в горло спящего с открытым ртом человека, отчего тот заболевает чахоткой и умирает. *(Примеч. авт.)*.

Джуди: к чаю подали не только хлеб с маслом, но еще и бараньи котлеты в таком количестве, что проглотить их за один присест Бродбент счел невозможным. Было также подано весьма сытное блюдо, называемое картофельным пирогом. Страх умереть с голоду очень скоро сменился у Бродбента опасением, что он съел лишнее и завтра поплатится за это. Но тут появился новый соблазн — в виде бутылки незаконным образом изготовленной домашней водки, которую в Ирландии зовут «потшин»; Бродбент уже раньше читал о ней и мечтал ее отведать (он называет ее «потшан»); теперь, наконец, мечта его осуществилась. Его благодушное настроение вскоре достигает степени почти что экстаза, гораздо раньше, чем Корнелий обнаруживает первые признаки сонливости. Контраст между домашним столом тетушки Джуди и едой, которую ему обычно подают в отелях на южном и восточном побережье, куда он уезжает из Лондона на уик-энд — от пятницы до вторника,— кажется ему восхитительно ирландским. Полное отсутствие у Корнелия всякой способности и даже потребности испытывать радость, его твердая уверенность в том, что жизнь есть не что иное, как цепь мелочных забот и неприятностей с единственным утешением в виде курева, выпивки, ясных утр и маленьких удач при продаже и покупке, представляются его гостю просто забавной ролью, которую вздумал разыграть неисправимый гуляка и насмешник ирландец. Тетушка Джуди кажется ему воплощением комизма. Мысль, что через месяц-другой этот комизм даже ему успеет приесться, а для обитателей Роскулена никогда и не существовал, ни на миг не приходит ему в голову; еще меньше он догадывается о том, что сам он своим фантастическим английским обликом и английским произношением немало увеселяет тетушку Джуди. Под конец он приходит в такой восторг от всего окружающего, что перспектива лечь в постель и, пожалуй, увидеть во сне прозаическую Англию кажется ему нестерпимой; он объявляет, что намерен прогуляться к Круглой башне, выкурить сигару на свежем воздухе и поискать мисс Нору Рейли. Его никто не удерживает, ибо английские условности здесь, по-видимому, не существуют. Здесь считают, что, если Норе вздумалось пропустить ужин и бродить до ночи возле Круглой башни, на то ее добрая воля; все спокойно лягут спать, а для нее оставят входную дверь открытой. Точно так же внезапное желание

Бродбента совершить ночную прогулку не вызывает со стороны гостеприимных хозяев ни протестов, ни удивления. Тетушка Джуди даже рада сбыть его с рук на то время, пока она будет устраивать ему постель на диванчике. И вот сытый, счастливый, в восторженном настроении, Бродбент отправляется обозревать долину при лунном свете.

Круглая башня находится в полумиле от Роскулена, она стоит на пригорке, поросшем травой, ярдах в пятидесяти к югу от дороги. Когда-то дорога шла через пригорок, но современная техника выровняла шоссе применительно к требованиям бьянкониевых карет; это осуществлено частью при помощи поворота, частью при помощи выемки в холме; тропинка от дороги к башне круто взбирается в гору сквозь заросли дрока и ежевики. На краю косогора, там, где кончается тропинка, стоит Нора и напряженно всматривается в лунную ночь, поджидая Ларри. Под конец, потеряв надежду, она с нетерпеливым вздохом отходит к замшелому подножию башни и садится на камень — немножко поплакать, затем покорно ждет, напевая песенку — не ирландскую песню, а избитый английский романс, бывший в моде в позапрошлом году,— пока легкий шорох, может быть шум шагов, не заставляет ее вскочить и быстро подбежать к спуску. Несколько секунд тишины и ожидания; шаги теперь слышны уже ясно. Нора тихо вскрикивает, увидев приближающуюся мужскую фигуру.

Нора. Это ты, Ларри? *(Испуганно.)* Кто это?

Голос Бродбента *(с нижнего конца тропинки)*. Не пугайтесь.

Нора. О, какой у тебя стал английский выговор!

Бродбент *(появляясь снизу)*. Разрешите вам представиться..

Нора *(пораженная, отступает)*. Это не ты! Кто вы? Что вам нужно?

Бродбент *(подходит ближе)*. Я вас напугал, мисс Рейли, простите, ради бога. Я Бродбент, друг Ларри Знаете?

Нора *(обижена)*. А мистер Дойл не пошел с вами?

Бродбент. Нет. Я вместо него. Надеюсь, я не помешал?

Нора *(глубоко оскорбленная)*. Очень сожалею, что мистер Дойл доставил вам столько беспокойства своими поручениями.

Бродбент. Да видите ли, я подумал, что мне, как иност-

ранцу и англичанину, интересно будет посмотреть на Круглую башню при лунном свете.

Нора. Ах, вы пришли посмотреть башню... А я думала... *(В замешательстве, стараясь овладеть собой.)* Ну конечно. Разумеется. Я просто испугалась... в первую минуту! Прекрасная ночь, не правда ли?

Бродбент. Чудесная! Позвольте, я объясню, почему Ларри сам не пришел...

Нора. А зачем ему приходить? Он уже сто раз видел башню; для него это не новость. *(Светским тоном.)* Какое впечатление производит на вас Ирландия, мистер Бродбент? Вы бывали здесь раньше?

Бродбент. Нет, никогда.

Нора. Как вам здесь нравится?

Бродбент *(внезапно впадая в крайнюю сентиментальность)*. Я даже не решаюсь сказать вам, до какой степени мне все здесь нравится. Очарование этого ирландского пейзажа и... простите мне мою смелость, мисс Рейли, но... ваш прелестный ирландский голос...

Нора *(она привыкла к любезностям и не придает им никакого значения)*. Полноте, мистер Бродбент! Вот уже у вас и разбитое сердце, а видели вы меня всего две минуты в темноте.

Бродбент. Голос в темноте так же прекрасен, как и на свету. А кроме того, Ларри столько мне о вас рассказывал.

Нора *(с горечью)*. Вот как! Что ж, это, конечно, большая честь для меня.

Бродбент. Я с нетерпением ждал встречи с вами. Вы интересовали меня больше, чем все остальное в Ирландии.

Нора *(иронически)*. Да что вы? Неужели?

Бродбент. Уверяю вас. Я был бы счастлив, если бы вы проявили ко мне хоть вполовину столько интереса.

Нора. О, я, конечно, прямо умирала от нетерпения. Вы сами понимаете, какое это для нас, бедных ирландцев, событие, когда к нам вдруг приедет англичанин вроде вас.

Бродбент. Ну вот, теперь вы смеетесь надо мной, мисс Рейли; я ведь понимаю, что смеетесь. Не надо смеяться надо мной. Я очень серьезно отношусь к Ирландии и ко всему ирландскому. Я очень серьезно отношусь к вам и к Ларри.

Нора. Ларри со мной ничем не связан, мистер Бродбент.

Бродбент. Если бы я так думал, мисс Рейли, я бы...

я бы решился полнее отдаться тому очарованию, о котором я только что говорил... полнее, чем я... чем я...

Нора. Это вы мне в любви объясняетесь, да?

Бродбент *(испуганный и очень взволнованный)*. Кажется, что так, мисс Рейли, честное слово. Если вы спросите меня еще раз, я за себя не ручаюсь; в вашем голосе звучат все арфы Ирландии.

Нора смеется над ним.

(Внезапно он теряет голову и хватает Нору за руки, к ее величайшему негодованию.) Перестаньте смеяться, слышите? Я говорю всерьез, как англичанин. Если я говорю такую вещь женщине, это серьезно. *(Отпускает ее и пытается говорить своим обычным тоном, тщетно борясь с волнением.)* Простите, пожалуйста.

Нора. Как вы посмели меня тронуть?

Бродбент. Мало есть на свете такого, чего бы я не посмел ради вас. Это, может быть, нехорошо, но, право, я... *(Умолкает и растерянно проводит рукой по лицу.)*

Нора. Как вам не стыдно! Порядочный человек скорее бы умер, чем позволил себе такую вещь со мной, когда я тут одна, ночью.

Бродбент. Вы хотите сказать, что это с моей стороны предательство по отношению к Ларри?

Нора. Ничего подобного. При чем тут Ларри? Это неуважение и грубость по отношению ко мне; это показывает, за кого вы меня принимаете. А теперь можете идти своей дорогой, а я пойду своей. Прощайте, мистер Бродбент.

Бродбент. Нет, нет, подождите, мисс Рейли. Одну минутку! Выслушайте меня. Я говорил всерьез; это страшно серьезно, клянусь вам... Скажите мне, что я мешаю Ларри, и я сейчас же отправлюсь в Лондон, прямо отсюда, с этого места, и вы никогда больше меня не увидите. Клянусь честью! Я ему мешаю?

Нора *(в голосе ее, помимо воли, внезапно прорывается горечь)*. Вам лучше знать, мешаете вы ему или нет. Вы его чаще видели, чем я. Вы теперь его лучше знаете, чем я. Вы больше торопились меня увидеть, чем он, не правда ли?

Бродбент. Я должен вам сказать, мисс Рейли, что Ларри еще не прибыл в Роскулен. Он рассчитывал быть здесь раньше меня, но автомобиль поломался, он будет только завтра.

Нора *(лицо ее светлеет)*. Это правда?

Бродбент. Да, это правда.

Нора вздыхает с облегчением.

Вы рады?

Нора *(тотчас опять вооружается до зубов)*. Рада? Откуда вы взяли? Чему мне радоваться? Мы его ждали восемнадцать лет, так можем подождать еще один день.

Бродбент. Если вы действительно так к нему относитесь, тогда, быть может, для меня еще есть надежда? А?

Нора *(глубоко оскорбленная)*. Должно быть, в Англии другие нравы, мистер Бродбент; это уменьшает вашу вину У нас, в Ирландии, никому не придет в голову ловить мужчину на слове, когда ему вздумается пошутить, или принимать всерьез то, что женщина скажет в ответ на шутку. Если б женщина всякий раз подвергалась такому обращению, какое вы позволили себе со мной после двух минут разговора, увидев меня в первый раз в жизни, ни одна порядочная женщина не стала бы вообще разговаривать с мужчиной.

Бродбент. Этого я не понимаю. С этим я не могу согласиться. Я говорил совершенно искренне; у меня самые серьезные намерения. Надеюсь, тот факт, что я англичанин, служит достаточной гарантией моей неспособности совершать какие-нибудь необдуманные и романтические поступки; хотя, должен сознаться, ваш голос до такой степени взволновал меня, когда вы так лукаво спросили меня, не объясняюсь ли я вам в любви...

Нора *(краснея)*. Я вовсе не хотела...

Бродбент *(торопливо)*. Конечно нет. Не такой уж я дурак, мисс Рейли. Но мне было невыносимо, что вы смеетесь над моим чувством. Вы... *(Снова борясь с волнением.)* Вы не знаете, как я... *(Захлебывается на мгновение, затем выпаливает противоестественно ровным голосом.)* Будьте моей женой!

Нора *(быстро)*. Вот еще! Вздор какой! *(Внимательно оглядывает его.)* Ступайте-ка домой, мистер Бродбент, и придите в себя. Боюсь, что потшиновый пунш слишком на вас подействовал. Вы, должно быть, не привыкли пить на ночь.

Бродбент *(в ужасе)*. Вы хотите сказать, что я... я. Боже мой! Мисс Рейли! Неужели вам кажется, что я пьян?

Нора *(сострадательно)*. Сколько вы стаканов выпили?

Бродбент *(растерянно)*. Два.

Нора. Ну да. И запах торфа помешал вам заметить, какой это крепкий напиток. Идите-ка домой и ложитесь спать.

Бродбент *(в страшном волнении)*. Но это ужасно... Вы заронили во мне ужасное сомненье... Мисс Рейли, ради бога, скажите, я в самом деле пьян?

Нора *(успокаивающе)*. Завтра сами сможете судить. Ну, пойдемте домой и не думайте больше об этом. *(С материнской нежностью берет его под руку и мягко подталкивает к тропинке.)*

Бродбент *(совершенно расстроенный, повинуется)*. Да, я, должно быть, пьян... Ужасающе пьян. Потому что ваш голос совсем лишил меня рассудка... *(Спотыкается о камень.)* Нет! Честное слово, клянусь вам честью, мисс Рейли, это я просто споткнулся. Это совершенно случайно, уверяю вас.

Нора. Ну конечно случайно. Обопритесь о мою руку, мистер Бродбент, сейчас будет спуск. Дальше, на дороге, вам будет легче идти.

Бродбент *(покорно берет ее руку)*. Я не нахожу слов, мисс Рейли, чтобы просить у вас прощения... и благодарить вас за вашу доброту... за вашу снисходительность ко мне, когда я в таком гнусном состоянии. Как я мог так по-свин... *(Снова спотыкается.)* Черт бы побрал этот вереск! У меня нога запуталась!..

Нора. Ну, ну, ничего. Спокойно. Идемте, идемте.

Бродбент, в роли изобличенного пьяницы, позволяет отвести себя вниз к дороге. Снисходительное сочувствие Норы к его предполагаемому состоянию, вместо гнева и отвращения, которые он встретил бы у своих соотечественниц, кажется Бродбенту воистину божественной добротой. И ему, конечно, невдомек, так же как и Норе, что когда англичанин впадает в сентиментальность, его поведение становится поразительно похожим на поведение ирландца, когда тот пьян.

На следующее утро Бродбент и Ларри сидят за завтраком; завтрак происходит на небольшой лужайке перед домом Корнелия Дойла, посредине которой поставлен стол. Они уже кончили есть и сейчас погружены в чтение газет. Почти вся посуда составлена на большой железный поднос, покрытый черным лаком; тут же коричневый фаянсовый чайник; серебряных ложек здесь не водится; масло положено целым куском на обыкновенную мелкую тарелку. На заднем плане дом — небольшое белое строение с шиферной крышей; вход в него через застекленную дверь. Тот, кто вышел бы в сад через эту дверь, увидел бы прямо перед собой стол, направо калитку, ведущую из сада на дорогу, а, круто повернув налево, мог бы, пройдя через запущенный боскет, обогнуть дальний угол дома. Между лавровых кустов виднеются изуродованные останки большой гипсовой статуи, обмывавшиеся дождями в течение целого столетия; статуя имеет отдаленное сходство с величавой женской фигурой в римских одеждах, с венком в руке. Эти статуи, хотя и созданные, по-видимому, человеческими руками, как бы произрастают сами собой в ирландских садах. Их происхождение составляет неразрешимую загадку даже для самых давних обитателей страны, ибо с их вкусами и образом жизни они не имеют ничего общего Возле калитки стоит простая садовая скамья, облупленная, потрескавшаяся от непогоды и испачканная птичьим пометом. Неподалеку валяется пустая корзина; для ее пребывания здесь нет никаких оснований, кроме одного — надо же ей где-нибудь лежать. У стола незанятый стул, на котором только что сидел Корнелий, сейчас уже окончивший завтрак и удалившийся в комнату, известную под названием «конторы», где он принимает от фермеров арендную плату и хранит счетные книги и деньги. Этот стул, так же как и два других, на которых сидят Ларри и Бродбент, сделан из красного дерева; черное матерчатое сиденье набито конским волосом.

Ларри встает и, захватив газету, уходит через боскет за дом. Ходсон, с расстроенным лицом, входит в ка-

литку. Бродбент, сидящий напротив калитки, видит Ходсона и по его лицу догадывается, что тот потерпел неудачу.

Бродбент. Вы ходили в деревню?

Ходсон. Бесполезно, сэр. Придется все выписывать из Лондона почтовой посылкой.

Бродбент. Вас хоть удобно устроили на ночь?

Ходсон. Мне было не хуже, чем вам, сэр, на вашем диванчике. Здесь нечего ждать комфорта, сэр.

Бродбент. Надо будет подумать, как нам иначе устроиться. *(Неудержимо веселея.)* Но до чего здесь все-таки курьезно! Как вам понравились ирландцы, Ходсон?

Ходсон. Они всюду хороши, сэр, только не у себя дома. Я их много встречал в Англии – люди как люди, мне даже нравились. Но здесь я их прямо возненавидел, сэр. С первой минуты, сэр, как только мы высадились в Корке. Не стану кривить душой, сэр: видеть их не могу. Все мне в них претит, все их манеры; словно меня все время против шерсти гладят.

Бродбент. Ну что вы. Все их недостатки только на поверхности, а в сущности – это лучший народ на земле.

Ходсон поворачивается, чтобы уйти, не проявляя ни малейшего сочувствия к восторгам своего хозяина.

Кстати, Ходсон!..

Ходсон *(оборачиваясь)*. Да, сэр.

Бродбент. Вы вчера ничего во мне не заметили, когда я вернулся вместе с мисс Рейли?

Ходсон *(удивлен)*. Нет, сэр.

Бродбент. Ничего такого... э... гм... особенного? Можете говорить откровенно.

Ходсон. Я ничего не заметил, сэр. Что я должен был заметить?

Бродбент. Э... гм... Попросту говоря, я не был пьян?

Ходсон *(в изумлении)*. Нет, сэр.

Бродбент. Наверное?

Ходсон. Нет, сэр. Скорее наоборот, сэр. Обыкновенно, когда вы немного выпьете, сэр, вы делаетесь повеселей. А вчера как раз напротив – очень были серьезный.

Бродбент. Гм... Голова у меня не болит, во всяком случае. Вы пробовали этот их потшин?

Ходсон. Выпил один глоток, сэр. Торфом пахнет, ужасная мерзость, сэр. Потшин и крепкий портер – здесь только

это и пьют. Не знаю, как они это выносят. Нет, мне подавайте честное пиво.

Бродбент. Кстати, вы мне говорили, что здесь нельзя достать овсянки на завтрак, а мистеру Дойлу была подана овсянка.

Ходсон. Да, сэр. Они ее зовут размазней, сэр, вот отчего так вышло. Необразованность, сэр.

Бродбент. Ну, ничего, завтра спрошу себе размазни.

Ходсон идет к дому. Когда он открывает дверь, на пороге появляются Нора и тетушка Джуди. Ходсон отступает в сторону и пропускает их с видом хорошо выдрессированного слуги, терпеливо переносящего тяжкие испытания, затем уходит в дом. Тетушка Джуди подходит к столу и начинает собирать тарелки и чашки на поднос. Нора идет к скамье и выглядывает в калитку с видом женщины, привыкшей к тому, что ей нечего делать. Ларри выходит из боскета.

Бродбент. С добрым утром, мисс Дойл.

Тетушка Джуди *(втайне считая, что такое приветствие смешно в столь поздний час дня)*. С добрым утром. *(Берется за поднос.)* Вы уже кончили?

Бродбент. О да, благодарю вас. Простите, что мы вас не подождали. Это деревенский воздух поднял нас так рано.

Тетушка Джуди. Это рано, по-вашему? О господи!

Ларри. Тетя позавтракала, должно быть, в половине седьмого.

Тетушка Джуди. Молчи уж ты-то! Вытащил хорошие кресла в сад, да и радуется. Мистер Бродбент насмерть простудится от твоих завтраков. Шутка ли, на таком холоде! *(Бродбенту.)* Что вы потакаете его глупостям, мистер Бродбент?

Бродбент. Я сам очень люблю свежий воздух, уверяю вас.

Тетушка Джуди. Э, бросьте! Разве можно любить то, что противно человеческой природе? Как вам спалось?

Нора. Вы не слышали, что-то упало сегодня ночью, так часов около трех? Я думала, дом рушится. Но, правда, я очень чутко сплю.

Ларри. Эге! Я помню, восемнадцать лет назад у этого дивана одна ножка имела привычку вдруг отваливаться безо всякого предупреждения. Не это ли случилось сегодня, Том?

Бродбент. О, пустяки! Я совсем не ушибся. То есть по крайней мере...

Тетушка Джуди. Ах, срам какой! Да я же велела Патси Фарелу забить в нее гвоздь!

Бродбент. Он это сделал, мисс Дойл. Гвоздь там был, вне всяких сомнений.

Тетушка Джуди. Ах ты господи!

В калитку входит пожилой фермер. Он невысокого роста, жилистый, с землистым лицом, низким голосом и угрюмыми манерами, которыми он хотел бы внушить страх, но внушает скорее жалость. Он настолько стар, что в юности, быть может, носил фризовый фрак с длинными фалдами и панталоны до колен; но теперь он прилично одет в черный сюртук, цилиндр и серые брюки; и лицо у него настолько чистое, насколько этого можно добиться умыванием, чем, впрочем, сказано немного, так как эта привычка усвоена им недавно и еще находится в конфликте с его естественными наклонностями.

Вновь пришедший *(у калитки)*. Доброго всем здоровья. *(Входит в садик.)*

Ларри *(покровительственным тоном со своего места)*. Да ведь это Мэтью Хаффиган? Узнаете меня, Матт?

Мэтью *(нарочито грубо и отрывисто)*. Нет. Кто вы такой?

Нора. Ну что вы, я уверена, что вы его узнали, мистер Хаффиган.

Мэтью *(нехотя соглашаясь)*. Ларри Дойл, что ли?

Ларри. Он самый.

Мэтью *(обращаясь к Ларри)*. Я слышал, у вас хорошо дела пошли там, в Америке?

Ларри. Да, ничего себе.

Мэтью. Встречали там, наверно, моего брата Энди?

Ларри. Нет. Америка большая страна. Искать там человека — все равно что иголку в стоге сена. Говорят, он там теперь важная шишка.

Мэтью. Да, слава богу. Где ваш отец?

Тетушка Джуди. Он у себя в конторе, мистер Хаффиган, с Барни Дораном и отцом Демпси.

Мэтью, не желая больше тратить слов на пустые разговоры, поворачивается и уходит в дом.

Ларри *(глядя ему вслед)*. С ним что-нибудь неладно?

Нора. С ним? Почему ты думаешь? Он всегда такой.

Ларри. Со мной он не всегда бывал таким. Когда-то он был очень любезен с мастером Ларри; слишком даже любезен, на мой взгляд. А теперь ворчит и огрызается, как медведь.

Тетушка Джуди. Ну да ведь он купил ферму в собственность по новому земельному закону.

Нора. У нас большие перемены, Ларри. Прежних арендаторов и не узнать. Иные так себя держат, словно ответить на вопрос — и то уже милость с их стороны. *(Отходит к столу и помогает тетушке Джуди снять скатерть; вдвоем они складывают ее.)*

Тетушка Джуди. Интересно, зачем ему Корни понадобился. Он сюда носу не казал с того дня, как последний раз принес арендную плату. И как он с ним тогда разговаривал! Деньги ему чуть ли не в лицо швырнул.

Ларри. Неудивительно! Разумеется, они все нас до смерти ненавидели. Ух! *(Мрачно.)* Я помню, как они приходили в контору и рассыпались перед моим отцом — какой, мол, я славный мальчик, и ваша милость то, и ваша милость сё, а руки у них чесались схватить его за горло.

Тетушка Джуди. Вот уж не знаю, что им плохого сделал Корни. Ведь это он устроил Матту долгосрочную ссуду и поручился за него, как за порядочного и трудолюбивого человека.

Бродбент. А он трудолюбив? Это, знаете ли, редкость среди ирландцев.

Ларри. Трудолюбив! У меня с души воротило от его трудолюбия, даже когда я был мальчишкой. Трудолюбие ирландского крестьянина — это что-то нечеловеческое; это хуже, чем трудолюбие кораллового полипа. У англичанина здоровое отношение к труду: он делает ровно столько, сколько необходимо, да и от этого норовит увильнуть где можно; а ирландец работает так, словно умрет, если остановится. Этот Мэтью Хаффиган и его брат Энди сделали пашню из каменной россыпи на склоне холма; голыми руками расчистили ее и разрыхлили, и первую свою лопату купили на выручку с первого урожая картофеля. А еще говорят о добром пахаре, который выращивает два колоса пшеницы там, где рос только один. Эти двое вырастили целое поле пшеницы там, где раньше и кустику вереска не за что было уцепиться.

Бродбент. Но это великолепно! Только великий народ способен рождать таких людей.

Ларри. Таких дураков – вы хотите сказать! Им-то какая была от этого польза? Как только они это проделали, лендлорд назначил им арендную плату в пять фунтов в год, а потом согнал их с земли, потому что они не могли столько заплатить.

Тетушка Джуди. А почему они не могли заплатить? Ведь мог же Билли Байрн, который взял землю после них.

Ларри *(сердито)*. Вы отлично знаете, что Билли Байрн ничего не заплатил. Он только предложил эту сумму, чтобы захватить участок. А платить и не подумал.

Тетушка Джуди. Ну да, потому что Энди Хаффиган треснул его по голове кирпичом так, что он на всю жизнь хворым стал. И Энди после этого пришлось бежать в Америку.

Бродбент *(горя негодованием)*. Кто осудит его за это, мисс Дойл? Кто может осудить его?

Ларри *(нетерпеливо)*. Ох, какой вздор! Ну какой смысл в том, что один человек, которого голод согнал с земли, убьет другого, которого голод пригнал на эту землю? Вы бы сами так поступили?

Бродбент. Да. Я-я-я... *(Заикается от возмущения.)* Я бы застрелил проклятого лендлорда, и свернул бы шею его мерзкому агенту, и взорвал бы ферму динамитом, да уж заодно и Дублинский Замок!

Ларри. О да, вы бы натворили великих дел; и большая была бы от этого польза! Сразу видно англичанина. Издавать никуда не годные законы и разбазаривать землю, а потом, когда ваше невежество в области экономики приводит к естественным и неизбежным результатам, приходить в благородное негодование и избивать тех людей, которые осуществляют ваши же собственные законы!

Тетушка Джуди. Э, не обращайте на него внимания, мистер Бродбент! Да и неважно все это, потому что лендлордов почти что не осталось. А скоро и вовсе не будет.

Ларри. Наоборот, скоро только и будут что одни лендлорды. И да поможет бог тогда несчастной Ирландии.

Тетушка Джуди. Ну, ты, уж известно, ничем не доволен. *(Норе.)* Пойдем, дружок, приготовим фарш для пирога.

Они и без нас найдут, о чем поговорить. Мы им не нужны. *(Забирает поднос и уходит в дом.)*

Бродбент *(вскакивает с места и галантно протестует)*. Что вы, что вы, мисс Дойл! Помилуйте...

Нора, следуя за тетушкой Джуди со свернутой скатертью в руках, бросает на Бродбента взгляд, от которого он мгновенно немеет. Он смотрит Норе вслед, пока она не исчезает за дверью, затем подходит к Ларри и говорит с трагическим выражением.

Ларри.

Ларри. Что?

Бродбент. Я вчера напился пьян и сделал предложение мисс Рейли.

Ларри. Вы что??? *(Разражается смехом на ирландский манер — на не принятых для этого в Англии высоких нотах.)*

Бродбент. Чему вы смеетесь?

Ларри *(внезапно умолкая)*. Не знаю. Ирландцы почему-то смеются в таких случаях. Она приняла ваше предложение?

Бродбент. Я никогда не забуду, что она с великодушием, присущим ее народу, хотя я и находился вполне в ее власти, отвергла мое предложение.

Ларри. Это было в высшей степени неблагоразумно с ее стороны. *(Погружаясь в размышления.)* Однако позвольте, когда это вы успели напиться? Вы были совершенно трезвы, когда вернулись с ней после прогулки к Круглой башне.

Бродбент. Нет, Ларри, я был пьян, должен это признать, к своему стыду. Я перед тем выпил два стакана пунша. Ей пришлось довести меня до дому. Вы, наверно, сами заметили, что я был пьян.

Ларри. Нет, не заметил.

Бродбент. Ну, а она заметила.

Ларри. Разрешите узнать, сколько вам понадобилось времени, чтобы дойти до столь решительных объяснений? Ведь ваше знакомство с ней продолжалось всего каких-нибудь несколько часов.

Бродбент. Боюсь, что всего несколько минут. Когда я приехал, ее не было дома, и в первый раз я с ней встретился возле башни.

Ларри. Хорош ребеночек, нечего сказать! Вот и оставляй вас без присмотра. Не думал я, что потшин так ударит вам в голову.

Бродбент. Нет, с головой у меня ничего не было. И сейчас не болит, и вчера у меня язык не заплетался. Нет, потшин бросается не в голову, а в сердце. Что мне теперь делать?

Ларри. Ничего, конечно. Зачем вам что-нибудь делать?

Бродбент. Видите ли, необходимо решить весьма щекотливый вопрос: был ли я настолько пьян, что это снимает с меня моральную ответственность за сделанное мною предложение, или же я был настолько трезв, что это налагает на меня обязанность повторить это предложение теперь, когда моя трезвость не вызывает сомнения?

Ларри. Я бы на вашем месте поближе познакомился с ней, прежде чем решать.

Бродбент. Нет, нет. Это было бы неправильно. Это было бы непорядочно. Вопрос стоит так: или я взял на себя моральное обязательство, или не взял. Необходимо выяснить, до какой степени я был пьян.

Ларри. Вы, во всяком случае, расчувствовались до степени идиотизма, это не подлежит сомнению.

Бродбент. Не могу отрицать, что я был глубоко тронут. Ее голос произвел на меня неотразимое впечатление Этот ирландский голос!

Ларри *(сочувственно)*. Да, да, я знаю. Когда я в первый раз попал в Лондон, я чуть не сделал предложение продавщице в булочной только из-за того, что ее уайтчепельский акцент был так изыскан, так нежен, так трогателен...

Бродбент *(сердито)*. Мисс Рейли, кажется, не продавщица?

Ларри. Ну, ну! Продавщица была очень милая девушка.

Бродбент. Вы каждую англичанку готовы считать ангелом. У вас грубые вкусы, Ларри. Мисс Рейли женщина в высшей степени утонченного типа, какой редко встречается в Англии, разве только в избранных кругах аристократии.

Ларри. Какая там аристократия! Знаете вы, что Нора ест?

Бродбент. Ест? Что вы этим хотите сказать?

Ларри. На завтрак – чай и хлеб с маслом, изредка ломтик ветчины; иногда еще яйцо – в особо торжественных случаях, скажем в день ее рождения. Среди дня обед: одно блюдо. Вечером опять чай и хлеб с маслом. Вы сравниваете ее с вашими англичанками, которые уплетают мясо по пять раз в день, и, понятное дело, она вам кажется сильфидой. А разница между ними – это вовсе не разница типа; это разница между женщиной, которая питается нерационально, но слишком обильно, и такой,

которая питается тоже нерационально, но слишком скудно.

Бродбент *(в ярости)*. Ларри, вы... вы... вы мне внушаете отвращение. Вы дурак, и больше ничего! *(В гневе опускается на садовую скамью, которая с трудом выдерживает его тяжесть.)*

Ларри. Тихо! Ти-хо! *(Хохочет и тоже садится, на край стола.)*

Из дома выходят Корнелий Дойл, отец Демпси, Барни Доран и Мэтью Хаффиган. Доран уже немолод, хотя пожилым его нельзя назвать; это плотный рыжеволосый человек с круглой головой и короткими руками, сангвинического темперамента, великий охотник до всяких язвительных, непристойных и кощунственных или попросту жестоких и бессмысленных шуток и свирепо нетерпимый к людям иного характера и иных убеждений; все это происходит оттого, что энергия его и способности растрачивались впустую или обращались во зло, главным образом по недостатку воспитания и отсутствию социальных сил, которые направили бы их в русло полезной деятельности, ибо от природы Барни отнюдь не глуп и не ленив. Одет он небрежно и неопрятно, но растерзанность его костюма отчасти маскируется покрывающим его слоем муки и пыли; этот костюм, к которому никогда не прикасалась щетка, сшит, однако, из модной шершавой материи и был, по-видимому, в свое время куплен именно из-за его элегантности, невзирая на дороговизну.

Мэтью Хаффиган, робея в этом обществе, держит курс по краю сада, вдоль кустов, и, наконец, бросает якорь в уголке, возле пустой корзины. Священник подходит к столу и хлопает Ларри по плечу. Ларри быстро оборачивается и, узнав отца Демпси, спрыгивает наземь и сердечно пожимает ему руку. Доран проходит вперед, между отцом Демпси и Мэтью, а Корнелий, остановившись по другую сторону стола, обращается к Бродбенту, который встает, приветливо улыбаясь.

Корнелий. Кажется, мы все вчера с вами виделись?

Доран. Я не имел удовольствия.

Корнелий. Верно, верно, Барни. Я совсем позабыл. *(Бродбенту, представляя ему Дорана.)* Мистер Доран – хозяин той красивой мельницы, что вы видели из омнибуса.

Бродбент *(все новые знакомые ему очень нравятся)*. Очень

рад с вами познакомиться, мистер Доран. Большое удовольствие для меня.

Доран не может разобрать, каким тоном с ним говорит Бродбент — заискивающим или покровительственным, поэтому ограничивается кивком головы.

Доран. Как дела, Ларри?

Ларри. Благодарю, отлично! А вас и спрашивать нечего.

Доран ухмыляется. Они пожимают друг другу руки.

Корнелий. Ларри, дай стул отцу Демпси.

Мэтью Хаффиган спешит к ближнему от него углу стола, хватает стул и ставит его возле корзины; но Ларри уже взял стул, стоящий по другую сторону, и поставил его впереди стола. Отец Демпси предпочитает занять более центральную позицию.

Садись, Барни. И ты тоже, Матт.

Доран без церемонии занимает стул, который Мэтью приготовил для священника, и Мэтью, посрамленный мельником, смиренно возвращается к корзине, переворачивает ее вверх дном и усаживается на ней. Корнелий подтаскивает кресло, стоящее у стола, и садится справа от отца Демпси. Бродбент располагается по-прежнему на садовой скамье. Ларри подходит к нему и хочет сесть рядом, но Бродбент останавливает его тревожным жестом.

Бродбент. Вы думаете, она выдержит нас обоих?

Ларри. Пожалуй что и нет. Сидите. Я постою. *(Становится позади скамьи.)*

Теперь все сидят, кроме Ларри, и сборище приобретает торжественный вид, словно сейчас должно произойти какое-то важное событие.

Корнелий. Может, вы скажете, отец Демпси?

Отец Демпси. Нет, нет, говорите вы. Церковь не вмешивается в политику.

Корнелий. Слушай, Ларри. Хочешь выставить свою кандидатуру в парламент?

Ларри. Я?

Отец Демпси *(подбадривающим тоном)*. Ну да, вы. Почему бы и нет?

Ларри. Боюсь, что мои идеи не встретят у вас сочувствия.

Корнелий. Почем знать. Ты как считаешь, Барни?

Доран. Больно много вздору нагородили в ирландской политике, надо бы поменьше.

Ларри. А что же ваш теперешний депутат? Он хочет уйти, что ли?

Корнелий. Да нет, не слыхать.

Ларри *(вопросительно)*. Ну так как же?

Мэтью *(внезапно, сварливым тоном)*. Хватит с нас дурацкой болтовни насчет лендлордов. Туда же, все про землю да про землю, а сам сроду из своей конторы не вылезал.

Корнелий. Надоел он нам. Не знает, где остановиться. Не всякому же батраку быть помещиком; а кое у кого, конечно, должна быть земля, чтобы они могли другим давать работу. Это все было хорошо, пока солидных людей, таких, как Доран, или я, или Матт, не допускали к земле. Но какой здравомыслящий человек станет требовать, чтобы всякому Патси Фарелу тоже дать землю?

Бродбент. Но, без сомнения, ирландские лендлорды несут ответственность за те страдания, которые претерпел мистер Хаффиган.

Мэтью. Не ваше дело, что я претерпел. Я это сам знаю, можете мне не рассказывать. Ведь я чего требовал? Только ту пашню, что я сам, своими руками разделал. Вот пусть Корни Дойл скажет, он-то знает. Имел я на нее право или не имел? *(Свирепо скалится на Корнелия.)* А теперь меня в одну кучу валят с Патси Фарелом, который, где у него правая рука, где левая, и то не знает. Он-то что претерпел, скажите на милость?

Корнелий. Да я же это и говорю. И не думал валить тебя с ним в одну кучу.

Мэтью *(неумолимо)*. Так что же ты тут молол насчет того, чтобы ему дать землю?

Доран. Легче, Матт, легче. Ты словно медведь, когда у него на спине болячка.

Мэтью *(дрожит от злости)*. А ты-то кто такой — приличиям меня учить?

Отец Демпси *(укоризненно)*. Но, но, но, Матт. Довольно. Сколько раз я тебе говорил, что ты вечно там видишь обиду, где ее вовсе нет. Ты не понял: Корни Дойл говорит как раз то, что ты сам хотел сказать. *(Корнелию.)* Продолжайте, мистер Дойл, и не обращайте на него внимания.

Мэтью *(встает)*. Нет уж, раз тут решили мою землю Патси Фарелу отдать, так мне тут нечего делать. Я...

Доран *(бешено)*. Да кто ему твою землю отдать хочет, болван ты этакий?

Отец Демпси. Спокойно, Барни, спокойно. *(Строго, обращаясь к Матту.)* Я тебе сказал, Мэтью Хаффиган, что ты неправильно понял Корни Дойла. Очень жаль, что слово твоего духовного отца для тебя уже ничего не значит. Лучше мне уйти, чтобы не было у тебя соблазна еще раз согрешить против святой церкви. Прощайте, господа! *(Встает.)*

Встают и все остальные, кроме Бродбента.

Доран *(Матту)*. Ну! Дождался? Поделом тебе, брюзга дурацкий.

Мэтью *(перепуган)*. Ох! Не гневайтесь, отец Демпси. У меня и в мыслях ничего не было ни против вас, ни против святой церкви. А только я сам себя не помню, когда до земли коснется. Простите, если что не так сказал.

Отец Демпси *(опять усаживается, преисполненный достоинства)*. Хорошо, на этот раз, так и быть, прощаю.

Остальные тоже садятся, кроме Мэтью.

(Готов обратиться к Корнелию с просьбой продолжать, но вспоминает о Мэтью и, решив бросить и ему кроху своего благоволения, поворачивается к нему.) Садись и ты, Матт.

Мэтью, совершенно подавленный, опускается на стул и сидит молча, с жалобным недоверчивым видом переводя взгляд с одного из участников разговора на другого, силясь понять, что они говорят.

Продолжайте, мистер Дойл. Простим ему его неразумие Продолжайте.

Корнелий. Так вот как обстоит дело, Ларри. Мы, наконец, заполучили землю и не желаем, чтобы правительство совало к нам нос. Нам нужен толковый человек в парламенте, который бы понимал, что истинный оплот страны — это фермеры, и не слушал бы, что там вопит всякий городской сброд или что выдумывает какой-нибудь олух батрак.

Доран. Да. И нам нужен такой человек, чтобы мог жить в Лондоне и сам себя содержать, пока не будет введен гомруль: чтоб не надо было для него подписки устраивать да монету гнать.

Отец Демпси. Да, Барни, совершенно правильно. Когда

слишком много денег тратится на политику, страдает церковь. Представитель в парламенте должен быть помощью для церкви, а не обузой.

Ларри. Вот шанс для вас, Том. Что вы скажете?

Бродбент *(уклончиво, но не без важности, со снисходительной улыбкой)*. Ну, у меня нет никаких оснований выдвигать здесь свою кандидатуру. Ведь я сакс.

Доран. Вы — что?

Бродбент. Сакс. Англичанин.

Доран. Ага, англичанин. Первый раз слышу, чтобы их так называли.

Мэтью *(с хитрым выражением)*. Коли позволите мне словечко молвить, отец Демпси, так я скажу так: оно, пожалуй, и лучше, что англичанин да протестант. И голова насчет земли не так задурена, да и говорить будет смелей, чем ирландец да католик.

Корнелий. Но ведь Ларри все равно что англичанин. Прав да, Ларри?

Ларри. Выбрось это из головы, отец, раз и навсегда.

Корнелий. А почему?

Ларри. У меня есть свои убеждения, и они тебе не понравятся.

Доран *(с грубоватой издевкой)*. Все бунтуешь, Ларри, а? По-прежнему — бунтарь-фений?

Ларри. Нет. Бунтарь-фений стал теперь старше и, надо думать, глупее.

Корнелий. Да какое нам дело до твоих убеждений? Ты, кажется, знаешь, что твой отец купил свою ферму за кровные денежки, в точности как Матт свое поле, а Барни — мельницу. И мы теперь хотим одного — чтобы нас оставили в покое. Ты, надеюсь, не против?

Ларри. Нет, я именно против. Я считаю, что никого и ничего нельзя оставлять в покое.

Корнелий *(приходит в ярость)*. Да что ты ломаешься, дурень ты эдакий! Предлагают ему кресло в парламенте, честь тебе делают, молокососу,— а он в ответ несет околесицу. Умен, нечего сказать! Ну, берешь или не берешь? Говори прямо.

Ларри. Очень хорошо. Я возьму с удовольствием, если вы согласны мне его дать.

Корнелий *(сбавляя тон, ворчливо)*. Слава богу, надумал. Давно бы так.

Доран *(подозрительно)*. Постойте, постойте. Не спешите.

Мэтью *(в котором борются недовольство и страх перед*

священником). Этого еще мало, что он твой сын. Мы его не за это выбираем. Отец Демпси, поспросили бы вы его, что он насчет земли думает.

Ларри *(немедленно налетает на Мэтью)*. Я вам скажу, Матт Я всегда считал, что глупо, нелепо и преступно оставлять землю в руках помещиков, не требуя с них строгого отчета в том, как они ею распоряжаются и в каких условиях живут фермеры, которые ее у них арендуют. Мне было ясно, что они ни о чем не думали, кроме как о том, как бы выжать из нее побольше денег и истратить их в Англии; и закладывали ее, и перезакладывали, так что под конец ни один из них не мог сказать с уверенностью, что он этой землей владеет. И если бы кто-нибудь из них и захотел вести правильное хозяйство, то навряд ли смог бы. Но скажу вам напрямик, Матт: кто думает, что теперь, когда земля перешла в руки мелких хозяйчиков, можно не требовать с вас строгого отчета, тот ошибается. Одно другого не лучше.

Мэтью *(угрюмо)*. С чего это вы передо мною нос деретe? Думаете, вы невесть какая важная птица оттого, что ваш отец был земельный агент?

Ларри. А вы с какой стати деретe нос перед Патси Фарелом? Думаете, вы невесть какая важная птица оттого, что прибрали к рукам парочку земельных участков?

Мэтью. А разве Патси вытерпел столько несправедливости, сколько я? Ну-ка, скажите?

Ларри. То ли он еще вытерпит, когда попадет к вам в кабалу, как вы когда-то были в кабале у прежнего помещика. Вы думаете, если вы бедны и безграмотны и наполовину одурели оттого, что с утра до ночи надрываетесь над своим клочком земли, так уж, значит, по отношению к тем, у кого земли совсем нет, вы окажетесь менее алчным и безжалостным, чем старый Ник Лестрэндж, образованный человек, видавший свет, для которого сто фунтов представляют меньший соблазн, чем для вас пять шиллингов? Ник слишком высоко стоял над Патси, чтобы ему завидовать; а вы поднялись над ним всего на одну ступеньку и скорей умрете, чем позволите ему тоже подняться. И вы сами прекрасно это знаете.

Мэтью *(почернев от ярости, рычит)*. Ну, довольно с меня! *(Пытается встать, но Доран хватает его за полу и силой усаживает обратно.)* Пусти! *(Повышает голос.)* Пусти меня, Барни Доран, слышишь?

Доран. Сиди, болван! *(Шепчет ему на ухо.)* Ты разве не хочешь остаться и голосовать против него?

Отец Демпси *(поднимая палец)*. Матт!

Матт смиряется.

Ну, ну! Послушайте! Что это за разговоры о Патси Фареле? Какая вам надобность заступаться за него?

Ларри. А вот какая. Эксплуатируя нищету Патси, мы подрывали английскую торговлю на мировом рынке и именно этим вынудили Англию раздавить Ирландию. И она снова раздавит нас, едва мы подымем голову, если мы опять попробуем сыграть на дешевизне рабочих рук у нас в стране. И правильно сделает! Если я попаду в парламент, я постараюсь провести закон, который бы запрещал любому из вас платить Патси Фарелу меньше, чем фунт в неделю.

Все таращатся на него, с трудом веря своим ушам.

Или обращаться с ним хуже, чем с лошадью, за которую вы заплатили пятьдесят гиней.

Доран. Что-о!

Корнелий *(потрясен)*. Фунт в нед... Господи помилуй! Рехнулся парень!

Мэтью, чувствуя, что происходит нечто превышающее его понимание, с разинутым ртом оборачивается к священнику, ожидая от него по меньшей мере немедленного отлучения Ларри от церкви.

Ларри. А может человек жениться и содержать семью, если он получает меньше?

Отец Демпси. Послушайте, где вы жили все эти годы? Что это вам мерещится? Да вы знаете, что иной фермер сам столько не зарабатывает, сколько вы хотите, чтоб он платил работнику?

Ларри *(теперь окончательно вошедший в раж)*. Так пускай убирается и освободит место для того, кто сумеет заработать больше. Что же, Ирландии вечно быть нищей? Сперва ее отдали на съедение богачам; а когда они сожрали мясо, тогда ее кости бросили беднякам, которые ничего не способны сделать, как только обглодать их дочиста. Если у нас землей не могут владеть люди чести, то пусть это будут люди со способностями. Если нет людей со способностями, пусть это будут люди с капиталом. Кто угодно, только не Матт, у которого нет ни чести, ни способностей, ни капитала — ничего, кроме алч-

ности да готовности день и ночь копать землю голыми руками.

Доран. Ну, не все же мы такие трухлявые старые грибы, как Матт. *(Благодушным тоном, обращаясь к объекту этой лестной характеристики.)* Правда ведь, Матт?

Ларри. С точки зрения требований современного хозяйства и вы, Барни, немногим лучше. Все вы дети; мир больших дел, к которому я принадлежу, прошел мимо вас и оставил вас позади. Да и вообще мы, ирландцы, не созданы возделывать землю и никогда не умели толком это делать. В этом мы сходны с евреями: всевышний дал нам мозги и повелел возделывать *их*, а глину и червей оставить в покое.

Отец Демпси *(с кроткой иронией)*. Вот как! Хотите сделать из нас евреев? Нет, видно, надо мне самому вас поисповедовать. Вы, пожалуй, еще скажете, что вы против отделения так называемой ирландской церкви от государства?

Ларри. И скажу. Почему мне не быть против?

Общее смятение.

Мэтью *(озлобленно)*. Перебежчик!

Ларри. Святой Петр — камень, на котором воздвигалась наша церковь, — был распят вниз головой за то, что был перебежчиком.

Отец Демпси *(со спокойным достоинством, заставляющим притихнуть Дорана, который уже готов был взорваться)*. Это верно. Придержи язык, Мэтью Хаффиган; в тебе говорит только твое невежество. Предоставь твоему пастырю договориться с этим молодым человеком. Ну-с, Ларри Дойл, за что бы ни был распят святой апостол Петр, уж во всяком случае не за то, что он был протестантом. Вы, может быть, протестант?

Ларри. Нет. Я католик, достаточно разумный для того, чтобы понять, что протестанты всего опасней для нас, когда они никак не связаны с государством. Так называемая ирландская церковь сейчас сильнее, чем когда-либо.

Мэтью. Отец Демпси! Скажите ему, что мою бабку насмерть застрелил английский солдат в Роскулене на улице, во время войны против десятины! *(В бешенстве.)* Он хочет, чтоб пасторы опять брали с нас десятину! Он хочет...

Ларри *(перебивая, с презрением)*. Брать с вас опять десятину! Да ее с вас никогда и не переставали брать. Когда земля обходилась вам дороже? Когда вы платили десятину пастору или когда вы те же деньги отдавали Нику

Лестрэнджу в виде арендной платы, а он потом жертвовал их в церковный фонд? До каких пор вас будут околпачивать? Вам проведут новый закон в парламенте — вы и рады и не видите, что этот закон ничего не изменил, кроме покроя галстука на том человеке, который обчищает ваши карманы. Я вам скажу, что я бы сделал, Матт Хаффиган; я бы заставил вас платить десятину вашей собственной церкви. Я хочу, чтобы католическая церковь была государственной церковью в Ирландии; вот чего я хочу. Вы думаете, что я, католик, привыкший считать себя сыном великой и святой церкви, могу спокойно смотреть, как она вымаливает кусок хлеба у таких суеверных глупцов, как вы? Я хочу, чтобы она была вознесена над всякой мирской заботой так же высоко, как она должна быть вознесена над мирскими притязаниями и мирской гордыней. Да! И я считаю, что Ирландия должна стать престолом святого Петра на земле и твердыней церкви, — Ирландия, а не Рим. Потому что Рим, сколько бы ни было пролито крови мучеников, в сердце своем все же остается языческим; а в Ирландии народ — это церковь, а церковь — это народ.

Отец Демпси *(удивленный, но крайне довольный)*. Ну-ну! Да вы еще хуже, чем помешанный Питер Киган.

Бродбент *(слушавший Ларри с величайшим изумлением)*. Вы меня поражаете, Ларри! Вот уж не ожидал, что вы так обернете свою мысль. *(Торжественно.)* Я восхищен вашим поистине блестящим красноречием, но заклинаю вас: не подрывайте великий принцип либеральной партии — независимость церкви от государства.

Ларри. А я вовсе не либерал. Боже упаси! Церковь, независимая от государства, — это худшая тирания, какую можно навязать народу.

Бродбент *(морщится)*. Ради бога, Ларри, не надо парадоксов, у меня от них делается резь в желудке.

Ларри. Поживите здесь, и вы увидите, что это не парадокс, а правда. Посмотрите на отца Демпси! Вот он, пастырь независимой церкви — ему нечего ждать от государства и нечего бояться; и в результате он самый влиятельный человек во всем Роскулене. Здешний парламентский депутат трясется от страха, когда отец Демпси косо на него посмотрит.

Отец Демпси усмехается; нельзя сказать, чтобы такое признание его авторитета было ему неприятно.

Оглянитесь на самого себя. Вы готовы десять раз на день поносить епископа Кентерберийского, главу государственной церкви; а скажете вы хоть слово, которое может не понравиться какому-нибудь нонконформисту? Э, нет, поостережетесь! Консерваторы сейчас единственная партия, свободная от поповского засилья,— простите за грубое выражение, отец Демпси...

Отец Демпси снисходительно кивает.

...потому что только они не признают разделения церкви и государства и могут помешать священнику стать епископом, если у него нет качеств, нужных для государственного человека. *(Умолкает.)*

Все отупело смотрят на Ларри, потом на священника, предоставляя ответ ему.

Отец Демпси *(сентенциозно)*. Молодой человек, вы не будете депутатом от Роскулена, но голова у вас такая, что дай бог всякому.

Ларри. Мне очень жаль, что я обманул твои ожидания, отец, но я ведь сразу тебе сказал, что из этого ничего не выйдет. А теперь, я думаю, вашему депутату лучше удалиться, пока вы будете избирать ему преемника *(Берет со стола газету и уходит.)*

Все в немом молчании глядят ему вслед, пока он не скрывается за углом дома.

Доран *(обалдело)*. Что это за человек такой, а?

Отец Демпси. Толковый паренек; из него еще может выйти настоящий мужчина.

Мэтью *(в совершенном расстройстве)*. То есть как это понимать? Вы, стало быть, его пошлете в парламент, чтоб он опять посадил мне на шею Ника Лестрэнджа, и заставил меня платить десятину, и ограбил меня ради Патси Фарела,— и все это потому, что он единственный сын Корни Дойла?

Доран *(грубо)*. Заткнись, осел! Кто его собирается посылать в парламент? Может, тебя послать, чтоб ты там всем прожужжал уши насчет своего паршивого клочка земли?

Мэтью *(жалобно)*. И я должен это выслушивать после всех моих страданий?

Доран. Ох, надоели мне твои страдания! С малых лет только об этом и слышишь. Вечно кто-нибудь страдает — не ты, так другой; а не другой — ну, так наша мать Ир-

ландия. А какого черта? Хлеба нам, что ли, прибавится от этих страданий?

Отец Демпси. Это разумные слова, Барни Доран; только напрасно ты так часто поминаешь черта. *(Мэтью.)* Если б ты больше думал о страданиях святых мучеников, Матт, и меньше о своих собственных, тебе легче было бы войти в царствие небесное.

Мэтью хочет ответить.

Довольно! Хватит! Мы знаем, что ты не мыслишь зла, и я не сержусь на тебя.

Бродбент. Причина всего этого вам, конечно, ясна, мистер Хаффиган. Мой друг, Ларри Дойл, блестящий оратор. Но он консерватор, мистер Хаффиган, закоснелый, старозаветный консерватор.

Корнелий. Откуда это видно, смею спросить, мистер Бродбент?

Бродбент *(приготовляясь произнести политическую речь)*. Видите ли, мистер Дойл, в ирландском характере вообще есть черты консерватизма. Сам Ларри говорит, что в этом смысле герцог Веллингтон был типичный ирландец. Конечно, это нелепый парадокс; однако тут есть доля истины. Что же касается меня, то я либерал. Вам известны основные принципы либеральной партии. Мир...

Отец Демпси *(благочестиво)*. Очень хорошо. Прекрасно.

Бродбент *(чувствуя себя поощренным)*. Благодарю вас. Ограничение расходов... *(Останавливается, ожидая дальнейшего одобрения.)*

Мэтью *(робко)*. А что это, собственно, означает – ограничение расходов?

Бродбент. Это означает колоссальное снижение всяких поборов и налогов.

Мэтью *(почтительно одобряя)*. Вот это так! Это правильно, сэр.

Бродбент *(небрежно)*. Ну и, само собой разумеется, реформы.

Корнелий
Отец Демпси
Доран } *(без воодушевления)*. Разумеется.

Мэтью *(все еще подозрительно)*. А как это понимать – реформы? Это значит что-нибудь изменять из того, что есть?

Бродбент *(внушительно)*. Это значит, мистер Хаффиган, сохранить в неприкосновенности реформы, которые уже

были дарованы человечеству либеральной партией, а в будущем возложить надежды на свободную деятельность свободного народа на основе этих реформ.

Доран. Вот это правильно. Чтоб больше к нам не совались. У нас теперь есть, что нам надо, и мы одного хотим — чтобы нас оставили в покое.

Корнелий. А как насчет гомруля?

Бродбент *(встает, чтобы придать своей речи бо́льшую торжественность)*. Чтобы передать мои чувства в отношении гомруля, я должен буду прибегнуть к красочным выражениям.

Доран. Ай, ай, в присутствии отца Демпси?

Бродбент *(не понимая)*. Вот именно... гм... да. Я могу только сказать, что я, англичанин, краснею за мою страну. Это черное пятно на нашей национальной истории. Я с нетерпением жду того времени — и ждать его недолго, ибо и все человечество ждет его, джентльмены, и решительным голосом его призывает, — я с нетерпением жду того времени, когда ирландский парламент снова восстанет из праха на зеленых газонах в Колледж Грин, а Юнион Джек — этот отвратительный символ вырождающегося империализма — будет заменен флагом столь же зеленым, как тот остров, над которым он развевается, — флагом, в котором Англия претендует лишь на скромную четвертушку в память заслуг нашей великой партии и бессмертного имени нашего вождя.

Доран *(восторженно)*. Вот это называется речь! *(Хлопает себя по колену и подмигивает Мэтью.)*

Мэтью. Дай вам бог здоровья, сэр.

Бродбент. Теперь я вас покину, джентльмены, чтобы вы могли на свободе обдумать создавшееся положение. Я мог бы еще остановиться на заслугах либеральной партии в деле защиты той религии, которую исповедует большинство ирландского народа, но я ограничусь указанием, что ваш депутат — каково бы ни было собственное его вероисповедание — обязан быть, по моему мнению, горячим сторонником свободы совести и обязан это подтвердить посильной помощью — насколько позволят его средства, — помощью той возвышенной и плодотворной работе, которую вы, отец Демпси...

Отец Демпси кланяется.

...проводите среди населения Роскулена. Не следует также упускать из виду менее серьезный, однако тоже весь-

ма важный вопрос спорта. Местный клуб для игры в крикет...

Корнелий. Чего? Как вы сказали?

Доран. У нас никто не играет в лапту, если вы об этом говорите.

Бродбент. Ну, скажем, в городки. Вчера я видел двух парней, которые... впрочем, это, конечно, детали. Главное, это чтобы ваш депутат, кто бы он ни был, был человек со средствами и мог сам оказывать помощь округу, а не ложиться на него бременем. А если бы ваш выбор пал на моего соотечественника, какой моральный эффект это произвело бы в парламенте! Громадный! Потрясающий! Простите мне эту маленькую речь; никто лучше, чем я, не сознает ее дерзости. Прощайте, джентльмены. *(Торжественно направляется к калитке, а затем бодро шагает дальше, внутренне поздравляя себя с удачным политическим ходом и выражая свои чувства кивком головы и подмигиванием.)*

Хаффиган *(с почтительным страхом)*. Прощайте, сэр!

Остальные. Прощайте!

Все тупо смотрят вслед Бродбенту и молчат, пока он не уходит так далеко, что уже не может их слышать.

Корнелий. Что вы об этом думаете, отец Демпси?

Отец Демпси *(снисходительно)*. Умом его бог обидел. Но ведь и теперешний наш депутат не лучше.

Доран. Для парламента хватит. Что там нужно? Только языком трепать, да ругать правительство, да голосовать вместе с ирландской партией.

Корнелий *(раздумчиво)*. Чудной он англичанин, сроду таких не видывал. Сегодня развернул газету, и первое, что ему попалось на глаза, это что где-то в Индии расколошматили английскую военную экспедицию,— так видели бы вы, как он был доволен! Ларри ему сказал, что, если б он жил в то время, когда пришла весть о победе при Ватерлоо, он бы, наверно, тут же умер от огорчения. По-моему, у него в голове неладно.

Доран. А пускай, были бы у него только деньги. Я считаю, что он для нас подходящий.

Мэтью *(все еще под глубоким впечатлением от речи Бродбента; он отказывается понять непочтительный тон остальных)*. А вы слышали, что он сказал про ограничение расходов? Это, по-моему, очень здорово.

Отец Демпси. Вы, Корни, постарайтесь узнать от Ларри,

какое у него состояние. Господи прости! Не очень это похвальное дело – грабить египтян, хоть у нас и есть все оправдания; так уж хотелось бы знать, много ли там есть чего грабить, прежде чем пойти на это. *(Встает.)*

Все тоже почтительно встают.

Корнелий *(огорченно)*. А я было так настроился, что Ларри получит кресло в парламенте; но, видно, ничего не поделаешь.

Отец Демпси *(утешает его)*. Не беда. Он еще молод, и у него есть голова на плечах. Прощайте, друзья! *(Уходит через калитку.)*

Доран. Мне тоже пора. *(Обращает внимание Корнелия на то, что происходит на дороге.)* Смотри-ка, как наш бравый англичанин трясет руку отца Демпси. Ну точь-в-точь кандидат в день выборов! А отец Демпси жмет ему руку и подмигивает – ну словно хочет сказать: ладно, мол, заметано. Вот увидишь, он мне тоже будет пожимать руку; это он меня там дожидается. Я ему скажу, что он уже все равно что избран. *(Уходит, лукаво посмеиваясь.)*

Корнелий. Пойдем в дом, Матт. Я уж тебе продам свинью, так и быть. Пойдем вспрыснем покупку.

Мэтью *(тотчас впадая в жалобный тон бедняка арендатора)*. Дорого просите, сэр, не поднять мне таких расходов. *(Идет в дом вслед за Корнелием.)*

Ларри, все еще держа газету в руках, выходит из боскета. Бродбент возвращается через калитку.

Ларри. Ну? Что тут было?

Бродбент *(очень доволен собой)*. Кажется, я их взял за живое. Поговорил с ними по душам и попал в самую точку. Произвел на них огромное впечатление; теперь они все до одного верят мне и будут голосовать за меня, когда придется намечать кандидата. В конце концов, что бы вы ни говорили, Ларри, англичанин им больше по сердцу, чем кто другой. Они чувствуют, что на англичанина можно положиться, – вот в чем суть, по моему мнению.

Ларри. Ах так? Значит, теперь почетный выбор пал на вас?

Бродбент *(самодовольно)*. Что ж, удивительного тут ничего нет. Знаете, они не лишены проницательности, несмотря на все свои ирландские чудачества.

Ходсон выходит из дома, Ларри садится на стул, на котором сидел Доран, и погружается в чтение.

Да, послушайте, Ходсон!..

Ходсон *(выходит вперед и становится между Бродбентом и Ларри)*. Да, сэр?

Бродбент. Я бы хотел, чтоб вы были как можно любезнее с местными жителями.

Ходсон. Это не так легко, сэр. Они сами чересчур уж любезны. Если б я принимал все их любезности, я бы сейчас на ногах не стоял.

Бродбент. Все-таки не отпугивайте их, Ходсон. Я хочу, чтобы вы завоевали здесь популярность. Если вам придется потратиться, я возмещу расходы. Ничего, если вы сперва немножко раскиснете; это только привлечет к вам их симпатии.

Ходсон. Благодарю вас, сэр, вы очень великодушны. Но, по правде сказать, мне это ни к чему — их симпатии. Я не собираюсь тут выставлять свою кандидатуру в парламент.

Бродбент. Ну, а я собираюсь. Теперь вам понятно?

Ходсон *(тотчас встрепенувшись)*. Ах, так! Простите, сэр. Понимаю, сэр.

Корнелий *(выходит из дома вместе с Мэтью)*. Патси вечером отвезет свинью к тебе домой, Матт. Ну, прощай. *(Возвращается в дом.)*

Мэтью идет к калитке. Бродбент останавливает его. Ходсон, не в силах более выносить зрелища валяющейся среди сада пустой корзинки, подбирает ее и уносит в дом.

Бродбент *(сияя любезностью, как подобает кандидату в парламент)*. Позвольте выразить вам, мистер Хаффиган, мою горячую благодарность за поддержку, которую вы мне сегодня оказали. Она мне особенно дорога, потому что я считаю, что истинным сердцем нации является именно тот класс, к которому вы принадлежите, — класс иоменов.

Мэтью *(в ужасе)*. Иоменов!

Ларри *(поднимая глаза от газеты)*. Осторожней, Том! В Роскулене иомен — это нечто вроде оранжистского башибузука. Матт! В Англии иоменами называют фермеров, мелких землевладельцев.

Мэтью *(брюзгливо)*. Не учите меня, Ларри Дойл, сделайте милость. Иные господа думают, что, кроме них, никто уж ничего не знает. *(Бродбенту, почтительно.)* Я сам понимаю, что джентльмен вроде вас, сэр, не стал бы обзывать меня иоменом. Эти собаки избили палками моего

родного деда на улице в Этенмюллете, после того как сами запрятали ружье в соломенной крыше его дома, а потом будто бы его нашли, будь они прокляты!

Бродбент *(с живым сочувствием)*. Так вы не первый мученик в вашей семье, мистер Хаффиган?

Мэтью. У меня отняли пашню, которую я сам своими руками от камней расчистил, вон там на косогоре.

Бродбент. Я уже слышал об этом, и кровь моя кипит при одной мысли. *(Зовет.)* Ходсон!

Ходсон *(появляется из-за угла дома)*. Да, сэр? *(Поспешно подходит.)*

Бродбент. Ходсон! Страдания, перенесенные этим джентльменом, должны бы заставить призадуматься каждого англичанина. Косность мысли, скорей чем недостаток чувства, делает возможной подобную несправедливость, ложащуюся на наше общество позорным пятном.

Ходсон *(прозаически)*. Да, сэр.

Мэтью. Ну, мне пора домой. Покорно благодарим, сэр

Бродбент. Ведь вам, кажется, довольно далеко идти, мистер Хаффиган? Разрешите, я вас подвезу?

Мэтью. Ну, что вам беспокоиться, сэр.

Бродбент. Никакого беспокойства; для меня это только удовольствие. Мой экипаж в сарае. Сейчас мы его выведем, каких-нибудь пять минут, и готово.

Мэтью. Ну что ж, сэр... А коли будет ваша милость, так, может, мы и свинью прихватим, что я сегодня купил у Корни?

Бродбент *(с восторженной готовностью)*. Конечно, конечно, мистер Хаффиган! Мне будет очень приятно ехать вместе со свиньей, я буду чувствовать себя заправским ирландцем. Ходсон, останьтесь с мистером Хаффиганом и подержите свинью, если понадобится. Ларри, пойдемте со мной, вы мне поможете. *(Устремляется куда-то через боскет.)*

Ларри *(раздраженно швыряет газету на стул)*. Стойте! Том! Подождите! А, черт! *(Бежит за ним.)*

Мэтью *(окидывает Ходсона взглядом, полным презрения, и усаживается на стул Корнелия, подчеркивая этим свое социальное превосходство)*. Вы его лакей, что ли?

Ходсон. Да. Я лакей мистера Бродбента.

Мэтью. Неплохо, видно, живется вашему брату. Ишь какой гладкий. *(Со сдержанной яростью.)* А посмотри на меня! Можно про меня сказать, что я гладкий?

Ходсон *(меланхолично)*. Хотел бы я иметь ваше здоровье,

вид у вас такой, словно вы из железа. Сам я страдаю избытком мочевой кислоты.

Мэтью. То-оже болезнь — моченая кислота какая-то! А ты страдал от голода и несправедливости? Это вот ирландская болезнь! Легко вам растабарывать о болезнях, когда живете себе припеваючи на те денежки, что выдрали у нас из глотки.

Ходсон *(хладнокровно)*. Чего тебя разбирает, старичок? Кто тебя обидел?

Мэтью. Кто меня обидел? А ты слышал, что сказал твой хозяин? Он ведь сам англичанин! Что у него кровь кипит, когда он только подумает, как с меня потребовали аренду за пашню, которую я сам своими руками разделал, да отняли ее у меня и отдали Билли Байрну?

Ходсон. Ну, у Тома Бродбента кровь очень легко кипит, стоит только чему-нибудь случиться не у него на родине. Ты, Пэдди, не позволяй ему втирать тебе очки.

Мэтью *(возмущенно)*. Сам ты Пэдди! Как ты смеешь звать меня Пэдди!

Ходсон *(невозмутимо)*. Не кипятись. Лучше послушай, что я тебе скажу. Вам, ирландцам, чересчур хорошо живется, вот в чем несчастье. *(С неожиданной страстностью.)* Болтаешь тут насчет своей пашни! Подумаешь, выковырнул из земли два камешка да спустил их под гору! А что же тогда сказать о моем дедушке? Шестьдесят лет бился старик, работал, открыл наконец в Лондоне свое заведение — обойную мастерскую, отличное дело, по всей форме. А его взяли да и выгнали. Поди, говорят, вон, и ни одного пенни тебе не причитается. А вы еще тут орете насчет выселения, когда вас с места стронуть нельзя, пока не задолжаете за восемнадцать месяцев. Я как-то раз месяц задолжал за квартиру — этой зимой было, в Ламбете, я тогда был без работы,— так они поснимали двери с петель и рамы с окон, и у моей жены сделалось воспаление легких. Я теперь вдовец. *(Сквозь зубы.)* Как подумаешь, что мы только терпим, мы, англичане, да послушаешь, как вы, ирландцы, горло дерете насчет ваших дурацких обид, а потом являетесь к нам и еще портите тем, что соглашаетесь работать за гроши и спать в любой грязной дыре,— так, кажется, взял бы наш разлюбезный остров — Англию эту самую, да и преподнес вам: живите! Попробуйте на своей шкуре!

Мэтью *(не верит своим ушам; мысль эта так нова для него, что он не может даже рассердиться)*. То есть как

это? Ты смеешь Англию с нами равнять, с Ирландией?. Будто вы столько же терпите несправедливости, и насилия, и бедствий, и страданий?..

Ходсон *(с острым отвращением)*. Брось кудахтать, Пэдди! Заткни глотку! Где вам знать, что такое страдания. Вы только болтать об этом умеете. Я за гомруль. Знаешь, почему?

Мэтью *(платя ему не меньшим презрением)*. А сам-то ты знаешь?

Ходсон. Я-то знаю. Я, видишь ли, хочу, чтобы и моей стране тоже уделили, наконец, хоть капельку внимания. А этого не будет, пока ваша компания галдит в Вестминстере, словно только и есть на свете, что ваши драгоценные персоны. Пусть их убираются в Конноут или в преисподнюю, как еще Кромвел сказал. Хватит! Отчаливайте! Подарить бы вас Германии, чтоб у кайзера хлопот стало выше головы. А старушка Англия занялась бы, наконец, своими собственными делами. Вот вам!

Мэтью *(преисполненный презрения к человеку столь невежественному, что он произносит: Конноут, тогда как ирландское произношение этого слова — Коннет)*. Берегитесь, как бы мы сами не надумали отчалить, а вам не пришлось бы плакать. И скажи ты мне вот что: есть у вас в Англии билль о приостановке конституционных гарантий? Есть у вас сменяемые судьи? Есть у вас Дублинский Замок, где затыкают рот каждой газете, которая осмелится заступиться за народ?

Ходсон. Нет. Мы умеем себя прилично вести и без этого.

Мэтью. Твоя правда. На овцу не стоит надевать намордник. Ну ладно. Где моя свинья? Что толку разговаривать с такой жалкой, невежественной тварью, как ты.

Ходсон *(ухмыляется с добродушным лукавством; он так уверен в своем превосходстве, что даже не чувствует себя уязвленным)*. Ну и номер будет, когда ты повезешь свинью, Пэдди! Сорок миль в час, да по этой каменистой дороге,— сразу выйдут отбивные котлетки.

Мэтью *(с презрением)*. Уж врать, так хоть врал бы складно. Какая это лошадь может сделать сорок миль в час?

Ходсон. Лошадь! Эх ты, старый гриб! Не лошадь это, а автомобиль. Неужели ж Том Бродбент сам бы пошел запрягать лошадь?

Мэтью *(в страшном испуге)*. Господи помилуй! Так это он на машине меня везти хочет!

Ходсон. Ну а на чем же еще?

Мэтью. Ах, будь ты неладен! Что же ты мне раньше не сказал? Ну нет, черта с два повезет он меня на машине!

До его слуха доходит все более явственный «теф-теф».

Ох, смерть моя! Это за мной. Это она фырчит. *(Убегает через калитку, к великому удовольствию Ходсона.)*

Шум мотора смолкает, и Ходсон в ожидании Бродбента из политического оратора вновь превращается в образцового лакея. Бродбент и Ларри выходят из боскета. Ходсон отходит к калитке.

Бродбент. Где мистер Хаффиган? Пошел за свиньей?

Ходсон. Нет, сэр, удрал. Испугался машины.

Бродбент *(раздосадованный)*. Ах, это очень жаль. Он велел что-нибудь передать?

Ходсон. Нет, сэр. Он слишком спешил, сэр. Припустил домой со всех ног и про свинью забыл.

Бродбент *(живо)*. Забыл про свинью! Но тогда все в порядке. Самое главное — это свинья; свинья завоюет мне сердца всех ирландских избирателей. Мы отвезем свинью к нему на ферму; это произведет потрясающий эффект. Ходсон!

Ходсон. Слушаю, сэр.

Бродбент. Как вы думаете, удастся нам собрать толпу, когда мы будем отъезжать? Так, чтобы все нас видели.

Ходсон. Постараюсь, сэр.

Бродбент. Благодарю вас, Ходсон. Постарайтесь.

Ходсон уходит в калитку.

Ларри *(в отчаянии)*. Том! В последний раз! Хотите меня послушать?

Бродбент. Э, бросьте, Ларри. Все идет как нельзя лучше.

Ларри. Только сегодня утром вы удивлялись, что у здешних жителей отсутствует чувство юмора.

Бродбент *(внезапно принимает торжественный тон)*. Да. Юмор у них отсутствует. Я это заметил с первой же минуты, как мы высадились. И это в стране, где каждый человек прирожденный юморист! Подумайте, что за этим кроется! *(Внушительно.)* Ларри, эти люди переживают глубокую скорбь.

Ларри. О чем им скорбеть?

Бродбент. Я догадался, Ларри. Я прочитал это на их лицах. Ирландия забыла смех с того дня, как все ее надежды были похоронены в могиле Гладстона.

Ларри. О господи, ну как говорить с таким человеком! Да перестаньте же острить хоть на одну минуту.

Бродбент *(поражен)*. Острить? Я?

Ларри. Да, вы. Вы сказали, что у ирландцев отсутствует чувство юмора. Так вот, если вы поедете через весь Роскулен в автомобиле и потащите с собой свинью Хаффигана, так оно не будет отсутствовать. Вот. Я вас предупредил.

Бродбент *(жизнерадостно)*. И отлично! Я сам больше всех буду веселиться. *(Кричит во весь голос.)* Эй, Патси Фарел, где же вы?

Патси *(появляется из бокета)*. Здесь, ваша милость.

Бродбент. Скорей тащите сюда свинью и сажайте ее в автомобиль. Мы ее отвезем к мистеру Хаффигану. *(Хлопает Патси по плечу с такой силой, что тот, спотыкаясь, вылетает в калитку; Бродбент, сияя, идет за ним.)* Ну, живо! Эх вы, меланхолик! Вот я вам покажу, как надо проводить избирательную кампанию в Ирландии!

Патси *(глубокомысленно)*. А ну как свинья да ухватится за ручку машины!.. *(Обуреваемый мрачными предчувствиями, качает головой и не спеша направляется к хлеву*

Гостиная в доме Корни Дойла. Застекленная до половины дверь ведет в сад. Слева, прямо против двери и окон, находится камин; архитектор, строивший дом, по-видимому, не боялся сквозняков. Посреди комнаты стоит стол, внесенный из сада; за столом, занимая центральную позицию, сидит Киган; кроме него, в комнате еще много народу. Нора сидит спиной к камину, слева от Кигана, и играет с ним в триктрак; доска для триктрака помещается между ними, на углу стола. Немного дальше, против камина, сидит тетушка Джуди, поставив ноги на каминную решетку, и вяжет. Справа от Кигана и ближе к переднему плану Барни Доран присел на край стола; между ним и открытой дверью столпились его приятели, человек шесть мужчин; за дверью виднеются еще другие. Подальше, в углу, стоит набитый конским волосом диванчик из красного дерева, служащий постелью Бродбенту. У стены, сзади Кигана, виден буфет из красного дерева. Рядом с камином, позади тетушки Джуди, дверь во внутренние комнаты. Вдоль задней стены два стула, по одному с каждой стороны буфета. На том, что ближе к внутренней двери, лежит шляпа Кигана; рядом его трость, прислоненная к столу. Поближе к двери в сад, тоже у стены, стоит еще стул. Эмоциональная атмосфера весьма различна в разных углах комнаты. Киган необыкновенно мрачен; трудно допустить, чтобы суровость, отражающаяся на его лице, была вызвана игрой в триктрак. Тетушка Джуди мирно вяжет. Нора старается не замечать Дорана и сосредоточить все свое внимание на игре. Доран, наоборот, весь трясется от хохота; ему вторят его друзья. Они еле стоят на ногах, валятся на стулья, прислоняются к стенам, вскрикивают, взвизгивают, плачут от смеха.

Тетушка Джуди *(пользуясь минутой затишья)*. Да тише вы! Ну чему тут смеяться!

Барни. А ногу засунула в рулевое колесо... *(Не может говорить; остальные падают со смеху.)*

Тетушка Джуди. Постыдились бы вы, право! Словно малые дети. Нора, хлопни его по спине, а то он задохнется.

Доран *(глаза у него обратились в щелки, он обессилел от смеха)*. Остановились на углу, напротив Дулана, и тут он говорит: «Друзья, говорит, я хочу прокатить этого джентльмена – вашего главного налогоплательщика».

Тетушка Джуди. Это что значит?

Доран. Это в Англии так свинью называют. Шутка у них такая.

Тетушка Джуди. Не мастера же они шутить, если лучше не могли придумать.

Доран *(его снова одолевает смех)*. И тогда...

Тетушка Джуди. Барни! Да не начинай ты опять все сначала! И не хохочи ты так, ради бога!

Нора. Вы уже три раза это рассказывали, мистер Доран.

Доран. Ну если я не могу! Как вспомню, так и...

Тетушка Джуди. Так ты не вспоминай, голубчик.

Доран. Ну ладно, уселись. Патси на заднем сиденье, и свинью в ногах посадил, наш бравый англичанин на переднем, там, где у него всякие ручки, а Ларри на дороге стоит, заводит им машину, накручивает. И только она зафыркала, а свинья вдруг как взовьется, чуть из шкуры не выскочила, и кольцом, что у нее в пятачок продето, как хватит Патси по носу – в кровь расквасила.

Взрыв хохота; Киган гневно смотрит на смеющихся.

Бродбент и моргнуть не успел, а свинья ему на плечи, а потом к нему на колени... И тут она показала, что она не простая свинья, а образованная; видно, Корни ее хорошо воспитывал. Она сейчас же правым копытцем раз! – и включила четвертую скорость, точь-в-точь как на автомобильных гонках.

Нора. А Ларри стоял перед самой машиной! Право, это совсем не смешно, мистер Доран.

Доран. Что вы, мисс Рейли! Ларри одним прыжком отлетел на шесть ярдов. Он бы и на семь отлетел, да его Дуланова бабушка в передник поймала, правда, сама того не желая.

Всеобщее ликование.

Тетушка Джуди. Как не стыдно, Барни! Бедная старуха! Она ведь уже раз покалечилась, когда с лестницы упала. Сколько потом мучилась поясницей.

Доран. А теперь будет мучиться чем пониже. Ларри ее словно кеглю опрокинул – так и села!

Эта типично ирландская шутка в духе Рабле вызывает общий восторг.

Нора. Хорошо еще, что насмерть не убился.

Доран. По правде сказать, о Ларри в ту минуту никто не думал. Не до того было, когда наша свинка пустила машину по главной улице со скоростью шестьдесят миль в час. Да еще в базарный день! А Бродбент что мог сделать — со свиньей на коленях? Давай нажимать ножной тормоз; но свинячий хвост попал как раз под педаль: он думает, что тормозит, а на самом деле только ей хвост зажимает; и что ни больше он жмет, то она больше орет и еще быстрей гонит машину.

Тетушка Джуди. Почему он не выкинул свинью из автомобиля?

Доран. Да он и шевельнуться не мог, так она его притиснула. Сзади спинка сиденья, а спереди это самое колесо на палке, а сверху свинья — ну-ка, повернись!

Тетушка Джуди. Господи помилуй!

Нора. Не понимаю, как вы можете смеяться. Вы понимаете, мистер Киган?

Киган *(мрачно)*. Отчего бы и нет? Ведь тут налицо опасность, страданье, гибель. Что же еще нам нужно для веселья? Продолжай, Барни. Ты еще не все выжал из этой истории. Расскажи еще раз, как нашего брата разорвало в клочки.

Доран *(в недоумении)*. Чьего брата?

Киган. Моего.

Нора. Это он про свинью, мистер Доран. Вы ведь знаете его манеру.

Доран *(с честью выходит из положения)*. Мне очень жаль вашего брата, мистер Киган, но я вам одно могу посоветовать: велите поджарить малую его толику себе на завтрак, с парой яичек. Его, видите ли, погубило честолюбие. Мало ему было, что он с заднего сиденья перескочил на переднее, так он еще дальше вперед кинулся, прямо на дорогу. Ну и...

Киган. И все засмеялись!

Нора. Боже мой! Хоть этого не описывайте, мистер Доран.

Доран. А там уж не осталось, чего описывать, подобрать только — да на кухню.

Тетушка Джуди. Почему же мистер Бродбент не остановил машину, когда свинья выпрыгнула?

Доран. Остановишь ее, как же! Легче бешеного быка остановить. Сперва она ринулась в посудную лавку Молли Райян и устроила фейерверк из посуды, а потом завернула на скотный рынок и вывоpотила футов десять забора!

(С восторгом.) Ух, прямо камня на камне не оставила! Рынок весь полетел к чертям собачьим!

Нора встает, шокированная такими выражениями.

Киган *(возмущенно)*. Сэр!

Доран *(поспешно)*. Простите, мисс Рейли, простите, мистер Киган, ради бога. Молчу! Больше не скажу ни слова.

Нора. Удивляюсь вам, мистер Доран. *(Снова садится.)*

Доран *(задумчиво)*. А везет этому англичанину, ну прямо диву даешься! Когда мы его подобрали, на нем даже царапинки не было, только что платье свинья попортила. Патси себе два пальца вывихнул; ну, кузнец ему тут же вправил. Ох, и кавардак же был! Молли вопит: «Посуда, моя посуда!», Матт орет: «Свинья, моя свинья!», полисмен прибежал, номер записывает, а прочие все со смеху по земле катаются.

Киган *(страстно)*. Это ад! Да, это ад. Нигде больше люди не могли бы в таком событии найти повод для веселья.

Корнелий торопливо входит из сада, расталкивая стоящих на пороге.

Корнелий. Тише вы! Он идет. *(Кладет шляпу на буфет и, отойдя к камину, прислоняется к нему спиной.)*

Тетушка Джуди. Ну, теперь ведите себя прилично.

Все умолкают, у всех становятся постные, торжественные, сострадательные лица. Входит Бродбент. Его автомобильный костюм изорван и перепачкан, но сам он исполнен важности и собственного достоинства. Он подходит к тому концу стола, который ближе к двери, а Ларри, пришедший вместе с ним, швыряет свое автомобильное пальто на диван и садится, приготовившись наблюдать дальнейшее развитие событий.

Бродбент *(с достоинством снимает кожаную фуражку и кладет ее на стол)*. Надеюсь, вы не беспокоились обо мне?

Тетушка Джуди. Как же не беспокоиться, мистер Бродбент! Ведь это чудо, что вас насмерть не убило.

Доран. Не убило! Чудо, что ему косточки все до одной не переломало. Как только вы уцелели? Вот не думал, что так обрадуюсь, когда опять вас увижу живым и здоровым. И каждый то же самое скажет.

Сочувственный ропот.

Пойдем к Дулану, пропустим по стаканчику — запить ваши волнения.

Бродбент. Вы очень добры, но волнения мои давно прошли
Доран *(весело)*. Ничего, все равно пойдем, вы нам расскажете все за кружкой.
Бродбент. Разрешите мне высказать вам, друзья мои, как глубоко я тронут вниманием, которым вы меня окружили после этого несчастного случая. Я готов сказать хорошо, что он произошел, ибо он помог мне вполне оценить всю доброту и отзывчивость ирландской натуры

Голоса. Ну, а как же иначе!
Это же понятно!
Ведь вас чуть не убило!

Один из молодых людей, не в силах больше сдерживаться выбегает из комнаты. У Барни совершенно каменное лицо

Бродбент. Я могу только сказать, что с удовольствием бы выпил за здоровье каждого из вас.
Доран. Так пойдем и выпьем.
Бродбент *(с необыкновенной торжественностью)*. Нет. Я абсолютный трезвенник.
Тетушка Джуди *(недоверчиво)*. С каких это пор?
Бродбент. С сегодняшнего утра, мисс Дойл. Я получил урок *(многозначительно взглядывает на Нору)*, которого не забуду. Возможно, что абсолютное воздержание уже спасло мне жизнь; я сам был изумлен спокойствием моих нервов, когда сегодня смерть заглянула мне в лицо. Итак, вы извините меня. *(Приготовляется произнести речь.)* Джентльмены! Я надеюсь, что испытание, через которое мы сегодня все прошли, — ибо я хорошо понимаю, что стоявшим на улице угрожала не меньшая опасность, чем тем, кто находился в машине, — послужит к созданию между нами еще более тесной и прочной связи. Мы пережили бурный день: ценное и ни в чем не повинное животное лишилось жизни; общественное сооружение было разрушено; пожилая и немощная особа пострадала от столкновения, за которое я несу личную ответственность, хотя, к несчастью, мой друг мистер Лоуренс Дойл принял на себя первые проявления ее вполне законного гнева. Я глубоко скорблю о тяжелых повреждениях пальцев, полученных мистером Патриком Фарелом; я уже позаботился о том, чтобы он не потерпел по крайней мере денежного ущерба.

Ропот одобрения по поводу его щедрости; голос: «Вы настоящий джентльмен, сэр!»

Я рад отметить, что Патси перенес все это как истый ирландец и, далекий от проявления каких-либо злых чувств, выразил готовность переломать себе все остальные пальцы на тех же условиях.

Сдержанные аплодисменты и возглас: «Молодчина, Патси!»

Джентльмены! С первой же минуты моего пребывания в Ирландии я почувствовал себя здесь как дома.

Растущее волнение среди слушателей.

Я увидел, что в груди каждого ирландца живет тот дух свободы...

Веселый голос: «Правильно! В самую точку!»

..то инстинктивное недоверие к правительству...

Негромкий голос, истово: «Дай вам бог, сэр!»

.та любовь к независимости...

Вызывающий голос: «Вот именно! Независимость!»

..то пламенное сочувствие всем угнетенным нациям за рубежом...

Грозный ропот, нарастание патриотического гнева.

..и та решимость грудью отстаивать права каждого у себя на родине – все те чувства, которые почти совершенно угасли у нас в Англии. Будь это дозволено законом, я немедленно принял бы ирландское гражданство! И если я пройду в парламент в качестве ирландского депутата, первое, что я намерен сделать, – это провести закон, который давал бы возможность каждому британцу осуществить такое желание. Я уверен, что большинство членов либеральной партии не замедлит ею воспользоваться.

Минутное сомнение среди слушателей.

Я в этом уверен.

Бурное одобрение.

Джентльмены, я кончил.

Крики: «Продолжайте!»

Нет. Я еще не имею права выступать перед вами на политические темы; и мы не должны злоупотреблять столь радушным, поистине ирландским гостеприимством мисс Дойл и обращать ее гостиную в залу митинга.

Доран *(энергично)*. Трижды «ура» Тому Бродбенту, будущему депутату от Роскулена!

Тетушка Джуди *(размахивая недовязанным чулком)*. Гип, гип, ура!

Оглушительное «ура». Слушатели кричат с тем большим жаром, что для наиболее смешливых из них крик сейчас единственное средство предотвратить апоплексический удар.

Бродбент. Благодарю вас от всего сердца, друзья мои.

Нора *(шепотом, Дорану)*. Уведите их, мистер Доран.

Доран кивает.

Доран. Ну, прощайте, мистер Бродбент. Вы не пожалеете о том дне, когда поехали кататься с Хаффигановой свиньей.

Они пожимают друг другу руки.

Прощайте, мисс Дойл.

Всеобщие рукопожатия. Бродбент каждому с жаром трясет руку. Он выходит в сад проводить их, и через открытую дверь слышен его голос, вкладывающий в прощальные приветствия все оттенки любезности, известные в практике парламентских кандидатов. В гостиной остаются Нора, тетушка Джуди, Киган, Ларри и Корнелий. Ларри идет к двери и смотрит на происходящее в саду

Нора. Стыдно так его дурачить. Он во сто раз лучше, чем Барни Доран.

Корнелий. Пропащее теперь дело с его кандидатурой. Засмеют его так, что рад будет ноги унести из города.

Ларри *(быстро обернувшись)*. О нет, даже не подумает. Он не ирландец. Он не поймет, что над ним смеются; и пока они будут смеяться, он пройдет в парламент.

Корнелий. Да ведь людям рот не заткнешь — все про это узнают.

Ларри. А он и не станет затыкать. Он сам будет всем рассказывать, как о таком событии в истории Англии и Ирландии, в котором явно виден перст божий.

Тетушка Джуди. Ну не станет же он разыгрывать из себя такого дурака!

Ларри. А вы уверены, что он такой уж дурак, тетушка Джуди? Допустим, что вы имели бы право голоса. За кого бы вы стали голосовать? За того, кто изложил эту исто-

рию так, как это сделал Барни Доран, или за того, кто это сделал, как Бродбент?

Тетушка Джуди. Я бы вообще за мужчину не стала голосовать. Что нам нужно в парламенте, так это несколько женщин, чтобы там поменьше болтали вздору.

Бродбент *(шумно входит в комнату, снимает свое изорванное пальто и кладет его на диван)*. Ну, слава богу, с этим покончено. Простите, пожалуйста, мисс Дойл, что мне пришлось произнести эту маленькую речь. Им это нравится. Во время предвыборной кампании ничем нельзя пренебрегать.

Ларри берет стул, стоящий у двери, ставит его поближе к столу и садится на него верхом, положив локти на спинку.

Тетушка Джуди. Я и не знала, что вы такой оратор, мистер Бродбент.

Бродбент. О, это не хитро – нужна только сноровка. Научиться недолго. А их это подогревает.

Тетушка Джуди. Да! Я и забыла. Вы ведь незнакомы с мистером Киганом. Позвольте вас познакомить.

Бродбент *(радушно пожимает руку Кигану)*. Очень рад, мистер Киган. Я уже столько слышал о вас, хотя до сих пор не имел счастья пожать вам руку. Разрешите спросить – ваше мнение для меня особенно ценно, – каковы, по-вашему, мои шансы на избрание?

Киган *(холодно)*. Ваши шансы превосходны, сэр. Вы пройдете в парламент.

Бродбент *(очень обрадован)*. Да, мне тоже кажется. Я надеюсь. *(Впадает в сомнение.)* А вы действительно так думаете? Вы уверены, что это беспристрастное суждение? Быть может, в вас говорит преданность великим принципам нашей партии?

Киган. Я не питаю никакой преданности к вашей партии, сэр. Вы пройдете в парламент, ибо вам этого очень хочется, – настолько, что вы согласны проделать все то, что требуется, дабы заставить людей голосовать за вас. Именно таким способом обычно и проходят в это фантастическое учреждение.

Бродбент *(повержен в недоумение)*. Д-да. *(Пауза.)* В самом деле. *(Пауза.)* Гм. Да. *(Самоуверенность возвращается к нему.)* Я думаю, они будут голосовать за меня. А? Что?

Тетушка Джуди. Да почему бы и нет? Вы только посмотрите, за кого иной раз голосуют!

Бродбент *(подбодренный)*. Это верно. Это совершенно верно Когда я вижу болтунов, и вымогателей, и шарлатанов, и дураков, и невежд, которые развращают народные массы своими деньгами или забивают им голову пустозвонными фразами, я невольно прихожу к мысли, что честный, прямодушный англичанин, который обращался бы к здравому смыслу граждан и стоял на твердой почве принципов и общественного долга, непременно должен завоевать доверие представителей всех классов.

Киган *(сдержанно)*. Сэр, раньше, когда я был еще очень молод и неопытен, я бы, пожалуй, назвал вас лицемером.

Бродбент *(краснея)*. Лицемером!

Нора *(поспешно)*. Я уверена, мистер Киган, что вы сами этого не думаете.

Бродбент *(горячо)*. Благодарю вас, мисс Рейли. Благодарю вас.

Корнелий *(мрачно)*. Заниматься политикой да чтобы никогда не слукавить,— где же это видано?

Бродбент *(натянуто)*. Надеюсь, что ни в моих словах, ни в поступках не найдется ничего такого, что могло бы вызвать подобное замечание, мистер Дойл. Больше всего на свете я ненавижу лицемерие, и вся моя деятельность на общественной арене служит тому подтверждением Я скорее готов быть непоследовательным, чем неискренним.

Киган. Не обижайтесь на меня, сэр. Я знаю, что вы вполне искренни. В священном писании есть текст, который, если мне не изменяет моя стариковская память, гласит так пусть правая половина твоего мозга не ведает, что творит левая. В Оксфорде меня учили, что именно в этом секрет успеха англичан и в этом мире, и в будущем.

Бродбент. В тексте говорится о правой и левой руке, мистер Киган. Меня, по правде сказать, удивляет, что вы, католик, черпаете цитаты из столь протестантского источника, как Библия. Но уж тогда по крайней мере следовало бы цитировать точно.

Ларри. Том, вы, при самых лучших намерениях, строите из себя дурака. Вы не улавливаете своеобразного юмора мистера Кигана.

Бродбент *(благодушие тотчас возвращается к нему)*. Ах, так это только ваш очаровательный ирландский юмор, мистер Киган? Конечно, конечно. Как глупо с моей сто-

роны. Простите. *(Добродушно похлопывает его по плечу.)* Что поделаешь, туповат Джон Булль. А кроме того, слышать, как тебя называют лицемером,— такую штуку трудно сразу переварить.

Киган. Примите также во внимание, что я помешан.

Нора. Ах, не надо так говорить, мистер Киган.

Бродбент *(тоном утешения)*. Что вы, что вы, мистер Киган. Немножко ирландской чудаковатости, вот и все, правда?

Ларри. Вы в самом деле помешаны, мистер Киган?

Тетушка Джуди *(шокирована)*. Ларри, ну можно ли такое спрашивать?

Ларри. Мистер Киган не обидится. *(Кигану.)* Скажите, что это за история о чернокожем, которого вы будто бы исповедовали на смертном одре?

Киган. А что вы слышали?

Ларри. Мне рассказывали, что, когда дьявол пришел за душой чернокожего язычника, он снял вам голову и трижды ее повернул, а потом приставил обратно. С тех пор голова у вас не в порядке.

Нора *(укоризненно)*. Ларри!

Киган *(невозмутимо)*. Это не совсем точно. *(Становится серьезным; видно, готовится сказать что-то значительное.)*

Все невольно прислушиваются.

Мне сказали, что неподалеку умирает черный человек и никто не хочет к нему подойти — все боятся. Когда я туда пошел, оказалось, что это старик индус, и он поведал мне повесть о незаслуженных обидах, жестоких неудачах, неумолимых ударах судьбы — одну из тех повестей, от которых привычные слова утешения застывают на устах священника. Но этот человек не жаловался на свои невзгоды. Он считал, что это возмездие за грехи, совершенные им в предыдущей жизни. И, не услышав от меня ни слова утешения, он умер с такой ясностью и спокойствием духа, какие я редко видел даже у христиан, получавших от меня все потребные напутствия. А я остался сидеть у его изголовья, и тогда мне открылась тайна этого мира.

Бродбент. Блестящее доказательство того, какой свободой вероисповедания пользуются индийские подданные Британской империи.

Ларри. Без сомнения. Но можно нам узнать, в чем заключается тайна этого мира?

Киган. Совершенно очевидно, что наш мир — это место скорби

и терзаний, место, где процветает глупец, а мудрого преследуют и ненавидят; место, где мужчины и женщины мучают друг друга во имя любви; где детей гнетут и истязают во имя воспитания и родительского долга; где слабых телом отравляют и увечат во имя исцеления, а слабых духом подвергают ужасной пытке лишения свободы – не на часы, а на годы – во имя правосудия. Это место, где люди согласны на самый тяжелый труд, лишь бы спастись от невыносимой скуки своих развлечений; где дела милосердия творятся руками наемников ради искупления душ развратников и тунеядцев. Моя религия учит, что на свете есть только одно такое место ужаса и страданья – это ад. А стало быть, наша земля и есть ад, и мы, как мне это открыл старик индус,– а может быть, он был послан свыше, чтобы мне это открыть,– мы находимся здесь, дабы искупить грехи, совершенные нами в предыдущей жизни.

Тетушка Джуди *(испуганно)*. Господи помилуй, даже слушать страшно!

Корнелий *(вздыхая)*. Чудной этот наш мир, уж это верно.

Бродбент. Это очень остроумная идея, мистер Киган, прямо блестящая; я бы ни за что не додумался. Но мне кажется – если вы разрешите мне сказать,– вы не учитываете тот факт, что из описанных вами зол некоторые совершенно необходимы для защиты общества, а другие находят поощрение лишь тогда, когда у власти стоят консерваторы.

Ларри. Вы сами, наверно, были консерватором в предыдущей жизни; вот за что вы сюда попали.

Бродбент *(убежденно)*. Нет, Ларри, никогда. Никогда! Но, оставляя в стороне политику, я нахожу, что наш мир не так уж плох, даже совсем уютное местечко.

Киган *(глядя на него с кротким удивлением)*. Он вас удовлетворяет?

Бродбент. Если не предъявлять к нему неразумных требований, то вполне. Я не вижу в нем таких зол – кроме, конечно, связанных с самым естеством жизни,– которых нельзя было бы устранить при помощи свободы самоуправления и английских политических учреждений. Я говорю так не потому, что я англичанин, а потому, что мне это подсказывает здравый смысл.

Киган. Вы чувствуете себя здесь дома, да?

Бродбент. Конечно. А вы разве нет?

Киган *(из самой глубины души)*. Нет.

Бродбент *(победоносно)*. Попробуйте фосфорные пилюли Я всегда принимаю их при умственном переутомлении Хотите, я вам дам адрес, где их достать, на Оксфорд-стрит?

Киган *(сдержанно, вставая)*. Мисс Дойл, меня опять одолевает бродячее настроение. Вы не обидитесь, если я уйду?

Тетушка Джуди. Да пожалуйста; ведь сказано раз навсегда приходите и уходите, когда вам вздумается.

Киган. Мы окончим партию как-нибудь в другой раз, мисс Рейли. *(Берет свою палку и шляпу.)*

Нора. Нет. Я с вами больше не буду играть. *(Смешивает фигуры на доске.)* Я была слишком дурной в предыдущей жизни, чтобы играть с таким хорошим человеком, как вы.

Тетушка Джуди *(шепчет ей)*. Не надо об этом, дитя. Не напоминай ему.

Киган *(Норе)*. Когда я смотрю на вас, я начинаю думать, что, пожалуй, Ирландия всего только чистилище. *(Направляется к стеклянной двери.)*

Нора. Да ну вас!

Бродбент *(шепотом, Корнелию)*. Он имеет право голоса?

Корнелий *(кивает)*. О да. И еще пропасть народу будет голосовать так, как он скажет.

Киган *(с мягкой серьезностью)*. Прощайте, мистер Бродбент Вы заставили меня призадуматься. Благодарю вас.

Бродбент *(страшно доволен; спешит к нему, чтобы пожать ему руку)*. Нет, правда? Общение с английскими идеями стимулирует мысль, да?

Киган. Мне никогда не прискучит вас слушать, сэр

Бродбент *(из скромности протестуя)*. Ну что вы!

Киган. Уверяю вас. Вы в высшей степени интересный человек *(Уходит.)*

Бродбент *(в восторге)*. Какой приятный старик! Сколько здравого смысла, какая широта суждений — даром что священник. Кстати, мне, пожалуй, надо помыться. *(Забирает пальто и фуражку и уходит во внутреннюю дверь.)*

Нора возвращается на свое место у стола и складывает доску для триктрака.

Тетушка Джуди. Киган сегодня совсем чудной. Видно, опять на него нашло.

Корнелий *(расстроен, с горечью)*. Он, может, и прав. Скверно что-то жить на свете. Все вкривь и вкось идет. *(Ларри.)*

Что ты за дурак такой, зачем позволил ему перебить у тебя место в парламенте?

Ларри *(взглянув на Нору)*. Он не только это у меня перебьет, раньше чем с нами покончит.

Корнелий. И зачем он только сюда явился, чтоб ему пропасть! А как ты думаешь, Ларри, даст он мне фунтов триста под заклад фермы? У меня сейчас туго с деньгами. И почему бы мне ее не заложить, раз она теперь моя собственная?

Ларри. Хочешь, я тебе дам триста фунтов?

Корнелий. Нет, нет. Я не для того сказал. После меня все тебе останется; но когда я буду умирать, мне будет приятней думать, что ферма была целиком моя, а не вроде как уже наполовину твоя. Я готов побожиться, что Барни Доран уже нацелился попросить у Бродбента пятьсот фунтов под заклад мельницы; ему новое колесо нужно, старое-то чуть держится. А Хаффиган спит и видит, как бы прибрать к рукам соседний участок — знаешь, тот, дулановский. И чтоб его купить, придется ему заложить свой. Так что же мне-то зевать? Бродбент даст? Как ты думаешь?

Ларри. Нисколько в этом не сомневаюсь.

Корнелий. Он такой покладистый? Так, может, он и пятьсот даст?

Ларри. Он даст больше, чем ты сможешь когда-либо за нее выручить, так что, ради бога, будь осторожен.

Корнелий *(рассудительно)*. Ладно, ладно, сынок, я буду держать ухо востро. Пойду в контору. *(Уходит через внутреннюю дверь — по-видимому, для того, чтобы обдумать свой будущий разговор с Бродбентом.)*

Тетушка Джуди *(возмущенно)*. Ну скажи, пожалуйста, ведь земельным агентом был, кажется, довольно насмотрелся, к чему это приводит, а теперь сам вздумал деньги занимать! *(Встает.)* Вот я ему сейчас займу, будет помнить! *(Кладет недовязанный чулок на стол и выходит вслед за Корнелием с угрожающим видом, который не сулит ему ничего доброго.)*

Ларри и Нора в первый раз после его приезда остаются вдвоем. Она взглядывает на него с улыбкой, но улыбка гаснет, когда Нора замечает, что он равнодушно покачивается на стуле и размышляет о чем-то,— но явно не о ней,— сложив губы так, словно намеревается засвистать. Со вздохом она берет чулок тетушки Джуди и делает вид, будто вяжет.

Нора. Тебе, наверно, это не показалось очень долгим?

Ларри *(вздрагивает)*. А? Что не показалось?

Нора. Да вот эти восемнадцать лет, что мы не виделись.

Ларри. Ах, это-то. Нет. Словно одна неделя прошла. Я был так занят, некогда было думать.

Нора. А мне больше нечего было делать, как только думать

Ларри. Это очень плохо. Почему же ты не бросила все? Почему не уехала отсюда?

Нора. Никто не прислал за мной и никуда меня не позвал Должно быть, поэтому.

Ларри. Да. Человек готов всю жизнь просидеть в своем углу, если не вмешается какая-нибудь посторонняя сила и не сорвет его с места. *(Зевает. Нора быстро взглядывает на него; тогда он решительно встает, словно проснувшись и вспомнив, что ему полагается быть любезным.)* Как тебе жилось все это время?

Нора. Спасибо, очень хорошо.

Ларри. Приятно слышать. *(Внезапно обнаруживает, что больше ему нечего сказать, и в смущении принимается бродить по комнате, напевая себе что-то под нос.)*

Нора *(борясь со слезами)*. Больше ты мне ничего не скажешь, Ларри?

Ларри. Да что же говорить? Мы ведь так хорошо знаем друг друга.

Нора *(несколько утешенная)*. Да, правда.

Ларри не отвечает.

Удивляюсь, что ты вообще приехал.

Ларри. Не мог иначе.

Нора нежно смотрит на него.

Том меня заставил.

Нора быстро опускает глаза, чтобы скрыть боль от этого нового удара.

(Насвистывает следующий такт той же мелодии, затем опять заговаривает.) У меня был какой-то страх перед этой поездкой. Мне казалось, что это принесет мне несчастье. А вот я здесь, и ничего не случилось.

Нора. Тебе тут, наверно, скучно?

Ларри. Нет, ничего. Приятно все-таки бродить по старым местам, вспоминать и грезить о былом.

Нора *(с надеждой)*. Так ты все-таки помнишь старые места?

Ларри. Конечно. С ними столько связано мыслей.

Нора *(теперь уже не сомневаясь, что эти мысли касаются ее)*. О да!

Ларри. Да. Я очень хорошо помню свои излюбленные местечки, где я, бывало, сидел и думал обо всех тех странах, куда я поеду, когда удеру из Ирландии. Об Америке и Лондоне, а иногда еще о Риме и Востоке.

Нора *(глубоко оскорбленная)*. Это все, о чем ты тогда думал?

Ларри. Дорогая моя Нора, о чем же еще было здесь думать? Разве только иной раз на закате случалось, что впадешь в сентиментальное настроение, ну, тогда начинаешь называть Ирландию — Эрин и воображать, будто тебя обступают тени прошлого и прочее тому подобное. *(Насвистывает: «Помни, зеленый Эрин».)*

Нора. Ты получил мое письмо, что я тебе послала в прошлом феврале?

Ларри. Получил. И, честное слово, я все собирался ответить. Но ни минуты не было свободной; и я знал, что ты не обидишься. Видишь, я всегда боюсь, что, если я стану писать о своих делах, о которых ты ничего не знаешь, и о людях, которых ты никогда не видала, тебе будет скучно. А больше о чем же мне писать? Я начинал письмо, а потом рвал его. Дело все в том, Нора, что у нас — как бы мы ни были друг к другу привязаны — в сущности, очень мало общего, то есть такого, о чем можно писать в письме; поэтому переписка иной раз превращается в тяжелый труд.

Нора. Трудно мне было что-нибудь знать о тебе и о твоих делах, раз ты мне ничего не рассказывал.

Ларри *(раздраженно)*. Нора, мужчина не может описывать каждый свой день; он слишком устает от того, что его прожил.

Нора. Я тебя не виню.

Ларри *(смотрит на нее с участием)*. Ты как будто неважно себя чувствуешь? *(Подходя ближе, нежно и заботливо.)* У тебя случайно нет невралгии?

Нора. Нет.

Ларри *(успокоенный)*. А у меня бывает, когда немного раскисну. *(Рассеянно, опять принимаясь бродить по комнате.)* Да, так-то. *(Смотрит через открытую дверь на ирландский пейзаж и, сам того не замечая, начинает с большим выражением напевать арию из оффенбаховского «Виттингтона».)*

Пусть вечно здесь сияет лето
И лист не падает с ветвей,—

Нет лучше Англии на свете...
О ветер северных морей!

Нора, слушая его пенье, вначале настраивается на сентиментальный лад; но чувства, выраженные в последних двух строчках, так удивляют ее, что она роняет вязанье на колени и смотрит на Ларри во все глаза. Он продолжает петь, но мелодия переходит в слишком высокий для его голоса регистр, и тогда он начинает высвистывать «Помни, зеленый Эрин».

Боюсь, что я надоел тебе, Нора, хотя ты слишком добра и сама, конечно, этого не скажешь.

Нора. Тебя уже тянет обратно в Англию?

Ларри. Вовсе нет. Ни капельки.

Нора. В таком случае странно, что ты поешь такую песню

Ларри. Ах, песню! Ну, это ровно ничего не значит Ее сочинил немецкий еврей; английский патриотизм по большей части такого происхождения. Не обращай на меня внимания, дорогая. И пожалуйста, скажи, когда я тебе наскучу.

Нора *(горько)*. Роскулен не такое уж веселое место, чтобы ты мог мне наскучить при первом же разговоре после восемнадцати лет разлуки, хоть ты и мало что нашел мне сказать.

Ларри. Восемнадцать лет! Это чертовски долго, Нора. Будь это восемнадцать минут или даже восемнадцать месяцев, нить не успела бы порваться и мы бы сейчас болтали, как две сороки. А так я просто не нахожу, что сказать; да и ты тоже.

Нора. Я... *(Слезы душат ее, но она изо всех сил старается этого не показать.)*

Ларри *(совершенно не сознавая своей жестокости)*. Через недельку-другую мы опять станем старыми друзьями. А пока что похоже, что тебе от меня мало радости, и лучше я удалюсь. Скажи Тому, что я пошел на холмы прогуляться.

Нора. Ты, видно, очень привязан к Тому, как ты его зовешь

Ларри *(тотчас меняет тон; очень серьезно)*. Да, я очень привязан к Тому.

Нора. Так иди к нему, пожалуйста. Я тебя не держу.

Ларри. Я понимаю, что мой уход будет для тебя облегчением. Не очень-то удачная вышла встреча после восемнадцати лет, а? Ну, ничего! Такие чувствительные

встречи всегда неудачны. А теперь по крайней мере самое неприятное уже позади. *(Уходит через дверь в сад.)*

Нора, оставшись одна, мгновение борется с собой, потом, упав лицом на стол, разражается рыданиями. Рыдания сотрясают ее с такой силой, что на время она перестает что-либо слышать и замечает, что она не одна, лишь тогда, когда оказывается в объятиях Бродбента, который появился из внутренней двери, тщательно вымытый и причесанный. При виде ее слез Бродбента охватывают сперва удивление и жалость, а затем волнение, столь сильное, что он совершенно перестает владеть собой.

Бродбент. Мисс Рейли! Мисс Рейли! Что случилось? Не плачьте. Я не могу этого вынести. Не надо плакать. *(Она делает мучительное усилие заговорить; это ей так трудно, что Бродбент порывисто восклицает.)* Нет, нет, не говорите, не надо! Плачьте, сколько вам хочется, не стесняйтесь меня, доверьтесь мне. *(Прижимая ее к груди, бессвязно бормочет слова утешения.)* Поплачьте у меня на груди; где же и плакать женщине, как не на груди у мужчины. Настоящего мужчины, настоящего друга. Ведь что за грудь, а? Широкая! Верных сорок два дюйма! Нет, нет, не смущайтесь, бросьте церемонии. Мы ведь друзья, правда? Ну, ну, ну! Ведь вам хорошо теперь, да? Удобно? Уютно?

Нора *(сквозь слезы)*. Пустите. Где мой платок?

Бродбент *(обнимая ее одной рукой, другой достает большой шелковый платок из жилетного кармана)*. Вот вам платок. Разрешите мне. *(Вытирает ей слезы.)* Ничего, что это не ваш. Ваш, наверно, крохотный. Знаю я эти батистовые платочки...

Нора *(рыдая)*. Вовсе не батистовый... а простой бумажный...

Бродбент. Ну конечно, простой бумажный... совсем никудышный... недостойный касаться глаз моей Норы Крейны...

Нора *(истерически хохочет, цепляясь за него, и старается заглушить смех, прижимаясь лицом к его ключице)*. Ох, не смешите меня, не смешите меня, ради бога!

Бродбент *(испуган)*. Я не хотел, честное слово! Почему? В чем дело?

Нора. Нора Крина! Нора Крина!

Бродбент *(ласково похлопывает ее по спине)*. Ах, ну конечно, Нора Крина. Нора акэшла...

Нора. Акушла!

Бродбент. Тьфу, проклятый язык! Нора, милочка... Моя Нора... Нора, которую я люблю...

Нора *(в ней сразу заговорило чувство приличия)*. Вы не имеете права так со мной говорить.

Бродбент *(становится необычайно серьезным и отпускает ее)*. Да, конечно, не имею. Я вовсе не хотел... то есть я именно хотел... но я понимаю, что это преждевременно. Я не имел права пользоваться тем, что вы сейчас взволнованы, но я сам на минуту потерял самообладание

Нора *(удивленно глядя на него)*. Вы, должно быть, очень добрый человек, мистер Бродбент, но собой вы, как видно, совсем не владеете. *(Отворачивается, охваченная стыдом.)* Не больше, чем я.

Бродбент *(решительно)*. О нет, я умею владеть собой; вы бы посмотрели, каков я, когда разойдусь; тогда у меня потрясающее самообладание... Припомните: мы с вами только один раз видались наедине, кроме сегодняшнего И в тот вечер, к моему стыду, я был в омерзительном состоянии.

Нора. Ах нет, мистер Бродбент, вы вовсе не были омерзительны.

Бродбент *(неумолимо)*. Нет, был. Мне нет оправдания. Форменная скотина! Я произвел на вас, вероятно, самое отталкивающее впечатление.

Нора. Да право же нет. Не будем об этом говорить.

Бродбент. Я вынужден говорить, мисс Рейли; это мой долг Я вас задержу на одну минутку. Присядьте. *(С угнетающей торжественностью указывает на стул. Нора, очень удивленная, садится. Бродбент все с той же важностью ставит другой стул рядом, садится и приступает к объяснению.)* Во-первых, мисс Рейли, заверяю вас, что сегодня я не пил решительно ничего, содержащего алкоголь.

Нора. У вас это как-то так... не получается такой большой разницы, как у ирландца.

Бродбент. Возможно. Возможно. Я никогда не теряю власти над собой.

Нора *(утешая его)*. Ну, сейчас вы, во всяком случае, в полном сознании.

Бродбент *(с жаром)*. Благодарю вас, мисс Рейли. Конечно. Теперь у нас пойдет на лад. *(Понизив голос, нежно.)* Нора, вчера я говорил серьезно.

Нора делает движение, словно собираясь встать.

Нет. Минуточку. Не думайте, что я требую от вас окон-

чательного ответа сейчас, когда не прошло еще и суток с начала нашего знакомства. Я готов ждать сколько угодно, лишь бы вы подали мне надежду, что ваш ответ в конце концов не будет отрицательным.

Нора. Господи! Да ведь если я это сделаю, значит, я уже согласилась? Право, мистер Бродбент, иногда мне кажется, что у вас в голове что-то неладно. Вы иногда говорите такие смешные вещи.

Бродбент. Да, я знаю, во мне очень сильно чувство юмора, и от этого люди иногда сомневаются в серьезности моих слов. Вот почему я всегда считал, что мне следует жениться на ирландке. Она бы понимала мои шутки. Вы бы, например, их понимали, правда?

Нора *(в смущении)*. Я, право, не знаю, мистер Бродбент...

Бродбент *(успокоительно)*. Подождите. Я вам постепенно все открою, мисс Рейли. Выслушайте меня. Вы, вероятно, заметили, что, говоря с вами, я проявлял чрезвычайную сдержанность; я боялся оскорбить вашу деликатность слишком резким выражением своих чувств. Но теперь я чувствую, что настало время говорить, говорить прямо, говорить откровенно, говорить ясно. Мисс Рейли, вы внушили мне необыкновенно сильную привязанность. Быть может, с чисто женской интуицией вы уже догадались об этом.

Нора *(встает, расстроенная)*. Зачем вы это говорите? Такие нелепые, бессердечные фразы?

Бродбент *(тоже встает)*. Нелепые? Бессердечные?

Нора. Как вы не понимаете, что сказали мне то, чего ни один мужчина не должен говорить женщине, если только он не... если он не... *(Ее вдруг начинают душить слезы, и она опять падает лицом на стол.)* Ах, уйдите! Я ни за кого не выйду замуж. Что это приносит, кроме горя и разочарования!

Бродбент *(обнаруживая самые угрожающие симптомы ярости и обиды)*. То есть это значит, что вы мне отказываете? Что вы меня не любите?

Нора *(глядя на него в тревоге)*. Не принимайте этого так близко к сердцу, мистер Бр...

Бродбент *(весь красный, почти задыхаясь)*. Не утешайте меня. Не водите меня за нос. *(С детским гневом.)* Я люблю вас. Я хочу, чтобы вы были моей женой. *(В отчаянии.)* Я не могу вас заставить. Я бессилен. Я ничего не могу. Вы не имеете права разрушать мою жизнь. Вы... *(Истерическая спазма прерывает его речь.)*

Нора *(в испуге)*. Не собираетесь ли вы заплакать? Я никогда не думала, что мужчины могут плакать. Пожалуйста, не надо.

Бродбент. Я не плачу. Я-я-я... я предоставляю это вашим сентиментальным ирландцам. Вы думаете, я бесчувственный, потому что я сухой, сдержанный англичанин и не умею красно говорить о своих чувствах?

Нора. Мне кажется, вы сами не знаете, что вы за человек. Кем-кем, а бесчувственным вас не назовешь.

Бродбент *(обижен)*. Вы сами бесчувственная! Вы такая же бессердечная, как Ларри!

Нора. А что я должна была сделать? Броситься вам на шею, как только вы сказали первое ласковое слово?

Бродбент *(бьет кулаком по своей непонятливой голове)*. Какой же я дурак! Какая же я скотина! Ведь это только ваша ирландская застенчивость. Ну конечно! А на самом деле вы согласны? Ведь да? А? Правда? Да, да, да?

Нора. Неужто вам непонятно, что я теперь могу остаться старой девой, если предпочту эту участь, но замуж мне уже ни за кого нельзя выйти, кроме вас?

Бродбент *(хватает ее и стискивает в объятиях с глубоким вздохом облегчения и торжества)*. Ну, слава богу! Вот и отлично! Я так и знал, что в конце концов вы тоже поймете, как это будет хорошо для нас обоих.

Нора *(испытывая лишь неудобство, а отнюдь не восторг от его пылкости)*. Вы ужасно сильный и, право, злоупотребляете своей силой... Я совсем не о том думала, хорошо это будет для нас или нет. Когда вы меня здесь застали и я позволила вам приласкать меня и поплакала у вас на груди, я это сделала просто так – ну, потому, что была несчастна и мне так хотелось утешения! Но как же я после этого позволю другому мужчине дотронуться до меня?

Бродбент *(растроган)*. Это очень мило с вашей стороны, Нора. В высшей степени деликатно и женственно. *(Рыцарски целует ей руку.)*

Нора *(глядя на него вопросительно и с некоторым сомнением)*. А вы сами – если бы вы позволили женщине плакать у себя на груди, ведь до другой вы уже не могли бы дотронуться?

Бродбент *(несколько смущенно)*. Конечно, я бы не должен. Мне бы не следовало. Но, по совести говоря, если муж-

чина — сколько-нибудь приятный мужчина, то его грудь — это крепость, которой приходится выдерживать не одну осаду. По крайней мере это так у нас, в Англии.

Нора *(сухо, с раздражением)*. Так лучше вам жениться на англичанке.

Бродбент *(морщась)*. Нет, нет! Англичанки, на мой вкус, слишком прозаичны, слишком материальны — просто какие-то ходячие бифштексы. Меня влечет к идеальному. А у Ларри как раз противоположный вкус. Он любит плотненьких и бойких, таких, чтобы сами шли ему навстречу. Это очень удобно: мы поэтому никогда не влюблялись в одну и ту же женщину.

Нора. Вы смеете говорить мне в глаза, что вы уже раньше были влюблены?

Бродбент. Господи! Ну конечно, был.

Нора. Я не первая ваша любовь?

Бродбент. Первая любовь — это всегда капелька сумасбродства и очень много любопытства; ни одна уважающая себя женщина на это не польстится. Нет, моя дорогая Нора, с этим я давно покончил. Любовные истории всегда кончаются ссорой. А мы не будем ссориться. Мы построим прочный семейный очаг — муж и жена, комфорт и здравый смысл, ну и, конечно, сердечная привязанность. А? *(Обнимает ее уверенным жестом хозяина.)*

Нора *(уклоняясь, холодно)*. Я не хочу подбирать остатки после другой женщины.

Бродбент *(не выпуская ее)*. Никто вас не просит, сударыня. Я еще ни одной женщине не предлагал руки.

Нора *(строго)*. Почему же вы этого не сделали, если вы порядочный человек?

Бродбент. Видите ли, они по большей части были уже замужем... Успокойтесь. Я никому не сделал зла. А кроме того, нехорошо все валить на меня одного. Ведь у вас тоже небось были одно-два увлечения?

Нора *(ощущая укор совести)*. Да. Я не имею права быть слишком разборчивой.

Бродбент *(смиренно)*. Нора, я знаю, что я вас не стою. Ни один мужчина не стоит женщины, если она по-настоящему хорошая женщина.

Нора. О, я не лучше вас. Я должна вам признаться...

Бродбент. Нет, нет, только не признавайтесь; гораздо лучше без этого. Давайте, и я вам не буду ни в чем признаваться, и вы мне тоже. Полное доверие и никаких признаний — лучший способ избежать ссор.

Нора. Не думайте, что это что-нибудь такое, чего я должна стыдиться.

Бродбент. Я и не думаю.

Нора. Никого больше не было возле меня, кого бы я могла полюбить; поэтому я и оказалась такой дурочкой и вообразила, будто Ларри...

Бродбент *(сразу отметает эту возможность)*. О, Ларри! Из этого бы все равно ничего не вышло. Вы не знаете Ларри так, как я его знаю, дорогая. Он решительно не способен радоваться жизни; он не сумел бы сделать женщину счастливой. Умен, как бес, но жизнь для него слишком низменна; он никого и ничего не любит.

Нора. В этом я убедилась.

Бродбент. Ну конечно. Нет, дорогая, поверьте мне, это счастье для вас, что вы с ним развязались. Вот! *(Сгребает ее в охапку и прижимает к груди.)* Здесь вам будет гораздо лучше.

Нора *(привередничая, как истая ирландка)*. Не надо. Мне это не нравится.

Бродбент *(неукротимо)*. Привыкнете — и понравится. Не сердитесь на меня: это непреодолимая потребность моей природы — время от времени кого-нибудь потискать. А вам это полезно — у вас от этого разовьются мускулы и фигура станет лучше.

Нора. Ну-ну! Это такие манеры у вас в Англии? Вам не стыдно говорить о таких вещах?

Бродбент *(теперь он окончательно разошелся)*. Ни капельки! Честное слово, Нора, жизнь — великолепная штука! Пойдем погуляем, что тут сидеть в душной комнатушке. Мне здесь тесно! Я жажду простора! Идем. Ну, раз, два, три — поехали! *(Подхватывает ее под руку и увлекает в сад, как ураган сухой листочек.)*

В тот же вечер, попозже, на холме возле большого камня кузнечик снова наслаждается солнечным закатом. Но теперь нет ни Кигана, который развлекал бы его беседой, ни Патси Фарела, в которого он мог бы вселить страх. Он поет в одиночестве, пока на холм не поднимаются рука об руку Нора и Бродбент. Бродбент по-прежнему весел и самоуверен; Нора же, почти в слезах, отворачивается от него.

Бродбент *(останавливается, вдыхая горный воздух)*. Ах! Прекрасный вид! Отличное местечко! Самое подходящее

для отеля и спортивной площадки. Сюда мы приезжали бы играть в гольф. С пятницы до вторника, плата за билет включается в стоимость пансиона... Знаешь, Нора, я этим займусь, честное слово. *(Смотрит на нее.)* Что с тобой? Устала?

Нора *(не в силах удержать слезы)*. Никогда в жизни мне не было так стыдно.

Бродбент *(удивлен)*. Стыдно? Чего?

Нора. Боже мой! Как ты мог таскать меня по всему городу и всем говорить, что мы помолвлены, и знакомить меня с самыми последними людьми, и позволять, чтобы они пожимали мне руку, и поощрять их бесцеремонность? Не думала я дожить до такого срама — за руку здороваться с Дуланом среди бела дня на главной улице Роскулена!

Бродбент. Но, дорогая, ведь Дулан — трактирщик; в высшей степени влиятельный человек. Кстати, я его спросил, будет ли его жена завтра дома. Он сказал, что будет; так что завтра ты, пожалуйста, возьми машину и поезжай к ней с визитом.

Нора *(в ужасе)*. Это чтобы я поехала к жене Дулана?

Бродбент. Ну да, конечно; придется съездить ко всем их женам. Надо будет достать списки избирателей. У кого нет права голоса, к тем, понятно, незачем заезжать. Ты, Нора, настоящая находка для избирательной кампании; ты тут считаешься богатой наследницей, им будет страшно лестно, что ты приедешь. Тем более что раньше ты ведь никогда до них не снисходила?

Нора *(возмущенно)*. Никогда!

Бродбент. Нам теперь нельзя быть слишком гордыми и замкнутыми. Истинная демократичность и внимание ко всем избирателям без различия классов! Нет, до чего мне везет, а? Я женюсь на самой очаровательной женщине во всей Ирландии, и оказывается, что ничего лучше я не мог придумать для успеха избирательной кампании.

Нора. И ты, значит, согласен, чтобы я всячески унижалась, лишь бы тебе пройти в парламент?

Бродбент *(из него так и брызжет энергия)*. Подожди, вот увидишь, какая это зажигательная штука — выборы! Сама все сделаешь, только бы я прошел. А потом, разве тебе не приятно будет, когда люди станут говорить, что, мол, Том Бродбент всем обязан жене, она его провела в парламент! А может быть — почем знать? — и в кабинет министров, а, Нора?

Нора. Видит бог, мне не жалко денег! Но опускаться до самого простого люда...

Бродбент. Для жены депутата, Нора, нет простых людей, если только они имеют право голоса. Не огорчайся, дорогая. Тут ничего нет плохого, иначе разве я бы тебе позволил? Самые порядочные люди так делают. Все так делают.

Нора *(кусая губы, смотрит вниз с холма, нисколько не убежденная и все еще расстроенная)*. Ну, тебе лучше знать, как там у вас делают в Англии. Только я считаю, что они невысоко себя ценят. А теперь я пойду. Сюда идут Ларри и мистер Киган, а я сейчас не могу с ними разговаривать.

Бродбент. Подожди минутку и скажи что-нибудь любезное Кигану. Говорят, он имеет не меньше влияния, чем сам отец Демпси.

Нора. Плохо ты знаешь Питера Кигана. Он меня насквозь видит, как если бы я была из стекла.

Бродбент. А ему все равно будет приятно. Ведь человека подкупает не самая лесть, а то, что ты считаешь его достойным лести. Только ты не подумай, что я когда-нибудь кому-то льстил. Никогда в жизни. Пойду ему навстречу. *(Направляется вниз по тропинке, изображая на лице живую радость, как при встрече с дорогим и особенно уважаемым другом.)*

Нора вытирает глаза и уже хочет уйти, как вдруг Ларри появляется на тропинке и подходит к ней.

Ларри. Нора. *(Она оборачивается и молча смотрит на него. Он говорит тепло, явно ища примирения)*. Когда я от тебя ушел, мне тоже стало тяжело, как и тебе. Тогда я просто не знал, о чем говорить, и плел что придется, только чтобы сгладить неловкость. С тех пор я успел подумать, и теперь я знаю, что я должен был сказать. Я нарочно за этим вернулся.

Нора. Ну, так ты опоздал. Тебе мало было, что я ждала восемнадцать лет,— ты думал: пускай подождет еще денек. А вот и ошибся. Я помолвлена с твоим другом, мистером Бродбентом; а с тобой я покончила.

Ларри *(наивно)*. Так ведь я это самое и хотел тебе посоветовать.

Нора *(в невольном порыве)*. О, какое животное! Говорить мне это в лицо!

Ларри *(раздраженно, впадая в свою самую ирландскую манеру)*. Нора, пойми, наконец, что я ирландец, а он англичанин. Ты ему нужна; он тебя хватает — и готово. Мне ты тоже нужна, и вот я ссорюсь с тобой и всю жизнь буду жить без тебя.

Нора. Ну и живи себе. Отправляйся обратно в Англию к своим ходячим бифштексам, которые тебе так нравятся.

Ларри *(в изумлении)*. Нора! *(Догадывается, откуда она взяла эту метафору.)* Ага, он говорил с тобой обо мне. Ну ладно, все равно; мы с тобой должны быть друзьями. Я не хочу, чтобы его женитьба на тебе означала его разрыв со мной.

Нора. Он тебе дороже, чем я; дороже, чем я тебе когда-нибудь была.

Ларри *(с жестокой откровенностью)*. Конечно, дороже. Какой смысл это скрывать? Нора Рейли очень мало что значила для меня и для всех людей на свете. Но миссис Бродбент будет значить очень много. Играй хорошо свою новую роль — и больше не будет ни одиночества, ни бесплодных сожалений, ни пустых мечтаний по вечерам возле Круглой башни. Будет реальная жизнь, и реальный труд, и реальные заботы, и реальные радости среди реальных людей — крепкая английская жизнь в Лондоне, истинном центре мира. Хлопот у тебя будет выше головы — вести хозяйство Тома, и развлекать друзей Тома, и проводить Тома в парламент; но это стоит труда.

Нора. Ты так говоришь, словно я еще должна быть ему благодарна за то, что он на мне женится.

Ларри. Я говорю то, что думаю. Ты делаешь очень выгодную партию — вот тебе мое мнение.

Нора. Скажите пожалуйста! Ну, многие найдут, что для него это тоже небезвыгодное дело.

Ларри. Если ты хочешь сказать, что в тебе он нашел неоценимое сокровище, то он и сам сейчас так думает; и ты сможешь всю жизнь поддерживать в нем это убеждение, если приложишь капельку усилий.

Нора. Я не о себе думала.

Ларри. Ты думала о своих деньгах?

Нора. Я этого не сказала.

Ларри. В Лондоне твоих денег не хватит заплатить за год кухарке.

Нора *(вспылив)*. Если даже это правда — и в таком случае стыдно тебе, что ты посмел мне это бросить в лицо! — но если даже правда, то мои деньги все-таки дадут нам

независимость; на самый худой конец мы всегда сможем вернуться сюда и жить на них. А если мне придется вести его дом, так одно я могу сделать – позаботиться, чтоб твоя нога туда не ступала. Я с тобой покончила. И лучше бы я с тобой никогда и не встречалась. Прощайте, мистер Ларри Дойл. *(Поворачивается к нему спиной и уходит.)*

Ларри *(глядя ей вслед)*. Прощай! Прощай! Боже, до чего это по-ирландски! До чего же мы оба ирландцы. О Ирландия, Ирландия, Ирландия!..

Появляется Бродбент, оживленно разговаривающий с Киганом.

Бродбент. Нет ничего прибыльней, чем загородный отель и поле для гольфа; но, конечно, надо быть не только пайщиком, а чтоб и земля была ваша, и мебельные поставщики не слишком вас прижимали, и чтоб у вас у самого была деловая жилка.

Ларри. Нора пошла домой.

Бродбент *(убежденно)*. Вы были правы, Ларри. Нору необходимо подкормить. Она слабенькая, и от этого у нее разные фантазии. Да, кстати, я вам говорил, что мы помолвлены?

Ларри. Она сама мне сказала.

Бродбент *(снисходительно)*. Да, она сейчас этим полна, могу себе представить. Бедная Нора! Так вот, мистер Киган, я уже говорил вам. Мне теперь понятно, что́ тут можно сделать. Теперь мне понятно.

Киган *(с вежливым полупоклоном)*. Английский завоеватель, сэр. Не прошло и суток, как вы приехали, а уже похитили нашу единственную богатую наследницу и обеспечили себе кресло в парламенте. А мне вы уже пообещали, что, когда я буду приходить сюда по вечерам, чтобы размышлять о моем безумии, следить, как тень от Круглой башни удлиняется в закатных лучах солнца, и бесплодно надрывать себе сердце в туманных сумерках, думая об умершем сердце и ослепшей душе острова святых, – вы утешите меня суетой загородного отеля и зрелищем детей, таскающих клюшки за туристами и тем подготовляющихся к дальнейшей своей судьбе.

Бродбент *(растроганный, молча протягивает ему в качестве утешения сигару, которую Киган с улыбкой отстраняет)*. Вы совершенно правы, мистер Киган, вы совершенно

правы. Поэзия есть во всем, даже *(рассеянно заглядывает в портсигар)* в самых современных и прозаических вещах; нужно только уметь ее почувствовать. *(Выбирает одну сигару для себя, другую подает Ларри; тот берет ее.)* Я бы не сумел, хоть убейте; но тут начинается ваша роль. *(Лукаво, пробуждаясь от мечтательности и добродушно подталкивая Кигана.)* А я вас немножко расшевелю. Это моя роль. А? Верно? *(Очень ласково похлопывает его по плечу, отчасти любуясь им, отчасти его жалея.)* Да, да, так-то! *(Возвращаясь к делу.)* Да, кстати, — мне кажется, тут можно устроить что-нибудь поинтересней трамвайной линии. Моторные лодки теперь все больше входят в моду. И посмотрите, какая великолепная река у вас пропадает даром.

Киган *(закрывая глаза)*. «Молчанье, о Мойла, царит на твоих берегах».

Бродбент. Уверяю вас, шум мотора очень приятен для слуха.

Киган. Лишь бы он не заглушал вечерний благовест.

Бродбент *(успокоительно)*. О нет, этого нечего бояться; колокольный звон страшно громкая штука, им можно все что угодно заглушить.

Киган. У вас на все есть ответ, сэр. Но один вопрос все-таки остается открытым: как вырвать кость из собачьей пасти?

Бродбент. То есть?..

Киган. Нельзя строить отели и разбивать площадки для гольфа в воздухе. Вам понадобится наша земля. А как вы вырвете наши акры из бульдожьей хватки Матта Хаффигана? Как вы убедите Корнелия Дойла отказаться от того, что составляет его гордость, — положения мелкого помещика? Как вы примирите мельницу Барни Дорана с вашими моторными лодками? Поможет ли вам Дулан получить разрешение на постройку отеля?

Бродбент. Мой дорогой сэр, синдикат, представителем которого я являюсь, уже сейчас владеет доброй половиной Роскулена. Дулан зависит от своих поставщиков; а его поставщики — члены синдиката. А что до фермы Хаффигана, и мельницы Дорана, и усадьбы мистера Дойла, и еще десятка других, то не пройдет и месяца, как на все это у меня будут закладные.

Киган. Но, простите, вы ведь не дадите им больше, чем стоит земля: и они смогут вовремя выплачивать проценты.

Бродбент. Ах, вы поэт, мистер Киган, а не деловой человек.

Ларри. Мы дадим им в полтора раза больше, чем стоит

земля; то есть больше того, что *они* смогут за нее выручить.

Бродбент. Вы забываете, сэр, что с нашим капиталом, с нашими знаниями, с нашей организацией и, осмелюсь сказать, с нашими английскими деловыми навыками мы сможем выручить десять фунтов там, где Хаффиган, при всем своем трудолюбии, не выручит десяти шиллингов. А мельница Дорана – это вообще устарелая чепуха; я поставлю там турбину для электрического освещения.

Ларри. Ну какой смысл давать таким людям землю? Они слишком беспомощны, слишком бедны, слишком невежественны. Где им бороться с нами! Это все равно, что подарить герцогство бродячему трубочисту.

Бродбент. Да, мистер Киган. У этого края блестящее будущее – может быть, индустриального центра, может быть, курорта; сейчас еще трудно сказать. Но в этом будущем вашим Хаффиганам и Доранам нет места, беднягам!

Киган. А может быть, у него совсем нет никакого будущего. Вы об этом подумали?

Бродбент. О нет, этого я не боюсь. Я верю в Ирландию, мистер Киган. Глубоко верю.

Киган. А мы – нет. У нас нет веры; только пустое бахвальство и пустая спесь – и еще более пустые воспоминания и сожаленья. О да, вы имеете право считать, что если у этой страны есть будущее, то оно принадлежит вам, ибо наша вера умерла и наши сердца смирились и охладели. Остров мечтателей, которые пробуждаются от своих мечтаний в ваших тюрьмах; критиканов и трусов, которых вы покупаете и заставляете себе служить; разбойников, которые помогают вам грабить нас, чтобы потом самим разворовать то, что вы награбили.

Бродбент *(его раздражает такой неделовой взгляд на вещи)*. Да, да. Но, знаете, то же самое можно сказать о любой стране. Суть не в этом, а в том, что на свете есть только две вещи – успех и неуспех, и два сорта людей – те, у кого есть деловая хватка, и те, у кого ее нет. И совершенно неважно, ирландцы они или англичане. Я приберу ваш городишко к рукам не потому, что я англичанин, а Хаффиган и компания – ирландцы, а потому, что они простофили, а я знаю, как взяться за дело.

Киган. А вы подумали о том, что будет с Хаффиганом?

Ларри. Э, мы ему дадим какую-нибудь работу и платить будем, наверно, больше, чем он сейчас выручает.

Бродбент *(с сомнением)*. Вы думаете? Нет, нет. Сейчас уже становится невыгодно брать на работу людей старше сорока лет, даже в качестве чернорабочих, а это, вероятно, единственное, на что Хаффиган способен. Нет, пусть лучше уезжает в Америку или в колонии, бедный старик. Он отработал свое, это сразу видно.

Киган. Бедная, обреченная душа, с такой дьявольской хитростью запертая в невидимых стенах.

Ларри. Неважно, что будет с Хаффиганом. Он все равно скоро умрет.

Бродбент *(шокирован)*. Ах, нет, Ларри. Не будьте таким бессердечным. Это жестоко по отношению к Хаффигану. Не будем жестоки к потерпевшим крушение.

Ларри. Э! Какое это имеет значение, где окончит свои дни дряхлый, бесполезный старик и есть ли у него миллион фунтов в банке или только койка в работном доме. Идут в счет только молодые, способные люди. Истинная трагедия Хаффигана в том, что юность его была растрачена бесплодно, что ум его остался неразвитым, что он до тех пор возился со свиньями и копался в грязи, пока сам не обратился в свинью и комок грязи, а вместо души у него остался один скверный характер, от которого нет житья ни ему самому, ни окружающим. Пусть умирает поскорей, а наше дело позаботиться о том, чтобы у нас больше не было таких, как он. Молодая Ирландия должна извлечь из этого урок, а не повод для еще новых бесплодных сожалений. Пусть ваш синдикат...

Бродбент. Ваш тоже, дружище. Вы ведь тоже, кажется, пайщик.

Ларри. Хорошо, пусть будет мой. У нашего синдиката нет совести; все ваши Хаффиганы, и Дуланы, и Дораны значат для него не больше, чем кучка китайских кули. Он использует ваши патриотические бредни и вожделения, чтобы получить над вами политический контроль в парламенте, и проделает это с таким же цинизмом, как если бы закладывал кусочек сыра в мышеловку. Он будет рассчитывать, и организовывать, и привлекать капиталы, а вы будете трудиться на него, как муравьи, и утешаться тем, что наймете на свои гроши какого-нибудь демагога или газетного писаку и он тиснет в своей газетке статью или выдержку из речи, в которой будет обличать нашу бессовестность и нашу тиранию и восхвалять ваш ирландский героизм,— то есть поступите точь-в-точь, как Хаффиган, который когда-то заплатил пенс колдунье, чтобы она на-

вела порчу на корову Билли Байрна. И в конце концов синдикат выколотит из вас дурь и вколотит в вас немного энергии и здравого смысла.

Бродбент *(теряя терпение)*. Ларри! Почему не говорить просто о простых вещах, без всех этих ирландских преувеличений и краснобайства? Наш синдикат — вполне респектабельная организация, в состав которой входят самые уважаемые люди с солидным общественным положением. Мы возьмем Ирландию в руки и, поставив все по-деловому, научим ирландцев деловитости и самопомощи на основе здравых либеральных принципов. Вы согласны со мной, мистер Киган?

Киган. Сэр, я готов даже голосовать за вас.

Бродбент *(искренне тронутый, горячо пожимая ему руку)*. Вы в этом не раскаетесь, мистер Киган, даю вам слово. Сюда потекут деньги; мы повысим заработную плату, мы создадим здесь культурные учреждения — библиотеку, политехнические курсы — не дающие прав, конечно, — гимнастический зал, клуб для игры в крикет, может быть школу живописи. Я обращу Роскулен в город-сад, а Круглую башню мы отделаем и реставрируем.

Киган. И наше место пыток станет таким же чистеньким и аккуратненьким, как самое чистое и аккуратное место, какое мне известно в Ирландии, а именно — дублинская тюрьма. Что ж, пожалуй, лучше голосовать за толкового дьявола, который знает свое дело и свою цель, чем за бестолкового патриота, у которого нет ни своего дела, ни своей цели.

Бродбент *(натянуто)*. «Дьявол» — несколько сильное выражение при данных обстоятельствах, мистер Киган.

Киган. Но не в устах человека, который верит, что наш мир — это ад. Впрочем, если это выражение вас обижает, я согласен его смягчить и назвать вас просто ослом.

Ларри бледнеет от злости.

Бродбент *(краснея)*. Ослом?

Киган *(кротко)*. Не принимайте это за оскорбление; ведь это говорит помешанный, который считает осла своим братом — и каким еще честным, полезным и верным братом! Осел, сэр, самое деловитое из всех животных, здравомыслящее, выносливое, дружелюбное, когда вы обращаетесь с ним как со своим ближним; упрямое лишь тогда, когда вы с ним жестоки, и комическое только в любви,

которая заставляет его испускать ослиные крики, и в политике, которая побуждает его кататься на спине посреди дороги и поднимать пыль безо всякой надобности. Ведь вы не станете отрицать в себе наличие этих добродетелей и этих привычек?

Бродбент *(добродушно)*. Боюсь, знаете ли, что все-таки стану.

Киган. Тогда, быть может, вы признаете за собой единственный ослиный порок?

Бродбент. Посмотрим. Какой это порок?

Киган. Тот, что все свои добродетели — всю свою деловитость, как вы это зовете, — он расточает на то, чтобы творить волю своих жадных хозяев, вместо того чтобы творить божью волю, скрытую в нем самом. Он очень деловит на службе Маммоне, могуч во зле, неистов в разрушении и героичен в неправедности. Но он приходит к нам травить наши луга, не подозревая, что земля, которой касаются его копыта, — святая земля. Ирландия, сэр, и в добре и во зле не похожа ни на какую другую страну под солнцем; никто не может ступать по ее земле и дышать ее воздухом — и не измениться, к добру или к худу. Она с равным совершенством производит два рода людей: святых и предателей. Ее называют островом святых; но за последние годы справедливо было бы называть ее островом предателей, ибо урожай негодяев в нашей стране — это отборное зерно в мировой жатве мерзости. Но когда-нибудь Ирландию будут ценить не по богатству ее минералов, а по доблести ее сынов; и тогда мы посмотрим.

Ларри. Мистер Киган, если вы намерены разводить сантименты на тему об Ирландии, я с вами распрощаюсь. Это мы всегда умели; а еще ловчей мы умели доказывать, что всякий, кто ирландец, тот осел. Не скажу, чтобы это было очень умно или очень вежливо. Нашему синдикату это не помешает; а молодую Ирландию заинтересует гораздо меньше, чем евангелие успеха, проповедуемое моим другом.

Бродбент. Да, успех — это главное. Деловитость, мистер Киган, как вы совершенно правильно отметили. Я нисколько не обижаюсь на ваши насмешки, но в основном Ларри прав. Мир принадлежит людям дела.

Киган *(с утонченной иронией)*. Я получил по заслугам, джентльмены. Но поверьте, я готов отдать должное вашей деловитости и вашему синдикату. Вы оба, как я слышал, в высшей степени дельные гражданские инженеры; и не сомневаюсь, что поле для гольфа будет наглядным свиде-

тельством ваших успехов в этом искусстве. Мистер Бродбент с большим успехом пройдет в парламент, — а этого и святой Патрик не сумел бы, будь он сейчас жив. Вы, может быть, даже вполне успешно построите отель, если найдете достаточно дельных каменщиков, плотников и слесарей, в чем я сомневаюсь. *(Оставляя иронический тон и мало-помалу впадая в интонацию проповедника, обличающего грехи.)* Когда ваш отель прогорит...

Бродбент, несколько смущенный, вынимает сигару изо рта.

...ваши английские деловые навыки помогут вам успешно провести ликвидацию. Вы успешно реорганизуете предприятие, а затем с блестящим успехом ликвидируете вторичное банкротство.

Бродбент и Ларри переглядываются, ибо приходится допустить, что либо священник сам прожженный финансист, либо он вдохновлен свыше.

Вы успешно отделаетесь от первоначальных пайщиков, после того как успешно их разорите; и в конце концов с большим успехом приобретете отель в собственность по два шиллинга за фунт. *(Все более сурово.)* Кроме этих успешных операций, вы не менее успешно предъявите ко взысканию ваши закладные *(укоризненный его перст поднимается сам собой)* и вполне успешно выгоните Хаффигана в Америку, а Барни Дорану с его грубиянством и сквернословием найдете успешное применение в роли надсмотрщика над вашими белыми рабами. А затем *(тихо и горько)*, когда этот мирный, заброшенный край обратится в кипящий котел, где мы все будем выбиваться из сил, добывая для вас деньги, а на ваших политехнических курсах нас будут обучать, как это делать с наибольшим успехом, а ваша библиотека затуманит мозги тем, кого пощадят ваши винокуренные заводы, а наша Круглая башня будет реставрирована и пускать в нее станут по билетам ценою в шесть пенсов и устроят при ней буфет и парочку аттракционов для развлечения посетителей, тогда, без сомнения, ваши английские и американские акционеры весьма успешно растратят деньги, которые мы для них добудем, на травлю лисиц и охоту за фазанами, на операции рака и аппендицита, на чревоугодие и карточную игру; а то, что у них останется, вы употребите на создание

новых земельных синдикатов. Четыре греховных столетия миру грезился этот вздорный сон об успехе; и конца еще не видно. Но конец придет.

Бродбент *(серьезно)*. Это глубоко верно, мистер Киган, глубоко верно. И изложено с блестящим красноречием. Вы напомнили мне покойного Раскина — великий человек, знаете ли. Я вам сочувствую. Поверьте, я целиком на вашей стороне. Не смейтесь, Ларри; когда-то Шелли был моим любимым поэтом. Не будем изменять мечтам нашей юности. *(Выпускает облако сигарного дыма, которое уплывает за гребень холма.)*

Киган. Ну что, мистер Дойл? Чем эти английские сантименты лучше наших ирландских? Мистер Бродбент проводит жизнь, безуспешно восхищаясь мыслями великих людей и весьма успешно служа корыстолюбию низких охотников за наживой. Мы проводим жизнь, успешно издеваясь над ним и ровно ничего не делая. Кто из нас имеет право судить другого?

Бродбент *(снова занимает место справа от Кигана)*. Нельзя ничего не делать.

Киган. Да. Когда мы перестаем делать, мы перестаем жить. Так что же нам делать?

Бродбент. Ну то, что под руками.

Киган. То есть сооружать площадки для гольфа и строить отели, чтобы привлечь сотни бездельников в страну, которую работники покидают тысячами, потому что это голодная страна, невежественная и угнетенная страна?

Бродбент. Но, черт побери, бездельники перегоняют деньги из Англии в Ирландию!

Киган. Так же, как наши бездельники в течение стольких поколений перегоняли деньги из Ирландии в Англию. Что же, спасло это Англию от нищеты и унижения, худших, чем все, что мы здесь испытали? Когда я впервые отправился в Англию, сэр, я ненавидел ее. Теперь я ее жалею.

Воображение Бродбента не в силах охватить эту ситуацию: ирландца, жалеющего Англию; но так как в эту минуту гневно вмешивается Ларри, Бродбент отказывается от дальнейших попыток найти достойный ответ и снова принимается за сигару.

Ларри. Много ей будет пользы от вашей жалости!

Киган. В счетных книгах, которые ведутся на небе, мистер Дойл, сердце, освобожденное от ненависти, значит, быть

может, больше, чем земельный синдикат с участием англизированных ирландцев и гладстонизированных англичан.

Ларри. Ах, на небе! На небе, может быть, и так. Я там никогда не бывал. Вы мне не скажете, где оно находится?

Киган. Могли бы вы сегодня утром сказать, где находится ад? А теперь вы знаете, что он здесь. Не отчаивайтесь в попытках отыскать небо; оно, может быть, так же близко от нас.

Ларри *(иронически)*. На этой святой земле, как вы ее называете?

Киган *(со страстным гневом)*. Да, на этой святой земле, которую такие ирландцы, как вы, обратили в страну позора.

Бродбент *(становится между ними)*. Тише, тише! Не начинайте ссориться. Ах вы ирландцы, ирландцы! Опять как в Баллихули?

Ларри пожимает плечами иронически и вместе раздраженно, делает несколько шагов вверх по откосу, но тотчас возвращается и становится по правую руку от Кигана.

(Конфиденциально наклоняется к Кигану.) Держитесь за англичанина, мистер Киган; он здесь не в чести, но он, по крайней мере, способен простить вам то, что вы ирландец.

Киган. Сэр! Когда вы говорите мне об ирландцах и англичанах, вы забываете, что я католик. Мое отечество не Ирландия и не Англия, а все великое царство моей церкви. Для меня есть только две страны – небо и ад; только два состояния людей – спасение и проклятие. Находясь сейчас между вами двумя – англичанином, столь умным при всей своей глупости, и ирландцем, столь глупым при всем своем уме, – я, по невежеству моему, не могу решить, который из вас более проклят. Но я был бы недостоин своего призвания, если бы не принял равно в свое сердце и того и другого.

Ларри. Что во всяком случае было бы дерзостью с вашей стороны, мистер Киган, ибо ваше одобрение ни тому, ни другому не нужно. Какое значение имеет вся эта болтовня для людей, занятых серьезным практическим делом?

Бродбент. Я с вами не согласен, Ларри. Я считаю, что чем чаще высказываются такие мысли, тем лучше: это поддерживает моральное настроение общества. Вы знаете, я сам мыслю достаточно свободно в вопросах религии; я готов

даже признаться, что я — о да, я скажу, что ж, я не боюсь, — что я приближаюсь по своим взглядам к унитарианству. Но если бы в англиканской церкви было хоть несколько таких священнослужителей, как мистер Киган, я бы немедленно к ней присоединился.

Киган. Слишком большая честь для меня, сэр. *(Обращаясь к Ларри, с пастырским смирением.)* Мистер Дойл, я виноват в том, что, сам того не желая, возбудил в вас против себя недобрые чувства. Простите меня.

Ларри *(он нисколько не тронут и по-прежнему враждебен)*. Я с вами не церемонился и не требую церемоний от вас. Ласковые речи и ласковые манеры дешево стоят в Ирландии; приберегите их для моего друга, на которого они производят такое сильное впечатление. Я-то знаю им цену.

Киган. Вы хотите сказать, что не знаете им цены.

Ларри *(сердито)*. Я сказал то, что хотел сказать.

Киган *(кротко, оборачиваясь к англичанину)*. Видите, мистер Бродбент, я только ожесточаю сердца моих земляков, когда пытаюсь им проповедовать; врата адовы все еще одолевают меня. Разрешите с вами попрощаться. Лучше мне бродить в одиночестве возле Круглой башни и грезить о небе. *(Начинает подниматься по холму.)*

Ларри. Да, да! Вот оно самое! Вечные грезы, грезы, грезы!

Киган *(останавливаясь и в последний раз обращаясь к ним)*. В каждой грезе заключено пророчество; каждая шутка оборачивается истиной в лоне вечности.

Бродбент *(задумчиво)*. Как-то раз, когда я был ребенком, мне приснилось, что я попал на небо.

Ларри и Киган оба в изумлении смотрят на него.

Так что-то вроде зала, повсюду голубой атлас, и все благочестивые старушки нашего прихода сидели там рядком, словно во время богослужения. А на другом конце, на амвоне, маячил какой-то господин довольно устрашающего вида. Мне там не понравилось. А на что похоже небо в ваших снах?

Киган. В моих снах — это страна, где государство — это церковь, и церковь — это народ; все три едины. Это общество, где работа — это игра, а игра — это жизнь; все три едины. Это храм, где священник — это молящийся, а молящийся — это тот, кому молятся; все три едины. Это мир, где жизнь человечна и все человечество божественно; все три едины. Короче говоря, это греза сумасшедшего. *(Поднимается по холму и исчезает из виду.)*

Бродбент *(дружелюбно глядя ему вслед)*. Какой закоренелый церковник и какой закоснелый консерватор! Любопытная фигура. Здесь он будет вроде местной достопримечательности. Не хуже, чем Раскин или Карлейль.

Ларри. Да. Много было толку от их болтовни!

Бродбент. Нет, нет, Ларри! Они образовали мой ум, они бесконечно повысили мое моральное настроение. Я искренне благодарен Кигану – я стал другим человеком под его влиянием; и гораздо лучшим, уверяю вас. *(С искренним энтузиазмом.)* Я чувствую сейчас, как никогда, что был совершенно прав, решив посвятить свою жизнь Ирландии. Скорей идем выбирать место для нашего отеля.

КОММЕНТАРИИ

Послесловия к пьесам тома А. А. Аникста, примечания А. А. Аникста («Три пьесы для пуритан», «Великолепный Бэшвил, или Невознагражденное постоянство», «Обращение капитана Брасбаунда», «Посвятительное послание Артуру Бингэму Уокли»), А. Н. Николюкина («Ученик дьявола», «Цезарь и Клеопатра», «Человек и сверхчеловек», «Другой остров Джона Булля»).

ПОПРАВКА К ПЕРВОМУ ТОМУ

В первом томе настоящего издания вместо «Комментарии А. А. Аникста и А. Н. Николюкина» следует читать: «Послесловия к пьесам А. А. Аникста, примечания А. Н. Николюкина».

Три пьесы для пуритан

Сборник под названием «Три пьесы для пуритан» был опубликован в 1900 г. Предисловие содержит новую декларацию Бернарда Шоу о принципах его драматургии, а также дает комментарии к пьесам, входящим в данный цикл. Шоу продолжает борьбу против буржуазного коммерческого театра, потакавшего низменным вкусам мещанской публики. С положением театров в английской столице он был хорошо знаком, так как в течение трех лет (1895—1897) состоял театральным рецензентом еженедельника «Сэтердей Ревью».

В противовес ходовым пьесам коммерческого театра, в «Трех пьесах для пуритан» тема любви занимает незначительное место. В жизни много других интересов, и именно это хочет доказать Шоу своими произведениями, в которых драматическую основу составляют духовные стремления и конфликты, лишенные эротического элемента.

Такова одна из причин, по которой автор назвал этот цикл «пьесами для пуритан». Самый строгий в вопросах нравственности пуританин не смог бы упрекнуть Шоу в том, что он посвящает свои драмы вопросам, которых не следует касаться. Но Шоу изменил бы себе, написав пьесы в самом деле для пуритан. В названии цикла явственно присутствует ирония. Пуританство (как правило, показное) присуще определенным слоям буржуазии, а Шоу и в драмах данного цикла продолжает борьбу против ее пороков. На первый взгляд он как будто уходит в прошлое (две пьесы цикла — «Ученик дьявола» и «Цезарь и Клеопатра» — условно можно обозначить как исторические драмы) или использует авантюрные и экзотические мотивы, однако «пьесы для пуритан» полны острых злободневных вопросов. Шоу разрабатывает здесь новые для его творчества темы, связанные с религией, политикой и законностью. Как и предшествующие, эти драмы также являются социальными; изменились лишь аспекты критики.

Вместе с тем Шоу совершенствует художественные средства драматургии идей. Он по-прежнему использует приемы «хорошо сделанной пьесы», но все внешние средства занимательности — только приправа, а настоящее блюдо — идеи, столкновения принципов, воплощенных в яркие живые характеры. Сатира Шоу становится тоньше, временами даже изысканнее, изящней, а эпиграммы, афоризмы и парадоксы — еще более отточенными.

Создавая каждую из пьес цикла, Шоу исходил из того, что публике нравятся спектакли с занимательными сюжетами и острыми драматическими ситуациями. Излюбленным жанром была мелодрама с ее яркими театральными эффектами. Шоу относился к мелодраме без предвзятости. В качестве образцов хорошей мелодрамы Шоу называл «Дон Жуана» Мольера, а также «Гамлета» Шекспира и «Фауста» Гете. Такое расширительное толкование жанра не столько соответствует действительной жанровой природе этих произведений, сколько выражает отношение Шоу к проблеме фабулы в драме. Великие художники делают и мелодраму явлением большого искусства.

Тогда же Шоу дал определение мелодрамы, которая, по его мнению, «должна быть простой и правдивой, полной действия и чувств, должна показывать мотивы человеческого поведения и страсти, которые одинаково свойственны и философу и рядовому труженику; драматизм в ней перемежается весельем, разнообразие же характеров достигается не подчеркиванием одной какой-либо странности (что

в высокой комедии служит приемом индивидуализации людей одного и того же возраста, пола и одной социальной среды), а резким контрастом между типами молодых и стариков, между сердечностью и себялюбием, мужественностью и женственностью, между серьезным и легкомысленным, возвышенным и смешным и т. д. По существу, это романтическая аллегория, преисполненная нравоучительных обобщений. В мелодраме за несколько мгновений с людьми происходит то, что в истории человечества совершается на протяжении столетий. Все это, очевидно, могут воплощать более великие умы и более уверенные руки, чем те, какие есть в распоряжении театра».[1]

Таким образом, Шоу отнюдь не отрицал значения мелодрамы, он лишь не мог принять пошлых и бессодержательных пьес, господствовавших в то время на сцене; их-то он и подвергал уничтожающей критике. Вместе с тем он решил показать, как можно использовать мелодраму для выражения значительных идей. Из «Трех пьес для пуритан» «Ученик дьявола» и «Обращение капитана Брасбаунда» являются мелодрамами именно в том смысле, какой Шоу вкладывал в это понятие. Он начинил их взрывчатыми идеями, которые отнюдь не давали публике привычного развлечения. Только очень наивный читатель и зритель примет за чистую монету все театральные трюки, к которым прибегает Шоу. Возможно, что часть публики конца XIX в. в самом деле с замиранием сердца ожидала решения судьбы Дика Даджена. Но более искушенные зрители отлично понимали, что это не более чем ироническая игра на традиционных сценических приемах.

«Три пьесы для пуритан» — новый шаг в творчестве Шоу. Обогащение драматургических средств в драме идей сочеталось с дальнейшей работой Шоу над языком и стилем пьес. Усиливаются динамизм диалогов, философское наполнение монологов, характеры обретают большую многогранность. У героев Шоу появляется душевная глубина, они становятся сложнее, богаче в индивидуальных исканиях.

Стр. 10. *«Страффорд», «День рождения Коломбы»* — пьесы английского поэта и драматурга Роберта Браунинга (1812—1889).
«Ченчи» — трагедия английского поэта и драматурга Перси Биши Шелли (1792—1822).
Независимый театр, Театр нового века, «Театральное общество» — лондонские театры, основанные в конце XIX в. Эти театры способствовали утверждению реалистической драмы в английском сценическом искусстве.

Стр. 11. *Ирвинг, Генри* (1835—1905) — английский режиссер и актер, с 1878 по 1898 г. руководил одним из лучших лондонских театров «Лицеум».
Терри, Эллен (1847—1928) — английская актриса. В 1878—1902 гг. работала вместе с Г. Ирвингом в театре «Лицеум». Лучшие ее роли — в шекспировском репертуаре: Офелия, Дездемона, Джульетта, Порция.

Стр. 12. *Ревекка и Ровена* — героини романа Вальтера Скотта «Айвенго».
Судья Шеллоу — персонаж комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы».

Стр. 13. *«Комедия плута»* — пьеса английского драматурга Генри А. Джонса (1851—1929).
«Карьера мота» — серия гравюр английского художника-сатирика Уильяма Хогарта (1697—1764).

---

[1] Шоу Б. О драме и театре. М., 1963, с. 153.

«Знак креста» – пьеса английского драматурга Уилсона Баретта (1873).
Фальстаф – персонаж «Генриха IV» и «Виндзорских насмешниц» Шекспира.
Долл Тершит – женщина легкого поведения в хронике Шекспира «Генрих IV» (часть вторая).

Стр. 14. *Робертсон, Томас Уильям* (1829–1871) – английский драматург. Его пьесы «Наш» (1866), «Каста» (1867), «Игра» (1868) и другие посвящены семейно-бытовым проблемам.

Стр. 15. *Гедда Габлер* – героиня одноименной пьесы (1890) Генрика Ибсена.
Паола Тэнкерей – героиня драмы «Вторая миссис Тэнкерей» (1893) английского драматурга Артура Пинеро.

Стр. 18. *«Бостонская утопия»* – утопический роман «2000-й год» Эдварда Беллами (1850–1898).
Паоло и Франческа – любящая пара «Божественной комедии» («Ад», песнь пятая) Данте Алигьери (1265–1321).
Панч – персонаж английских кукольных комедий, наподобие русского Петрушки.
Ламарк, Жан-Батист (1744–1829) – французский естествоиспытатель; считал, что посредством упражнения человеческий организм может изменяться.

Стр. 20. *Мильтон, Джон* (1608–1674) – английский поэт и публицист.
Кромвел, Оливер (1599–1658) – крупнейший деятель английской буржуазной революции XVII в.
Беньян, Джон (1628–1683) – английский писатель, автор аллегории «Путь паломника», «Жизнь и смерть мистера Бэдмана».

Стр. 21. *«Квинтэссенция ибсенизма»* – книга Б. Шоу (1891, 2-е, доп. изд. 1913), содержащая общую характеристику творчества Ибсена и комментарий к его пьесам, не столько раскрывает Ибсена, сколько взгляды самого Шоу на драму и социальные проблемы эпохи.
«Замшелый мрамор царственных могил...» – строка из 55-го сонета Шекспира (перевод С. Маршака).

Стр. 22. *«Пред кем шута не корчил площадного»* – строка из 110-го сонета Шекспира (перевод С. Маршака).
Драйден, Джон (1631–1700) – английский поэт и драматург эпохи Реставрации.
Вагнер, Рихард (1813–1883) – немецкий композитор и музыкальный писатель. Основные теоретические работы: «Искусство и революция» (1849), «Художественное произведение будущего» (1850), «Опера и драма» (1851). Автор текста к своей оперной тетралогии «Кольцо нибелунга».
Мэнсфилд, Ричард (1854–1907) – американский актер и режиссер.

Стр. 23. *Бьюкенен, Роберт* (1785–1873) – английский драматург.
Байрон, Генри (1834–1884) – английский актер и драматург.
Джи-Би-Эс – псевдоним Б. Шоу, которым он подписывал свои критические статьи и рецензии (G. B. S.)
Бакстоун, Джон Болдуин (1802–1879) – английский актер и драматург.

Стр. 24. *Уокли, Артур Бингэм* (1856–1926) – английский театральный критик.
Ковенантор – сторонник Шотландского национального соглашения (1638), защищавшего интересы пресвитерианской церкви.

Блейк, Уильям (1757—1827) — английский поэт и художник, представитель раннего романтизма.

Стр. 25. *Карсон, Мэррей* (1865—1917) — английский актер, режиссер и драматург. В 1897 г. поставил «Избранника судьбы» в театре «Грэнд» (Кройдон).

Стр. 27. *Форбс-Робертсон, Джонстон* (1853—1937) — английский актер. Одним из первых выступил в пьесах Шоу «Цезарь и Клеопатра», «Ученик дьявола». Его лучшая роль — Гамлет.
«Дотлевай, огарок» — строка из трагедии Шекспира «Макбет» (акт V, сц. 5).

Стр. 28. *Хогарт рисовал распутника и шлюху...* — имеется в виду серия гравюр Хогарта «Карьера мота».
Бробдингнег — страна великанов в романе Свифта «Путешествия Гулливера».
Йэху — обезьяноподобные существа в том же романе.
Стриндберг, Август (1849—1912) — шведский писатель, драматург, театральный деятель.
Миссис Куикли — персонаж «Генриха IV» и «Виндзорских насмешниц» Шекспира.

Стр. 30. *Джонсон, Сэмюэл* (1709—1784) — английский писатель и критик, автор двухтомного словаря английского языка и комментатор Шекспира.
Джонсон, Бенджамин (Бен) (1573—1637) — английский драматург, поэт, театральный деятель. Создатель жанра бытовой сатирической нравоучительной комедии («Вольпоне», «Алхимик» и др.).
Хэррис, Фрэнк (1854—1931) — критик, автор книги «Бернард Шоу» (1931).
Гаррик, Дэвид (1717—1779) — английский актер, один из основоположников английского сценического реализма. Ему принадлежит заслуга возрождения Шекспира на английской сцене XVIII в.
Сиббер, Колли (1671—1757) — английский актер и драматург. Ставя пьесы Шекспира, Сиббер переделывал их.
Дейли, Огастин (1839—1899) — американский драматург и театральный деятель.
Бенсон, Фрэнк (1859—1939) — английский актер, режиссер и педагог. В течение многих лет возглавлял Шекспировский Мемориальный театр, где осуществил постановку почти всех пьес Шекспира.

Стр. 31. *«Каменный гость»* — имеется в виду комедия Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость» (1665).

Стр. 32. *Таунлейские мистерии* — цикл средневековых религиозных пьес XIV—XV веков.
Джотто ди Бондоне (1266—1337) — итальянский художник, родоначальник живописи эпохи Возрождения.
Моррис, Уильям (1834—1896) — английский художник, поэт и видный деятель социалистического движения.

Стр. 33. *Суинберн Элджернон* (1837—1909) — английский поэт.
Маклиз, Даниел (1806—1870) — ирландский художник, автор картин на исторические сюжеты.
Браун, Мэдокс Форд (1821—1893) — английский художник.
«Риенци, последний трибун» (1838—1840) — трагическая опера Вагнера.
«Застроцци» (1810) — юношеский роман П.-Б. Шелли.
Спонтини, Гаспаре (1774—1881) — итальянский композитор.

Стр. 34. *Моммзен, Теодор* (1817—1903) — немецкий ученый и историк.

Верцингеторикс (ум. в 46 г. до н. э.) – вождь галлов в их борьбе с Римом за независимость.

Карлейль, Томас (1795–1881) – английский писатель, публицист, историк, общественный деятель.

«Тамерлан» – трагедия английского драматурга Кристофера Марло (1564–1593).

Стр. 36. *Милль, Джон Стюарт* (1806–1873) – английский буржуазный экономист и философ.

УЧЕНИК ДЬЯВОЛА

Одним из популярнейших лондонских театров 1890-х гг. был «Адельфи», на сцене которого шли преимущественно мелодрамы. С большим успехом выступал в них актер Уильям Террис. Собираясь предпринять кругосветное турне, Террис обратился к Шоу с предложением написать совместно пьесу, где была бы выгодная для актера роль. Шоу отказался от соавторства, но не оставил мысли, давно привлекавшей его, и написал мелодраму. Он работал над пьесой два месяца и завершил ее в октябре 1896 г. – это и был «Ученик дьявола».

Шоу надеялся, что роль героя будут исполнять в США Ричард Мэнсфилд, а в Англии – Уильям Террис. Мэнсфилд поставил пьесу в Нью-Йорке в октябре 1897 г. и с большим успехом сыграл Ричарда Даджена. Террису не довелось выступить в этой роли. Он погиб из-за трагической нелепости: какой-то маньяк убил его при выходе из театра. В Англии первая постановка состоялась в 1899 г.; наибольший успех пьеса имела в режиссуре Х. Гренвилл-Баркера в 1907 г.

В России она впервые появилась на сцене в Воронеже в 1906 г. под названием «Мятежник». Выдающейся постановкой советского театра был «Ученик дьявола» в Театре-студии под руководством Ю. Завадского (Москва, 1933). Роль Ричарда играл Н. Мордвинов. В прологе Р. Плятт выступал в гриме Шоу. Назовем также спектакль Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (1956).

«Ученик дьявола» – мелодрама на историческом материале. Действие происходит в конце XVIII в. во время войны американских колоний за независимость от Англии. Когда Шоу писал пьесу, Англия была в расцвете колониального могущества, беспощадно расправлялась с малейшими попытками подвластных ей народов освободиться от ее ига. Лондонская премьера состоялась в накаленной атмосфере начавшейся англо-бурской войны. Спектакли «Ученика дьявола», изображавшие борьбу народа против английского колониального владычества, имели злободневное политическое значение.

Некоторые исследователи подметили неточности хронологического и географического характера, имеющиеся в пьесе. Но такого рода погрешности обычны в исторических драмах. Их полно у Шекспира, их совершенно сознательно допускали Шиллер и Гете.

Хотя атмосфера войны между американцами и англичанами пронизывает пьесу от начала до конца, на первом плане оказываются важные общественно-нравственные проблемы.

Шоу обнажил структуру пьесы, когда писал жене актера Мэнсфилда: «„Ученик дьявола“ – мелодрама, состряпанная из всех сценических трюков театра «Адельфи», – чтение завещания, героическое самопожертвование, военный трибунал, казнь, помилование осужденного в последнюю минуту».[1] Но Шоу наполнил эту мелодраматиче-

[1] Henderson A. George Bernard Shaw, a man of the century. N. Y., 1956, p. 473.

скую схему большим идейным и психологическим содержанием, создал сюжет, привлекающий внимание не только занимательностью, но и своеобразной диалектикой событий. Так, пьеса начинается в атмосфере засилья англичан, беспощадно расправляющихся с американскими мятежниками. Кончается она моральной победой американцев, — восстание разрастается, и в конечном исходе борьбы не может быть сомнения.

Меняются на наших глазах и два главных героя — священник Андерсон и мятежник Ричард. Они вырастают как личности, приобретают важный жизненный опыт, делающий их иными, более зрелыми людьми. Глубокий смысл содержится и в том, что в первых сценах мы видим мещанскую пуританскую атмосферу городка, а в финале его жители предстают перед нами не как обыватели, а как граждане.

Мелодраматические эффекты умело вплетены Шоу в ткань пьесы, и каждый из них использован с большой смысловой нагрузкой. Сборище в доме Дадженов и чтение завещания не только знакомят зрителя с галереей социальных типов: в этой сцене осуждено корыстолюбие и сквалыжничество буржуа-пуритан. Переодевание Дика Даджена и священника Андерсона оказывается и началом их психологического перевоплощения. Военный трибунал использован для острой сатиры на английскую военщину. Наконец, вся сцена казни тоже выходит за рамки обычного мелодраматизма, ибо в ней торжествует не просто справедливость, как то обычно бывает в мелодраме. У Шоу торжествует восставший народ, его право решать судьбу людей, вопреки лживой и тиранической законности поработителей-англичан.

Первый акт в композиционном отношении сравнительно мало связан с остальным действием. В основном он является экспозицией, знакомящей с обстановкой и главными персонажами драмы. Темой его является противопоставление ханжеской и истинной нравственности. Беспощадная характеристика миссис Даджен в авторской ремарке подтверждается каждым словом, которое она произносит, каждым поступком, совершаемым ею на протяжении одного акта (далее она не появляется). Она — воплощение суровой морали, отрицающей право человека на радость в жизни, на удовольствия и любовь. Религиозный фанатизм усугубляет ее озлобленность, дает как бы божественную санкцию ее человеконенавистничеству. Правдиво обосновывает Шоу, как мог сложиться такой характер. Он сформировался под влиянием трудных условий жизни, но драматург отнюдь не склонен делать из этого сентиментальные выводы.

Религиозность священника Андерсона, напротив, лишена фанатизма. Он почти светский пастырь, доброжелательный к людям, стремящийся умиротворить свою паству и, во всяком случае, сделать возможным добрососедские отношения между прихожанами. Пафос его деятельности имеет в своей основе личное счастье.

Ричард Даджен — Ученик дьявола — считается в своей семье выродком. По мнению матери, разделяемому остальной мнимоблагочестивой родней, он воплощение всех пороков. На самом же деле это просто человек, сбросивший ярмо предрассудков мещанской среды, живущий свободно, подчиняясь своей природе. Он друг всех отверженных и обиженных, и мы это сразу чувствуем в его отношении к Эсси, внебрачной дочери его дяди. Во втором действии бунтарь, которого считают нарушителем всех нравственных норм, совершает поступок, на какой редко рискнет самый искренний христианин; священник превращается в воинственного мятежника, а его добродетельная жена в один миг вспыхивает страстью к Дику, которого до этого презирала как нечестивца.

Душевные перемены происходят с молниеносной быстротой. В этом отношении Шоу следует законам мелодрамы, где злой внезапно становится добрым и наоборот. Пастор Андерсон считал, что духовное звание соответствовало его натуре. Джудит думала, что она предназначена для спокойного и уравновешенного семейного быта. Дик был мятежником по убеждению. И вот все меняется: священник становится бунтарем, Дик – терпеливым, покорным великомучеником, Джудит – женщиной, готовой презреть священные узы брака.

В отличие от мелодрамы, где всякого рода неожиданности сюжета являются обычно продуктом авторского произвола, у Шоу эти неожиданные перемены имеют глубокие внутренние основания. Правда, до поры до времени они скрыты не только от зрителей, но и от самих героев, ибо люди подчас сами не подозревают таящихся в них душевных возможностей. В Дике есть доброта и мягкость, но он прячет их, ибо ему приходится жить либо среди суровых пуритан, либо среди жестоких и бесшабашных контрабандистов и отщепенцев. В так называемом добропорядочном обществе Дика всегда только хулили. Но вот находится человек, стоящий выше личных и религиозных предубеждений, истинно справедливый и честный. Это – священник Андерсон, который предупреждает Дика о грозящей ему опасности. Поведение Андерсона производит сильное впечатление на Ученика дьявола. Хотя он не выдает своих эмоций, несомненно, что он потрясен первым в его жизни случаем, когда к нему отнеслись по-человечески.

Таким образом, главное драматическое событие – самопожертвование Дика, идущего под арест вместо Андерсона, – в некоторой степени подготовлено. Принимая на себя опасность, грозящую Андерсону, Дик как бы отплачивает священнику добром за добро. Сам Дик своему героическому поведению не склонен придавать особенного значения: он просто поступил как ему хотелось. Если послушать его, то его самопожертвование не более чем причуда, следствие обычного для него стремления поступать не так, как другие. Получается, что он сделал все чуть ли не из легкомыслия и свойственной ему якобы бесшабашности. Но его поведение на суде не подтверждает этого. «Безнравственный» в глазах сограждан, Дик оказывается более смелым патриотом, чем остальные обыватели городка, исключая, конечно, Андерсона. Но Дик действительно не терпит позы, романтического самолюбования. Он ведет себя как герой, без ходульности, с присущим ему задором, отлично видя смешные стороны ситуации (особенно, когда ему приходится обращаться с Джудит как со своей женой).

Перемены, происходящие с Диком и Андерсоном, имеют не только психологический смысл. За этой эволюцией, точнее – революцией характеров скрывается важная для Шоу мысль. Обстоятельства формируют человека, но воздействуют они по-разному – одному помогают возвыситься, другого уродуют, третьего направляют по неверному пути. Миссис Даджен – пример извращения человеческой природы, которое уже не поддается исправлению. Другие люди сохраняют способность духовного развития, таковы Ричард и Андерсон.

Оба тоже испытали на себе влияние внешних условий. Благополучное существование сделало естественным для Андерсона обращение к священнической деятельности. Косность мещанской среды вызвала возмущение Ричарда, который порвал с семьей и предпочел стать отщепенцем. И тот и другой выбор оказался не соответствующим истинной природе каждого из них. Понадобилось случайное стечение обстоятельств, взорвавших привычные условия их существования, и необходимость действовать, точнее, возможность нового выбора привела к тому, что обнаружился их подлинный характер.

Шоу отнюдь не был безоговорочным детерминистом, считавшим, что человек целиком зависит от внешних условий. Наоборот, он всегда верил в заложенные природой внутренние начала личности. Характер миссис Даджен предопределен не только влиянием условий, но и ее внутренними задатками, низменной злобностью ее натуры. В Дике и Андерсоне задатки были иными, и это обусловило возможность происшедших с ними перемен. Объясняя Джудит, почему он пошел в тюрьму за ее мужа, Дик говорит: «Знаю только одно: когда дело обернулось так, что надо было снять петлю со своей шеи и надеть ее на чужую, я попросту не смог. Не знаю, почему,— я сам себе кажусь дураком после этого,— но я не мог; и теперь не могу. Я с детства привык повиноваться закону собственной природы, и против него я не могу пойти, хотя бы мне угрожали десять виселиц, а не одна».

«Повиноваться закону собственной природы» — эта мысль очень важна для Шоу. Она основа его морали, бунтарской по отношению к мещанской и ханжеской морали буржуа. Но это не апология примитивных инстинктов. Шоу верит в благотворность воздействия природы на человека. Здесь еще не выражена с достаточной ясностью, но уже присутствует одна из центральных идей мировоззрения Шоу — идея воли, заложенной в природе и в человеке, воли к развитию и совершенствованию.

В третьем акте Шоу вводит еще один примечательный персонаж — генерала Бэргойна. В отличие от других действующих лиц, Бэргойн — реальное историческое лицо. Он родился в 1722 и умер в 1792 г., командовал экспедиционным корпусом, посланным из Канады для усмирения американских мятежников. В это время ему было за пятьдесят лет. Человек образованный и даже не без литературных способностей, Бэргойн был автором двух пьес, одну из которых сыграл в своем театре великий английский актер Д. Гаррик. В войне против американцев Бэргойн потерпел поражение при Саратоге. Его неудачи объясняются не отсутствием полководческого умения, а энтузиазмом американцев, боровшихся за свободу.

О личности Бэргойна Шоу написал специальную заметку, помогающую понять этот образ: «Генерал Джон Бэргойн, насколько я могу судить, впервые появляющийся на английской сцене в этой пьесе, отнюдь не штампованная фигура театрального военного: это правдивый портрет, в той мере, в какой сценические портреты могут быть правдивыми. Его осуждение грубой брани взято не из либретто Гилберта «Корабль флота его величества „Передник“», а из «Кодекса наставлений», написанного им для своих офицеров, когда он ввел в английскую армию легкую кавалерию. Его мнение, что с английскими солдатами следует обращаться как с мыслящими существами, естественно, отвергалось военными авторитетами эпохи, когда считали пустяком назначить солдату тысячу ударов кнутом, и оно столь же неприемлемо для наших современников, поддавшихся неврозу порки и стремящихся возродить этот скомпрометированный вид упражнений. Его военные рапорты содержат умную критику, они даже гуманны и просвещенны в пределах, доступных аристократу». И далее: «У Бэргойна была склонность к актерству: читатель может убедиться в том, что в «Ученике дьявола» Бэргойн — это человек, который живет, как бы играя роль, и все ее острые моменты он исполняет в стиле прирожденного мастера высокой комедии».[1]

[1] Полностью заметка Шоу о Бэргойне напечатана в приложениях к изданию пьесы: Shaw B. The Devil's Disciple. Ed. by A. Ward. L., 1958, p. 97—103.

Стр. 39. *1777 год — это год, когда американские колонии, не столько в силу своих стремлений, сколько в силу закона тяжести, только что оторвались от Англии...* — Имеется в виду освободительная война английских колоний в Северной Америке против Англии в 1775—1783 гг. В 1777 г. американские войска одержали крупную победу под Саратогой, принудив к капитуляции английские войска.

Стр. 61. *Уолстонкрафт, Мэри* (1759—1797) — английская писательница и публицистка, одна из первых поборниц женских прав.

Стр. 66. *Уэбб, Филип* (1831—1915) — английский архитектор и художник-декоратор.

Стр. 94. *Бэргойн, Джон* (1722—1792) — английский генерал. В 1777 г. во главе английских войск двигался из Канады на соединение с войсками генерала Хоу, но 17 октября 1777 г. был разбит американскими колонистами под Саратогой.

Стр. 97. *Гамалиил* — упоминаемый в Новом завете ученый раввин, проповедовавший веротерпимость.

Стр. 99. *Норт, Фредерик* (1732—1792) — английский премьер-министр с 1770 по 1782 г. Введенная им пошлина на чай, ввозимый в Америку, привела к «чайному бунту» в Бостоне (1773), положившему начало борьбе за независимость североамериканских колоний.

Стр. 107. *Хоу, Уильям* (1729—1814) — в 1777 г. командовал английскими войсками в американских колониях Великобритании.

Стр. 116. *«Янки-Дудль»* — североамериканская патриотическая песенка эпохи борьбы за независимость.

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА

Пьеса была закончена в 1898 г. Хотя спектакль для регистрации авторского права состоялся в марте 1899 г. и три любительских представления были даны в Чикаго в 1901 г., на профессиональную сцену пьеса попала лишь несколько лет спустя — впервые в марте 1906 г. в Германии, в постановке Макса Рейнгардта. Затем состоялась нью-йоркская премьера (октябрь 1906 г.) и, наконец, в сентябре 1907 г. в провинциальном городе Лидсе — первое английское представление пьесы, в этом спектакле Цезаря играл выдающийся актер Дж. Форбс-Робертсон, для которого роль и была написана. После этого пьеса вошла в репертуар лондонского театра «Ройал Корт» в антрепризе Ведрена и Гренвилл-Баркера. В России первая постановка была осуществлена московским Малым театром (1909). Некоторые эпизоды пьесы вошли в сценическую композицию А. Таирова «Египетские ночи» в московском Камерном театре (1934). В 1945 г. режиссер Габриэль Паскаль снял цветной фильм по пьесе, в котором главные роли исполняли Клод Рейнс и Вивьен Ли. В 1965 г. пьеса была поставлена в Театре им. Моссовета с Р. Пляттом в роли Цезаря.

Пролог написан значительно позднее пьесы — в 1912 г. и представляет собой опыт театрального предисловия к пьесе. Обычно Шоу сопровождал авторскими декларациями печатные издания своих драм, в данном случае он сделал предисловие в форме пролога к спектаклю.

Творческий замысел «Цезаря и Клеопатры» связан с борьбой Шоу против культа Шекспира и романтической драмы XIX в. После критики, которую он обрушил на Шекспира в своих театральных статьях, требовалось показать на деле, какою должна быть настоящая современная драма.

Шоу избрал сюжет, соприкасавшийся с темой шекспировской пьесы «Антоний и Клеопатра». В его драме изображены события, предшествовавшие трагедии римского триумвира и египетской царицы. В прямое соперничество с Шекспиром Шоу не вступал – он не взял тот же сюжет, да и не стал бы этого делать, так как не в его вкусе было изображение больших любовных страстей.

Исторические данные свидетельствуют о том, что, прибыв в Египет, Юлий Цезарь сделал шестнадцатилетнюю Клеопатру своей любовницей, а когда он уехал в Рим, она последовала за ним, и Цезарь нисколько не скрывал их близости; он открыто признал сына, которого она родила, дав ему имя Цезарион. У Шоу отношения Цезаря и Клеопатры лишены эротической окраски.

Обращение к фигуре Цезаря связано со всем комплексом социально-политических и философских взглядов Шоу. Фабианская идея общественного развития, осуществляемого мирным путем интеллигентными руководителями, направляющими непросвещенные массы, оказалась связанной для Шоу с его интересом к Ницше. В своих книгах «Так говорил Заратустра» (1885) и «Воля к власти» (1888) немецкий философ прославлял сильную личность, свободную от всех установлений религии, морали и многовековых традиций общежития. В глазах Ницше такой «сверхчеловек» – гений, дающий волю врожденным стремлениям сладострастия, властолюбия и себялюбия. Столь крайняя форма анархического индивидуализма была чужда Шоу. Но идея выдающейся личности, вершащей судьбами мира, привлекала его. Воспользовавшись словом «сверхчеловек», придуманным Ницше, Шоу по-своему трансформировал идею немецкого мыслителя.

Выдающийся исторический деятель у Шоу сочетает в себе ум, способность подчинять своей воле других, свободу от сентиментальной мещанской морали. С его точки зрения, гений – это человек, способный поднять человечество на более высокую ступень цивилизации.

Воплощением этого идеала и является Юлий Цезарь в пьесе Шоу. Драматург признавался, что нашел портрет своего героя у немецкого историка Теодора Моммзена, который в своей «Истории Рима» (1886) создал весьма привлекательный образ Юлия Цезаря. Моммзен считал Цезаря гением, действовавшим в интересах народа и государства. В его глазах он являлся «демократическим диктатором». Милитаристские империалистические тенденции Моммзена были чужды Шоу, но живое драматическое изложение истории и облик Цезаря, созданный в книге, привлекли его внимание.

Шоу близок к той характеристике Цезаря, которая дана немецким историком даже в деталях. Так, Моммзен пишет, что в Цезаре «всегда оставалась некоторая фатоватость манер... Тщательно прикрывал он лавровым венком, в котором в позднейшие годы появлялся публично, сильно огорчавшую его лысину, и, без сомнения, отказался бы не от одной из своих побед, если бы мог этой ценой получить обратно свои юношеские кудри».[1] Читатель сам может убедиться в том, как использовал Шоу эту деталь в обрисовке своего Цезаря.

Но существенны, конечно, не детали, а та реконструкция личности Цезаря, которую предложил немецкий историк. Шоу привлекало то, что, по мнению Моммзена, «Цезарь был до мозга костей реалистом и человеком рассудка, и все, что он предпринимал или делал, было проникнуто той гениальной трезвостью, которая составляет его глубочайшее своеобразие. Ей он обязан своим умением жить действительностью, не сбиваясь с пути из-за воспоминаний или ожиданий,

[1] Моммзен Т. История Рима, т. 3, 1941, с. 380.

той многосторонностью, с которой он схватывал все и управлял всем, что разум в силах понять, а воля – вынудить...; ей обязан был той замечательной веселостью, которая ему не изменяла ни в хорошие, ни в худые минуты; ей же, наконец, обязан он был совершенной самостоятельностью, которая не давала взять над ним верх никакому любимцу или любовнице, даже никакому другу. Но из этой же ясности ума проистекало то, что Цезарь никогда не строил себе иллюзий относительно силы судьбы и могущества человека; покрывала, деликатно скрывающего от людей недостатки их деятельности, для него не существовало. Как ни умно составлял он свои планы и обдумывал все шансы, его тем не менее никогда не покидало сознание, что во всем от счастья, то есть случая, зависит главное; и с этим, быть может, связано то, что он так часто бросал вызов судьбе и в особенности с отважным равнодушием неоднократно рисковал собой».[1]

Однако Шоу не все принял в моммзеновской характеристике Цезаря. «Даже в позднейшие годы он имел любовные приключения и успех у женщин», – отмечал историк.[2] В изображении Шоу Цезарь получился пуританином. Драматург воспользовался лишь следующим замечанием Моммзена: «Но как охотно, даже будучи уже монархом, он ни ухаживал за женщинами, они были для него только игрушкой, и он не давал им приобрести ни малейшего влияния над собой; даже столь известные отношения его к царице Клеопатре обусловлены стремлением замаскировать слабый пункт в его политическом положении».[3] Это было в духе Шоу, и он представил отношения своего Цезаря к Клеопатре примерно такими. В пьесе римский полководец, уезжая из Египта, чуть было не забыл с ней попрощаться. Он не увозит ее в Рим, как было в действительности, а обещает прислать ей Марка Антония – мужчину, который будет соответствовать романтическому идеалу возлюбленного. Цезарь в пьесе Шоу говорит о нем с иронией провидца. Антоний, как известно, подчинил свою волю Клеопатре, и это погубило его.

Но мы ошиблись бы, усмотрев в пьесе Шоу только инсценировку исторических фактов, заимствованных у Моммзена. История послужила Шоу материалом для драмы, в которой он выразил свой идеал великого человека, действующего на благо общественному прогрессу, развитию жизни вообще. Он не строил иллюзий о том, будто выдающийся деятель непременно сам идеален. Герой Шоу лишен романтического ореола. Его обаяние состоит именно в том, что из всех персонажей пьесы он ведет себя наиболее естественно и разумно, иногда, впрочем, идя на рискованные поступки. Он не позирует, не строит из себя великого человека, а в самом деле возвышается над всеми остальными. Все прочие персонажи пьесы говорят и поступают как рядовые люди, ими движут простейшие эгоистические мотивы. Цезарь лишен эгоизма, действует не импульсивно, а обдуманно, стремясь к определенной цели, которую никогда не упускает из вида. Его цель – сделать мир разумнее и гуманнее, чем он был до сих пор. Цезарь понимает, что люди еще не созрели для этого, но, каковы бы они ни были, он стремится сделать их лучше.

Герой и героиня пьесы непохожи друг на друга во многом. Но главное, что их отличает, – разное понимание власти. При всей своей проницательности, Цезарь ошибается, думая, будто Клеопатра еще не заражена пороком властолюбия. Он останавливает выбор на ней, а не

[1] Моммзен Т. История Рима, т. 3, с. 380–381.
[2] Там же, с. 380.
[3] Там же.

на ее брате, и делает ее царицей в надежде, что ему удастся воспитать из нее идеального правителя, трезво мыслящего, разумного и гуманного. Он старается привить ей чувство независимости, но у Клеопатры оно превращается в деспотическое своеволие; учит ее действовать смело и решительно, когда надо устранять препятствия, а она прибегает к кровавой расправе над неугодным человеком; хочет привить ей гуманность, а она оказывается злобной и безрассудно мстительной.

На глазах зрителей Клеопатра из девочки, находившейся под властью мамки, вырастает в царицу, и тогда в пьесе возникает контраст двух образов: заурядного деспота, знающего только один способ управлять — посредством силы, принуждения и расправ, и правителя поистине выдающегося, потому что его власть зиждется на уме, понимании обстоятельств, способности убеждать других.

Цезарь у Шоу понимает, что в мире, как он есть, без принуждения и насилия не обойтись. Клеопатре это представляется не только естественным, но даже приятным. Для Цезаря обычные приемы власти — печальная и тяжелая необходимость, которой он всякий раз старается избежать. Таков главный идейный конфликт пьесы.

Особо следует сказать о тональности «Цезаря и Клеопатры». Исторические драмы классиков мирового театра почти всегда более или менее трагичны. Пьеса Шоу резко отличается от них пронизывающим ее юмором, а подчас неподдельным весельем. Это жизнерадостное, оптимистическое произведение. Его не назовешь ни трагедией, ни даже трагикомедией. Историческая драма здесь смыкается с комедией.

Образцами исторической комедии XIX в. были «Стакан воды» Эжена Скриба и «Мадам Сан-Жен» Викторьена Сарду. С этими и подобными им пьесами Шоу был хорошо знаком, так как они занимали видное место в репертуаре лондонских театров. Французским драматургам история представлялась истинной комедией, игрой личных интересов, собранием анекдотов о знаменитых людях. Они видели в ней фарс, участниками которого являются герои и масса, цепь событий, ни к чему не приводящих, ибо человеческая природа неизменна в своем ничтожестве, и умному человеку остается только смеяться над происходящим и извлекать из жизни максимум удовольствий.

Но юмор Шоу не имеет ничего общего с юмором Скриба и Сарду. В «Цезаре и Клеопатре» комизм возникает постоянно из-за неразумности персонажей, неспособных трезво оценивать обстановку, самих себя и действовать должным образом. Эти смешные стороны в поведении людей видит Цезарь и помогает увидеть их нам. В основе юмора Шоу лежит не усталый скепсис французских драматургов, а жизнеощущение гуманиста и оптимиста, убежденного в высоких началах человечности. Этот юмор окрашен верой в то, что, несмотря на засилье глупости, жестокости и несправедливости, разум пробьет себе дорогу в жизни.

Шоу упрекали за то, что его Цезарь слишком зауряден. «На самом деле, — замечал по этому поводу Шоу, — вопрос интересен вот с какой стороны: прав ли я, считая, что, рисуя подлинное величие, надо показать отнюдь не то, что человек подавляет в себе все человеческое во имя исполнения долга, — а ведь именно это делают ничтожества, когда их ставят на высокие должности (в наших родовитых семействах уже не хватает нужного числа выдающихся личностей), — а ведет себя естественно и делает то, что ему хочется? А это влечет за собой другой вопрос: не ошибался ли весь мир, следуя последние две с половиной тысячи лет своей теории морали?»[1] Из сказанного Шоу

[1] Shaw B. Caesar and Cleopatra. Ed. by A. Ward. L., 1960, p. 131.

явствует, что он видел в Цезаре не просто выдающуюся личность, а человека нового нравственного склада.

Помимо социально-философского смысла, пьеса имела и злободневное политическое значение. В то время шла война английских империалистов против маленького народа буров. Экспансионистам своего времени Шоу противопоставил созданный им образ гуманного завоевателя и подлинного цивилизатора. Чтобы сделать контраст очевиднее, Шоу ввел в свиту Цезаря фигуру его секретаря Британа, наделив его складом мыслей и поведением, типичным для английских буржуа конца XIX в. Этот и другие анахронизмы, имеющиеся в пьесе, были, конечно, умышленными: Шоу хотел, чтобы зрители «Цезаря и Клеопатры» мысленно сопоставляли историю с современностью.

Стр. 122. *...как рассыпалось могущество державной Испании, когда она обратилась против ваших предков...* — Речь идет о «Непобедимой армаде» — большом флоте, снаряженном в 1588 г. Филиппом II Испанским против Англии. Армада была рассеяна бурей и затем по частям разбита английским флотом.

...в Египет, где стояла римская армия, подобно тому как ныне там стоит британская армия. — В 1882 г. английские войска оккупировали Египет.

Септимий Луций — римлянин, убивший полководца Помпея, когда тот, после поражения под Фарсалой, прибыл в Египет.

Стр. 125. *...они не имеют обыкновения выкапывать тела мертвых врагов и четвертовать их, как мы поступили с Кромвелем и Махди.* — Тело вождя английской революции XVII в. Оливера Кромвеля, похороненное в усыпальнице королей — Вестминстерском аббатстве, было после реставрации Стюартов публично повешено, а затем обезглавлено. Тело вождя арабских повстанцев, боровшихся против английских завоевателей, Махди Мухаммеда Ахмеда (1848—1885), после подавления восстания (1898) было выброшено из могилы.

Стр. 135. *Арфа Мемнона* — статуя в Египте, известная также под названием «Поющий Мемнон», так как на рассвете под действием солнечных лучей, нагревавших камень после холодной ночи, она издавала различные звуки.

Стр. 147. *Тоттенхем-Корт-Роуд* — одна из центральных торговых улиц Лондона.

Стр. 148. *Авлет* — Толемей Авлет XII (в переводе «авлет» значит — игрок на флейте) — египетский царь, правивший в 80—51 гг. до н. э. Изгнан из Египта, бежал в Рим и с помощью Помпея в 55 г. до н. э. вернулся на престол, казнив свою старшую дочь Беренику, которая правила во время его изгнания.

Стр. 154. *...предвосхищая идею более поздних государственных деятелей.* — Имеются в виду слова английского премьер-министра Дизраэли «Почетный мир», сказанные им о результатах Берлинского конгресса 1878 г., на котором остров Кипр был передан Англии.

Габиний Авлий (I в. до н. э.) — римский военачальник, помог египетскому царю Авлету вернуться на трон.

Стр. 155. *Юба Нумидийский* (I в. до н. э.) — царь, сторонник Помпея. После его поражения покончил самоубийством. Нумидия — государство в Северной Африке (на территории современного Алжира).

Стр. 158. *Верцингеторикс* — см. примеч. к с. 34.

Стр. 166. *Горит Александрийская библиотека.* — Величайшее книгохра-

нилище древности имело 400 000 томов. Во время пожара в 47 г. до н. э. погибли ценнейшие книги античности.

Стр. 183. *...с тех пор, как ты перешел Рубикон...* – В 49 г. до н. э. Цезарь, вопреки воле сената, перешел со своими легионами реку Рубикон, служившую границей между Цизальпинской Галлией и Италией, и тем самым начал гражданскую войну в Италии. С тех пор выражение «перейти Рубикон» означает: принять бесповоротное решение, совершить решительный поступок.

Стр. 191. *Пифагор* (ок. 580 – 500 гг. до н. э.) – древнегреческий философ-идеалист и математик. Пифагор и его ученики математически обосновали законы музыкальной гармонии.

Стр. 197. *Митридат Пергамский* – сын царя Митридата VI Евпатора (I в. до н. э.); вопреки политике своего отца, поддерживал римлян. *Пергам* – древний город в Малой Азии, один из крупнейших торговых и культурных центров древности.

Стр. 207. *Аппиева дорога* – одна из наиболее знаменитых дорог в Древнем Риме, проложенная Аппием Клавдием в 312 г. до н. э. в морской порт Капую.

Стр. 208. *Что? Стучащие столы?* – Намек на увлечение спиритизмом, распространенное в английских буржуазных кругах в конце XIX в.

ОБРАЩЕНИЕ КАПИТАНА БРАСБАУНДА

Написанная в 1899 г., пьеса была исполнена для регистрации авторского права в Ливерпуле (октябрь 1899 г.), затем показана в Лондоне «Театральным обществом» (декабрь 1900 г.). За этими единичными представлениями последовали театральные премьеры в манчестерском театре (май 1902 г., шесть спектаклей) и в Лондоне, где пьесу поставил Гренвилл-Баркер в «Ройал Корт» (1906 г.). В 1907 г. состоялась берлинская премьера.

Создавая «Обращение капитана Брасбаунда», Шоу все еще вел борьбу за то, чтобы его пьесы вошли в репертуар профессиональных театров. Поэтому он пытался найти выдающихся исполнителей, которые завоевали бы публику для его драматургии. В «Обращении капитана Брасбаунда» роль леди Сесили была написана специально для Эллен Терри. Терри была лучшей английской актрисой конца XIX в. С 1878 г. она стала партнершей Генри Ирвинга в руководимом им театре «Лицеум». Хотя театр выделялся высоким уровнем сценического мастерства, Шоу справедливо упрекал Ирвинга за пренебрежение к современной драматургии. В 1892 г. Шоу вступил в переписку с выдающейся актрисой. Он пытался убедить ее и Ирвинга обратиться к проблемным и социальным пьесам современных драматургов. Однако Эллен Терри сочла пьесу Шоу недостаточно сценичной. На два письма, в которых актриса отказывалась от роли, Шоу ответил развернутой характеристикой своего произведения.

В Европе царит культ империалистических завоевателей типа Бисмарка и Китченера, писал Шоу, в Европе виселицы, каторга, истерическое восхваление кнута, трусость, маскирующаяся лозунгами «сильное правительство», «закон и порядок» и т. п. Недостаточно быть порядочным человеком в личном быту, убеждал писатель актрису; надо возвысить голос против несправедливости во всеуслышание. «Соответственно я поднес Вам пьесу, где героиня находится на том

самом месте, где, согласно распространенному мнению, без империализма никак невозможно, — на грани, где сталкиваются европеец и фанатик-африканец и где судья, с одной стороны, и неустрашимый авантюрист-флибустьер, с другой, содействуют «продвижению цивилизации», носителями которой они делают хулигана с ружьем, аристократа mauvais sujet [1] и безмозглого бродягу. Я пытаюсь показать, как эти люди набираются храбрости и твердости в постоянном ощущении и преодолении страха. Я пытаюсь показать Вас, которая не боится никого и ничего и управляется с ними со всеми, как Даниил со львами, не хитростью — и прежде всего не тем, чем пользовалась Клеопатра: их страстями, — а просто в силу своего морального превосходства».[2] Драматург идет так далеко, что провозглашает созданный им женский образ воплощением центральной идеи современности, подразумевая под этим, что культура и гуманность должны противостоять империалистическому разбою и насилию.

Шоу утверждал, что его пьеса вполне реалистична, ибо опирается на подлинные повествования о первых исследователях глубин Африки. Он называет имена известного путешественника Генри Стенли, этнолога Мэри Кингсли и шотландского писателя Каннигема Грэма. И выводит простую мораль: в то время как одни, подобно Стенли, пробивали себе путь обманом и оружием, другие добивались не меньшего терпимым отношением к местным обычаям и нравам, вежливостью и гуманностью.

Милитаризму и агрессии Шоу противопоставляет идеологию пацифизма. В пьесе Шоу в равной мере осуждает насилие законное, воплощенное в образе судьи Хэллема, и беззаконное, осуществляемое разбойником Брасбаундом. Леди Сесили объясняет Брасбаунду, что между ним и его обидчиком принципиальной разницы нет: «В обхождении с людьми он всегда прибегает к крутым мерам, как вы относительно своих подчиненных, и точно так же стоит за месть и наказание, как вы в вашем желании мстить за мать». Она подчеркивает, что жестокость сэра Хауарда не есть его личное качество, но порождение всей государственной системы насилия: «Ваш дядя Хауард человек на редкость безобидный! Он куда лучше, чем большинство людей его профессии. Конечно, как судья, он делает страшные вещи, но чего еще ждать от человека, которому платят пять тысяч фунтов в год за то, что он творит зло, которого хвалят за это и толкают на это полисмены, суды, своды законов и присяжные, так что ему не остается другого выхода?» Образ леди Сесили позволяет сказать, что драматург, с таким мастерством умевший рисовать пороки, обнаружил не меньший творческий дар в создании положительной героини, обладающей всепокоряющим обаянием. В леди Сесили нет сентиментальной чувствительности. Она вся — воплощение рассудительности и трезвой наблюдательности, которые так по сердцу Бернарду Шоу. «Во всех других моих пьесах — даже в «Кандиде», — признавался драматург в письме к Эллен Терри, — я более или менее, но всегда проституировал героиню, заставляя ее вызывать у публики интерес, отчасти сексуальный; это не относится, пожалуй, только к героине в «Ученике дьявола». А в леди Сесили я обошелся без этого и добился особого очарования».[3]

Драматург окружил героиню множеством разнообразных мужских характеров. Среди них нет никого, кто стоял бы на одном уров-

[1] Беспутного шалопая *(франц.)*.

[2] Джордж Бернард Шоу. Письма. М., 1971, с. 83.

[3] Там же, с. 84.

не с ней, потому что это либо люди ложных принципов, либо люди, слишком подверженные примитивным эмоциям. Но Шоу не прибегает к резким краскам сатиры. Пьеса в целом окрашена тональностью, соответствующей характеру героини. Ровный свет иронии распространяется на всех: на мрачного байронического отщепенца Брасбаунда; на чопорного джентльмена сэра Хауарда; на арабского шейха Сиди эль Асафа. Каждый из них в чем-то ограничен и далеко не дотягивает до той высоты духа, на которой находится леди Сесили.

Шоу определил жанр пьесы термином, который придумал сам,– мелодраматическая комедия. От мелодрамы здесь и злой дядя, лишивший племянника наследства, и разбойники в пустыне, и воинственные арабы. Подобные мотивы встречались в популярных мелодрамах второй половины XIX в. Шоу воспользовался ими по-своему. Привычные для публики театральные эффекты попадания в ловушки, из которых, казалось бы, нет выхода, неожиданные повороты в положении персонажей, когда сила и превосходство переходят то на одну, то на другую сторону,– все это использовано Шоу для утверждения важных для него идей.

Шоу был прав, когда ставил свои произведения в единую линию развития европейской комедии и подчеркивал связь с предшественниками. Но хотя он и пользуется фарсовыми ситуациями и комическими состязаниями в остроумии, «Обращение капитана Брасбаунда» представляет собой именно то, от чего он пытался отречься,– «дозу интеллектуального лекарства». Вековечные приемы комизма использованы Шоу для создания интеллектуальной комедии, а отнюдь не для буффонады.

В пьесе Шоу продолжает борьбу против ложноромантического взгляда на жизнь. Все главные персонажи, за исключением леди Сесили, склонны к романтическим понятиям о любви, мести, справедливости. Их отношение к жизни насквозь эмоционально и, как правило, лишено разумных оснований. Леди Сесили выражает тот трезвый и рассудительный взгляд на действительность, который свойствен Виви («Профессия миссис Уоррен»), Кандиде и некоторым другим героиням в пьесах Шоу. С лицами этого духовного склада читатель еще неоднократно встретится в дальнейших произведениях драматурга.

Стр. 229. *...следуя совету Вольтера, возделывает свой сад.* – Призыв «возделывать сад», то есть заниматься конкретным делом, принадлежит герою повести Вольтера (1694–1778) «Кандид» (1759).

Стр. 230. *Биллингсгейт* – старинный рынок в Лондоне.

Стр. 235. *Гордон Хартумский* – Чарлз Джордж Гордон (1833–1885) – английский генерал, проводивший захватническую политику Великобритании в Египте и Судане; в течение десяти месяцев находился в осаде в Хартуме, окруженном суданскими войсками; погиб при штурме Хартума суданцами.

Стр. 236. *Экскурсии Кука* – компания Кука, старейшая английская компания по организации туристских поездок, имеющая отделения во многих странах мира.

Стр. 242. *...где жила волшебница из поэмы Шелли.* – Речь идет о поэме П. Б. Шелли «Атласская фея» (1820).

Стр. 249. *Вместе мы стоим, поодиночке падаем.* – Точнее, «вместе выстоим, поодиночке будем разбиты» – слова из боевого гимна времен американской войны за независимость «Песнь свободы» (1768) Джона Дикинсона.

Стр. 257. *...в ньюингтонском полицейском участке...* — Ньюингтон — район Лондона на правом берегу Темзы.

Стр. 263. *Потомку пророка.* — То есть Магомета; такой титул носили арабские правители (Магомет считался наместником бога, правитель — наместником Магомета).
Джонсон эль Гулль — насмешливо-пародийное переиначивание имени Джонсона из Гулля на арабский лад.

Стр. 272. *Джексон Каменная стена* — прозвище генерала Томаса Джонатана Джексона, возглавлявшего войска Юга в войне против Севера США; он стоял со своими войсками как стена в битве при Бул-Рене (1861); его имя и прозвище стали нарицательными для обозначения людей, стойких в обороне.

Стр. 276. *Гайд-парк* — парк в Лондоне, где около Мраморной арки происходят выступления ораторов и политические демонстрации.
Кинтафи — город в Марокко.

Стр. 277. *...франкский...* — словом «франк» марокканцы обозначают всякого чужеземца из Европы и США.
...«Тысяча и одна ночь» в переводе капитана Бертона. — Самый полный перевод этого классического сочинения в 16 томах, изданный в 1885—1888 гг.

Стр. 278. *Франкистан* — условное название любого иностранного государства (см. примеч. к с. 277). В данном случае — Англия.
Соломон и царица Савская. — Согласно библейской легенде, встреча иудейского царя Соломона и царицы Савской представляла собой соревнование его мудрости и ее красоты.
Маракеш — столица Марокко.

Стр. 286. *«Дети в лесу».* — «Дети в лесу, или Арлекин и злой дядя» — английская народная сказка.

Стр. 290. *Нелсон, Горацио* (1758—1805) — английский адмирал. В 1805 г. флот под его командованием одержал победу над франко-испанским флотом у мыса Трафальгар на атлантическом побережье Испании.

Стр. 298. *«Сушни Тод», «Лондонский демон-цирюльник», «Наездник-Скелет»* — анонимные произведения английских писателей XIX в.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЭШВИЛ, ИЛИ НЕВОЗНАГРАЖДЕННОЕ ПОСТОЯНСТВО

В 1882 г. Шоу опубликовал роман «Профессия Кэшела Байрона». Из всех его ранних прозаических произведений оно имело наибольший успех. Сам автор объяснял это тем, что читательниц увлекла сентиментальная история о богатой и интеллигентной девушке, вышедшей замуж за боксера, а мужчин заинтересовало яркое изображение боксерского матча. Профессиональный же боксер, известный чемпион Джим Тэнни, категорически заявил, что Шоу не понимает ни темперамента, ни психологии профессионального боксера.

«Роман привлек к себе жестоким описанием матча, — писал Шоу. — Это вовсе не обычный случай, описываемый в романах, когда герой сражается со злодеем в защиту героини или из справедливого гнева. Бойцам платят за то, чтобы они дрались для развлечения зрителей. Успех этого эпизода — решительное доказательство того, на-

сколько поверхностны обычные условности романов. Я гарантирую каждому покупателю «Профессии Кэшела Байрона» первоклассную драку за его деньги. Вместе с тем я не пытаюсь уверить, будто его жажда крови и насилия есть проявление симпатии благородной души к добродетели, в ее вечной борьбе против порока».[1]

Успех романа побудил предприимчивых драмоделов инсценировать его, и в США появилось несколько пьес на сюжет Шоу. Это заставило его впоследствии, когда он стал драматургом, создать для защиты своего авторского права печатаемую здесь пьесу.

Написанная в 1901 г., она была впервые сыграна 14 декабря 1902 г. в клубе «Фарс» в Лондоне. Премьера профессионального спектакля состоялась в «Эмпайр-тиэтр» 7 июня 1903 г. в Лондоне. Затем в Англии были постановки 1905, 1909 гг. и, наконец, представление на Малвернском фестивале в 1930 г.

В 1928 г. Шоу писал: «Жаль, что британская публика не в состоянии понять литературную шутку; пьеса просто удивляет зрителей...» Действительно, это произведение Шоу – не больше чем литературная шутка. К ней относится то, что писатель сказал о романе: здесь пародируется мещанский сентиментализм и провоцируется интерес публики к жестоким побоищам.

В частности, объектом пародии является популярная драма Э. Булвер-Литтона «Лионская красавица» (1838), в которой изображена любовь садовника Клода Мельнота к своей госпоже. Еще ранее тот же мотив любви плебея к высокопоставленной даме был изображен в драме В. Гюго «Рюи Блаз». У Шоу таким персонажем является дворецкий Лидии Бэшвил, чья верность, как сказано в названии пьесы, не вознаграждается. Дворецкий в качестве героя выведен и в пьесе шотландца Джеймса Барри «Великолепный Крайтон» (1902) – комедии, имевшей большой успех. В пьесе Барри группа богатых и знатных людей оказывается на необитаемом острове, и дворецкий Крайтон руководит всеми, так как он умеет и знает все. По возвращении к обычным условиям он опять оказывается в подчиненном положении.

Объектом пародирования в пьесе является также возвышенный стих английских трагедий, в особенности Шекспира. Несколько наиболее очевидных даже в переводе пародийных мест отмечено в примечаниях.

Стр. 312. *...сходен с козлоногим изваяньем.* – В садах богатых домов ставили статуи мифологических персонажей. В данном случае подразумевается изображение фавна или сатира, лесного духа с козлиными ногами.

Стр. 315. *Великий Нелсон...* – Английский адмирал Нелсон победил французский флот Наполеона в битве у мыса Трафальгар. Перед сражением, в котором он погиб, Нелсон приказал поднять на флагманском корабле сигнал, обращенный к эскадре: «Англия надеется, что каждый выполнит свой долг».

...Чем по доспехам Марса циклопы молотами... – В античной мифологии Марс – бог войны, циклопы – одноглазые чудовища, тщетно пытавшиеся пробить его щит и доспехи.

Стр. 318. *Даунинг-стрит* – на этой улице в центре Лондона находится резиденция премьер-министра Великобритании.

Бирмингемец – Бирмингем – крупнейший индустриальный город в срединной Англии, центр промышленной буржуазии. Далее следует

[1] Henderson A. George Bernard Shaw, p. 103.

сатирическая характеристика выходцев из этой среды, стоящих в буржуазной Англии у власти.

Стр. 319. *Симпсон, Джеймс Янг* (1811—1870) — шотландский врач, открывший обезболивающее действие хлороформа.
Галилей, Галилео (1564—1642) — итальянский ученый. Здесь имеется в виду его открытие, что пушечное ядро, в силу земного притяжения, летит не по прямой, а по параболе.
Святого Витта пляска... — Болезнь, проявляющаяся в тряске конечностей и головы.

Стр. 320. *Уормвуд-скрабз* — парк в северо-западной части Лондона, место официальных матчей бокса.

Стр. 327. *...речь актера из «Гамлета»...* — В пьесе У. Шекспира актер, приезжающий в королевский замок, читает по просьбе Гамлета монолог, в котором изображается горе троянской царицы Гекубы после гибели ее мужа. Слезы актера вызывают у Гамлета удивление: «Что он Гекубе? Что она ему? А он рыдает!» («Гамлет», акт II, сц. 2).

Стр. 328. *Лионская красавица.* — Кэшел иронически называет так Лидию, имея в виду популярную в XIX в. пьесу Булвер-Литтона (1803—1873) «Лионская красавица», героиня которой отвергает влюбленного в нее садовника.
...Ты парок, нить моей судьбы прядущих... — В греческой мифологии парки — фантастические существа, державшие в руках нити жизни человека, которые они могли оборвать по своей воле.

Стр. 332. *Излингтон* — один из районов Лондона.
Парацельс, Филипп Ауреол (1493—1541) — ученый-экспериментатор, отвергший средневековую науку и пытавшийся посредством магии и алхимии постичь тайны природы.

Стр. 334. *Гуигнгнмы* — разумные лошади в четвертой части «Путешествий Гулливера» (1726) Дж. Свифта.
...часовой в Помпеях. — Когда извержение Везувия в 79 г. обрушило лаву на город Помпею, римский солдат, стоявший на посту, не сдвинулся с места, так как его не сменили. В таком виде его труп был обнаружен при раскопке погибшего города.

Стр. 335. *Ich diene — я служу* (нем.). — Надпись на собачьем ошейнике; выражение употребляется в переносном смысле для обозначения полной зависимости от господина.

Стр. 337. *«Естественный отбор».* — По учению Чарлза Дарвина (1809—1882) развитие животных видов происходит по закону, согласно которому выживают сильнейшие и наиболее приспособленные.

Стр. 339. *Апперкот, хук, свинг, нокдаун* — названия различных видов удара в боксе.

Стр. 340. *Исандлвана* — место победы зулу над англичанами во время англо-зулусской войны 1879 г.
Все континенты вместе, пока на их плечах могучих блещут алмазные соцветья океанов... — Пародия по мотивам двух монологов из пьес Шекспира: «Царственный сей остров... сей мир особый, дивный сей алмаз в серебряной оправе океана...» («Ричард II», акт II, сц. 1) и «Мы сможем одолеть в любой борьбе, — была бы Англия верна себе» («Король Джон», акт V, сц. 7).

Стр. 344. *О, тигр в обличье юноши...* — Пародия на строки Шекспира: «О, сердце тигра в женской оболочке!» («Генрих VI», ч. 3, акт I, сц. 2).
Ужели руки даны тебе лишь для того, чтоб ты... — Пародия на слова

Гамлета: «Тот, кто создал нас с мыслью столь обширной, глядящей и вперед и вспять, вложил в нас не для того богоподобный разум, чтоб праздно плесневел он» (акт IV, сц. 4).

Стр. 347. *Пентонвил* — тюрьма в Лондоне.
Портлэнд — тюрьма в графстве Мидлсекс.

Стр. 348. *...напомнить звуки старой, нежной песни...* — Отголосок «Двенадцатой ночи» Шекспира: «Пусть мне опять сыграют ту песенку старинную простую...» (акт II, сц. 4).

Стр. 352. *Твое лицо таким сияет светом, что он сто тысяч кораблей сожжет.* — Ср. «Троил и Крессида» Шекспира: «Она жемчужина, что стоит дороже тысяч кораблей» (акт II, сц. 2).
Рожок почтовый, кучер, мне вручи и в Лондон нас без остановки мчи. — Почтальоны, развозившие почту в каретах, давали сигнал о прибытии звуком рожка. Эти строки — пародия на частую концовку в пьесах-хрониках Шекспира, например: «Гремите трубы! В Лондон поспешим!» («Генрих VI», ч. 2., акт V, сц. 3).

ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК

Написанная в 1901—1903 гг., комедия «Человек и сверхчеловек» не сразу попала на сцену. В таких случаях Шоу обычно печатал свои пьесы, но на этот раз даже не нашлось издателя, который согласился бы выпустить новое произведение драматурга. Тогда Шоу издал его сам (1903), а на театральных подмостках комедия появилась лишь два года спустя. Ее показал публике театр «Ройал Корт» (1905) в постановке Гренвилл-Баркера. В этом спектакле третье действие было опущено. В 1907 г. Гренвилл-Баркер поставил его отдельно под названием «Сон из «Человека и сверхчеловека». За этим обширным эпизодом утвердилось название «Дон Жуан в аду».

Впервые пьеса была сыграна полностью в Эдинбурге в 1915 г. Еще десять лет спустя тот же режиссер Эсме Перси повторил ее в лондонском театре «Риджент» (1925). На русском языке «Человек и сверхчеловек» был поставлен в Петрограде в Государственном театре комической оперы (1920).

«Человек и сверхчеловек» — целый комплекс произведений Шоу. В него входят: предисловие в форме послания критику А. Б. Уокли; сама комедия «Человек и сверхчеловек», «Справочник революционера» и «Афоризмы для революционеров», якобы написанные персонажем комедии Джоном Тэннером. Сама пьеса состоит из двух частей — комедии о Джоне Тэннере и Энн Уайтфилд и интермедии «Дон Жуан в аду». В трактате «Справочник революционера» более подробно развиваются положения, изложенные в предисловии и в сцене «Дон Жуан в аду». Русский перевод трактата был опубликован в первом томе Полного собрания сочинений Бернарда Шоу (изд-во «Современные проблемы», М., 1910) под названием «Справочник разрушителя».

Сердцевину произведения составляет комедия о Тэннере и Энн Уайтфилд. Шоу не возражал против того, чтобы ее играли без интермедии «Дон Жуан в аду», так как исполнение обеих вместе требовало слишком длительного спектакля. Но он соглашался на это, имея в виду, что публику начала XX в. надо было приучать к сложным произведениям драматургии идей постепенно. Через двадцать лет после премьеры оказалось возможным сыграть пьесу с включением интермедии (при некоторых сокращениях в той и другой), и художественный замысел Шоу предстал во всей полноте.

«Человек и сверхчеловек» — одна из лучших пьес Шоу; более того, это вообще одна из лучших комедий XX в. Перед нами яркий образец драматургии идей. Художественная сила пьесы определяется тем, что носители идей автора — живо обрисованные характеры. Но обрисовка их лишена бытового правдоподобия, потому что, как обычно у Шоу, поведение действующих лиц определяется сложной диалектикой идейного замысла драматурга.

Как и в других пьесах, где Шоу заботился о театральности, в построении фабулы он применил приемы «хорошо сделанной пьесы» с ее эффектной театральностью.

В пьесе две параллельные сюжетные линии. Одну из них составляет история Тэннера и Энн, другую — история Вайолет и Гектора. Первая характерна для жанра так называемой высокой комедии, ибо суть конфликта здесь глубоко принципиальная, идейная, тогда как линия Вайолет и Гектора принадлежит к водевильной традиции и имеет бытовой характер. Если в истории Тэннера и Энн вопрос о взаимоотношении полов решается в общефилософском плане, то во второй истории речь идет о практическом, житейском вопросе: Гектору нужно, чтобы отец одобрил его брак с Вайолет и оказал им материальную поддержку — традиционный комедийный сюжет.

Шоу мистифицировал критиков, заявив, будто его пьеса — вариант сюжета о Дон Жуане. В действительности дальше сходства имен — Джон Тэннер и Жуан (по-испански — Хуан) Тенорио — ничего общего между прославленным героем испанской легенды и персонажем пьесы Шоу нет.

Если отвлечься от предисловия, в котором Шоу утверждал, что представил в новом свете знаменитую легенду, то сразу обнаружится, что изменен главный мотив этой легенды — донжуанство. Герой Тирсо де Молина, Мольера и других авторов, обрабатывавших легенду о севильском обольстителе, видел смысл своей жизни в том, чтобы добиться обладания каждой приглянувшейся ему женщиной. Ничто в пьесе Шоу не дает оснований видеть в Тэннере женолюба и тем более распутника. Другое дело, что сам он необычайно притягателен для женщин. Тэннер принадлежит к героям, типичным для Шоу, таким, как Дик Даджен («Ученик дьявола»), если брать ранние пьесы, а из более поздних — Хиггинс («Пигмалион»). Они — фанатики идей, избегающие любых уз, не только брачных, но даже любовных.

Тэннер — убежденный противник всех институтов буржуазного общества. Если он и увлекается, то не женщинами, а идеями. Дон Жуаном его можно считать только в том случае, если признать, что существует духовное донжуанство, состоящее в способности увлекаться новыми идеями. Такие люди есть, Шоу и сам был человеком такого склада. Определенная автобиографичность образа состоит в том, что как автор, так и его герой долго стремились сохранить свободу от личных уз, целиком посвящая себя борьбе за передовые идеи. Заметим, что Гренвилл-Баркер, играя Тэннера, загримировался под Бернарда Шоу, каким он был в те годы. Отсюда отнюдь не следует, конечно, что Тэннера обязательно надо уподоблять самому Шоу.

Хотя драматург называет своего героя революционером, Тэннер отнюдь не человек действия. Он яростно обличает лживость буржуазных установлений и морали. Но он не обнаруживает способности претворять свои идеи в жизнь. Более того, в вопросе, имеющем первостепенное значение для всей его личной жизни, он оказывается пассивным и неспособным сопротивляться.

Здесь надо сказать об одной особенности образа, созданного Шоу. Драматург изобразил Тэннера великим насмешником; но нельзя

не заметить, что Тэннер сам подчас оказывается фигурой, вызывающей смех. Мечтая о сверхчеловеке и в чем-то действительно возвышаясь над окружающими, Тэннер вместе с тем отнюдь не ходульный герой-резонер, в житейском отношении он оказывается подчас простодушным. Комизм положения Тэннера больше всего проявляется в том, что насмешник и «ниспровергатель основ», человек смелой мысли, Тэннер пасует перед Энн и ведет себя как кролик перед удавом, не в силах противиться напору и обаянию влюбленной в него женщины.

Энн Уайтфилд непохожа на сентиментальных героинь викторианской драмы. Твердо решив, кто будет спутником ее жизни, она без стеснения добивается соединения с ним. Полная противоположность «женственной женщины», то есть типичной героини мещанских драм, Энн полна смелости, волевого напора. Она может притвориться послушной дочерью, скромной собеседницей старших, с искренней теплотой относиться к влюбленному в нее Октавиусу.

Шоу сделал Энн воплощением жизненной силы, в которой проявляется закон жизни и развития, но, как это ни странно на первый взгляд, Энн вовсе не эротична. Она самостоятельна и умна, и ум ее не уступает, пожалуй, уму Тэннера. Но главное в Энн – тот внутренний напор, который заставляет ее добиваться облюбованного ею отца для своих будущих детей любой ценой, не пренебрегая ни ложью, ни шантажом. С удивительной жизненной хваткой она управляет обстоятельствами, легко и свободно в них ориентируясь. В этом отношении она подобна Кандиде, леди Сесили («Обращение капитана Брасбаунда») и другим героиням Шоу.

В противоположность Тэннеру и Энн, которые оба могут быть названы реалистами в духе Шоу, Октавиус – «романтик», то есть, по Шоу, человек, лишенный реального понимания жизни. Он принадлежит к тем, кто цепляется за иллюзии, пока жизнь их не разобьет.

У Дон Жуана – Тэннера есть свой Лепорелло. Это – Генри Стрейкер, традиционная фигура умного и разбитного слуги. Шоу трансформировал этот образ из старинных комедий, представив спутника Тэннера «новым человеком». Он шофер, представитель машинного века, и в этом смысле человек будущего. Одновременно он сохраняет типичные черты демократической среды, из которой происходит. Стрейкер – лондонский кокни; рядом со светскими людьми особенно заметны его повадки и речь, характерные для людей из «низов».

Особый интерес представляет группа эпизодических персонажей, появляющихся в начале третьего акта. Благородные разбойники – традиционные образы драмы. Вводя их в свою комедию, Шоу не только снял с них всякий романтический ореол, но даже придал в значительной мере пародийный характер. В шайке Мендосы представлены популярные политические течения конца XIX – начала XX в. Мы видим здесь трех социал-демократов и одного анархиста; последний все время обличает социал-демократов за их склонность к компромиссу с буржуазией. В гротескном виде драматург представил те политические направления, против которых он боролся, как фабианец.

В предшествующих пьесах главное средство преобразования жизни Шоу видел в социальных реформах. В «Человеке и сверхчеловеке» выдвигается идея необходимости биологического усовершенствования человеческого рода. Означает ли это, что Шоу отказывается от идеи изменения общественного строя? Ни в коей мере. По его мнению, одно должно дополнять другое. В вопросе о средствах социального прогресса Шоу остается на фабианских позициях (то есть считает нужным добиваться переустройства общества посредством отдельных частных реформ, осуществляемых постепенно). Но он считает недоста-

точным само по себе изменение социального строя. Люди, исковерканные веками рабства, неравенства, гнета, не будут способны жить по-новому. Для новых социальных форм жизни нужен человек иного психического склада.

С этим связана идея сверхчеловека, о которой идет речь в комедии. Термин «сверхчеловек» заимствован писателем у Ф. Ницше. Немецкий философ называл сверхчеловеком личность, стоящую над массой, отвергающую традиционную мораль и применяющую, в случае нужды, силу для достижения своих целей. С ницшеанством сверхчеловек Шоу имеет только одну точку соприкосновения. Он тоже отвергает буржуазную мораль и предрассудки, но повинуется не произволу индивидуалистических стремлений, а законам и справедливости. Это не антисоциальная личность, как у Ницше, а, наоборот, личность, в наибольшей степени сознающая потребности общества. Надо, считает Шоу, направить развитие человека таким образом, чтобы достичь гармонии физических и духовных способностей индивида.

В связи с этим надо сказать об отношении Шоу к таким крупнейшим естествоиспытателям XIX в., как Дарвин и Ламарк. Согласно учению Дарвина, эволюция животных видов обусловлена борьбой за существование и приспособлением к окружающим условиям. Некоторые социологи перенесли учение Дарвина на общество и утверждали применимость открытых им законов для объяснения социальных явлений. Шоу отвергал борьбу как условие прогресса и, перенося научные категории в нравственную сферу, был противником приспособления к окружающей среде. Один из «Афоризмов для революционеров» гласит: «Разумный человек приспосабливается к миру; неразумный упорно стремится приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей». В парадоксальной форме здесь выражена одна из любимых идей Шоу.

Шоу противник детерминизма, он отвергает теорию, объясняющую поведение человека исключительно влиянием среды и окружающих условий. Поэтому его привлекла теория Ламарка, считавшего одним из важнейших факторов эволюции волю живых существ, благодаря которой они приобретали новые физические способности и органы, передававшиеся по наследству. Отсюда оставался один шаг до учения французского философа Анри Бергсона о Жизненной Силе, являющейся главной причиной всякого развития в природе.

Шоу приложил эти теории к эволюции человеческого рода. Он считал, что человек, каков он есть, отнюдь не образец совершенства. По его мнению, неверно, будто возможности развития человека как биологического вида исчерпаны. Наоборот, не только возможна, но и необходима дальнейшая эволюция человека, приобретение им новых качеств, которые сделают его существом, способным к созданию новых форм общественной жизни, с тем высоким уровнем духовной культуры, какой необходим, чтобы жить в более совершенных условиях. Шоу выдвигает идею человеческой активности и — более того — принцип ответственности за все, происходящее в мире.

Гуманизм Шоу со всей силой раскрывается в эпизоде «Дон Жуан в аду». Комментарий к этому эпизоду Шоу дал в 1907 г. для программы отдельной постановки этого эпизода.

«Пустынная пропасть на сцене изображает ад; действующие лица рассуждают об аде, небесах и земле, как если бы они представляли собой различные местности... Современная теология рассматривает небо и ад не как отдельные места, а как душевные состояния; под душой при этом подразумевается не некий орган вроде печени, а божественный элемент, присущий всей жизни, побуждающий нас не только

заботиться о личных интересах, но, «выполняя божью волю», оказывать внимание один другому ради наших небесных, а не эгоистических стремлений.

Широко распространено мнение, будто ад не просто некое место, а место жестокостей и кары, тогда как небеса будто бы обитель бездеятельных наслаждений. Эти легенды отвергаются высшей теологией, которая считает, что сей мир, как и любой иной, может быть превращен в ад обществом, достигшим низшей ступени падения; то есть обществом, лишенным высших форм проявления энергии, погрязшим в погоне за минутным личным наслаждением и не способным даже представить себе страсть, движимую божественной волей. Люди же, у которых эта страсть является господствующей, могут превратить жизнь в рай, в «сообщество святых».

В данном спектакле ад изображен как проклятое место. Его олицетворяет, согласно традиции, дьявол, отличающийся от современного плутократического сластолюбца только тем, что, будучи «верен себе», не маскирует ни для себя, ни для других своего падения, но, наоборот, смело признает, что таков закон жизни: в его царстве открыто господствует пустая погоня за наслаждениями, преклонение перед любовью, красотой, чувствительностью, молодостью, «романтикой» и т. п.

Эту концепцию рая и ада автор фантастически соединил с легендой XVII в. о Дон Хуане Тенорио, о Дон Гонзало Улоа, командоре Калатравы, и его дочери Донье Анне, как о них рассказано в известной пьесе Тирсо де Молина и опере Моцарта. Дон Гонзало, по его собственным словам, всегда поступавший так, «как обязан вести себя дворянин», погибает, защищая честь дочери, и отправляется на небеса. Его убийца Дон Хуан был низвергнут в ад призраком Дон Гонзало, чью статую он в насмешку пригласил к себе на ужин. Старинная мелодрама превращается в философскую комедию благодаря тому, что Дон Гонзало, вопреки легенде, изображается простоватым офицером-дворянином, заботившимся лишь о модных развлечениях, тогда как Дон Хуан представлен человеком, всецело поглощенным страстью к божественным размышлениям и творческой деятельности, в чем и состоит секрет того, что любовь не могла увлечь его надолго. Соответственно, Дон Гонзало, неспособный разделить божественный экстаз, страшно скучает на небесах, а Дон Хуан испытывает невероятную тоску среди удовольствий, предлагаемых адом.

В конце концов Дон Гонзало, после нескольких разведывательных посещений ада под предлогом побудить Дон Хуана к раскаянию, решает обосноваться там навсегда. Как раз в это время, достигнув преклонного возраста, умирает его дочь Анна, ставшая благочестивой дамой, полной светских добродетелей; она сталкивается в аду с Дон Хуаном, а также с превеликим удивлением наблюдает появление там ее возведенного в святые отца. [...]

Дьявол, как всегда стремящийся упрочить свое царство посредством увеличения числа находящихся в нем душ, рад прибытию Дон Гонзало и желает удержать здесь Донью Анну. Но он также хотел бы избавиться от Дон Хуана, с которым находится в натянутых отношениях из-за разделяющей их непримиримой антипатии. [...]

Донья Анна, будучи женщиной, не способна ни пасть до крайности, как дьявол, ни достичь полного возвышения над чувственностью, как Дон Хуан. Многодетная, она переживала божественный акт родов, заботилась, трудилась и мучилась ради вечного продления жизни; но высокая честь и божественность ее свершений были ревниво скрыты от нее мужчиной, который, опасаясь, что господство перейдет к ней,

предложил ей в качестве награды удовлетворять ее чувства и пристрастия. В отличие от дьявола-мужчины, она не может относиться к любви просто как к наслаждению; отличается она и от мужчины-святого, пренебрегающего любовью после того, как он исчерпал то, что она дает для жизненного опыта и духовного развития. Любовь для нее не наслаждение и не объект для изучения, она для нее – главное дело. Поэтому в конце она не следует на небеса за Дон Хуаном и не остается с дьяволом и с отцом во дворце удовольствий, а заявляет, что ее задача еще не выполнена. Ибо, хотя смерть лишила ее возможности рожать детей от смертных отцов, как Бессмертная Женщина она еще может произвести Сверхчеловека от Вечного отца».[1]

В этой авторской декларации кое-что необходимо расшифровать. Прежде всего, что такое «новая», или «современная теология»? В начале XX в. в прогрессивных общественных кругах существовало мнение, что взамен старой религии с ее предрассудками надо дать человечеству религию, которая будет апеллировать одновременно и к разуму, и к чувствам людей. Широкое распространение в европейских странах получили «богоискательство» и «богостроительство». В Англии этому поветрию отдали дань многие известные писатели и мыслители, в том числе Г. Дж. Уэллс, пытавшийся утвердить новое понятие бога как всечеловеческого разума. Не миновал этого увлечения и Шоу. Его концепция ближе к «богостроительству», чем к «богоискательству» реакционной интеллигенции. С точки зрения последовательного материализма, она является идеалистической. Представляется, однако, что к Шоу применимо изречение В. И. Ленина: «Умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм»[2]. Разумная сторона концепции Шоу состояла в критике официальной религии и буржуазной морали. В глазах религиозных ортодоксов «новая теология» Шоу была кощунством, а его ироническое переосмысление понятий о рае и аде – святотатством.

Критика официальной религии и стремление заменить ее нравственной философией, более отвечавшей потребностям народа, сближала Шоу с Л. Толстым. Английский писатель несомненно испытал влияние русского. Желая выразить ему свое уважение, Шоу послал в Ясную Поляну издание «Человека и сверхчеловека». Л. Толстой поблагодарил Шоу и вместе с тем вступил с ним в полемику. Он писал: «...обратив особенное внимание на указанные Вами места, я особенно оценил речи Дон Жуана в interlude (хотя думаю, что предмет много бы выиграл от более серьезного отношения к нему, а не в виде случайной вставки в комедию) и The Revolutionist's Handbook.[3] В первом я без всякого усилия вполне согласился со словами Дон Жуана, что герой тот, "he who seeks in contemplation to discover the inner life of the world... in action to do that will by the so-discovered means"[4] – то самое, что на моем языке выражается словами: познать в себе волю бога и исполнять ее.

Во втором же мне особенно понравилось Ваше отношение к цивилизации и прогрессу, та совершенно справедливая мысль, что, сколь-

[1] Mander R. and Mitchenson J. Theatrical companion to Shaw. L., 1954, p. 89–90.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 248.

[3] «Справочник революционера».

[4] «...кто, созерцая, хочет постигнуть выраженную в мире волю... и, действуя, стремится осуществить ее тем путем, который подсказало размышление».

ко бы то и другое ни продолжалось, оно не может улучшить состояния человечества, если люди не переменятся.

Различие в наших мнениях только в том, что, по-вашему, улучшение человечества совершится тогда, когда простые люди сделаются сверхчеловеками или народятся новые сверхчеловеки, по моему же мнению, это самое сделается тогда, когда люди откинут от истинных религий, в том числе и от христианства, все те наросты, которые уродуют их, и, соединившись все в том одном понимании жизни, лежащем в основе всех религий, установят свое разумное отношение к бесконечному началу мира и будут следовать тому руководству жизни, которое вытекает из него. Практическое преимущество моего способа освобождения людей от зла перед Вашим в том, что легко себе представить, что очень большие массы народа, даже мало или совсем необразованные, могут принять истинную религию и следовать ей, тогда как для образования сверхчеловека из тех людей, которые теперь существуют, также и для нарождения новых, нужны такие исключительные условия, которые так же мало могут быть достигнуты, как и исправление человечества посредством прогресса и цивилизации.

Dear Mr Shaw, жизнь большое и серьезное дело, и нам всем вообще в этот короткий промежуток данного нам времени надо стараться найти свое назначение и насколько возможно лучше исполнить его. Это относится ко всем людям и особенно к Вам, с Вашим большим дарованием, самобытным мышлением и проникновением в сущность всякого вопроса. И потому, смело надеясь не оскорбить Вас, скажу Вам о показавшихся мне недостатках Вашей книги.

Первый недостаток ее в том, что Вы недостаточно серьезны. Нельзя шуточно говорить о таком предмете, как назначение человеческой жизни и о причинах его извращения и того зла, которое наполняет жизнь нашего человечества. Я предпочел бы, чтобы речи Дон Жуана не были речами привидения, а речами Шоу, точно так же и то, чтобы The Revolutionist's Handbook был приписан не несуществующему Tanner'у, а живому, ответственному за свои слова Bernard Shaw.

Второй упрек в том, что вопросы, которых Вы касаетесь, имеют такую огромную важность, что людям с таким глубоким пониманием зол нашей жизни и такой блестящей способностью изложения, как Вы, делать их только предметом сатиры часто может более вредить, чем содействовать разрешению этих важных вопросов.

В Вашей книге я вижу желание удивить, поразить читателя своей большой эрудицией, талантом и умом. А между тем все это не только не нужно для разрешения тех вопросов, которых Вы касаетесь, но очень часто отвлекает внимание читателя от сущности предмета, привлекая его блеском изложения.

Во всяком случае думаю, что эта книга Ваша выражает Ваши взгляды не в полном и ясном их развитии, а только в зачаточном положении. Думаю, что взгляды эти, все более и более развиваясь, придут к единой истине, которую мы все ищем и к которой мы все постепенно приближаемся.

Надеюсь, что Вы простите меня, если найдете в том, что я Вам сказал, что-нибудь Вам неприятное. Сказал я то, что сказал, только потому, что признаю в Вас очень большие дарования и испытываю к Вам лично самые дружелюбные чувства...»[1]

---

[1] Письмо Л. Н. Толстого от 17 августа 1908 г.— Цит. по кн.: Л. Н. Толстой о литературе. М., 1955, с. 594—596.

Таким образом, Л. Толстой сочувствовал критике капиталистической цивилизации, данной Шоу в «Человеке и сверхчеловеке». Сходились они и в том, что главным средством борьбы против нее считали проповедь разумных и гуманных идей. Далее между Шоу и Толстым начинались расхождения. Английский писатель выдвинул идею сверхчеловека, Л. Толстой считал, что надо исходить из современного реального человека. Шоу предлагал создать новую теологию, Л. Толстой – очистить старую религию от ложных примесей. Вся эта часть спора представляет собой полемику одной формы идеализма с другой. Напомним слова В. И. Ленина о Л. Толстом: «С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны, – юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок; – с другой стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины».[1]

В той мере, в какой Шоу был близок к толстовской идее «непротивления злу» насилием и хотел казенную религию заменить «новой теологией», отрицательная характеристика, данная В. И. Лениным, может быть отнесена и к английскому драматургу. Но идеалистические заблуждения Шоу не должны мешать увидеть ту смелую и остроумную критику, которой он подверг пороки капитализма.

Нарушение привычных границ театральной пьесы в «Человеке и сверхчеловеке» является выражением стремления Шоу найти для драмы идей новую форму. Взятые по отдельности комедии и вставной эпизод великолепны. Однако органического единства их Шоу не добился. Несовершенство здесь такого же порядка, как в некоторых драматических произведениях Гете. Оно происходит от изобилия идей, которое ломает привычные рамки спектакля. Читатель таких произведений имеет то преимущество перед зрителем, что может внимательнее познакомиться со всем богатством мысли, вложенным драматургом в произведение. Но театральное воплощение, если оно осуществлено на должном уровне, открывает и остроту конфликтов, которых касается Шоу, и своеобразие характеров, через которые выражено столкновение идей и взглядов на жизнь.

Стр. 355. *Уокли, Артур Бингэм* – см. примеч. к с. 24.

Дон Жуан – герой пьесы испанского драматурга Тирсо де Молина (1584–1648) «Севильский соблазнитель, или Каменный гость» (1630). Сюжет позже неоднократно обрабатывался другими писателями.

Новый Журнализм. – В конце XIX в. в Англии впервые появилась пресса, рассчитанная на массового читателя, что привело к изменению характера журналистики: она стала более литературной, занимательной, развлекательной и сенсационной.

Стр. 356. *Во Франции XVIII века конец стал виден, когда, покупая Энциклопедию, читатель находил в ней Дидро.* – Имеется в виду, что деятельность французских философов и писателей-просветителей подгото-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 209–210.

вила умы для французской буржуазной революции конца XVIII в. «Энциклопедия», издаваемая Дени Дидро (1713—1784), выходила с 1751 по 1780 г., среди ее авторов были такие решительные критики феодальной монархии, как Вольтер (1694—1778) и Руссо (1712—1778).

Стр. 357. *Арчер, Уильям* (1856—1924) — английский театральный критик и драматург, друг и единомышленник Шоу.

Стр. 359. *Прометей* — герой греческого мифа, похитивший с неба огонь и давший его людям; за это бог богов Зевс приковал его к скале, где коршун терзал его печень.

Панч — см. примеч. к с. 18.

Мольер, Жан Батист (1622—1673) — французский комедиограф, создавший свой вариант сюжета о севильском обольстителе в комедии «Дон Жуан, или Каменный гость».

Байрон, Джордж Гордон (1788—1824) — английский поэт-романтик, автор незаконченной поэмы «Дон Жуан», герой которой имеет мало общего с героем Тирсо де Молина, Мольера и Моцарта.

Стр. 360. *Сганарель* — слуга Дон Жуана в комедии Мольера; *Лепорелло* — слуга Дон Жуана в опере Моцарта.

Казанова, Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист, описавший свои любовные похождения в «Мемуарах».

Екатерина II (1729—1796) — императрица России; здесь намек на то, что она имела много фаворитов.

Вордсворт, Уильям (1770—1850) — английский поэт-романтик, отличался консерватизмом взглядов.

Георг III (1738—1820) — король Англии с 1760 по 1820 г.

Шелли, Перси Биши (1792—1822) — английский поэт; говоря о его «религиозной силе», Шоу, большой поклонник поэта, имеет в виду социалистические взгляды, которых придерживался Шелли.

Гете, Иоганн Вольфганг (1749—1832). — Шоу имеет здесь в виду вторую часть его драматической поэмы «Фауст».

Блейк, Уильям — см. примеч. к с. 24.

Хогарт, Уильям (1697—1764) — английский художник, автор сатирических картин и гравюр, критиковавших нравы современников.

Беньян, Джон — см. примеч. к с. 20.

Маколей, Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк, поэт, литературный критик и политический деятель, крупнейший представитель английского буржуазного либерализма.

Гизо, Франсуа (1787—1874) — французский историк и политический деятель буржуазно-либерального направления.

Мередит, Джордж (1828—1909) — английский романист и поэт.

...Донну Хуану, которая вырвалась из Кукольного дома... — Имеется в виду героиня пьесы Ибсена «Нора, или Кукольный дом», первый в европейской драматургии образ женщины, восставшей против подчиненного положения в семье.

Стр. 361. *Гуно, Шарль Франсуа* (1818—1893) — французский композитор, автор оперы «Фауст».

«Защити нас, праведное небо!» — цитата из той же оперы.

Донна Эльвира — персонаж оперы «Дон Жуан» Моцарта.

Нонконформистская совесть. — Нонконформисты — сектанты, отколовшиеся от англиканской церкви в XVII веке, придерживавшиеся строгих моральных правил.

Стр. 362. *Гилберт, Уильям Швенк* (1836—1911) — английский драматург и юморист, автор либретто популярных в прошлом веке оперетт композитора Артура Сюлливена (1842—1900).

Овидий, Публий Назон (43 до н. э. — 18 н. э.) — римский поэт; на его сочинениях обучали латыни в английских школах и университетах.
Шопенгауэр, Артур (1788—1860) — немецкий философ-пессимист, популярный во второй половине XIX в.
Ницше, Фридрих (1844—1890) — немецкий философ, популярный в конце XIX — начале XX в.
Вестермарк, Эдвард Александр (1862—1939) — финский антрополог, чьи книги о древних формах брака и брачных обычаях произвели на современников большое впечатление.
Пекснифф — персонаж романа Диккенса «Мартин Чезлвит» (1843), классический тип английского лицемера.

Стр. 363. *...dissoluto punito* (итал.). — Полное название оперы Моцарта: «Наказанный распутник, или Дон Жуан».
«Синбад-Мореход» и *«Али-Баба»* — персонажи арабских сказок «Тысяча и одна ночь»; в XIX в. в Англии сюжеты этих сказок служили для развлекательных театральных пантомим.
...еще один, совершенно посторонний акт... — Имеется в виду интермедия «Дон Жуан в аду» в тексте данной комедии.
Сьерра — горы в Испании.
...в духе сократовских диалогов... — Философия древнегреческого мыслителя Сократа (V век до н. э.) известна по беседам, изложенным его учеником Платоном. Сократа отличала острая постановка вопросов, почему Шоу и уподобляет свои пьесы его диалогам.

Стр. 364. *Ханааниты* — древние обитатели Палестины.

Стр. 365. *Розалинда* — героиня комедии Шекспира «Как вам это понравится» очаровывает молодого Орландо.
...прибегает к уловке, как Марианна... — Имеется в виду эпизод комедии Шекспира «Мера за меру», в которой Марианна, отвергнутая Анджело, под покровом темноты ложится к нему в постель, тогда как Анджело думает, что к нему пришла Изабелла, любви которой он домогался.
...мужчина прямо с ее похорон отправляется фехтовать. — Утрированное изображение последних эпизодов трагедии «Гамлет». Между похоронами Офелии и финальным поединком между Гамлетом и братом Офелии Лаэртом проходит некоторое время.
Просперо — герой пьесы Шекспира «Буря», *Миранда* — его дочь, *Фердинанд* — юный принц, попавший на остров, где жили Просперо и Миранда.
...Утрате вовсе нет нужды пленять Флоризеля... — Речь идет о молодых персонажах пьесы Шекспира «Зимняя сказка».
Докторша — в пьесе Шекспира «Все хорошо, что хорошо кончается» Елена, дочь врача, исцелившая короля и попросившая в награду руку Бертрама. Отвергнутая, она все же сумела завоевать любимого. Елена названа «ранним примером ибсеновского типа» как женщина, самостоятельно устраивающая свою судьбу.
Петруччо, Катарина — персонажи комедии Шекспира «Укрощение строптивой».
Манталини — персонаж романа Диккенса «Николас Никлби», бездельник, живущий на средства своей жены-портнихи.
Доббинз — верный поклонник Эмилии Седли в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия».
Банзби, миссис Мак-Стинджер — персонажи романа Диккенса «Домби и сын».

Стр. 366. *...Теннисонов король Артур...* — Имеется в виду средневековый король Артур, историю которого в сентиментальном духе пересказал

поэт Альфред Теннисон (1809—1892) в поэме «Королевские идиллии» (1859).
Джиневра — жена короля Артура, полюбившая рыцаря Ланселота.

Стр. 367. *Феминисты* — сторонники женского равноправия. В конце XIX в. это движение получило в Англии большое развитие.
«Кусок жизни». — По определению французского писателя-натуралиста Эмиля Золя (1840—1902), литература изображает «кусок жизни», показанный сквозь призму темперамента писателя. Литература натурализма в лучших своих образцах давала критическое изображение буржуазного общества.

Стр. 368. *Жорж Санд* — литературный псевдоним Авроры Дюпен, в замужестве Дюдеван (1804—1876) — французская писательница, поборница равноправия женщин; в числе ее любовников были Альфред де Мюссе (1810—1857) и Фредерик Шопен (1810—1849).
Оксфорд — Шоу имеет в виду старейший университет Англии, основанный в 1133 г. Писатель считал систему университетского образования Англии совершенно нежизненной. В частности, он протестовал против того, что важнейшим предметом изучения были древнегреческие и римские авторы — «классики».

Стр. 369. *«Дорога излишеств...»* — Эта и следующая цитата взяты из поэмы Уильяма Блейка «Бракосочетание неба и ада» (1793).
Стр. 370. *...избранный класс...* — то есть родовое земельное дворянство.
Коммерческий класс — буржуазия.
Берк, Эдмунд (1729—1797) — английский мыслитель и политический деятель. В трактате «Размышления о французской революции» (1790) выступил против народовластия. Шоу приводит цитату из сочинения этого писателя.
Бернс, Роберт (1759—1796) — шотландский поэт, крестьянин по происхождению.
Карлейль, Томас. — Был сыном каменщика. В своих произведениях критиковал буржуазное общество с консервативных позиций, мечтая о возврате к патриархальным отношениям.
Пейн, Томас (1737—1809) — английский революционер-демократ, участник американской и французской революций конца XVIII в., автор политических трактатов. Его книга «Права человека» (1791—1792) была блестящим ответом на реакционное сочинение Э. Берка о французской революции.

Стр. 371. *Элджи и Бобби* — условные имена для обозначения сынков аристократов и капиталистов, становящихся членами парламента, а затем занимающих посты в государственном аппарате. Шоу резко критически относился к буржуазному парламентаризму.
«гвоздильного и кастрюльного дела...» — В подлиннике эта фраза написана на простонародном лондонском диалекте, чтобы подчеркнуть презрительное отношение народа к его правителям.

Стр. 372. *...panem et circenses.* — В эпоху упадка Римской империи власть раздавала римской бедноте хлеб и устраивала цирковые представления и бои гладиаторов, чтобы удерживать народ от бунта.
...на манер острова Уайт, Фолкстона, Рэмсгейта, Ниццы и Монте-Карло. — Модные курорты; первые три — в Англии, последние два — во Франции.
..о конкуренции между Бомбеем и Манчестером... — Конкуренция между товарами английской и индийской текстильной промышленности; колониальная эксплуатация в Индии давала возможность продавать ткани по более дешевым ценам.

Риджент-стрит – улица богатых магазинов в Лондоне, *рю де Риволи* – то же в Париже. *Брайтон* – морской курорт в Англии, *Ривьера* – средиземноморское побережье на юге Франции, где расположены курорты.

Стр. 373. *Карнеги, Эндрью* (1835–1919). – Шотландец по происхождению, эмигрировал в США, хищническими способами накопил огромное богатство и на старости лет занялся филантропией, раздавая средства университетам, музеям, библиотекам и т. д. За его деньгами гонялись разные организации, на что и указывает Шоу.

Родс, Сесил (1853–1902) – английский авантюрист, сыгравший большую роль в колонизации Африки английскими империалистами, нажил огромное состояние разработкой алмазных копей. В конце жизни жертвовал средства разным университетам; его именем была названа бывшая английская колония в Африке – Родезия.

«Социализм для миллионеров» – трактат Шоу, в котором он убеждал богачей жертвовать деньги на социальные преобразования.

Стр. 374. *Тальма, Франсуа Жозеф* (1763–1826) – французский актер, любимец Наполеона I, который привел пять королей в театр посмотреть на игру Тальма в трагедии «Смерть Цезаря».

Конан Дойл, Артур (1859–1930) – английский писатель, прославившийся детективными романами и рассказами о сыщике Шерлоке Холмсе.

Стр. 375. *Уэллс, Герберт* (1866–1946) – английский писатель, автор научно-фантастических романов, был сторонником технократии – установления власти ученых и инженеров.

Вест-индские колонии – в центральной части Америки. Не названный здесь министр по делам этих колоний – Сидней Оливер (1859–1943) в молодости вместе с Шоу и Уэббом был одним из главных деятелей Фабианского общества, проповедовавшего внедрение социализма посредством пропаганды и частных реформ.

Уэбб, Сидней (1859–1947) – английский социолог, фабианец.

Dalla sua pace (итал.) – начальные слова арии дона Оттавио из оперы Моцарта «Дон Жуан» «Dalla sua pace la mia dipende» – «от ее покоя зависит мой покой» (либретто Да Понте).

«Каждый» или «Каждый человек» (Everyman) – английская пьеса-моралите (аллегория нравоучительного содержания) XV в., шедшая на сцене народного театра.

Пол, Уильям (1852–1934) – английский театральный деятель, восстанавливавший на сцене пьесы средневекового театра, Шекспира и его современников с максимальным приближением к условиям их первых постановок.

Скриб, Эжен (1791–1861) – французский драматург, мастер пьес с хорошо разработанной интригой, любимец буржуазной публики.

Чартерхауз – здание бывшего монастыря, превращенного в школу, где У. Пол давал свои спектакли.

...Платон и Босвелл, в качестве драматургов, которые изобрели Сократа и д-ра Джонсона... – Древнегреческий философ Платон (428–347 гг. до н. э.) в написанных им диалогах представил своего учителя Сократа, беседующего с разными лицами; шотландец Джеймс Босвелл (1740–1795) в «Биографии д-ра Джонсона» (1791) подробно рассказал о жизни, характере, нравах, привычках и беседах Сэмюэла Джонсона (1709–1784), видного английского писателя и критика, который был большим оригиналом. Шоу имеет в виду, что как Платон, так и Босвелл для большей яркости своих характеристик не останавливались перед домыслом о своих героях.

Zauberflöte (нем.) – опера Моцарта «Волшебная флейта» (1791).
Таппертитовская романтика. – Саймон Таппертит, мечтательный персонаж романа Диккенса «Барнаби Радж» (1841).
Тёрнер, Джозеф Мэлорд Уильям (1775–1851) – один из наиболее прославленных английских художников-пейзажистов.
Вагнер, Рихард – см. примеч. к с. 22.
Моррис, Уильям – см. примеч. к с. 32.

Стр. 376. *Санчо Панса* – простодушный слуга рыцаря Дон Кихота в романе Сервантеса.
Сидней Картон – герой романа Диккенса «Повесть о двух городах» (1859).
Анджело – лицемер в пьесе Шекспира «Мера за меру».
Догбери (Клюква) – комический стражник в комедии Шекспира «Много шума из ничего».
Сэр Лестер Дэдлок – персонаж романа Диккенса «Холодный дом» (1853).
Тайт Барнакл, Доррит, Кленнэм, Риго Бландуа – персонажи романа Диккенса «Крошка Доррит» (1858)
...«сценой, полной дураков»... – цитата из «Короля Лира» (акт IV, сц. 6).
«Колокола» – один из «Рождественских рассказов» Диккенса, приводится Шоу как пример оптимистического решения жизненных вопросов в противовес трагизму Шекспира.

Стр. 377. *Ричард III, Фолконбридж, Кориолан, Леонт* – персонажи пьес Шекспира.
Микобер и Дэвид Копперфилд – персонажи романа Диккенса «Дэвид Копперфилд».

Стр. 378. *Горацио* – друг Гамлета в трагедии Шекспира.
Чарлз, его друг – в английских мелодрамах XIX в. у героя часто был друг, которому поверялись тайны и намерения героя. Он мог именоваться иначе в разных пьесах, но функция этой фигуры всюду была одинакова.
Пистоль, Пароль – образы хвастунов-трусов в пьесах Шекспира, первый в «Генрихе V», второй во «Все хорошо, что хорошо кончается».
Доблестный и Пугливый – персонажи аллегории Джона Беньяна «Путь паломника». Далее также упоминаются персонажи Беньяна: Законник, Житейский Мудрец и др.

Стр. 379. *...философии лудильщика* – намек на профессию Беньяна.
Wille, Vorstellung (нем.) – воля, представление – намек на название главного сочинения Шопенгауэра «Мир как воля и представление».

Стр. 380. *Хаксли, Томас Генри* (1825–1895) – английский естествоиспытатель, последователь Дарвина; утверждал, что о существовании бога нельзя судить, ибо нематериальное не поддается знанию. В Англии второй половины XIX в. считался вольнодумцем и подвергался резкой критике со стороны правоверных буржуа.
Пятикнижие – первые пять книг Библии.
Методисты – религиозная секта, неудовлетворенная официальной англиканской религией и проповедовавшая возврат к раннему христианству.
Брэдло, Чарлз (1833–1891) – английский социальный реформатор, боролся за свободу мысли, речи и печати.

Стр. 381. *Старый Моряк* – персонаж одноименной поэмы английского поэта-романтика Колриджа (1772–1834).

Иов – персонаж Библии, олицетворение терпения, проявленного во время испытаний, которым он подвергся.
Гендель, Георг Фридрих (1685–1759) – немецкий композитор, большую часть жизни работал в Англии.
Лютер, Мартин (1483–1546) – немецкий религиозный реформатор, чья деятельность привела к победе протестантизма в Германии.

Стр. 382. *Джотто ди Бондоне* – см. примеч. к с. 32.
Королевская Академия – основана в Лондоне в 1768 г. великим художником Джошуа Рейнолдсом. В XIX в. стала оплотом английской официальной живописи, строго следовавшей признанным канонам и не допускавшей отклонений от них.
Палестрина, Джованни Пьерлуиджи (1525–1594) – итальянский композитор эпохи Возрождения.
Керубини, Луиджи Карло Зенобио Сальваторе Мария (1760–1842) – итальянский композитор, жил и работал во Франции.
Бамбл – приходский староста в романе Диккенса «Оливер Твист» (1838), тип чванливого, самодовольного чинуши.

Стр. 383. *«Бог меня миловал – а ведь этим человеком мог бы оказаться я сам».* – Слова, которые произносил протестантский проповедник Джон Брэдфорд (1510–1555), когда мимо него провозили осужденных на казнь. За мятежные проповеди был сожжен на костре.

Стр. 385. *Унитарий* – сторонник унитарианской церкви, возникшей в XVI в. в ходе борьбы торговой буржуазии против феодальной церкви. Унитарии отрицают учение о «триединстве» божества.
Фритредер – сторонник свободы торговли от вмешательства государства в дела предпринимателей. Фритредерство достигло в Англии наибольшего влияния в первой половине XIX в.
Брайт, Джон (1811–1889) – английский буржуазный политический деятель. Один из лидеров фритредерства.
Кобден, Ричард (1804–1865) – английский политический деятель; вместе с Джоном Брайтом возглавлял сторонников фритредерства.
Мартино, Гарриет (1802–1876) – английская писательница.
Уоттс, Джордж Фредерик (1817–1904) – английский живописец, член Королевской Академии; автор многочисленных портретов английских общественных деятелей.
Дюпон, Луи Пьер (1797–1892) – французский гравер; прославился своими гравюрами с картин современных ему французских художников, особенно Деларош.

Стр. 388. *Спутник революционера. Карманный справочник и краткое руководство. Джон Тэннер, Ч.П.К.Б. Член Праздного Класса Богатых»* – написан Шоу от имени Джона Тэннера и издан впервые вместе с драмой «Человек и сверхчеловек».

Стр. 393. *Боа-констриктор* – змея из семейства удавов, живет в тропической Америке и на Мадагаскаре, достигает четырех метров в длину.

Стр. 401. *Джек Победитель Великанов* – персонаж английской народной сказки.
Рикки-Тикки-Тави – имя мангусты (хищного зверька, убивающего змей) в рассказе Р. Киплинга того же названия (1893).

Стр. 430. ... *какое-нибудь из нонконформистских заведений Уэльса.* – Нонконформистами в Англии называются члены церковных организаций (пресвитериане, методисты, индепенденты, конгрегационалисты и др.), не признающие обрядов и учения господствующей англиканской церкви.

Стр. 441. *Арнольд, Мэтью* (1822—1888) — английский поэт и литературный критик, выступавший в своих произведениях с острой критикой бескультурья буржуазии и мещанства.
Маколей, Томас Бабингтон — см. примеч. к с. 360.

Стр. 447. *...глупость, которую нельзя сказать, можно пропеть.* — Слова из комедии Бомарше (1732—1799) «Севильский цирюльник» (акт I, сц. 1).

Стр. 462. *Ее любил я. Сорок тысяч братьев...* — Мендоса намекает на слова Гамлета у гроба Офелии из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт V, сц. 1).

Стр. 463. *Блумсбери* — один из центральных районов Лондона, где находятся Британский музей, многие учебные заведения, большие книжные магазины и издательства.

Стр. 468. *«Ад — это город, с Севильей очень схожий».* — Перефразировка известных слов английского поэта П. Б. Шелли о Лондоне: «Ад — это город, очень схожий с Лондоном» (поэма «Питер Белл Третий», ч. III, строфа 1).

Стр. 470. *Донна Анна де Уллоа и Дон Жуан Тенорио* — действующие лица пьесы испанского драматурга Тирсо де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость» (1630), где впервые в мировой литературе появляется образ Дон Жуана.

Стр. 472. *Дон Гонсало* — действующее лицо пьесы Тирсо де Молина «Севильский озорник», отец донны Анны.

Стр. 473. *«Оставь надежду, всяк сюда входящий».* — Надпись над вратами ада в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь III, 9).

Стр. 474. *...славного командора Калатравы.* — Испанский духовно-рыцарский орден Калатравы основан в XII в. в Кастилии, первоначально для защиты от мавров крепости Калатрава; позднее этот орден захватил обширные земельные владения и добился значительных привилегий.

Стр. 478. *...никогда англичанин не будет рабом...* — Слова из национальной английской песни «Правь, Британия...», автором которой считается поэт XVIII в. Джеймс Томсон.

Стр. 480. *Как сказал наш немецкий друг: «Поэтическая бессмыслица здесь здравый смысл и Вечно Женственное влечет нас ввысь»...* — Имеются в виду заключительные строки второй части трагедии Гете «Фауст».

Стр. 481. *...со своего пьедестала в Севилье.* — Статуя командора вспоминает сцену из пьесы Тирсо де Молина «Севильский озорник».

Стр. 482. *«Что за мастерское творение — человек!»* — Шекспир, «Гамлет» (акт II, сц. 2).

Стр. 483. *Недавно я провел вечер в одном прославленном законодательном учреждении...* — Намек на английский парламент.

Стр. 484. *Итальянец уверял...* — Итальянский поэт Данте, в первой части «Божественной комедии» которого описывается ад.
Англичанин утверждал... — Английский поэт Джон Милтон в VI книге «Потерянного рая» описывает изгнание сатаны с неба.

Стр. 494. *«Я мыслю, следовательно я существую».* — Изречение французского философа Рене Декарта (1596—1650) из его сочинения «Начала философии» (1644).

Стр. 497. *Спинет* – струнный клавишный инструмент, по форме напоминающий рояль.

Стр. 504. *Имогена и Иакимо* – персонажи из пьесы Шекспира «Цимбелин» (1609). Имогена олицетворяет супружескую верность, Иакимо – обманщика.

Стр. 511. *Вагнер одно время увлекался культом Силы Жизни...* – Немецкий композитор создал музыкальную драму «Зигфрид» (1871) в период сближения с Фр. Ницше и увлечения философией «сверхчеловека». Период преклонения Ницше перед гениальностью Вагнера завершился резким разрывом между ними.

Стр. 518. *Альгамбра* – крепость-дворец мавританских властителей в Испании, около Гренады, замечательный образец мавританской архитектуры XIII – XIV вв.

Стр. 524. *Отца моего заморили голодом в Ирландии в черный восемьсот сорок седьмой год.* – В Ирландии с 1845 по 1850 г. был «великий голод», вызванный неурожаем картофеля.

Стр. 538. *С тех пор как профессор Тиндаль произнес свою речь в Белфасте...* – Английский физик Джон Тиндаль (1820 – 1893) утверждал, что научные данные опровергают некоторые утверждения Библии.

ДРУГОЙ ОСТРОВ ДЖОНА БУЛЛЯ

Ирландец Шоу написал десяток пьес и все – об англичанах. Известность, которой он достиг в начале XX в., побудила его соотечественников обратиться к нему с просьбой написать пьесу для Ирландского литературного театра (предшественника прославленного «Эббитиэтр» – Театра Аббатства в Дублине). Инициатива исходила от ирландского поэта У. Б. Йитса. Идея увлекла Шоу, и он в 1904 г. написал «Другой остров Джона Булля». Как известно, Джон Булль (Джон Бык) – нарицательное имя для обозначения Англии и англичан. «Другим островом Джона Булля» была Ирландия, входившая тогда в состав Британской империи.

Когда Йитс познакомился с произведением Шоу, он не принял его к постановке. Отказ был обоснован тем, что, с одной стороны, пьеса якобы недостаточно сценична, а, с другой – трудна для еще не слишком опытных актеров молодого ирландского театра. Тогда пьесу поставил Х. Гренвилл-Баркер в лондонском театре «Ройал Корт». Премьера состоялась 1 ноября 1904 г. Успех «Другого острова Джона Булля» был необыкновенным. Произошло событие, не часто случавшееся в театре: премьер-министр посетил спектакль в сопровождении лидеров оппозиции, и было заказано специальное представление для короля Эдуарда VII, состоявшееся в резиденции премьера на Даунинг стрит, 10. Англичане обладают чувством юмора, а их политические деятели не прочь посмеяться не только на досуге, но даже в парламенте, что, впрочем, не влияет на ход дел. Английская политика в отношении Ирландии после высочайших просмотров не изменилась.

Пьеса была возобновлена в 1912 г. в лондонском театре «Кингсуэй», а затем гастролеры показали ее, наконец, в Дублине, где она тоже имела успех, несмотря на мнение У. Б. Йитса о ее несценичности. Что касается английских спектаклей, то их успех был чрезвычайно велик. Отдельные реплики актеров в постановке 1912 г. вызывали бурную реакцию зрителей и аплодисменты во время представления. В связи с этим Шоу даже написал для театра «Кингсуэй» специальное

обращение к публике, раздававшееся вместе с программой: «Надеюсь, вы не сочтете меня неблагодарным и невежливым, если я вам скажу, что, сколько бы вы ни хлопали после того, как опустился занавес, мне будет мало, но ваши аплодисменты во время представления только бесят меня, — они портят удовольствие от пьесы и вам и мне».[1]

Что же вызвало такую остроту реакции публики? Шоу затронул в пьесе один из самых больных вопросов английской и ирландской общественно-политической жизни. Еще в XVII в. Англия покорила Ирландию и превратила ее в свою колонию. Страну намеренно держали в состоянии экономической отсталости. В то время как Англия превратилась в первую промышленную державу мира, Ирландия оставалась аграрной страной, крестьянство которой влачило нищенское существование. На протяжении XVIII и XIX вв. ирландские патриоты мужественно, но безуспешно пытались отвоевать независимость. Пьеса Шоу попала в вечно накаленную атмосферу англо-ирландских отношений.

Протест ирландского народа не всегда находил выражение в прямой политической форме. Освободительные стремления проявились в возникновении культурно-художественного движения, получившего название Ирландского Возрождения. Оно пыталось воскресить самобытные национальные обычаи, все, связанное с прошлым некогда свободной Ирландии.

С этим движением ирландской интеллигенции Шоу решительно расходился. Характер разногласий становится ясным из предисловия, которое Шоу написал для издания пьесы (1906). «Подобно большинству людей, заказывавших мне пьесы, У. Б. Йитс получил больше, чем просил», — шутил Шоу, а далее уже без иронии пояснял: «Духу неогэлльского (то есть ирландского) движения, стремящемуся к созданию новой Ирландии, согласно своему идеалу, моя пьеса не соответствует, так как беспощадно изображает реальность старой Ирландии».[2]

В то время как деятели Ирландского Возрождения романтически идеализировали традиции древней Ирландии, Шоу заявил, что преклонение перед национальной отсталостью противоречит интересам ирландского народа. Он сознавал, что ирландский национализм с его крайностями был реакцией на британский гнет. «Здоровая нация не сознает своей национальности так же, как здоровый человек не ощущает своих костей, — писал Шоу в предисловии к пьесе. — Но если нация угнетена, люди не могут думать ни о чем другом, как только о том, чтобы избавиться от гнета. Они не станут слушать никаких реформаторов, философов, проповедников до тех пор, пока их национальные требования не будут удовлетворены. Никаким, даже самым важным делом они не станут заниматься, так как озабочены только задачей объединения и освобождения страны.

Вот почему Ирландия останется в застое, пока не завоюет самоуправление (гомруль), то есть независимость».[3]

Государство, обладающее более высоким уровнем цивилизации, по мнению Шоу, не имеет морального права господствовать над отсталыми народами. «Демонстрировать достоинства правления чужеземцев, иногда даже выглядящие убедительными, так же бесполезно,

---

[1] Mander R. and Mitchenson J. Theatrical companion to Shaw, p. 96.

[2] Shaw B. The prefaces. L., 1965, p. 441.

[3] Ibid., p. 457.

как доказывать, что искусственные зубы, стеклянный глаз, серебряная трубка для дыхания, патентованные протезы вместо ног лучше, чем настоящие органы тела».[1]

Вместе с тем Шоу считал, что национальное движение, не ставящее себе иных целей, кроме освобождения от иностранного ига, ограничено. «Нет большего несчастья для нации, чем националистическое движение, являющееся ответом на подавление нации. Покоренные народы не участвуют во всемирном прогрессе, ибо озабочены лишь тем, как избавиться от своего национализма, добившись национального освобождения».[2]

Если в предыдущих пьесах Шоу уделял значительное внимание построению занимательного действия, то в «Другом острове Джона Булля» фабула сведена к минимуму. На первый план выдвинуты характеры.

Центральные персонажи пьесы англичанин Томас Бродбент и ирландец Ларри Дойл, по замыслу Шоу, призваны воплощать типичные черты своей нации. Но это живые характеры, отличающиеся своеобразием и противоречивыми чертами. Бродбент, конечно, деловит; таким именно традиционно представляли себе англичанина ирландцы. Но практицизм Бродбента сочетается со смелым прожектерством, обнаруживающим в нем богатое воображение. Ему свойственно увлекаться, и он быстро обнаруживает эту черту. Вместе с тем в нем есть простодушие, благожелательность, готовность пойти навстречу неизвестности. По складу личности и воззрениям он либерал. Обладая рядом несомненно положительных качеств, Бродбент тем не менее смешон. Этот веселый и жизнерадостный хлопотун является одной из главных, если не самой главной комической фигурой пьесы. В глазах Шоу он комичен главным образом потому, что не способен трезво смотреть на действительность. Комментируя созданный им образ, Шоу, однако, писал, что ирландцы напрасно будут смеяться над этим «нелепейшим из англичан», ибо, при всех его странностях и причудах, «он преуспеет там, где ирландца постигнет неудача». Настойчивость, с какой Бродбент стремится к поставленной цели, дает ирландцам образец, как надо добиваться своего.

В глазах англичан Бродбент, как полагает Шоу, тоже должен выглядеть фигурой карикатурной, но соотечественники смотрят на него иначе, чем ирландцы. Их потешает серьезность, с какой Бродбент относится к политической шумихе буржуазной демократии. Англичане считали, что своими успехами фирма Бродбент и Дойл обязана англичанину; ирландцы, наоборот, видели причину успеха в достоинствах Дойла. «Я же,— писал Шоу,— считаю, что оба вместе достигли большего успеха, чем если бы действовали врозь. Не претендуя на то, что я в таких вопросах разбираюсь лучше других, я считаю, что главным вкладом Бродбента в дело были сила, самодовольство, убежденность в правильности существующих порядков и бодрая уверенность, которую придают всем здоровякам деньги, комфорт и хорошее питание; а главным вкладом Дойла были свобода от иллюзий, способность смотреть фактам в лицо, острота ума, легко ранимая гордость человека с богатым воображением, выбившегося из нужды, несмотря на враждебность общества».

Таким образом, у Шоу практичный англичанин оказывается в некотором роде романтиком, а ирландец, которому как раз и надлежало, согласно общепринятому мнению, быть романтиком, предстает

[1] Shaw B. The prefaces, p. 441.

[2] Ibid., p. 442.

как человек трезвой и даже скептической мысли. Мы видим, следовательно, что в обрисовке двух главных персонажей Шоу применил свой излюбленный метод парадокса.

Томас Бродбент и Ларри Дойл вполне живые люди, но они также образы драмы идей, фигуры, предназначенные воплощать в пьесе конфликт разных понятий о жизни. При этом они далеки от того, чтобы казаться схематическими воплощениями типов англичанина и ирландца. Они становятся особенно живыми, благодаря неподражаемому юмору Шоу, который не боится ставить свои персонажи в смешные положения; слабости его героев не меньше, чем их достоинства, возбуждают симпатии зрителей.

Вокруг главных фигур Шоу создал ряд персонажей, которые как бы низводят все разговоры об Ирландии с высот абстракции на землю. Перед нами не носители тех или иных национальных качеств, а характеры, написанные сочными реалистическими красками.

Таков рыжий ирландец Тим Хаффиган с потертой, но еще несколько благообразной внешностью, позволяющей, по словам Шоу, принять его за сельского учителя. Он тут же обнаруживает и свою склонность к алкоголю, и умение вытягивать деньги из простака Бродбента. Первый ирландец, появляющийся в пьесе, по манерам и говору похож на ирландцев, как их было принято изображать на английской сцене. Но дальше выступают персонажи другого склада.

Хитрый юноша Патси притворяется дурачком; притворство служит ему для того, чтобы вводить в заблуждение других, особенно англичан. Жизнерадостный толстяк священник Демпси стал духовным лицом отнюдь не из набожности, но и не ради карьеры. Священничество для него – хороший способ устроить бездеятельное существование с достаточным доходом за счет щедрот прихожан. Корнелий Дойл – земельный агент, получающий нищенский доход со своего дела, потому что он католик и патриот, тогда как богатые землевладельцы округа по большей части протестанты и из-за религиозных разногласий не вступают с ним в коммерческие отношения.

Скептические суждения Ларри Дойла о его родине получают подтверждение в том, какими предстают перед нами обитатели Роскулена, местечка, куда приезжают Бродбент и Дойл. Мы видим мелких людишек с ничтожными интересами, безнадежно погрязших в тине бездумного существования. Над всеми возвышается Питер Киган, человек яркий и необыкновенный. Он не носит пасторской одежды, но он в подлинном смысле слова духовное лицо, в отличие от отца Демпси, полностью разделяющего низменные житейские интересы среды, духовным пастырем которой ему надлежало бы быть. Кигану чужды предрассудки захолустных ирландцев, и он скорбит о том, что его соотечественники утратили нравственную силу и стойкость. Он правильно видит причину деградации в том, что чужеземный гнет растлевает души ирландцев. Практикам и деловым людям Бродбенту и Дойлу в образе Кигана противопоставлено стремление обрести утраченные идеалы и веру. Речь идет не об официальной религии, а о некоем религиозно-мистическом освящении духовных ценностей жизни.

Если в начале пьесы идейный конфликт сосредоточен на различии мнений и темпераментов «идеалиста» Бродбента и «реалиста» Дойла, то, по мере приближения к финалу, возрастает значение другого мотива. Киган вносит в идейный конфликт пьесы новую ноту, с неожиданной силой звучащую под конец, когда поэт-проповедник говорит: «Мое отечество не Ирландия и не Англия, а все великое царство моей церкви. Для меня есть только две страны – небо и ад; только два состояния людей – спасение и проклятие». Ларри Дойл с презре-

нием смотрит на Кигана, видя в нем столь ненавистного ему ирландского мечтателя, неспособного к действию и лишенного практицизма. Бродбент, прямолинейно понимающий Кигана, склонен рассматривать его в духе ортодоксальной религиозности. Но когда Киган объясняет, как он представляет себе рай, мы видим, что в религиозную оболочку облечено вполне определенное социальное содержание: «Это страна, где государство – это церковь, и церковь – это народ; все три едины. Это общество, где работа – это игра, а игра – это жизнь; все три едины. Это храм, где священник – это молящийся, а молящийся – это тот, кому молятся; все три едины. Это мир, где жизнь человечна и все человечество божественно; все три едины».

В этой тираде главными являются последние слова Кигана. Таким образом, свой гуманистический идеал Шоу облекает в форму некой новой религии. Хотя он и пародирует христианскую концепцию троицы, подставляя на ее место свое идеальное представление об обществе равных друг другу людей, все же религиозная терминология не является случайной. В ней отразилось явление, уже отмеченное раньше в связи с пьесой «Человек и сверхчеловек», – попытка найти идеал в форме нового учения, подобного религии, но не связанного с официальной церковью. Мы увидим далее, как развивались мысли Шоу о религии в пьесе «Андрокл и лев».

Образ Кигана опровергает распространенное представление о Шоу как писателе исключительно «головном», рационалистическом. Питер Киган – проповедник без рясы, поэт; его энтузиазм, человечность, ощущение таинственных сил жизни говорят о том, что в начале XX в. Шоу стремился выразить в своих произведениях вовсе не только рассудочные понятия.

Треугольник Бродбент – Дойл – Киган делает невозможным прямолинейное толкование «Другого острова Джона Булля». Идея пьесы не выражена ни в одном из этих персонажей, она в диалектическом сочетании и столкновении различных мироощущений и миропониманий. Если критика причислила «Другой остров Джона Булля» к числу шедевров драмы идей Бернарда Шоу, то именно благодаря той полифоничности, которая определяет ее художественный строй.

Рецензенты, видевшие первые представления «Другого острова Джона Булля», отдавали должное уму и остроумию Шоу, но форма пьесы вызвала осуждение из-за отсутствия в ней традиционной драматической интриги. Между тем Шоу намеренно отказался здесь от приемов мелодрамы. Почувствовав крепкую почву под ногами, он стал более решительно предлагать публике свои приемы драматургии, отказавшись идти на компромисс с господствовавшим вкусом. «Другой остров Джона Булля» – «чистый» образец драмы идей.

В отличие от авторов, молчаливо игнорировавших недоброжелательную критику, Шоу почти всегда вступал в полемику с оппонентами. Среди тех, кто не сумел оценить «Другой остров Джона Булля», были такие авторитетные и в целом дружественные по отношению к Шоу критики, как Уильям Арчер и Артур Б. Уокли. В интервью, данном корреспонденту «Татлера» 16 ноября 1904 г., Шоу так ответил на упреки критиков, считавших композицию пьесы рыхлой: «Такой блестящей композиции у меня еще не было ни разу. Подумайте только, какую тему я выбрал – судьбы народов! Посмотрите на действующих лиц – эти персонажи, выступающие на сцене, воплощают миллионы реальных, живых страдающих людей. Помилуй бог! Я должен был втиснуть всю Англию и всю Ирландию в три часа с четвертью. Я показал англичанина ирландцам и ирландца – англичанам, протестантов – католикам, католиков – протестантам. Я взял вашу пана-

цею от всех бед и волнений в Ирландии — ваш законопроект о покупке земли, о котором все политические партии и газеты единодушно говорили как о благословенном деле,— и показал одним ударом все его идиотство, мелкость, трусливость, его полную и несомненную бесплодность. Я изобразил ирландского святого, содрогающегося от шуток ирландского негодяя, но, к сожалению, мне пришлось убедиться в том, что всякий средний критик счел негодяя очень забавным, а святого — непрактичным. Я создал интересную психологическую ситуацию — роман между ирландской простушкой и англичанином, и показал комизм этого, не нарушая психологии. Я даже дал увидеть Троицу поколению, которое восприняло ее как математическую нелепость».[1]

Стр. 551. *Гладстон, Уильям Юарт* (1809—1898) — английский политический деятель, лидер либералов, неоднократно возглавлял английский кабинет министров.

Гулд, Фрэнсис Каррузерс (1844—1925) — английский карикатурист, сотрудничавший во многих буржуазных газетах; здесь имеется в виду его серия рисунков «Политика в картинках».

Бальфур, Артур Джемс (1848—1930) — английский государственный деятель, дипломат, один из лидеров консерваторов; в 1887—1891 гг.— министр по делам Ирландии; в 1902—1905 гг.— премьер-министр.

Чемберлен, Джозеф (1836—1914) — английский политический деятель, идеолог британского империализма. В 1895—1903 гг.— министр колоний; проводил политику империалистической экспансии.

Стр. 555. *...и теперь, когда Южная Африка порабощена и повержена в прах...* — Речь идет об англо-бурской войне 1899—1902 гг. В результате этой войны, развязанной империалистами Великобритании, южноафриканские республики Оранжевая и Трансвааль были превращены в английские колонии.

Македония. — В начале XX в. в этой исторической области, расположенной в центральной части Балканского полуострова, поднялось национально-освободительное движение против турецкого ига.

Бобриков Н. И. (1839—1904) — генерал-губернатор Финляндии, которую он стремился русифицировать, известен своими жестокостями. 3 июня 1904 г. был убит финским террористом Е. Шауманом.

Абдул Проклятый — Абдул-Хамид II (1842—1918), турецкий султан (1876—1909). Своей политикой угнетения народов Османской империи, и в особенности резней армян, Абдул-Хамид II заслужил прозвище кровавого султана.

Стр. 556. *Эбенезер, Говард* (1850—1928) — основатель английского движения за создание «городов-садов». В своей книге «Завтра» (1898) он выдвинул проект создания городов, которые сами бы удовлетворяли свои потребности в сельскохозяйственных продуктах.

Стр. 557. *Национальная лига* — националистическая организация ирландской либеральной буржуазии, созданная в 1881 г. после запрещения Земельной лиги, основанной в 1879 г. для защиты экономических интересов ирландских крестьян. В программе Национальной лиги аграрные требования были отодвинуты на задний план, а основное внимание сосредоточено на борьбе за право Ирландии на самоуправление. В 90-е гг. XIX в. деятельность Национальной лиги прекратилась.

Кохинхина — так европейские колонизаторы называли южную часть Вьетнама.

---

[1] Henderson A. George Bernard Shaw, p. 619.

Стр. 563 *...биллей об отмене конституционных гарантий.* – В 1880 г. правительство Гладстона, стремясь предоставить английской исполнительной власти в Ирландии возможность применять еще более суровые меры для подавления участившихся аграрных волнений, провело в палате общин билль о временной отмене конституционных гарантий. Позже был издан еще целый ряд подобных постановлений.

Основное население в Ирландии... с теми же самыми завоевателями. – Территория Великобритании подвергалась неоднократным завоеваниям: в I в. до н. э. и в I в. н. э. Великобритания была завоевана Римом; в V–VI вв. – германскими племенами англов, саксов и ютов; в VII–IX вв. – скандинавами; в XI в. – норманнами.

Стр. 565. *Шон Ван Вохт* – название ирландской революционной песни 1798 года, означающее «Старушка», одно из аллегорических названий Ирландии.
«Кэтлин ни Хулиэн» – пьеса ирландского поэта Уильяма Батлера Йитса (впервые исполнялась в 1902 г.), в которой автором дан символический образ Ирландии.
Гомруль – буржуазно-либеральная программа самоуправления Ирландии в рамках Британской империи. Требование гомруля было выдвинуто в 1870 г. Ассоциацией местного самоуправления Ирландии.

Стр. 566. *Доннибрук* – деревня в графстве Дублин (Ирландия), в которой до середины XIX в. проводилась ярмарка. Слово «Доннибрук» употребляется в Ирландии и Англии как синоним шумного и беспорядочного сборища.

Стр. 568. *Зеленый флаг* – ирландский флаг.

Стр. 573. *Если вы захотите сказать Норе дерзость, назовите ее паписткой...* – Паписты – сторонники папы римского, иначе – католики. В Ирландии католицизм распространен главным образом среди простого народа, значительная часть высших классов, особенно в Северной Ирландии, принадлежит к ирландской протестантской церкви.

Стр. 580. *Мэйнутский колледж* – католический колледж в небольшом ирландском городке Мэйнут; основан в 1795 г. и является главным местом подготовки ирландских католических священников.

Стр. 583. *Это описано у Мэррея.* – Имеется в виду известная серия путеводителей для путешественников Джона Мэррея (1808–1892).
Фин-Мак-Кул – легендарный герой гэлльского фольклора, защитник Ирландии от иноземных завоевателей.

Стр. 595. *Боскет* – группа деревьев, небольшая роща.

Стр. 600. *Дублинский Замок.* – Сооружен в XIII в. как опорная база английских феодалов, захвативших Дублин; позднее здесь помещались высшие органы английской власти в Ирландии. Дублинский Замок стал для ирландского народа символом национального угнетения.

Стр. 602. *Уайтчепельский акцент* – еврейский акцент; Уайтчепель – один из районов Лондона, населенный преимущественно еврейской беднотой.

Стр. 607. *Фении* – ирландские мелкобуржуазные революционеры-республиканцы, члены «Ирландского республиканского братства», основанного в 1858 г.; боролись за отделение Ирландии от Англии. Восстание, поднятое фениями в 1867 г., потерпело поражение.

Стр. 610. *Ирландская церковь* – епископальная протестантская церковь в Ирландии; была церковью незначительного меньшинства ирландско-

го населения. В 1869 г. Гладстон провел в Ирландии отделение церкви от государства.
Война против десятины – борьба ирландских крестьян в 1831–1834 гг. за отмену церковной десятины.

Стр. 614. *Юнион Джек* – национальный флаг Соединенного королевства (Англии, Шотландии и Ирландии).

Стр. 615. *...когда пришла весть о победе при Ватерлоо...* – Известие о победе англо-прусских войск над Наполеоном вблизи селения Ватерлоо (18 июня 1815 г.) было встречено в Лондоне с большим энтузиазмом, нашедшим отражение в мемуарной литературе тех лет.

Стр. 617. *Иомены* – зажиточные и средние крестьяне в Англии в XIV–XVIII вв. В результате огораживаний – сгона крестьян с земли – к середине XVIII в. иомены как социальный слой полностью исчезли и так стали называть фермеров-арендаторов.
Оранжисты – название сторонников династии Оранских. В Ирландии – реакционная политическая организация, созданная протестантами в 1795 г. в целях укрепления господства Англии и подавления национально-освободительного движения. Союз оранжистов был формально ликвидирован в 1832 г., однако оранжисты продолжали свою деятельность в начале XX в., выступая против гомруля.

Стр. 620. *Пэдди* – пренебрежительное прозвище ирландца.
...ваша компания галдит в Вестминстере... – Речь идет о группе ирландских депутатов-националистов в английском парламенте.

Стр. 621. *Ирландия забыла смех с того дня, как все ее надежды были похоронены в могиле Гладстона.* – Бродбент считает Гладстона защитником интересов Ирландии, хотя законопроект о гомруле, который Гладстон внес в парламент еще в 1886 г., фактически был направлен на раскол и ослабление национально-освободительного движения в Ирландии и не имел целью предоставить ей независимость. Законопроект предусматривал сохранение за британским парламентом права накладывать запреты на все акты ирландского парламента и оставлял исполнительную власть в руках назначаемого британской короной лорда-наместника.

Стр. 637. *Эрин* – поэтическое название Ирландии.
Ария из оффенбаховского «Виттингтона». – Речь идет об оперетте французского композитора Жака Оффенбаха (1819–1880) «Дик Виттингтон и его кот» (1874).

Стр. 649. *Мойла* – река на юге Ирландии.

Стр. 655. *Раскин, Джон* (1819–1900) – английский писатель, критик и художник. Критиковал капиталистическую цивилизацию и пришел к социально-политической утопии; он считал возможным преодоление уродств буржуазного общества путем художественного и нравственного воспитания человека в духе «религии и красоты».

Стр. 656. *Опять как в Баллихули.* – Поговорка, означающая: ссориться, шуметь (от названия ирландской деревни Баллихули, жители которой будто бы отличались неуживчивым нравом).

Стр. 658. *Карлейль, Томас* – см. примеч. к с. 34.

СОДЕРЖАНИЕ

Три пьесы для пуритан

ПРЕДИСЛОВИЕ 7
Перевод Е. Корниловой

УЧЕНИК ДЬЯВОЛА 37
Перевод Е. Калашниковой

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 117
Перевод М. Богословской и С. Боброва

ОБРАЩЕНИЕ КАПИТАНА БРАСБАУНДА 227
Перевод П. Мелковой

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЭШВИЛ,
ИЛИ
НЕВОЗНАГРАЖДЕННОЕ ПОСТОЯНСТВО 309
Перевод Ю. Корнеева

ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК 353
Перевод Е. Калашниковой

ПОСВЯТИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРТУРУ БИНГЭМУ УОКЛИ 355
Перевод В. Паперно

ДРУГОЙ ОСТРОВ ДЖОНА БУЛЛЯ 549
Перевод О. Холмской

КОММЕНТАРИИ 659

Шоу Б.

Ш81 Полное собрание пьес в шести томах. Т. 2. Пер. с англ. / Ред. тома Ю. В. Ковалев. Коммент. А. А. Аникста, А. Н. Николюкина. — Л.: Искусство, 1979. — 703 с., портр.

Второй том Полного собрания пьес Бернарда Шоу содержит шесть произведений, созданных драматургом в период с 1897 по 1904 г.: «Ученик дьявола», «Обращение капитана Брасбаунда», «Цезарь и Клеопатра», «Великолепный Бэшвил, или Невознагражденное постоянство», «Человек и сверхчеловек», «Другой остров Джона Булля». Первые три пьесы были объединены Шоу в цикл «Пьесы для пуритан». Впервые на русском языке публикуется предисловие драматурга к этому циклу, а также «Посвятительное послание Артуру Бингэму Уокли», являющееся предисловием к пьесе «Человек и сверхчеловек».

Том снабжен комментариями, раскрывающими творческую и сценическую историю пьес английского драматурга.

Ш $\frac{70600-51}{025(01)-79}$ подписное 4703000000

ББК 84.34 (Вл)
И(Англ)

БЕРНАРД ШОУ

Полное собрание пьес в шести томах

Том 2

Редактор И. В. Кудрова. Художественный редактор Э. Д. Кузнецов. Технический редактор И. М. Тихонова. Корректоры А. А. Гроссман, А. Б. Решетова.

ИБ № 925

Сдано в набор 19.04.77. Подписано в печать 29.01.79. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 37,065. Уч.-изд. л. 37,53. Тираж 80 000. Зак. тип. № 1916. Цена 3 р. 10 к. Издательство «Искусство», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 196136, Ленинград, П-136, Гатчинская, 26.

3р. 10к.